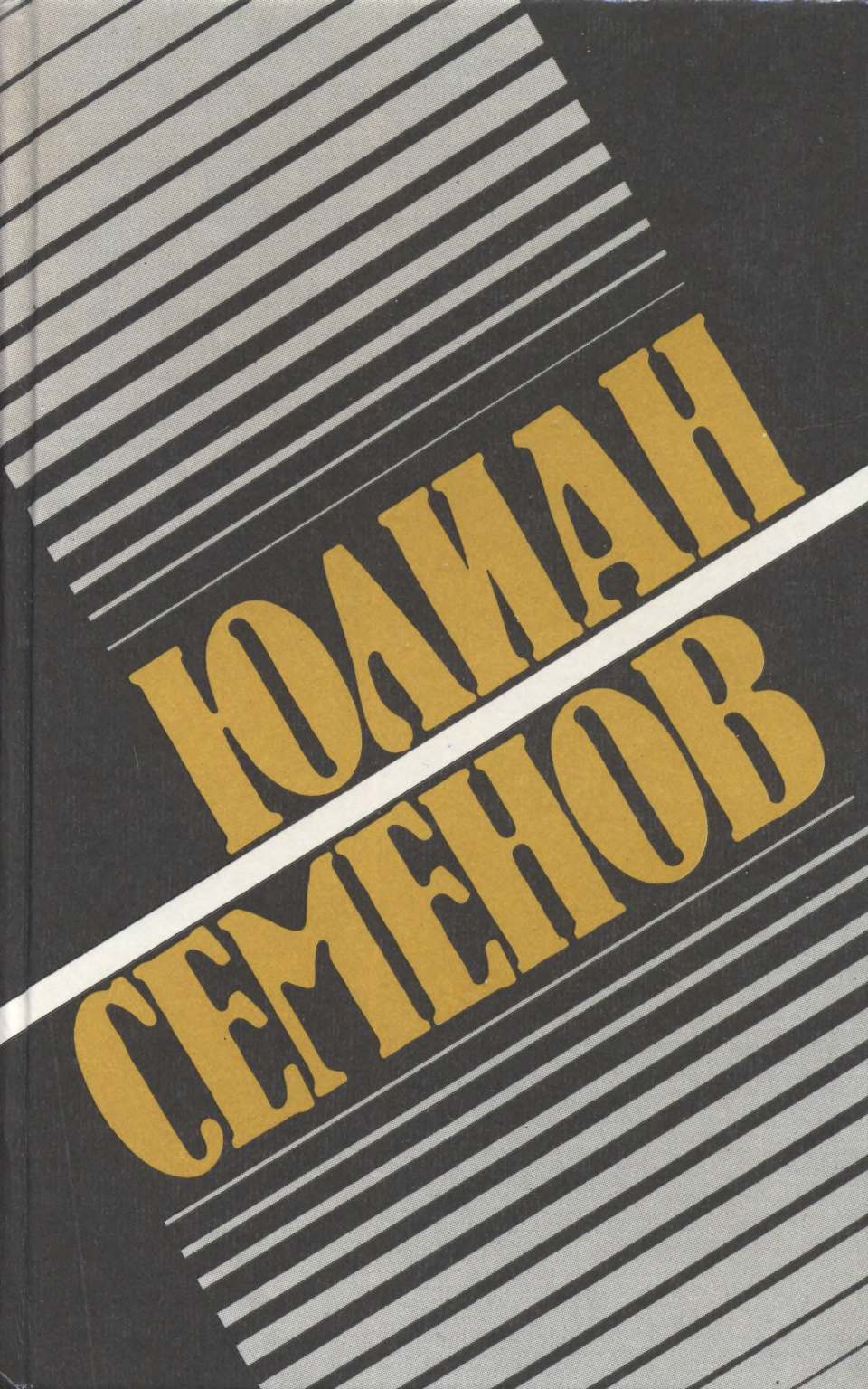
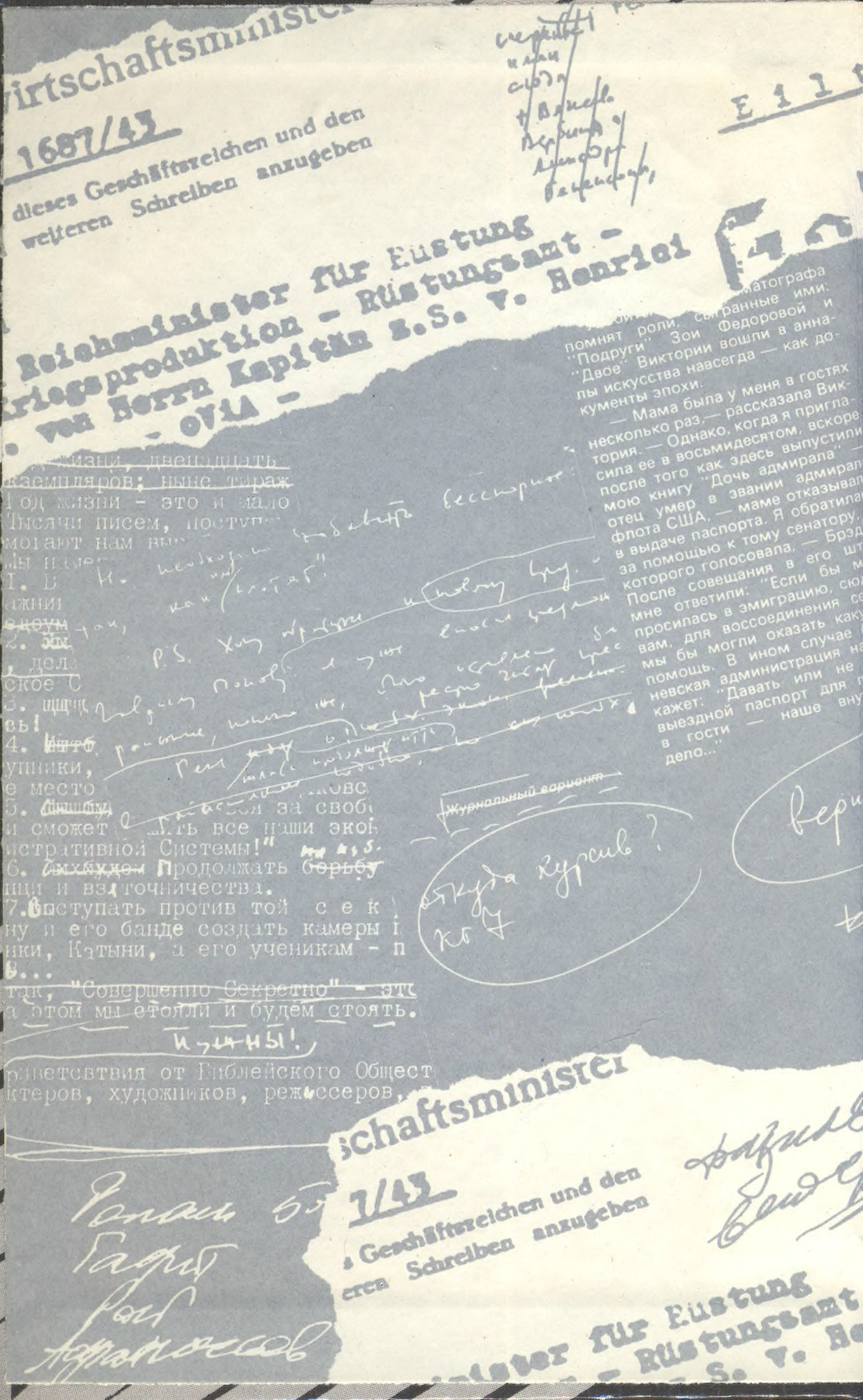
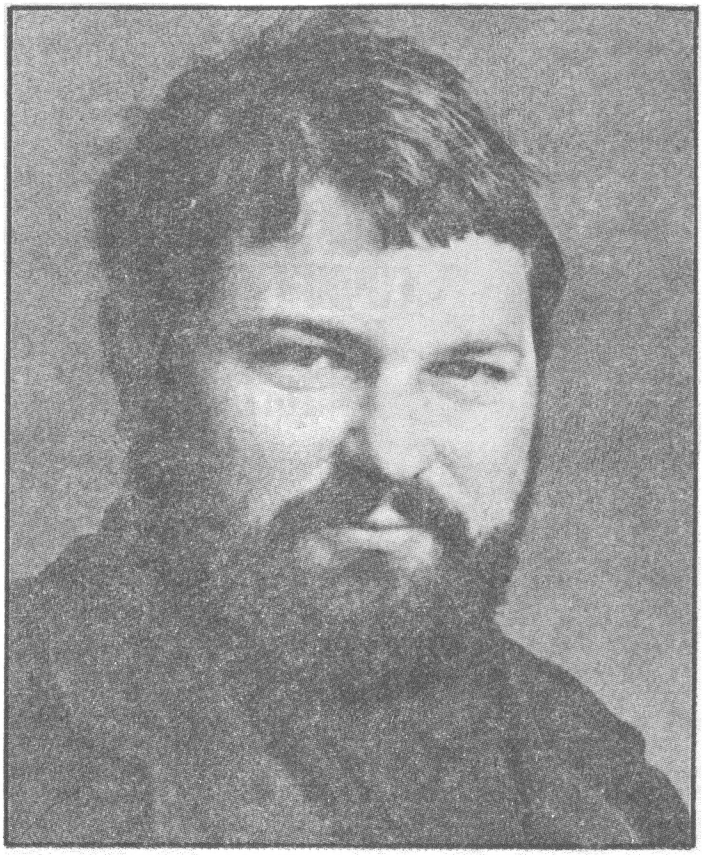

ЮЛИАН
СЕМЕНОВ


wirtschaftsministe
1687/43
dieses Geschäftszeichen und den
weiteren Schreiben anzugeben
Reichsminister für Rüstung
Kriegsproduktion – Rüstungsamt –
von Herrn Kapitän z.S. v. Henrici
– OVil –
помнят роли, сыгранные ими:
"Подруги" Зои Федоровой и
"Двое" Виктории вошли в анна-
лы искусства навсегда — как до-
кументы эпохи.
— Мама была у меня в гостях
несколько раз,— рассказала Вик-
тория.— Однако, когда я пригла-
сила ее в восьмидесятом, вскоре
после того как здесь выпустили
мою книгу "Дочь адмирала"
отец умер в звании адмирала
флота США, — маме отказывали
в выдаче паспорта. Я обратилась
за помощью к тому сенатору,
которого голосовала, — Брэд
После совещания в его шт
мне ответили: "Если бы м
просилась в эмиграцию, сю
вам, для воссоединения се
мы бы могли оказать каку
помощь. В ином случае
невская администрация на
кажет: "Давать или не
выездной паспорт для
в гости — наше вну
дело..."
Год жизни - это и мало
Тысячи писем, поступ
Журнальный вариант
Откуда курсив?
и сможет ... все наши эко
истративной Системы!"
Продолжать борьбу
ищи и вз точничества.
Выступать против той
ну и его банде создать камеры
ики, Катыни, а его ученикам - п
"Совершенно Секретно" - это
а этом мы стояли и будем стоять.
приветствия от Библейского Общест
ктеров, художников, режиссеров,
schaftsminister
7/43
Geschäftszeichen und den
eren Schreiben anzugeben
nister für Rüstung
– Rüstungsamt –
S. v. He

Антон Семенов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ВОСЬМИ ТОМАХ



Семенов

ТОМ ПЕРВЫЙ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ 1921-1927

Москва
МШК МАДПР, ДЭМ
1991

ББК 84.3Р7
С30

Редакционная коллегия:

Л. АННЕНСКИЙ
А. БЕНЕНСОН
В. КОЗЬМИН-БОРОЗДИН
О. СУЛЕЙМЕНОВ

Художники:
В. БЕЛЯКОВ,
В. ПОМОЧИЛИН,
М. ШЕСТОПАЛ

ISBN 5-85207-019-X (общий)
ISBN 5-85207-020-3 (т. 1)

© Ю. С. Семенов, 1991
© Составление и оформление МШК МАДПР, ДЭМ, 1991

БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА (1921)

ДЕКРЕТ

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Об учреждении Государственного хранилища ценностей республики

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
постановил:

Для концентрации, хранения и учета всех принадлежащих РСФСР ценностей, состоящих из золота, платины, серебра в слитках и изделий из них, бриллиантов, цветных драгоценных камней и жемчуга, при центральном бюджетно-расчетном управлении учреждается в Москве Государственное хранилище ценностей РСФСР (Гохран)...

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. И. ЛЕНИН
Управляющий делами
Совета Народных Комиссаров
В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧ
Секретарь
С. БРИЧКИНА

МОСКВА, АПРЕЛЬ 21-го

— А кто там, в углу? — спросил француз.

Миша Ерошин, проводивший с журналистом из Парижа Бленером все дни, ответил, поморщившись:

— Художник... Я забыл его фамилию. Он продался большевикам.

— Талантлив?

— Бездарь.

— А рядом с ним кто?

— Тоже художник. Работает на Луначарского, лижет сапоги комиссарам.

— Здесь собираются только живописцы?

— Почему? Вон Клюев. Рядом — Мариенгоф. Тоже сволочи. Трусливо молчат, а комиссары их подкармливают.

Француз чуть улыбнулся:

— У меня создается впечатление, что ругать друг друга — типично московская манера. Это было всегда или началось после переворота?

Миша не успел ответить: к их столику подошел театральный критик Старицкий.

— У вас свободно? — спросил он.

— Пожалуйста, — ответил Бленер, — мы никого не ждем.

Здесь, в маленьком полуподвале на Кропоткинской, недавно открылась столовая, где давали чай и кофе — по пропускам, выданным Цекубу, — ученым и творческой интеллигенции столицы. Поэтому толпились здесь люди, знавшие друг друга — если даже и не лично, то уж понаслышке, во всяком случае.

— Кто это? — бесцеремонно спросил Старицкий, разглядывая в упор француза. — Кого ты притащил, Миша?

Ерошин, испытывавший традиционную почтительность к иностранцам, заерзал на стуле, но француз добро улыбнулся и протянул Старицкому свою визитную карточку.

Критик сунул карточку в карман и спросил:

— Коминтерновец?

— Скорее, антантовец.

— Тогда бойтесь Мишу — он тайный агент ВЧК.

— Какая ты скотина, — попробовал улыбнуться Миша, — вечно несешь вздор...

— Какой же это вздор? Я от каждого буржуа шарахаюсь — даже своего, доморощенного, а уж к чужому подойти — спаси, Господь, сохрани и помилуй! Ничего, ничего, когда вся галиматья кончится, мы тебя, Миша, казним. Из соображений санитарии и гигиены.

— Вы думаете, что «галиматья» все же кончится? — спросил Бленер.

— Мир живет по законам логики и долго терпеть безумие не сможет. И дело тут не в личностях, а в некоей надмирной системе, управляющей нами по своим, непознанным законам.

— Всякие изменения в этом мире определяются личностями, — заметил француз. — Упования на заданную надмирную схему — своего рода гражданское дезертирство.

— А что ж, мне наган в руки брать прикажете?

— Отнюдь нет... Просто я стараюсь вывести для себя ясную картину происходящего...

— В России ясной картины не было и не будет: у нас — каждый сам по себе Клемансо. И потом — ясную картину только лазутчики хотят получить. Вы лазутчик?

— Всякий журналист — в определенной мере лазутчик.

— Значит, интересует ясность... — вздохнул Старицкий и продекламировал: — «Нет смерти почетнее, как смерть на благо родины, и она не может испугать честного и истинного гражданина». Александр Ульянов. Брат Ленина. Вот это и придет вскорости в несчастную и замученную Россию, которая поднялась — брат против брата.

— Вы предпочитаете цитировать Ульянова... Жертвенность смертников не очень вам симпатична — в личном плане?

— А по какому праву вы так со мной говорите?

— Как? — не понял француз. — Я спрашиваю. Я не понимаю, как может быть обиден вопрос, если у вас есть возможность ответить.

Бленера стали раздражать собеседники. Они строили фантастические планы, таинственно на что-то намекали и сулили скорые перемены; при этом никто из них не го-

ворил доброго слова ни о ком из тех, с кем минуту назад дружески здоровался, а порой и целовался. Поначалу Бленер был потрясен этими беседами и уже выстроил ясную концепцию своих будущих статей: «Россия на грани взрыва». Но, встретившись с Литвиновым, который, оставаясь послом в Эстонии, был одновременно утвержден заместителем наркома по иностранным делам, француз вынужден был эту свою концепцию развалить.

— Вы спрашиваете о так называемой творческой оппозиции? — спросил Литвинов. — Есть оппозиция, смешно ей не быть. Чехов утверждал: «Кто больше говорит, чем пишет, тот исписывается, не написав ничего толком». С нами Горький, Блок, Серафимович, Брюсов, великолепная молодая поросль: Маяковский, Пастернак, Асеев, за нас Тимирязев, Шокальский, Обручев, Графтио, Губкин; с нами Коненков, Кончаловский, Петров-Водкин, Нестеров, Кандинский, Кустодиев... Им приходится порой трудновато — как и всюду, у нас есть свои идиоты и завистливые ничтожества в учреждениях, занимающихся культпросветом. Но ни в одной другой стране искусство не получает той громадной, заинтересованной аудитории, которая появилась в России после революции...

Литвинов порылся у себя в столе, бросил французу газету:

— Это ваша. Поль Надо — быть может, вы его знаете? Он из Парижа, тоже, — Литвинов снова усмехнулся, — журналист. Вот почитайте, что он пишет о нашей оппозиции, причем не болтающей за чаем, но серьезной, — об эсерах и кадетах. Он с ними в Бутырской тюрьме посидел.

Бленер взял газету и сразу же увидел отчеркнутые абзацы: «Вся камера с великой торжественностью обсуждала проблемы внутреннего порядка, как, например, назначение дневальных. Детская мания парламентаризма, обрушившаяся на всю Россию, проявлялась в бесконечных пустых речах в нашей камере. Под руководством председателя поправки сменялись контрпоправками, те, в свою очередь, — предложениями, а их уж сменяли контрпредложения. Участники этого жуткого тюремного турнира применяли методы, которые были бы нелишними в Вестминстерском дворце. Арестанты терпеливо слушали эти ораторские словопрения, которые так ничем и не кончились... Через три дня в камеру с воли доставили для членов партии с.-р. корзины с про-

дуктами. Те без стеснения стали уплетать за обе щеки. Остальные арестанты молча отворачивались, чтобы не очень страдать. Но староста не выдержал, поднялся и сказал: «Я предлагаю обсудить в заседании вопрос о социализации всех съестных припасов». Наступило молчание. Слышалось лишь хрустение челюстей товарищей с.-р., которые принялись жевать быстрее. Наконец один из них сладким голосом произнес: «Конечно, коллеги, эта идея нам симпатична, так как прямо вытекает из наших партийных принципов. Но рассудим! Намерены ли мы посягать на свободу совести? Здесь многие не разделяют наших идей, — добавил оратор, указав на старого голодного полковника, на помещика с пустым желудком и знаменитого московского адвоката, доведенного голодом до бешенства. — Заставим ли мы этих господ стать социалистами помимо их воли? Нет, товарищи! Я утверждаю, что дальнейшее обсуждение этого вопроса должно быть отложено». И оратор поспешил энергично наверстать потерянное время усиленным уничтожением пищи».

— Каково? — спросил Литвинов. — Если бы писал большевик, а то ведь — ваш брат, буржуй... Нас терпеть не может, но и он сказал — после освобождения: «Лучше уж с вами, вы хоть конкретны, а те — как медузы перед штормом, неохватны и зыбки».

...И теперь, встречаясь с русскими в этом маленьком полуподвале, Бленер не мог заставить себя разговаривать с ними непредвзято: перед глазами стояла статья Надо. Он знал его — это был серьезный человек, которого легче было убить, чем заставить говорить неправду.

Когда Старицкий отошел от них, Бленер спросил:

— Он издал что-либо?

— Он неспособен написать и двух строк! Болтун. А уж если кто и есть агент ЧК — так это он, уверяю вас.

Писатель Никандров — высокий, жилистый, заметный — вошел в полуподвальчик, когда стемнело.

— Кто это? — сразу же спросил француз.

— Леонид Никандров, литератор.

— Тоже бездарь?

— Как вам сказать... Эссе, повести из древней истории, исследования о Петре Великом... Не борец, совсем не борец.

Француз представился Никандрову сам, попросив дать короткое интервью.

— Садитесь, — хмуро согласился Никандров, — только пусть спутник ваш обождет за другим столом.

— Он знает город, лишь поэтому я пользуюсь его услугами, — ответил Бленер и, чуть обернувшись, громко сказал: — Миша, спасибо, я вас на сегодня не задерживаю.

Миша угодливо раскланялся с французом и подсел за другой столик: там громко шумели поэты.

— У меня к вам несколько вопросов, гражданин Никандров. Мне хотелось бы узнать, кто, по вашему мнению, сейчас наиболее талантлив в России — в литературе, живописи, театре?

— В литературе — я, — улыбнулся Никандров. Улыбка сделала его жилистое, напряженное лицо совершенно иным — каким-то неуклюже-добродушным, открытым. — Это если по правде. В принципе я должен ответить: Бунин, Горький, Блок.

— Бунин в Париже, а меня интересует Россия.

— Бунин может быть хоть в Африке — он принадлежит только России.

— Думаете, Бунин хочет принадлежать этой России?

— А вы убеждены, что э т а Россия навсегда останется э т о й?

— Я не готов к ответу, хотя бы потому, что сочинений Бунина не читал и знаю о нем лишь понаслышке.

— Значит, вы интересуетесь российскими литераторами лишь как фигурами в политической структуре? Тогда у нас разговора не получится.

— Я бы солгал вам, сказав, что меня не интересует политическая структура. Но я живо интересуюсь и беллетристикой.

— А я беллетристикой не интересуюсь. Я принадлежу литературе.

— Где я могу купить ваши книги?

— Меня не очень-то издают здесь...

— Я готов помочь вам с изданием в Париже.

Никандров внимательно посмотрел на француза и ответил:

— За это спасибо, коли серьезно говорите.

— Я говорю серьезно... Прежде чем мы обратимся к вашему творчеству, хотелось бы спросить о том, кого вы здесь цените из живописцев?

— Талантов у нас много. Лентулов, Сарьян, Кончаловский, Малявин... Да не перечтешь всех... А Коровин, Нестеров?!

— Я благодарю Бога, — широко улыбнулся француз, — вы первый русский, который сказал, что в Москве есть таланты.

— С кем же вы тут встречались? С этой мелюзгой, — Никандров кивнул головой на посетителей столовой, — смысла нет говорить. Сущие скорпионы. Хуже комиссаров — те хоть знают свое дело, а эти только повизгивают из подворотни. Цыкни на них — хвосты подожмут и в кусты. Но говорят — «талантов здесь нет»...

— Талантам трудно здесь?

— А где таланту легко? Конечно, таланту сложно, ибо он хочет искать свою правду, а она — всегда в нем, в его мировидении.

— Вы не согласны с Марксом — «человек не свободен от общества»?

— Не согласен. Человек рожден свободным: никто ведь не отнимал у него права распоряжаться жизнью по собственному усмотрению.

— Определенные ограничения введены и на этот счет: несчастных самоубийц не хоронят на кладбищах, только за оградой.

— После меня хоть потоп.

— Мне казалось, что литератор прежде всего думает о согражданах.

— Пусть литератор думает о себе. Но до конца честно. Это будет хорошим назиданием для сограждан, право слово.

— Вам трудно жить здесь с такими настроениями?

— Мне трудно здесь жить. Но не от настроений.

— Собираетесь покинуть Россию?

— Да. Я хлопочу о паспорте.

— Если вы дадите мне свои рукописи, возможно, к вашему приезду будет готова книга.

Никандров поднялся:

— Пойдемте из этого борделя...

На улице дул студеный ветер.

— Ни в одной столице мира нет такого уютного и красивого Лобного места, как в Москве. Знаете, что такое Лобное место? Здесь рубили головы. Заметьте: о жестокостях в истории Российского государства написаны тома, но за все время Иоанна Грозного и Петра Великого народу было казнено меньше, чем вы у себя в Париже перекокошили гугенотов в одну лишь ночь, — продолжал Никандров. — Мы жестокостями пугаем, а на самом деле добры. Вы, просвещенные европейцы, о жес-

токостях помалкиваете, но ведь жестоки были — отсюда и пришли к демократии. Это ж только в России было возможно, чтобы Засулич стреляла в генерала полиции, а ее бы оправдывал государев суд... Мы — евразийцы! Сначала с нас татарва брала дань и насильничала наших матерей — отсюда у нас столько татарских фамилий: Баскаковы, Ямщиковы, Ясаковы; отсюда и наш матерный перезвон, столь импонирующий Западу, который выше поминания задницы во гневе не поднимается. А потом этим великим народом, ходившим из варяг в греки, стали править немецкие царьки. Ни один народ в мире не был так незлобив и занятен в оценке своей истории, как мой: глядите, Бородин пишет оперу «Князь Игорь», где оккупант Кончак выведен человеком, полным благородства, доброты и силы. И это не умаляет духовной красоты Игоря, а наоборот! Или Пушкина возьмите... На государя эпиграммы писал, ходил под неусыпным контролем жандармов, с декабристами братался, а первым восславил подавление революционного восстания поляков... Отчего? Оттого, что каждый у нас — сфинкс и предугадать, куда дело пойдет дальше, — совершенно невозможно и опасно.

— Почему опасно?

— Потому что каждое угадывание предполагает создание встречной концепции. А ну — не совпадет? А концепция уже выстроена? А Россия очередной финт выкинула? Тогда что? Тогда вы сразу хватаетесь за свои цеппелины, большие Берты и газы, будьте вы трижды неладны...

— Я понимаю вашу ненависть к своему народу — это бывает, но при чем здесь мы? Отчего вы и нас проклинаете?

— Ну вот видите, как нам трудно говорить... Я свой народ люблю и за него готов жизнь отдать. А вас я не проклинаю: это идиом у нас такой — фразеологический, эмоциональный, какой хотите, — но лишь идиом. Русский интеллигент Париж ценит больше француза, да и Рабле с Бальзаком знает куда как лучше, чем ваш интеллигент, не в обиду будь сказано.

— Действительно, понять вас трудно. Но, с другой стороны, Достоевского мы понимали. Не сердитесь: может быть, уровень понимания литератора возрастает соответственно таланту?

— Тогда отчего же вы в Пушкине ни бельмеса? В Лермонтове? В Лескове? Мне кажется, Европа эгоис-

тически выборочна в оценке российских талантов: то, что влазит в ваши привычные мерки, поражает вас: «Глядите, что могут эти русские!» Я временами боялся и думать: «А ну родись Гоголь не в России — его б мир и не узнал вовсе». А вот Пушкин в ваши мерки не влазит. Только его запихнешь в рамки революционера, он выступает царедворцем; только-только управишься с высокой его любовью к Наталии — так нет же, нате вам, пожалуйста, — лезет ерническая строчка в дневнике о том, что угрохал Анну Керн...

— А не кажется ли вам, что большевики замахнулись не столько на социальный, сколько на национальный уклад?

— Это вы к тому, что среди комиссаров много жидовни?

— По-моему, комиссаров возглавляет русский Ленин...

— Пардон, вы сами-то...

— Француз, француз... Нос горбат не по причине вкрапления иудейской крови; просто я из Гаскони... Мы там все тяготеем к путешествиям и политике. Любим, конечно, и женщин, но политику больше.

— Если вы политик, то ответьте мне: когда ваши лидеры помогут России?

— Вы имеете в виду белых эмигрантов и внутреннюю оппозицию? Им помогать не станут — помогают только реальной силе.

— Значит, никаких надежд?

— Почему... Политике чужды категорические меры; это не любовь, где возможен полный разрыв.

— В таком случае политика представляется мне браком двух заклятых врагов.

— Вы близки к истине... И дело не в нашей капитуляции перед большевиками: просто-напросто мир мал, а Россия так велика, что без нее нормальная жизнедеятельность планеты невозможна.

— Вы сочувствуете большевизму?

— Большевики лишили мою семью средств к существованию, аннулировав долги царской администрации. Мой брат, отец троих детей, застрелился — он вложил все свои сбережения в русский заем... Но я ненавижу не большевиков; я ненавижу слепцов в политике.

— Погодите, милый француз, вернем мы вам долги. Народ прозреет, и все станет на свои места...

— А как быть с народом, который безмолвствует?..

— Народ безмолвствует до тех пор, пока он не выдвинул вождя, который имеет знамя.

— Под чье же знамя может стать народ? Под знамя того, который провозгласит: «вернем французскому буржую его миллиарды»?

Никандров вдруг остановился и тихо проговорил:

— Пропади все пропадом, господи... Я всегда знал, чего не хочу, а чего — желаю. Скорей бы вырваться отсюда... К черту на кулички! Куда угодно! Только б поскорей... Ну, вот мой подъезд. Пошли, я поставлю чаю и покажу вам рукописи...

Поднимаясь по лестнице, Бленер сказал:

— Вы первый абстрактный спорщик, которого я встретил в Москве. Все остальные лишь бранят друг друга. А вы не останавливаетесь на частностях...

— Так вы — иностранец. Вас частности более всего интересуют, общее — у вас свое... Буду я вам частность открывать! Я мою землю, кто бы ею ни правил, люблю и грязное белье выворачивать вам на потребу не стану. Я есть я, интересую я вас — милости прошу, а нет — стукнемся задницами, и адье...

Чичерин зябко поежился и накинул на плечи короткую заячью безрукавку. Левый висок тянуло долгой, нудной болью: долго сидел над документами — дипкурьеры только что привезли последнюю почту из Берлина и Лондона.

Иоффе в своем подробном донесении из Берлина писал: «Канцлер заявил мне, что он считает русско-германское сотрудничество барьером на пути политического экспансионизма Франции и экономического натиска Англии. Он считает, что главным препятствием в осуществлении плана экономического и культурного обмена будут не столько внешние силы, сколько внутренняя оппозиция со стороны мощного рурского капитала. Ратенау подчеркнул, что безответственная жестокость контрибуции, наложенной Версальским договором на Германию, позволяет сейчас изолировать крайний экстремизм германского капитала, ибо производители — рабочие и крестьяне, а также патриотически настроенная интеллигенция будут, безусловно, поддерживать кабинет в его попытках наладить равноправные отношения с великой державой — пусть даже этой державой окажется коммунистическая Россия...»

Красин сообщал из Лондона о том, как протекали его

последние беседы с представителями трех ведущих сталелитейных фирм и с секретарем Ллойд Джорджа. Он писал:

«Англичане так уверены в своем могуществе, что не находят нужным скрывать узловые моменты, представляющие для них стратегический интерес. Мистер Энрайт, в частности, прямо спросил меня: «В какой мере французский капитал будет ограничен вами не только в России, но и в сопредельных странах, и как вы думаете помогать британским предпринимателям в создании барьера против возможного возрождения германской промышленной мощи?» В отличие от прошлых бесед заметна узкая конкретность в постановке вопросов, что свидетельствует о серьезных намерениях контрагента».

«Засуетились, — подумал Чичерин. — Поняли наконец, что правительство Ленина через три недели не «рухнет окончательно и навсегда».

Чичерин вернулся к столу, поднял трубку телефона, вызвал Карахана.

— Как у нас дела с краткосрочными курсами французского и английского языков? — спросил он. — Пожалуйста, возьмите это дело под свой строжайший контроль. Нас всегда подводят досадные мелочи: признать — нас уже признают, а вот дипломатов, которые это наше признание смогут неуклонно обращать на пользу делу, — у нас, увы, раз-два и обчелся.

* * *

«765. 651. 216. 854. 922. 519... 648. 726. 569. 433... 113. 578. 723. 944... 137. 649. 523. 966. 483... 465. 282. 697. 193[1]... 66[2]...»

* * *

«Дорогой Огюст! Рад, что могу с помощью друзей переслать тебе весточку. Совсем ты забыл нас. Как тетя Роза? У вас, наверное, расцветает, а здесь совсем замерзла — наш климат не для

---

[1] «Дзержинскому. Источники, близкие к министерству финансов, утверждают, что в России существует подпольная организация, занимающаяся хищением бриллиантов и золота. Ценности эти переправляются — или должны быть переправлены — в Ревель и Антверпен».

[2] 66 — кодовое обозначение Романа, советского резидента в Ревеле, — т. Шелехеса Федора Савельевича.

нее. Игорек занимается с утра до ночи: в вуз поступить ему довольно трудно, поскольку нет необходимого сейчас в республике трудового стажа, однако мальчик он талантливый, и мы все надеемся, что он станет истинным инженером-путейцем. Его прежнее увлечение геологией проходит: никто, кроме дяди Ивана, не может консультировать его в полезных ископаемых Сибири, а дядя Иван так занят своими делами, что ему не хватает времени для нормального сна. У него к тому же скачет кровяное давление от 150 до 190. И здешние доктора с этим пока ничего не могут поделать, лечим его грибной диетой — говорят, это сейчас в новинку. Насушили за лето две связки по 50 и 300 штук. Хватит этого на всю зиму, но поможет ли это Ивану — боюсь и подумать. Если сможешь — вызови к себе в Париж Лелечку на два-три месяца. Паспорт ей дадут наверняка, если ты проявишь настойчивость и докажешь необходимость ее пребывания у тебя не только как родственницы, но как человека, в совершенстве знающего твою манеру писать сольфеджио на слух, без нот. Если сможешь — перешли мне с оказией несколько банок какао. Жду твоих писем[1].

Любящий тебя дядя»[2].

* * *

«25. 67. 41. 5982. 6. 3519. 4. 69. 416. 5. 8893. 14. 9. 6421»[3].

---

[1] «Директору фирмы Маршан, Париж. Цена, утвержденная Наркомфином на бриллианты в карат и полтора карата, — 1500 рублей. Жемчуга в нитках некруглые — от 50 до 300 рублей золотом. Жемчуга парные, круглые, а также в нитках — от 50 до 200 рублей карат. Платина оценивается по 80 рублей за золотник. Золото — по 32 рубля за золотник девяносто шестой пробы. Отказывайтесь покупать у большевиков драгоценности по их ценам; они ситуации в нашем деле не знают. Нас же здесь всего двое: Пожамчи и я. Срывайте их торговые операции: единственно это сможет вывести нас на прямые контакты с вами. В случае, если большевики, поняв невозможность реализации бриллиантов, выпустят нас в Ригу или Ревель, мы привезем с собой достаточное количество товара. Иного пути в наст. время не вижу».

[2] «Любящий дядя» — псевдоним главного оценщика бриллиантов Гохрана РСФСР Шелехеса Якова Савельевича.

[3] «Чичерину, Крестинскому. Переговоры с представителями торговых фирм Шомэ, Маршан и Тарлин окончились провалом. Предлагают мизерные суммы за бриллианты, сапфиры и изумруд. Ганецкий» (Ганецкий — посол РСФСР в Риге. Расстрелян в 1937 г. — *Ю. С.*).

* * *

«Я, агент Угро Можайского уезда Московской губернии Волобуев Р. Р., составил настоящий акт на задержание гр. Белова Григория Сергеевича. Обстоятельства задержания: гр. Белов Г. С. прибыл на поезде из Москвы и стал приискивать себе извозчика, чтобы ехать в деревню Воздвиженку. Все извозчики были уже разобраны трудящимися, однако Белов, находясь в состоянии некоторого опьянения, достал из портфеля золотые часы луковицей системы «бр. Буре» и предложил извозчику Кузоргину Африкану Абрамовичу ихнюю крышку чистого золота, если он скинет своих ездоков и доставит его, гр. Белова, в деревню. На основании этого гр. Белов был мною задержан и доставлен в отделение ж.-д. милиции».

— Подпишитесь, — предложил Волобуев, — вот тут, в уголку.

— Не в уголку, а в уголке, — поправил его Белов, — представитель власти должен грамотно выражаться. А подписывать я вам ничего не стану.

— Это как же так?

— А вот так.

— Если с чем не согласный вы — так измените, мы еще раз перепишем, а подписать положено, у нас все подписуются, когда мы забираем.

— На каком основании вы меня забрали?

— А зачем часы портить? Так часы бандюги суют, у которых законных денег нет, а только краденое народное барахло трудящихся!

— Я — ответственный работник, ясно? Лучше вы сейчас меня отпустите — тихо и по-хорошему, иначе я через Москву большие вам неприятности устрою...

— У меня на испуг нерв крученый! Пугать не надо...

Дверь милиции растворилась, и в маленькую, наскозь прокуренную комнату милиционер ввел двух женщин-нищенок с грудными детьми. Мальчишка и девчонка лет пяти держались за юбки женщин. А паренек лет десяти юрко вырывался из милиционерской сухой крестьянской руки и грязно, с вывертом матерился.

— Ну чего? — спросил Волобуев. — Что случилось, Лапшин?

— С Поволжья оне, а мальчишка по карманам шарит...

— Сади их в камеру, там разберемся...

— Ах, гадюка, гадюка, — горько сказала одна из женщин, черная, простоволосая, — сам небось хлеб жрешь, а у меня в цицке молока нет, вон дитя угасает... А Христа ради тряпки подают — у самих хлеба нет, а за тряпку кто ж денег ноне даст? Вот Николашка и шарит за бумажками-то, братьев своих да сестер спасаючи.

— Пусти мальчонку, Лапшин...

— Так кусается он, товарищ Волобуев...

— Значит, жить будет, — хмуро усмехнулся Волобуев, — раз зубы не шатаются.

Он выдвинул ящик стола, достал черствый ломоть хлеба, отломил половину и протянул мальчишке:

— На.

Тот взял хлеб и, разделив его в свою очередь пополам, протянул женщинам.

Волобуев засопел и отдал парню тот кусок, что решил было сохранить для себя...

— Идите, — сказал он. — Пусти их, Лапшин...

Когда женщины ушли, Белов сказал:

— Жулика отпускаете, а честного человека... Мужик и есть мужик, хотя и в форме...

Волобуев тяжело посмотрел на румяное, юное, безусое еще лицо этого красивого, по-старорежимному одетого юноши, заскреб ногтями по кобуре, вытащил наган и взвел курок. Он бы пристрелил этого сытого, розовенького Белова, но тот закричал так страшно и пронзительно, что Волобуев враз отрезвел и пелена спала с глаз, только челюсть занемела и руки ходили как в пляске.

— Все скажу! — кричал Белов. — Не стреляйте! Здесь они! В портфеле! Тут! Не стреляйте, дяденька!

Волобуев долго сидел, закрыв глаза, потом спрятал наган в кобуру, подошел к Белову, взял у него из рук портфель и, открыв замки, высыпал содержимое на стол. Выросла горка золота: три портсигара, двенадцать штук часов, пятнадцать колец с бриллиантами, четыре десятирублевые царские монеты.

Волобуев долго сидел возле этой горки золота и медленно трогал каждый предмет руками... Потом — неожиданно для себя самого — уронил голову на это тусклое, холодное золото и завыл — на одной ноте, страшно, по-бабьи...

— Хочешь — все забери, только меня — Христом Бо-

гом молю — выпусти, — услышал он у себя за спиной голос Белова. — Бери, никто и не узнает, я, как могила, немой, я слова не пророню, дяденька...

Волобуев вытер слезы, высморкался в тряпочку и сказал:

— За слабость простите, а предложение взятки, конечно, в особый протокол выделим, и карманы валяйте навыворот — все, что есть, ложите на стол.

В карманах у Белова оказалось сто пятьдесят тысяч рублей, удостоверение работника Гохрана РСФСР и письмо без адреса следующего содержания:

«Гриша, я вынужден написать тебе это письмо, потому что от личных встреч ты постоянно уклоняешься, а это мне горько — и по-человечески и по-дружески (прости меня, но я по-прежнему считаю тебя другом, а не случайным сожителем по комнате).

Когда мы встретились с тобой, помнишь, ты ж был одним из лучших людей, каких я только знал, — ты последнюю рубаху мог отдать другу.

А что ж стало с тобой сейчас, Григорий? Неужели власть золота и жемчугов для тебя важнее великой власти мужской дружбы? Если так — изволь передать мне третью часть из того, что получаешь у себя в Гохране. В случае, если ты откажешься выполнить эту просьбу, я донесу властям о твоей деятельности на службе — не открытой, за которую ты получаешь деньги от правительства нашей трудовой республики, а тайной, которая наносит ущерб несчастным голодающим пролетариям. Следовательно, если к завтрашнему дню, к утру, ты не придешь на нашу квартиру и не выделишь мне драгоценностей на сумму в 1 (один) миллион рублей, то я сразу же сделаю заявление в ВЧК. Твой бывший друг, а ныне знакомый Кузьма Туманов».

— Где Туманов проживает? — спросил Волобуев.

— На Палихе.

— Палиха — это что такое?

— Улица это в Москве.

— Значит, надо говорить, улица такая-то, дом такой-то.

— Дом двенадцать, квартира шесть «а».

— Это как так, шесть «а»? Пять есть пять, шесть — будет шесть, а если семь — так и надо говорить.

— Быдло проклятое! — закричал Белов. — За что ж ты мне попался в жизни?! Темень перекатная! Не буду я тебе ничего говорить! Не стану, понял! Не стану! —

И тут Белов бросился на агента угро, но бросился он неумело, парнишка был изнеженный, поэтому Волобуев легко толкнул его кулаком в плечо, Белов упал и начал биться головой о грязный, заплеванный пол.

— Не допрос у нас с тобой, — заметил Волобуев, отходя к двери, — а взаимная истерика. Только если когда я вою — так я по голодающим вою, а ты звереешь по своим часам да монетам, сука поганая.

Он распахнул дверь и закричал:

— Лапшин! Эй, кто-нибудь там, Лапшина найдите, пущай он понятых пригласит и сюда топает, тут у меня буржуй пол слюнявит и пятками зад молотит.

В тот же день МЧК забрала Белова к себе. Находился он в состоянии прострации, вопросы понимал плохо. Вызванный доктор констатировал сильный нервный шок и дал задержанному успокаивающее лекарство, предписав на допросы его в течение ближайших пяти дней не водить.

Председатель МЧК Мессинг наложил резолюцию: «Нач. тюрьмы. Просьба выполнить предписания врача».

Все поиски Кузьмы Туманова ни к чему не приводили: он исчез, как в воду канул. Оперативная группа МЧК выезжала в деревню Аверкино, где жил отец Белова — Сергей Мокеевич. Раньше он имел три трактира, но все они были конфискованы новой властью в девятнадцатом году. Обыск в доме старика Белова ничего не дал.

Через неделю доктор увидел в заключенном резкую перемену. Тот жадно заглядывал в его глаза и шепотом спрашивал:

— Доктор, а если я чистосердечно — не постреляют?

— Я, голубчик, врач и тонкостей этих, право, не знаю... Нуте-ка, ножку на ножку...

— Да, Господи, при чем здесь ножка? Я на следующую ночь, как вы уехали, проснулся — весь в поту. Все глаза боялся открыть — думал, вот бы сон это был, вот бы сон... Лежал так, лежал, а потом один глаз открыл — а тут потолок серый и лампочка в решетке. И так я плакал, доктор, всю ночь плакал. А и плакать сладостно: сколько мне еще раз в жизни плакать? И боль чувствовать в руке, словно током пронзило — отлежал на нарах, — все равно приятно... И в парашу пописать — тоже сладостно так, нежно...

— А раньше о чем думали? — спросил доктор. — Когда начинали все это?

— Вы, пьяный, о чем думаете?

— Я уж, милейший, забыл, когда пьяным был...

— А я пьяный — дурной. За девицу черт знает что могу натворить. Меня, когда пьян, кураж разбирает. Наутро совещусь в зеркало смотреть — плюнул бы в рожу-то, а хмельной сам себе так нравлюсь, сильный я тогда, весь в презрении, а девицам это очень загадочно.

— Вы как в смысле секса?

— Секс — это половой акт?

— Почти, — доктор не смог сдержать улыбки.

— Могу, только если пьяный. Когда трезвый, я с девицами цепенею и слова не могу сказать, не то что секс.

— В роду у вас больных падучей не было?

— Не псих я, доктор, не псих... Я все отчетливо понимаю, что вокруг происходит, где я сижу и что может быть...

Доктор выписал новую порцию успокаивающих средств, хотя в беседе с начальником тюрьмы высказал предположение, что арестованный вполне вменяем.

Той же ночью Белов написал письмо Дзержинскому с просьбой вызвать его на допрос. Когда ему в допросе отказали, он объявил голодовку. От молодого парня этого не ожидали. В тюрьму приехал председатель МЧК Мессинг[1].

— Какие у вас претензии? — спросил он Белова. — Почему голодовка?

— Потому что меня не допрашивают.

— Вы не в том состоянии, чтобы вас допрашивать.

— Мне каждый день в неведении — как смерть... Я на себя руки наложу!

— В отношении наложить на себя руки — мы этого постараемся не допустить. — Мессинг полуобернулся к начальнику тюрьмы и попросил: — Если будет замечен в подобного рода фокусах, посадите в карцер.

— Ясно, товарищ Мессинг.

— Что еще имеете заявить, Белов?

— А вы мне что имеете заявить?

— Не паясничайте!

— Я не паясничаю. Каждый человек имеет свою манеру обращения... Я хочу знать, что меня ждет, если я принесу покаяние?

— Чистосердечное покаяние приносят, когда человек без этого не может, если он себя хочет очистить... А если

---

[1] Расстрелян в 1937 г. — *Ю. С.*

он торгуется — «вы мне за покаяние булку», — тут у нас разговора не будет...

— Я не булку прошу, а жизнь...

— Пока ставите условия — разговора у нас не получится. И с голодовкой — прекратите, несерьезно это. Потерпите дня два, а потом заскулите...

— Почему вы так жестоко со мной говорите?

— Скажите спасибо, что я с вами говорю, Белов. Мне очень хочется вас расстрелять — прямо здесь, не сходя с места... Ладно, ладно! Москва слезам не верит!.. На те драгоценности, которые у вас отобрали, можно завод накормить!

— Но мне же двадцать лет! Двадцать всего! — закричал Белов и начал хрустко ломать пальцы. — Я жить хочу! Мне надобно жить — я ведь молодой, глупый!

— Свою голову надо иметь в двадцать лет... Мне — двадцать шесть, кстати говоря. Хотите — напишите все подробно на мое имя: и про то, как убили Кузьму Туманова, и про то, где оборудовали тайник, — неторопливо говорил Мессинг, замечая, как расширяются зрачки Белова и как он медленно подается назад, — и чем подробнее напишете — тем будет лучше...

— Для меня?

— Больше, конечно, для нас, — усмехнулся Мессинг, — но, глядишь, трибунал учтет ваши глупые годы, глядишь — докажете, что не вы похищали, а другие, а вы только были передаточным звеном...

«Молчи, кругом молчи, — вспомнил Белов отчетливо и до жути явно лицо Ивана Ивановича во время их последней встречи. — Как бы ни было тебе страшно и плохо — молчи. Это я не пугаю тебя, это я тебе свою тайну открываю. Ты гляди: амнистии каждый год — на Первомай и в Октябрьские. Раз. Потом — не долги они, их голод сломит. Два. Мы своих в обиду не даем, у нас тоже руки длинные, мы из таких передряг выходили — что ты... это третье будет. И помни, время всегда на того работает, кто смел и тверд. Кто раскис, того время сразу в расход списывает».

— Ничего я писать не буду, — сказал Белов наконец. — Можете и не допрашивать: под лежачий камень вода не течет. Не хотели по-хорошему — и не надо.

— От мерзавец, — удивленно протянул Мессинг, — ну, каков же мерзавец, а? Ладно, иди в камеру. И запомни, больше я с тобой говорить не стану — как ни проси. Это мое последнее слово, гаденыш...

Об аресте Белова Мессинг поставил в известность замнаркомфина Альского[1], попросив его об этом никому больше не сообщать.

— Я бы даже порекомендовал вам сообщить в Гохран, что Белов откомандирован в Тобольск.

— Такие фокусы мне не очень-то нравятся, — ответил Альский, — но если вам это кажется целесообразным, я пойду навстречу — в виде исключения.

— Товарищ Альский, исключение здесь ни при чем, просто Белов похитил драгоценностей на миллион.

— Сколько?! — ахнул Альский. — Не может быть!

— Знаете, у меня от правды голова трещит, так что выдумывать сил нет, да и профессия мне этого не позволяет.

— Кто оценивал?

— Мы возили цацки в Петроград, чтобы не подключать к делу ваших гохранщиков.

— Из-за одного негодяя ставите под сомнение коллектив?

— Где вы там видели коллектив?

— А Шелехес? Пожамчи? Александров? Левицкий, наконец, старый спец, который прекрасно работает?

— Помимо названных товарищей там трудится еще много народа. И у меня есть к вам просьба: было бы целесообразно ввести троих наших людей к вам — под видом рабочих. Как вы к этому отнесетесь?

— Отрицательно, — ответил Альский. — Неужели вы не верите, что мы сами сможем навести там порядок? Я назначу ревизию, брошу настоящих специалистов — зачем же считать Гохран каким-то притоном?

— Глядите... Я не имею права вторгаться в ваши прерогативы, но Феликсу Эдмундовичу я об этом деле доложу.

НАЧАЛО НАЧАЛ

Когда в приемной ВЧК рано утром раздался звонок и некто хрипловатым голосом с нерусским акцентом спросил прямой телефон начальника контрразведки и когда выяснилось, что звонил к чекистам поляк Стеф-Стопанский, досье на которого было весьма пухлым (Стопанский был сотрудником второго отдела польского генштаба), беседовать с ним член коллегии ВЧК Кедров[2] от-

[1] Расстрелян в 1937 г. — *Ю. С.*
[2] Расстрелян в 1941 г. — *Ю. С.*

правил — по совету Дзержинского — помначинотдела Всеволода Владимирова.

— Всеволод с его блеском, — сказал Феликс Эдмундович, — в беседе со шляхтичем будет незаменим. Молодость Всеволода, его изящество и мягкость позволят нам точно понять Стопанского: зубр, видимо, решит поиграть с нашим юношей. Всякая игра рано или поздно открывает разведчика, его истинные намерения. А отказываться от контакта со Стопанским неразумно: у него есть выходы на Лондон, Париж и на Берлин.

Встретился Всеволод со Стопанским в табачной лавке на Третьей Мещанской. Цепко оглядев собеседника, поляк сказал:

— Мне приятно увидаться с вами, и я понимаю, где мы с вами сейчас находимся. Однако я просил бы пристрелочную часть разговора провести на улице, где нас никто не будет слышать. Если мы верно поймем друг друга на воле, — он усмехнулся, — кажется, так у вас говорят о «не тюрьме», тогда мы продолжим беседу здесь, где, как я догадываюсь, каждое мое слово будет слышно еще по крайней мере двум вашим сослуживцам.

Всеволод весело посмотрел на Стопанского, взял его под руку и сказал:

— Не скрою, я чертовски устал, поэтому прогулка мне не помешает — особенно с таким интересным собеседником.

...Выезжая на встречу с поляком, он уже знал от службы наружного наблюдения, что Стопанский идет один. На всякий случай, правда, он надел дымчатые очки с нулевой диоптрией — он относился к тому типу людей, которых очки очень сильно меняли.

Они шли по булыжному тротуару, сквозь который уже проступала свежая, словно бы подстриженная на английский манер трава, мимо маленьких домиков, и со стороны казалось, что прогуливаются два товарища.

— Так что же вас привело ко мне? — спросил Всеволод.

— К вам меня ничто не приводило. Я пришел в ЧК.

— Похвально. Я, как индивид, и мы, как коллектив, любим, когда к нам приходят интересные люди...

— Представляться мне надо?

— То есть?

— Звание, операции, связи?

— Вообще-то мы знаем вас.

— Вы знаете, что я подполковник польской разведки?

— Детали, думаю, мы лучше запомним, если они будут изложены в письменном виде. Нет?

— Вы думаете, я стану писать?

— *Станете. Если вы затеяли что-то против нас* — вам придется играть. А если вас привело к нам истинное намерение сотрудничать, вы захотите убедить нас в своей искренности и начнете делать это с мелочей, а именно: с фамилий ваших друзей, близких и родных. Разве нет?

— Браво!

Взгляды их встретились. Всеволод улыбался, и в глазах у него не было той жестокости и чувства превосходства, которое так боялся увидеть Стопанский.

В свою очередь Всеволод отметил, что поляк небрит, рубашка у него измятая, ботинки не чищены, пальто испачкано, на левом плече несколько пушинок, а пальцы покрыты тем сероватым налетом грязи, который особенно заметен на ухоженных и полных руках.

— Браво! — повторил Стопанский. — Вы четко мыслите, молодой человек...

— Иначе не стоит.

— Я не хотел обидеть, упомянув про вашу молодость...

— Этим нельзя обидеть. Наоборот...

— Я не знаю, — сказал Стопанский, начавший отчего-то злиться, — приходилось ли вам иметь дело с серьезными агентами из иностранных разведслужб, но хочу заметить: польский генштаб сейчас находится в средоточии интересов всех европейских стран. Я, в частности, имею контакты с французами и англичанами.

— Помните имена ваших людей в Париже и Лондоне?

— Естественно.

— Операции?

— Старые?

— Новые тоже.

— Те, которые собирается проводить Лондон и Париж, я не знаю. Но их операции меня не минуют — я считаюсь специалистом по Совдепии... Когда доложите начальству об этой беседе? Можете пригласить кого-либо из ваших ответственных руководителей?

— Это мы устроим, — пообещал Всеволод.

— Когда?

— Дней через семь.

— Это невозможно...

— Ну что ж делать...

После долгой паузы Всеволод спросил:

— Когда вас обокрали?

Он не знал наверняка и не мог знать этого. Просто его мозг — мозг аналитика, человека смелого и веселого — автоматически проанализировал факты: из всей массы полученной информации Всеволод отобрал для себя следующую: во-первых, поляк голоден, ибо он несколько раз смотрел на вывески трактиров и принюхивался к запахам жареной колбасы; во-вторых, он хочет курить, но курева у него нет; в-третьих, Стеф-Стопанский слыл щеголем, и одежда его всегда отличалась отменным вкусом, а сейчас он был неряшлив и грязен; в-четвертых, он всячески подчеркивал свою значимость, а это обычно бывает с людьми, которые вынуждены в силу каких-то обстоятельств больше уповать на прошлое, чем верить в спасительное будущее.

Стеф-Стопанский брезгливо поморщился:

— Ваша работа?

— Разве друзья в посольстве не могли вам помочь? — не отвечая на его вопрос, продолжал Всеволод.

— В Европе вы не жили?

— Жил.

— Видимо, в среде эмиграции... Взаимовыручка, товарищество и так далее... Молодой чело... Простите...

— Да нет, Господь с вами, пожалуйста, пожалуйста... Мы ведь чины не возрастом выслуживаем.

— Деловыми качествами?

— Именно.

— Кто в Европе «просто так» дает деньги?

— Заявите, что вас обворовала ЧК... Неужели на обратную дорогу не воспомоществуют?

— Браво! А в Варшаве что делать?!

«Оп! — сказал себе Всеволод. — Мышка попалась! Там ему будет нечего кусать, потому что прогонят из разведки, ибо он что-то важное тащил в портмоне или слишком много денег. Видимо, он к нам прет вчистую».

— Закуривайте, — предложил Всеволод.

По тому, как жадно затянулся Стопанский, норовя при этом держать папиросу так, чтобы не показывать свои грязные пальцы, Владимиров до конца уверовал в то, что его версия правильна.

— Зайдем в трактир? — предложил Всеволод.

Заказав Стопанскому извозчичьей колбасы, холодца и пива, он сказал:

— В ресторан, видимо, идти нет смысла: там могут быть ваши знакомые.

Стопанский молча кивнул, потому что рта открыть не мог — колбаса была горячая, но, как всякий голодный человек, он отрезал себе слишком большой кусок и сейчас осторожно втягивал ноздрями воздух, чтобы как-то остудить шипучее, грубое, прекрасное мясо...

После обеда Стеф-Стопанский закрыл глаза и сказал:

— А теперь за час сна — полжизни.

— Пошли ко мне: там все обговорим, и можете лечь поспать, пока вам приготовят номер в гостинице. У меня еще несколько вопросов к вам.

— Пожалуйста...

— Вам фамилия Бечковский ничего не говорит?

— Нет.

— А Кряковяцкий?

— Нет.

— А Леснобродский?

— Полковник Леснобродский? По-моему, он курирует ваше представительство в Варшаве.

Нота
полномочного представителя РСФСР в Польше
Министру Иностранных Дел Польши
Скирмунту

В течение последних недель в Российское полномочное представительство несколько раз являлось неизвестное лицо, впоследствии оказавшееся агентом II отдела Польского генерального штаба полковником Леснобродским, с предложением доставлять Российскому правительству официальные секретные документы из Польского генерального штаба. В Российском полномочном представительстве он встречал неизменный отказ воспользоваться его предложением. Тем не менее 10 октября поздно вечером полковник Леснобродский явился в Российское полномочное представительство и принес с собой разнообразные документы и целое секретное дело о польском шпионаже в Германии с многочисленными печатями, подписями, штемпелями II отдела, с картой и фотографиями якобы польских шпионов в Германии и предложил купить у него за 500 000 марок все эти документы. Как только

мне было об этом доложено, я сейчас же позвонил вице-министру г. Домбовскому и просил его немедленно командировать в полномочное представительство чиновника министерства иностранных дел совместно с представителями других властей для составления протокола и ареста полковника Леснобродского. Вице-министр г. Домбовский за поздним временем, к сожалению, не мог командировать представителя министерства иностранных дел. В полномочное представительство были командированы лишь представители общей и сыскной полиции, которые арестовали полковника Леснобродского, но отказались допросить его. Отсутствие в деле первого показания г. Леснобродского в самом полномочном представительстве является существенным ущербом для нормального следствия, который может отразиться на дальнейшем ходе его. Во время ожидания представителей польских властей полковник Леснобродский сознался, что ему в качестве агента II отдела генерального штаба поручено было непосредственным начальником, майором Кешковским, войти в доверие полномочного представительства с провокационной целью и что доставленные им документы являются фальсификацией, изготовленной II отделом и врученной ему майором Кешковским для продажи Российскому полномочному представительству.

В то время как Российское и Польское правительства путем переговоров стараются уладить недоразумение между обеими сторонами и достигли недавно соглашения по всем спорным вопросам, Польский генеральный штаб прилагает все усилия, чтобы какой-либо преступной провокацией обострить и испортить отношения между Россией и Польшей.

В последнюю неделю в Российское полномочное представительство систематически являлись подозрительные лица, которые представляли удостоверения II отдела Польского генерального штаба за подписью майора Кешковского и предлагали доставлять нам разнообразные документы. Каждый раз такие предложения оканчивались нашим требованием немедленно покинуть здание полномочного представительства.

В свое время, когда Российское правительство опубликовало документы, установившие преступную работу II отдела генерального штаба в контакте с «Народным союзом защиты родины и свободы», возглавляемым Савинковым, Одинцовым и другими, уличенные лица, защищаясь, пытались прикрыть преступление фельетоном, напечатанным во всех польских газетах за подписью Масловского. Чтобы оправдать и усилить этот способ защиты, II отделом генерального штаба был задуман план действительной провокации, который, удавшись, должен был служить оправданием и спасением от законного и неопровержимого обвинения, которое Русское правительство предъявляло Польскому генеральному штабу.

Случай с полковником Леснобродским с очевидностью устанавливает, что против Российского полномочного представительства ведется широко задуманная провокационная работа, руководимая Польским генеральным штабом.

Представляя при сем 1) одну копию протокола, составленного 10 октября в Российском полномочном представительстве, 2) удостоверение полковника Леснобродского за № 3835, выданное II отделом Польского генерального штаба за подписью майора Кешковского, 3) все документы, доставленные в Российское полномочное представительство для продажи по поручению II отдела того же штаба г. Леснобродским, имею честь просить Вас, господин министр, предпринять шаги, которые Вы найдете нужными, к пресечению провокационной работы II отдела Польского генерального штаба, которая ставит своей целью осложнение отношений между Россией и Польшей.

Примите, господин министр, уверение в совершенном моем уважении.

Карахан[1]

Ноту эту Стопанскому показали ночью, сразу же после того как Всеволод сообщил Кедрову о данных, связанных с Леснобродским. Ноту в целом Стопанский одобрил и даже шутливо завизировал ее.

---

[1] Расстрелян в 1937 г. — *Ю.С.*

Наутро он начал давать показания. Наиболее серьезным было то, что, по его данным, в Ревеле среди сотрудников русского посольства есть человек, работающий на чужую разведку.

— На какую именно разведку он работает, не знаю, но факт сам по себе бесспорен. Из обрывков разговоров могу предположить, что готовила этого человека к вербовке эмиграция.

Всеволод запросил данные на ревельскую эмиграцию. Ему принесли список имен наиболее видных личностей в Ревеле из разных лагерей: от крайне правого монархиста Воронцова до эсера Вахта, редактировавшего газету «Народное дело». Он назвал Стопанскому фамилии лидеров комитета содействия эмигрантам и беженцам: Вырубова, Львова, Зеелера, Оболенского, редакторов кадетских «Последних известий» Ратке и Ляхницкого в надежде, что поляк вспомнит кого-либо конкретно, но Стопанский категорически утверждал, что хотя имена эти он и слышал, но протянуть какую-либо связь к русскому дипломату он не решается.

Сказал он также, что в Москве существует глубоко законспирированное подполье, имеющее в своем распоряжении громадные запасы бриллиантов, золота и платины. Подполье это сторонится всяких аспектов политической борьбы и преследует лишь своекорыстные цели личного обогащения. Кое-кто из этих людей поддерживает контакты с представителями здешних дипломатических кругов, которые не только скупают драгоценности, но в ряде случаев являются передаточным звеном: драгоценности уходят в Париж и в Лондон, а после маклеры играют на бирже, причем на понижении акций фирм, которые начинают торговые сделки с Россией.

— Мне сдается, что один из моих здешних друзей, — их имена, как вы понимаете, я не называю и не стану называть впредь, — сказал Стопанский, — связан с этим московским подпольем, но в корыстных, личных целях — он покупает драгоценности для себя, и у меня, кстати, похитили принадлежащие его семье деньги — две тысячи долларов, — об этом разговор впереди...

— А если мы своими возможностями найдем этого человека?

— Вы вольны делать все, что угодно, это ваш долг. Важно, чтобы я не испытывал угрызений совести. Кстати, в подполье Москвы нам известно имя богатейшей старухи — Стахович Елена Августовна...

Через три дня, после очередной беседы со Стопанским, член коллегии ВЧК Глеб Иванович Бокий[1] вызвал начальника МЧК Мессинга, старшего помощника начальника спецотдела Будникова и Владимирова.

Поначалу, еще до этого совещания, Бокий был у Дзержинского и Уншлихта[2]: он предлагал установить за валютчиками более пристальное наблюдение, но Уншлихт круто возражал:

— Это вам не эсер или кадет, который токует, как тетерев. «Аполитичные» валютчики куда как осторожнее и мудрее. Каждый час чреват тем, что драгоценности могут уйти из России. Надо брать сразу. Тщательнейшие обыски, четко разработанные допросы: в данном случае временной риск не оправдан, это вам, — он усмехнулся, — не контрреволюционный заговор, к тем мы можем присматриваться не торопясь...

Бокий не соглашался с Уншлихтом:

— Мы возьмем десять, двадцать человек, а два уйдут. Или один. Если уж рубить — так сразу, по всем!

— Сдается мне, вы не правы, Глеб, — негромко сказал Дзержинский. — Время, когда мы из золота станем строить общественные нужники, Ильич обозначил абсолютно точно: коммунизм... Проклятие золотого тельца — штука поразительная. Когда потребность будет соответствовать способности — а это возможно, лишь когда лавки будут ломиться от товаров, здесь все взаимоувязано, — тогда только золото станет обычным металлом — тусклого цвета, без вкуса и запаха. До тех пор пока золото дает возможность его обладателю иметь хлеба — я нарочито огрубляю — больше, чем всем остальным, до этой поры арестом и реквизицией власть золота не сломить. Словом, я за то, чтобы сегодня же провести операцию. Сейчас каждый час дорог. В ближайшем будущем нэп даст нам возможность выкачивать золото здесь, дома.

Облаву на подпольные «золотые центры» проводила МЧК во главе с Мессингом. Операция прошла на редкость тихо: ни перестрелок, ни попыток бегства. Люди попались все больше пожилые, респектабельные. Держались они с достоинством, только сильно бледнели и не могли подолгу стоять — просили стул, ноги не держали. А стоять им приходилось довольно долго — пока агенты МЧК делали опись захваченных драгоценностей.

[1] Расстрелян в 1937 г. — *Ю. С.*
[2] Расстрелян в 1937 г. — *Ю. С.*

Особенно много драгоценностей было изъято у бывшей фрейлины Елены Августовны Стахович. Немка — по-русски она говорила довольно слабо, и поэтому допросить ее на родном языке Бокий попросил Всеволода. Владимиров допросов вести не умел, потому что его работа в политической разведке предполагала совсем иную деятельность — то он семь месяцев служил в пресс-группе Колчака вместе с известным писателем Ванюшиным, который после разгрома адмирала ждал «штабс-капитана Максима Исаева» в Харбине, то выезжал в Лондон, то появлялся в Варшаве.

Однако сейчас время было горячее; три переводчика, служившие в ВЧК, разъехались по командировкам, а ждать их возвращения — дело нецелесообразное.

— Добрый вечер, — сказал Владимиров, предлагая женщине сесть, — у меня к вам вопросы.

— Вы — немец?

— Русский.

— Здесь работаете добровольно?

— Вполне.

Стахович держалась удивительно достойно, и это нравилось Владимирову. Ему приходилось видеть людей, которые ползали по полу, рвали на себе волосы, норовили целовать чекистские сапоги, вымаливали пощаду, а эта старуха сидела спокойно, пристально, изучающе взглядываясь в лицо собеседника.

— Итак, первое: откуда у вас эти драгоценности?

— Это фамильные драгоценности. Я не несу за них ответственности, они перешли ко мне от моих предков — российских дворян...

— Тогда извольте отвечать на мои вопросы по-русски, — резко заметил Владимиров. — Для вас понятие «русский» сугубо абстрактно, как, впрочем, и для ваших предков.

— Вы не смеете говорить так фрейлине русской государыни.

— Смею. Если бы для вас «русский» было сутью, жизнью, болью — вы бы подумали о том, сколько миллионов русских мрет от голода! А на ваши камушки можно прокормить волость!

— Не мы этот голод принесли в Россию...

— Мы?

— Вы. И та банда, которой вы служите.

Владимиров тяжело посмотрел на женщину, на ее спокойное, надменное лицо и сказал:

— «Банда» в соответствии с нормами уголовных законоположений есть группа преступников, похищающих чужое имущество с помощью убийств, грабежей и подкупов. Верно?

— Верно.

— А теперь я спрошу вас, гражданка Стахович: отчего вы мне лжете?

— Если вы посмеете продолжать в таком тоне, я откажусь отвечать. Я прожила свое, и смертью вы меня не запугаете.

— Смертью я вас пугать не собираюсь. Более того: мы вас завтра же отпустим... Но мы найдем возможность сказать людям — за нашей прессой следят и в Париже и в Лондоне, — как вы, подкупив известного нам человека, получили неделю назад в бывшем Купеческом банке по фиктивной справке драгоценности адъютанта великого князя Сергея Александровича и сейчас тщитесь эти драгоценности выдать за свои, фамильные, доставшиеся вам в наследство от ваших дворянских предков по форме и букве закона.

— Нет! Нет! — вдруг зашептала Стахович. — Нет! Нет!

Каждое слово, произнесенное сейчас Владимировым, было правдой.

Наблюдение, установленное за Стахович после показаний Стеф-Стопанского, дало поразительные результаты: старуху увидели входящей в дом поздним вечером с чемоданчиком. Извозчик на допросе сказал, что старуха наняла его возле Купеческого банка, откуда она вышла с мужчиной. Тот пешком ушел в переулок, а старуха вернулась домой, как сказал извозчик, «на мне». Старуху взяли сразу же — она даже не успела спрятать драгоценности. Владимиров не знал лишь фамилии ее спутника, поэтому он и сказал так — «подкупив известного нам человека», рассчитывая, что после такого сокрушительного удара старуха должна будет открыться до конца.

— Да! — повторил он. — Да, да! И теперь оставим эмоции. Перейдем к делу. Адрес вашего попутчика: вы с ним вчера вышли из Купеческого банка...

— Да знаете ли вы, что такое последняя любовь женщины?! Я не открою его вам! Он прелесть, он самый нежный, он честен и быстр, как Отелло...

— Самый омерзительный для меня человек в литературе — Отелло, — ломая темп допроса, усмешливо проговорил Владимиров, — он взял себе варварское право лишать другого человека жизни, подчиняясь слепому чувству ревности... По мировому законоположению Отелло следовало бы судить как злодея...

— Вы никогда не любили...

— Любил, любил, — успокоил старуху Владимиров, — любил, Елена Августовна.

— Один из самых черных людей земли русской — граф Толстой тоже ненавидел Шекспира.

— Спасибо, — сказал Владимиров, — за сопоставление. Сугубо горд. Но мы несколько отвлеклись в литературоведение. Вернемся к бриллиантам. Первое: адрес вашего спутника; второе: номер телефона посольства, куда вы передавали драгоценности; третье: адрес вашего маклера, который за вас играет на лондонской бирже.

Директор бывшего Купеческого банка сообщил чекистам, что на работу не вышел замзав отделом драгоценностей Михаил Михайлович Крутов — тот самый, который, как выяснилось, выдал Стахович драгоценности великого князя по липовой справке Наркомфина. Наряд МЧК, отправленный к нему на квартиру, сообщил, что Крутов сегодня утром выписался и сказал, что срочно выезжает в Киев к заболевшей сестре. По наведенным справкам, в Киеве у Крутова родственников не было.

Крутов поселился в Сергиеве-Посаде у Олега — брата налетчика и бандита Фаддейки. Олег третью неделю мучился запоем. Работал он по сейфам артистично, он их как орехи щелкал. Сейчас, правда, Олег работал мало, больше пил, спрятавшись на маленькой дачке. Место здесь было тихое.

Фаддейка приехал к брату под вечер — днем он по городу не ходил: ЧК свирепствовала вовсю.

— Вот что, — сказал ему Крутов, помешивая ножом чай в алюминиевой кружке, — тактику будем, друг мой, ломать. Не от мужчин станем идти к бабам, а наоборот...

— Ты ясней говори, — попросил Фаддейка, — а то мудришь сверх меры, я и понять не могу ни хрена.

— Сейчас, когда ЧК всех старичков с камнями хлопнула, оставшиеся немедленно уйдут на нелегалку. А ведь «все мое ношу с собой» — понял? Все камушки они

станут в карманах носить. У тебя, говорил, есть сутенеры?

— Есть.

— Что у них за бабы?

— Ничего бабки, — хмыкнул Фаддейка, — сисястые.

— Сисястых ты себе оставь. Нам нужны худые, молоденькие — желательно из аристократок. На таких клюнут. Ничего не понял?

— Ничего, — ответил Фаддейка, засмеявшись.

— Ладно. Завтра сведи меня со своими сутенерами — я им сам директивы дам...

РЕВЕЛЬСКОЕ ИНТЕРМЕЦЦО

Никандров затаил дыхание, когда пограничник начал второй раз листать его новенький, пахнущий клеенкой паспорт.

— По профессии вы кем будете?

— Литератор.

— Чего ж уезжаете?

«Неужели большевики снова со мной поиграли? — мелькнуло зло и устало. — Ну что им от меня надо?! Неужели завернут в Москву? У, рожа-то какая: с веснушками и ноздри белые. Мальчишка — а уже истерик».

Но пограничник, повертев паспорт, вернул его Никандрову, еще раз подозрительно оглядел писателя с ног до головы и вышел из купе.

Никандров закрыл глаза и откинулся на плюшевую жесткую спинку дивана.

«Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ», — прочитал он про себя Лермонтова и сглотнул слезы. — Они меня слезливым сделали, комиссары проклятые. Правы были римляне — нет ничего страшнее восставших рабов: их свобода тиранична и слепа, а идеалы проникнуты варварством и жестокостью, потому что проповедуют они всеобщую доброту, а всеобщего нет ничего, кроме рождения и смерти», — подумал он, прислушиваясь к тому, как пограничник стучал в соседнее купе, где ехал таинственный комиссар из Москвы, сопровождаемый двумя чекистами в коже и с маузерами.

Никандров вышел в коридор. Поначалу он решил закрыться в купе и сидеть здесь до тех пор, пока состав не уйдет за границу, но потом брезгливо подумал: «Неужели они меня сделали таким жалким трусом, что я боюсь даже их соседствующего присутствия? Совестно, гражданин Никандров, совестно». И он под-

нялся, по-солдатски одернул пиджак и, задержавшись взглядом на седеющем сорокалетнем человеке, криво улыбавшемся в зеркале, резко отворил дверь.

Вагон был полупустой.

В соседнем купе командир пограничного наряда и чекисты в кожанках прощались с таинственным приземистым человеком: глаза — маслины, касторовое пальто и тупорылые — по последней американской моде — штиблеты.

— Желаем счастливого пути, — сказал один из чекистов, пожимая руку своему подопечному, — и скорейшего благополучного возвращения, товарищ Пожамчи.

Пограничники и чекисты ушли, паровоз прогудел, лязгнули буфера, продзенькали графины в медных держалках, и поезд медленно ушел из России в Эстонию.

Пожамчи стоял возле окна, не снимая пальто, несмотря на то, что в вагоне было жарко натоплено.

Поплыли крестьянские коттеджи — дома крыты черепицей, кладка каменная, большие окна.

Никандров вспомнил Россию: подслеповатые оконца, света нет, разорение, грязь, нищета...

— И не совестно вам, комиссар? — спросил Никандров неожиданно для себя.

— Простите? Вы мне? — улыбнулся Пожамчи.

— Кому же еще! Штиблеты комиссар носит малиновые, а несчастный мужик как жил в зверстве, так и живет. На что замахнулись? Ни одна страна в мире не приходила в другую страну с униженной просьбой: «Владейте нами, земля наша обильна, а порядка нет!» Россия — приходила. А вы ее— в передовую революцию — носом, носом! А она к революции готова, как я — к деторождению!

— Да вы не волнуйтесь, — попросил Пожамчи. — Может, я...

— Что вы?! Что?! Нет революций! Честолюбцы есть! Сколько ж вы миллионов людей обманули, а?! Куда ей — грязной и нищей России, социальную революцию совершать?! Им, — Никандров яростно кивнул головой на проплывавший эстонский пейзаж, — следовало начинать, а не нам с голой задницей и горячечными татарскими инстинктами!

Никандров чувствовал, что сейчас он выглядит смешно и жалко, выкрикивая то, что наболело, но он не мог остановить себя. Он видел, что его попутчик хочет что-то возразить, но это бесило его еще более.

— Я знаю ваши возражения! Страна безграмотных рабов тщится предложить новый путь миру! Мы, не знающие, что такое метрополитен и аэроплан, замахиваемся на мощь Северо-Американских Штатов! Пьяное мужичье, сжигающее картины только потому, что они висели в помещичьем доме, собирается переделать мир! Революция — верх логического развития! Революция обязана сделать жизнь лучше той, которую она отвергла! А что ваша революция принесла?! Голод! Разруху! Власть быдла, которое мне диктует, что надо, а чего не надо писать!

Чем яростнее выкрикивал Никандров, тем улыбчивее делалось лицо Пожамчи, и он уже не прижимал к груди так напуганно толстый свиной кожи портфель.

— Что же смеетесь-то вы? — спросил Никандров с болью. — Над собой не пришлось бы вам посмеяться. Зло мстительно, только оно и во втором колене мстить будет, и в третьем. О себе забыли, упиваясь минутой власти, так о детях бы подумали! Не простит вам Россия того, что вы с ней вытворили, — никогда не простит, и путь ее назад, к разуму, будет кровавым, и кровь этих лет не пойдет ни в какое сравнение с той кровью, которая грядет вам за грехи ваши...

— Вы напрасно так изволите гневаться, — усмехнувшись, сказал Пожамчи, воспользовавшись тем, что Никандров раскуривал трубку. — Я, с вашего позволения, думаю так же, как и вы, и не собираюсь возвращаться в Совдепию...

— Что?!

— Да вот то самое, — как-то злорадно ответил Пожамчи, — только, судя по всему, вам это было легче — «адье, Россия!», а вот мне уехать больших трудов стоило и пребольшого риска, милостивый государь.

И, взглянув еще раз на расписание остановок, Пожамчи не спеша направился к выходу: поезд останавливался на какой-то маленькой станции. Возле вокзального здания Никандров увидел несколько саней и черный, звероподобный автомобиль — скорее всего немецкий, — с номером, заляпанным коричневой грязью.

И вдруг Никандров рассмеялся. Он приседал, хлопал себя большими сухими ладонями, иссеченными резкими линиями, по коленям, задыхаясь от смеха, а потом снова почувствовал соленые слезы в горле. «Господи, — думал он, — свободен! Он — как крыса с тонущего ко-

рабля, а я — гордо! Я домой вернусь как победитель, а он — никогда!»

Проводник, протерев тряпочкой медный поручень, сказал Пожамчи:

— Здесь мы всего пять минут, не отстаньте, товарищ. Они тут по-русскому не лопочут, все по-своему...

— Спасибо, — ответил Пожамчи и, не по годам легко спрыгнув на перрон, затрусил в вокзал.

За столиком в маленьком чистеньком буфете сидели три человека. Они мельком глянули на вошедшего и продолжали молча сосать пиво из глиняных кружек.

— Милейший, — обратился Пожамчи к буфетчику, — кого здесь можно подрядить до Ревеля?

— Поезд идет, — ответил буфетчик на чистом русском, — зачем же лошадки?

Пожамчи угодливо засмеялся:

— Я чтобы в саночках. Ну-ка, стопочку мне и рыбки.

— Какой рыбки?

— А вот этой, красненькой. У красных с красненькой рыбкой плохо! — снова посмеялся он, доставая из внутреннего кармана пальто бумажник.

— Не надо вам пить, — услышал он голос сзади и почувствовал на своем плече руку.

Стало ему сразу легко-легко, и ноги ослабли, сделавшись враз ледяными и влажными. Он обернулся. Те трое, что сидели за столиком возле окна, теперь были у него за спиной: двое быстро ощупали карманы — нет ли оружия, а третий, видимо главный, — по-прежнему держал руку на его плече.

— Вы кто? — спросил Пожамчи, не узнавая своего голоса.

— Пить вам не следует, а то посол запах водки учует, у товарища Литвинова нюх отменный, и будут вам после неприятности в Наркомфине у Николай Николаича, у товарища Крестинского...

— Так вы наши будете?

— Наши, — ответил старший и подтолкнул его к выходу. — Вас посольские должны на следующей станции встречать?

— А что?

— Вы мне вопросами не егозите, — сказал старший, беря его под руку, — вы отвечайте.

— На следующей... А вы — вот они, даже пораньше, — залепетал Пожамчи, — и слава богу, а то я весь в страхе, поэтому и решил себе позволить для храбрости.

— Ну и хорошо... Мы сейчас к вам в купе зайдем — вы один ведь следуете?

— Именно так.

— Ну и хорошо, — повторил старший, помогая Пожамчи подняться в вагон.

«Господи, — пронеслось в мозгу холодно и стремительно, — а я ведь литератору брякнул, что в Совдепию вертаться не хочу! Господи, неужели пропал? К полиции брошусь в Ревеле, кричать стану, отобьют...»

Трое завели Пожамчи в купе — Никандрова в коридоре не было, — затворили дверь и сели на плюшевые сиденья, только старший остался стоять, чуть склонившись над испуганным человеком в касторовом пальто с зажатым в правой руке желтым портфелем.

— Сколько у вас сейчас бриллиантов?

— Если по долларовому курсу — то... Я только прошу извинить — вы мне даже мандатов не показали...

Старший обернулся к спутникам:

— Влас Игоревич, предъявите ваш мандат.

Влас Игоревич достал из кармана тупорылый браунинг и навел его на Пожамчи.

— Вот это первый мандат, — неторопливо заговорил старший, — но он слишком громкий, поэтому мы взяли и второй мандат, не так ли, Валентин Францевич?

Валентин Францевич вытащил руку из кармана коротенького казакина, отороченного серой мерлушкой. В руке у него был нож, и Пожамчи сразу же ощутил, какой он острый, этот нож, и какой холодный, хотя видел он хирургически белый кусок стали всего мгновение: Валентин Францевич сразу же спрятал его, усмешливо глядя на гохрановского контролера.

— Так вы что ж — грабители?

— Неужели я похож на грабителя? — спросил старший. — В прошлые годы вы меня даже по имени-отчеству не рисковали, а все больше «ваше превосходительство».

— Господи, Виктор Витальевич, неужто вы?!

— Слава богу, — улыбнулся старший, — признали. Усы меня так старят или очки? Так сколько в долларах будет?

— Миллиона два будет.

— И вы с таким-то богатством, принадлежащим республике рабочих и крестьян, деру хотели дать? Ай-яй-яй, Николай Макарыч, как совестно! Народ голодает, а вы...

— Господи, Виктор Витальевич, да я готов отдать вам половину, только...

— Не буду, не буду, — усмехнулся Виктор Витальевич, — я вас убивать не буду. Курить хотите?

— Бросил.

— Сердечко?

— Да нет, не жалуюсь. Табак дороговат.

— С вашими-то деньгами?

— Курочка по зернышку клюет, — попробовал пошутить Николай Макарыч и даже чуть посмеялся, уголком глаз посматривая на двух сидевших у двери, но Виктор Витальевич его оборвал:

— Ладно. Воспоминания кончились, времени у нас в обрез. Закурить — я один закурю. На следующей станции к вам сядут двое из посольства, чтобы камушки охранять; нам стоило большого труда опередить их, так что давайте будем кратки и серьезны. Как вы думаете, среди тех камушков, которые у вас в портфеле, моей семье что-либо принадлежит?

— Колье изумрудное и осыпь — ваша тетушка их брала у меня за тридцать две тысячи золотом весной семнадцатого, до переворота.

Пожамчи потянулся к портфелю, но Виктор Витальевич снова положил ладонь на его плечо:

— Не надо, Николай Макарыч. Не возьму я камушки, они всегда мне были ненавистны, а уж сейчас тем более. У меня к вам просьба: доставить эти камушки товарищу Литвинову в самой полнейшей сохранности. Ясно?

— Не могу понять, ваше превосходительство...

Виктор Витальевич усмехнулся:

— Да уж превосходительство, куда как превзойти мое превосходительство! Так вот, не превосходительство, я и не граф, а просто Воронцов. Эмигрант. Враг трудового народа. Без родины и племени. А это очень плохо, Николай Макарыч. Воронцову быть на земле без роду и племени. Вам, торговцам, легко: для вас родина там, где можно вести куплю-продажу, а для меня родина — одна, и с ней в сердце я умру, и зовется она — Россия. И я туда намерен вернуться. Тогда и вам сызнова легче станет, и торговать можно будет камушками, и гешефт с моей тетечкой делать. И вы, Николай Макарыч, поможете мне вернуться на родину, а для этого нужно, чтобы вы по-прежнему трудились в Гохране. Вы сколько имели дохода до переворота?

— Тринадцать тысяч. По счету в банке легко проверить.

— Я не Рабкрин, проверять не стану, я вам на слово верю. Как думаете — долго еще большевики продержатся?

— Долго не смогут.

— А если еще мы поднажмем?

— Тогда повалятся, Виктор Витальевич. Только если вы серьезно будете за дело браться, попусту народ не гневить — поркой там или презрением к простолюдинам...

— Ну, знаете, от ошибок кто гарантирован... Битые— мы умней стали. Так вот: за все годы Совдепии получите по пятьдесят тысяч золотом. Расписку давать — или на слово поверите?

— Не могу я туда возвращаться, нет сил моих.

— Николай Макарыч, я хочу быть доказательным. Слушайте меня внимательно: если вы, несмотря на мою просьбу, тем не менее решите сейчас сбежать, я сделаю так, что вас выдадут полиции: вы похитили ценности, принадлежащие не государству — нет, а нам — Воронцовым, Нарышкиным, Юсуповым. Никто у вас этих камушков не примет, а мы докажем свое, вы это знаете...

— Знаю, — вздохнул Николай Макарыч, — как не знать...

— И полиция посадит вас в тюрьму, а здешние тюрьмы ничуть не лучше московских. Даже хуже: тут амнистий не бывает, тут сроки, как и деньги, считать научены. И учтите, здешние правители так же, как мы, ненавидят кремлевских властелинов, только они еще их очень боятся и вас за милую душу выдадут Москве, провались кто-нибудь из ихних посольских дворников. Через пять минут будет остановка, и к вам придут люди от Литвинова и довезут вас прямо до улицы Пикк. Если вы по дороге вздумаете кричать и звать полицию — мои друзья помогут чекистам, которые будут вас охранять. Вы не откажетесь выполнить эту работу, Валентин Францевич?

Тот молча кивнул головой.

— Если же вы согласитесь выполнять наши просьбы, — продолжал Воронцов, — то я готов показать вам ваш паспорт — гражданина Германии. Вы его получите здесь же, после того как сделаете еще три-четыре рейса. Вы хоть понимаете, что у вас нет иного выхода, как принять мое условие?

— Дурак не поймет, — ответил Николай Макарыч.

— Ну и хорошо. Завтра приходите вечерком в подвальчик «Золотая крона», я вас там найду. Договорились?

— Да.

— Не свирепейте, не свирепейте, — мягко улыбнулся Воронцов, — с эдаким-то богатством вы тут не справитесь — темечко не выдержит, да и порода не та — слишком уж точно свой годовой доход помните.

— Я-то бы справился, Виктор Витальевич, а вот, простите, аристократы, которые своих доходов не знали и считать не хотели, — вот они Россию-то и подвели к краху. Аристократу надобно Россию было любить платонически, а управление тем передать, кто цифру любит и помнит.

— А ведь это программа! Глядишь, в новом правительстве мы вам пост товарища министра финансов приготовим.

— А министр — из вашего сословия — снова мне указания станет делать? Ему б лучше на бегах играть и охотой заниматься, тут слов нет — ваша возьмет...

— Полно, полно, Николай Макарыч, — ответил Воронцов, и скула его заиграла. — Мой прадед выходил под пули на Сенатскую площадь, а ведь и игрок был, и выезды держал. Мы Россию любим, а вам лишь схема важна для приложения неуемных сил. Это ежели серьезно. А если бы вы решились бежать с этими-то кремлевскими миллионами, вас бы чекисты все равно выловили. Вы должны войти в доверие, чтобы не страшились обыска на границе: тогда и Литвинову камни дадите, и себе вывезете. Сколько себе притащите — ваше дело. Мне — с каждой ездки — будете давать миллион. Себе — хоть пять, я вас контролировать не стану. До свидания. Мои друзья будут в соседнем купе — в случае чего окликните их, они помогут. Да и я неподалеку...

— Вы литератора куда-нибудь уведите, я ему — в глупости — брякнул, что из Совдепии бежал...

Трое быстро переглянулись.

— Какой литератор? — спросил Воронцов.

— Я имени не запомнил, слышал только — литератор.

— Зря, — сказал Воронцов, — как же вы так?

Воронцов достал из внутреннего кармана длинный стилет, нажал на хитрую кнопочку — остро выскочило тонкое шило — и вопросительно поглядел на Власа Игоревича. Тот протянул руку, и Воронцов отдал ему стилет.

Воронцов выходил из купе последним. Он осторожно

прикрыл дверь, обернулся и выдохнул — как простонал, увидев возле окна Никандрова:

— Леня, Бог ты мой! Леонид, миленький ты мой!

Они бросились друг к другу и замерли, обнявшись.

* * *

Посол РСФСР в Эстонии Литвинов[1] медленно поднялся из-за стола и неторопливо, чуть вразвалочку двинулся навстречу Пожамчи. Он ощупал его своими холодными голубыми глазами, спрятанными за толстые стекла очков, суховато улыбнулся и жестом пригласил главного оценщика Гохрана республики к маленькому — ножки рахитично выгнуты — столику; был он накрыт на две персоны.

— Добрались без приключений? — спросил Литвинов.

— Да! Все в порядке, слава богу, — суетливо, чересчур подобострастно улыбаясь и понимая, что со стороны это смотрится плохо, ответил Пожамчи. Ему отчего-то казалось, что этот большеголовый человек в конце беседы обязательно спросит его и о литературе, и о беседе с Воронцовым в купе, и поэтому он чувствовал себя неуверенно, словно бы под микроскопом. Он не успел еще прийти в себя, выстроить ясную линию поведения, потому что рослые дипломаты — Хромов и Потапчук — сели в его купе через три минуты после того, как вышел Воронцов, а с вокзала сразу же отвезли в посольство и здесь, не дав ему умыться или перекусить, пригласили к послу.

— Ну, если слава богу, — усмехнулся своей странной улыбкой Литвинов, — тогда прошу вас, угощайтесь кофе.

— Благодарствуйте.

«Посадский, вероятно, — подумал Литвинов, — почему посадские так липки к политике и финансам? Ущербность самолюбия или завистливое желание стать городским?»

— На словах мне ничего не просили передать?

— Товарищ Крестинский наказывал вам поклон передать.

— Спасибо. Занятно: «наказывал» — одновременно читается и как «просил», и как «выпорол»...

— Кто выпорол? — не понял Пожамчи.

---

[1] Умер накануне ареста в 1951 г. — *Ю. С.*

— Пока никто никого, — ответил Литвинов, подумав: «Если бы он говорил своими терминами, то, вероятно, я бы его также не сразу понимал».

Он уперся тяжелым своим взглядом в надбровье собеседника и спросил:

— Какие-либо пожелания у вас есть? Просьбы?

— Да никаких просьб нет, товарищ Литвинов, что вы...

— Тогда позвольте мне поблагодарить вас за то благородное дело, которое вы совершили, переправив нам драгоценности. Позвольте мне вручить вам премию, — и Литвинов передал Пожамчи конверт с двумя зелененькими бумажками — по сто долларов каждая...

— Благодарствуйте, — сказал Пожамчи и не уследил за лицом — он это понял сразу же: Литвинов цепко схватил его своим особым взглядом. Видимо, эта презрительная усмешка все же показала Литвинову то, что он так тщательно старался скрывать — и сегодня, и все те пять лет — с тех пор как победила революция. Как же было ему не усмехнуться презрительно, когда у него в бумажнике лежало восемь тысяч долларов, а в портфеле, который он передаст сейчас этому холодноглазому бандиту, было почти два миллиона?!

«Все мы под Богом ходим, — подумал Пожамчи, — Надо ж мне было воронцовской тетке в рост под изумруды давать?! Близкую выгоду всегда горазды видеть, а вот вперед заглянуть, там, где черненько все и костисто, — о том тщимся не думать — как кроты».

— Вы какой доход имели до революции? — спросил Литвинов.

— Доход? Я запамятовал. И в доходе ли счастье?

— Это верно. А в чем оно — счастье?

— Кто знает... — устало ответил Пожамчи. — Каждое счастье — разное, одинаковых не бывает.

— Тоже верно, — согласился посол и поднялся.

Пожамчи протянул ему портфель:

— Вот тут... Все... Вы будете принимать или кто из помощников?

— А что ж принимать? — Литвинов пожал плечами. — Вы могли с этим чемоданчиком исчезнуть. С первой же эстонской станции.

Пожамчи снова похолодел и, угодливо посмеявшись, опасливо поднял глаза на посла. Тот не мигая смотрел на него, и лицо его, казалось, говорило: «Ну, выкладывай все, облегчайся, говори...»

— Почему? — невпопад спросил Пожамчи. — Зачем же уходить, я и не держал такого в мыслях...

Он расстегнул портфель и, понимая, что делает совсем не то, что надо бы делать, высыпал на стол замшевые мешочки, в которых лежали камни и ожерелья. Он придерживал их жестом, свойственным всем ювелирам. Движение это было вкрадчивым и робким, но одновременно сильным, словно движение отца, который укачивает дитя.

Зеленые, сине-белые, красно-дымчатые камни легли на стол, и, — странно, отметил для себя Литвинов, — стол сразу же стал иным, тяжелым, и не светлым вовсе, а темным, вбирающим в себя загадочные высверки камней. Камни, казалось, только изредка вбирали в себя жухлые лучи солнца, и тогда холодно выстреливали граненым, переливным, звездным светом, и длилось это всего мгновение, а после солнце растворялось в молчании камня, и он, продолжая быть прежним, тем не менее становился иным — в таинственном, сокрытом от человеческого понимания качестве: он вбирал в себя свет навсегда — прочно и жадно.

— Любите камни? — услышал Пожамчи голос посла. Он услышал его глуховатый голос откуда-то издалека, и было противно ему слышать этот голос, потому что он был сух и обычен, а Пожамчи, разглядывая камни, всегда говорил шепотом — как в храме божьем.

— Как же их не любить? — ответил он. — Тут за каждым камнем — история.

— Вот этот, например, — спросил Литвинов, притрагиваясь пальцем к большому серо-голубому жемчугу. — Он же бесцветный и неинтересный...

— Жемчуг умирает, если не чувствует тела рядом с собою. Камень стал таким жухлым оттого, что пролежал пять лет в хранилище. Жемчуг относится к тому редкостному типу драгоценных камней, которые знают влюбленность. Вот смотрите. — Пожамчи положил камень под язык и замер. Он просидел так с минуту, потом достал жемчуг из-за щеки. — Видите? Камень начал розоветь. Его можно спасти. Он умрет лет через десять, если его не носить на руке, а держать в душном подвале. Вот эти бриллианты — из филаретовского хранилища. Бриллиант врачует сердце. Если, например, носить бриллиантовую заколку в галстуке, у вас никогда не будет сердечных болей... Эти изумруды из Саксонии, их в руках своих держал Фридрих Великий, шведский Карл, Петр Первый... А после они были в руках людей моей профес-

сии — поэтому, верно, и сохранились; мы ведь молчуны — как все влюбленные...

Воронцов снимал маленькую мансарду на окраине Ревеля. Домик был деревянный; пахло в нем морем и шахтой одновременно. Хозяин, Ганс Саакс, плавал в Америку на «торговцах» и с тех далеких пор «заболел» морем: дома у него лежали просмоленные канаты, манильские тросы, вобравшие в себя таинственные, далекие запахи парусников прошлого века; топили дом, как и повсюду в Эстонии, сланцем, поэтому Воронцов, помогая Никандрову раздеться, сказал:

— Располагайся, Ленюшка, — сказал Воронцов, сбрасывая свое легкое пальтецо, — я тебе уступлю свое лежбище, а сам устроюсь на полу, по-фронтовому.

— Я тебя стеснять не стану, Виктор, я в отель двинусь: там можно будет пресс-конференцию собрать, с издателями встретиться.

Воронцов как-то странно глянул на Никандрова, и легкое подобие усмешки изменило его лицо, и стало оно грустным и пронзительно-красивым.

— Ну-ну, — сказал он, — денег-то у тебя сколько?

— Денег нет... Так, мелочь, долларов двадцать... Зато я привез рукопись нового романа.

Воронцов достал из маленького шкафчика водку, пару крутых яиц и круг ноздрястого, ярко-желтого сыра.

— О чем роман?

— О декабристах.

Лицо Воронцова замерло, и он негромко спросил:

— А кому здесь декабристы нужны?

— Ох уж этот скепсис российский!

— Ну-ну, — повторил Воронцов и разлил водку по стаканам.

— Граненые, — заметил Никандров, — как у твоего егеря в Сосновке.

— У Елизарушки, — сказал Воронцов, и лицо его потеплело, дрогнуло, — как-то сейчас старик? Любил он меня и верен был исступленной верностью — такая есть только у русских егерей. — Он отрезал два толстых ломтя сыра и добавил: — И жен.

— Ну уж если они изменяют — и жены и егеря, — тоже по-русски: до одури и безжалостно.

— В том, что произошло с Верой, повинен я.

— Я не о Вере... Елизарушка первым твой дом в Сосновке поджег и коням глаза выкалывал... штопором...

— Этого быть не может, Леня. Сейчас невесть что про человека скажут — просто так, скуки ради...

Никандров видел Елизарушку, когда жил в соседней деревеньке, — обросший, седеющий, в рванье — кто бы в нем тогда признал блистательного петербургского литератора! Он сам видел, как Елизарушка рвал на тощей своей, с выпирающими, угластыми ключицами груди рубаху и кричал: «Попили нашу кровушку, паразиты! Хватит!»

— Может быть, ты прав, — ответил Никандров, не желая делать больно товарищу, и впервые за все время внимательно осмотрел комнату Воронцова. Он увидел большие, расплывшиеся пятна на потолке, отошедшие, несвежие обои, плохо покрашенный пол; под ножку стола была подоткнута сложенная в несколько раз газета.

— Ну, за встречу, Леня.

Они молча выпили.

— Господи, как я завидую, что ты еще сегодня в России был...

— Не завидуй, Виктор. Ты здесь, у себя в ко... — Никандров осекся было, но Воронцов помог ему:

— В конуре, в конуре, ты не щади, Леня. В конуре. Как пес. Хотя мои псы в доме жили, под библиотекой, помнишь, ты раз там уснул на святки вместе с борзой... Как ее? Лизавета, кажется. Верно, мы ее из Джерри перекрестили... В конуре, Леня... Ну, еще? В угон хорошо ляжет стакашка.

— Погоди, продам роман, и махнем в Париж, там наших полно.

— В Берлине больше.

Они выпили еще по стакану. Воронцов длинноного, складно поднялся и, как все кавалеристы, легко ступая, пошел к двери.

— Я сейчас. Предупрежу хозяина, что вернемся под утро. У меня теперь хозяин. Я у хозяев живу, Леня.

Никандров почувствовал громадную жалость к этому лысеющему сероглазому человеку, владевшему в России поместьями, которые славились хлебосольством, широким — на английский манер — демократизмом, великолепным собранием живописи, библиотеками, а главное, тем редкостным духом доброжелательства и заинтересованной уважительности, который был чужд как нуворишам, так и бедневшим дворянам, которые всячески подчеркивали свое именно дворянское, но никак не аристократическое происхождение.

«А ведь великолепно держится, — думал Никандров, — потеряв все, что можно было, он сохранил самого себя, достоинство. Поэтому победит. Мы гибнем, когда вступаем в сделку с собою. За этим зорко смотрит царь-случай, выстраивающий свои загадочные комбинации из взаимосвязанности добра и зла, безволия и напора, верности и предательства. Оступись — в себе самом, наедине со своим истинным «я», уступи злу хоть в толике — и ты погиб. И пусть после сделки с самим собой тебя ждет на какое-то время слава, признание и богатство, все равно ты обречен неумолимой логикой его величества случая, которому все мы подвластны, но понять который нам не дано. Он как Бог. Его надо свято, духовно бояться; только такой страх может обуздать дьявола в человеке».

Спустившись к хозяину, Воронцов спросил:

— Ганс Густавович, позвольте воспользоваться телефонным аппаратом?

— Та, пожалуйста, только не очень долго...

Воронцов позвонил в редакцию газеты «Ваба сына» и попросил к аппарату господина Юрла.

— Добрый вечер, Карл Эннович, это Воронцов.

— Добрый вечер, граф.

— Сегодня из Москвы к вам прибыл писатель Никандров.

— Ко мне? — удивился ведущий репортер отдела искусства и хроники. — Я его не приглашал. Видимо, он прибыл к вам, а не к нам...

— Нет, с нами его связывать не стоит. Он вне политики, он — один из талантливейших писателей России. Я бы хотел просить вас прийти сегодня в «Золотую крону» — Никандров расскажет о том, что сейчас происходит в России.

— Мы в общем-то догадываемся, что происходит в России.

— Но вы получите самые свежие новости от писателя, который был вынужден покинуть родину.

— Понимаю, понимаю... Поить будете?

— Водкой напоим.

— Видите, какой я стал грубый материалист, после того как на вашей родине победили материалисты? — посмеялся Юрла. — Нельзя отставать от времени.

— К десяти ждем.

Воронцов опустил трубку на рычаг, потер сильными

пальцами скулы и растянул несколько раз губы в гримасе яростного, беззвучного смеха.

В редакции двух русских газет — «Последние известия» и «Народное дело» — звонить было рискованно. «Последние известия» более тяготели к платформе кадетов, а «Народное дело» являлось органом социалистов-революционеров. Газеты эти не имели здесь веса, а Воронцову хотелось привлечь к Никандрову внимание не столько несчастной, безденежной, погрязшей в интригах эмиграции, сколько местной интеллигенции. Поэтому ни редактору «Последних известий» Ляхницкому, ни Владимиру Баранову, ведущему критику «Народного дела», Воронцов звонить не стал. А редактору Вахту он попросту звонить не мог — эсер ненавидел его.

«У нас всегда так, — подумал он, листая записную книжку, — когда иностранцы проявят интерес — тогда и свои зашевелятся. А если я сейчас стану нашим навязывать Никандрова — сразу начнут нос воротить: одни за то, что он был недостаточно левый, другие — за то, что не слыл крайне правым... Нет уж — пусть здешние о нем шум подымут, тогда наши начнут — без моей на то просьбы».

— Ян? Здравствуйте, — сказал Воронцов, вызвав следующий номер. — У меня к вам просьба. Возьмите кого-нибудь из собратьев-поэтов и приходите сегодня в «Золотую крону» к десяти: из Москвы приехал Никандров.

— Кто это?

— Ваш коллега — писатель. Он умница и прелестный парень. Я пригласил Юрла, он даст об этом информацию: пресс-конференция, которую ведут поэты, — сама по себе сенсационна.

Обернувшись к Сааксу, Воронцов снова потер пальцами холодные, гладко выбритые щеки и сказал:

— Ганс Густавович, а теперь просьба. Ссудите меня, пожалуйста, пятью тысячами марок.

— Не моку, друк мой. Никак не моку.

— Я всегда был аккуратен... Пять тысяч — всего пятнадцать долларов...

— Та, но в вашей аккуратности заинтересован только один человек — это вы. Иначе вам придется платить проценты. А в чем заинтересован я? Не обижайтесь, господин Форонцоф, но каждый человек должен иметь свою цель.

— Вы правы... Можно позвонить еще раз?

— Та, та, пожалуйста, я же отфетил фам.

Воронцов чуть прикрыл трубку рукой:

— Женя, это я. Приехал Никандров. Будет очень жестоко, если он в первый же день столкнется с... Ну, ты понимаешь. Возьми кого-нибудь из наших, и приходите к десяти в «Крону». Если сегодня Замятина, Холов и Глебов не заняты в кабаре — тащи их тоже. И подготовьте побольше вопросов о прошлом, о его роли в нашей культурной жизни и о связях с переводчиками в Европе. Ты понял меня?

Воронцов снова обернулся к Гансу Густавовичу и сказал:

— Я вам предлагаю обручальное кольцо. Вот оно. Как?

— Та, но уже фсе юфелиры закрыли торкофлю

— Что же я — медь на пальце ношу?

— Почему медь? Не медь. Я понимаю, что фы не будете носить медь на пальце. От меди на пальце остаются синие потеки и потом начинается рефматисм. Просто я не знаю цены на это кольцо, я не хочу быть нечестным.

— Я не продаю кольцо. Оставляю в заклад. За пять тысяч марок. Если я не верну их вам через неделю — вы его продадите за двадцать тысяч.

— Ох, какой хитрый и умный, косподин Форонцоф, — посмеялся Саакс, доставая деньги, — и такой рискофанный. Разве можно остафлять в заклат любофь?

— А вот это уже не ваше дело.

— До сфиданья. И не сердитесь, я шучу. Кстати, к фам зфонила женщина, которая зфонит поздно фечером.

— Что она просила передать?

— Она просила сказать, что состояние фашего друга ухудшилось.

— Резко ухудшилось?

— Та, та, ферно, она сказал — «резко ухудшилось». Она просила фас зайти к нему секодня фечером.

— Мне придется еще раз позвонить, — сказал Воронцов и, не дожидаясь обстоятельно-медлительного разрешения Саакса, вызвал номер и по-немецки, чуть изменив голос, сказал: — Пожалуйста, передайте той даме, которая по субботам снимает седьмую комнату, что сегодня я задержусь и буду не в десять, а к полуночи.

— Да, господин, я оставлю записку нашей гостье.

— Не надо. Вы передайте ей на словах.

— Хорошо, господин, я передам на словах.

— Прости, я задержался, — сказал Воронцов, поднявшись к себе, — почему ты не пил без меня, Леня?

— Один не могу.

— Значит, гарантирован от алкоголизма.

— *Это верно.*

— Тут вокруг тебя начался ажиотаж: пресса, поэты.

— Пронюхали? Откуда бы?

— Щелкоперы — труд у них такой, да и ты — не иголка в стоге сена. Голоден?

— Видимо — да, только я голода не ощущаю.

— Смена белья есть? Не вшив?

— Я прошел санпропускник, а смены белья нет. Куда-нибудь двинем?

— Сорочки посвежей нет? Галстуха?

— Ничего, из Москвы приехал — не из Вашингтона.

— Если бы ты приехал из Вашингтона — сошло бы, а поелику из Москвы прибыл — швейцар не пустит в кабак.

— Кого?

— Нас. Вернее, тебя, я при галстухе.

— То есть как это прогонит? Что он — член Совдепа?

— Совсем даже нет, — ответил Воронцов, доставая из чемодана, спрятанного под кроватью, туго накрахмаленную сорочку, — он очень Совдепы не любит, хотя и трудящийся, так сказать. Среди тех, кто посвятил себя лакейству, тоже есть свои парии и патриции, рабы и хищники. Хищники давно поняли, что богатство и независимость может прийти только через изощренное, особое самоунижение. Он клиента ненавидит — тяжело ненавидит, а весь в улыбке, почтении, нежности, дозированном панибратстве. Я думаю, московские лакеи картотеку вели на нас — до переворота. А по счету платить им некому, так они жеребцам глаза... Штопором...

Никандров стремительно глянул на Воронцова, но лицо его было непроницаемо.

— Здешняя индустрия лакейского унижения поразительная, — продолжал Воронцов. — Она предполагает восемь часов рабства и шестнадцать часов тайной, могущественной свободы. Лакеи скоро начнут создавать свои клубы — поверь. Ну, с Богом. Давай на дорожку еще по одной... Галстух не в тон, но, прости, у меня только два.

— Неужели ты ничего не взял с собой из дома, Виктор?

— Бриллиантов взял тысяч на сто...

— Сильно пил?

— Я, Леня, помогал. Сначала Антону Иванычу Деникину, потом поехал в Омск — адмиралу передал все... Помнишь корнета Ратомского? Умер с голоду в Шанхае, а была вакансия — лакеем в английский клуб. Не пошел. Я всегда считал его предков не очень чистыми в крови: гонора в нем было преизбыточно... Я ведь, лакействуя, накопил бы в клубе денег на дорогу в Европу... Ваш сия, прашу...

— За тебя, Виктор, — поднимая стакан, сказал Никандров, чувствуя, что он в третий раз за сегодняшний день не может сдержать слез. — За твое сердце и за мужество твое.

— Полно, Леня... Полно... Это все полезно — что было. За одного битого двух небитых дают.

Уже на улице, вышагивая через осторожные весенние сумерки — поздние, в тревожном предчувствии моря, с сиреневыми закраинами, изорванные четкими рельефами темных крыш, Никандров наконец спросил:

— Неужели никто из наших не мог тебе помочь?

Воронцов ничего не ответил, только горько усмехнулся.

— Дорогу, Леня, запоминай, — сказал он наконец, — тебе одному придется возвращаться, у меня деловое рандеву на сегодняшнюю ночь.

— Я помешаю тебе?

— Нет, я к себе никого не вожу...

— Совестишься конуры?

— Господи, что ты... Я не из купцов все-таки... Нет, тот человек живет в самом центре, и ему неудобно сюда добираться. Леня, скажи мне, как в детстве доброму старику на исповеди, — дома по-прежнему страшно? Как в восемнадцатом?

— По мне — стало еще хуже. Мужик доведен до полного изможденья. Что им наша деревня... Ты им подай городской пролетариат... Вот они и решили уничтожить крестьянство, заставить мужиков уйти в город, стать даровой рабочей силой, чтоб заводы строить — по ихней схеме без завода нет счастья в жизни и мировой революции. Жестокая схема, а потому и мы все в этой схеме лишь неживые компоненты, так сказать, перемещаемые элементы общества...

Ревель, Роману. Необходимо выяснить, кто из сотрудников нашего посольства имеет контакты с людьми из иностранных представительств, аккредитованных в Эстонии. Поскольку сведения получены из источника, подлежащего проверке, прошу соблюдать чрезвычайную осторожность и такт.

Бокий.

РАССТАНОВКА СИЛ

Глава эстонского государства Пятс быстро пошел навстречу Литвинову по толстому ковру, который скрадывал звук шагов.

Поначалу ковра не было, и идти навстречу послу приходилось через громадный зал, а паркет здесь был выложен какой-то особый, невозможно гулкий, и президент смущался того солдатского грохота, который шлепал гулким эхом по углам зала, хотя он старался мягко ступать на носки.

— Здравствуйте, господин президент...

— Здравствуйте, простите, что я задержал вас...

Пятс выждал паузу, думая, что Литвинов ответит нечто обязательное в таком случае, вроде «я понимаю вашу занятость», но посол ничего не ответил, пауза затягивалась, и президент, протянув левую руку, указал на два кресла возле камина:

— Прошу вас.

— Благодарю.

Литвинов набычил голову — она сейчас показалась президенту громадной, больше туловища посла, — чуть подался вперед и заговорил:

— Несмотря на наши неоднократные просьбы, полиция Эстонии не предприняла никаких шагов против тех бандитских групп, которые, базируясь в Ревеле, совершают нападения на города и населенные пункты, расположенные в РСФСР, и занимаются там грабежами, убийствами и насилиями.

— Пожалуйста, факты, господин посол. Бездоказательность в таком вопросе может быть трактована лишь как попытка вмешиваться в наши внутренние дела.

— Я думаю, если мы станем приводить факты, то картина получится обратная. Не мы вмешиваемся, а в наши внутренние дела вмешиваются: с территории Эс-

тонии в Россию перебрасываются бандгруппы; здесь они находят покровительство.

— Я вынужден повторить: базой для обсуждения этого вопроса могут быть лишь строго документированные факты.

Литвинов достал из кармана пиджака несколько листочков бумаги. Он доставал их медленно, неуклюже, и делал он это продуманно и весело: президент никак не думал, что посол привезет официальный документ в кармане, а не в папке. Посол позволял себе шутить — иногда рискованно, но всегда точно и беспроигрышно.

Раньше — и в ссылке и в эмиграции — у Литвинова было отстраненное представление о дипломатии. Это представление невозможно изменить до тех пор, пока человек сам не станет дипломатом. Только тогда он поймет, что дипломатия есть одна из форм международной торговли, а та, в свою очередь, похожа на обычную торговлю, а в моменты наибольшей опасности для мира напоминает торговлю базарную, где побеждает самый спокойный, сильный и обязательно честный: плохим товаром морду извозят и опозорят надолго вперед — не поднимешься...

Литвинов многому научился у Чичерина, Красина и Воровского.

Манера этих людей была великолепная: чуть суховатая, без всяких эмоций — карты на стол, дело есть дело, никакой суетливости и высокое чувство самоуважения: представлять следует не какую-нибудь державу, а первую в мире — социалистическую.

Литвинов как-то сказал замнаркома Карахану:

— Я убежден, что мы рано или поздно придем к решению важнейшей проблемы — мы еще к ней не подошли, и как к ней подойти — вопрос вопросов, тут можно таких дров наломать — я имею в виду проблему вытравления из сознания российской интеллигенции чувства собственной второсортности.

— То есть? — не понял Карахан. — Это отдает великодержавным шовинизмом.

— Отнюдь нет, — возразил Литвинов, — это если уж и отдает — то национальной гордостью великороссов. Я обожаю Байрона, но ведь Россия дала миру Пушкина! Мопассан? Великолепно, но у нас Чехов! Флобер, Золя, Диккенс? Верно, без них нет мира. А без Толстого, Достоевского, Тургенева, Щедрина, Лермонтова? Верди?!

А Чайковский, Римский-Корсаков, Мусоргский? Как без них жить?

— Вы заметили, — усмехнулся Карахан, — наша революция пробудила и во мне, армянине, и в вас, иудее, высокое чувство социалистического великороссийского патриотизма?

— Заметил, — согласился Литвинов, — а потому во время переговоров ноги на стол, естественно, класть не следует, но надо всегда помнить, что мы живем под шатром великой российской культуры, мощнее которой, пожалуй, нет в мире... А то мы шведу какому-нибудь или голландцу ручку трясем и улыбку строим лишь потому, что он и у себя дома — иностранец.

...Достав из кармана листочки бумаги, Литвинов расправил их на коленях и начал неторопливо читать.

— «Пятого, двенадцатого, тринадцатого, шестнадцатого и двадцать третьего февраля 1921 года совершено двенадцать попыток нарушения госграницы, причем во время перестрелки, состоявшейся двадцать третьего февраля, ранены два советских пограничника и один эстонский. Во время перестрелки второго марта был убит русский белоофицер штабс-капитан Петр Васильевич фон Бромберг. При убитом были обнаружены крупная сумма денег и пачка поддельных советских документов. В Ревеле фон Бромберг проживал вместе с лидером белых монархистских бандгрупп графом Воронцовым. О том, где проживают и где встречаются представители эмигрантских бандгрупп, посольство РСФСР уведомило соответствующие органы Эстонии еще четырнадцатого февраля сего года...»

Литвинов продолжал читать свой документ, опровергнуть который не мог никто, а президент, слушая его, горестно и тяжело думал: «Наша вина заключается лишь в том, что мы — маленькая страна. Как же трагична роль малых стран в этом большом мире. Кого винить в том, что мы поселены богом на этой каменистой, прекрасной, неплодородной, но такой дорогой нам земле?»

Когда Литвинов закончил чтение документа, президент закурил и минуту сидел недвижно, смежив веки...

— Я дам указание разобраться во всем этом.

— Министр иностранных дел давал три указания, однако бандиты продолжают спокойно жить в Ревеле и встречаться, и мы знаем, где они встречаются и о чем они, встречаясь, говорят.

— Мы живем по своим законам, господин посол. Полиции нужны неопровержимые улики... Иначе мы не сможем предпринять против агрессивной части русской эмиграции те шаги, которые вы подразумеваете...

— Правительство уполномочило меня довести до вашего сведения, что оно не намерено более терпеть подобного рода вылазки, проводимые с территории государства, с которым мы поддерживаем дипломатические отношения.

— Но вы, надеюсь, понимаете те трудности, которые стоят перед нами? Вы, лично вы, живущий здесь...

— Я не научился отделять мое мнение от мнения моего правительства, господин президент.

— Что же нам — ЧК вводить, чтобы изолировать русскую эмиграцию?!

— Я не уполномочен давать вам советы. Это можно расценивать как вмешательство в ваши внутренние дела. Но я хотел бы, чтобы те уважаемые господа, которым вы поручите это дело, с должным вниманием отнеслись к тому, что правительство РСФСР не намерено далее терпеть подобного рода акты со стороны русских банд-групп при попустительстве эстонских властей...

— Я понимаю эти ваши слова...

— Это не мои слова, господин президент, — жестко поправил его Литвинов.

— Ваше правительство угрожает нам интервенцией?

— Мы никому не угрожаем. Убивают наших пограничников, попирают наши границы, в местной прессе подвергают беспрецедентным нападкам мою страну и ее лидеров — конец всякому терпению чреват действием!

— Но я же не могу издать приказ об аресте всех этих русских, господин посол! Войдите в мое положение! Меня не поймет мой народ!

— А мое правительство не поймет мой народ, если и дальше будут продолжаться подобные эксцессы на границе.

— Я не могу не отметить, господин посол, что ваша позиция неразумно жестока.

— Вы говорите о жестокости моего правительства? Того, которое дало вам свободу и независимость? Того, которое выступило против колониализма царя? Того, которое гарантирует вам свободу и безопасность от немецкого вторжения? Свободой, которая не завоевана, но получена из других рук, надо уметь уважительно и целенаправленно пользоваться, господин президент.

— Вы имеете в виду географическую, вынужденную целенаправленность? — горько улыбнулся президент.

— Географическая, этническая и историческая целенаправленность никогда не бывала вынужденной; она всегда была разумной в этом мире, четко разграничившем самого себя, — ответил Литвинов и вручил Пятсу ноту НКИД.

> «До нашего сведения дошло, что противники Российского Советского правительства, не отступающие в своей борьбе против него перед самыми гнусными провокационными приемами и преступлениями, подготовляют в Латвии покушения на членов латвийского правительства, на иностранных представителей и на членов иностранных миссий. Одновременно с покушениями предполагается выпустить подложные прокламации от имени Коммунистической партии с заявлением о том, что эти покушения служат ответом на репрессии против коммунистов. В связи с этим предполагается также начать кампанию в печати, обвиняя Российское Советское правительство в том, что оно якобы является инициатором этих покушений. Таким путем имеется в виду создать подходящую атмосферу для агрессивных действий со стороны иностранных держав против Советской России. Подобные же методы будут, вероятно, применены и в других государствах... Из числа русских эмигрантов непосредственными участниками этих планов являются монархические круги. В связи с этими известиями российским полномочным представителям в Латвии и других соседних государствах поручено предупредить их правительства об этих преступных планах».

...После ухода Литвинова глава государства попросил секретаря срочно вызвать для беседы британского посла.

Всякая закономерность случайна в такой же мере, как любой случай закономерен. Сцепленность заинтересованностей держав, концернов, партий, будучи рассмотрена на расстоянии, явит собой картину логически безупречную и четкую. Однако если персонифицировать историю,

то обнаружатся такие подспудные обстоятельства, которые, казалось бы, противны здравому смыслу. На первый план в этом случае могут выйти личные симпатии и антипатии, возрастные явления; те или иные повороты истории будут определены не столько ходом объективного развития общества, сколько разностью темпераментов противостоящих друг другу лидеров; пустая мелочь может оказаться решающим фактором — даже насморк, когда человек испытывает раздражение от того, что льет из носу и платок мокрый, да и сморкаться беспрерывно в присутствии контрагенов — особо если речь идет о межгосударственных переговорах — не с руки, а еще, упаси бог, кто посмеется — ущемленность и зажатость в лидере подчас куда опаснее доктрины, которую он проводит в жизнь, как бы на первый взгляд эта доктрина ни была жестка и бескомпромиссна...

...Жена шофера британского посла, маленькая, все еще хорошенькая, но уже начавшая увядать, устроила сцену ревности мужу своему, Курту, который с громадным трудом получил место в посольстве и теперь всячески пытался зарекомендовать себя старательным и преданным работником. Беспочвенная ревность, крики жены, заинтересованность соседей по дому — все это вывело Курта из себя: он больше всего боялся, что о его домашних скандалах узнают в посольстве.

— Я же во имя семьи работаю день и ночь, — закричал он, — я хочу, чтобы и ты и мальчики были всем обеспечены! Мне с тобой некогда поспать — не то чтобы с другой! Устаю я, понимаешь? Устаю!

— Ты не смеешь меня попрекать! — отвечала ему жена. — Я не попрекаю тебя тем, что стираю твое белье и готовлю обед!

Словом, когда Курт вез жену посла от антиквара, у которого был куплен уникальный сервиз семнадцатого века, из переулка выскочила повозка, и Курт — обычно хладнокровный и расчетливый — сейчас, будучи взбудоражен домашней сценой, резко взял на тормоза, сверток с сервизом упал, и три чашки разбились. Супруга посла, естественно, ограничилась сдержанным замечанием — нельзя ронять достоинство перед шофером, но с мужем она вела себя совершенно иначе — если ломать себя даже с близкими, то как тогда жить?

— Вы могли бы выписать шофера из Лондона, — говорила она нервно, — эти животные не в состоянии

управлять автомобилем, им надо ездить на коровах!

— Вы же знаете, дорогая, — ответил посол, — что смета, отпущенная министерством, до крайности ужата — мой дворецкий тоже эстонец, а я очень хотел бы видеть на его месте нашего ливерпульского Ховарда...

— Вы можете нанять британского шофера и платить ему из наших личных денег...

— Но тогда, дорогая, вы не сможете покупать саксонские сервизы и ежегодно ездить в Канны.

— Это не по-джентльменски, дорогой, упрекать меня поездками в Канны...

— Вы путаете, дорогая, понятие упрека с констатацией факта.

— То, что вы сейчас сказали, безнравственно. Я не смею упрекать — ваши шотландские предки больше интересовались торговлей ячменной водкой, чем вашим будущим...

К президенту посол прибыл — как его и просили — незамедлительно, не успев успокоиться, внутренне продолжая вести язвительный диалог с женой, которая оказалась столь холодной и жестокой, что посмела упрекнуть его шотландским происхождением.

Президент проинформировал посла Его Величества о беседе с русским и спросил:

— Можем ли мы рассчитывать на быстрый и эффективный демарш со стороны Лондона?

— Я не могу ответить вам, господин президент, не запросив об этом правительство Его Величества.

— Меня в данном случае интересует ваша точка зрения.

— Но и в Лондоне я живу не на Даунинг-стрит, — ответил посол и сразу же понял, что говорит он с президентом совсем не так, как следовало бы, и он понял, что говорит так из-за обиды на жену, и это ущемило его еще больше, ибо он осознал, что страдает изъяном, недопустимым для дипломата, — эмоциональностью, и поэтому, стараясь как-то сгладить свою непростительную резкость, сказал: — Я немедленно отправлю телеграмму в Лондон со своими рекомендациями.

Глава государства не мог, естественно, знать о том неприятном объяснении, которое только что было дома у посла Его Величества. Но он знал о том, что в Лондон прибыло несколько русских высокопоставленных большевистских чиновников, которые ведут беседы

с представителями серьезных деловых кругов Великобритании. И президент предположил, что в Лондоне намечается определенный поворот в сторону смягчения отношений с красными. Поэтому, простившись с послом, он пригласил к себе министра внутренних дел Карла Эйнбунда и предложил ему сегодня же арестовать нескольких русских эмигрантов: эта акция давала возможность — хотя бы на ближайшее время — отводить все возможные нападки Наркоминдела, ссылаясь на то, что группа эмигрантов арестована и ведется следствие, о результатах которого будут проинформированы все заинтересованные стороны. Президенту очень понравилось — «все заинтересованные стороны». Это многозначительно, но дает повод к двоетолкованию, а в политике есть только один выигрыш: когда тот или иной абзац, порой слово дает возможность разных толкований, ибо всякие толкования предполагают беседу за столом, а не перестрелку в окопах.

В РЕВЕЛЕ НОЧЬЮ

— Господин Никандров, позвольте поблагодарить вас за интересный, трагичный реферат о положении у нас на родине, — сказал Евгений Андреевич Красницкий, давнишний друг Воронцова по армии, — желаю вам поскорее включиться в наше общее дело, мы от души вас приветствуем.

Вместе с ним пришли еще три человека — те были молчуны; они лишь пили вместе со всеми, когда Воронцов или Красницкий предлагали тост. Ян Растенбург привел двух молодых ребят: один аккуратен, гладок, сливочен — переводчик и поэт Иван Хэйнасмаа, а второй, нечесаный, Хьюри Лыпсе — популярный поэт и актер. Поначалу поэты помалкивали, яростно налегали на водку и бутербродики, посматривали в зал — видимо, ждали прихода Юрла, чтобы начать свою партию.

В баре было дымно, шумно, весело. Люди собирались здесь разноплеменные, странные: и моряки, и спекулянты, и богема, а порой близкие к правительственным и дипломатическим кругам субъекты, понять которых почти невозможно: то ли он завтра сядет командовать департаментом, то ли за ним и здесь ходят тайные агенты полиции, подбирая в досье последние крупицы доказательств, чтобы наутро, негромко постучав в дверь, увезти в тюрьму, — а там — на острова или еще куда подальше.

Воронцов смотрел на Никандрова влюбленно. Он преклонялся перед его чуть холодноватым, аналитическим талантом, да и потом с этим человеком были связаны самые дорогие ему воспоминания: и охота, и споры за вечерним чаем в Сосновке о судьбах мира, об истории России, и бега — словом, все то что нынче ушло, по всему, безвозвратно.

Никандров, чувствовавший себя поначалу скованно — сказались годы революции, самоконтроль, страх, что донесет кто-нибудь из соседей, услыхав неосторожно сорвавшиеся с языка слова, — теперь разошелся и даже вел себя несколько развязно: сидел, бросив ногу на ногу, чересчур небрежно и сыпал остротами, подчас чрезмерно грубоватыми. Воронцов понимал его: он считал, что это вызвано внутренним раскрепощением, которое чаще всего бесконтрольно.

Юрла пришел не один: с ним был секретарь редакции «Постимеес» Лахме с беспутно-красивой, видимо уже чуточку пьяной, актрисой варьете «Вилла Монрепо» Лидой Боссэ. Была она популярна в Ревеле: голос у нее был хрипловатый, низкий, и песни она пела какие-то странные — занятная смесь французских с цыганскими; поначалу смешно и непривычно, а после мороз дерет по коже. Про нее говорили, что она берет громадные деньги за ночь с капитанов или стариков-промышленников; это давало ей возможность быть совершенно независимой и не принадлежать какому-то одному покровителю.

Увидав Лиду, Никандров подобрался, лицо его сделалось еще более выразительным, резче обозначились скорбные морщины вокруг рта. Лида села близко к нему; пахнуло горьковатыми духами, и стало ему тревожно и счастливо.

Волосатый, нечесаный Хьюри Лыпсе, переждав, пока все, обменявшись рукопожатиями и шумными приветствиями, выпьют, спросил:

— Господин Никандров, в чем вы видите долг литератора?

— Дело литератора — литература.

— Афоризмы я могу прочитать у Ларошфуко, — отрезал Лыпсе, — меня интересует ваш отчет.

— Как-то совестно мне отвечать на такие выспренные вопросы, — ответил Никандров, закуривая. — Я, впрочем, попробую ответить... Щедрин писал своему сыну...

— Кто такой Щедрин? — перебил его Лыпсе.

— Это гениальный русский писатель, великий национальный писатель. Он для нас как Конфуций — для Китая, Рабле — для Франции... Так вот, он писал своему сыну, что нет на свете более почетного призвания, чем призвание литератора российского... Преклоняясь перед Щедриным, я тем не менее вынужден опровергнуть его. Кто и почему отметил литератора среди людей знамением заступника и доброго судии? Почему некий избранник должен быть заступником? А если народ не хочет, чтобы за него заступались? Да и что такое народ? Необъятность понятия всегда давала возможность появлению тиранов, логика которых конкретна и ограниченна. Почему мы должны делить мир на пассив — народ, который безмолвствует, и актив — литератора, который призван бить в колокола? А вдруг честолюбец, начав звонить в колокола, порушит устоявшееся? Но что он предложит взамен? Разрушение упоительно — вспомните игры детей, а вот как быть с созиданием?

— Значит, по-вашему, — удивился Лыпсе, — не следует звать людей к борьбе против нищеты и неравенства?

— В России вы можете набрать миллион образчиков того, что случилось после начала всеобщего зова к равенству...

— Пусть вначале будут издержки — все равно эта идея манит людей.

— А вы не большевик, Лыпсе? — спросил Красницкий.

— Вы его не пугайте, — попросила Лида Боссэ, — не надо. Каждый должен говорить то, что думает.

— Если бы этот ваш совет был принят за основу большевиками, — обернулся к Лиде Никандров, — я бы записался в их партию...

— А они в партии говорят все, что хотят, — не унимался Лыпсе, — они все время ведут друг с другом дискуссию.

— Друг с другом — может быть, — ответил Никандров, — а со мной они не дискутируют. Да и с вами не будут: поставят к стенке — и точка.

— Может быть, они правы: они хоть что-то делают, они хоть во что-то верят, а вы предпочитаете стоять в стороне...

— Вы забываетесь, Лыпсе, — снова поднялся Красницкий, — господин Никандров совершил акт высокого

гражданского мужества — он бежал от рабства Совдепии, он покинул самое дорогое, что у человека есть, — родину.

— А зачем же ее покидать? Не нравится, что происходит на родине, — сражайся с этим! Бежать всегда легче.

— Видите ли, — увидев побледневшее лицо Воронцова, медленно заговорил Никандров, — в том, что вы говорите, есть нечто здравое. Вы, правда, судите со стороны, ибо для вас Россия — понятие абстрактное... А для нас это родина. У меня там остались друзья — в земле... Кого расстреляли, кто умер с голоду, кто пустил себе пулю в лоб. Бороться с народом, который, веруя, творит ужас и хаос? Допустимо ли это для литератора? Может быть, в данном случае позиция пассивного отстранения будет порядочнее? Я мог бы писать прокламации — льщу себя надеждой, что молодежь прислушалась бы ко мне. Но пристало ли писателю усугублять кровь и вражду? Может быть, сейчас важнее другое: отстранившись, наблюдать процесс и чувствовать себя готовым в любую минуту прийти обратно, когда — не народ, нет — когда те, кто народом пытается править, поймут, что без российской интеллигенции ничегошеньки сделать невозможно, что она, интеллигенция, вынесла на своих плечах все бремя борьбы с тупостью администрации, что она, интеллигенция наша, и в народ ходила, и знание несла в самые отдаленные уголки, и на каторгу шла с гордо поднятой головой, а ведь эти самые каторжники — дети генералов, банкиров, сановников — могли прожигать время в своих усадьбах да по Ниццам разъезжать, — вот когда все это народоправители поймут, тогда надо будет вернуться домой. А сейчас — что же... Я за то, когда — «молодо-зелено», но я против того, когда «молодо-кроваво»...

— Это угодно истории: молодое всегда побеждало старое. И возражать против того, что дети рабочих и крестьян становятся хозяевами университетских залов и императорских библиотек, — недостойно литератора.

— Возражать вам трудно. Вы оперируете высокими понятиями, а мне известна черная, варварская правда...

— А вы пытались помочь своему народу приблизиться к высоким понятиям, выступая против варварства?

— Не я должен навязывать себя режиму, но режим обязан прийти ко мне и мне подобным за помощью, когда почувствует, что не может далее удерживать

стихию вандализма... И Совдепы к нам придут. Скоро. Очень скоро...

Юрла, поначалу скептически слушавший Никандрова, спросил:

— Я боюсь пророков, но, как все слабые люди, верю им. Когда вы говорите, что нынешние народоправители России поймут вашу роль в жизни страны, — вы опираетесь на факты?

— Я опираюсь на факты...

— Вот это мне, как газетчику, интереснее. Какие именно?

— Господи, таких фактов тьма! Да что далеко ходить: сегодня со мной в поезде ехал комиссар, так и он хотел деру дать и уж, наверное, тут остался, в Ревеле.

Воронцов рывком встал, поднял бокал:

— Зачем мы уходим от нашей темы: литератор и власть, муза и наган, свобода и подвал ЧК? Право слово, не стоит мельчить великое... Я предлагаю выпить за тех, кто остался там, дома...

После того как выпили, Юрла, достав из кармана блокнотик, спросил Никандрова:

— Фамилию комиссара не помните? А то, может, сами о нем напишете: мы неплохо платим за хлесткую информацию.

— Я, видите ли, информации писать еще не научился.

— Тогда честь имею кланяться, — сказал Юрла.

Воронцов догнал Юрла в гардеробе:

— Карл Эннович, вы про комиссара не пишите.

— Мне тогда вообще не о чем писать. Вы нашу читающую публику знаете — она не выдержит философского диалога этих гигантов.

— Лучше уж не пишите вовсе, чем эту тему трогать...

— Значит — правда? Есть такой комиссар? Узнаю ведь через полицию, кто сегодня приехал из Москвы, узнаю...

— Карл Эннович, я просил бы вас не трогать этой темы...

— Что, свой комиссар? — подмигнул Юрла, надевая пальто.

— Господин Юрла, я прошу вас не трогать эту тему.

— Все заговоры, заговоры... Надоели нам ваши заговоры, граф, хуже горькой редьки... Пора бы серьезным делом заниматься.

— Вы можете дать мне слово, господин Юрла?

Юрла для себя решил не писать об этом комиссаре, как и о Никандрове, — ему это было не очень-то интересно, но сейчас ему, в прошлом наборщику, выбившемуся с трудом в люди, приятно было наблюдать за графом Воронцовым, который, покрывшись красными пятнами, униженно и тихо молил его, сына петербургского плотника.

— Не знаю, господин Воронцов, не знаю... У нас свобода слова гарантирована конституцией, — куражился он, — не знаю...

Это и решило его судьбу.

РАЗНОСТЬ ОБЩИХ ИНТЕРЕСОВ

Раздевалась Мария Николаевна Оленецкая стремительно, бесстыдно и некрасиво. Как и большинство женщин, считал Воронцов, она только поначалу была совестлива. Потом то, что называется любовью, стало для нее жадной работой — она торопилась поскорее лечь в громадную постель, под душные, тяжелые перины, и совсем, видимо, не думала о том, что ее лифы, английские булавки, старомодные панталоны могут вызвать в нем, Воронцове, отвращение.

Он уже знал, что говорить с ней о делах сначала, в первые минуты встречи, бесполезно. Она сразу же начинала целовать его плечи и шею, и он в эти минуты чувствовал себя продажной девкой и ненавидел себя жалостливой, но отчетливой ненавистью.

Мария Николаевна поняла после встречи с Воронцовым, что вся ее прежняя жизнь была бессмысленной. Влюбилась она в него беспамятно; мучительно страдая, отсчитывала дни до новых встреч с ним; она возненавидела время, которое отнимало у нее — неумолимо и безучастно — самое себя: уже сорок шесть лет ей, и каждый час несет с собой старость, ощущение собственной ненужности.

Встретился с ней Воронцов случайно: после Харбина он три месяца пил, перестал различать лица. В голове его мешались китайские, японские, эстонские слова; лишь когда он слышал русскую речь, особенно женскую, постоянное чувство тревоги оставляло его и он успокаивался, даже мог поспать — десять, двадцать минут без угнетавших его кошмаров.

В маленьком кафе Мария Николаевна пила свой кофе, а он — коньяк. Воронцов плохо помнил лицо женщи-

ны, но он услышал ее прекрасный, русский голос, и ему сделалось так нежно и спокойно, как давно не было. Он увел ее к себе — это было в субботу, — и все воскресенье прошло в кровати; он просыпался только для того, чтобы выпить воды, которую ему подносила женщина, и снова уснуть. С того дня он вышел из запоя, эта случайная встреча спасла его.

Узнав, кто такая Мария Николаевна, он поначалу отстранился от нее, но потом по-прежнему стал назначать ей свидания, потому что сейчас, после того как он вернулся к жизни, к политической борьбе, он хотел лишь одного: понять, что же это за люди — оттуда; чем они живут, чем разнятся от него и от тех, в чьем кругу он вращался. Оставляя у себя на ночь Марию Николаевну, он убеждал себя, что эти «несгибаемые» живут тем же, чем живут все люди на земле: любовью, нежностью, бесстыдством, страхом, радостью. Он, правда, никак не учитывал, что Оленецкая была стареющей женщиной, с неудачной, изломанной жизнью; не учитывал он и того, что в революцию она пришла случайно, через сестру, скорее корпоративно, чем осмысленно, и лишь после того как республика открыла свои посольства за границей.

Как-то раз, когда Оленецкая уснула, он закурил и долго лежал без движения — униженный, пустой — и думал: «Мы все так устали от грубостей, что стали уповать на кардинальное изменение наших жизней — будь то война, революция, — неважно, лишь бы что-то изменилось, сорвало накипь прежнего, перетряхнуло, а когда дождались, да и мордой об стол! мордой об стол! — начали делать наивные попытки вернуть то прошлое, которое ненавидели, когда оно было настоящим».

Он бы и расстался с ней, но однажды, когда он вышел из пансионата, где она теперь снимала комнату по субботам, к нему подъехала машина с дипломатическим номером, и господин в спортивном костюме, сидевший за рулем, сказал:

— Виктор Витальевич, позвольте подвезти вас.

— С кем имею честь?

— Отто Нолмар, торговый атташе Германии.

Он распахнул дверцу, и Воронцов сел рядом.

— Погода сегодня дрянная, — сказал Нолмар, — скользко, того и гляди занесет автомобиль.

— Вы говорите, как настоящий русский.

— Я рожден в Киеве, там и воспитывался... Хотите кофе?

— Нет. Спасибо. Хочу спать.

— Тогда разрешите быть предельно кратким?

Этот немец в гольфах и в шляпе с пером раздражал Воронцова своей холеной медлительностью и чрезмерно аккуратной манерой вести автомобиль.

— Виктор Витальевич, мы интересуемся той дамой, которая влюблена в вас, — шифровальщицей русского посольства... Мы — это Германия... Я предвижу ваш вполне справедливый гнев: с подобного рода разговорами вам сталкиваться не приходилось. Но, перед тем как вы потребуете остановить машину и скажете мне что-нибудь обидное, и это обидное в дальнейшем не может не помешать нашим отношениям, я просил бы вас выслушать меня не перебивая. Виктор Витальевич, русская эмиграция, даже наиболее организованная и решительная ее часть, ничего не сможет поделать с кремлевским режимом, не войдя в контакт с кем-нибудь из заинтересованных лиц в правительственных учреждениях Запада. Режим Кремля так силен, что повалить его, уповая на силы эмиграции и немногочисленного и распыленного подполья, никак невозможно. Если вы считаете, что я не прав, то разговор нам продолжать бесполезно...

Миновав перекресток, Нолмар неторопливо глянул на Воронцова. Тот молчал, сосредоточенно рассматривая ровную булыжную дорогу.

— Можно продолжать?

— Продолжайте.

— Благодарю вас. Я рад, что вы меня верно поняли. Германия сейчас переживает, пожалуй, самый трагичный период своей истории. Я знаю, что ваши симпатии были всегда на стороне Британии, я знаю, как вы подтрунивали над нами — филистерами и колбасниками. Но, согласитесь, колбасники умеют работать, и мы восстанем из пепла и еще скажем свое слово.

— При чем здесь шифровальщица русского посольства?

— Нас интересуют прежде всего экономические вопросы: с кем Кремль ищет торговых контактов, какими реальными средствами он располагает, это все шифруется.

— А какую помощь вы сможете оказать нашему движению?

— Естественно, вы не имеете в виду денежную помощь? Я бы не посмел ее вам предложить, потому что этим поставил бы вас в положение моего агента...

— А если мне понадобятся документы, немецкие железнодорожные билеты, германская экипировка?

— Латышские железнодорожные билеты, эстонская экипировка, литовские документы. Германия сейчас не в том положении, чтобы обострять отношения с Москвой. Да и потом, налаживая добрые отношения с Кремлем, вовлекая вашу родину в систему наших деловых взаимоотношений, мы вам куда как большую услугу оказываем.

Нолмар остановил автомобиль, не доезжая трех домов до квартиры Воронцова. С тех пор они виделись четыре раза, и встречи эти были полезными для них обоих. Поэтому-то Воронцов и не рвал с Оленецкой, как она ему ни была противна.

«Ничего, — думал сейчас Воронцов, осторожно отодвигаясь от разгоряченной Марии Николаевны на край кровати, — надо отдать себе отчет в том, что эмиграция обречена на гибель, если не подчинить гордыню разуму. Пусть Нолмар сообщает в Берлин, что я на него работаю, — ничего, пусть... Когда мы вернемся домой, сочтемся самолюбием».

— Что у тебя нового? — спросил Воронцов, раздавив папиросу в глиняной пепельнице. — Никаких известий из дома?

— Никаких, милый, — ответила Мария Николаевна.

Воронцову приходилось быть очень верным в разговорах с ней: он считал для себя невозможным требовать у этой несчастной женщины информации в обмен на любовь. Это, считал он, унижало бы в первую очередь его, а не ее. Он выстроил для своих с ней взаимоотношений иную форму: он говорил ей, что думает вернуться домой, но для этого ему надо точно знать, к чему дома идет дело — к стабилизации и правопорядку либо же к новому кровопролитию, если большевики не смогут выпутаться из тех хозяйственных сложностей, в которых они так трагично завязли.

— А здесь что слышно? Что у вас?

— Ничего интересного, милый...

— Сколько раз ты говорила мне, что нет ничего интересного, а когда позже рассказывала подробности, я делал для себя очень важные выводы, и ты, именно ты, дважды спасла мне жизнь... Помнишь?

— Помню.

Она тогда рассказывала ему содержание шифровок о деятельности савинковцев в Польше и о требовании решительной борьбы с их представителями в случае, если

они появятся в Ревеле. Воронцов сумел объяснить тогда Марии Николаевне, как для него важно это ее сообщение, ибо у него много врагов среди савинковцев.

Через нее он узнал и о приезде Пожамчи, а этой ночью она сказала, что сегодня Литвинов должен был посетить президента по поводу непрекращающейся враждебной деятельности белой эмиграции в Ревеле...

Карла Энновича Юрла зарезали в подъезде около полуночи. Окостеневшее тело нашли утром — длинно закричал молочник, привезший творог и сметану жильцам третьей и пятой квартиры...

...Ранним утром, когда еще не развиднелось и последний мороз казался сероватым, тяжелым, Воронцов, остановившись неподалеку от своего дома, увидел, как в полицейскую карету затаскивали Никандрова. Его били по шее, вталкивая в карету, а он кричал что-то свирепое и яростное.

«А ведь это, верно, его вместо меня взяли», — понял Воронцов и хотел было открыться полиции, но потом он решил, что Никандрова и так освободят, разобравшись в ошибке, а его они, видимо, освобождать не станут, а после он понял, что, вероятно, и Никандрова не станут быстро освобождать, а, скорее всего, вышлют — хорошо, в Латвию, а то и обратно домой, и вспомнил он сегодняшнюю ночь, и Карла Энновича, и Оленецкую и увидел себя со стороны и подумал: «Будь же мы все трижды прокляты!»

И стало ему до того вдруг противно жить на этой земле, что он было подумал пойти к морю и утопиться, но потом вспомнил, как издевался над самоубийцами, и позвонил Нолмару.

— Вы уже знаете об арестах? — спросил Нолмар.

— Она сказала об этом ночью. Я не успел никого предупредить. Кто мог подумать, что президент так быстро подчинится их нажиму...

— О том, что зарезан журналист Юрла, тоже знаете?

— Как вы думаете, если большевики потеряют миллионов сорок долларов, — это для них будет ощутимо? — не отвечая на вопрос Нолмара, спросил Воронцов.

— Естественно... Они ведь выходят к барьеру — им торговать надо. Но, исчезнув там, где эти деньги объявятся?

— Где-нибудь да объявятся... Мне нужны документы, Отто Васильевич, билет до Москвы и денег — немного.

— Документ на чье имя?

— На любое, не суть важно...

— Это я понимаю... Фотография-то чья должна быть там?

— Моя.

— Ах, вот как... Тогда я повторю свой вопрос: где объявятся потом эти миллионы?

— Где-нибудь да объявятся...

— Тогда вы «где-нибудь» себе документы и заказывайте...

— Где бы им нужнее объявиться? — после долгой паузы, решив было вылезти из машины, но потом поняв, что положение его до унизительного безвыходное, спросил Воронцов.

— В Германии.

— Вы хотите, чтобы часть денег перешла в ваше пользование?

— Почему же часть? Все эти деньги должны перейти в наше пользование. За каждый доллар мы будем расплачиваться марками — по спекулятивной, естественно, цене.

— Но эти доллары не будут обращены Германией в пользу торговли с Совдепией?

— Мы, естественно, можем торговать с ними, но доллары нам нужны для торговли с Америкой. Россия удовольствуется ботинками, крахмалом и гайками.

— Моя организация будет вправе распоряжаться деньгами, даже если Советы станут третировать Берлин нотами?

— Вы хотите получить эти деньги противозаконно? — улыбнулся Нолмар. — Я не верю в то, что вы сможете на это пойти.

— Напиться бы до зеленых чертей, Отто Васильевич.

— Неплохая мысль.

— Когда будут готовы документы?

— Сегодня. И по улицам не ходите, не раздражайте полицию. А ваша подруга мне будет нужна в ваше отсутствие. Вы меня с ней познакомьте...

— Она в меня влюблена, ничего у вас не выйдет...

Отто Васильевич рассмеялся:

— Поскольку в разведке я уже десять лет, женщина мною изучена, как «Отче наш»... Все идеалы растерял из-за этого, на своих сестер не могу смотреть без содра-

гания... Выйдет, Виктор Витальевич, увы, все выйдет. Это в нас, в мужчинах, — чувство долга, рыцарство, а в них — одна страсть: разбуди ее — и ты победитель.

— Скотство это...

— Правда это, а не скотство. Впрочем, правда от скотства отстоит недалеко: и то и другое должно быть предельно обнаженным. Но, если Мария Николаевна исключение, она будет помогать мне из любви к вам — такое тоже бывает.

...С Пожамчи Воронцов встретился на улице, перехватив его на пути в «Золотую крону» после того, как познакомил Оленецкую с Отто Васильевичем.

Пожамчи был с Воронцовым излишне подобострастен, веселился и вчерашнего не вспоминал. Причина такого резкого изменения в настроении Пожамчи заключалась в том, что сегодня, беседуя по поручению Литвинова с представителем французского ювелирного концерна «Маршан и К°» с глазу на глаз, он открылся ему и предложил сделку: француз готовит пару контрактов на продукты питания для Советов, но просит взамен не деньги, а камушки, именно те, которые подберет в Москве Пожамчи. Именно он должен был — согласно разработанной ювелирами партитуре — привезти эти камни в Ревель. Он должен был, как они задумали, привезти государственные драгоценности и — чтобы не было международного уголовного дела — свои, лишь ему принадлежащие, уникальные. Эти камни гарантировали ему пять процентов акций в пакете концерна «Маршан и К°».

Рассчитав, что контракт для Совдепии люди Маршана подготовят в самом ближайшем будущем, Пожамчи прикинул, что обратно сюда ему надлежит вернуться через месяц, от силы — два. Он уговорился также, что на границе его встретят компаньоны с машиной; камни для Литвинова он перешлет послу, а с остальными драгоценностями в тот же день исчезнет.

Поэтому, считал он, теперь Воронцов не страшен, а уж в Москве тем более. Поэтому Николай Макарыч шумно веселился, рассказывал хмурому Воронцову веселые анекдоты и жаловался на горькую жизнь дома...

Запомнив отзыв, сказанный ему Воронцовым, он обещал во всем помогать его посланцам. О том, что в Москву собирается сам Воронцов, он и предположить не мог...

Выписка из приказа по ВЧК № 28/7

в) откомандировать помначинотдела Владимирова Всеволода Владимировича в Эстонию для выполнения специального задания...

Член коллегии ВЧК *Кедров.*

В МОСКВЕ УТРОМ

Две шифровки из Ревеля Глеб Иванович Бокий получил одновременно. Первая гласила: «Неизвестный из Москвы высказывал в поезде Москва — Ревель желание остаться в Эстонии невозвращенцем. Август».

Вторая шифровка была более определенной: «Неизвестный сов. гражданин провел вечер вместе с белоэмигрантом Воронцовым. Беседу прослушать не удалось, однако отношения у них были самые дружеские. В случае, если это наш человек, срочно предупредите, чтобы я не тратил силы на наблюдение. Карл».

Отправив эти сообщения в соответствующие отделы, Бокий вызвал автомобиль и позвонил Владимирову.

— Всеволод, — сказал он, — документы вам готовы, красивые документы. Только почему вы себе в двадцатом выбрали псевдоним «Исаев» и за него сейчас держитесь, я понять не могу. «Максим Максимович» понимаю — Лермонтов, но фамилию, казните, не одобряю. За ней ни генеалогии нет, ни хитринки — торговая какая-то фамилия, право слово...

Он выслушал ответ «Максима Максимовича», посмеялся низким своим баском и предложил:

— Могу, Севушка, домой отвезти, если вы закончили свои дела. Спускайтесь к четвертому подъезду...

В старом, насквозь продуваемом студеным ветром автомобиле Бокий продолжал подтрунивать над Владимировым:

— Неубедительно, неубедительно, мой друг... И то, что вы Лермонтова отводите, а киваете на Литвинова, — тоже неубедительно и даже легкомысленно.

— Я у него на коленях сидел, Дедом Морозом называл.

— Это разъяснение устроит эстонскую контрразведку. Нет, меня больше донимает «Исаев»...

— Видите ли, Глеб, если идти от истории мировой культуры, то видно, что европейская цивилизация накрепко повязана единством, первородством христианства.

Пророк христиан — Исайя... Но не зря меня отец заставлял зубрить фарси: Исса — пророк Мухаммеда. Одно из самых распространенных японских имен — Иссии, — в честь их святой; тут я с буддизмом еще не до конца разобрался, посему не знаю, как смогу обернуть выгоду с Исаевым на Дальнем Востоке... Смотрите, что, таким образом, получается...

— Получается великолепный образчик религиозного большевика и космополита... Вроде Тургенева — в трактовке Золя...

— Верно, — согласился Владимиров серьезно. — Я имею сразу же контактные точки с громадным количеством людей. Христиане — Россия, Болгария, Сербия — места горячие, сплошь эмигрантские — исповедуют Исайю; католики, протестанты, лютеране — то есть Европа и Америка — тоже. Но при этом не следует забывать, что происхождения Исайя иудейского... Разве это не тема для дискуссий с муфтием в Каире? Достаточно? Это пока я Японию опускаю, — хмыкнул Всеволод, — не время еще...

— Вы очень хитрый человек, товарищ Исаев.

— Это как понять? Умный?

— Ведь если дурак — хитрый, то его за версту видно. В наших комбинациях дурак необходим. Как кресало, о которое оттачиваешь нож. Обидно, что поколения запомнят только умных, а дураков, от коих мы отталкивались, забудут. Недемократично это. Я бы когда-нибудь воздвиг обелиск: «Дураку — от благодарных умных».

На Арбате Всеволод вылез из автомобиля: здесь он жил с отцом.

— Владимиру Александровичу поклонитесь, — попросил Бокий.

— Вы его помните?

— Сколько мы друг другу крови перепортили во время ссылки... Батюшка ваш хоть из «отзовистов», но в споре блестящ: порыв, эмоции, пафос.

Отец Всеволода — Владимир Александрович Владимиров — был худ, горбонос и сед. Волосы у него были вьющиеся, густые, и оттого, что они вечно стояли дыбом, он казался еще более высоким. Говорил он по-актерски, очень объемно, красиво и —о чем бы ни шла речь — горячо и заинтересованно.

Всеволода подчас удивляла эта горячность отца: он мог рассвирепеть из-за какого-нибудь пустяка, а в серьезном деле всегда был спокоен и расчетлив, только до

синевы бледнел и чаще обычного приглаживал волосы костлявыми длинными пальцами.

— Меньшевистская оппозиция приветствует разведку, — проворчал отец, заталкивая в чемодан свои распухшие от записей блокноты, — чай на кухне, там же селедочка и, не могу не похвастаться, деревенское масло — выменял на том «Орлеанской девственницы» с иллюстрациями Шаронтье... Кулачок посчитал обнаженную натуру порнографией, очень заинтересовался...

— Ты поужинал?

— Да.

— А мандат получил?

— Я получил листочек бумаги...

— Если с печатью и подписью — это и есть мандат...

— Да, там кто-то наследил в нижнем правом углу.

— Старичок, милый, — попросил Всеволод, — ты со мной, надо мной, над нами — шути, но, когда ты будешь ездить по Сибири, пожалуйста, воздержись. Не все, увы, обладают чувством юмора, а если тебя там посчитают контрой, то я ничего не успею сделать, потому что буду вне Москвы.

— Значит, диктатура пролетариата шутку подвергает остракизму?

— Нет... Отчего же?..

— В вашем теперешнем положении не до шуток.

— У тебя есть какие-то радикальные предложения?

— Это демагогично, Всеволод...

— Вопрос не может быть демагогичным. Как правило, демагогичными бывают ответы. Нет?

— Легче всего строить для себя баррикады из афоризмов, Всеволод. А ты вокруг посмотри! Почему вся та интеллигенция, которая зачинала основы социал-демократии, сейчас отринута?

— Ты сам себя отринул от практики нашего дела, папа.

— Я?! Ты говоришь... нечестно!

— Это опять-таки бездоказательно.

— Ты повторяешь все время — «бездоказательно»! Так докажи, что ты прав!

— Небо есть небо, солнце есть солнце, а земля есть хлябь, это очевидно, не нуждается в доказательствах. Я готов опровергать тебя, потому что ты, папа, стараешься убедить меня в том, что небо есть земля, а солнце — не что иное, как хлябь. Ты сейчас снова станешь говорить,

что сначала мы предали марксизм, объявив красный террор контрреволюции, копируя, между прочим, Робеспьера, и теперь отворяем ворота капиталу, частнику, нэпману, а я буду отвечать тебе — это необходимо, и чем дольше мы не делали бы этого, тем критичнее становилась бы ситуация в республике. Ты станешь говорить мне, что запрещение газет меньшевиков, эсеров и левых кадетов неконституционно, а я стану спрашивать тебя: что нам было делать, когда на нас шли Деникин, Юденич и Колчак? Когда горит дом, надо тушить пожар, а не дискутировать по поводу того, чем тушить лучше: песком или водой. Ты, прости, папа, предлагал именно такую дискуссию. А мы дрались и тушили. И не потуши мы — юденичи и деникины вас, меньшевиков, вместе с нами на столбах вешали бы. Вы имели возможность начинать вместе с нами... Вы обиделись, вы раздумывали, вы упустили время. И вместо вас комиссарами стали матросы и рабочие, которые учились грамоте, подписывая приказы на расстрелы.

— Откуда в тебе столько холода, Сева? Столько сильного холода?

— Папа, я никогда не посмел бы спросить тебя: откуда в тебе столько легкой безответственности и ущемленного честолюбия?

— А спросил, — тихо сказал отец.

— Спросил... — Всеволода вдруг обожгло обидой. — А как нам было иначе? Взяли власть, провозгласили диктатуру, а потом увидели, что здесь не сходится, там трещит, — и в кусты? Бежать? Бросить все, от всего отказаться? Это жестоко было бы, папа! По отношению к людям, к России! К мечте, наконец! Ты меня тычешь носом в нашу повседневность, в бюрократизм, тупость, идиотизм, жестокость, сплошь и рядом темную, бессмысленную, необузданную, а мне это, между прочим, известно не менее, чем тебе, а куда как более!

Всеволод отошел к окну, присел на подоконник и оттуда продолжал — как бил:

— Нам трудно, мы все про себя понимаем, а десятки тысяч таких вроде тебя умниц — стоите в сторонке и над нами посмеиваетесь. А вы помогите! Вы смеетесь, а матрос вас за это еще больше ненавидит: «У, интеллигенты проклятые, от них все беды в жизни! Еще Горький им пайки требует, из квартир выселять не дает». Папа, жизнь есть данность: ее надо поначалу принять такой, какая она есть, а после уж перелопачивать...

Благодари Ленина, что Корнилов не стал диктатором в августе: тогда бы ты скорбел о судьбах марксизма не в нашей квартире, а на каторге.

— И меня б это больше устроило, чем... — отец не договорил. Поднялся медленно и, шаркая ногами, обутыми в старые, разношенные башмаки, пошел в прихожую. — Всякое государство должно быть похоже на садовника, который заботлив ко всем цветам — даже не очень-то модным по сезону. А вы и плевела и злаки — все скопом...

— Папа, когда в церквах колокола бьют, голуби тоже разлетаются, страшно им, и вороны вместе с ними летят... Разве нет? На который час заказать тебе завтра автомобиль? Поезд в шесть сорок?

— Вороны на автомобилях не ездят, вороны пешком дойдут...

Всеволод улыбнулся, подошел к отцу:

— Не надо ссориться, папа, разъезжаемся ведь...

Отец посмотрел на него — и столько в его взгляде было тоски и нежности, что сердце у Всеволода замерло и он прижался к отцовской щеке, обнял его худую, желтоватую, в маленьких морщинках шею и замер так — как в детстве, когда не было для него на земле человека сильнее, справедливее и добрее, чем папа. И вдруг Всеволод почувствовал, как сотрясается спина отца, и ему стало страшно, потому что он никогда не видел отца плачущим, и он боялся сейчас оторваться от отцовской щеки и только прижимался к старику все теснее и теснее, как щенок, которого прогоняют...

— Что ты, папа, — наконец проговорил он, — ну что ты, родной, папочка, что ты...

— Бог тебе судья, — тихо сказал отец, и спина его перестала сотрясаться, но Всеволод ощутил на своей щеке его холодные слезы.

По поводу проекта директивы Малому СНК

Тов. Цурюпа! У нас, кажется, остается коренное разногласие. Главное, по-моему, перенести центр тяжести с писания декретов и приказов (глупим мы тут до идиотства) на выбор людей и проверку исполнения. В этом гвоздь.

Негоден Малый СНК для этого? Допустим. Тогда Вам и Рыкову[1] надо 9/10 времени

[1] Расстрелян в 1938 г. — *Ю.С.*

уделять на это (от Рабкрина и управдела смешно ждать большего, чем исполнение простых поручений). Все у нас потонули в паршивом бюрократическом болоте «ведомств». Большой авторитет, ум, рука нужны для повседневной борьбы с этим. Ведомства — говно; декреты — говно. Искать людей, проверять работу — в этом все...

Ленин.

Ленин сидел неподвижно, чувствуя, что если сейчас он шевельнется, то не сможет дальше спокойно слушать Альского, нового замнаркомфина, которого только что привез к нему Каменев[2], и, возможно, будет резок, а ведь Альский — человек ему незнакомый, судя по всему, не из бойцов, а скорее из толковых исполнителей.

— Я убежден, Владимир Ильич, что в ближайшее же время работа Гохрана будет налажена, — продолжал говорить Альский, — и мы будем рапортовать вам о готовности этого золотого хранилища республики стать в строй нашей борьбы наравне со всеми звеньями наркомата. Мы убеждены, что в ближайшее же время сможем подготовить и бриллианты и платину для отправки в Европу, чтобы закупить продукты для голодающих. Мы понимаем, сколь велика наша ответственность, и мы добьемся коренного перелома в работе...

— Ну, хорошо, — поморщился Ленин, — вот вы рассказали нам о непорядках в Гохране и нарисовали радужную картину счастливо-благополучного будущего. Что дает вам уверенность в этом будущем благополучии?

— Мы провели две ревизии — очень тщательные, дотошные; сейчас готовим новый проект организации учета хранимых ценностей; мы усилили политико-воспитательную работу среди тамошнего аппарата...

— Слова, слова, одни слова! Кого вы наказали — сурово, в назидание другим? Кто виновен конкретно в халатности, в плохой организации учета? Кого вы пригвоздили в газете за безалаберность?

— Мне казалось невозможным, — ответил Альский, — выносить наши вопросы в печать...

За несколько дней перед этим к Ленину пришел Рыков.

— Владимир Ильич, — сказал он, — меня тут мучает

[2] Расстрелян в 1936 г. — *Ю. С.*

червь сомнений, и я, естественно, к вам — за советом.

— Давайте вашего червя, — улыбнулся Ленин, — попробуем разобраться с червем, хотя мне это, признаться, в новинку...

— Дело вот какого рода... Мы проводим четвертый после победы Октября съезд, и на этом фактически утверждающем нашу победу над интервенцией и белыми съезде мы — как я могу предположить из бесед с товарищами — снова прежде всего будем отводить место критике, самокритике, дискуссии...

— Это закономерно...

— Да, но на этом съезде будет еще большее количество коммунистов из-за рубежа... Мы печатаем наши отчеты в газетах, их немедленно переводят в странах Антанты... Не подорвем ли мы веру в самих себя, в практику нашей борьбы и строительства у наших товарищей за границей.

— А что же вы предлагаете? Выделить специальную редакционную комиссию? Зачем же тогда нам собирать съезды? Нет, батенька мой, давайте-ка научимся выслушивать в свой адрес самые горькие слова, если они, естественно, продиктованы заинтересованностью нашим делом. Злобствование или сумятица отличима немедленно и сугубо безопасна для нас, ибо за такими словами не пойдет рабочий и не поверит в них. А что касается наших товарищей за границей, то эта статья особая... Поймут они нас на этом этапе или не поймут, поверят или разуверятся — сие вторично. Процесс, который происходит в мире, — объективен. Оглядываться на выражение лиц у друзей негоже, когда врагов существует предостаточно. Мы вексель на доверие к себе завоевали четырехлетней борьбой с армиями четырнадцати стран. Мы за ту посильную моральную помощь, которую нам оказывали рабочие Европы и Америки, — благодарны и этого им никогда не позабудем, но смотреть следует правде в глаза: материальную помощь им сможем оказать только мы — опять-таки больше пока некому. Да уже и оказываем — самим фактом своего существования: капиталист Англии начал больше платить своему рабочему, потому что опасается, что коли он добровольно давать не станет, так отнимут — благо русский пример памятен всем. Нет, нам в нашем деле ни на кого оглядываться нельзя, а глазки строить в политике недопустимо. Надо смотреть в глаза своему народу, тому, который смог взять власть в свои руки, отстоять свою власть,

а теперь эту власть хочет в сфере самой сложной, отчаянно трудной — хозяйственной — выверить и затвердить на многие годы вперед. Всегда надо поначалу думать о том народе, который свершил революцию и защитил ее, — остальное приложится.

...Альский, заметно волнуясь, говорил:

— Владимир Ильич, мы обещаем в течение ближайших же дней выправить положение в Гохране и без скандальных заметок в газете. Все развивается, по нашему убеждению, самым лучшим образом — особенно после ваших, столь для нас бесценных советов...

— Так, — прервал его Ленин. — Хорошо. Даем вам сроку месяц, товарищ Альский. Месяц. За это время вы обязаны наладить все гохрановские дела. И без болтовни и криков «ура», — больше серьезности и поменьше пышных реляций. Обязательно свяжитесь с Рабкрином и ЧК — без их помощи дело, я боюсь, с мертвой точки не сдвинется, несмотря на ваш оптимизм.

Ленин сделал у себя в календаре быструю пометку и сухо закончил:

— Благодарю вас. До свидания.

Альский поднялся.

— А вы, товарищ Каменев, пожалуйста, не сочтите за труд задержаться, — попросил Ленин, когда Альский пошел к двери. Ленин поймал себя на том, что ему жаль этого человека, но он понимал также, что иначе говорить с ним не мог, попросту не имел права, ибо человека поставили отвечать за золотое хозяйство республики.

— Что вы скажете? — спросил Ленин Каменева, когда Альский вышел. — Я был резок? А что прикажете делать? В стране хаос, деньгами скоро мужик начнет избы обклеивать, а товарищ Альский полон радужных надежд!

— Я могу понять его, Владимир Ильич!

— Нуте-ка... Помогите и мне...

— Всякий перелом в политике, особенно такой резкий, как нэп, ставит наших кадровых партийцев, да и не может не ставить, перед ножницами — слова и дела...

— Слово и дело? Это пароль опричнины, Лев Борисович. Что-то не увязываю в целое вашу мысль.

— Слово — «мировая революция», дело — «развитие и налаживание товарного хозяйства», при котором, — Каменев улыбнулся, — цитирую Ленина, «о социализме смешно и говорить»...

— Между прочим, я экономист, а не пророк. Потом, учтите, писалось это в начале века о стране, где все ключевые рычаги были сосредоточены в руках царской администрации и нарождающейся буржуазии. Да, да, по-прежнему да здравствует мировая социалистическая революция — и не слово, но дело, именно дело! Мы должны доказать нашему рабочему и крестьянину, от которого получили вексель на доверие, что мы хозяйствовать, — то есть обеспечивать его работой и отменно за работу платить, — можем и будем: чем дальше, тем слаженнее и четче. Товарное же производство в стране, где все ключевые рычаги находятся в руках партии, — совершенно иное; это подлежит рассмотрению и переосмысливанию. Армия, дипломатия, тяжелая индустрия, железные дороги, внешняя торговля — все в наших руках; этим и пристало заниматься правительству в крестьянской стране, где городской пролетариат взял власть в свои руки. Правительство погрязнет в мелочах, если ему придется решать вопросы: где отгладить костюм или починить башмаки трудящемуся — это все пусть делает нэпман, да-да, нэпман, мелкий хозяин, а еще лучше — кооператив, который постепенно организуется в индустрию народного обслуживания... А нам надо научиться не погрязать в бюрократических, изводящих душу и выхолащивающих идею мелочах, но подняться над суетой и подумать о вещах отправных, главенствующих — на долгие годы вперед: и об электрификации страны, и о строительстве металлургии, и о революционом техническом перевооружении нашего крестьянства. А многие наши товарищи, растерявшись — ах-ах, реставрируем капитализм, — начали прямую, внешне, правда, маскируемую отчетами и речами, симуляцию новой экономической политики. А русский рабочий, у которого нет ни еды, ни башмаков, почешет затылок да и скажет: «Нет, товарищи, большевики, оказывается, горазды лишь на словах, а на деле они — полнейшие растеряхи и лапти и управлять им не РСФСР, а — в лучшем случае — какой-нибудь тьмутараканью!» И вексель заберут! Только — правде в глаза! Иначе — погибнем и загубим великое дело, а этого уж нам никто не простит! Сейчас быть революционером-марксистом означает только одно: уметь хозяйствовать — с выгодой и пользой, хитро, сильно; уметь торговать лучше капиталиста, производить пальто и башмаки — лучше капиталиста, кормить в столовой лучше, чем у капиталиста,

иметь санатории для рабочего, которых нет у капиталиста, — вот что значит продолжать быть революционером. Быт есть быт, это самое надоедливое, суетливое и неинтересное в хозяйственной политике. Вы о нем забудете, да и я, впрочем, тоже. А нэпман, получающий с быта дивиденды, будет про эти свои дивиденды всегда помнить. Он нам развяжет руки в главном, приняв на себя мелочные — отнюдь не государственного размаха — заботы. И бояться этого, бояться того, что кто-то что-то о нас не так подумает, — это от суетливости, — словно продолжая спор с Рыковым, закончил Владимир Ильич.

Каменев собрался уж было уходить, когда Фотиева принесла Ленину несколько телефонограмм: из Наркомвнешторга, ВЧК и Главтопа. Ленин быстро просмотрел первые три листочка, а на последнем словно бы споткнулся. Он перечитал телефонограмму несколько раз, лоб свело двумя резкими продольными трагичными морщинами. Он позвонил наркомюсту Курскому.

— Товарищ Курский, я получил данные, что три работника Главтопа, откомандированные в Швецию для закупки оборудования, истратили почти все деньги, не выполнив порученной им работы. Я предписываю вам немедленно отозвать этих людей, а ежели позволяют обстоятельства дела и корыстная их вина будет доказана документально — арестовать, судить и сгноить в тюрьме! Россия голодает, а три коммунистических чинуши резвятся в Стокгольме, изволите ли видеть! Да, пожалуйста...

Ленин опустил трубку и тяжело посмотрел на Каменева:

— Прикажете поступать иначе? Жестоко? Корпоративной доброты ждут — раз единомышленники, так все чтоб по-семейному?! Не выйдет. Пусть потом обвиняют в жестокости — важно, чтобы она была справедливой, объективной, а не личной.

Проводив Каменева, Ленин сел к столу, пометил в календаре: академик Рамзин[1]. Котлы. Троцкий, Фрунзе, Тухачевский[2], Уборевич[3] — вопросы теории армии. Крестинский[4] — возможный посол в Берлине, вызвать. Бу-

---

[1] Арестован в 1929 г. — *Ю. С.*
[2] Расстрелян в 1937 г. — *Ю.С.*
[3] Расстрелян в 1937 г. — *Ю. С.*
[4] Расстрелян в 1938 г. — *Ю. С.*

харин[1] — о среднем крестьянстве и т. н. «справном мужике».

Ленин глянул в окно. Весеннее небо было тугое, тяжелое, в два цвета — густо-синее и марево-красное. Гомонило воронье. Малиново перезвонили куранты, ударили время. Ленин проверил свои часы и включил лампу.

* * *

«...Я все надеялся, что приток новых работников в коллегию Рабкри оживит дело, но из расспросов Сталина не мог видеть этого. Прошу черкнуть мне, а потом устроим, буде надобно, свидание. У вас 8000 штат, вместо 9000. Нельзя ли бы сократить до 2000 с жалованием в 6000 (т. е. увеличить втрое) и поднять квалификацию?

Если Аванесов[2] скоро приедет, покажите ему тоже.

С коммунистическим приветом

Ленин».

«Попробуйте сопоставить с обычным, ходячим понятием «революционера» лозунги, вытекающие из особенностей переживаемой полосы: лавировать, отступать, выжидать, медленно строить, беспощадно подтягивать, сурово дисциплинировать, громить распущенность... Удивительно ли, что некоторых «революционеров», когда они слышат это, охватывает благородное негодование, и они начинают «громить» нас за забвение традиций Октябрьской революции, за соглашательство с буржуазными специалистами, за компромиссы с буржуазией, за мелкобуржуазность, за реформизм и прочее и тому подобное!»

«Мы не умеем гласно судить за поганую волокиту: за это нас всех и Наркомюст сугубо надо вешать на вонючих веревках. И я еще не потерял надежды, что нас когда-нибудь за это поделом повесят... Почему не возможен приговор типа примерно такого: ...объявляем виновными в волоките, безрукости, в попустительстве бюрократизму и объявляем строгий выговор и общест-

[1] Расстрелян в 1938 г. — *Ю.С.*
[2] Расстрелян в 1937 г. — *Ю.С.*

венное порицание, с предупреждением, что только на первый раз так мягко караем, а впредь будем сажать за это профсоюзовскую и коммунистическую сволочь...»

«В 1921 году на III конгрессе (Коминтерна. — *Ю. С.*) мы приняли одну резолюцию об организационном построении коммунистических партий и о методах и содержании их работы. Резолюция прекрасна, но она насквозь русская, то есть все взято из русских условий. В этом ее хорошая сторона, но также и плохая. Плохая потому, что ни один иностранец прочесть ее не сможет... она слишком длинная. Таких вещей иностранцы бычно не могут прочитать... Если в виде исключения какой-нибудь иностранец ее поймет, то он не сможет ее выполнить... У меня создалось впечатление, что мы совершили этой резолюцией большую ошибку... Резолюция отражает наш российский опыт, поэтому она иностранцам совершенно непонятна, и они не могут удовлетвориться тем, что повесят ее, как икону, в угол и будут на нее молиться. Этим ничего достигнуть нельзя. Они должны воспринять часть русского опыта. Как это произойдет, этого я не знаю...»

«Вся работа правительства... направлена к тому, чтобы то, что называется новой экономической политикой, закрепить законодательно в наибольшей степени для устранения всякой возможности отклонения от нее».

«Об образовании СССР... Одну уступку Сталин уже согласился сделать. § I сказать вместо «вступления» в РСФСР — «Формальное объединение вместе с РСФСР в союз советских республик Европы и Азии».

Дух этой уступки, надеюсь, понятен: мы признаем себя равноправными с Украинской ССР и др. и вместе и наравне с ними входим в новый союз, новую федерацию...»

«Объявить строгий выговор Московскому комитету за послабления коммунистам... Подтвердить всем губкомам, что за малейшую попытку «влиять» на суды в смысле «смягчения»

ответственности коммунистов ЦК будет исключать из партии... Циркулярно оповестить НКЮст (копия губкомпартам), что коммунистов суды обязаны карать строже, чем некоммунистов...

P. S. Верх позора и безобразия: партия у власти защищает «своих» мерзавцев!!!»

«Мы можем... сделать из городского рабочего проводника коммунистических идей в среду сельского пролетариата.

Я сказал «коммунистических» и спешу оговориться, боясь вызвать недоразумение или быть слишком прямолинейно понятым... До тех пор, пока у нас в деревне нет материальной основы для коммунизма, до тех пор это будет, можно сказать, вредно, это будет, можно сказать, гибельно для коммунизма...»

К ИСТОРИИ ВОПРОСА

За полгода до того как Альского вызвал Ленин, сведения о неблагополучном положении в Гохране дошли до Рабоче-Крестьянской Инспекции. Нарком Сталин пригласил своего заместителя Аванесова и, по обыкновению прохаживаясь по большому кабинету, — он попросил соединить воедино три комнаты, чтобы окна выходили не только на улицу, но и во двор, — негромким глуховатым голосом сказал:

— Если то, что болтают о Гохране, хоть в незначительной толике соответствует правде и эта правда откроется, — этим не преминет воспользоваться товарищ Троцкий, для того чтобы на ближайшем Политбюро повторить свои нападки на систему Рабоче-Крестьянской Инспекции. Если же никакого хищения народных ценностей нет, то именно РКИ должна взять под защиту честь и достоинство старых спецов. Достаточно товарищ Троцкий жонглирует примерами честной работы военспецов в своем ведомстве — не он один думает о привлечении к работе старых специалистов. Подберите цепких, опытных людей и бросьте их в Гохран контролерами. Это не обидит, не может обидеть работников Гохрана, и это гарантирует республику от каких-либо — не только в настоящем, но и в будущем — хищений.

Через три дня инспекционный отдел предложил

Аванесову кандидатуры трех работников: Козловская, Газарян и Потапов. Аванесов предполагал побеседовать с каждым из предложенных товарищей, но свалился в тяжелейшей, с осложнением на легкие, инфлюэнце. Сталин был занят в Наркомнаце и ЦК, и эти три человека автоматически перешли из системы РКИ в Гохран. Однажды на оргбюро наркомфин Крестинский перекинулся со Сталиным несколькими словами — и тот и другой знали Козловскую по временам подполья, да и жила она сейчас в Кремле, только в Кавалергардском корпусе, в квартире рядом со Стучкой. Крестинский, правда, еще не переехал в Кремль из Второго дома Советов, бывшего «Метрополя», но это не помешало ему сразу же вспомнить Козловскую и поблагодарить Сталина за то, что он прислал в Гохран такого надежного и проверенного, сугубо интеллигентного работника.

— Товарищ Крестинский, — усмехнулся Сталин, — я запомню эти ваши слова: вы первый нарком, который благодарит нас за контролера. Об этом я непременно расскажу товарищу Демьяну — пусть он напишет басню, но опубликуем мы ее попозже, лет через десяток — в назидание потомству. Если же говорить серьезно, я рад, что вы верно поняли эту нашу акцию, спасибо вам за разумную доброту по отношению к бедному Рабкрину...

Пожамчи остро приглядывался к трем контролерам. Он попросил оценщика Шелехеса зайти к Левицкому, начальнику Гохрана, в прошлом председателю Ссудной кассы, и договориться с ним, чтобы именно они, Пожамчи и Шелехес, и никто иной, провели контролеров по Гохрану, показали им драгоценности, хранившиеся здесь, и ввели их в курс дела.

— Согласитесь, товарищ Левицкий, — Шелехес подчеркнуто называл Евгения Евгеньевича Левицкого, бывшего тайного советника, «товарищем» — и в беседах один на один, и на совещаниях, и на профсоюзных отчетах, — согласитесь, что новым коллегам будет трудно самим входить в русло наших ювелирных тонкостей... Им надо помочь так, чтобы они с первого же дня верно сориентировались.

«У, сволочь, до чего хитер, — думал Левицкий, глядя на красное, квадратное лицо Шелехеса, — ведь облапошит бедных комиссаров, не иначе...»

Зарплату, как теперь по-новому называли «оклад со-

держания», Евгений Евгеньевич получал, как и все в Гохране, мизерную, но сильно выручал паек: давали воблу, сахар и муку. В первые месяцы, получив этот пост, Левицкий был несказанно удивлен и обрадован. Он понимал, что только избыточная честность может сохранить ему это, в общем-то свалившееся на голову, совершенно неожиданное счастье — сытость. Пусть смехотворная — в сравнении с той, которая была ему привычна до переворота, — но ведь благополучие забывается куда как быстрее, чем горе и голод.

Но, после того как ввели нэп, жизнь в столице начала стремительно меняться: не поймешь, то ли несется в неизвестное «завтра», то ли, наоборот, так же стремительно откатывается в прекрасное и благодушное «вчера». Открылись маленькие кафешки на Арбате, невесть откуда в лавчонках появилась ветчина; бургундское — этикетки с потеками, грязные, истинная французская беспечность; извозчики приосанились, в голосе появились прежние почтительные нотки при виде хорошо одетого человека. Заметив это острым глазом человека, всю жизнь дававшего ссуды, Левицкий вдруг понял, как же, в сущности, он жалок и несчастен — со своей воблой и толстыми мокрыми блинами, которые так старательно и неумело пекла жена.

Примерно через неделю после разрушения частной торговли к нему зашел Шелехес, долго унижал его своим нагло произносимым «товарищем», а потом, положив на стол сафьяновую подушечку с бриллиантами, сказал:

— Евгений Евгеньевич, мы с Пожамчи просим вас быть третейским судьей: тут десять камней — вот накладная, — Шелехес подвинул Левицкому вощеную бумагу, удостоверявшую количество камней и их каратность, — но мы с Николаем Макаровичем расходимся в оценке бриллиантов. Назовите, пожалуйста, вашу сумму.

— Оставьте, — несколько удивленно ответил Левицкий, ибо такая просьба была по меньшей мере странной: и Шелехес и Пожамчи славились своим фантастическим знанием камней не только в России, но и в Британии, и Голландии, и Франции.

Когда Шелехес ушел, Левицкий посмотрел камни через лупу: бриллианты были прекрасные, чистые, с голубым высверком, видно, южноафриканские, от буров. Он рассеянно пересчитал мизинцем камушки и удивился: бриллиантов было двенадцать. Он не поверил себе, пере-

считал камни еще раз. Сомнения быть не могло — вместо десяти, указанных в накладной, на красном сафьяне лежало двенадцать бриллиантов. Эти два лишних камня, сразу же — несколько даже автоматически, независимо от своей бескорыстно-честной щепетильности — прикинул Левицкий, стоили не менее семи тысяч золотом.

Левицкий знал, что родственники у Шелехеса какие-то важные большевики, поэтому он снял трубку телефона и позвонил в отдел оценки бриллиантов:

— Гражданин Шелехес, вы, вероятно, ошиблись: здесь больше...

Шелехес перебил его, закрутился — суетливо, быстро:

— Да что вы, товарищ Левицкий! Вы, видимо, плохо считали, сейчас я к вам забегу, что вы, товарищ Левицкий!

Левицкий похолодел: он не мог понять — проверяет его большевистский родственничек или то, о чем он поначалу даже испугался подумать, — правда. Шелехес пришел к нему через минуту, рассыпал бриллианты по столу, пересчитал, отложил в сторону два, самых крупных:

— Я же говорил — десять, товарищ Левицкий. Ровно десять. — Он посмотрел ему в глаза и добавил: — А извозчик вас уже дожидается, вы ж просили вызвать пролетку... Я вас заодно и провожу.

Он зажал два камня в большой руке, остальные десять спрятал в коробочку и, опустив в карман, довел Левицкого до выхода, подсадил в пролетку и тогда, словно бы пожимая руку при прощании, насильно всунул в потную, холодную ладонь Левицкого два ледяных камушка...

Часа два Левицкий кружил по городу. Сначала он чувствовал страх — противный, мелкий, леденящий душу. Потом, убедившись, что за ним никто не следит, он успокоился, и тоска овладела им. «Проклятые большевики, — думал он, — я всегда был честен, и все знали, что я честен, а они довели меня до того, что я стал преступником». Возле Серпуховки он отпустил извозчика и долго бродил по замоскворецким, милым его сердцу переулкам, ныне запустелым, тихим, затаившимся. Он не заметил, как вышел к грязному берегу пересохшей Яузы возле Каменного моста.

«Бросить эти проклятые камушки в воду — и дело с концом, — подумал он, — никто ничего не узнает, а

если Шелехес попробует шантажировать — заявлю в милицию. Хотя нет... Это уже будет слишком — не только взяточник, но и доносчик. Я никогда не посмею донести — он и это учел».

После Левицкий никак не мог объяснить себе, отчего он оказался возле особняка на Дмитровке — там жил старик Кропотов, патриарх московских ювелиров, трижды дававший в долг Левицкому: первый раз, когда Евгений Евгеньевич уезжал со своей содержанкой Ингой Азариной в Биарриц, второй раз, когда выдавал дочь замуж, и третий раз, за неделю перед переворотом, когда совершал купчую на дачу в Кунцеве.

Кропотов, словно бы дожидался Левицкого, заохал, запричитал, провел в свое, как он говорил, зало, усадил в кресло, долго расспрашивал про здоровье, вспоминал пропажу юсуповского изумрудного ожерелья, утер слезу, рассказывая о добрых причудах графини Воронцовой, а потом, без всякого видимого перехода, только чуть понизив голос, сказал:

— Евгений Евгеньевич, я все знаю, ко мне Шелехес забегал. Пять тысяч золотишком вот тут, — и он протянул Левицкому бумажник, — товар с вами? Или надо куда подъехать.

Левицкий молча протянул ему два бриллианта и, не попрощавшись, ушел. Напился он в тот вечер до остекленения, взял девочку — маленький огрызочек, под гимназисточку работала, промучился с ней до утра в каком-то холодном пустом подвале на Палихе и домой вернулся уже под утро, протрезвев от дурного предчувствия: ему казалось, что там ждет засада. Но засады не было. Заплаканная жена сидела с топором в руках: она с детства боялась грабителей...

— Так что? — настойчиво переспросил Шелехес. — Вы позволите нам ввести контролеров в суть дела?

Левицкий брезгливо поинтересовался:

— А я что — не смогу этого сделать?

— Конечно, товарищ Левицкий, вы это можете сделать значительно лучше...

Левицкий достал металлическую коробку «Лаки Страйк» («Огромных денег стоит», — немедленно отметил про себя Шелехес), закурил, не предложив сигареты собеседнику, и сказал:

— Камней больше не давайте, не надо. Три тысячи золотом ежемесячно будете передавать мне — и не здесь,

конечно, а возле Третьяковской галереи, в последний вторник.

— Да откуда же мы ежемесячно — три тысячи, товарищ Левицкий...

— Я вам не товарищ, это вы попомните на будущее, а откуда вы станете ежемесячно доставать три тысячи — меня не интересует. Прова́литесь — в ваших интересах обо всем молчать, экспертизу, видимо, мне придется проводить, и я буду определять вашу работу как порядочную, избыточно честную либо как невольно халатную, либо, — Левицкий поднял палец, — как преступную, корыстную...

— О последнем, — возразил Шелехес, — советовал бы много раз подумать: Кропотов станет говорить то, что прикажу ему я, — он деньги-то мои вам передавал, Евгений Евгеньевич... И не мешайте мне, когда я стану водить контролеров. И будьте со мной в их присутствии строги, но обязательно уважительны...

С этим он вышел из кабинета, а Левицкий долго сидел в прежней позе, не в силах сдвинуться с места: слишком уж оскорбителен был и тон Шелехеса, и его слова, а сам он, тайный советник и кавалер, беспомощен и открыт для удара в любое время — отныне и навсегда.

Пожамчи и Шелехес встретили контролеров у входа; здороваясь, крепко пожали им руки. Пропуская Козловскую вперед, Шелехес заметил:

— Нас, кажется, знакомил мой покойный брат...

Мария Игнатьевна достала из маленькой потертой сумочки пенсне, внимательно посмотрела на Шелехеса и ответила:

— А я что-то не помню. Представьтесь, пожалуйста...

— Яков Шелехес... Мой брат, Исай, умер в девятнадцатом году, в бытность секретарем Курского губкома, от голодного туберкулеза... А я бриллианты сортировал...

Он распахнул дверь в хранилище драгоценных камней, Козловская задержалась на пороге:

— Простите... Исая я знала, это был великолепный товарищ... У меня слаба память на лица...

Шелехес начал рассыпать перед Козловской камни, они высверкивали — глубинно и таинственно — при неярком свете электрических ламп, и Шелехес — помимо своей воли — понизил голос:

— Вот это романовские изумруды, они с редкостной синевой, а потому их реальная стоимость практически

не может быть определена. Камни, по-моему, привезены в семнадцатом веке и не иначе как из Индии.

— Здесь очень душно, вы не находите? — спросила Козловская, и Шелехес от ее спокойного голоса, от того, что она так рассеянно смотрела на камни, растерялся:

— Где душно?

— Здесь, — ответила Козловская. — И ужасно пахнет нафталином.

— Это от коробочек, мы сафьян пересыпаем нафталином, чтобы сохранить все в целости. Раньше коробочки делались на заказ в Бельгии, подбирались соответствующие оттенки сафьяна — особого, ворсистого, не ранящего камни...

— Вы поэт своего дела, — улыбнулась Козловская, — будете моим добрым гидом.

— С удовольствием. Хотите посмотреть золото?

— Меня, право, не очень все это интересует...

А Пожамчи в это время водил по золотому отделу Газаряна и Потапова, рассыпая перед ними монеты, портсигары, кольца, брелоки, часы. Сам Пожамчи золота не любил, считал его тяжелым и неинтересным, откровенно купеческим, без той внутренней тайны, которая была сокрыта в каждом камне.

Так же как Шелехес, он жадно вглядывался в лица контролеров, рассыпая перед ними диковинные богатства.

— Чье это раньше было? — спросил Потапов, видимо из матросов, шагавший вразвалку, чуть косолапо.

— Буржуев, — ответил Газарян, — чье же еще, по-твоему?

— А сколько, к примеру, этот портсигар потянет?

— Смотря на каком рынке. Рынков-то много: и оптовый, и черный, и международный... На черном рынке этот портсигар больших денег стоит, но я с черным никогда связан не был, не знаю, а ежели перевести на международный, то долларов девятьсот выньте и не грешите, — ответил Пожамчи.

— А это сколько — девятьсот долларов? Там вон и камушки всякие в него вделаны...

— Ну, камушки эти особой цены не имеют, настоящие камни стараются не прятать в оправу, чтобы дать возможность играть граням... Здесь важна форма — видите, как хорошо в ладонь ложится? Ну и вес, конечно.

Половине Гохрана, — засмеялся Пожамчи, — можно коронки вставить из этого портсигара.

Когда Пожамчи закончил экскурсию и объявил контролерам, из чего исходят оценщики, определяя истинную стоимость той или иной драгоценности, Потапов недоуменно вздохнул:

— На это золото хлебушка можно всей России купить, чего же мы голодаем?

— Ну, это не нашего ума дело, — возразил Пожамчи, — правительство знает, куда золото тратить, там люди высокого ума сидят и об народе не меньше нас думают...

— Как будем организовывать работу? — спросил Газарян.

— Как вам покажется нужным, товарищ, — ответил Пожамчи.

— Я думаю, оценку вы будете производить самостоятельно, — продолжал Газарян, — но в нашем присутствии, и, если у нас возникнут какие-то вопросы, будете давать объяснения, при надобности — письменные.

— Совершенно с вами согласен, товарищ, совершенно согласен.

Возвращаясь из Гохрана, Пожамчи и Шелехес обменялись впечатлениями:

— По-моему, ничего страшного не произошло, — раздумчиво говорил Шелехес, — и счастье, что на бриллианты поставили бабу. Методика проста: она интеллигентна — следовательно, доверчива. Она партийка — следовательно, беспочвенные подозрения будут ею отвергаться: по их морали — я это вывел из общения с братцами — нет ничего обидней беспочвенных подозрений. Она близорука — следовательно, уследить за пальцевыми манипуляциями, — Шелехес усмехнулся, — не сможет, даже если бы ей приказали следить за нами во все глаза, вы уж мне поверьте...

— Да я уж верю, — улыбнулся Пожамчи, хотя Шелехесу он не верил. Он сделал для себя вывод, что теперь, когда к ним посадили контролеров, все покатится под гору: первый контроль предполагает последующий, и чем дальше, тем наверняка жестче он будет осуществляться. И Пожамчи решил при первом же удобном случае бежать. Случай подвернулся нежданно-негаданно. Наркомфин Крестинский поручил ему поехать в Ревель,

к Литвинову, с бриллиантами. И надо же ему было встретить Воронцова на границе!

Однако по прошествии месяца после прихода контролеров РКИ в Гохран обстановка там стала лучше и чище — исчез дух взаимной подозрительности.

Альский попросил Козловскую и Газаряна написать свои заключения о проделанной работе и о том, как «прижились» в системе Гохрана те контролеры, которые туда были направлены. Оба старших инспектора представили Альскому докладные, в которых категорически утверждали, что все налажено, работа идет нормально, организовано дело надежно и никаких хищений нет, да и быть не может.

Эти докладные со своим сопроводительным письмом Альский отправил Фотиевой — для Ленина. Не верить сообщениям сталинских инспекторов РКИ не было никаких оснований, и поэтому в картотеке Секретариата СНК карточка Гохрана была вынута из отделения «Особо срочных».

ПУТИ-ДОРОГИ...

С отцом Всеволод простился на вокзале. На людях они совестились обниматься и поэтому стояли близко-близко; и рука отца была в холодных руках Всеволода, и он то больно сжимал ее, то нежно гладил, и было горько ему ощущать, как она суха и худа — эта отцовская рука, и как слаба она и беззащитна.

— Ты вернешься, папочка, и я к тому времени буду дома, — тихо говорил Всеволод, — и мы с тобой вместе уедем куда-нибудь в деревню, и там поживем вместе — только ты и я, и никого больше, да?

— Да, — так же тихо отвечал Владимир Александрович, — как раньше, Севушка.

— Гулять будем по лесу и на сеновале спать...

— А я буду мурашей разглядывать. Мечтаю долго и близко смотреть на мураша в лесу — ничего больше не хочу...

Паровоз загудел, вагоны, перелязгивая ржавыми буферами, резко дернулись, быстро взяли с места, потом ход свой замедлили, и отец, стоявший на площадке, успел пошутить:

— Видишь, у нас даже вагоны должны утрясать вопросы с паровозом. Сплошные согласования и утверждения...

Всеволод долго шел за вагоном — до тех пор, пока мог видеть лицо отца.

Бокий ждал Всеволода в комнате Транспортной ЧК Балтийской дороги: поезд Всеволода уходил через полчаса.

Владимиров должен был добраться до Петрограда, а там Севзап ЧК обеспечивала его «окном» на границе.

— Сева, — негромко, во второй раз уже, повторял Бокий. — Пожалуйста, будь очень осторожен. Блеск твой хорош дома, там будь незаметен. Характер у тебя отцовский — ты немедленно лезешь в любую драку. Запомни: ничего, кроме проверки данных Стопанского. Я не очень-то верю, что кто-то из наших дипломатов может работать на Антанту. Скорее всего, поляк имел в виду кого-то из шоферов, секретарей — словом, тех, кто просто-напросто служит в здании. Рекомендательные письма в Ревель тебе передадут на границе. Там же тебе дадут записную книжку. Отбросив первую цифру и отняв от последней «2», ты получишь номер телефона нашего резидента Романа.

— Ясно.

— Теперь вот что, — Бокий передал Всеволоду пачку папирос, — здесь, во второй прокладке, фото наших людей, которые бывали в Ревеле. Других не было. Пусть посмотрят наши друзья, кто из этих семи человек встречался с Воронцовым в «Золотой кроне» — это важно; соображений у наших товарищей много, а фактов, увы, нет...

— Это показать Роману?

— Да. Он знает, через кого все это перепроверить вполне надежно, он тебя сведет с друзьями...

— В случае, если завяжется интересная комбинация, ждать указаний от вас или вы положитесь на меня?

— Мы привыкли полагаться на тебя, но не лезь в петлю.

— Ни в коем случае... — улыбнулся Всеволод. — Я страдал горлом с детства...

К вагону Бокий провожать Всеволода не стал: не надо провожать Максима Максимовича Исаева члену коллегии ВЧК Бокию. Ведь Максим Максимович Исаев не с пустыми руками едет в Ревель, а как член кадетского подполья: стоит ли вместе показываться чекисту и контрреволюционеру? Никак этого делать не стоит — так считали оба они, потому и попрощались в маленькой комнате, где окна были плотно зашторены.

Сначала, как только Никандрова втолкнули в камеру с серыми, тщательно прокрашенными масляной краской стенами, низким потолком и маленьким оконцем, забранным частой решеткой, он начал буянить и молотить кулаками в дверь, обитую листовым светлым железом. В голове еще мелькнуло: «Как в гастрономии, где разделывают туши».

— Палачи! — истошно кричал Никандров. — Опричники! Собаки! Чекистские наймиты!

Хмель еще из него не вышел. Под утро,. прощаясь с Лидой Боссэ и ее липким спутником, которым она явно тяготилась, они заехали на вокзал и там выпили еще по стакану водки, поэтому чувствования Никандрова сейчас были особенно обострены и ранимы. Его и в России тяготило бессилие в столкновении с обстоятельствами; он даже вывел философию, смысл которой заключался в том, что человек — всегда и везде — бессилен перед обстоятельствами, он их подданный и раб. А восстанет — так сомнут и уничтожат. Дома он эту философию выстроил, проживая в мансарде — на свободе, впроголодь, — но издавая время от времени книжки своих эссе; забытый критикой, но окруженный вниманием и заботой почитателей — и паспорт-то он получил от комиссара, который с большой уважительностью говорил о его работах, особенно в области исторических исследований.

В том, что на его крики никто не реагировал, в том, что он ждал совсем другого — звонков издателей, номера в «Савойе», заинтересованных звонков ревельских и аккредитованных здесь европейских журналистов, — во всем этом было нечто такое жестокое и оскорбительное, что превратило Никандрова в животное: он упал на холодный каменный пол и начал кататься, рвать на себе одежду, а потом истерика сменилась обморочной усталостью, и он уснул, голодно вырвав желчью и водкой: ели мало, больше всю ночь пили...

Следователь политической части ревельской полиции Август Францевич Шварцвассер был человек мягкий и сговорчивый. От остальных коллег его отличала лишь одна черта — он был неутомимым выдумщиком и в глубине души мечтал сделаться писателем, автором остросюжетных романов наподобие Конан Дойла.

Именно к нему и попали бумаги, отобранные при обыске у Никандрова. Установив, что захвачен на квартире у Воронцова литератор, только-только эмигриро-

вавший из Совдепии, Август Францевич было подписал постановление на его немедленное — с обязательным формальным извинением — освобождение, однако, когда филеры передали своему начальнику данные сегодняшней ночи, следователь призадумался и долго сидел на подоконнике, мурлыча мотив из «Цыганского барона». Задуматься было над чем: во-первых, убит Юрла, проведший весь вечер в обществе эмигрантов и поэтов, один из которых настроен пробольшевистски; во-вторых, Никандров, как выяснилось, был дружен с Воронцовым, который — и это ни для кого не составляло секрета — был лидером боевиков в русской монархической эмиграции; в-третьих, — и это больше всего удивило следователя, — как мог быть столь спокойно выпущен из Совдепии человек, который так дружен с лидером эмиграции. За эмигрантскими лидерами большевики следили особенно тщательно и прекрасно знали не только их родственников, но и всех друзей, а порой и просто знакомых. При этом Август Францевич особо выделил и покойного Юрла, убийством которого пока что занималась криминальная полиция; известный журналист в свое время отбывал каторгу в Якутии за социалистическую, правда несколько национально окрашенную, деятельность; позже, впрочем, отошел от движения. Хотя это не мешало ему оказывать помощь — подчас финансовую, самую что ни на есть серьезную, эстонским леворадикальным оппозиционерам...

Идея, сюжет возникали в голове Августа Францевича неожиданно: словно бы появлялся пейзаж на фотографическом стекле, которое опущено в проявитель. Сначала полная белизна, потом затемнение, а после — поначалу осторожно, а затем все более рельефно вырисовывающийся пейзаж; лица Август Францевич фотографировать не любил, ибо всегда, даже за портретом жены, ему виделся тюремный «фас и профиль» и обязательно — отпечатки пальцев, сделанные жирно и неаккуратно.

Сведя воедино — неторопливо и обстоятельно — все известное ему, Шварцвассер придумал довольно стройную и весьма перспективную версию. Он знал уже о визите русского посла к президенту — об этом в секретной полиции узнавали немедленно; он знал, что Литвинов сообщил президенту точные данные о русской эмиграции, и в частности о Воронцове, которого в Москве считали врагом номер один в ревельских русских кругах; сходилось и то, что Воронцов, Юрла и Никандров, отчего-то

отпущенный Москвой с легкостью необыкновенной за границу, провели вместе весь вечер накануне загадочной гибели журналиста. И все это прочно базировалось на предписании главы правительства задержать Воронцова и еще шестерых его наиболее близких товарищей, а потом, по прошествии определенного времени, выпустить, предписав тем не менее покинуть в ближайшее же время пределы Эстонской республики.

«Удобная комбинация для ЧК, — воодушевляясь, чувствуя впереди нечто интересное, сложное и запутанное, продолжал рассуждать Август Францевич. — Они внедряют своего человека в самую сердцевину белого движения. Чем Никандров не подходящая для этого фигура? Что ни на есть подходящая. И, если я отберу у него подобного рода признание, тогда можно будет продолжить операцию и заявить Москве протест по поводу засылки своих агентов. Мы тогда сможем и впредь отметать все нападки Кремля по поводу белой эмиграции: вы сами ее плодите, а на нас за это валите вину».

Концепция показалась Августу Францевичу до того интересной, что он не стал перепроверять себя: вдохновение — мать успеха, и попросил конвой немедленно доставить к нему арестованного писателя.

...Никандрова он встретил обворожительной, несколько даже кокетливой улыбкой, приказал подать чаю с лимоном, посетовав при этом:

— Когда мы входили в состав империи, чай был куда как дешевле и лучше качеством. Сейчас, знаете ли, Альбион дерет с нас три шкуры за индийские сорта, а налогоплательщики бранят за это наше бедное правительство.

Никандров, вперившись яростным взглядом в добродушное личико Августа Францевича, взорвался:

— При чем тут чай?! Я спрашиваю — на каком основании я арестован?! У вас что тут, Совдепия или правопорядок?! Это же возмутительно! Литератора российского швыряют без всякого повода в острог! Мировое общественное мнение удивится, узнав об этом!

— А почему, собственно, мировое общественное мнение должно узнать об этом? От кого?

— От меня! Я не бессловесен! Я литеру умею складывать не только в рапорты — я писать умею, писать!

— Ну, что ж... Мне будет в высшей степени интересно читать ваши импровизы. Только на чем станете писать? И чем?

— Да что же это такое?! Господи, во сне я, что ли?! — закричал Никандров. — Что происходит?!

— Если вы будете продолжать истерику, я прикажу вас посадить в карцер, — по-прежнему улыбчиво сказал Шварцвассер.

— Ах ты сволочь розовая! — заревел Никандров. — Большевистская собака! Мало вас в Москве — вы и здесь нас терзаете?!

Не соображая уже, что делает — сказалось нервное напряжение последних месяцев, пока он ждал паспорта, по ночам тоскливо и затаенно отсчитывая минуты и гадая, выйдет или не выйдет, чет-нечет, — Никандров схватил тяжелую чернильницу и швырнул ее в аккуратное, розовое личико маленького человека, сидевшего за столом. Август Францевич едва успел вскинуть руки, и это, вероятно, спасло ему жизнь. Не смягчи он удар — граненое стекло рассекло бы ему висок; а так чернильница оглушительно и до зелени жутко ударила его в лоб, кровь смешалась с черной тушью. Шварцвассер пронзительно закричал, Никандров кинулся к нему, желая помочь, испугавшись того, что сделал, и отрезвел до липкой, потной безысходности.

Вбежавшие коллеги и стражники кинулись на Никандрова, повалили его и начали бить, тупо и бессмысленно, поначалу не больно из-за того, что било слишком много народу, но потом, связанного, его уволокли в подвал и там изуродовали так, что он поседел и охрип.

Москва. Кедрову. Передаю краткую запись беседы советника польской миссии Ярослава Ондреховского с посланником Литвы И. Балчунавичасом. По словам Ондреховского, в настоящее время положение Стеф-Стопанского не прочное, поскольку полгода тому назад был назначен новый заместитель шефа второго отдела генштаба бригадный генерал Пшедлецкий. Этот генерал подчеркнуто ставит на первое место в характеристиках незыблемость семейных уз, набожность, трезвость. «Поскольку Стопанский холостяк, жуир, пьяница, который не верит ни в бога, ни в черта, — продолжал Ондреховский, — то его положение в последнее время стало неустойчивым, хотя разведчик он первоклассный, но нового генерала не волнуют таланты, его волнуют характеристики. Он даже сказал как-то: «Талант

нужен в балете, в разведке он либо мешает, либо вредит и всегда настораживает». Ондреховский считает Стопанского верным сторонником парижской ориентации, хотя в последнее время он несколько раз говорил о том, что русская угроза недооценивается никем на Западе.

Роман.

* * *

...В Москву Воронцов приехал вечером. Моросил дождь, неожиданно теплый, грибной, с острым запахом прели и горной синеватой чистоты. Воронцову всегда казалось, что горная чистота имеет свой особый запах — только-только выловленной форели. Он испытал это на Кавказе: они с покойным братом поехали осенью шестнадцатого года, когда Виктор Витальевич после ранения лечился на водах в Пятигорске, ловить форель с Корнелием Уваровым, чиновником по особым поручениям при наместнике. Брат и Уваров расположились на траве, много пили, смеялись, а Виктор Витальевич ловил форель: без поплавка, полагаясь только на руку и обостренное, с детства очень резкое зрение. Первая форель оказалась самой крупной. Он подсек ее, рыба прорезала своим трепещущим, алюминиевым, стремительным телом голубоватый воздух ущелья и ударила его по лицу — он не успел подхватить ее растопыренной ладонью. И тогда-то он ощутил этот запах горной, неповторимой чистоты. Запах этот быстролетен, скорее даже моментален: не пройдет и трех минут, как форель потеряет этот аромат ледяного, с голубизною, потока, неба, водопадов...

Беседуя в Ревеле и Париже с господами, которые поддерживали его финансово, Воронцов, естественно, давал понять, что в Москве и Питере у него существует немногочисленное, глубоко законспирированное подполье. Поначалу он говорил так для того, чтобы получить хоть какие-то крохи денег от антантовских скупердяев на разворачивание работы. Люди они были ушлые, и ему приходилось весьма точно, назубок, затверживать придуманные им адреса людей, явки, пароли, отзывы. Он считал, что это ложь вынужденная, ложь во спасение. Но постепенно чем более доказательно он говорил и писал о своем подполье, тем чаще ловил себя на мысли, что он и сам в это уверовал. Причем особенно отчетливо стиралась грань правды и лжи в разговорах с соплеменниками, которых он хотел поддержать этой сладостной

ложью близкой надежды. И эта невольная и постепенная аберрация лжи и правды сыграла с ним дикую шутку: он поехал в Москву, по-настоящему веруя, что там сможет опереться на своих верных людей-боевиков, членов подпольной организации. Ему уже было трудно отделять правду от лжи: начав фантазии о подполье, он, естественно, опирался в своих умопостроениях на тех людей, которые, по его сведениям, остались в Москве и Петрограде; он был убежден в высокой честности этих друзей; он считал, что на родине они смогут принести ему значительно больше пользы, чем здесь, в этом затхлом болоте мелких склок и крупных подлостей, — в погоне за куском хлеба и сносным кровом: только в России Христа ради подают, здесь, в Европах проклятых, во всем рацио и расчет, холодный расчет, с карандашом и школьными счетами. Правда, когда Воронцов посетовал на этот чудовищный, жестокий и мелочный, как ему казалось, рационализм, великий князь задумчиво ответил:

— Милый Виктор Витальевич, я понимаю вас... Но, может быть, в том-то и трагедия наша, что мы каждому Христа ради подадим, даже лентяю и пьянице, а считать так и не выучились, все на Бога надеялись — вывезет! А? Может быть, это не так уж плохо для государства — уметь считать?.. Пусть за это другие ругают — зато свои хвалить будут...

...На вокзале в Москве было грязно, пол усыпан обрывками бумаг и каким-то странным, тряпичным, ветхим, не вокзальным мусором. Воронцов навсегда запомнил русские вокзалы заплеванными шелухой семечек — в третьем классе, хорошим буфетом — во втором и скучной, стерильной чинностью — в первом.

«Нету семечек, — отметил он для себя и поиздевался сразу же, — из этого я, несомненно, должен сделать вывод, что голодно сейчас тут, как никогда раньше. Мы всегда норовили увидеть жизнь народа через деталь: на общее времени не хватало...»

Извозчиков не было — всех разобрали, потому что Воронцов шел самым последним, присматриваясь и к тем, кто был впереди, а главное, проверяясь, нет ли сзади шпиков ЧК. Багажа с ним не было никакого — бритву, мыло и помазок он сунул в карман пальто и шел сейчас, как заправский москвич, хотя, впрочем, заметил Воронцов, от москвичей его отличало то, что он не имел

портфеля. В Ревеле ему казалось, что портфель, наоборот, сразу же выделит его из толпы — мелочь, а на поверку и не мелочь даже совсем. Раньше-то с портфелями ходили одни чиновники, а теперь мужик правит государством: ну как ему не проявить свое глубокое внутреннее детство — как ему не пофорсить с портфелем, если даже и пустой он, и ручка отвернута, и замки проржавевшие не запираются...

Воронцов неторопливо пересек Садовое кольцо и пошел в центр: единственный адрес своего старого друга инженера-путейца Абросимова, который ему случайно удалось узнать, был до боли московским, родным — Петровские линии, дом 2, квартира 6. Воронцов рассчитывал переночевать у Абросимова, а потом с его помощью получить две-три верные квартиры, где бы он мог на первое время обосноваться.

Возле «Эрмитажа» он свернул, остановился. Липы «Эрмитажа», громадные, черные от дождя, словно впечатывались в сумеречное, серое небо. В маленькой церковке тихо и скорбно перезванивали колокола.

Воронцов вдруг остановился, прижался спиной к забору, сплошь заклеенному какими-то дурацкими плакатами и объявлениями, вдохнул всей грудью воздух и замотал головой: «Господи, неужели дома, неужели в Москве я, Господи?!»

И так стало сладостно, как бывало в раннем, таком невозможно-счастливом детстве, когда маменька приходила к нему и он зарывался головой в ее колени, и ее длинные пальцы нежно гладили его ломкую, тоненькую шею, и пахло от маменьки апельсиновым вареньем и горькими духами, и было это так давно, что, возможно, никогда этого и не было.

Абросимов открыл дверь сам. Увидав Воронцова, он в страхе шагнул на площадку — грудью навстречу гостю, словно бы прикрывая вход в квартиру.

— Что? — быстрым шепотом спросил он. — Зачем ты? Один?

Воронцов улыбнулся, тронул его за руку, ответил:

— Позволь мне сначала войти к тебе, Геннадий.

— Нельзя. У меня сослуживцы из наркомата...

— Когда они уйдут?

— Поздно. Мы работаем над проектом.

— Переночевать мне у тебя можно?

— Это опасно... Ах, зачем ты пришел, Виктор, я

только начал успокаиваться от прошлого! Зачем ты пришел?

— Кто и где живет из наших?

— Я никого не вижу! Я, правда, давеча встретил Веру — случайно, на улице... Она живет на Собачьей площадке, в доме пять.

— У тебя сослуживцев нет, — чеканно и брезгливо, как-то сразу потухнув, сказал Воронцов. — Ты просто боишься...

Он медленно спустился по лестнице, все еще ожидая, что Абросимов окликнет его, бросится к нему со слезами и уведет к себе, и он поймет его, потому что страх ломает человека, и в этом нет его вины — вина только в том, что не можешь перебороть страх, когда ты не один уже, а вдвоем... Но никто его не окликнул, и он услышал, как осторожно лязгнул французский замок, а потом прогрохотал тяжелый засов. «В Москве силен бандитизм, — машинально отметил для себя Воронцов, — про это все говорили». И только выйдя на пустынную, темную улицу, он остановился, потому что понял: Абросимов дал ему адрес его жены, Веры — единственной женщины, которую он любил и которая была его мукой и счастьем; все те, другие, с кем сводила шальная, стремительная и жестокая жизнь, проходили мимо — он их не помнил.

И сейчас, по прошествии лет, после того как они расстались, он не мог отдать себе отчета — кто же виноват в этом. Поначалу он, естественно, был убежден в ее вине. После, встречая других женщин, он все чаще и чаще вспоминал ее и, вместо того чтобы от нее отдалять-ся, мучительно, до острой боли в сердце возвращался к ней. Он полюбил ее сразу, как только увидел на именинах у тетушки Лопухиной в сентябре, в день поразительный, прозрачно-синий, за городом, в сосновом бору в Назарьине, что возле Николиной Горы.

...Вера жила в большой коммунальной квартире. Он увидел полутемный коридор, телефонный аппарат на стене, две громоздкие детские коляски и большую оцинкованную ванночку, повешенную на большой крюк...

— Ну, здравствуй, — сказал он, нелепо хмурясь, потому что не знал, как ему следует вести себя. — Добрый вечер.

— Здравствуй, — ответила Вера, легко улыбнувшись. Она улыбнулась так, будто они расстались только вчера, а не семь лет назад.

Она не вышла, как Абросимов, на площадку, но и не отступила в сторону, приглашая его войти к ней. Она стояла в дверях и смотрела на него со странной усмешливостью.

— У тебя кто-нибудь есть?

— Вопрос поставлен слишком обще, — ответила Вера.

— За тобой я замечал много великолепных недостатков, — сказал Воронцов, — но я не замечал за тобой пошлости.

— Зайди, у меня есть час свободного времени.

— Где дети?

— В деревне. У бабушки, ей оставили флигелек.

Они вошли в ее маленькую комнату. Здесь была та милая Верина неряшливость, которая подчас раздражала его, и он говорил ей об этом, не щадя ее, а в отъезде, вспоминая, он видел в этой несколько даже детской неряшливости нечто прелестное, шедшее от игры с куклами — от той игры, которая неистребима в женщине.

— Дети похожи на меня?

Вера кивнула головой на стену: там среди картин висели два фотографических портрета: девочка и мальчик с собакой. Воронцов долго разглядывал лица детей.

— Арина похожа на меня больше, чем Петр.

— Может быть... Я как-то стала забывать твое лицо...

Воронцов обернулся: Вера прибирала со стола шитье. Воронцов похолодел: это были розовые и беленькие распашонки.

— Ты замужем?

— Сейчас это не важно... Говорят — «они сошлись».

— И с кем же ты сошлась?

— Я ведь не спрашиваю, с кем ты сошелся.

— С кем бы я ни был — у меня есть дети. Надеюсь, они помнят, что их отца зовут Виктор Воронцов?

Он говорил сейчас жестко, сухо, казня себя за это; он хотел подойти к Вере, упереться лбом в ее лоб и сказать про то, что он всегда любил ее и очень любит сейчас и больше всего боится, что тот, другой, кто сейчас с ней, может обидет ее и что она может потом сломаться: она никогда не знала людей, потому что всегда он был впереди, а она была за его спиной, но он не мог переступить в себе самом какую-то незримую, холодную черту, которая не пускала его сделать так, как того хотело сердце.

— Выпьешь чаю? — спросила Вера.

— Нет. Спасибо. Дети знают своего нового родителя?

— Нет. Пока что нет.

— Ты счастлива с ним?

— Я чувствую себя с ним человеком...

— Он раскрепостил тебя? — усмехнувшись, спросил Воронцов. — Что, он из «товарищей»?

— Ты не вправе интересоваться этим. Я же никогда не интересовалась твоими подругами...

— Ты просто устраивала сцены ревности.

— Я тебя очень любила, — ответила Вера и невольно взглянула на большие часы, стоявшие на комоде.

— Как у тебя с деньгами?

— Ты оставил мне тогда... Я меняла твои камни на хлеб...

Воронцов не выдержал — спросил:

— И кормила на мои камни «товарища»?

— Уж не ревнуешь ли ты меня к нему?

— Я лишен ревности, ты это знаешь, — сказал Воронцов, чувствуя, как сердце его стало зажимать тяжелой, густой и горячей болью, понимая, как глупо он сейчас ей врет, и отдавая себе отчет в том, что она великолепно видит по его вопросам, как он ее ревнует.

— Я это знаю, — ответила Вера и снова чуть усмехнулась этой своей странной, незнакомой Воронцову дотоле улыбкой.

— Ну, прощай, — сказал он, так и не присев.

— Прощай, — ответила Вера. — Может быть, ты голоден?

— Я сыт. Спасибо.

«Вот так, — думал он, стремительно вышагивая по улицам — пустым и темным, — вот так. Вот так. Вот так. — Он не мог отвязаться от этого проклятого «вот так» и поэтому шагал все быстрее и быстрее. — Все кончено... А любил я ее лишь. Одну. Всю жизнь. А сейчас люблю еще больше, чем раньше. И, наверное, во всем том, что случилось, виноват один я, потому что всегда виноват сильный. Но сейчас она оказалась сильнее меня. Почему же тогда, в те годы, что мы были вместе, она была такая слабая? Почему она тогда не была такой? Или она слепо верила в нашу любовь и ей казалось унизительным быть сильной для того, чтобы охранить ее ото всего — и от меня тоже? Сейчас я вернусь к ней, — вдруг понял он, остановившись. — Я пристрелю этого ее

«товарища», который жрал мой хлеб. И уведу ее с собой. Вот так».

А Вера лежала на кровати, уткнувшись головой в жесткую маленькую подушку, и плакала, потому что, увидев Воронцова, она поняла, что всегда, все эти годы ждала лишь его одного, а сейчас должен прийти Андрей — ровный, влюбленный, приветливый — и будет подробно рассказывать ей о прожитом дне, и о том, как виделся со своей дочкой на квартире у дяди Натана, и о том, что сегодня говорили на кафедре после посещения антикварного мебельного магазина; и все это стало сейчас так невыразимо горько Вере, что она, накинув пальто, выбежала на улицу, чтобы найти Воронцова, но никого на улице не было. Шел дождь — теплый, весенний, и пахло промозглой сыростью.

На Арбате, возле ярко освещенного кафе Воронцов остановился. В запотевших, слезливых окнах метались тени лакеев. Слышно было, как кто-то из посетителей затягивал старинную казацкую песню, но, видимо, «певец» был безголосым, потому что он немилосердно фальшивил, замолкал, чтобы вскорости начать сызнова.

Воронцов толкнул дверь ногой и вошел в кафе. Пахло жареным мясом, луком и пивом из свежеоткупоренных бочек. Возле металлической гофрированной печки было два места за маленьким столиком. Воронцов спросил старика, сосавшего пиво из длинного стакана:

— Вы позволите?

— Позволю, — буркнул тот, — я все готов позволить.

Воронцов притулился к печке спиной, закурил. Он чувствовал, как его знобило, но думал, что это нервное. Если простуда — он должен был бы простудиться там, на границе, когда попал в яму с водой, а потом спал в мокром стоге, но нет — он чувствовал себя все эти дни хорошо, до встречи с Верой.

«Это из-за нее, — подумал он, — просто я переволновался, оттого и знобит. Ничего, сейчас выпью и отойду».

Он долго ждал полового, а потом окликнул пробегавшего мимо человека:

— Пст!

Тот остановился, словно взнузданный, и ответил:

— Я вам не «пст», а гражданин официант!

Воронцов смешался.

— Простите, друг мой, — нашелся он внезапно. — Пошутить нельзя по-старорежимному?

— В другой раз, — примирительно и удовлетворенно, с какой-то долей покровительства, заговорил лакей, вытирая вонючей тряпкой столик, стряхивая при этом крошки на колени Воронцову, — в другой раз надо осмотрительней... Я-то отходчивый, а иной сразу за фалду и в милицию. Чего изволите?

«Все-таки «чего изволю», — ответил Воронцов и захолодел от гнева, — значит, еще не все потеряно, если «чего изволите»...»

— Водки, стакан пива и кусок мяса, — попросил он.

— Мясо с лучком будем делать?

— С лучком.

— Прожарить или с кровушкой?

— С кровушкой.

— А из закусочек?

— Что у вас есть?

— Ветчина есть, окорок давеча подвезли с Угодского Завода... Рассыпчатую картошечку можно предложить с селедочкой...

— Картошечку дайте. Без селедочки.

Лакей присел, словно в книксене, и резво потрусил на кухню.

Старик, что был рядом, хмыкнул, передразнив:

— С кровушкой, селедочку, ветчиночка...

Воронцов ничего не ответил, только осторожно, чуть заметно улыбнулся: он понял, что здесь сейчас ему надо заново изучать «правила хорошего совдеповского тона». Погибнуть на мелочи ему не хотелось — он не имел на это права; игра, которую он задумал, предполагала жизнь, но не смерть.

— Издалека? — продолжал старик.

— Издалека.

— Как там? Тоже полегчало?

— Да... в известной мере...

— Что понимать под «известной мерой»?

Воронцов озлился: «Приказал бы я тебя вышвырнуть прочь в мои-то времена, когда мы Россию бранили и жаждали британского демократизма. Добранились — сиди и отвечай, Виктор Витальевич. Все мы бранили, только Вера никогда ничего не говорила — умней всех нас она, потому что женщина...»

— Хлеба вдоволь? — не унимался старик. — Молоко появилось?

— Есть хлеб, — сухо ответил Воронцов. — Простите, но я очень устал.

— Усталым нечего делать в питейных заведениях — дома надо лежать.

Воронцов не выдержал:

— Тем не менее позвольте мне посидеть молча: я плохой собеседник, когда устаю.

— С чего вам уставать, сударь, — руки-то у вас служивые, чистые. Ваша усталость как раз и требует беседы. Тот, кто молотом машет в кузне, тот к печке тащится, чтобы спать... А вы сейчас, прошу извинить, не о постели думаете, а о бабе в оной... И причем не о своей, но о чужой, что помоложе.

— Я велю сейчас вывести вас отсюда.

Старик беззубо, тихо рассмеялся. Облизнув острым, синеньким языком толстые губы, спрятанные под пегими усами и бороденкой, он погрозил пальцем Воронцову и шепнул:

— Ни-ни, барин! Ни-ни...

Воронцов испытал какую-то безразличную, далекую усталость. «Это судьба, — подумал он. — Мне в детстве такие старики снились, перед единицей в гимназии».

— Ну, «барин». Ну, еще что?

— Это хорошо, что вы не стали ерепениться. Меня-то не помните?

— Не помню.

Лакей принес Воронцову водку в графинчике, пива и кусок шипучего мяса, обложенного мелкими желтыми картофелинами.

«Рассыпчатая картошечка, — снова безразлично подумал Воронцов, — врут в глаза и не боятся...»

— А я вас помню, — понизив голос, сказал старик. — Нет, по фамилии не помню; по лику помню: я швейцаром был в Английском клубе. Вы туда приезжали... И с Немировичем приезжали, с народным артистом, и с покойным Мамонтовым...

«И это в первый же день, — отметил Воронцов, разрезая мясо. — Никандров высмеял бы меня за такой сюжет».

— Обознаться не могли?

— Не мог... Водочкой угостите?

— Наливайте.

Старик шумно выпил пиво с водкой и спросил — теперь уже не юродствуя, а деловито, оценивающе:

— Девочка не нужна? Хорошие есть девочки — с комнатами, в частных домах, так что лишних людей не будет, да и запоры хороши, если, не ровен час, какая проверка.

— Значит, в ливрее стояли? В услужении у кровопийц?

— Проверяете вы меня ловко... В ливрее ж разве кто стоял в Английском клубе? В сюртуках, только в сюртуках...

— А что ж милицию не зовешь? Награду за меня уплатят...

— У нас за это наград не платят... Третье отделение платило, а тут лишь грамоту на глянце... Значит — не обознался я... У меня глаз цепкий... Вы-то нас никого не помнили, а мы вас всех до одного — как во сне видим...

— Гражданин официант, — попросил Воронцов пробегавшего мимо лакея, — еще два графинчика.

— И пива, — подсказал сосед.

— А вам? — спросил лакей. — Пивка повторим?

— Нет. Мне не повторяйте.

«Может, заснет, — тоскливо подумал Воронцов. — Налить бы побольше, чтобы уснул. Тогда и уйти. Ведь начнет в спину кричать, животное...»

Но старик не уснул. Он поднялся первым и предложил:

— Пошли, мил человек. Я всю жизнь бездомным прожил — бездомного за версту вижу. Москва нынче бездомных не любит и примечает быстро. Пошли.

Он привел Воронцова в маленький домик на Плющихе, прилепившийся к крутому склону горы, спускавшейся к Москве-реке; было в этом домике темно, дверь отворила подслеповатая старуха и сразу же ушла за тонкую фанерную дверь и там — Воронцов слышал это отчетливо — пробормотала:

— Эх-эхе-хе, тяжелы грехи наши тяжкие...

Старик открыл дальнюю — в углу — дверь и подтолкнул Воронцова в спину:

— Я тут, рядышком. Что надо — кликните, я мигом.

Девушка спала на узенькой софе, укрывшись пледом. Воронцов стоял не двигаясь, прислушиваясь к тому, закроет старик входную дверь на засов или уйдет. И лишь когда скрипуче грохнула щеколда, а потом прогрохотал засов, он выдохнул и медленно осмотрелся. Окно было низкое, закрытое ставнями. Воронцов на цыпочках подошел к ставням, осторожно открыл крючок и выглянул на улицу: окно выходило в густой сад. Голые ветви сирени упирались в стекло.

Воронцов вернулся к двери, запер замок, ключ положил в карман; снял казакин, свернул по-походному, положил возле двери и лег на него, как на подушку, хрустко и длинно вытянувшись.

— Между прочим, — чуть хрипловатым голосом сказала проститутка, — червонец обязаны уплатить — так или иначе.

— Сейчас?

— Можно утром.

— Когда кончится мое время?

— У вас что — нет документов?

— Почему... Есть... Я поссорился дома...

— Не врите. Дед таких не приводит.

— Кто он, между прочим, этот ваш дед?

— Покойный грешник в улучшенном издании.

Воронцов сел. С неожиданным интересом посмотрел на девушку: она лежала, по-прежнему отвернувшись к стене.

— Тебя как зовут? — спросил он.

— А вас?

— Меня зовут Дмитрий Юрьевич...

— Значит, Митя... Маленькое имя, — заметила девушка, — вы уж извините, но мне вас по имени-отчеству называть неудобно: тех, кто с тобой спит, надо называть по имени — я пытаюсь камуфлировать распутство чувством...

— Бред какой-то, — пробормотал Воронцов, увидев громадные синие глаза, густые черные волосы, прекрасного овала лицо, — да вы тут что, все — умалишенные?

— Все, все... Вы, мы, я... Водки не принесли?

— Нет.

— Попросите деда. Это дополнительная такса: за раздельную кровать.

Старик принес водку в грязной, зеленоватого цвета бутылке с отколотым горлышком.

— Сала подай, — сказала девушка.

— Сало кончилось, Анна Викторовна.

— Что у тебя еще есть?

— Хлеб.

— Принеси хлеба.

— Может, сбегать поискать чего на Брянский?

— А что ты там найдешь?

— Там начали пирожками торговать с ливером.

— Дайте ему денег, Митя, пусть он принесет пирожков.

Воронцов достал из бокового кармана пачку денег и протянул старику червонец.

— Сейчас я обернусь, — сказал дед, — мигом.

Когда старик ушел, Анна Викторовна поднялась с софы; была она высокая, тонкая, сложена великолепно, по-английски.

— Без закуски пьете? — спросила она, подойдя к столу.

— По-всякому пью.

Она разлила водку по стаканам и медленно выпила свой — тяжелыми, слышными глотками.

— Пейте, Митя. Сивуха, правда, но гнали ее из хлеба.

Воронцов отошел к окну, отворил ставни. Пламя керосиновой лампы отражалось в стекле ладонями молящейся богоматери.

— Кто вы и почему вы здесь? — спросил Воронцов.

— Ну, это неинтересно.

Он подошел к столу, налил себе водки, выпил залпом, близко заглянул ей в лицо. Глаза у нее были громадные и совсем неподвижные, словно у слепой.

— Что, раздеваться? — спросила Анна Викторовна.

Он наклонился к ней, взял за уши и, закрыв глаза, начал искать ее губы.

— Погодите, дайте же раздеться.

— Не надо, — сказал Воронцов и медленно отошел к окну.

Он стоял, повернувшись к стеклу, и видел, как ладони молящейся затрепетали, а потом взлетело что-то большое и белое, и он понял, что женщина постелила простыню. А потом он услыхал шуршание ее юбок и тихий скрип софы.

— Только разденьтесь, — сказала она, — я ненавижу, когда в кровати лязгают ремнем.

— Спите, милый, — шепнула Анна Викторовна, — вам надо поспать, я вижу, как вы устали...

Вера, только-только на эти минуты покинувшая его, вдруг снова поплыла в глазах, и стало ему до того вдруг гадостно и плохо, что он подумал: «Надо все это кончить. Винить некого. Себя разве? А толку что?»

Анна Викторовна почувствовала, что он хочет подняться, еще до того, как он откинул плед. Она тесно прижалась к нему, обняла хлысткими руками за плечи.

— Побудь рядом, — шепнула она, — еще немного побудь рядом... Что тебе? Папиросу? Я принесу. Лежи.

— Спасибо. Я возьму сам...

— Лежи, — повторила она еще тише и, закрыв глаза, стала целовать его плечи, грудь, шею. — Сейчас я принесу тебе папирос и налью водки. Ты сейчас хочешь выпить водки, да?

— Да.

Она поднялась, улыбнулась ему:

— Можно я подниму твой казакин? Мне холодно... Я его накину...

— Пожалуйста... Только он грязный...

Анна Викторовна подняла с полу его казакин, накинула на свои острые красивые плечи, загнула рукава.

— Тебе зажечь спичку?

— Спасибо. Я сам.

Она протянула ему пачку папирос. Медленно размяв папиросу, он закурил. Когда он начал обшаривать глазами, куда бросить сгоревшую до половину спичку, глаза его натолкнулись на матовую дырку пистолета: Анна Викторовна стояла у него над головой и целила в лоб.

— Положи это, — попросил он, — он настоящий.

— Я знаю, — ответила она. — Если вы двинитесь, я продырявлю вам лоб. Он у вас без морщин, красивый. Камни где? Золото?

«Домик стоит на отшибе, рядом река и вокзал — паровозы гудят — никто ведь и не услышит ничего. Ну и ладно, может, к добру это. А патрона в патроннике нет, я ж его на всякий случай в ствол не загонял...»

Он поднялся, Анна Викторовна отскочила в угол и нажала курок. Жестко лязгнула сталь. Он прыгнул к ней и ударил сцепленными ладонями по голове, прямо по темени. Склонившись над женщиной, он взял из ее рук пистолет, загнал патрон в ствол и поднялся. Замер, потому что услышал в коридоре тихие шаги нескольких человек. Прижался к маленькому шкафчику, успев подумать, как это нелепо и смешно со стороны: голый граф Воронцов с пистолетом в руке в конуре у проститутки, которая работает на банду. Угол шкафа скрывал его. Он вжался еще теснее, и в это время пламя лампочки затрепетало. Дверь бесшумно отворилась, и он увидел высокого парня с дегенеративным, слюнявым лицом. В руке он держал топор, а за ним Воронцов успел увидеть глаза старика и кого-то еще, третьего. Не раздумывая, он выстрелил три раза. Детина упал молча, старик

тоже — видимо, пуля легко прошла через фанерную стенку, а третий, невидимый Воронцову, тяжело упав, грязно заматерился.

— Тихо! — прикрикнул Воронцов. — Будешь выть — добью. Пистолет брось в дверь.

— Да нету у меня пистолета!

— Что у тебя есть, — повторил Воронцов, — кидай в дверь.

К ногам Анны Викторовны упала финка — лезвие было очень длинное, таким егеря свежевали лосей: Воронцов даже ощутил запах сосны, которым отдавало, когда егеря отбрасывали собакам теплый ливер.

Подняв нож, он вышел в коридор. Раненый смотрел на него мутными, круглыми глазами, прижимая ладонью печень. Воронцов подошел к входной двери, заложив засов, посмотрел в каморку старухи. Та спала, громко храпя: со стоном и долгими замираниями, Воронцов боялся, когда так храпели, — кучер пугал его в детстве.

— Ползи в комнату, — сказал Воронцов раненому, но тот отвалился на локоть. В уголке рта у него появилась кровь.

Воронцов вернулся в комнату; Анна Викторовна по-прежнему сидела, прижавшись к стене.

— Болит голова? — спросил он, одеваясь.

— Вежливы вы...

— Это лучшая форма лицемерия — вежливость-то...

— Пристрелите?

— А что мне остается делать?

— А его?

— Он и так умрет.

— Только в спину не стреляйте.

— Я в спину никому еще не стрелял, даже шлюхам.

Анна Викторовна оделась.

— Перед смертью хочу сказать, что вы были великолепны.

— Когда? В кровати или позже?

— Все время. Я никогда не вру, — нахмурилась она, увидев усмешку Воронцова. — Никогда. И поэтому я хочу вам помочь. Отодвиньте софу. Не бойтесь, у меня нет оружия.

— Почему вы решили, что я боюсь?

— Потому что вам надо стать ко мне спиной...

Воронцов отодвинул софу. Там был люк подпола, задраенный по-морски, накрепко.

— Поднимите люк, там каменный подвал, о нем никто

не знает. А в подвале — ход: мы туда утаскивали всех — чтобы не было улик. Вам разумнее убить меня там. Выстрела не слышно.

— Выпить хотите? — спросил Воронцов, устало опускаясь на стул. — Тогда наливайте.

— Господи, — прошептала она вдруг, — Господи, почему вас бог так поздно послал?

— Где деньги и ценности?

Анна Викторовна сильным движением — тренированно-гимнастически — поставила софу «на попа», отвернула две ножки. В одной были трубочкой спрятаны деньги, а вторую ножку она тихонько развела на две половинки, и на стол посыпались бриллианты.

— Откуда? — спросил Воронцов.

— Фаддейка бил тех, кого мне дед приводил.

— Один работал? — быстро спросил Воронцов: он понял, что сейчас случай, дикий случай — если она ответит, что он работал в паре, он получит человека, нужного ему сейчас, как никто другой.

— С братом.

— Где брат?

— В Посаде... Запой у него. Олег — божий человек.

— На, дорежь, чтоб не мучился, — сказал Воронцов, протягивая ей финку.

Анна Викторовна взяла финку и пошла в коридор. Воронцов пошел за ней следом. Фаддейка еще дышал.

— Куда бить?

— Куда хочешь — можешь в шею.

Она ударила Фаддейку в шею и — Воронцов следил за этим — не зажмурилась, только скулы зацепенели.

Через полчаса они сбросили тела в подпол и ушли вместе. Ночь провели на Брянском вокзале: он спал у нее на коленях, а она сидела, все время улыбаясь, и гладила его лицо, и глаза ее не были прежними, усталыми, неподвижными: они жили...

Под утро Анна Викторовна разбудила Воронцова:

— Олег, Фаддейкин брат, знает про наш подвал. Я сейчас вернусь — вы смотрите на Москву-реку, все поймете.

Через полчаса на другом берегу вспыхнул пожар: Анна Викторовна подожгла дом, облив его керосином с трех сторон. Сухое дерево вспыхнуло ярко и желто в зыбких рассветных сумерках.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Председатель Московского ревтрибунала Тернопольченко[1] был человек одинокий, замкнутый и нелюдимый. На собраниях он выступать не любил, процессы вел хмуро, непреклонно, впрочем, порой принимал неожиданные решения: оправдывал людей, казалось бы, обреченных, и, наоборот, брал под стражу в зале трибунального заседания свидетелей по делу — на первый взгляд ни в чем не повинных. Когда его как-то спросил об этом правозаступник Муравьев, председатель ответил в обычной своей медлительной манере:

— Я в решениях нетороплив, но сугубо надежен. Вы вправе опротестовать мое решение, если опровергните вот эти строчки на страницах дела, — и он протянул Муравьеву три толстых тома с закладками. — Извольте ознакомиться.

Как-то прокурор Крыленко[2] сказал о нем:

— Чертовски талантливый юрист, но бесконечно чувствительный — он терзается, когда выносит приговор.

Лишь Крыленко знал по временам подполья, что Тернопольченко, тогда студент Киевского университета, эсдек, проданный охранке своим ближайшим другом, стрелялся в ссылке и его чудом выходили: один из ссыльных, эсер Гойхберг, был медик, он и спас его.

Через десять лет дело Никодимова, Рогалина и Гойхберга попало к Тернопольченко. Он запросил себе отвод, но Карклин ему в этом отказал. Перед началом заседания трибунала Тернопольченко, откашлявшись, спросил у подсудимых:

— Есть ли у кого отводы к составу трибунала?

Отводов ни у кого не было. Гойхберг только все время смотрел на Тернопольченко, и губы его кривила горькая усмешка.

— В таком случае, — сказал Тернопольченко, — я должен дать тебе самоотвод, поскольку Гойхбергу обязан жизнью, а по материалам дела этот подсудимый заслуживает расстрела.

Когда Гойхбергу вынесли приговор — десять лет тюремного заключения, — Тернопольченко пошел на базар, продал свои часы, купил на эти деньги сапоги и сала, пришел в тюрьму — в день официально разрешенных свиданий — и передал все это Гойхбергу.

[1] Расстрелян в 1937 г. — *Ю. С.*
[2] Расстрелян в 1937 г. — *Ю. С.*

— Спасибо тебе, Нестор, — сказал Гойхберг, — я знаю, что жизнью тебе обязан, не то что сапогами.

— Если бы я судил тебя, Рувим, — ответил Тернопольченко, — я бы приговорил тебя к расстрелу...

— Ты это говоришь с полной мерой ответственности?

— С наиполнейшей.

— Но это же страшно, Нестор.

— Может быть. Но это правда.

Через месяц после этого он получил телеграмму с Полтавщины от отца: «Мать и сестры умирают с голоду. Помоги чем можешь»; Тернопольченко пошел к наркомюсту Курскому.

— Дмитрий Иванович, я понимаю, что обращаюсь к вам с просьбой противозаконной, но больше мне обратиться не к кому. Вот, — он положил на стол наркома телеграмму. Может, мне два оклада бы выдали наперед?

— Я думаю, это возможный путь, — ответил Курский. — А как же вы сами продержитесь?

Тернопольченко усмехнулся:

— У меня есть метод. Мы, когда жили в ссылке, коммуну организовали. Купили картошки и разложили ее на тридцать кучек, по пяти штук на день. Сала купили — из расчета добавлять по куску в жарку, чаю и по шесть сухарей. А на остальные деньги литературу выписывали.

Он отправил в деревню две свои зарплаты. Отец ответил: «Купил на твои деньги два фунта свинины, десяток яиц и полпуда картофеля, может, до лета не умрем. И на том родительское спасибо, отплатил за нашу любовь и ласку. В обиде на тебя не пребываем, хоть и знаем твой пост».

Письмецо это, свернутое в треугольник — клея у отца не было, — пролежало три дня в секретариате трибунала: почерк у старика был неразборчивый. А когда, промусолив насквозь письмо, поняли, что это пишет отец Тернопольченко, по трибуналу пошли разговоры, и смотрели на него люди с высокой почтительностью и жалостью, а некоторые с жестоким недоумением. Пробежав письмо, Тернопольченко сунул его в карман гимнастерки, словно бы забыл о нем, но вечером заглянул к экспертам:

— Кто выручит стаканом спирта? Деньги отдам через три месяца.

Эксперт Мануйлов[1] налил ему стакан.

[1] Расстрелян в 1937 г. — *Ю. С.*

— Как ты думаешь, Мануйлов, когда у человека начинается старость? — спросил Тернопольченко, выпив.

— Я думаю, первые признаки проявляются годам к сорока...

— Неверно говоришь, товарищ Мануйлов. Стареть мы все начинаем с первым криком, в миг рождения. Важно определить момент, когда процесс этот наиболее интенсивен... Я, сколько себя в детстве помнил, всегда о смерти думал — очень помереть боялся. Помню отчетливо, знаешь ли, летний жаркий день, стрекозы летают по лугу... А луг рыжий, выгорел под солнцем. И кузнечики еще там были с синими крылышками... И так стало мне вдруг страшно, что умру и темно будет и никогда больше кузнечиков этих самых не увижу, что заплакал я — вроде бы, знаешь ли, даже истерика у меня тогда была. Найти бы этот проклятый период, когда человек обрушивается в старость... Мне кажется, знаешь ли, что в старости человек уж больше не стареет: он после какого-то времени консервируется и таким умирает... Чем больше мы страшимся постареть, тем стремительнее стареем, Мануйлов.

Вот к этому человеку, Нестору Тернопольченко, и пришел в одиннадцать часов вечера странный посетитель.

— Добрый вечер, я к вам с разговором.

— Кто вы?

— Позвольте мне пока что себя не называть...

— Я не могу говорить с человеком, не зная его фамилии.

— Моя фамилия Сорокин, я работаю в военведе. Дело, с которым я пришел, необычное, поверьте мне, — иначе я бы и не посмел, товарищ Тернопольченко, к вам обратиться.

— Слушаю вас...

— Товарищ Тернопольченко, тут арестован МЧК паренек, Белов Григорий... Он мне не сват и не брат, просто парню только-только сравнялось двадцать... Работал он в Гохране и совершил хищение — взял там часы какие-то, браслетки, не зная их ценности, не понимая, как это жестоко по отношению к нашей республике... Я помню ваше дело по обвинению работников Главтопа: вы приговорили их к расстрелу, но сами же обратились во ВЦИК с ходатайством о помиловании — в силу того что преступление совершено несознательно, а двое обвиняемых по делу тоже были совсем молодые люди.

— Ну и чего же вы хотите от меня?

— Если вы спасете жизнь Белову, тогда его родные передадут вам двадцать миллионов рублей. Я могу от их лица гарантировать тайну: про это будут знать только вы и я.

— Почему вы решились обратиться с таким предложением?

— Я помню дело Главтопа... Ваш самоотвод с эсерами... Так может поступать только честный и добрый человек...

— Честный и добрый человек, — задумчиво повторил Тернопольченко. — А деньги будут давать по частям или сразу?

— Вам я готов передать деньги до суда.

— Кто ваш начальник?

— А что?

— Мне тоже надо о вас выяснить кое-что... Я ж не могу верить вам — за ясные глаза и лестные предложения. Вы у кого в военведе работаете?

— У Лихарева.

— У Игната Лихарева?

— Нет, у Василия Егоровича...

— Как он поживает?

— Спасибо, хорошо...

— Ну, ладно, — поморщился Тернопольченко, — хватит тут разыгрывать водевили. Есть оружие — кладите на стол, я вас арестовываю.

— Не шантажируйте меня, — быстро сказал Сорокин и поднялся.

— Сядьте. Напротив в квартире живет зампред МЧК Лосев — я его крикну, если решитесь бежать.

Сорокин достал пистолет и навел его на Тернопольченко:

— Я выстрелю, коли вы не позволите мне уйти.

— Уйти я вам не позволю, а выстрелить в меня, знаете ли, не так уж трудно. Но бежать отсюда вы не сможете, тут дом странный: говоришь негромко — все звуки резонируют. Видимо, архитектор был с музыкальным бзиком. Давайте, давайте оружие,— повторил Тернопольченко и, поднявшись с табурета, пошел на Сорокина.

— Отойдите! Я сейчас нажму курок!..

— Да бросьте вы, знаете ли, — поморщился Тернопольченко и сильно рванул на себя пистолет, опустив его предварительно дулом вниз. Вынул обойму, бросил

ее на стол и, повернувшись к Сорокину спиной, сел к телефону.

— Мессинга мне, — сказал он в трубку. — Нет? Ладно, тогда присылайте пару ваших, я вам передам арестованного.

Тернопольченко обернулся к Сорокину:

— Ваша должность? Только не лгите: Лихарев, у которого вы якобы работаете в военведе, уже пять месяцев как в Туркестане.

— Я — секретарь ревтрибунала Балтийской железной дороги.

— Кто председатель?

— Прохоров, Павел Константинович...

— Вы юрист или по назначению?

— По назначению...

— Законы о взяточничестве знаете?

— Зачем вы конвой вызвали? Неужто нельзя просто отказать?

— Зло прощать нельзя, Сорокин. Можно прощать слепой случай, глупую неосторожность. Зло — продуманное, грязное, чужое — прощать нельзя. Иначе революцию предадим.

«Я, Сорокин Валерий Николаевич, по существу поставленных мне вопросов могу показать следующее: в течение недели ко мне на работу звонила неизвестная, умолявшая о встрече. Сначала я отказывался от общения с ней, однако потом, решив, что такой отказ бессердечен, согласился увидаться. Ею оказалась молодая женщина, которая плача рассказала мне об аресте ее любимого, молодого человека Белова Григория, работника Гохрана. Она умоляла спасти жизнь ее возлюбленному и сказала, что, если я смогу поговорить с председателем трибунала Тернопольченко, она и отец арестованного пойдут на любые траты, чтобы отблагодарить за спасение жизни жениха и единственного сына. Я от неизвестных никаких денег не получал и к Тернопольченко пошел, движимый единственно чувством человеколюбия, о чем сейчас сожалею и проклинаю свою минутную слабость. С молодой женщиной, имени которой не знаю, я встречался возле кино «Арс» два раза. Адрес ее мне неизвестен. Записал собственноручно. Сорокин».

Мессинг подчеркнул красным карандашом строчку: «движимый единственно чувством человеколюбия, о чем

сейчас сожалею», посмотрел на Сорокина, сидевшего перед ним на стуле, и прочитал:

— «...человеколюбия, о чем сейчас сожалею...» Как у вас могла рука подобное написать, а?! Значит, когда вы подписывали смертные приговоры контре, спекулянтам и взяточникам, вы были злодеем, а вот решили быть человеколюбцем — и попались! Так, что ли?!

— Дайте пистолет, товарищ Мессинг. Позвольте мне достойно уйти. Нет сил терпеть все это, сил нет...

— Ах, вот даже как?! Пистолет дать?! Может, саблю для харакири? Скажи на милость — напакостил, и пистолет ему подавай, руки на себя наложить хочет!

Мессинг еще раз перечитал показания Сорокина, аккуратно сложил листки бумаги и сунул их в папку.

— Больше ничего не припоминаешь?

— Написал бы.

— Ах, Сорокин, Сорокин... Дурашка... Придумал бабу беловскую. Нет у него никакой невесты, он по шлюхам таскался, Белов-то... Очную ставку сейчас с ним получишь: он тебе выложит про невесту, Сорокин, глаза б мои на твою поганую морду не смотрели...

— Не мог этого Белов показывать, не мог, товарищ Мессинг!

Мессинг позвонил по внутреннему телефону и попросил:

— Приведите ко мне Белова.

— Какой смысл в очной ставке? — вздохнул Сорокин. — Я его и в глаза-то ни разу не видел.

Они закурили. Мессинг молча разглядывал Сорокина, его красивое сильное лицо с высоким лбом и хрящеватым носом. Сорокин смотрел себе под ноги и курил не затягиваясь, только набирая понемногу дыму в рот; щеки его при этом надувались, и казалось, что он собирается пускать мыльные пузыри.

— Дети есть?

— Да.

— Много?

— Один.

— Сколько ему?

— Два годика.

— Жена работает?

— Да.

— Где?

— На вокзале.

— Что делает?

— Кассир.

Конвоир ввел Белова и спросил:

— Товарищ Мессинг, мне выйти или присутствовать?

— Выйдите... Садитесь, Белов. Этого человека вы знаете?

— Нет.

— Ладно. Теперь вот что... Как звали вашу невесту?

— Я уже показывал, гражданин Мессинг, что невесты у меня нет. На кой они, невесты, в наше-то время? Они теперь сразу норовят ребенка на шею навесить.

Белов истосковался в одиночке без человеческой речи, и поэтому сейчас им владело желание слушать, смеяться, отвечать, задавать вопросы — только б не гнетущее постоянное молчание.

— Мне один говорил, — продолжал он, торопясь и сглатывая гласные, опасаясь, что его перебьют, — что в семейной жизни надо обязательно иметь парочку подруг помимо жены: тогда на свою больше тянет. А разве жена это поймет? Теперь для них свобода — как что, так сразу по мордам, а управу разве сыщешь?

— Хватит, Белов, — поморщился Мессинг.

— Так мне ж это взрослые говорили!

— Стоп, — перебил его Сорокин, — погоди, Белов. Тебе фамилия Прохоров что-нибудь говорит?

— Нет. Ничего не говорит...

— Никогда такой фамилии не слыхал?

Мессинг напрягся — он видел, как что-то сломалось в лице Сорокина после откровений Белова. Лицо его сейчас изменилось до неузнаваемости — заострилось, нос стал еще длиннее, и явственно обозначились впадины возле висков, как у стариков.

— Прохоров? У нас в деревне был Прохоров. Дядя Костя, часовых дел мастер.

Сорокин откинулся на спинку стула:

— Пусть его уводят, товарищ Мессинг, я буду давать показания. Пусть только его уведут.

«Председатель трибунала Балтийской дороги, мой прямой начальник Павел Константинович Прохоров, неделю назад сказал, что арестован Григорий Белов, работник Гохрана. Он сказал, что друзья беловского отца — заведующий обувным отделом магазина Шмельников и его сотрудница, девица Клейменова двадцати одного года, судя по всему легкого поведения, — предло-

жили сорок миллионов за жизнь Белова Григория. Прохоров попросил меня обратиться к Тернопольченко, испытывавшему материальные трудности, с предложением не выносить Белову расстрел, а дать принудительные работы любого срока. За что Прохоров предложил мне назвать Тернопольченко сумму в двадцать миллионов рублей. «Остальные деньги, — сказал он, — разделим поровну: десять мне, десять тебе». После этого я отправился к Тернопольченко, движимый корыстью и подлостью, и там был товарищем Тернопольченко арестован, и не нашел в своей черной душе сил покончить с собой там же, не обрекая на позор честное имя жены и сына. Готов помогать следствию во всем, не уповая ни на какое снисхождение. Сорокин».

Мессинг два раза перечитал это показание, написанное Сорокиным здесь же, в кабинете, и, подвинув ему телефон, сказал:

— Сейчас позвонишь к Прохорову и скажешь, что захворал и поэтому не вышел на работу. Телефон помнишь?

— У нас один.

— Сорокин, больше ничего не осталось за тобой?

Сорокин отрицательно покачал головой.

— Сможешь позвонить к Прохорову или передохнешь?

— Смогу.

— Звони, — сказал Мессинг и поднял трубку параллельного аппарата.

— Константиныч, — сказал Сорокин простуженным голосом, — я тут прихворнул, сегодня не выйду...

— А что с тобой?

— Горло прихватило, температура...

— Я к тебе заезжал — тебя не было...

Мессинг метнулся взглядом к Сорокину. Тот чуть прикрыл веки: мол, все в порядке, не волнуйтесь.

— Так я у Розы...

— У какой?

— Из потребсоюза.

— Как позвонить к тебе?

Мессинг прикрыл трубку ладонью и прошептал:

— 2-54-4. Телефон соседей...

— Это у соседей, — повторил Сорокин. — 2-54-4...

— Ага, спасибо... Теперь это... Ты был?

— Был.

— Фу, слава тебе, Господи... Я уж тут извелся...

— Все в порядке...

— Да что ты говоришь?! Ну, поздравляю, Сорокин, от всего сердца поздравляю! Может, мне подъехать сейчас к тебе?

Мессинг быстро замотал головой.

— Сейчас не стоит, — ответил Сорокин, — я тут тайком, — добавил он, понизив голос. — Завтра...

Мессинг снова шепнул:

— Спросите, когда он может привезти деньги...

— В какое время? Когда тебе удобнее, чтобы я завернул?

— Что? — не понял Сорокин прохоровского вопроса, потому что напряженно смотрел на губы Мессинга.

— Я говорю — когда завтра к тебе подъехать?

— Вечером, часам к семи, и деньги захвати — двадцать миллионов...

— Ты с ума сошел, по телефону! — понизив голос, сказал Прохоров. — В своем уме или от счастья сдвинул? Адрес давай...

— Мерзляковский, — прошептал Мессинг, — дом четыре, квартира семь, три звонка.

— Мерзляковский, четыре, квартира семь, три звонка.

— Ну, я подъеду...

Мессинг снова шепнул:

— Не раньше семи. И с товаром...

— К семи, — повторил Сорокин. — И с товаром...

— Понял, — ответил Прохоров. — До завтра.

Мессинг рывком поднялся со стула, вызвал помощников и сказал им — при Сорокине, — словно забыв о нем:

— Поднимите людей по тревоге! Выделить опергруппу для наблюдения за предтрибунала Балтийской дороги Прохоровым. Ух, сволочь, ух, трибун! Потапов, сиди с Сорокиным, Чайкин, срочно Галю Шевкун[1] — на Мерзляковский, в соседнюю комнату — Будникова.

«В 13.26 Прохоров вышел из трибунала и, взяв извозчика, поехал на Страстной бульвар. Возле дома номер 2 он извозчика отпустил и пешком пошел по бульвару. Он сел на скамейку рядом с молодой женщиной и провел рядом с ней несколько минут, при этом держа ее за руку. Это не был условный знак, потому что он руку женщины гладил и пытался ее обнять, но она ему в этом

[1] Расстреляна в 1936 г. — *Ю. С.*

отказала и ушла. Мы с Кирюшиным разделили наблюдаемых, я повел Прохорова вместе с Ивановой, а Кирюшин и Гольцев направились следом за женщиной, которой оказалась сотрудница обувной секции магазина № 61 Клейменова Клавдия Ивановна. Прохоров вернулся в трибунал и больше оттуда не выходил. Прежде чем вернуться в отдел, я принял решение взять под наблюдение Клейменову и всех тех, с кем она будет входить в контакт. Такое указание я отдал Кирюшину перед тем, как мы разделились. Когда я, оставив пост около трибунала, поехал в магазин, Клейменова была в служебном помещении. Кирюшин, проявив сообразительность и революционную смекалку, двинул следом за ней, говоря, что он ищет ихнее начальство, не говоря, какое именно. Клейменова находилась в комнате заведующего обувным отделом Шмелькова, который, когда Кирюшин просил сказать, когда выбросят ботики, его прогнал, сказав, что занят, и дверь за собой запер. Я вызвал еще наших сотрудников и верно поступил, потому что Клейменова пошла на Мерзляковский переулок, дом четыре, квартира семь, и там в дверях говорила с женщиной по имени «Роза», спрашивая ее, не она ли «Роза Тихонова, золовка дяди Коли Тихонова», на что «Роза» ответила, что «нет, я не золовка и никакого Тихонова не знаю», а потом крикнула в коридор: «Сорока, сними чай с плитки!» Тогда Клейменова извинилась и ушла и долго ходила по городу, останавливаясь около витрин парфюмерных магазинов, а потом вошла в дом на Поварской, 26, квартира 7, где проживает некто Газарян Иван Иванович, которого дома не было, и Клейменова отпустила в почтовый ящик записку. Записку я извлек и переписал: «Дяде Грише стало лучше, зайдите сегодня вечером к доктору с новым лекарством».

«В 17.50 Шмельков вышел из магазина и отправился пешком на Театральную площадь. Там он зашел в столовую Второго дома Советов в бывшем «Метрополе», получил по талону обед, а после долго прогуливался по улицам, изредка смотря на свои часы — серебряные, неправильной формы. Ни с кем не беседовал, в подъезды не прятался и не оглядывался в целях проверки. В 19 часов он вошел в дом 6 на Дмитровке, в квартиру гр. Кропотова».

«В 18.35 Газарян, зайдя домой, взял письмо из почтового ящика и, пробыв в квартире не более пяти минут,

отправился пешком на Дмитровку, в дом 6, к некоему Кропотову Николаю Капитоновичу».

Мессинг отложил в сторону эти только что полученные донесения своих сотрудников. Он долго сидел, тупо уставившись в список телефонов, положенных под стекло на его большом столе. Перед его глазами стояло лицо Газаряна: он беседовал с ним примерно месяц назад о том, в какой мере налаживается работа в Главном хранилище ценностей республики.

«Что же это такое, — горько думал Мессинг, — что же творится?! Кому тогда верить, если не Газаряну, который требовал смерти всем, кто грабит республику? Если он был врагом, перед тем как пришел к нам, если он маскировался — это плохо, но это еще полбеды, а если он стал таким, получив возможность воровать золото? Неужели в золоте действительно заложена какая-то магическая, страшная сила? Неужто люди перед ней бессильны?

Сорокин за этот день сдал в лице; но глаза его сияли сейчас и щеки горели нервным, синеватым румянцем. Мессинг заметил, что румянец казался неестественно ярким из-за того, что мелкие сосуды на щеках Сорокина были багровыми.

— У тебя как с давлением? — спросил Мессинг.

— Нормально, — ответил тот. — Ну что?

— Ничего...

— Я ничем больше помочь не могу?

— Я тебя для этого и вызвал. Не спал еще?

— Какое там спал...

— Это зря. Без сна замучаешься.

— Когда мы всех их возьмем — тогда высплюсь.

Мессинг отметил, как Сорокин сказал — «мы их возьмем».

— Слушай, Сорокин... Ты не думай, что если ты нам помогаешь, то на трибунал я тебя не выведу. И я не убежден, что трибунал сохранит тебе жизнь...

— А я жизни не хочу, — очень искренне ответил Сорокин. — Она мне мерзостна и сынишке будет в тягость.

— Ты Прохорова хорошо знаешь?

— Пили вместе...

— Ты сможешь с ним увидаться?

— Не понимаю...

— На Мерзляковском, у Розы, сможешь его принять?
— Смогу. Для дела — смогу!
— Не сорвешься, не переиграешь?
— Нет.
— С тобой будет Роза... Это наш товарищ... Угощение там будет, выпьете как следует, только не сорвись, всю игру тогда нам сломишь...
— Я пить не буду.
— Ну, привет тебе! Раньше-то пил?
— Пил.
— А теперь не будешь? Так нельзя. Ты и сейчас должен будешь с ним пить... И попросишь его от имени Тернопольченко, чтобы они выдали половину суммы драгоценностями. Причем попросишь, чтобы драгоценности были следующие: бриллианты, изумруды и золото — в браслетах, монетах и часах.

Мессингу было важно посмотреть, как себя будут вести Кропотов и Газарян, куда потянутся связи. С этим своим планом он, закончив беседу с Сорокиным, пошел в соседнее здание — к Уншлихту и Бокию.

— Здравствуй, Сорока, — сказал Прохоров, крепко пожимая руку секретарю, — ну что? Оклемался или еще хрипишь?
— Оклемался, Константиныч, заходи.
— Я про эту Розы не слыхал. Где она?
— Скоро придет. Новенькая...
— А в работе как? — спросил Прохоров. — Толк понимает?
— Ничего в работе, — ответил Сорокин, пропуская Прохорова в комнату, — работает хорошо, с огоньком.
— Ого, откуда коньяк-то? — протянул Прохоров, оглядывая стол, заставленный бутылками, салом, вареной картошкой и рыбой. — Нич-чего живешь!
— Давай по маленькой?
— Давай. Только сначала расскажи, как прошло? Стенки надежные?

Сорокин кивнул головой налево:
— Там ванная... Не работает с революции, а здесь пустая комната — какой-то военный живет, его в Туркестан угнали. Одни мы тут сейчас.

Именно в этой пустой комнате сейчас сидели помнач спецотдела ВЧК Владимир Будников и Галя Шевкун, игравшая роль Розы. Прослушивался даже шепот. Будников очень хотел курить, но опасался, что в комнату

к Сорокину просочится дым, и поэтому сосал потухшую папиросу, то и дело обкусывая мундштук.

— Ну, так как он? — спросил Прохоров. — Не куражился?

— Тяжело было... Сначала я решил, что влип.

— Ты влипнуть не мог. У него доказательств нет.

— Он долгий мужик-то, хмурый. Его толком не поймешь... Дальше вот что было... Ну давай, под сальце.

— Будь здоров, Сорока.

— Твое здоровье, Константиныч...

— Сам чего не пьешь?

— Пью... Я тут и вчера принимал, на вчерашнее-то потяжелее ложится, сам знаешь как... Ништо-ништо — а потом сразу валит, а Розка — она требовательная... Она сказала: «Если я себя не люблю, то кто меня полюбит? Всех остальных я постелью меряю. Раньше вы нас этим мерили, а теперь свобода — я эмансипированная...»

Прохоров захохотал:

— Ты что, серьезно к ней присох?

— Это ты к чему? На себя потянешь? Пока не отдам. Не проси...

— Как ты уговорился-то с ним?

— Он поедет туда, куда я скажу, и в то время, когда попрошу, а ты или там кто из твоих посмотрят: один он выехал или поволок с собой ребят с Лубянки.

— Это ты ничего придумал. А как он сказал про согласие?

— Сказал, что деньгами все не возьмет.

— Это как? Ему и для родителей гроши нужны...

— Он сказал, чтоб десять миллионов деньгами, а остальные в ценностях. Половину — бриллианты и сапфиры, половину — золото, в браслетах, кольцах и монетах.

Прохоров выпил, подышал салом, рассмеялся:

— Ах, Тернопольченко! Якобинец! Сын Маркса! Каков, а?!

— Ты такой же, — сказал Сорокин. — Не лучше...

Будников быстро взглянул на Галю и кивнул ей головой:

— Пора. Я боюсь, он сейчас развалится... Иди, Галка.

— Ты это чего? — удивился Прохоров. — Я-то здесь при чем?

— При том... К стенке ставишь работягу, когда он пуд хлеба уворует, а здесь миллионами вертишь — нет разве?

— Сорока, ты чего?

— Ничего... Я еще хуже, не обо мне речь...

Дверь отворилась без стука...

— Здравствуй, Сорока, — сказала женщина, сверкнув цыганской, быстрой улыбкой. — Без меня гуляете, мальчики?

— Это Роза, — сказал Сорокин, — знакомься...

— Ненахов, Константин, — представился Прохоров, — мы тут, вас дожидаясь, немного позволили.

Галя взъерошила волосы Сорокину и ласково попросила:

— *Миленький, пойди голову холодной водичкой вымой, тебе лучше станет...*

— Пойди освежись, — хохотнул Прохоров. — Добром просим...

Сорокин быстро поднялся и вышел из комнаты.

— На брудершафт? — предложил Прохоров. — Давай, Розочка!

— Я финь-шампань не пью, я только легкое вино себе позволяю.

— Для первого раза можно рюмашечку крепенького — от него голову крутит, как в вихре вальса.

— У меня и с легкого кружится все в голове, Костя.

— Со свиданием.

Он выпил залпом полстакана коньяку, обнял Галю и жадно поцеловал ее. Она хотела было легонько освободиться, но он обнимал ее все крепче — руки у него были сильные, словно тиски. Галя уперлась ему кулаками в плечи, продолжая улыбаться, но только лицо ее побледнело.

— Не сейчас, Костя. Сейчас нельзя, Сорока войдет.

— Он заснет сейчас, — ответил Прохоров и, подняв Галю, понес ее на диван.

— Сорока! — крикнула Галя, чувствуя себя бессильной и жалкой с этим могучим сопящим человеком. — Сорокин!

Будников услыхал, как Галя жалобно закричала:

— Ой, пусти меня, пусти!

Будников на цыпочках выскочил из комнаты. Он увидел свет в уборной и шепнул:

— Сорокин, иди обратно в комнату!

Сорокин не откликался. Будников нажал плечом по-

сильнее, дверь распахнулась, и он, не удержавшись, ввалился в маленькую уборную, и по лицу его ударили тяжелые ноги: Сорокин повесился на крючке — видимо, только что...

— Помогите! — продолжала кричать Галя. — Володя-а!

Будников распахнул дверь комнаты, увидел Галю и Прохорова рядом и крикнул с порога, ослепнув от ярости:

— Встань, скотина! Руки вверх!

С Прохоровым разговаривали трое: Бокий, Кедров и Мессинг. Прохоров сидел, свесив руки между колен, не в силах унять дрожь в лице. Отвечал он на все вопросы подробно, с излишней тщательностью, вспоминая детали, не имевшие никакого отношения к делу.

Бокий попросил его позвонить в трибунал.

— Что сказать? Напишите, а то еще напутаю.

— Путать не надо. Скажите, что занемогли и будете на работе завтра утром.

Мессинг вызвал трибунал и передал трубку Прохорову.

— Алло, это я, — сказал Прохоров спокойно, хотя лицо его по-прежнему сводило мелкой, судорожной дрожью, — занемог и буду только завтра... Что? Ну, значит, отмените дело.

— Какое дело отменить? — быстро спросил Бокий.

— Это секретарша Шубарина. У меня сегодня дело назначено к слушанию — по волокитчикам из Хамовнического металлического завода: они два пустых вагона неделю продержали.

— Слушай, Прохоров, — сказал Бокий, — в твоих интересах сейчас подъехать к Клейменовой... Ты ее знаешь?

— Знаю.

— Так вот, в твоих интересах заехать сейчас к ней и попросить ее вызвать к тебе на Мерзляковский Газаряна. Скажешь Газаряну, что Тернопольченко просит...

— Понял, — перебил его Прохоров, — про золото и камни. То, что Сорока говорил. Хотите посмотреть, куда потащит Газарян... Это я сделаю... Я понимаю, если я не окажу сейчас помощь — меня будет трудно вывести из-под удара... А так — оступился по дурости, не из злого умысла...

Мессинг изумленно глянул на Кедрова. Тот осторожно поднес палец к губам: «Молчи». Бокий согласно

кивал головой, слушая Прохорова, и время от времени вставлял:

— Н-да, н-да, верно, верно, Прохоров...

* * *

Ревель. Роману. По сведениям, полученным из Парижа, в Эстонию вновь прибывает глава ювелирного концерна Маршан. Предполагаем его связи с нашим валютным подпольем. Именно его концерн сорвал ту сделку, которую наши представители пытались заключить в Литве. Впоследствии люди Маршана сорвали наши сделки в Лондоне и Антверпене. В Ревеле, однако, Маршан предложил нам через оценщика Гохрана Пожамчи прямой товарообмен — хлеб за бриллианты, по произвольным ценам. Наша задача заключается в том, чтобы заставить Маршана покупать наши бриллианты на доллары и франки, что гарантирует наш выход на арену международной торговли. Вам необходимо установить за Маршаном и его окружением наблюдение, с тем чтобы выявить его связи. Есть предположение, что Маршан поддерживает контакты с нашим подпольем через третьих и подставных лиц. Эти сведения пришли к нам через английские возможности и не содержат каких-либо конкретных данных.

Бокий.

ОТЕЦ...

В Иркутске старик Владимиров остановился в общежитии культпросвета, неподалеку от краеведческого музея, на берегу Ангары. Помогла ему работать в завалах библиотеки худенькая веснушчатая Ниночка Кривошеина. Она была прикреплена к Владимирову после разговора с замначпуаром-5 Осипом Шелехесом. Отнесся Шелехес к Владимирову настороженно: скептически выслушал яростную речь старика, нападавшего на развал работы в библиотеке, музее, типографиях, и заметил:

— Голое критиканство делу не поможет. Ну, знаю — на полу книги, гниют книги. Ну, знаю — воруют их, топят ими печки. А как надо поступать, если дров нету? Вот вы, как большевик, какое внесете предложение?

— Я беспартийный.

— То есть?

— Не видали беспартийных? Извольте лицезреть — это я.

— Каким образом вас бросили на политпросвет?

— Мандатным, — ответил Владимиров. — Можете запросить Москву.

— Погодите, погодите... Вы какой Владимиров? Вы отошли от нас в одиннадцатом году?

— Если ссылку можно считать отходом, а борьбу за свою точку зрения — предательством, тогда вы правы. Я тот Владимиров, именно тот. Но я, беспартийный, не терпел бы такого положения, чтобы рукописи тибетцев и монголов, бесценные памятники материальной культуры, гнили под открытым небом! Я бы никогда не потерпел того, что терпите вы!

— Ну, хватит! Я этот разговор прекращаю!

— А я его только начал! Вы не сможете создать государство трудящихся, если не припадете к вечному источнику мировой культуры!

— Мне сначала надо детям учебники напечатать! А потом припадать к источнику! А у нас бумаги — десять рулонов! И в типографии надо печатать приказы по армии, потому как Унгерн под боком и китайцы с японцами!

— Почему не конфискована елизарьевская типография?

— Конфискована.

— Ложь! Не кон-фис-кована! Убеждены ли вы, что вся бумага обнаружена в складских помещениях?

— Убежден.

— Ложь! На чем нэпманы печатают свои афиши? Ваши, ваши нэпманы! Красные торговцы!

— Хватит! Разговор прерываю. О том, как мы с вами решим, сообщу в общежитие.

В тот же вечер Шелехес пошел к командарму-5 Иерониму Уборевичу, двадцатипятилетнему, высокому, в профессорском пенсне, чуть холодноватому, легендарной храбрости и спокойной рассудительности человеку.

Уборевич слушал Шелехеса, кипевшего яростью, изредка кивал головой, вроде бы соглашался.

— И я бы, Иероним, честное слово, на всякий случай посадил эту интеллигентную гниду в ЧК.

— А как быть с интеллигентом по фамилии Плеханов? Что, ЦК не знает об издании его собрания со-

чинений? Ленин у нас такой добренький, такой доверчивый, ничегошеньки не знает, что в стране происходит, да?

— Я тебя не совсем понимаю...

— Ты знаешь, кто были родители Чичерина?

— Нет.

— Дворяне! Крупнейшие землевладельцы. А кто родитель Дзержинского? Помещик. Шляхтич, по-польски. А Тухачевский? Офицер. А мой отец? Истинная революция должна — чем дальше, тем больше — притягивать к себе разных людей. Словом, чтобы не занимать много времени на дискуссию — я ведь дискутирую лишь в том случае, если чего-то не понимаю в иных обстоятельствах, — я, как человек военный, приказываю: зайди в ЧК и попроси, чтобы они выделили человека в помощники Владимирову. Не дубину, который за ним с наганом станет в клозет ходить, а человека грамотного... Интеллигентного, — улыбнулся Уборевич.

Зампред СибЧК Унанян[1] к просьбе Шелехеса отнесся с пониманием и обещал выделить одного из самых талантливых работников.

— Если хочешь — погоди, я сейчас прямо и поищу.

Шелехес остался в его кабинете, а Унанян вернулся через пять минут с худенькой девочкой. Шелехес поначалу не обратил на нее внимания, просматривая читинскую эсеровскую газету, но, когда Унанян сказал, что это Нина Кривошеина[2], из оперотдела, и ее он может рекомендовать для работы с Владимировым, Шелехес несколько опешил:

— Унанян, что ты?! Он же старый зубр, а она дитя!

— Это дитя работало нелегально у Колчака, принимало участие в ликвидации банды Антипа, а главное — оно гимназию окончило! Понял? Больше у меня никого нет. Хочешь — бери.

— Вы мною торгуете, как лошадью, — сказала Нина, — или рабыней, Сергей Мамиконович.

— Ну, прости, товарищ! — ответил Унанян, рассмеявшись. — Но как мне этому Фоме неверному объяснить, что вы — наша любимица.

— А зачем объяснять? — спокойно удивилась Нина. — Если товарищ обратился к нам с просьбой, он должен уважительно отнестись к предложенной ему кандидатуре.

---

[1] Расстрелян в 1936 г. — *Ю. С.*

[2] Расстреляна в 1936 г. — *Ю. С.*

Тем же вечером Нина пришла в общежитие и сказала Владимирову:

— Добрый вечер, Владимир Александрович, меня прислали к вам в помощь. Зовут меня Нина.

— Здравствуйте, милая Нина. Садитесь пить чай. Я здешнему сторожу, Никодиму Васильевичу, трактую Библию, а он снабжает меня чаем и воблой. Я жаден только до одного продукта: вяленая рыба меня погубит.

— Я вам завтра притащу штук десять. Брат рыбу на Ангаре ловит. Я люблю через вяленых лещей на солнце смотреть — оно желтое...

— Ах, душечка! — обомлел Владимиров. — Как хорошо вы это сказали! Солнце сквозь вяленого леща! Нас, русских эмигрантов, узнавали в Швейцарии по тому, как мы с пивом ели вяленую рыбу. Немцы и французы не могли этого понять и ужасно неэстетично чистили рыбу. Ножичком и вилочкой!

— Но ведь рыбу ножом нельзя!

— Все можно, — ответил Владимиров, отчего-то вздохнув. — Вы уроженка этих мест?

— Да. Чалдонка.

— Экая вы светлая... Прямо-таки солнечная. И брови вразлет, сибирские. Моя жена была сибирячка, я женился, когда был ссыльным поселенцем в Минусинске.

Владимиров достал из кармана потрепанный, изопревший плоский бумажник и вынул несколько фотографических снимков.

— Вот она, — протянул он Нине старую карточку.

— Красивая...

— А это мой сын, Всеволод.

Нина взяла фотографию и обмерла: на нее глянул ротмистр Исаев Максим Максимович, из колчаковской пресс-группы. Нина тогда была в комсомольском подполье, и ребята хотели при отступлении Колчака расстрелять или захватить главных адмиральских щелкоперов: Ванюшина и Исаева. Но Ванюшин ушел с поездом семеновцев в самом начале двадцатого года, а Исаев тогда исчез, словно в воду канул.

— И сын очень красивый, — сказала Нина. — Его как звать?

— Всеволод.

Нина еще раз посмотрела фотографию: ошибиться она не могла.

— У него очень волевое лицо, — сказала она.

— Да, он необыкновенно волевой человек.

— А он в Москве?

— Мы вернулись из Швейцарии в семнадцатом. С тех пор он в Москве. Правда, он уезжает часто и надолго.

В это время дверь отворилась, и вошел старик с большим чайником и поленцами под мышкой. Он отворил ногой заслонку буржуйки и сунул туда три поленца. Дрова были сухие, сразу занялись.

— Весна нынче тяжелая, с задержью, — сказал Никодим Васильевич, — давно так не цепляло зимой за светило.

— Это все Бог, — улыбнулся Владимиров и чуть подмигнул Нине. — Это он мстит сынам своим.

— Разве нет? Порушена жизнь, и месть за нея будет воздана по всей строгости правды...

— Старая ведь жизнь порушена... Старая...

— А что в ней было плохого — в старой?

— Я должен обратить вас к «Откровению Иоанна». Помните, у него, по-моему в двадцать первой главе, есть великолепные строки: «И сказал сидящий на престоле: се, творю новое!.. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов — участь в озере, горящем огнем и серою...»

— Я вот чего, Аляксандрыч, в толк не могу взять... Вы мне сказали, что, мол, наш великий вождь, товарищ Ильич, — правый, когда рек: «Вера, мол, что опейный табак для трудящихся». А вы вроде как чтите Библию.

— А очень просто, — ответил Владимиров, положив Нине еще один кусочек сахару. — Библия — великолепный памятник народной культуры. Народ мудр, Никодим Васильевич. Надо бы — и я думаю, мы это в будущем сделаем, — ходить по деревням, по рабочим кварталам и, не торопясь, не по-газетному, а серьезно, записывать разговоры людей.

— Запишут — и в подвал ЧК! Там выдадут за энти разговоры!

Владимиров расхохотался; Нина тоже заставила себя посмеяться.

— В ЧК, говорите, — хохотал Владимиров. — Да, вполне возможно, тут спора нет! Однако если «Правда» печатает рассказ контрреволюционера Аверченко, то, видно, ЧК перестала бояться разговоров...

— А ваш сын, — спросила Нина, — не филолог?

— Он неплохо пишет, хотя слушал курс физико-математического факультета.

— А он что, статьи пишет? Или рассказы?

— Он писал стихи, но мне их никогда не показывал. В Берне, мальчишкой, пробовал себя как репортер в газетенках...

— Аляксандрыч, — продолжал гнуть свое сторож, — а вот ты когда из Библии-то читал, так ведь там не сказано, что Бог звал против законной власти...

— Ничего подобного... Тот же Иоанн говорил: «Сколько славилась она, — это он о Вавилонском царстве, — и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей!.. За то придут в один день на нее казни, смерть, и плач, и голод, и будет она сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее... И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожаров...»

— Такого батюшка нам не излагал...

— Значит, он Библии не знает и не понимает, что это свод мечтаний несчастных, которые издревле жаждали справедливости...

— Владимир Александрович, — спросила Нина, — а вы на антирелигиозных диспутах выступали? Нам бы устроить, а?

— С удовольствием. Принимаю перчатку от любого теолога.

— Какую перчатку? — не понял Никодим Васильевич.

— Это так вызывали на дуэль, — объяснила Нина, — когда люди решали стреляться друг с другом. Один из них кидал к ногам другого перчатку.

— Так подыми да и не стреляйся, — сказал сторож. — По-любовному, что ль, нельзя? Все бы стрелять-ся людишкам, все бы стреляться. Колотим друг друга, а нешто белый враг Расее? Мой брат белый был; мужик, подчиненный приказу, — как ему скажут, так он и поступит. Так рази он враг Расее-то? Нешто всем русским сговориться вместях нельзя было?

— Иногда это очень трудно сделать, — ответил Владимиров, отчего-то вздохнув.

— А где теперь ваш брат? — спросила Нина.

— Убили его бандиты...

— Кого вы называете бандитами? Белых или красных?

Никодим Васильевич внимательно посмотрел на девушку и медленно ответил:

— Бандитом, доченька, я считаю бандита, потому как он злодей.

— Ниночка, — сказал Владимиров, — я провожу вас, уже поздно.

Как Нина ни отговаривалась, Владимиров пошел ее провожать. Жила девушка далеко, возле вокзала, но ей сейчас надо было обязательно в ЧК, чтобы рассказать Унаняну об Исаеве, белом офицере, который оказался сыном этого доброго старика.

Поэтому девушка попрощалась с Владимировым возле двухэтажного дома в центре, неподалеку от чрезвычайки, и зашла в подъезд. Подождав, пока старик уйдет, Нина выглянула из парадного, убедилась, что Владимиров направился к себе, и побежала в ЧК.

Владимиров же оглянулся потому, что ему было приятно вспоминать девичье нежное личико. Удивленный, он увидел, что Нина забежала в дом, третий от того, где они только что попрощались. Он решил, не испугал ли кто девушку в ее подъезде, и, сжимая в левой руке свою сучковатую палку — правая у него была три года назад парализована, — быстро двинулся обратно. Он распахнул ногой дверь, достал спичку, осветил все вокруг, поднялся на второй этаж: здесь никого не было.

Владимиров недоуменно подошел к тому дому, куда забежала Нина.

На фронтоне, возле двери, обитой клеенкой, он увидел надпись: «Всесибирская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности».

Владимир Александрович открыл дверь. Дорогу ему преградил часовой с винтовкой. Нины и здесь не было.

— Пропуск, — сказал часовой.

— Тут Ниночка, девушка...

— Кривошеина? Она вас что — вызывала?

— Нет, — вздохнул Владимиров, — не вызывала.

Он вышел на улицу. Морозило. Луна была низкая, белая. Лед на лужицах искрился синими узорами. Перекрикивались паровозы на вокзале. В городе было тихо и пусто.

Сначала Владимиров почувствовал гнев. Потом ему стало противно. Он хотел было уйти, по после решил дождаться эту агентшу и посмотреть ей в глаза.

Нина долго составляла шифровку в Москву, потом

сидела в кабинете у Сергея Мамиконовича Унаняна и рассуждала вслух — будто с собою:

— Он такой милый, этот Владимиров. Я сейчас себе места не нахожу, словно я предательница и дрянь.

— Вы бы ему поверили?

— По-человечески — да.

— Как это можно делить себя на человеческое и нечеловеческое? Я ставлю вопрос конкретно.

— Я не знаю, что из Москвы ответят... Если скажут, что им известно о его сыне... Если нам скажут, что он не скрывал этого...

— Тогда, — перебил ее Унанян, — можно верить даже в черта с рогами! Нет, изволь ответить себе, не уповая на Москву!

Выйдя из ЧК, Нина увидела Владимирова, и ей сразу стало легче, потому что она решила, что старик следил за ней. Он пересек мостовую.

— Я обязан сказать вам, что вы нечестный, испорченный человек, хотя еще очень маленький! Я не следил за вами; мне показалось, что вас кто-то испугал в том подъезде, только поэтому я вернулся... Я отвык от того, чтобы «проверяться», поскольку мой сын работает у Дзержинского и мне, видимо, верят...

— Что?! — перебила его Нина. — Что вы сказали?!

И, неожиданно для самой себя, она поднялась на цыпочки и стала целовать Владимира Александровича быстрыми, детскими поцелуями в лоб, в холодный нос, в губы и колючие щеки...

...И СЫН

Редактор газеты «Народное дело» Григорий Федорович Вахт, предложив посетителю присесть, раскрыл конверт и быстро пробежал письмо.

«Милый Григорий! Податель этой весточки — Максим Максимович Исаев (быть может, Вы с ним встречались в Цюрихе, он там был в эмиграции, совсем еще юным). Я и мои друзья настояли, чтобы Исаев ушел из России. Пожалуйста, окажите ему содействие и помощь. Искренне Ваш Урусов».

Вахт перечитал письмо дважды; князь Урусов, бывший товарищ министра Временного правительства, арестованный, судимый и оправданный трибуналом, был человек широко известный в эмиграции и, несмотря на фразочку в чекистском отчете о процессе — «в связи с

раскаянием Урусова и желанием его сотрудничать с Советской властью из-под стражи освободить», — по-прежнему уважаемый. Никто не верил, что Урусов добровольно согласился на сотрудничество с большевиками. Поэтому фраза в отчете о процессе вызвала еще большее сочувствие к несчастному князю, против которого, по мнению эмиграции, чекисты применили особо садистский прием — компрометацию в глазах свободно думающей России.

— Как добирались, Максим Максимович? — спросил Вахт.

— На животе, — улыбнулся Исаев, — мимо пограничников.

— Документы у вас как?

— С документами плохо.

— Понимаю. Рассчитываете на помощь?

— Да.

— Вы ведь не член нашей партии?

— Я беспартийный, думаю, эсеры и октябристы кончат свои дискуссии в Москве, когда соберется Учредительное собрание... Нет?

— Мы придерживаемся иной концепции...

— Поскольку планы у меня конкретные, хотелось бы подумать о приобретении хороших документов.

— Это почти невозможно.

— Тогда, вероятно, вы посоветуете, как разумнее поступить: сжечь мои бумаги и обратиться в полицию за новыми? Или месяца два можно прожить на нелегалке?

— А потом?

— Я не рассчитываю здесь надолго задерживаться.

Вахт поднялся из-за стола и прикрыл маленькую скрипучую дверь, которая вела в соседнюю комнатенку, где сидели три человека — весь редакционный коллектив органа эсеров «Северо-Западной провинции России».

— Там, по-моему, посетители, а при них о возвращении на родину говорить не следует.

— Вы правы.

— Урусов не написал, отчего вам пришлось уйти...

— За мной начали топать...

— По поводу заявления в здешнюю полицию... Мы, признаться, такого метода не пробовали... Вы сможете рассказать им о ваших последних годах: где жили, чем занимались?

— Жил в Москве и в Сибири, работал при штабе

Колчака, в его пресс-группе, потом скрывался.

— С кем вы работали в пресс-группе Колчака?

— С Николаем Ивановичем Ванюшиным.

— Ванюшин — личность калоритнейшая, — ответил Вахт, — и хотя мы с ним идеологические противники, но по-человечески давно дружны.

— Да... Жаль его, — сыграл Исаев, знавший, что Ванюшин сейчас в Харбине, — погиб он нелепо.

— Он жив, Господь с вами, — сразу же ответил Вахт. — Мы недавно имели от него весточку из Китая...

— Не может быть?! А мне Поплавский клялся, что он умер от тифа... Адрес у вас есть?

— Я дам вам адрес, — ответил Вахт, и впервые за весь разговор его глаза смягчились, утратив настороженную подозрительность. — Поплавский, кстати, как поживает?

— У меня нет связей с ЧК, — ответил Максим Максимович. — Будь я связан с ними, я бы ответил вам, как себя чувствует человек в лубянском подвале...

— Когда это случилось? — спросил Вахт, и Максим Максимович понял, что редактору известно об аресте Поплавского. И он еще раз убедился в том, что линию свою раскручивает правильно, уважительно подставляясь под проверку эсера.

— Когда это случилось? — переспросил Максим Максимович. — Сейчас я отвечу точно — весною...

— Вы, вероятно, голодны, Максим Максимович?

— Не скрою — весьма. Не смею вас обременять финансовыми делами: у меня есть два бриллианта. Как здесь — легко реализовать драгоценности?

— Никогда не имел драгоценностей... А вот обедом, пожалуйста, не отказывайтесь, угощу.

Максим Максимович отметил, что Вахт повел его не в тот ресторан, который был расположен рядом с редакцией, а в маленькое полуподвальное кафе.

— Тут перекусим, — сказал Вахт, — здесь дают блины с творогом и сливки с вареньем.

Исаев кивнул на газету, торчавшую из кармана Вахта.

— Вы не позволите проглядеть свежий номер? Мы там без вольного слова несколько заволосатели и омамонтились.

Исаев заметил, как лицо редактора мгновенно озарилось гордостью — он с готовностью протянул Исаеву газету, вздохнув:

— Хочется жить, когда знаешь, что труд твой нужен.

Исаев быстро просмотрел газету: «По нашим данным, в этом месяце цены на псковском рынке были следующими: фунт хлеба — 450—500 рублей, пуд картофеля — 4500 рублей, фунт свинины — 5000 рублей, бутылка молока — 700 рублей, десяток яиц — 3500 рублей»; «Вчера в Ревель прибыл новый транспорт с золотом из России — всего 600 пудов. Вагон подан в гавань, где золото было перегружено на пароход «Калевипоэг». Пароход следует в Стокгольм, а оттуда, по имеющимся сведениям, в Берлин, где золото будет перековано в совруб-ли»; «Представитель одной из великих держав прибыл в Москву, чтобы вести переговоры о реорганизации Советского правительства. Смысл предстоящей организации — смещение Ленина и Троцкого; вся полнота власти будет сосредоточена в руках нового премьера Красина. Вероятно, потребуют удаления из правительства наиболее экстремистских элементов. В случае, если эти условия будут приняты большевиками, великие державы начнут переговоры с Кремлем».

— Неужели у вас нет серьезных информаторов? — поморщился Исаев. — Григорий Федорович, милый, зачем выдавать желаемое за действительное? И не говорите мне, что данные из Пскова вы получили от верного информатора... Я сюда шел через Псков. И на базаре покупал фунт хлеба. Цены даны полугодовой давности, сейчас совсем иные... И никто не приезжал в Москву из представителей великих держав с предложением насчет Красина.

Принесли блинчики. Исаев набросился на них с жадностью.

Дренькнул звоночек у двери, и Вахт воскликнул — с деланным удивлением:

— Лев Кириллыч, здрасьте, какими судьбами?!

Подняв голову, Исаев увидел Головкина: он узнал его по фотографиям, которые хранились в ЧК. Головкин был связан с эсеровской контрразведкой.

— Знакомьтесь, гражданин Исаев — из России. А это наш журналист Лев Головкин.

Головкин подозвал толстушку в туго накрахмаленном фартучке:

— Кофе, два сухарика и воды.

— Хотите блинчиков, Головкин? — спросил Вахт.

— Нет, благодарю.

— Максим Максимович работал с Ванюшиным в

пресс-группе Колчака в девятнадцатом, — сказал Вахт, — может быть, попросим его как нашего коллегу выступить с заметками в газете?

— Это было бы прекрасно... — сказал Головкин, поблагодарив кивком головы толстушку, принесшую ему кофе.

— Я вынужден отклонить это лестное предложение.

— Почему?

— Потому что я намереваюсь возвратиться на родину в самом недалеком будущем.

— У гражданина Исаева есть рекомендательное письмо от Урусова, — заметил Вахт.

— Как себя чувствует князь? — поинтересовался Головкин.

— Плохо.

— Но он сотрудничает с большевиками?

— Что бы делали вы на его месте?

— Каким образом вы с ним встретились?

— В коридоре Нарбанка. Он там и написал мне эту записочку.

— Допустим, вы получите временный вид на жительство. А что дальше?

— Дальше я рассчитываю на помощь друзей.

— Наших или иностранных?

— Всяких.

— Не стоит вам улититься, Максим Максимович, — сказал Головкин, — кроме как к нам, идти здесь не к кому, «Последние известия» — черносотенные монархисты; они вам помогать не станут.

— Есть комитет помощи беженцам... Вырубов, Оболенский — я думаю, они не столь перепуганы, — откровенно усмехнувшись, сказал Исаев, — или их судьба так же горестна?

— Комитет беженцев занят иными задачами: они не преследуют целей политической борьбы, они смирились с поражением.

— Значит, в Эстонии есть только одна сила, серьезно думающая о борьбе?

Вахт и Головкин ответили одновременно.

— Нет, отчего же, — сказал Головкин.

— Конечно, мы, — сказал Вахт.

И вдруг Головкин захохотал; он сгибался в три погибели, вытирая слезы, мотал головой, а потом, успокоившись, сказал:

— Конспираторы дерьмовые! Тени своей боимся!

Исаев закурил:

— Сейчас у меня внутри словно что-то обвалилось, Лев Кириллыч. Словно накипь в чайнике смыло... «Журналист, коллега...» Думаете, что мы дома так ничего про вас и не знаем?

Застегнув пуговицу на пиджаке, словно собираясь подняться, он добавил:

— Меня уполномочили вам сказать, чтобы вы были особо осторожны со всеми, кто приезжает из Совдепии, и с людьми, которые с ними здесь связаны.

— Вы думаете, много людей из Совдепии пойдут на связь с нами? — спросил Вахт.

— Я высказал пожелание друзей, которые знают и о вашей работе, и о том, каким журналистом на самом деле является Лев Кириллыч.

— Средним, — улыбнулся Головкин. — Максим Максимович, я был рад видеть вас, и, если вы сможете надежно легализоваться здесь, я бы просил вас зайти к нам еще раз — перед отъездом в Совдепию... Если, конечно, не передумаете возвращаться — после здешних-то блинчиков...

— Если и вы надумаете поехать туда — готовьтесь, я загляну к вам... Маленькая разница в приставках, а смысл-то эк меняет: «пере» или «на-думаете», а?

— Если этот разговор серьезен, тогда я буду готовиться... Я запрошу моих друзей в России о крове и документах заранее, а не столь скоропалительно, как вы...

— Скоропалительно приехал писатель Никандров и оказался в тюрьме, — заметил Вахт, — а Воронцов по его документам отправился в Совдепию!

Максим Максимович вспомнил радиограмму Севзапчека о переходе эстонской границы неизвестным, который, отстреливаясь, убил двух пограничников, эстонца и русского, — это было за неделю перед его отъездом из Москвы.

— О том, что Воронцов перешел границу, — жестко сказал Головкин, — я бы с радостью сказал «товарищам», не будь они мне так ненавистны. Жаль только, что судить Воронцова станут как врага трудового народа, — он хмыкнул, — то есть как нас. Его надо просто стрелять. Он им, правда, в Совдепии кровь пустит — пожжет и побьет всласть...

Попрощавшись с эсерами, зная, что те наверняка пустят за ним «хвост», Исаев начал крутить по городу.

Хвост он определил довольно быстро: его «вели» два мальчика, видимо студенты. Вели они его неумело, упиваясь своей работой, и поэтому он их довольно скоро замотал.

Через два часа в офисе «Смешанного русско-эстонского общества» раздался телефонный звонок. Незнакомый мужской голос попросил русского «содиректора».

— Господин Шорохов, я бы просил вас рассказать мне условия возвращения на родину, если, конечно, у вас есть на это время и желание.

— Хотя время у меня есть, — ответил Шорохов, — но я не правомочен отвечать на подобные вопросы. Извольте обратиться в консульский отдел посольства в часы, обозначенные для приема...

Этот обмен фразами, ничего не говорящими полицейским, подслушивающим телефонные разговоры смешанной комиссии, был паролем и отзывом для Шорохова и Всеволода Владимирова.

В тот же вечер Шорохов, после встречи с Исаевым, передал известному ему человеку коротенькое сообщение для шифровки: «Есть предположение, что человек, перешедший границу во время перестрелки, был Воронцов Виктор Витальевич. На этой версии настаивает 974-й».

О, ЭТИ РУССКИЕ...

Немецкий резидент Нолмар последние дни возвращался домой очень поздно. Неделю тому назад его навестил Клаус Дольман-Гротте. Был он человеком странным со студенческих лет: он, например, категорически отвергал лестные предложения начать работать в министерстве иностранных дел или пойти на службу в генеральный штаб. Приглашали его туда настойчиво, и не только из-за протекции: к двадцати трем годам он знал семь языков — финский, шведский, эстонский, венгерский, польский, латышский и русский. Этими языками он владел в совершенстве, но собой отнюдь не был удовлетворен: он считал необходимым изучить еще румынский, английский и датский.

Получив диплом бакалавра филологии, он начал работать низкооплачиваемым чиновником отдела рекламы в концерне «И.-Г. Фарбениндустри». Был он по-прежнему тих, незаметен, сторонился пирушек и мужских компаний, краснел, когда при нем рассказывали анекдоты

и смачные буршеские истории, не пил, не курил и жил в одиночестве — затворником. Потом он уехал в Варшаву. Там он несколько раз встречался с Нолмаром, который работал в посольстве и к своему студенческому приятелю относился снисходительно, как и подобает относиться дипломату к мелкому торговому агенту.

— Ты чувствуешь, как мы стареем? — спросил тогда Дольман-Гротте. — Я это ощущаю особенно остро, когда просыпаюсь.

— Ты пессимист? — усмехнулся Нолмар.

— Нет, нет, — покачал головой Дольман-Гротте, — еще пять лет назад я находил у нас на чердаке куклы матушки... Это были смешные куклы в кружевных панталонах и чепчиках. А теперь я перерыл весь чердак и кукол не нашел. Время стареет вместе с нами. И победить его может только могущество...

— Какое?

— Могущество нельзя определить словом «какое». Могущество есть могущество. Память — тоже могущество...

— Память? Как звали невесту твоего прадеда? Ты помнишь?—А что было построено Рамзесом в Египте? Или Фридрихом Великим в Берлине? Помнишь. И дети твои будут помнить.

— Детей еще надо завести. Ты, кстати, женат?

— Нет. А ты?

— Нет.

После этой встречи они долго не виделись. А встретились — неожиданно для Нолмара — в Ревеле. Он пришел к послу, но секретарь остановил его:

— Сейчас нельзя... У посла господин советник Дольман-Гротте.

Однако Дольман-Гротте сам нашел его: запросто зашел в комнату, дружески обнял, забросал вопросами, никак не подчеркивая своего теперешнего превосходства, и пригласил: «Если, конечно, ты не до конца замучен своими хитрыми делами, поужинаем вместе в «Савое».

Он занимал на четвертом этаже номер, состоявший из трех комнат: здесь обычно останавливались министры или члены семей коронованных особ, когда они приезжали с неофициальными визитами. Стол был накрыт на три персоны.

— Ты не будешь возражать, Отто, если с нами побудет милая женщина, которая научилась не мешать мужчинам? — спросил Дольман-Гротте.

Нолмар еще раз испытал чувство острого унижения, когда он увидел красавицу, вошедшую в гостиную, в низко декольтированном бальном платье.

Но Дольман-Гротте и на этот раз помог ему. Он сказал:

— Фройляйн Барбара, я хочу представить вас моему другу Отто Нолмару.

Нолмар отметил для себя, что он бы не смог так жестко и властно разговаривать с этой сумасшедше-красивой, видимо очень холеной, бабой, а этот тихоня говорил, словно резал железо: сухо, деловито и так, что возразить ему было нельзя. И вот это проклятое «возразить ему нельзя» вошло в Нолмара, и он понял, что это случилось, и теперь он уже не сможет ни возражать Дольман-Гротте, ни шутить с ним, и он устало сказал себе: «Я проиграл, и мне теперь надо верно себя вести, чтобы он хоть не сразу понял, как жестоко я проиграл».

— Ты по-прежнему не пьешь? — спросил Нолмар.

— Знаешь, нет, Отто. Ты должен простить меня, но теперь это вопрос принципа.

— Об остальном я не спрашиваю, — понимающе улыбнулся Нолмар.

— Здесь ты ошибаешься.

Нолмар лукаво посмотрел на фройляйн Барбару и перевел взгляд на Дольман-Гротте.

— Ты верно понял, — ответил тот, — невеста уступила мне своего секретаря, фройляйн Барбару, но я отдал ей моего шофера на время этой поездки... Мне бесконечно совестно перед тобой, что я не пью, но ты всегда умел пить здорово и вкусно, а за меня будет пить наша очаровательная Барбара...

После получаса веселого застольного разговора Дольман-Гротте сказал:

— Поскольку милая Барбара присутствует на всех наиболее серьезных переговорах, — он легко улыбнулся женщине, — и, боюсь, информирует о них мою невесту, фройляйн Ильзе Крупп, я стану говорить при ней о нашем предложении, Отто. Нет смысла возвращаться к мимолетному обмену мнениями о смысле могущества. Я был, верно, не прав тогда. Это все было от страха перед смертью и стремительностью старения. Дело, которое пожирает тебя, — вот единственное спасение от химер и страхов. Государственная политика — дело ли это? И да и нет. Она вне логики. Она абстрактна и в то же время субъективна. Я беру быка за рога, Отто.

Мы ищем свои глаза и уши повсюду. Особенно в малых странах, пограничных с Россией, — а в России Германия заинтересована: не только в близком, но и в далеком будущем. О России разговор особый, Отто. Мы заинтересованы в русской инженерии — они бесконечно талантливые теоретики, их инженерная мысль свободней и дерзновенней нашей. Они не умеют работать и никогда не научатся этому в силу своей лености, но именно потому, что они ленивы, их фантазии, особенно, повторяю, теоретически-инженерные, нас очень интересуют. Говорят, что и в Ревеле и в Риге много бедствующих русских... Несчастная нация...

Фройляйн Барбара пододвинула Дольман-Гротте папку с вырезками, и он взял наугад несколько объявлений из «Последних известий».

— Вот, изволь: «Даю уроки по высшей математике, физике и химии на трех языках за любую плату». Или: «За небольшое вознаграждение приват-доцент С.-Петербургского университета дает уроки по математике и физике». И обратный адрес, видишь? «Обращайтесь в газету с запросами на мое имя». Я прошу тебя, Отто, помочь Германии. Естественно, все твои возможные затраты на встречи, корреспонденцию, приемы и прочую надоедливую, но необходимую бюрократическую муру будут компенсированы. Мы предлагаем к твоим тремстам долларам еще пятьсот наших. Если ты согласен, мы сейчас же подпишем договор на твое сотрудничество в «И.-Г.» в качестве консультанта по России и прибалтийским областям.

На следующий день после этого разговора Нолмар начал действовать. Он зашел к редактору-издателю «Последних известий» Михаилу Генриховичу Ратке, к Вахту в «Народное дело», к Львову в «Комитет помощи беженцам» и договорился об организации встреч с русскими инженерами и профессорами. Причем, естественно, ни о какой денежной компенсации Львову или Ратке речи и не шло. Отто Васильевич так построил беседу, что те считали себя ему обязанными: наконец-то несчастной русской интеллигенции пришли на помощь.

Первым, с кем увидался Нолмар, был молодой ученый-физик Иван Прохорович Травин.

После Нолмар казнил себя за то, что принял с самого начала покровительственный тон в разговоре с этим оборванцем.

— А, собственно, отчего вы решили, что я намерен принять ваше предложение? — спросил Травин. — Отчего вы так смело предлагаете мне поселиться в Германии?

— У нас нет другого выхода: вы здесь нищенствуете.

— У меня всегда есть альтернатива — вернуться в Россию.

— Что вас ждет там?

— Россия.

— Голод, презрение озверевших рабочих, проверки, террор.

— Я убежден, что с нэпом ужас террора кончится.

— Я не понял вас, вы отказываетесь? — спросил Нолмар, еще раз неосторожно оглядев одежду и рваные сапоги русского. — Неужели вы предпочитаете дикость — цивилизации, прозябание — работе?

— Я никогда не считал мою родину дикой, и такое отношение к России лишает меня права продолжать разговор.

С приват-доцентом Павлом Петровичем Куравлевым Нолмар беседовал уже совершенно иначе. Он собрал кое-какие данные о нем и потому говорил так:

— Павел Петрович, я понимаю, сколь тяжело вам жить вне родины... Вероятно, вам, как патриоту России, особенно горько и то, что вы не можете отдавать народу свои знания... Я понимаю вас и скорблю вместе с вами, хотя являюсь по крови немцем...

— Спасибо, Отто Васильевич. Спасибо за добрые слова о моей родине... Сейчас модно бранить Россию и пугать ею детей, но Россия еще скажет свое слово.

— Меня уполномочили предложить вам поехать года на два в Германию, в хороший институт, и поработать над своей темой: я думаю, когда вы закончите свое исследование, дома все наладится, и вы вернетесь в Россию не с пустыми руками...

— Спасибо вам, спасибо, — растроганно повторил Куравлев, — хочется снова работать, когда встречаешь таких людей, как вы. Но как мы поедем в Германию? У меня ведь трое детей, жена и ни копейки денег на дорогу...

— Квартира вам будет приготовлена, а что касается проезда, то фирма оплатит расходы, а после вычтет эти суммы из вашего жалованья.

Третий, Степан Гаврилович Угаров, выслушав — теперь уже трафаретную — вводку Нолмара, усмехнулся и спросил:

— А, собственно, с чего вы решили, что я собираюсь возвращаться? Стадо взбесившихся мужепесов — работать на них? Россию надо наполовину перестрелять: по-библейски — всех лиц мужского пола; а на бабах женить вашу немчуру, англичан и шведов. Конечно, я поеду в Германию — только мне нужны гарантии в получении гражданства, иначе я стану подаваться в Северо-Американские Штаты, там платят больше и от России подальше...

«Неожиданная нация, будь они трижды прокляты, — думал Нолмар, — ничего нельзя наперед думать, особенно в беседах с их одаренностями и талантами: тут полный сумбур, полнейший».

Поднимаясь к себе домой после очередной беседы с русским инженером, Нолмар рассчитывал принять горячую ванну и сразу же лечь под перину — отсыпаться; замотался он с этими русскими до последней крайности.

Увидав возле своей двери тень человека, он быстро достал из кармана пистолет. Это в нем сработало автоматически: Ревель засыпал рано, да и за годы, прожитые им здесь, никто ни разу не торчал возле его двери.

— Отто Васильевич, я с ума схожу, жду вас третий час, — тихо сказала Оленецкая.

— Что случилось? На вас лица нет. Заходите, голубушка. Зря, конечно, вы ко мне без звонка — не ровен час, заметил вас кто...

— Я шла осторожно.

Он пропустил ее в квартиру, принял пальто.

— Виктор в России... Вы знали об этом?

— Ах, какая хитрая женщина... Откуда вам стало об этом известно? Хотите кофе?

— Нет, нет, благодарю вас...

— Вы бледная, и руки как ледышки. Сейчас я заставлю вас выпить капельку грога, садитесь в кресло и укрывайте ноги пледом. Откуда это пришло к вам, что Виктор Витальевич — дома?

— Я узнала об этом сегодня совершенно определенно.

— От кого?

— Это неважно, Отто Васильевич. Главное, что он — в России и за ним начали охоту, потому что шифров...

— Вы очень любите его, Мария Николаевна?

— Если с ним хоть что-нибудь случится — я покончу

с собой. Мне на этой земле нет смысла без него жить...

— Что вы готовы сделать для его спасения?

— Все.

— Все, — задумчиво повторил Нолмар, — все... Тогда для начала выпейте грога, это вас согреет. И, пожалуйста, верьте мне, милая, — с Виктором Витальевичем, который мне тоже очень дорог, все в порядке. Вы сказали, что готовы сделать для него все... Тогда, во-первых, ответьте мне, пожалуйста, чем вы занимаетесь в русском посольстве?

— Я шифровальщица.

— Хорошо, что вы сразу сказали правду. Теперь, во-вторых, скажите мне, каким шифром вы работаете? Каким шифром вы сегодня писали сообщение о Викторе? Вы мне передадите его на полчаса завтра?

— Зачем это вам?

— Мне это нужно, поскольку я являюсь резидентом Германии в Ревеле и вся информация, исходящая из вашего представительства, мне крайне важна. А Виктор Витальевич — один из моих ближайших друзей, и, следовательно, чем больше я буду знать обо всем, происходящем у вас, тем вернее гарантия, что я смогу заранее предупредить его об опасности.

— Боже мой, — тихо сказала женщина, — господи боже мой...

— Раскаиваетесь, что отдали сердце такому человеку, как Воронцов?

— Нет... Просто я думаю — как жесток этот страшный мир. Какие мы все маленькие. Беззащитные...

— Вы не правы, Мария Николаевна. Мы были бы слабы и беззащитны, не имей друзей. Сейчас жизнь Воронцова зависит от нас с вами... Например, думается мне, у него могут быть определенные трудности с жильем... Как бы вы могли помочь ему?

— Моя сестра... живет в Кремле, она вне всяких подозрений.

— И если вы черкнете ей записочку: «Дорогая, приюти моего друга на два-три дня», ваша сестра даст кров?

— Конечно...

— Где она работает?

— Она контролер Рабкрина в Гохране.

— Вот видите... А я раньше об этом не знал. Берите листок бумаги и пишите: «Дорогой Виктор, я буду помогать вам вместе с Отто — всегда и во всем». Он будет очень рад получить такую весточку...

— Кто больше: вы или он? — горько спросила она.

— То есть? — удивился Нолмар. — Я не понимаю...

— Уж если я понимаю, Отто Васильевич, то вам грех не понимать: вербовка и есть вербовка.

— Полно, Мария Николаевна, какая там вербовка! Виктор мне рассказывал о той неоценимой помощи, которую вы оказывали ему, а следовательно, и мне, уже полгода назад... Так что эта записка — лишь соблюдение необходимой формальности. А завербованы вы полгода назад, и об этом есть соответствующие документы в Берлине. Нам без отчетности нельзя никак... Не голодны? А то я сделаю бутерброд.

— Не надо... Когда он должен вернуться?

— По нашим подсчетам, он управится за месяц. Но возможны всякие непредвиденные случайности, тогда он задержится и станет уходить через Дальний Восток и Китай.

— У вас от него что-нибудь уже было?

— Пока я знаю, что он благополучно перешел границу. А вот кто и как узнал, что он в России? Виктор Воронцов — человек известный в ЧК. Наверняка там есть его фотографические портреты. Узнать о том, что он в России, мог лишь серьезный, очень вдумчивый агент ЧК. Новые люди в вашем посольстве, насколько мне известно, не появлялись... Кто передал донесение? Точная дата? В котором часу?

— Это писал кто-то чужой, такого почерка еще ни разу не было. Донесение передал Шорохов.

— А вы не знаете, он выезжал перед этим куда-нибудь из своего офиса?

— Не знаю...

— Можно узнать?

— Постараюсь, — ответила Оленецкая как-то безучастно, неотрывно глядя в темный угол кабинета.

— Так не годится, милая моя... Вы так погубите Виктора Витальевича... Вы должны ответить в первую очередь себе: можете ли вы точно выяснить, приезжал ли вчера Шорохов в посольство и когда.

— Он пришел ко мне около девяти — румяный, как после прогулки.

— Понятно, вы не ошибаетесь, около девяти?

Назавтра Нолмар через своих людей в политической полиции Эстонии выяснил, что машина коммерсанта Шорохова действительно выехала из здания посольства

в 8.25. От наружного наблюдения, которое пытались вести агенты, не имевшие машины, но только две пролетки, автомобилю русского удалось оторваться.

Департамент полиции на запрос, сделанный Нолмаром через своего агента из министерства внутренних дел, ответил, что в редакциях эмигрантских газет и в комитете помощи беженцам был зарегистрирован новый русский Исаев. Однако адреса этого человека до настоящего времени установить не удалось. Правда, критик Александр Черниговский сообщил, что Исаев обещал на следующей неделе зайти в редакцию.

Нолмар договорился, что Черниговский немедленно поставит в известность его или — он дал три телефона — его хороших друзей о визите Максима Максимовича и постарается задержать Исаева минут на двадцать — тридцать.

Москва. Кедрову. За директором ювелирного концерна Маршаном, остановившимся в 53-м номере «Савоя», установлено наблюдение. Вместе с ним проживает телохранитель Вилла. Это усложняет работу, поскольку в номере всегда остается один из них и представляется невозможным просмотреть его бумаги. Сообщаю, что в Ревель приезжал один из директоров Круппа — Дольман-Гротте. С ним имел контакты здешний германский резидент О. Нолмар. После встречи с Д.-Гротте резидент начала беседы с русскими эмигрантами, которые не связаны с местными политическими группами.

Роман.

ГОТОВЯТСЯ ТЕ...

«Родная моя! Видимо, несовершенство памяти человеческой позволяет — со временем — палачам становиться добрыми гениями; нежным страдальцам оказываться расчетливыми садистами; по этой же, верно, причине любимые делаются врагами, идиоты — гениями, скучные недоучки — великими прозорливцами. Это я о себе... Я сижу сейчас возле окна, которое выходит в весенний сад, нет, просто в сад — как и прежде, я спешу, но мне очень недостает этого весеннего цветения, и поэтому я позволяю себе жить чуть-чуть вперед — уже в весеннем цветении. Что делать — тороплюсь, но характер —

это такая данность, которую можно сломить, но нельзя изменить.

Вероятно, все наши с тобой горести происходили оттого, что я вывел эту точную формулу, но соотнес ее лишь с самим собой. Видимо, сам того не замечая, я хотел сделать тебя своим слепком, неким повторением себя самого, не понимая, что случись это — и станет невыразимо скучно, как скучно и одиноко делается человеку, окажись он в пустом зеркальном зале, и не на час — на всю жизнь.

Наверное, это очень плохо, когда люди узнают друг про друга все, до самых, как говорил Егорушка, «подноготностей». Тайна, недоговоренность так же дисциплинируют в любви, как в бою, в политике и в биржевом сражении. Я убежден, что агрессия становилась вожможной, лишь когда одна сторона узнавала главные тайны другой.

Но, знаешь, сейчас, по прошествии лет, я вдруг подумал, что еще хуже, когда смотришь на женские лица и начинаешь понимать, что тайна, сокрытая в их глазах и улыбках, тщательно ими выверена, а потому заранее понятна, что тайну свою они берегут не по причине смущения или робости, но подобны в этом государству, оберегающему свой суверенитет. Когда границы человеческих отношений очерчены четко и оберегаются взаимными гарантиями, тогда сохранится и тайна, и вежливая сдержанность, и дисциплина взаимоотношений — все сохранится, но не будет чуда, которое было, когда ты слушала музыку или купала детей у нас в Сосновке в ванночках летом на лужайке, под солнцем; не будет того, что было, когда ты читала и я видел, как жило твое лицо — как двигались брови, печалились глаза, и губы шепотом повторяли полюбившиеся строки: ты очень любила по нескольку раз перечитывать хорошие строки.

Мы не верим в потерю до тех пор, пока не потеряем. Ты сказала: «В отличие от тебя я играю в открытую — я жду его писем». Я должен был сделать совсем не то, что сделал. Я не имел права бросить все и уйти. Будь проклята эта моя обидчивость — да и не только моя, а твоя тоже, давай уравняемся хотя бы в этом... А ведь больше всего я боялся не твоей измены — глупой измены. Я боялся всегда, что тебя могут обидеть. На земле очень мало хороших мужчин. Особенно это заметно, когда сидишь на мальчишнике и слушаешь друзей, которые рассказывают подробности любви, сме-

ются, перемигиваются, а глаза полны презрения, а рты сластолюбивы и гадки. Я боялся, что вместо меня — слюнявого философа, несостоявшегося гения — встретится расчетливый нувориш, который сумеет тебя подчинить себе и будет с тобой лишь спать, а ходить в консерваторию вместе со своей женой. «Слабый» пол всегда тяготеет к сильному. Добровольное подчинение возможно только в женской любви. А это и страшнее, и надежнее рабства...

Я не любил никого, кроме тебя. Искал ли я? Не знаю, быть может. Память, время — все смешалось в бедной голове моей: кто злодей, где жертва? Бог знает... Хотел ли я преклонения? Вряд ли... Веры в себя — скорее... Наверное, ты очень стыдливо и затаенно верила в меня... А может быть, в самом начале я обманул тебя — ты поверила, что я очень сильный, а я казнился тем, что слаб и неуверен в себе. Не знаю, любимая, ничего не знаю. Встретить бы тебя сызнова, сейчас, в теперешнем моем качестве — после фронтов, революций, изгнаний... Ты полюбила бы меня больше и лучше, а я увидел бы в тебе то, чего не мог видеть и понимать раньше.

Говорят, что надо уметь беречь любовь. Эти понятия — «сбережение» и «любовь» — несовместимы, и всякая попытка совместить их безнравственна. Сберечь можно драгоценности тетки Варвары или молоко в жару, если в поместье хорош ледник. Беречь любовь нельзя: это вне нас, и в то же время это суть наша, это и далеко и рядом. Должна быть редкостная совпадаемость душ, одна из которых взяла на себя тяжкий крест любви. Только нельзя любить несчастных — особенно несчастных женщин и слабых мужчин. И то и другое — изнурительный сюжет для Достоевского, который кончится трагедией, и это будет продиктовано не фантазией, гения, но правдой...»

Анна Викторовна, наблюдавшая за Воронцовым из-под полуприкрытых век, спросила:

— Что вы пишете?

— Письмо.

— Зачем вы делаете это?

— Я знаю, зачем я это делаю.

— Я смотрела на ваше лицо. Вы унижали себя и очень жалели, но вы совсем не верили тому, что писали. Вы играли сейчас, Дмитрий, как актер, который не верит пьесе. Женщина, которой вы адресуете это, не поймет

вас. Мужчины не меняются, меняются лишь женщины, которые проходят через горе... Или через счастье. И если женщина изменится, ей будет, не обижайтесь, смешно читать экзерсисы своего прежнего возлюбленного... Вас может примирить с ней лишь поступок...

— Какой?

— Не знаю... Вам, наверное, очень бы хотелось снова быть раненым, лежать при смерти, но так, чтобы на этот раз она увидела все это и пришла к вам, но если бы она пришла, вы бы неминуемо обидели ее.

— То, что вы сказали, относится к разряду беллетристики.

— Может быть, — безучастно согласилась Анна Викторовна.

— Отчего вы так легко соглашаетесь с тем, что я говорю?

— Я люблю вас...

— Перестаньте.

Она покачала головой:

— Это не должно вам мешать: если вам понравится какая-нибудь женщина, я стану домогаться у нее любви — для вас.

— Вы не можете любить, оттого что вы шлюха.

— Только шлюха и может любить...

Воронцов поднялся из-за стола и вышел в соседнюю комнату: на печке спал Олег — божий человек, а Крутов сидел возле окна и раскладывал пасьянс.

— Как Олег? — спросил Воронцов.

— Я дал ему соды...

— Изжога?

— Нет, сода помогает организму справиться с алкогольным отравлением.

— Завтра оклемается?

— Прекрасное слово «оклемается». Вы сами из пьющих?

— Из.

— А я исключил алкоголь из употребления, как только почувствовал утром необходимость поправиться маханькой. Дед говорит: «Играй — не отыгрывайся, пей — не похмеляйся». А деды всегда умнее, хотя мы по молодости считаем их склеротическими мумиями.

— А вам дед никаких философских суррогатов по поводу «времени» не оставлял?

— Оставлял. Советовал «поспешать с промедлением».

— А вот Толстой, например, утверждал: в минуту

нерешительности действуй быстро и старайся делать первый шаг, хотя бы и лишний.

— А что нам делать без Олега?

— Где три ваших верных человека?

— ЧК свирепствует, да и милиция сейчас не та, что раньше. Я людей соберу, только вот Фаддейки третий день нет, а вы сказывали, что он обещал подъехать.

— Фаддейка тоже вправе спасаться от ЧК, — ответил Воронцов. — Наш уговор с ним был тверд.

— Он знал детали вашего плана?

— Те, которые ему полагалось, — знал.

— А я в полнейшем неведении, — мягко улыбнулся Крутов, — и мне так работать трудно...

— Может быть, поэтому ваших людей до сих пор нет?

— Как знать...

— Чего вы хотите?

— Правды.

— Знание главного принципа обязано возмещать незнание всей правды. Доля ваша достаточно велика: миллион золотом.

— Я это все знаю, Дмитрий Юрьевич. Но, по здравому размышлению, я озадачил себя новым вопросом: а какова будет ваша доля? Люди — наши; руки — Олежки; оружие — мое... Задумка ваша, нет слов, хорошая: ах-бах, и лучшее из Гохрана уходит в Пасад. Но ведь там по меньшей мере миллионов на двадцать можно взять! Ну, людишкам — мильон, ну, Аннушке — мильон... Значит, вам — семнадцать?

— Чуть, видимо, меньше: миллионов десять.

— А справедливо ли это?

— Видите ли, Крутов, у кого не выстроены принципы будущей операции в логической последовательности, у того не только в голове ветер, но и в делах полнейшая чушь... Как вы думаете провести операцию? Дарю вам идею. Но как вы ее реализуете?

— А вы?

Воронцов рассмеялся:

— Мы с вами будто у чекистского следователя говорим.

— Налет — и все. Смелость города берет.

— Люди сказывали мне, что вы налетами-то не очень чтобы занимались, все больше пожилыми дамами увлекались.

— Анна Викторовна посвящена отнюдь не во все мои дела.

— Так ведь и помимо Анны Викторовны я кое-кого знаю. Как вы намерены осуществить налет? Как вы проникните в Гохран? Кто покажет вам переходы из отдела серебра в отдел бриллиантов? А откуда вам будет известно, в каких сейфах хранятся бриллианты, а где — сколки? Кто вам все это даст?

— Вы.

— Точно. Я. А теперь возьмите карандаш и рассчитайте доли для всех нас. Вам мало миллиона? Ладно. Полтора.

— Ну, знаете вы ходы, переходы и залы, где бриллианты лежат, Дмитрий Юрьевич! Ну, ключом вы завладеете от ворот! Один-то все не унесете! Охрану — хоть и малочисленную, но вооруженную — не снимете! Сейфы без Олежки не откроете! Товар на чем повезете? Извозчика попросите ждать? «Мол, сейчас Гохран ограблю — и поедем». Или как? Ваши пятнадцать миллионов поровну. Вот мое условие.

— Что?! — перейдя на шепот от гнева, медленно выдохнул Воронцов. — Что ты говоришь?!

Крутов впился глазами в лицо Воронцова, словно наслаждаясь его яростью. Откинулся на спинку стула, рассмеялся:

— Все. Как говорят на собраниях — отвожу. Я ждал, что, ежели вы согласитесь половину отдать, — значит, не быть мне после дела жильцом на земле: помог, стал не нужен — и нож в лопатку; а вы торговались честно, без подлости.

— Ну-ка, Крутов, — услыхали они голос за спиной и враз обернулись. На пороге стояла Анна Викторовна. — Постарайтесь запомнить, что я скажу... Третий никогда лишним не бывает, особенно когда приходится иметь дело с вами. Наш с ним третий, — она кивнула головой на Воронцова, — станет смотреть за каждым вашим шагом. И вы знаете, что с вами будет, если станете нитки на шею мотать... Знаете или нет?

Лицо ее было белым, как бумага, глаза — снова как в домике на Плющихе — остановившимися, неживыми.

— Ну? — спросила она. — Закончим на этом?

— Закончим, — сказал Крутов, и Воронцов заметил, как у него в глазах блеснуло яростью — жестокой, но бессильной.

Из ответов Л. Б. Красина на вопросы группы руководящих деятелей лейбористского движения.

Вопрос. Насколько серьезной помехой для восстановления экономики России является возможность неожиданных нападений и мятежей, организованных из-за границы?

Ответ. Неопределенность международного положения России является главным препятствием для ее экономического возрождения. Интервенция в России и блокада ее, начатые державами Антанты в 1918 году, в действительности еще не прекратились... Отношение Франции к России до настоящего времени остается определенно враждебным... Согласно достоверной информации, польские военные круги не отказались еще от своих планов военной интервенции в России. Белогвардейские монархические группы в Германии осуществляют подобные же мероприятия по подготовке нападения через бывшие балтийские губернии (Эстония, Латвия, Литва)...

...И ЭТИ

В рыбацкой деревушке Кясму, неподалеку от Раквере, берег был пустынный: лишь несколько рыбаков блеснили щуку. Вода в заливе цветом была похожа на листовое железо — серая с внезапным фиолетовым переливом. Два рыбака, отвернув голенища кожаных болотных сапог, зашли особенно далеко, за последние валуны. Кясму отсюда казалась игрушечной: семь домиков, крытых по-шведски толстыми камышовыми крышами; причал, выдающийся в море легкой рапирой; деревянная маленькая кирха — и тишина, прорезаемая изредка криками чаек.

— Слушайте, старина, — негромко говорил Исаев резиденту Роману, наматывая леску на трещотку. — Я сейчас передам вам несколько фотографий: там портреты тех, кого официально командировали в Ревель. Один из этих людей встречался с Воронцовым в «Золотой кроне».

— Хорошо. Это выясним.

— Вы сообщали о новом резиденте французов Круазье. Можете посмотреть за ним внимательно? За всеми его контактами?

— Трудно.

— Но осуществимо?

— Очень трудно, — повторил Роман.

— Теперь по поводу немцев, по поводу Нолмара...

— Это самая интересная личность в Ревеле. Он сильнее и англичан, и французов.

— У меня появилось соображение, как помочь делу.

— Как?

— Я пущу крайне звонкие шифровки с дезинформацией и попрошу Шорохова отнестись к ним халатно, одним словом, разыграем комбинацию. И пустим эти сообщения по очереди: в связи с Францией — в тот день, когда вы сможете посмотреть за Круазье, а в следующий день, когда наладите слежку за Нолмаром, засадим нечто сногсшибательно-германское... Значит, если кто-то в нашем посольстве получит мою «дезу» — а я сработаю ее точно, с учетом немецких и французских интересов, — их агент из нашего посольства пойдет на связь с хозяевами, и на этом мы их прихлопнем.

— С Нолмаром легче: в его парадном позавчера освободилась квартира — мы ее уже сняли.

— Экий вы предусмотрительный.

— Смелость надо подстраховывать чьей-то предусмотрительностью, — в тон ему ответил Роман.

— Тоже верно.

— Вы слишком открыто бродите по городу, позавчера три часа проторчали в музее и забыли даже проверяться.

— Да, это вы правы, — сразу же согласился Исаев. — Что делать — живопись... Просился во Вхутемас — Бокий не пустил.

Роман оглянулся: рыбаки по-прежнему стояли в отдалении.

— Ну что ж... Расходимся. Пару моих щучек возьмите, я еще поблесню часок, без трофеев возвращаться нельзя.

— Я под той сосной, где встретились, вам этих щучек на всякий случай оставлю — вдруг у вас клев кончится?

— Спасибо, а спиннинг спрячьте в мох.

— Я звоню, как только подготовлю хорошую «дезу».

— Начинаем с Нолмара?

— Хорошо.

Исаев медленно побрел к берегу, но Роман окликнул его:

— Макс! Одну минуту, пожалуйста.

— Слушаю...

— Поскольку вы предложили довольно дерзкую комбинацию, от звонков ко мне воздержитесь.

— Давайте другую связь.

— Вот что... Запомните адрес: отель «Каяк» — это «чайка» по-эстонски. Пирита теа, дом двенадцать. Там живет Лида Боссэ, актриса... В отеле привыкли к паломничеству в ее номер. По утрам она у себя.

— Как она узнает обо мне?

— Она вас видела, — усмехнулся Роман. — Тоже любит музеи...

— Понятно. В поддых. Как я ее узнаю?

— Вы ей скажете: «Лида, я так много слышал про вас от Романа, и я не ошибся в своих представлениях...»

— Фразочка — скажем прямо. «Я много слышал про вас...»

— Нет, — поправил Роман, — «Лида, я так много слышал...»

— Хорошо. «Лида, я так много слышал про вас от Романа, и я не ошибся в своих представлениях».

— Она вам ответит: «Здравствуйте, милый Репин».

В семь часов утра Шорохов вышел из квартиры черным ходом, которым он не пользовался с тех пор, как поселился в этом доме. Он знал, что за его квартирой следят два поста: один шпик сидит возле черного хода во двор, а второй читает газету в комнате консьержа и играет с ним в шашки. Однако по прошествии трех месяцев, убедившись, что Шорохов ни разу черным ходом не пользовался и даже не освободил от хлама чулан, из которого вел второй ход, шпика во дворе сняли. Именно этим вторым ходом и вышел рано утром Шорохов. Систему проходных дворов он изучил из своего окна, поэтому легко вышел к тому месту, где ждал Исаев.

— Доброе утро.

— Здравствуйте, — ответил Шорохов шепотом и затащил его в то парадное, которое выходило во двор. — Перестаньте вы улыбаться — это же примета, в конце концов.

— Больше не буду, — он быстро передал ему коробок спичек, — это вам надо сегодня переписать в трех экземплярах с грифом: «Совершенно секретно, весьма срочно. Лично Дзержинскому». Один экземпляр оставьте в секретариате, на видном месте, один — у себя, третий... Вы же имеете возможность свободно заходить в советское по-

сольство, поскольку торгуете с Москвой, не так ли?

— Я найду, где забыть третий. Когда ждать от вас весточек?

— Все время.

— Слушайте, будьте же серьезным человеком...

— Я говорю совершенно серьезно: все время — от меня или моих друзей...

Город был укутан туманом. Башни Вышгорода растворились в сером молоке. Остро пахло морем — в тумане запахи особенно отчетливы, хотя и несколько размыты сыростью.

...Нелепый случай привел почтальона в квартиру Шорохова как раз в тот момент, когда хозяин отсутствовал. Спустившись к консьержу, почтальон оставил пакет для «господина красного торговца», а шпик ринулся на улицу: время было еще раннее — Шорохова можно заметить издали. Он увидел Шорохова возле следующего перекрестка — тот выходил из проходного двора следом за высоким, лощеным, европейского вида мужчиной. Поначалу шпик не стал связывать воедино Шорохова с этим европейцем, а потом себя за это бранил, поскольку Шорохов отправился домой и, ни с кем более не встретившись, поднялся к себе по черной лестнице.

Однако того европейца шпик заметил и не преминул об этом сообщить господину Нолмару — шпик тоже был немец, их было еще много в здешней полиции, а своим эстонским начальникам сообщать не стал — боялся нахлобучки за ротозейство.

— Я так много слышал про вас от Романа, и я не ошибся в своих представлениях.

— Заходите. Вы забыли, что зовут меня Лида, милый Репин.

— Называйте меня просто Рублев, — улыбнулся Исаев.

Он отметил, что лицо Лиды Боссэ относится к тому редкостному типу женских лиц, которые совершенно не меняются после сна: глаза — ясные, самую малость припухшие, но это придавало им какую-то детскую прелесть, а ведь каждый мужчина — это Исаев вывел для себя точно — обязательно ищет в женщине ребенка.

— Хотите кофе? — спросила Лида. — Я собираюсь

завтракать, я не могу говорить о серьезных вещах на голодный желудок. У меня будет бурчать в животе, а вы станете делать вид, что ничего не слышите, вместо того, чтобы засмеяться, а это будет меня злить, а когда женщина злится — она омерзительна. Разве нет? Вот, читайте газеты — русские, эстонские и немецкую, скучную, как газон, а я через десять минут напою вас и накормлю.

Он взял со столика «Последние известия». На первой полосе жирным шрифтом было набрано: «Второй боевик фабрики «Унион» — «Молниеносная миллионерша». Грандиозная программа! Драма в семи актах! Небывалая игра артистов! Удини на аэроплане! Удини борется с водолазом и перерезает ему шланг! Удини приручает обезьян — людоедов джунглей!»

Чуть ниже: «Сегодня в кафе «Золотой лев» концерт и танцы между столиками — фокстрот и шимми». И рядом: «Завтра в «Вилле Монрепо» вечер в пользу артистов! Участвуют Замятина, Боссэ, Тхала, Тиман, цыганский хор Коромальди. За вход плата повышенная. Начало кабарета в 10 часов вечера». На третьей полосе Александр Черниговский разбирал новую постановку в «Русском театре»: «Ревизора» ли видим мы? Где горький гоголевский смысл, где разящий хлыст сатиры? На смену всему этому пришло горестное сожаление по ушедшему, по всему тому, что определяло быт и уклад поместной России. То, что должно вызывать гнев и презрение зрителя, в постановке г-на Кассера, наоборот, рождает умильное переживание по утерянному с победой большевиков! И это в то время, когда мы должны воспитывать нашу молодежь в готовности отдать лучшие порывы юности, а если потребуется, и жизнь в борьбе за освобождение Родины! Если бы г-н Кассер задумал сделать «Ревизора» как сатиру против большевизма, против уродства Совдепии, погрязшей в чинопочитании, — тогда он заслужил бы наше гражданское спасибо, ибо ничем нельзя зажечь людские сердца, кроме как глаголом».

— Чем увлечены? — спросила Боссэ, выходя из ванной. Была она одета в серое платье, легко и просто причесана, и пахло от нее хорошим мылом.

— Черниговским.

— Милый Сашечка... Голодает... Мы его подкармливаем. Он славный, только озлоблен, на ежика похож.

— Бедный ежик.

— Я покупаю к утреннему кофе печенье — его пекут

здесь напротив по моему рецепту. Вы подождете пять минут?

— Подожду, — ответил Исаев и показал глазами на телефонный аппарат.

Боссэ отрицательно покачала головой и чуть кивнула на окно: Исаев понял, что она будет звонить не отсюда, вероятно, для этого и было придумано печенье. Он еще раз внимательно посмотрел на нее, и она ему чуть улыбнулась и пошла к вешалке. Он ее опередил, помог надеть плащ и протянул маленькую, плетенную из соломки сумочку.

— Нет, спасибо, там мне готовят пакет, чтобы удобнее и нарядней нести. Читайте газеты, отдыхайте, я сейчас.

Он сел к столу, пролистал еще раз газеты и отложил их с досадой; поднялся, отошел к окну, выглянул на улицу. Через булыжную дорогу, чуть раскачиваясь на каблучках, бежала Боссэ с огромным, но, видимо, очень легким свертком в руках.

— Вот и я, — сказала она, ставя сверток на стол. — Я взяла много необычайно вкусных вещей.

Она включила граммофон — новую американскую модель — и поставила Моцарта.

— Он утренний композитор, — сказала Лида, — после него так прелестно жить на свете. Я позвонила к Роману. Он сказал, что все будет хорошо и что «товарищи уже начали наблюдение за всеми объектами».

— Спасибо.

— Пожалуйста, называйте меня хотя бы Лидой. Или мадемуазель Боссэ, а то вы говорите со мной как со столом.

— Это в традициях русского театра — стол ли, шкаф.

Лида рассмеялась.

— Что вы? — спросил Исаев, зараженный ее весельем.

— Первый раз вижу интеллигентного человека — оттуда...

— Откуда? — не понял Исаев.

— Из ЧК, — тихонько прошептала она.

— Ну, спасибо, — сказал он, — тронут...

— Угощайтесь дарами Ревеля. Особенно вкусны белые пирожные со сливочным кремом. А вот «наполеон» сегодня неудачен, слишком сухой...

— Я не ем сладкого, Лида.

— А я-то старалась, дуреха. Все ваши — необыкно-

венно застенчивые люди, только за компанию едят, а ведь я — на жесточайшей диете...

— Ну, давайте, я — «наполеон», а вы — одно сливочное.

— Ох, какой хитренький — я женщина волевая. Не буду.

— С вами сразу легко: это — редкое качество у наших женщин.

— А я не совсем ваша женщина, — ответила Лида,— папа — француз, а мама — эстонка.

— Вы давно с нами?

— Два года...

— Отчего вы сказали, что я — первый интеллигентный «оттуда»?

— Потому что остальные добрые, но все какие-то стальные, а не плотские. И сразу смотрят, нет ли отдушины в соседний номер с фонографом, будто я сама этого до смерти не боюсь... А потом вы Рублева назвали... «Буржуй проклятый, иконы писал» — так мне один ваш сказал.

— Это пройдет.

— Я за это Богу молюсь... Я верующая, вы это, пожалуйста, запомните и при мне никогда не ругайте Христа.

— Вы православная?

— Я никакая. Я просто в Бога верю. У меня вообще-то богов много — Христос, Бах, Толстой... Иногда собеседник делается Богом — но это ненадолго. Мой муж был Богом... Я не сумасшедшая, просто я всегда говорю то, что думаю, — иначе как-то совестно людям в глаза смотреть. Хотите еще кофе?

— С удовольствием.

— Господи, не отказывается! Ура! Власть переменилась! Вы на прощание скажете: «Товарищ, береги себя»,— или нет?

— Скажу.

— Жаль. А то б вы мне совсем голову вскружили. Я очень влюбчивая, Максим Максимович, — вас так надо называть? Максим Максимович, почему вы — с ними?

— А вы?

— Ну, это дурно — вопросом на вопрос.

— В общем-то верно. Как отвечать — я вас толком не понимаю: где кокетничаете, где вправду интересуетесь?

— Ну, я не знаю где и как... Разве я могу сама себя

разделять? Ваши себя так контролируют, так уж контролируют — оттого за ними и следят. Надо все время быть самим собой — как Бог на душу положит. У меня есть леденцы. Хотите?

— Спасибо. Не хочу.

— Да ну вас к черту... Ничем не угодишь...

— Экая вы, — заметил Исаев, — «даешь эмансипацию»!

— Что вы! — ужаснулась Лида. — Мне во сне дети снятся с оборочками и в панталончиках. Ну что же вы молчите: я видела, как вы собрались мне ответить. У вас брови сросшиеся, — значит, вы злой ревнивец.

— Ну и хитрющая же вы.

— Я? Ужасно хитрая. А что? Хитрость — это второй ум... Вы тоже в тюрьме сидели? Мучили вас, да?

— Нет. Все у меня благополучно. Даже успел лицей кончить, курс математики начал слушать...

— Какой вы молодец! А то я иногда рассуждаю: ну зачем, зачем я с ними? Все мои против них, а я с ними, и расстреляют еще как шпионку! Знаете, как расстреливают: чик — и нету. На остров бросят, а скажут, что пытался убежать и ранил конвоира. О, я знаю, чего вы хотите! У меня есть американские сигареты. С медом. Угадала?

— Угадали.

— Я умею читать мысли по глазам. Мне предлагали контракт по Южной Америке — «сеансы чудес мадемуазель Боссэ».

— Отказались?

— Антрепренер сразу стал лезть ко мне за корсет. И потом я могу отгадывать по вдохновению. Профессионально — я только на сцене выдрющиваюсь. И — деньги на бочку. Ну? Что вы молчите?

— Я жду.

— Чего?

— Сигарет.

— Это я вас обманула. У меня их нет. Просто я для себя угадывала, чего вы хотите.

— Лида, спасибо за кофе — я у вас хорошо отдохнул, а теперь мне пора.

Боссэ покачала головой:

— Роман просил меня быть с вами. Знаете, если вы со мной пойдете, все на меня будут смотреть — я же смазливая, и у меня глаза с блудом. А потом он просил вас заболеть. Он сказал, что мы вас навестим, когда

врачи поставят первый диагноз... Не верите мне — шифром разговариваете, думаете, что я дурочка, как все женщины. А мне Антон Иванович говорил, что мудрее меня нет женщины.

— Деникин?

— Да. Необыкновенно милый человек. Я не понимаю, отчего вы его ненавидите? Надо было послать к нему хорошего агитатора, и он бы перешел на вашу сторону. Я пыталась ему все объяснить, но я же не специалист в этой области...

— Интересно, что вам Антон Иванович ответил?

— О, я запомнила, он очень смешно мне ответил. Он сказал, что если английскому лакею сказать «спасибо» за работу, он тогда вас на всю жизнь запомнит и отблагодарит, а нашему скажи — Антон Иванович тут замолчал надолго, глаза все тер пальцами, — так неминуемо решит, что ты блажной, и не преминет тебя облапошить, а если замечание сделаешь — так начнет кол из плетня дергать...

— Добрый человек, Антон Иванович, — усмехнулся Исаев.

— Ну, началось! Я этого больше всего боялась... Почему вы так жестоки? Почему вы не ищете путей к миру, а норовите заменить заповедь «не убий» на новую: «ответь ударом на удар»?!

— Помните, у Екклезиаста? «Ибо тот из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своем бедном». Ну, вышли? Вышли. Снисходительность — свидетельство доброты? А снисходительность к нации — это как?

— Вы философ? Тогда отчего сердитесь? Даже стали Екклезиаста приводить, а я его в жизни не читала.

— Плохо.

— А вы почему этого Екклезиаста защищаете?

— Я защищаю свою точку зрения; а вы — прелесть. Все-таки давайте-ка мы ослушаемся Романа, и я потихоньку пойду один.

— Роман будет волноваться. Хотите, погадаю по Лермонтову.

— Хочу.

— Говорите страницу.

— Сто шестая.

— Ага. Один плюс семь — вы в семерку верите!

— Угадали.

— Вот видите. А строчка какая?

— Первая.
— Снизу или сверху?
— Сверху.
— «Когда надежде недоступный...» Это что-то мало. Давайте дальше посмотрим... «Не смея плакать и любить». Ага, так! «Когда надежде недоступный, не смея плакать и любить, пороки юности преступной я мнил страданьем искупить...»

Исаева поразило, как преобразилось лицо Боссэ:

Когда былое ежечасно
Очам являлося моим
И все, что свято и прекрасно,
Отозвалося мне чужим,
Тогда молитвой безрассудной
Я долго Богу докучал
И вдруг услышал голос чудный.
«Чего ты просишь? — он вещал —
Ты жить устал? но я ль виновен;
Смири страстей своих порыв,
Будь, как другие, хладнокровен,
Будь, как другие, терпелив.
Твое блаженство было ложно;
Ужель мечты тебе так жаль?
Глупец! Где посох твой дорожный?
Возьми его, пускайся вдаль...

Лида опустила книжку на колени, долго сидела молча, зажгла Исаеву спичку, когда он кончил разминать папиросу, и сказала очень серьезно и просто:

— А смотрите-ка — ни одного восклицательного знака.

Исаев поднялся:

— Прелесть вы, Лида... До свидания... Пора...

Лида отрицательно покачала головой.

— Нет уж, — сказала она, — один вы никуда не пойдете...

ОПЕРАЦИЯ

Сначала Оленецкая не очень-то обратила внимание на эту телеграмму: ее принесли из секретариата и попросили зашифровать вне очереди, как особо секретную. Она думала о Викторе, ждала каких-то сведений о нем, а Нолмар назначил встречу только на следующий четверг, потому что, сказал он, «следует проявлять максимум осторожности во всем, если мы хотим помочь Воронцову».

Но, вчитавшись в телеграмму, подписанную, как и первая о Викторе, кодовым номером «974», Оленецкая поняла, что эта телеграмма дает ей повод пойти к Нолмару. В телеграмме говорилось: «По сведениям, поступившим из информированных источников, следует предполагать приезд в Ревель трех высших представителей из Лондона для встречи с нашими европейскими торговыми агентами. О месте встречи сообщается, что, вероятно, это произойдет в Нымме, в доме барона Грауерса. 974».

«А зачем ждать вечера? — подумала Мария Николаевна. — Телеграмма такова, что следует рисковать. А может быть, что-нибудь есть от Виктора. Я схожу к нему во время обеда».

— Убежден? — переспросил Роман собеседника. — Не путаешь?

— Я не путаю. С Воронцовым сидел вот этот, — и человек указал на фотографический портрет Пожамчи.

— Вот так фокус... Дядя Коля?..

— Что?

— Ничего... Я встречался с этим человеком. Более того, я его знаю. Ладно. Спасибо тебе, Ян.

В квартире Нолмара раздался телефонный звонок:

— Отто Васильевич, наш знакомый идет по городу.

— Где вы?

— Возле Домской церкви.

— А он?

— Пошел вниз.

— Куда — вниз?

— К городу.

— Стойте там, сейчас за вами приедут.

Нолмар позвонил своим людям в полицию и бросился к машине.

Оленецкая подошла к его дому с текстом исаевской «дезы» через две минуты после того, как он уехал.

— Роман, — услышал резидент в телефоне голос того, кто отвечал за пост наблюдения за Нолмаром, — Карл побежал куда-то, наверное за доктором, очень торопился.

— Бедный Карл, — ответил Роман задумчиво, — ладно, я попробую помочь ему сам.

— А мне что? Идти к тете Линде?

— Нет. Побудь дома, вдруг ты понадобишься... Может быть, кто-нибудь приедет к нашему Карлу.

Второй сигнал был еще более неожиданным. К Роману прибежал Ханс («Сколько раз я его просил не пыхтеть по улице — нет более запоминающегося человека, чем тот, кто бежит», — подумал Роман), организовавший наблюдение за нолмаровской квартирой. Он сообщил, что только что довел до русского посольства женщину, которая довольно долго звонила в пустую квартиру немца.

— Немолодая, лет сорока... Ничего приметного...

— Глаза?

— Серые. Или голубые. Одним словом, светлые.

— Родинки на лице, особые приметы?

— Родинок нет. Губы такие, обыкновенные...

— Сережки? Очки? Сумка?

— О! Сумка была. Коричневая, тоненькая.

— Из чего сделана?

— Сделана из этого... ну... как его... а Африке живет...

— Крокодил?

— Точно!

— Во что одета?

— Коричневая курточка и туфли коричневые. А пряжки золотые.

Коричневую курточку из материала в пупырышках сразу узнали в раздевалке: она принадлежала шифровальщице Оленецкой. На ней были коричневые туфли с «золотыми» пряжками, а раскрытая плоская сумочка крокодиловой кожи лежала на столе в ее комнате.

Простившись с Боссэ возле Вяйке-Карья — Исаев сказал ей, что дальше пойдет к себе на явку проходными дворами, — он юркнул в парадное, вышел на другую, пустынную улицу и неторопливо двинулся к центру.

Эта прогулка с Лидой была разыграна не зря — женщина была маяком для тех людей Романа, которые организовали наблюдение за возможными чужими наблюдателями. Они-то и дали ей условный сигнал, что опасности нет, за Исаевым никто не «топает», только поэтому она его и оставила...

Исаев так строил свои беседы, встречаясь в Ревеле с кадетами и эсерами, что давал им повод присматриваться к себе самым тщательным образом. Легенда его была точной, не подкопаешься: действительно, в девятнадцатом году он семь месяцев служил в пресс-группе Колча-

ка, и алиби его, понадобись, было абсолютно надежным. Он справедливо полагал, что эмигранты после того, как он в первый раз легко ушел от их «наружки», станут в будущем обращаться за помощью. К кому? Это интересовало и Романа и Максима как в связи с возможной изменой в посольстве, так и на будущее. Эксперимент был рискованным. Роман поначалу отверг было его, не считая возможным разрешить Исаеву стать «подсадной уткой», но тот выдвинул свои доводы. Алиби с Колчаком и Ванюшиным — на крайний случай; умение уходить от наружки; надежда на своих людей, которые в критический момент, если он настанет, придут на помощь.

Операция, которую так незаметно, спокойно, исподволь проводили Исаев и Роман, развивалась в трех направлениях. Во-первых, «деза», которая затрагивает интересы немцев (а потом французов и англичан), была «пропущена» через посольство так, что о ней стало известно довольно широкому кругу людей. Если там действительно сидит враг, он обязательно пойдет на срочный контакт со своим руководителем. Во-вторых, поскольку Стопанский утверждал, что дипломата готовили к вербовке монархисты, Исаев повел с ними игру довольно тонкую: он «темнил», позволял думать о себе всякое и по-разному толковать свое поведение здесь, в Ревеле. Он считал, что эмиграция пойдет на контакт с одной из разведок, работавших в Эстонии: у тех возможностей побольше, им легче установить, кто же такой на самом деле Максим Максимович Исаев — представитель кадетского подполья, действующего в России, или же агент ЧК. «Приманка» была рассчитана точно — эмиграция в Ревеле жила без связей с Москвой, поэтому всякий человек «оттуда» был для кадетов и эсеров сущим кладом. Под такого надежного человека можно просить деньги у англичан и французов — под разговоры деньги платить перестали. И наконец, в-третьих, Исаев допускал возможность «промежуточной» связи завербованного дипломата с иностранной разведкой через соплеменников, которые — чем дальше, тем больше — начали захаживать в советское посольство: кто наводил справки о судьбе родных, а кто заводил осторожные разговоры о том, как бы податься назад, на родину.

Во всех трех направлениях поиска чужого агента Исаев намеренно приоткрывал себя. Это был риск, но риск необходимый и оправданный, потому что Ревель стал узловым пунктом, через который наша дипломатия налажи-

вала контакты с Лондоном и Стокгольмом, а присутствие в посольстве чужака ставило под угрозу проведение этих столь необходимых республике акций, целью которых был прорыв экономической блокады.

Исаев помнил слова Кедрова: «Когда разведчик начинает палить из револьвера и бегать по крышам — он кончился, и нет в этом подвига, а лишь одно неумение. Даже если ему грозит провал, он обязан и провал обернуть в свою пользу».

— Максим Максимович, — окликнул Исаева кто-то, очень четко выговаривающий каждую букву в его имени-отчестве, — добрый день.

Исаев неторопливо обернулся: за рулем спортивной машины сидел Нолмар.

— Здравствуйте. С кем имею честь?

— Меня зовут Отто Васильевич. Я торговый атташе Германии.

— Очень приятно, но торговля не по моей части, — ответил Исаев, заметив, как на другой стороне улицы, шагах в двадцати, трое квадратнолицых мужчин деловито разглядывали витрины бакалеи.

— Как знать, как знать, — улыбнулся Нолмар, — вы не согласились бы побеседовать со мной?

— Завтра в пять я буду обедать в «России».

— Господи, — удивился Нолмар, — да разве в наше время можно жить завтрашним днем? Нет, я просил бы вас выкроить для меня время сейчас.

— К сожалению, сейчас я занят, господин Нолмар.

— Ваш отказ только усложнит вашу жизнь на сегодня, да и вообще на ближайшее обозримое будущее, — сказал Нолмар и чуть кивнул головой на тех троих, которые по-прежнему настороженно изучали витрину, и Максим Максимович ощутил напряженное ожидание, сокрытое в затылках этой троицы.

«Надо принимать драку, — понял Исаев. — Звать полицию глупо. А то, что он мной столь стремительно заинтересовался, означает, что мы с Романом на верном пути.

Исаев сел рядом с Нолмаром и спросил:

— Бензину жрет много?

— Что? — не понял Нолмар.

— Я спрашиваю — много ли жрет бензину ваш мотор?

— Спортивные автомобили прожорливы, огромное

сгорание... Восемь цилиндров, что ни говорите.

— А руль? Устойчив? — спросил Исаев и, резко положив руки на баранку, несколько раз крутанул из стороны в сторону.

— Осторожней! — крикнул Нолмар, и лицо его враз побледнело. — Я же могу на тротуар въехать!

Он затормозил около своего подъезда.

— Здесь я живу.

— Хороший дом?

— Теплый — это его главное достоинство.

Они вошли в парадное и стали подниматься по деревянной лестнице. Исаев неожиданно крикнул:

— Ого!

— Что вы? — снова дрогнул лицом Нолмар. — Что случилось?

— Ничего. Проверяю акустику. У нас дома поразительная акустика: консьерж чихнет, а я просыпаюсь.

Нолмар, конечно, не мог знать, что Исаев прокричал свое «ого» для тех, кто сидел здесь рядом, в одной из освободившихся недавно квартир, и имел связь с Романом. Он, подстраховываясь, хотел привлечь внимание (вдруг зазевались) к Нолмару и себе, и он своего добился: Артур Крейц внимательно наблюдал за тем, как лощеный молодой мужчина пружинистой походкой поднимался вместе с громадным Нолмаром.

— Алло, можно Романа?

— Он скоро будет. Что передать?

— Пусть позвонит к тете Розе, она себя очень плохо чувствует, к ней только что пришли на консилиум врачи.

Но Роман мотался по городу, а оставленный им связник не имел права выйти из квартиры. Поэтому сцепление случайностей оставило Исаева один на один с Нолмаром и с теми четырьмя агентами полиции, немцами по происхождению, которые сидели в небольшой спальне, соседствующей с кабинетом, где сейчас беседовали двое. Фонографы были включены агентами полиции после того, как зажглась лампа возле кровати: это Нолмар нажал сигнализацию у себя под столом. Потом загорелись две лампочки возле трельяжа: Нолмар любил изящную мебель. Эти две лампочки означали, что сейчас надо начать секретное фотографирование его самого, беседующего с посетителем, а потом отдельно посетителя: анфас и в профиль.

— Выпить не желаете? — спросил Нолмар.

— Желать-то еще как желаю, — ответил Максим Максимович, — но, увы, не могу.

— Отчего? Язва?

— Отменно здоров. Боюсь, споите. Знаю я вас, дипломатов...

Нолмар придвинул свое кресло поближе к Исаеву и сказал:

— Спасибо, что вы помогаете мне начать беседу без всякого рода необходимых в нашем случае прелюдий...

— Вы что, получили музыкальное образование?

— Просто образование. Оно предполагает определенное знакомство с культурой, которая без музыки невозможна.

— Ну что ж, вашу формулировку я приму, — снова усмехнулся Максим Максимович. — Чтобы не затягивать время: у меня еще есть дела, слушаю вас.

— Даже не знаю, с какого бока к вам подступиться.

— Ну, это, видимо, неплохо.

— Для меня — плохо. Вы не типичны, с вами можно проиграть.

— Или неожиданно выиграть.

— Вы из Москвы?

— Да.

— Можно вопрос?

— Пожалуйста. Да вы смелее! Выйдет так выйдет, а на нет — суда нет.

— «Нет» меня не устраивает. Вы говорили, что письмишко вам Урусов написал в коридоре?

— Именно так.

— Экспертиза показала, что записочка написана на суконном столе. На столе зеленого сукна...

«Верно, — отметил про себя Исаев. — Именно зеленый стол был на той явке, где писал Урусов. Ай да немец!»

— Ну и что?

— Ничего... Маленькая ложь рождает большое недоверие.

— Опровергать вас не входит в мои планы, господин Нолмар. Замечу только, что писать можно в коридоре на бумаге, которая перед этим лежала на столе, покрытом зеленым сукном. Что еще?

— Вам тоже небезынтересно продолжать этот разговор.

— По чьему поручению вы его ведете?

— Это моя инициатива... Теперь второй вопрос: вам известно, что Урусова очень тщательно опекает ЧК?

— Известно.

— Что вы можете сказать о Леониде Юрьевиче?

— Какого Леонида Юрьевича вы имеете в виду?

— Возле Урусова находился один Леонид Юрьевич...

— Ах, этот старик? Бывший его дворецкий? Ничего я о нем сказать не могу.

— Зато я могу вам сказать, что этот его дворецкий был замечен в связях с большевиками еще в тринадцатом году. Так что ежели вы его знаете, то меня удивляет, как вы могли уйти из России без помощи ЧК?

— Ну а если я ушел с помощью ЧК, какие будут вопросы?

— Извините меня, я вас оставлю на мгновение...

Нолмар вышел в соседнюю комнату и показал глазами на руки: «Приготовьте оружие». Один из шпиков протянул Нолмару несколько мокрых еще фотографических оттисков.

Нолмар вернулся и бросил на стол фотографии.

— Если вы пришли с помощью ЧК и не искали встреч со мной, то ЧК, видимо, будут шокировать эти фотографии...

— По-моему, наоборот. Это бы их очень заинтересовало.

— Это если вы их перевербованный агент. А если вы из кадров ЧК?

— Черт его знает... Тут мне судить трудно...

— Мне тоже. Хотя предполагать кое-что я могу.

— Я тоже, — ответил Исаев и поднялся. — Увы, мое время истекло.

— Мое тоже. Поэтому я выдвигаю вам предложение: вы берете ручку и пишете обязательство — форму я продиктую.

— И...?

— Потом рассказываете о ваших связях, явках, задачах, средствах. Засим мы расстаемся.

— Фонографы нашу беседу записывают?

— А как вы думаете?

— Увы, предложения вашего принять не смогу.

— Вы живете на нелегальном положении, у вас возможны неприятности с полицией, и потом — документы... Вы говорили — у вас их нет...

— Отчего вы думаете, что у меня нет надежных документов?

— Так мне сдается? Если бы они у вас были, вам было бы удобнее остановиться в отеле.

— Было занятно познакомиться с вами, господин Нолмар.

В это время в кабинет ворвались четверо полицейских. Двое бросились на Исаева, полезли в карманы — искали оружие, — а двое других держали его за руки.

— Я оружия не ношу, — сказал Исаев, не оказывая ни малейшего сопротивления. — А вот протест я заявляю.

— Ладно, — согласился Нолмар, рассматривая его портмоне, которое агенты сразу же ему передали. Там лежал паспорт РСФСР и разрешение эстонского консульства в Москве на въезд М. М. Исаева в Ревель сроком на шесть месяцев.

Нолмар сунул паспорт в свой карман и сказал:

— Господа, этот человек пытался ограбить меня, угрожая смертью. Я требую его ареста. Я задержал его и обезоружил, и я настаиваю на тщательном разбирательстве этого дела.

— Паспорт верните, — попросил Исаев, — и портмоне.

— У вас не было паспорта, — сказал старший из агентов, — а портмоне, пожалуйста, вот оно.

Его посадили в одиночку. Нолмар уговорился с шефом политической полиции Неуманном, что этот московский агент будет обвинен в попытке грабежа — время на проверку его показаний о выданных в Москве (выданных ли?) документах позволит посмотреть самым тщательным образом за здешней московской агентурой — те наверняка заворочаются, а этого министерству внутренних дел только и надо: месяц назад ЧК арестовала в Москве семерых эстонцев — из их миссии.

— Вам надо будет выменивать своих людей, а советских в ваших тюрьмах, насколько мне известно, нет — закончил Нолмар. — Этот Исаев не может не потащить за собой еще нескольких человек. Вот вы и будете квиты. Гонорар за добрые услуги я не беру, — улыбнулся Нолмар. — И последнее — встречался здесь этот господин с коммерсантом по фамилии Шорохов. План того места, где они виделись, я вам представлю сегодня же, но считайте этот документ вашим секретом.

Паспорт Исаева он эстонцам сейчас не отдал, рассчитывая сохранить этот козырь на будущее, — всякое

может случиться, кто знает... И если «орешек» окажется трудным и Неуманн придет к нему, Нолмару, за помощью, он, Нолмар, потребует за помощь встречные услуги, а это будет весьма серьезная победа, если услуги ему станет оказывать сам шеф секретной полиции Эстонии.

Неуманн сразу же связался с министерством иностранных дел: подстраховка — лучшая гарантия успеха, и попросил консульский отдел запросить соответствующее ведомство в русском посольстве, числится ли некий Максим Максимович Исаев сотрудником каких-либо советских учреждений в Ревеле, и если да, то каких именно, с каких пор, где проживает и кто может дать за него поручительство, поскольку в настоящее время против него возбуждается уголовное дело.

Консул ответил звонившему чиновнику, что справки об Исаеве наводятся.

— Однако мы готовы взять его на поруки, поскольку вы утверждаете, что он является гражданином РСФСР, — добавил консул.

— Значит, он лицо официальное? — спросил чиновник МИДа.

— Мы наводим справки.

— Господин консул, я уполномочен получить от вас официальный документ. Лишь это даст нам возможность предпринять какие-либо шаги в установленном международным правом порядке.

— Ну что ж, давайте решать этот вопрос в обычном порядке, — согласился консул, — в конце концов вопрос об этом человеке подняли вы, а не мы.

С Виктором Кингисеппом, членом подпольного ЦК, Роман встретился уже под утро.

— Они взяли Максима, — сказал Роман. — Я опоздал. Я не думал, что он с первого раза попадет в яблочко своей «дезой».

— Я его хорошо знаю... Славный парняга. Он работал в инотделе. По-моему, с Кедровым, а потом с Бокием.

— Я-то с ним познакомился только здесь.

— Кое-что мне уже рассказали наши товарищи: его сработал немец. Зачем он пошел на контакт с ним? Это же риск.

— Он знал, кто такой Нолмар и как он нам интересен. И потом он попал в такое положение, когда не мог уйти от разговора. Так или иначе, нам бы пришлось

заниматься Нолмаром... Виктор, может понадобиться хороший адвокат.

— Адвоката подберем, Эрик Лахме, ты, наверное, слыхал о нем. Поищем подступы и к тюрьме...

— Я уже кое-что в этом направлении предпринимаю. Я опасаюсь только одного — беру худший вариант... В случае провала, если они установят нашу с тобой связь, начнется мировой скандал — эстонские коммунисты выполняют задания Москвы...

— Эстония связана с Россией общностью революции — ты знаешь нашу позицию в этом вопросе. Эстония была колонией России, но мы стали республикой после революции в Питере. Тут двоетолкований быть не может, и не надо, пожалуйста, оглядываться ни вам, ни нам на всякого рода сволочь — так мы подменим идею межгосударственным политиканством.

— Эрик — дорогой адвокат?

— Наших товарищей он защищал бесплатно.

— То ж ваши, — сказал Роман. — А этот наш. Это я к тому, что о деньгах вопрос не станет.

— Надеюсь, — усмехнулся Виктор хмуро, одним ртом. — От нас связь с тобой будет держать товарищ Юха.

— Хорошо. Спасибо.

— Не надо торопиться с признанием Исаева советским подданным — это крайний случай, если мы не сможем его вытащить иным способом. Им бы очень хотелось получить признание Москвы... Попробуем не дать им этого козыря. А на Исаева, я думаю, можно надеяться — он товарищ крепкий и, помнится мне, с юмором.

— Теперь последнее: мне нужны все данные о Неуманне.

— Август Францевич, — сказал Неуманн своему старому сослуживцу Шварцвассеру, — у меня к вам разговор... Как поживает ваш строптивый русский литератор? Что с ним?

— Никандров? После того как он покушался на побег и чуть не угрохал меня канцелярским предметом — помоему, в инвентарной описи у нас так значится чернильница, — он сидит в карцере. Была еще одна попытка: нападение на конвоира, тот, сопротивляясь, помял его несколько, хотя и сам пострадал...

В разговоре друг с другом они никогда не снисходили до того низкопробного цинизма, который отличал

тюремщиков и рядовых сотрудников следственного аппарата политической полиции. Те говорили в открытую, смаковали детали, вышучивали поведение арестованных и с какой-то обостренной жестокостью ждали случая, когда можно будет подвергнуть того или иного человека утонченному моральному унижению.

Неуманн как-то сказал Шварцвассеру:

— Знаете, в чем высокий трагизм политика? В том, что, выстраивая линию, намечая кардинальные повороты в международных делах или внутри своей страны, он оперирует теоретическими догмами. Вопросы практики низменны, и не стоит ему даже видеть их или знать — это удел исполнителей. На них в конечном-то счете можно возложить вину в случае неудачного эксперимента, а для этого им надо позволить полную свободу действий в русле его, политика, замысла. Это, и только это, даст возможность политику смотреть в глаза своим согражданам чистым взором и не знать за собой личной вины за содеянное.

Этот разговор произошел в самом начале их совместной работы в политической полиции, когда надо было начинать все наново после предоставления Кремлем независимости эстонскому государству. До революции Шварцвассер и Неуманн работали в департаменте русской полиции и, естественно, как никто, знали всю слабость этой организации, которая «заземлила» себя, низвела — стараниями политиков, делавших ставку на государственный абсолютизм, балансированием между черносотенцами и умеренными либералами — до некоего регистрационного бюро, улавливавшего настроения общества.

— Это не для нас, — говорил тогда Неуманн. — Мы должны пойти — поначалу конечно же — на поводу у обывателя, который падок до секретных агентов, раскрытых заговоров и скандальных процессов. После того как мы настроим обывателя, станем на путь европейской законности.

За нами — линия, за нашими исполнителями — проведение в жизнь этой линии. А нигде не оседает так много черни самого низкого пошиба, как в нашем ведомстве: в этом залог нашей удачи и возможной трагедии одновременно. Мы должны разрешать нечто неизвестное нам жестокое ни письменно и ни словесно, но лишь закрывая глаза на это, увы, необходимое жестокое и кровавое. Я сказал про это лишь вам, и повторять этого я

не стану, и лучше нам с вами это сказанное мною сразу же и позабыть. Давайте нести крест свой молча, мы некое промежуточное звено между политиком и тюремщиком. Мы знаем все, но знать нам всего не надо — стоит об этом уговориться раз и навсегда и принять обет, тяжкий, но необходимый...

И сейчас, когда зашел разговор о Никандрове, Шварцвассер изучающе посмотрел на Неуманна: открыв в себе призвание литератора, он стал отдаляться от старого знакомца — внутренне, конечно, потому что внешне их отношения были ровными и доброжелательными. Почувствовав в себе дар рождать сюжет, придумывать историю, вызывать к жизни из темной пустоты некую ощутимую им самим реальность, он начал испытывать чувство превосходства над теоретизирующим, аккуратным Неуманном. Один раз он поймал себя на мысли, что Неуманн не та фигура, которая может и дальше возглавлять политическую полицию Эстонии. «Он сам говорил мне о русской заземленности, а его линия так же заземлена и лишена какой бы то ни было дерзости, — думал порой Шварцвассер. — Он забыл свои слова о том, что сначала надо пойти за обывателем... Он вообще ни за кем не идет, он топчется на месте, он боится что-либо предпринять, он лишь пытается локализовать содеянное врагом...»

— Каково моральное состояние Никандрова?

— Он занимает вас с точки зрения делового использования? — поинтересовался Шварцвассер.

— Да.

— Пожалуйста! Только хотел бы просить вас — заберите его у меня вовсе: я потерял к нему интерес...

— Нет, забирать у вас этого человека я не вправе, — ответил Неуманн, отлично понимая, отчего Шварцвассер с такой легкостью отдает ему избитого, замученного литератора, которого так или иначе надо куда-то списывать — и сделать это предстоит Шварцвассеру, а Неуманн брать на себя эту выбракованную работу никак не хочет. — Я думаю, что после отдыха в хорошей камере он может измениться.

— Боюсь, что интереса он во мне не вызовет, — мягко возразил Шварцвассер, — я его просто-напросто боюсь.

— Тогда лучше освободить его, — так же мягко ответил Неуманн, прекрасно понимая, что Шварцвассер на это пойти не может: русский не преминет написать в га-

зеты, как с ним здесь обращались. Неуманн понимал, что русский обречен: либо он должен погибнуть в тюрьме, либо ему предстоит стать его «другом».

— Я готов, — ответил Шварцвассер, — освободить его хоть сейчас, если вы санкционируете освобождение.

— Поскольку не я санкционировал его арест, — сколько помнится, я разрешил лишь превентивный арест Воронцова, — я не вправе разрешать или запрещать вам отпускать его. Впрочем, мое разрешение вообще-то сугубо формально: если я числюсь шефом политической полиции, то вы по праву считаетесь ее светилом.

— А как мы оформим его передачу вам? — спросил Шварцвассер, поняв, что сейчас он проиграл. — Написать прошение?

— Бог мой, при наших-то отношениях — и такая пустая казуистика? Достаточно вашего устного согласия, а я вижу по вашим глазам, что вы мне это согласие дали.

— Присаживайтесь, господин Исаев, — предложил Неуманн легким кивком головы. — Я руководитель политической полиции.

Наступила пауза, которой Неуманн не ждал. Он рассчитывал, что русский сразу же заявит ему протест, но Исаев, чуть покачивая левой ногой, легко переброшенной на правую, тяжело разглядывал Неуманна и молчал, смешливо двигая кончиком носа, словно ему чесали соломинкой ноздри.

— Я хочу быть с вами предельно откровенным...

— Обожаю откровенность.

— Не паясничайте, ваше положение не дает вам повода вести себя так.

— Меня удивляет, отчего слово «паясничать» в русском языке несет отпечаток презрительной снисходительности. Леонкавалло назвал свою оперу о честности и любви — «Паяцы». Не будьте «паяччо» — это звучит уважительно, а «не паясничайте» — презрительно. Вы не задумывались, отчего так?

— Не задумывался, — ответил Неуманн, решив «пойти» следом за русским — иногда это приводило его к успеху. — Отчего же?

— Оттого, что русские баре составляли из своих крепостных театры, аплодировали им, когда те были на сцене, но за провинность били их розгами на скотном дворе. Я думал, что это свойственно только нашим барам, но, оказывается, вы заражены этим же.

— Не забывайтесь!

— Я позволил бестактность? Приношу извинения...

— Послушайте, Исаев, я предпочел бы иметь вас другом. Увы, жизнь свела нас противниками. Против вас я имею трех свидетелей, которые показывают, что Нолмар застал вас в своей квартире и обезоружил, причем револьвер не зарегистрирован, и, главное, у вас отсутствуют документы, а вы иностранец...

— Плохо.

— Что? — не понял Неуманн.

— Я говорю, плохо мое дело...

— Да. Ваше дело очень плохо... Мы не большевистская диктатура, мы обязаны исповедовать демократию во всем, а прежде всего в судопроизводстве. И здесь обнаруживается самый опасный контрапункт нашей партии: можно ли мне вывести вас на открытый процесс, поскольку институт закрытых процессов у нас невозможен? Все станет ясно после того, как я получу ответ на запрос, посланный консульским отделом МИДа в ваше посольство: действительно ли вы гражданин РСФСР или самозванец, темная личность, за которую никто не захочет дать никакого поручительства.

— Третье решение невозможно?

— Это предложение должно исходить от вас.

— Когда я смогу получить обвинение?

— В свое время.

— Могу я потребовать встречи с адвокатом?

— Я рассмотрю это ваше устное ходатайство.

— Хреновое дело-то, а? — улыбнулся Исаев.

— Простите? — снова переспросил Неуманн.

— Я говорю, хреновое дело, господин Неуманн. «Хреново» — вульгаризм, это синоним «плохо».

— Увлекаетесь филологией?

— Филология необъятна. А сравнительную семантику люблю... Позвольте уйти?

— Да. Вы свободны.

— Совсем? Тогда подпишите пропуск.

— Милый вы человек, — вздохнув, улыбнулся Неуманн. — Какого черта вы полезли в наши дела? Я недюжинных людей отличаю сразу — видимо, потому, что сам посредственность... Вам бы в сфере художеств подвизаться, а вы туда же... В разведке недюжинные натуры гибнут, ибо они подобны мотылькам, которые тянутся к светильнику. Будущее разведки определит наука.

— Каким образом?

— Хотите заполучить мои секреты? А вдруг сбежите?

— Тюрьма у вас довольно надежно охраняется, и потом меня держат, как я понял, в специальном отделении?

— Верно.

— А секреты, что ж... За них платят хорошо, за серьезные-то секреты.

— Скажите на милость... Предложение небезынтересное... А я думал, вы станете пугать меня неминуемостью гибели эксплуататоров, диалектикой...

— Ну что вы, господин Неуманн, я же не моряк.

— Из бывших моряков среди красных русских в Ревеле мне известен лишь один.

— Кто же?

— Господин Шорохов. Он, верно, потому так любит бродить по земле, что лучшие годы отдал морской стихии.

— Бедный Шорохов...

— Отчего же «бедный»? У него интересная работа.

— А какая у него работа?

— Разная, Исаев... Разная... Как с питанием? Претензий нет?

— Нет.

— Капуста не червива?

— Вы же не станете питать меня пончиками.

— Все зависит от вас.

— Я начинаю чувствовать себя всемогущим.

— Ближе, Никандров. Еще ближе. Не тряситесь, я не собираюсь вас бить, если только вы не станете кидать в меня чернильницу.

Лицо Никандрова задрожало.

— Ну, ладно, ладно, что было, то прошло. Я вызвал вас для приятного разговора. Успокойтесь, пожалуйста.

— Я совершенно спокоен... Я благодарен за ваши добрые слова... Поэтому я разволновался. Спасибо, низкое вам спасибо... Я верил, я ждал, я был убежден, что весь этот кошмар кончится...

— Он может кончиться очень быстро, если вы поможете себе.

— Как же я могу помочь себе? — Никандров снова заплакал. — Я тут стал животным, трусливым животным... Как охотничья собака у злого егеря, который забивает ее до того, что она все время ходит с поджатым хвостом.

— У меня есть племянница, — заметил Неуманн, — она еще совсем маленькая. Когда мы с ней гуляем и она недовольна моим замечанием, она всегда говорит мне: «Неверно сказку сказываешь». Неверно сказку сказываете, Никандров. Человек обязан ощущать себя человеком! Всегда, в любых жизненных обстоятельствах, ведь «человек — это звучит гордо»!

— Спасибо вам... Господи, услышал ты мои слезы...

— Слезы Господь может увидеть· услыхать он может рыдания, — поправил его Неуманн и поймал себя на мысли, что так бы, вероятно, сказал Исаев. — Постарайтесь меня понять верно, Никандров. Мы переведем вас в другую камеру, там будет сидеть ваш соплеменник, тоже русский.

— Счастье! Счастье-то какое! Я уж начал со стенами разговаривать, с нарами, с решеточками на окне...

— Ну, вот видите... Вас будут выводить гулять вместе с арестованными, там, правда, коммунисты гуляют, но вы уж с ними не ссорьтесь. Люди они интеллигентные, милые, но заблудшие, однако «блажен заблудший, он помогает остальным идти верным путем»! А ваш сосед прогулок лишен. Он может спрашивать вас: «С кем гуляете?» — потом вдруг попросит вас о какой любезности. Вы ему не отказывайте, а о его просьбах скажите мне.

— Вы предлагаете мне стать провокатором?

— Только извольте не трепетать крыльями. Во-первых, я могу свое предложение снять и вернуть вас в одиночку, где вы так минорно говорите со стенами, нарами и решеточками. А во-вторых, сидите вы в тюрьме именно из-за этого русского.

— Я сижу в тюрьме из-за произвола, творимого нечестными людьми!

— Будем считать, что наш разговор не получился, Никандров. Я имею вам выразить мое сострадание...

— Почему все так жестоки?! Господи? Почему?!

— Я жесток? Я, положивший столько труда, чтобы договориться о вашем освобождении?! Вас обвиняли в шпионаже! В пользу красных! Я опровергал это, сколько мог! А теперь я убедился, что был безмозглым ослом! Если вы не можете рассказывать мне, о чем говорит чекистский агент, большевик, если вы отказываетесь помочь нашей борьбе с теми, кого вы раньше клеймили душителями прогресса и разума, а здесь берете под свою

защиту, — мне все ясно стало, Никандров. Вы — кремлевский наймит!

— Вы же сами не верите тому, что говорите.

— А если верю? — спросил Неуманн. — Тогда что?

По субботам Неуманн уезжал на свою маленькую мызу, он купил ее в излучине речушки Пэрэл. Стоила мыза дешево: в первые дни после октябрьского переворота немцы, жившие в Эстонии, продавали недвижимость за бесценок.

Домик был сделан на прусский манер: стены оклеены полосатыми обоями, кухонька выкрашена густой масляной краской, и даже подоконники обернуты цветными клееночками.

Неуманн привез туда свою жену и старшую дочь; им дом понравился, и они умоляли его ничего здесь не переделывать.

— Тут чисто и уютненько, — говорила жена, фру Элза. — Умерь свои неуемные фантазии, Артур.

— Мои милые прелестницы, — ответил Неуманн. — Я старый подкаблучник, но поверьте — я сделаю все так, что вам здесь понравится еще больше.

— Па, но ты же обещал купить мне мерлушку...

— Я куплю мерлушку, моя злюка... Я здесь буду все делать сам. Кто я — внук лесничего или белоручка?!

— Артур, но твои фантазии, — сказала фру Элза, — не должны отражаться на бюджете семьи!

— Хорошо, любовь моя! Ни одной марки из нашего бюджета не пойдет на реконструкцию. Я сокращу курение и летом не поеду в Пярну.

С тех пор вот уже пять лет Неуманн занимался перестройкой этой мызы. Свой первый отпуск он потратил на то, чтобы ободрать обои, снять линолеум, обить штукатурку в зале. Неуманн старался все делать сам — только изредка к нему приходил рыбак Лахме, и они сидели при керосиновой лампе, играли в подкидного дурака и обсуждали, где достать хорошую сосну и как по-настоящему заморить дубовые балки, чтобы потом пустить их по потолку на веранде.

Сейчас мыза была почти готова. Неуманн ничего не стал делать снаружи: домик казался по-прежнему стареньким и покосившимся. Но внутри все изменилось: на веранде он сам сложил камин из валунов, привезенных с моря; на кухне теперь были прокопченные черные балки и ярко-желтые доски, проолифленные трижды.

Это великолепно гармонировало со старинными медными кастрюлями и сковородками, развешанными на печке, сложенной из грубого кирпича.

Неуманн приезжал сюда каждую субботу, устранял недоделки, которые были не заметны никому иному, кроме него самого, а белые ночи проводил на реке — ловил форель. Здесь не было хуторов, и он чувствовал себя один на один с природой в этом громадном, тихом, замшелом сосновом бору.

Здесь ему было спокойно и радостно: отходили все будничные заботы. Неуманн понял совершенно ясно, что шеф политической полиции никогда не станет государственным деятелем — министром или парламентарием. Дорвавшись до этого поста, он поначалу был в упоении и лишь по прошествии лет начал отдавать себе отчет в главной ошибке — какие-то посты в служебной лестнице, если всерьез думаешь о карьере, стоит перескакивать. Поняв, что его «прочность» в полиции сыграла с ним дурную шутку, отрезав путь к высокой политике, Неуманн решил навечно остаться «первым инквизитором». Это возможно было лишь в том случае, если работа его будет четкой, незаметной, быстрой, но не суетливой и обязательно тихой — без скандалов и газетной шумихи. Поэтому, отладив работу аппарата, «заземлив» его, наперекор своим первоначальным планам, Неуманн добился определенной стабильности во всех звеньях своего ведомства, и беспокоиться ему практически было нечего — он полагался на своих помощников, а те дела, которые решал вести сам, должны были быть хоть в какой-то мере с изюминкой. Тут и ошибка простится и успех будет заметен.

...Солнце по ночам не сходило с небосвода; только в полночь лучи его делались бесцветными, невесомыми, а оттого размыто-нежными, легкими, земными.

Неуманн научился подкрадываться к бочажинам. Он видел, как, замерев, стояли на самой поверхности громадные рыбы — недвижные и литые, как и вода. Он мог подолгу любоваться этими замершими рыбами и ничуть не огорчался, если форель вдруг исчезала, оставляя после себя медленные круги.

А когда ему удавалось забросить крючок с двумя нанизанными на него червями прямо перед носом форели и та мгновенно заглатывала наживу, Неуманн вытаскивал тяжелую рыбу, ощущая грань легкости и тяжести ее в воде и воздухе, и долго любовался форелью, а

потом, завернув ее в лопух, складывал в рюкзачок и шел дальше — к порогам.

Возле порогов он разводил костер и, натаскав сухих еловых лап, ложился спать до утреннего жора.

Но в это утро он просыпался нехотя — ему снилось, что кто-то теребит его за плечо, и ему не хотелось открывать глаза, а когда он все-таки глаза открыл, то увидел двух людей, сидевших возле него на корточках, и страшное предчувствие беды охватило его.

— Сядьте, — сказал Роман, — у меня к вам дело.

— А что, собственно, случилось? — спросил Неуманн и удивился своему голосу. — Кто вы, господа?

— Сядьте! — повторил Роман. — И слушайте внимательно. Вы согласны помочь Исаеву?

— Как я могу это сделать?

— Это мы скажем — как... Сначала ответьте: вы согласны?

— Я никогда не преступал служебного долга.

— Если вы откажетесь помочь, Исаеву может грозить смерть. У нас нет иной возможности спасти друга. Поэтому ваш отказ помочь будет равнозначен двум смертным приговорам: Исаеву — в тюрьме, вам — здесь!

— Вы с ума сошли! Я представитель закона!

— Я повторять два раза не намерен, Неуманн, — сказал Роман и посмотрел на Юха. Тот, видимо, понял его, потому что рывком поднялся с земли и ударом в шею опрокинул Неуманна. Тот протяжно, по-заячьи заверещал, а Юха, сев на него верхом, заломил ему руки за шею и спросил, обернувшись к Роману:

— Кляп готов?

— Не нужен кляп. Ударь его в висок, и оттащим в реку...

— Я сделаю! — прохрипел Неуманн, увидавший явственно и до жути ощутимо свою мызу, медные сковородки на стенах, тяжелые дубовые балки и мягкий свет сумерек в ровных квадратах окон.

— Пусти его, — сказал Роман.

Неуманн сел, тяжело дыша. Роман протянул ему бумагу и ручку.

— Пишите, — сказал он, — и чтобы не было фокусов с почерком, у меня есть образцы ваших реляций — я сличу.

— Что писать?

— «Я, Неуманн Артур Иванович, обязуюсь сотрудничать с резидентом ЧК в Эстонии Павлом». Подпи-

шитесь внизу. Это раз. Теперь дальше: «Сообщаю, что секретарь комфракции Пауль Раудсепп будет перевезен в Раквере, где его намереваются убить в лесу при попытке к бегству. Дату перевоза Раудсеппа я постараюсь выяснить у Плоома, который, вероятно, будет в курсе событий. Артур».

— Я не стану...

— Станете, — тихо сказал Роман.

— Что еще?

— Пишите: «Исаев поступил в мое ведение. Нолмар через свою агентуру настаивает на том, что он является русским нелегалом в Ревеле. Артур». Дальше: «Мною, Неуманном Артуром Ивановичем, получено от Павла 3000 (три тысячи) французских франков». Подпишитесь своим именем.

Роман спрятал эти документы в карман, придвинулся к костру, погрел руки и сказал:

— Теперь о том, что вы должны будете сделать... Исаев попросит у вас врача, поскольку у него начнутся сильнейшие боли в позвоночнике... И вы переведете его в больницу, как человека недвижимого, у которого отнимаются ноги. Естественно, вы сделаете это лишь после заключения экспертов о его нетранспортабельности — чтобы соблюсти ваше реноме... Поскольку теперь вы — мой агент, ваше реноме будет соблюдаться вдвойне тщательно, обещаю вам это совершенно твердо.

— Я не могу держать его в больнице без охраны.

— Поставьте охрану.

— Я не убежден, что ваши люди смогут взять его оттуда — охрана в достаточной мере натренирована...

— Если мы не сможем взять его — к вам претензий не будет. Конечно, коли вы захотите устроить засаду, чтобы угробить наших людей и через них выйти на меня, — тогда другое дело... Во-первых, мы живем не в семнадцатом веке и ваши расписки сегодня же уйдут за кордон; во-вторых, если, несмотря на это обстоятельство, вы все же рискнете на пакость — я не поставлю за вашу жизнь и ломаного гроша: у меня иного выхода нет. А это вот, — Роман протянул Неуманну деньги, толстую пачку марок, — возьмите, первый гонорар, и, надеюсь, не последний.

Неуманн осторожно положил деньги в карман — будто змею прятал.

— Теперь умойтесь, и будем обговаривать детали...

Неуманн пошел к реке: сгорбленный, постаревший

на десять лет, жалкий и до странности маленький ростом, раньше он казался Роману значительно выше.

— Не утопится? — шепотом спросил Юха.

Роман молча покачал головой и, сорвав травинку, начал неторопливо ее покусывать.

А. О. Альскому.

т. Альский! Приняты ли меры ускорения и усиления работы Гохрана?

Мобилизации коммунистов?

Итог: через сколько месяцев и что именно будет сделано? Вы виноваты будете, если вопрос будет «застревать», ибо в подобном случае Вы должны обжаловать быстро, довести до высшей инстанции, т. е. до Политбюро.

Но быстро.

Летом надо воспользоваться, а Вы прозеваете лето: предупреждаю, что всецело на Вас ляжет ответственность. Торопите и жалуйтесь мне (насчет СТО) и в Политбюро, если я не компетентен.

Ленин.

Проект директивы насчет работы СТО и СНК, а также Малого СНК

...Недоверие к декретам, к учреждениям, к «реорганизациям» и к сановникам, особенно из коммунистов; борьба с тиной бюрократизма и волокиты проверкой людей и проверкой фактической работы; беспощадное изгнание лишних чиновников, сокращение штатов, смещение коммунистов, не учащихся делу управления всерьез, — такова должна быть линия наркомов и СНКома, его преда и замов.

Ленин.

РАЗВЕДКА БОЕМ

Ночью в камеру к Исаеву перевели Никандрова. В слабом, неровном свете лампы, забранной металлической сеткой, лицо сокамерника показалось Исаеву отдаленно знакомым, но расспрашивать он его ни о чем не стал, понимая, что к нему этого человека подсадили неспроста: Неуманн затеял серьезную игру и баловать «подопечного» соседом просто так в его задачу, понятно, не входило.

«Посмотрим, как работают здешние наседки, — подумал Исаев, укрываясь одеялом, — это тоже интересно».

Утро он начал с гимнастики. Занимался он гимнастикой изнурительно, до обильного пота, но сегодня старался не шуметь, прыгал только на мысочках и отдувался вполсилы: сокамерник еще спал. Вообще-то Исаев ненавидел гимнастику. Он считал, что пешие и лыжные прогулки, поездки на воды и верховая езда никак не могут гарантировать человека от падения на голову куска штукатурки или отравления угарным газом, но здесь, в тюрьме, гимнастика необходима как «инструмент дисциплины».

— Потом воняет, — услыхал он хрипловатый голос.

— Пот не дерьмо, можно перетерпеть, — ответил Исаев и обернулся. — Во-первых, вставайте, граф, вас ждут великие дела, а во-вторых, давайте знакомиться. Максим Исаев.

— Леонид Иванович Никандров.

— Не может быть! Тот самый?

— Какая разница... Тот — другой...

— Разница огромная. Понимаете, мне здесь не дают книг. Только Библию...

Никандров перебил его:

— А что Библия? Не книга, по-вашему?

— Дослушай — после казни! Так, кажется, у древних?

— Если бы вы всегда исповедовали эту истину.

Исаев расхохотался. Он смеялся долго — для того, чтобы сэкономить время на раздумье. «Значит, — думал он, — Неуманн сказал несчастному писателю, откуда я. Они его, видимо, переломили на деле Воронцова и подсадили ко мне...»

— Про меня несколько позже, Леонид Иванович. Поднимайтесь, попробуйте помахать руками, потом я сделаю вам массаж, и начнем наш реферат.

— Вы сумасшедший?

— Да. А что? Задирайте рубаху, исполню вам массаж, но завтра все равно заставлю делать ногодрыганье и руковерченье.

Исаев сел на краешек нар, возле плеча Никандрова. Тот в ужасе от него отодвинулся — не смог скрыть тяжелой, испуганной ненависти.

Исаев покачал головой и тихо, очень дружелюбно сказал:

— Леонид Иванович, вам следует завязать со мной добрые отношения.

Никандров рывком сел. Потер мятое лицо свое большой, исхудавшей пятерней, словно отгоняя наваждение, и спросил:

— Зачем? Почему я должен завязывать с вами добрые отношения?

— Не кричите... Стражники рассердятся, задирайте рубаху. И на пузо, извольте.

В девятнадцатом, когда Исаев был офицером в пресс-группе Колчака, он попал в плен к партизанам. Он не имел права открываться даже своим. Да и откройся, кто б поверил. Поэтому, крепко отлупив «белого гада», партизаны бросили его в сарай, но под утро завязался бой с подошедшим бронепоездом адмирала, об Исаеве в пылу схватки забыли, и утром, после крепкого чая с водкой, его растер поручик Курочкин — из конных каппелевцев. Массаж сделал он мастерски, и с тех пор Исаев поверил в волшебство этого врачевания. Однажды, смеясь, сказал Бокию: «Глеб, я могу перевербовать любого стареющего разведчика на каппелевском кавалерийском массаже».

Он долго растирал Никандрова, и тот уснул со странной, тихой улыбкой на лице.

После завтрака Исаев сказал:

— А теперь давайте — до обеда дискуссия.

— У меня прогулка до обеда...

«Бедненький, — усмехнулся Исаев, — все ясно. Ему поручили установить для меня связь. Им важно узнать, кого я хотел бы здесь найти и как связаться с волей».

— Прогулка прогулкой, а лежать все время грех. Поднимайтесь. И давайте дискутировать стоя. Вы знаете новую теорию медицины? Нет? Если человек будет стоять по восемь часов в сутки, он гарантирует себя от язвы, геморроя и атрофии простаты.

— Дайте мне спокойно лежать...

— Не дам!

— У меня ноги болят...

— Перестанут! Поднимайтесь!

Никандров поднялся, отошел к стене.

— Вот так, — одобрительно заметил Исаев. — Очень хорошо. Итак, мы начинаем! Работая в пресс-группе покойного адмирала, я передавал телеграфом корреспонденции, которые сразу же шли в номер. Стремительность войны предполагала стремительность языка. Библия — это история, отсюда краткость, сжатость и афористич-

ность языка. Вы заметили, никогда язык не бывает так сочен и емок, как в минуты наивысшего напряжения, когда на карту поставлена жизнь? Вспомните прошлый век: описательство — первооснова традиции. Но мир устал от расплывчатости, мир требует конкретики. В этом кроется громадная опасность для человечества, ибо конкретность зиждется на утилитаризме, на однозначной рецептуре, на едином гребешке для всех: платформа Бенито Муссолини в этом смысле поразительный образчик возможного будущего. Однако революция в обществе, вызвавшая к жизни — пусть пока еще невидную — революцию в производстве, науке и технике, неминуемо поставит к барьеру и литературу. Прежняя литература кончилась...

— Тьфу! — сказал Никандров. — Тьфу! Да никогда не кончится литература! Никогда! Противно слушать. Все вроде бы рядом с правдой, а ложь! Как может кончиться наша литература, коли она всегда страдала народными страданьями?!

— Браво! Именно это я и хотел от вас услышать. Жить страданием народа — значит быть внутренне честным, да?

— Именно.

Исаев подошел вплотную к Никандрову и сказал:

— Вы убеждены, что имеете право говорить о честности литератора после того, как вас подсадили ко мне? — Он не давал Никандрову опомниться. — Что он вам велел сделать? С кем вы должны повидаться на прогулке?

— Вы говорили со мной, зная обо всем?

— Догадывался.

— Значит, вы... Значит, вы играли со мной?

— Это Неуманн играет с вами. А для меня вы были, есть и остаетесь Никандровым, — грустно сказал Исаев. — Если устали, можете полежать десять минут. Проклятая российская черта — сострадать На Западе враг есть враг. А мы и во враге, злодее, колупаемся. А то, что российская литература никогда не кончится, — об этом спору нет, это я дразнил вас. Скоро вас на прогулку выдернут... Там к вам, наверное, кого-то подсунут, будет с вами «товарищ» говорить и просить мне весточку передать. Это их человек... Скажите, завтра возьмете... И Неуманну об этом доложитесь.

Никандров вздохнул:

— Никогда не думал, что это такое счастье: гово-

рить — пусть даже с врагом — на хорошем русском!

— А вы поверили Неуманну, что я враг?

— Коли вы из ЧК, так кто ж вы мне? Друг, что ли?

— Ну а если я офицер Колчака, тогда кто я вам?

* * *

Наркомвнешторг, Лежаве[1]. Вчера в посольство для встречи с совторгпредом приехал глава ювелирного концерна Маршан. Он заявил, что после того, как его представителя посетил русский оценщик бриллиантов, коего он знает по прежним операциям, его концерн готов вступить с ним в деловые отношения. Смысл внесенного Маршаном предложения заключается в том, чтобы Пожамчи отобрал и привез в Ревель драгоценности — из реестра уникальных. «Пожамчи должен подобрать для нашего концерна те бриллианты и сапфиры, которые позволят мне, несмотря на риск, предложить вам продукты питания: хлеб, масло, растительные жиры и мясо, а также некоторые промышленные товары. Вы должны понимать, что все ювелиры мира бойкотируют вас, однако я иду на риск, учитывая наши взаимные перспективные интересы».

На предложение купить драгоценности Маршан ответил отказом, мотивируя это тем, что он не может нарушить корпоративного уговора — бойкотировать наши драгоценности на мировой бриллиантовой бирже. На мой вопрос, каким образом, в таком случае, он сможет поставить нам продукты питания и как мы обозначим идентичность стоимостей, Маршан ответил, что это все будет решено в Ревеле после того, как он посмотрит бриллианты, подобранные Пожамчи. «Ни с одним из ваших оценщиков я дел иметь не стану, ибо Пожамчи выдающийся спец в этой области и пользуется большим авторитетом на Антверпенской бирже драгоценностей». Он сказал также, что продукты и промышленные товары, которые он может нам предложить, будут куплены им через вторых и третьих людей в Швеции. Прошу решить вопрос об откомандировании Пожамчи с бриллиантами в Ревель для закупки продуктов питания.

Шорохов.

[1] Расстрелян в 1937 г. — *Ю. С.*

НКФин. Замнаркома т. Альскому

Уважаемый товарищ Альский!

Прошу вас запросить в Гохране характеристику на Н. М. Пожамчи, с тем чтобы — в случае положительной оценки его работы — использовать его по линии НКВнешторга. Продолжающиеся срывы наших переговоров с французскими и голландскими, а также английскими фирмами; острая необходимость в получении оборотных средств для закупок в Швеции и Германии паровозов, плугов и оборудования для строящихся электростанций выдвигают этот вопрос в число первостепенных.

С товарищеским приветом замнаркомвнешторг

Лежава.

Лежаве от Альского (НКФин).

Характеристика на Пожамчи есть в его личном деле, находящемся у вас, так как он уже командировался в Ревель.

В управление кадрами. Прошу оформить выезд в Ревель Н. М. Пожамчи по линии нашего наркомата.

Лежава.

КЛЮЧ В ПАРИЖЕ

Бокий доложил Дзержинскому о провале Всеволода Владимирова через десять минут после того, как получил сообщение Романа.

Дзержинский молча расхаживал по кабинету, отпивая чай из высокого тонкого стакана. Он любил Всеволода, как, впрочем, и все те, с кем Всеволод работал. Правда, Василий Морковец, которого все знали как несколько суховатого, но знающего человека, постоянно подчеркивавшего свое батрацкое происхождение, испытывал к Владимирову чувство неприязни, которую не считал нужным скрывать.

— Почему вы не любите его? — спросил как-то Бокий.

Израненное лицо Морковца перетянуло гримасой удивления:

— А какое все это имеет отношение к работе?

— Прямое.

— Знаете, я с пацанства терпеть не мог любимчи-

ков, а Владимиров ко всем влез; изящен, спору нет, умен... Не люблю я тех, кто со всеми норовит быть товарищем.

— Смотреть исподлобья лучше?

— У вас есть какие-нибудь конкретные пожелания, Глеб Иванович? Я готов их выполнить...

Бокий разговора продолжать не стал, но при встрече с Дзержинским заметил:

— Мне делается страшновато, когда я вижу, как Морковец растет у себя в управлении. Недобрый он человек.

— Работник неплохой, — пожал плечами Дзержинский, — если будет заноситься — одергивайте. Хватка у него мертвая, такие тоже нужны. Его отношение к Всеволоду понятно: посредственность обычно противостоит талантливости и не очень-то ее жалует...

...И сейчас, молча расхаживая по кабинету, Дзержинский отчего-то все время возвращался к этому разговору с Бокием, который был у них давно, с год назад, если не больше.

— Брать его из госпиталя, — говорил Дзержинский, — дело рискованное. Они уберут его, как только почувствуют опасность. Кто из эстонских разведчиков у вас арестован? Серьезные люди есть?

— Пока говорить трудно. Но, по-моему, серьезных людей нет... Спекулянты...

— Видимо, Всеволода обыграли немцы... Либо они поняли, что потеряли шифровальщицу, либо в связи с этим же делом Всеволод засветился... Оленецкую взяли?

— Да. Сегодня на границе.

— Козловской пока не говорите, не надо травмировать. Я ее, помнится, знал: баба взбалмошная, но честная... Что Оленецкая?

— Призналась, что работала на Нолмара. Больше ничего не говорит.

— Скажет... Дня через два побеседуйте, только осторожно, с Козловской... Она служит по ведомству Рабкрина?

— Она откомандирована в Гохран.

— А что нового в Гохране?

— Там банда, Феликс Эдмундович. Честно говоря, их бы стоило взять всех скопом.

— Факты где? Улики? Бесспорные доказательства?

— За ними и охотимся. Если позволите, я в ближайшие день-два все вам доложу.

Дзержинский вдруг остановился, будто споткнувшись о какую-то преграду:

— А где Стопанский?

— Поляк? — спросил Бокий.

Дзержинский хмуро усмехнулся:

— Поляк здесь, я поляк.

Он умел улыбаться в самые трудные минуты.

— Я спрашиваю о подполковнике из второго отдела... которого вербовал Всеволод.

— Ах, Стопанский! Живет в «Гранд-отеле».

— Посулите ему хороший гонорар, если он завтра же сможет уехать в Ревель.

— Исаев его агент? — предположил Бокий.

— Верно. Только вот что, Глеб Иванович... Гонор и бахвальство — это главные отличительные черты шляхты. Поэтому укажите ему твердо и резко, что, если он сразу же скажет вам правду — он нам в ревельском узле не может помочь потому-то и потому-то, степень риска такая-то и такая-то, мы уплатим ему в два раза больше, чем если он будет лгать. Коли он этим делом заинтересуется, продумайте план, дайте ему разыграть комбинацию, не торопитесь предлагать свою версию. Пусть он эту комбинацию тщательно запишет: с именами, выходами на тех или иных людей, с адресами — мы это проанализируем, проверим через наши закордонные возможности, внесем коррективы и немедленно отправим поляка в Ревель. Пусть работает.

— Роману пока ждать?

— Да.

— А если не выйдет со Стопанским?

— Следите за «Правдой», Глеб Иванович. И англичане и немцы после введения нэпа вальсируют вокруг нас... Нажмем через Красина в Лондоне, а послезавтра в Берлин уезжает Крестинский. Николай Николаевич тоже умеет нажимать. Сейчас не восемнадцатый год, сейчас с нашими людьми не так просто расправиться — можем прикрыть...

— Признаем Всеволода своим?

— Признаем, если положение окажется безвыходным: нет ничего смешнее позиции страуса, прячущего голову под крыло, — ни одно государство невозможно без разведки.

— Крик поднимется...

— А мы что, крика не слыхали? Покричат — перестанут, нам ли привыкать?

«М. М. Исаев завербован мною в Москве... апреля... года, отправился в Ревель по делам, связанным с подпольной работой в Петрограде. Является для Генштаба человеком перспективным в ... аспектах; может быть использован как .... Активен в своих антинемецких настроениях, воевал на русско-германском фронте. Знает большинство европейских языков. Справки о нем наведены через наши дипломатические каналы в Харбине, Токио и Пекине, поскольку М. М. Исаев воевал в рядах армии Колчака, имеет медаль «За ледовый переход» (так у русских называется рейд генерала Каппеля, выведшего свои войска из красного окружения). Его высокие деловые и личные качества подтвердили Н. И. Ванюшин, один из идеологов белого движения на Д. Востоке, руководитель пресс-группы Колчака, полковник В. Г. Недошеин и генерал Дитерихс».

— Жидко, — сказал Бокий, прочитав этот план Стопанского. — Не весит... Ну, агент, ну, из подполья... Мало у вас таких?

— Не очень-то много. Агенты норовят лечь под Францию или под Альбион. Те платят получше, а бабы там дешевле.

— Хватит вам про баб... Тот, кто много о них говорит, — на поверку ничего не может. Вы молчите уж лучше об этом, пан Стопанский...

— Работать на вас мне так или иначе придется, но принимать к исполнению чекистский кодекс пуританства — увольте.

— Я не собираюсь вас перевоспитывать, упаси Боже! Вас тогда немедленно в Варшаве посадят в каталажку — с нашим-то кодексом...

— Браво! Благодарю, не надо!

— Игнатий Казимирович, вы говорили, что генерал Гозяк алчен до безобразия. Не заинтересует ли его такая версия? — спросил Бокий и подтолкнул Стопанскому листок бумаги, где было написано следующее: «Исаев имеет серьезные контакты с московским валютным подпольем. Никаких точных данных об этом он мне не сообщил, но намеревался ехать в Ревель именно для того, чтобы получить средства, которые дельцы перекачивают из России в целях собственной наживы, и никак не в интересах антибольшевистского подполья. Считаю, что в Ревеле, установив за Исаевым соответствующее наблюдение, мы сможем, во-первых, создать ему определенные трудности, за решением которых он обратится

к нам, и, во-вторых, мы имеем возможность выйти на глубоко законспирированные связи чрезвычайно крупного, широко разветвленного валютного подполья. Считал бы необходимым мою срочную командировку в Ревель, ибо у меня с Исаевым назначены явки и обговорены сроки встреч. В случае моего отсутствия ему должен будет оказать помощь третий секретарь Марек Янг. Справки об Исаеве я навел через наших людей в Харбине, Пекине и Токио: о нем отзывы самые положительные (Н. И. Ванюшин — идеолог белого движения на Д. Востоке, ушел в 1920 году в Дайрен, генерал двора Дитерихс, удалившийся ныне от дел атаман Семенов)».

— Это наших заинтересует. Я смогу посидеть дня два с Исаевым и поработать над легендой?

— Он в тюрьме. В Ревеле...

— С этого надо бы и начинать. Я ж не знаю Исаева, я не смотрел ему в глаза, я не знаю, в какой мере он стоек на допросах, я не...

— Вы этого человека знаете, — перебил его Бокий. — Он первым вас встретил на Мещанке.

— Всеволод! Страдает в остроге! С этим орешком они поломают зубы... — Он помолчал. — Операция будет дорогая.

— Но операция будет?

— На чем его взяли?

— Улик никаких. Скорее всего, его подставили немцы. Те самые, на которых работал наш дипломат...

— Работал? — подчеркнув окончание, переспросил Стопанский. — Быстро! Примите поздравления... Браво!

— Без вас мы бы его не нашли, Игнатий Казимирович.

— Серьезный был человек?

— В определенной мере.

— Благодарю за исчерпывающее разъяснение.

— Так что? Беретесь?

— Время? Сроки? Когда начинать?

— Вчера.

— Браво! Я спрашиваю вас серьезно.

— Я вполне серьезно отвечаю — вчера. Сегодня, во всяком случае. Шифровки от Ванюшина и Дитерихса мы вам подготовим — это в наших возможностях. Попросите ваших встретиться в Москве с Урусовым; вот адрес, — подвинул Бокий листочек бумаги, — запомните так, брать с собой не надо. И пусть завтра составят запрос в Ревель: как себя ведет Исаев.

— С кем я прорепетирую беседы? Если бы вы поверили мне раньше, я бы все это обговорил с Всеволодом.

— Его арест в наши планы не входил.

— Не верите вы мне... Не нужны мне ваши секреты, я от своих устал... Право, я помогать вам хотел: у нас такая безысходность, так все друг от друга отгорожены заборами, что мне, с моим характером, у вас лучше... Вы правы: я больше говорун по женской части, но если трезво разобраться, это бунт против наших устоев. Вы не смейтесь. Брак у нас — кабала, мещанство. И развод получить нельзя — моветон, конец карьере! А что я могу делать, кроме как быть разведчиком?

— Шпионом...

— Перестаньте, — поморщился Стопанский. — Разведчик, шпион — и то и другое в равной мере мужественно. И нечего нам делить мир на чужих шпионов и своих разведчиков. Дома я теперь шпион, а не разведчик... Ладно, давайте отвлечемся от умозрительных споров...

— Очень хорошо, я не решался вас прервать: как выяснилось, вы бесконечно обидчивый человек.

— Любой человек обидчив, а агент тем более. Он еще и ущербен к тому же... Все-таки на чем он свалился?

— Его подвел под арест кто-то из немцев.

— Кстати, третий секретарь посольства Марек Янг — мой приятель. Но я, помнится, не сообщал вам об этом?

— Нет, — чуть улыбнулся Бокий. — Не сообщали.

— Браво! Ваша закордонная служба хорошо работает. — Он задумался и сидел долго, покусывая рыжеватые усы. — Исаев был у Колчака или это легенда?

— Он работал у Колчака.

— Где?

— В пресс-группе.

— У него остались связи с французскими или американскими газетчиками?

— Надо посмотреть...

— Газетчики — люди корпоративные. Вторая древнейшая профессия, но благородства не занимать, особенно когда речь идет о своих. У меня есть связи с парижскими журналистами... Надежные связи...

— Хорошее предложение. Попробуем сформулировать: «Арестовали по немецкому наущению, обвинив в шпионаже, Исаева, благороднейшего журналиста, одного из светочей белого движения. Арестовали потому, что в Эстонии сильна эгоистическая коррупция немцев. Види-

мо, эстонское правительство не проинформировано об этом аресте, в противном случае произволу был бы положен конец. Нам известны случаи, когда полиция, опасаясь наказания за беззаконие, устраивает самоубийство человеку, которого надлежит освободить. В данном случае за арест Исаева отвечает Неуманн. Убрать Исаева на руку лишь корыстным чиновникам и чекистам-кровопийцам». Так примерно?

— Что ж, недурно... Хорошо, сказал бы я. Завтра я должен уехать в Париж, а не в Ревель. А еще лучше сегодня. Имя Антуана Кабэна вам ничего не говорит? Он мой друг...

Антуан Кабэн начал в журналистике с двухстрочечных заметок. Попав в крушение поезда Тулуза—Париж, он, отделавшись ушибами, написал поразительный репортаж. Потом уехал в Трансвааль; его корреспонденции обошли мир. Сначала он упивался славой, известностью, но потом неожиданно отказался от выгоднейшего европейского турне с чтением лекций об англо-бурской войне, уехал в Россию, чтобы попасть вместе с полярными исследователями Седовым и Колчаком в Арктику. Ему показалось, что это слишком безжалостно — придумывать микрогероев и макрозлодеев в журналистике; о том, что он увидел в жизни, надо писать прозу. Он написал роман, который имел успех скорее из-за его имени, чем из-за литературных достоинств. За три года он опубликовал пять книг и снова уехал на два года в Японию и Китай. Его перестала устраивать проза, он понял, что литература обязана быть испепеляющей, страшной, беспощадной, а он ни разу не мог «убить» своего героя, страшился трагичных развязок, искал хороших концовок и полного благополучия полюбившимся ему персонажам. Тогда он снова вернулся в свою газету, и редактор сказал ему:

— Кабэн, вы страшный хитрец! Вы сделали ловкий круг для того, чтобы вернуться в цех газетчиков королем. Никто так не завидует писателям и никто так не почитает их, как журналисты, — я это знаю по себе. Что вы хотите делать у нас?

— То, что захочу.

— Войны? Героика? Подлость?

— Это все следствия. Я буду заниматься причиной. Политикой и политиками. Я уповал на литературу — мне казалось, что Слово должно образумить мир, но

это чушь. Литература страшна азиатским владыкам: их народы темны и поэтому, словно дети, верят игрушкам — книгам. Устоявшиеся демократии могут себе позволить любую нематериальную блажь, даже свободное слово. Я попробую взять быка за рога; оставим хвосты юным ниспровергателям устоев.

— Вы знаете, что теперь я ориентируюсь на Клемансо?

— Знаю. Я и пришел для того, чтобы не давать Клемансо делать глупости. У него много тех, кто его славит, пусть он потерпит хотя бы одного, кто будет говорить ему правду в глаза.

— Славы вам не занимать, следовательно, все, что вы начинаете, серьезно... Как с деньгами?

— Деньги меня сейчас не волнуют.

— Не хотели бы позавтракать с Клемансо?

— Почту за честь.

— Если бы вы сказали ему, что собираетесь драться за его дело, высказывая при этом все, что считаете нужным высказать, как друг, а не как крикливый оппонент, — мы сделаем доброе дело.

— Мы? — чуть поднял бровь Кабэн. — Отчего «мы»? Я. Сделаю это я, а не «мы». Не сердитесь — литературный базар учит жестокой четкости в начале, чтобы не было никаких недоговоренностей в конце. Иначе не сохранить не то что дружбы, но и обычного приятельства.

Именно Кабэн после беседы с советником польского посольства в Париже Станиславом Седлецким и Стеф-Стопанским, которые рассказали ему о страданиях русского газетчика, попавшего в таинственное средосплетение германо-эстоно-русских отношений, отправился к министру иностранных дел. Министр, как и все во Франции, считался с мнением Кабэна.

Строго лично, г-ну Пийпу, МИД Эстонии

Уважаемый господин министр!

Вчера на приеме в американском посольстве со мной беседовал министр иностранных дел Франции. Вопрос показался мне локальным, но министр настаивал на выяснении причины ареста героя русского освободительного движения Исаева, якобы ошельмованного в Ревеле из-за интриг германской разведки, действующей по подсказке большевиков. При этом министр ссылался на дело Шалукявичуса в Ковно, где

немцы, направляемые ЧК, смогли подвести под арест французского подданного, сфабриковав против него обвинение в шпионаже. Я обещал запросить Ревель, отметив, что не очень-то верю подобного рода слухам, ибо законность неукоснительно соблюдается в Эстонии. Прошу ответить, каким образом следует беседовать с министром в следующий раз, стоит ли самому вернуться к этому вопросу с разъяснением или целесообразнее от беседы уклониться — впредь до официального запроса?

Полномочный министр и посланник Эстонии во Франции

П. Пуста.

Москва. Бокию. Комбинация с А. Кабэном проведена. Все возможные шаги предприняты. Решение вопроса теперь относится к компетенции ревельских властей — министра внутренних дел Эйнбунда и МИД (Пийпа). Предполагаю, что на министра иностранных дел Пийпа можно оказать давление, ориентируясь на Лондон.

Жозеф.

ЛОГИКА ТЮРЕМНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ И...

— Это очень сложный вопрос, почему литератор пишет, Максим Максимович... У одного русского писателя есть такая фраза: «Ты, Розанов, в читателе заинтересован хоть немножко?» — «Да нет, он же дурак дураком — все не так поймет». — «Так отчего ж пишешь?» — «А деньги дают...» Шутка, рожденная полнейшей безнадежностью... Писатель пишет, потому что не может не писать. Он должен все время исполнять то, что ему является. Истинный литератор пишет не для того, чтобы кому-то что-то доказать. Писатель, который мыслит себя лишь как передатчик информации, — медленно говорил Никандров, прохаживаясь по камере, — и не писатель вовсе, а деловитый политикан...

— «Деловитый политикан»? — удивился Исаев и поднялся с нар. — Но, по-моему, русская литература всегда хотела служить делу...

— Какому делу — вот в чем вопрос. Служить-то она хотела. На каком уровне? Чернышевский служил на одном уровне, Растопчин — на другом.

— А Пушкин? — спросил Исаев.

— Пушкин вообще начало начал России. Это неосуществившаяся Россия; это Россия, которая мелькнула один раз. Он ведь тоже служил, но он был всегда верен себе... «Шутом не хочу быть ниже у самого Господа Бога» — тут все его достоинство. Он пел как птица, дурачился, обезьянничал, Бенкендорфу слал испуганные письма. Человек потому-то и мог позволить себе такую простоту, что внутри у него было святое... И «политики» вашей он чурался...

— А как же вы объясните «Записки о народном образовании»? «Историю Пугачевского бунта»? В этом он — политик. Нет?

— Помните, великого француза спросили: «Что вы делали, пока Робеспьер рубил головы, Фуше устраивал погромы, а Мирабо произносил речи?» — «А я жил», — ответил француз. Пушкин тоже вроде бы жил. Но в нем осуществилась божественная гармония античного типа, которая однажды посетила Россию. Служил он? Ничему он не служил. И нижé у самого Господа Бога не был шутом. Он был связан с царем «личным договором». Помните: «Я лучше буду легкомысленным, чем неблагодарным». Он потому и писал «Пугачева», что царь дал ему личное покровительство, кормил его, ссужал ему деньги, поддерживал, вынул его из рядов декабристов... И за это Пушкин, обещавши однажды — он человéк чести, человек в высшей степени помешанный на кодексе чести, — служил шутя...

— Чему он служил?

— Истине. Писатель тем и отличается от обыкновенного смертного, что у него очень сильно развито чувство личного достоинства. Личность — это не особь, личность — это момент преломления общей истины. А чем личность отличается от особи? — жарко продолжал Никандров. — Особь — это отдельность. А личность есть сознание того, что «я явился и я уйду». Трагедия личности в том, что, однажды создавшись, она должна исчезнуть. Если я умираю, моя личность исчезает. Разве с этим можно примириться? Писатель, если он рожден писателем, — носитель высшей справедливости. А где же справедливость в рождении и смерти? Писатель обязан быть носителем нравственной правды, перед которой сила не должна иметь власти. Он живет вопросом «быть или не быть». Но коли властвует сила, высокой морали не остается места. А разве не сила сейчас властвует в России?

— Значит, по-вашему, сейчас голой властвующей силе служат Брюсов, Маяковский, Есенин, Кустодиев, Пастернак, Малявин?

Никандров пожал плечами:

— Каждый истинный писатель находится на своей Голгофе. Трагедия русского писателя в том, что он может быть писателем только в России. Внутренне. Но он не может быть писателем внешне, потому что именно в России ему очень трудно пробиться к людям. Может быть, поэтому в России родился писательский комплекс. Он не может писать, не думая о тех, кто его окружает, но вместе с тем он не может к ним пробиться. Это трагедия, на которой распята русская литература. Или она ограниченно политична, как у Писарева. Тогда она даже счастлива, когда ее распинают. А коль скоро в ней возникает просвет, как у Толстого, у Достоевского или у Гоголя, — тогда летят в огонь рукописи, тогда человек бежит из дому неизвестно куда, тогда он, как Достоевский, всю жизнь несчастен, он эпилептик, потому что эта бездна не может утолиться простым служением данной политической ситуации. Но и деваться от этого некуда. В этом трагедия русского писателя. Западный писатель мгновенно реализуется и иссякает; в России все горе в том, что он реализоваться не может, а в нем накапливается, его разрывает мысль, вера. Поэтому уехать из России — для него такая же трагедия, как и оставаться там.

Исаев любил эти беседы с Никандровым. Он не перебивал писателя, если был с ним не согласен: он слушал, стараясь понять логику Никандрова, ибо раньше с подобного рода концепциями не встречался. Его окружали либо друзья, либо открытые враги. Никандров тщился быть посредине, и Всеволод понимал, что скажи он это писателю — и разговоры их прекратятся: Никандров мог говорить, только когда он верил в доброжелательное внимание собеседника.

— Я много раз задавал себе вопрос, — сказал Всеволод, — отчего в России печатное слово обладает такой магической силой? Отчего ему так верят и так его боятся?

— Прекрасно сказано... — улыбнулся Никандров.

— Я отвечал себе примерно так: мы держава крестьянская, бездорожная, разобщенная огромными пространствами... Слово связывало нацию, обладающую гигантской территорией, именно слово.

— Это главное, — согласился Никандров. — А дальше?

— Говорят, российская леность. А почему она возможна? Потому что мужик, если не хочет сажать хлеб, забросит сеть в пруд и поймает рыбу; не хочет рыбы — идет в лес и заваливает медведя; не хочет заваливать медведя — сплетет лапти и продаст их на базаре. А если вовсе ничего не хочет, тогда уедет в Сибирь и станет пчел разводить.

— Этот резервуар не бездонен.

— Верно. Потому-то мы в России и начали эксперимент. Задумано разрушить прекрасный, красивый, мудрый, но бесконечно косный уклад России и пропустить страну через организацию машинного производства...

— Тогда умрет та российская культура, какую мы знаем.

— Но ведь «все течет, все изменяется». Вопрос вопросов: кто будет влиять на процесс эволюционного развития нашей культуры? Я? Нет. Вы? Именно.

— Очень хорошо вы сказали, что среди наших пространств ничто не могло сплотить людей, кроме слова или насилия. Вот так и родилось великое государство. Верно: можно завалить медведя, поймать зайца или продать лапти. Как соединить все это в нацию? Вот и было две версии. Одна другой противополагалась. Одна версия была иваново-николаевская — кнут, штык, фельдъегерь, Сибирь. И сплотили свою Россию. А другая версия была от Пушкина к Достоевскому, к Толстому, к Чехову и Бунину. И эти сплотили свою Россию. Наверное, два медведя в одной берлоге все-таки живут, это неизбежно...

— Мы с вами в одной берлоге ужились... Вы представляете слово, ну а я, будем говорить, кнут... — усмехнулся Исаев.

— Государство и духовность, — вздохнул Никандров.

— Мы делаем ставку на то, чтобы крестьянина вытащить из покосившейся избы, сына его направить на рабфак, а внука — в университет. И вернуть его в деревню широко образованной личностью.

— Как вы при этом добьетесь, чтобы он не перестал быть человеком?

— А сейчас он является человеком в полной мере?

— Сейчас он потенциальный человек, но еще не убитый. А когда вы его пропустите через мясорубку,

у него останутся две возможности: выйти цивилизованным человеком или цивилизованным механизмом.

— Верно. И тут необходимо ваше слово.

— Зачем? — пожал плечами Никандров.

— Затем, что всегда кто-то должен терпеливо напоминать миллионам, что они люди. Этот человек будет смешным, в него будут лететь гнилые помидоры. Такие люди уходят осмеянными, но они должны быть. И пока кто-то смешной продолжает говорить, что добро есть добро, а зло есть зло и что черное это черное, а белое это белое, — человек останется человеком!

— Красиво... И горько... Быть вам писателем, Максим.

— Скажите, то, что происходит сейчас на родине, кажется вам целесообразным?

— Увы, только неизбежным.

— Я помню ваши книги о Петре и Грозном. Вы ведь были уважительны к их экспериментам...

— Об этом хорошо судить, когда результат эксперимента налицо. Тот кнут, которым высекался здравый смысл из задниц мужиков, стал историей. При Петре мне было бы трудно писать такую книгу... У Грозного хоть было какое-то моральное беспокойство, каялся время от времени, а ведь Петр убивал не каясь, в нем уже был новый дух... Так сказать, программа.

— А у сына его, у Алексея, была программа? Или у Курбского? — поинтересовался Исаев. — У них была программа?

— Программа Курбского — это Россия как содружество боярских, относительно свободных элементов, горизонтальная мобильность, гарантии, то есть общество британского, парламентарного типа. Пойди тогда Россия по его пути, мы бы сейчас ставили памятники Курбскому, а не Иоанну.

— Куда эмигрировал Курбский?

— В Речь Посполитую.

— Была ли Польша тогда дружна с Россией?

— Нет.

— На чьей бумаге Курбский печатал свои экзерсисы?

— На польской, естественно.

— Ну и кому же больше была угодна философия и концепция Курбского: России или Польше?

— Но он же не мог выносить вида безвинно проливаемой крови! Как и я сейчас, спустя четыре века...

— А почему же вы тогда выносили кровь девятьсот

пятого года? — ожесточился Исаев. — Погромы, казни?!

— Вся прогрессивная русская интеллигенция была против царизма именно по этой причине.

— Я о вас говорю, а не об интеллигенции...

— Как только я попытаюсь помочь этим против тех или тем против этих, я из писателя превращусь в бессильного, ввязанного в поток человека, который теряет ощущение реального ориентира. Во всяком обществе должны быть недвижные точки среди хаоса. Время от времени люди, которые кружатся в хороводах, должны на чем-то останавливать глаз и вспоминать, кто они такие.

— Ну, дальше...

— В Европе всегда церковь и литература существовали отдельно и выполняли каждая свою задачу. Отсюда бездуховность европейской литературы, ее деловитость, отсюда — искусство для искусства, эстетизм, авангардизм... В России же церковь была всегда бессильна перед властью. Духовная литература в лице Достоевского, Толстого, Гоголя была единственной сферой, где константы духа и морали могли сохраняться. Естественно, потерять это очень просто. Но это можно потерять лишь однажды. Тем российская литература отличается от европейской, что она хранит мораль духа. Она есть хранитель вечных ценностей... А вы хотите ее втянуть в драку. Разумеется, вас можно понять: вам нужно выполнить чудовищно трудную задачу, вы ищете помощь где угодно, вы готовы даже от литературы требовать чисто агитационной работы.

В дверь забарабанили:

— Никандров, на прогулку!

Исаев подмигнул Никандрову и хмыкнул:

— Дышите воздухом и не злитесь. Потом доспорим.

...ЛОГИКА ТЮРЕМЩИКА

После того, как Неуманн вернулся в понедельник домой, люди Романа вели за ним круглосуточное наблюдение. Роман допускал, что Неуманн может сообщить министру Эйнбунду о своей перевербовке и начать встречную комбинацию.

Поначалу Неуманн был готов поступить именно так; вернувшись из леса на свою мызу, он посмеялся над отчаянной глупостью красных. Но чем тщательнее он вспоминал детали беседы в лесу, чем он точнее выверял

свое завтрашнее объяснение с министром, тем больше испытывал странное неудобство. Он вспомнил Артура Гросса, в прошлом растущего следователя, ставшего ныне маленьким делопроизводителем. Гросс пришел к Неуманну почти с таким же делом: в поезде, заперев купе, трое молодых ребят вынудили его сообщить данные о запланированных акциях полиции в связи с приближающимся Первомаем. Приехав в Ревель, Гросс сразу же пришел к Неуманну. Артур Иванович понимал, что честное сообщение Гросса дает ему широкое поле для контригры с красными. Неуманн поблагодарил Гросса за сообщение, выдал ему денежную премию, но долго раздумывал, пригласить ли его на планирование новой операции, и в конце концов не пригласил. «Кто знает, — рассуждал тогда Неуманн, — в какой мере они интересуются им? А что, если они похитят Гросса теперь, когда он будет знать мой новый замысел? Смерти он боится — это очевидно, поскольку открылся красным, а не предпочел выстрел в грудь».

Узнав о том, что его не пригласили на совещание к Неуманну, Гросс запил так, как это умеют только эстонцы — тяжело и скандально. Неуманн несколько раз делал ему дружеские замечания, а потом уволил из полиции и только спустя полгода узнал через провокатора, внедренного в подполье, что операция в купе была проведена красными вне всякой связи с первомайскими торжествами: просто Гросс славился своей фанатической ненавистью к коммунистам и его решили скомпрометировать. Его надо было убрать из полиции, и коммунисты сделали это руками самого Неуманна.

«Где гарантия, — рассуждал Неуманн, — что министр окажется дальновиднее меня? Я хоть потом нашел в себе гражданское мужество поехать к Гроссу и снова пригласить его в полицию. Не моя вина, что он спивается и не может вести дела. Министр ко мне не поедет, даже если я доведу до победы дело Исаева. И в какой мере мы, эстонцы, заинтересованы в нем? — впервые по-настоящему задал себе вопрос Неуманн. — Не таскаем ли мы каштаны из огня для немцев? Но если я стану сейчас обращаться к кому-либо с этим делом, я сразу же сделаюсь обиженным в глазах руководства, а если меня смогли обидеть, то, значит, я виноват, слаб и неумен. В любой из этих трех позиций я в проигрыше, потому что шеф политической полиции не имеет права дать себя в обиду».

Вернувшись в Ревель, Неуманн утром в понедельник ни к какому решению не пришел и продолжал мучительно рассуждать, в какой мере он может надеяться на смелость и трезвость министра. Раза два он уже был готов отправиться к Эйнбунду и рассказать обо всем происшедшем. Но, решив было ехать к министру, остановил себя: надо было продумать всю ситуацию наново, о чем его просили, после каких мучений он согласился на это и какая из этой его «вербовки» может быть выгода для политической полиции.

Он довольно ловко выстроил версию, решив, что в конце концов сожженная мыза стоит престижа шефа полиции, но снова остановил себя.

«Министр наверняка попросит рассказать об Исаеве — как, почему и через кого он взят. А вправе ли я выкладывать ему данные Нолмара? Дружба дружбой, немцы немцами, а выборы на носу, и Эйнбунд станет требовать улик, — рассуждал Неуманн, — видимо, сначала мне следует поехать к Нолмару и обговорить с ним все детали. Хотя тот не преминет воспользоваться этим разговором, и я из его доброго знакомого сразу же превращусь в подчиненного. И если сейчас он устраивает санаторию для моей жены и дочерей, то после подобного разговора он будет вправе выдавать мне стоимость этой санатории наличными».

Так прошел понедельник. Ночью Неуманн не сомкнул глаз. Под утро он на цыпочках подошел к шкафу, выпил коньяку, лег под перину к жене и, положив голову на ее теплое плечо, заснул — не более чем на полчаса. А во вторник министр срочно выехал в Тарту на празднование двадцатипятилетия журналистской деятельности Яана Таниссона. Там должны были собраться многие депутаты парламента, профессура, редакторы «Ваба сына», «Постимеес», «Пяэвалехт» — словом, те люди, от которых многое сейчас стало в Эстонии зависеть.

А утром в среду Неуманн вдруг совершенно отчетливо понял, что он опоздал. Теперь министр наверняка не поверил бы ему, потому что он пришел к нему не поутру в понедельник, не ночью в воскресенье, а лишь вечером в среду. И он затаился, уговаривая себя, совершенно причем непроизвольно, как-то со стороны, что все происшедшее на Пэрэл — дикий, глупый сон, что в общем-то все это ему пригрезилось и что жизнь должна идти так, как шла раньше.

Получив от наблюдателей сообщение о том, что Неуманн за эти дни в министерство не ездил, а по телефону такое дело обговаривать с министром нельзя — все разговоры идут через телефонных барышень, — Роман поехал в Нымме, к дому, где жил Неуманн, и решил поговорить с ним там. Район был тщательно перекрыт его товарищами, прохожих в поздний час здесь почти не было, так что риск был оправдан. Роман дождался, пока отъедет автомобиль шефа полиции, и окликнул его, когда он шел через садик к двери.

— Артур Иванович, простите, что я так внезапно. У вас есть пять минут?

Неуманн медленно обернулся, какое-то мгновение тяжело смотрел на Романа, а потом ответил:

— Здесь неудобно...

— А мы пройдемся.

— Только быстро, пожалуйста, я себя плохо чувствую.

— Собираетесь передать дело Исаева кому-то другому?

— Почему вы так решили?

— Ну, из-за плохого самочувствия... Поездка на воды, отдых, предписанный врачами... Артур Иванович, это надо бы иначе мотивировать: сердечный приступ на работе, все внезапно — тогда убедительно и для вашего начальства, и для меня. Здесь постепенность губительна. Можете поболеть, когда мы кончим наше дело.

— Я еще не имел возможности заняться делом Исаева.

— Мы хотим облегчить задачу. Возьмите эту папиросу, там в мундштуке шелковка для Исаева. Потом вызовите его на допрос, и он через вас пришлет ответ. До свидания.

Весь вечер Неуманн сидел у себя в кабинете, сотый раз просматривая цифры на шелковке.

«Надо сейчас же ехать к министру, — тупо думал он. — Но тогда Эйнбунд спросит, — возражал в нем кто-то другой, маленький, мятущийся, жалкий, — почему я молчал до сих пор? Я отвечу, что ждал. А он спросит, отчего бы не подождать вместе? Он перестанет отныне верить мне, если я откроюсь ему, даже если мы порвем ту цепь, которая тянется в тюрьму».

И вдруг в нем поднялась ярость: все шло — как шло, и вдруг эта дикая встреча в лесу поставила его к

роковой черте, и он перестал быть самим собою, перестал быть прежним Неуманном — честным, требовательным, добрым.

Ярость душила его, но она была бессильной: он слишком любил жену, детей, мызу на Пэрэл, чтобы вычеркнуть теперешнего, жалкого Неуманна из жизни. Он был слишком однолинеен и приземлен, чтобы открыть в новом своем состоянии возможность для дальнейшей деятельности — рискованной, но в конечном счете перспективной, если ориентироваться на новых своих покровителей. К тому же он оказался совсем не таким справедливым и предельно честным, каким всегда себя считал: он не стал обвинять в случившемся себя — оправдываясь безысходностью обстоятельств; он не смел обвинить и того седого чекиста, который все это с ним проделал в лесу — потому что тот был недосягаем; но ярость ищет выхода. И Неуманн нашел виновника — им оказался министр Эйнбунд.

«Будь он человеком, которому можно верить, будь он политиком, а не политиканом, который продаст, когда это будет ему выгодно в партийных целях, я бы давно пришел к нему, и мы бы вместе придумали смелую операцию. Сиди вместо этого фанфарона настоящий патриот родины, я бы не страдал так».

Неуманн поднялся из-за стола, прислушался. В доме было тихо, где-то капала вода из крана, и этот звук до того вдруг умилил Неуманна, что он замер и долго, чувствуя слезы в горле, прислушивался к капели, и она отнесла его в детство, когда они жили на хуторе; в весенние закаты, переходящие в рассветы через серую, зыбкую ночь; он вспомнил мать, ее доброе лицо и вдруг отметил для себя, что в детстве была совсем другая, особая тишина — спокойная и безмятежная.

«Ради мамочки, — подумал Неуманн, — ради этой святой женщины я должен решить для себя, как мне быть дальше».

План родился как-то сразу — от ярости, через жалость к семье, любовь к матери, через боязнь министра и трусливую ненависть к этому седому чекисту, который все начал.

«Скажу, что брать Исаева из госпиталя можно только ему. Образец пропуска заготовлю, сам подпишу, передам ему в руки. Пусть придет со своими людьми, а я их встречу. Там и перестрелять их надо лично, самому. Почему не поставил в известность министра? Потому что,

если пустить это через управление и отделы министерства, утечка информации станет столь реальной, что все дело можно поставить на грань срыва. Министр требует у правительства денег для расширения своего аппарата, а ему бы не денег требовать и не дебатировать в Государственном собрании, а заниматься каждодневной, кропотливой работой. Победителя не судят! Того, кто проявит слабость, — уничтожат. Только твердость, только сила! План есть, теперь надо лечь спать, а завтра начать отработку деталей. Если я смогу победить — свалю министра. А там видно будет».

С этим Неуманн и уснул, сразу и без снотворного...

И всю эту ночь за домом Неуманна продолжали наблюдать. Продолжали наблюдение и утром следующего дня: Роман рассчитал, что если теперь, имея в руках шелковку, Неуманн не поедет с утра в министерство — а ездил он туда крайне редко, только в экстраординарных случаях, — тогда вербовку можно считать состоявшейся. Он допускал и случайность: вдруг министр вызовет Неуманна по какому-то делу, вдруг там назначено совещание или надо получить визу в иностранном департаменте; все это Роман учитывал, но ему обещали помочь эстонские друзья — у Виктора были свои люди в министерстве, которые могли посмотреть за Неуманном даже там, в святая святых тайной полиции.

«Связь получил, — писал в ответе Всеволод. — Заявил Неуманну, что готов давать показания лишь после встречи с третьим секретарем польского посольства Мареком Янгом».

В СИБИРИ

Владимир Александрович Владимиров принудил Осипа Шелехеса пойти в ЧК и добиться откомандирования Нины в его распоряжение еще на две недели.

— Она контрой занимается, а не библиотеками, — отбивался Шелехес.

— Библиотека, Осип, и важнее, и подчас страшнее любой контры. Библиотека — это книги...

— Да какому сейчас черту книги нужны?! Беляки в тайге людей бьют, а ты — книги!

— Ты хоть раз в библиотеке занимался?

— Когда мне? Нас забрали с Федей — это средний у нас братишка, когда мне тринадцать лет было. Мы экс

сделали, деньги были для типографии нужны. А потом — нелегалка, как тут учиться, я ж газету распространял, курьерил в Прагу. После революции попросился в комвуз, откомандировали на курсы при Тобольском университете, а белые пришли, меня сдали в контрразведку. Мне там, — он рассмеялся, — знаешь какую библиотеку прописали! Два офицера — трезвые, главное дело — ребра выворачивали...

— То есть как?

— Чего «как»? Раздели, ноги рельсом придавили, руки связали, на голову сапогом — видишь, рожа у меня с тех пор кривая — и руками ребра вытягивали. Три штуки у меня поломанные, как погоде меняться — болят изнутри, страх...

Шелехес расстегнул френч и задрал желтоватую, грубого полотна сподницу рубаху.

— Не надо, — попросил Владимиров и зажмурился, — закрой.

— Я когда против интеллигентов митингую, — рассмеялся Осип, — и они меня одолевают, а рабочая масса начинает хихишки против меня строить — сразу бок свой сую: вот, говорю, как они спорят, если ихняя сила! Это без промаха. Потом этих интеллигентов отбивать приходится!

— И ты убежден, что это честно?

— А чего? Я ж не чужой раной козыряю.

— Не в этом суть. Оппонента надо бить логикой, лишенной эмоций. А у нас ведь в России глубина ценится превыше всего. К чему я все это? К тому, что Ульянов дал вам программу: учиться надо, Осип, учиться.

— А почему это ты Ильича назвал Ульяновым?

— Я привык к этому по годам совместной эмиграции..

— Смотри... Если чего против него имеешь — пристрелю и еще на труп приплюну.

— Ты его когда-нибудь видел?

— Нет.

— А откуда в тебе такая к нему любовь?

— Потому что он — Ленин.

— Ты его читал?

— Речи читал на съездах. «Государство и революцию» читал. «Что делать?»...

— А «Материализм и эмпириокритицизм», «Аграрный вопрос в России в конце девятнадцатого века»?

— Это пока не осилил.

Владимиров поманил Шелехеса пальцем. Тот настороженно приблизился к старику.

— Позор тебе, — шепотом сказал Владимир Александрович, — и стыд...

— Я уж думал, ты контру хочешь пропагандануть, — усмехнулся Осип.

— Скажи, как ты будешь объяснять, если тебя спросят на диспуте в присутствии массы слушателей: «Меня не удовлетворяет ваш ответ — я люблю Ленина, потому что он Ленин. Это обратная сторона религии, на новый, правда, манер». Что ты на это ответишь?

— Если в присутствии рабочей массы, то, конечно, расстреливать за такой вопрос неудобно... Один на один — прибил бы... А если масса сидит, я так отвечу: «Эх ты, гад ползучий! И как у тебя язык поворачивается такое говорить! Враг трудящихся ты после этих слов!» Овация слушателей! Что — нет?!

— Нет, — покачал головой Владимиров. — Я бы ответил иначе. Я бы сказал: «Уважаемые оппоненты, товарищи...»

— Какие они уважаемые? Контра. Говори — «граждане»!

— Изволь. «Граждане, начиная с времен Древнего Рима, когда вождь рабов Спартак повел своих единомышленников против рабовладельцев надменной столицы, человечество мечтало о свободе. Из-за этой великой мечты шли на гибель крестьяне Германии, ведомые Лютером. Сложил свою голову мужицкий царь Емелька Пугач... Гнил на каторге Радищев... Сражались герои Северо-Американских Штатов... Потрясал основы феодального мира неистовый Робеспьер... Гибли под царскими пулями декабристы; с гордо поднятой головой ждали казни Софья Перовская, Кибальчич и Александр Ульянов... Эту мечту человечества сделал наукой бородатый Маркс и одинокий, влюбленный в море Энгельс... Мир обывателей, уставший от нищеты мысли и тупости бытия, затаившись, трусливо ждал перемен. Кто-то всегда выходит первым и принимает на себя великое и страшное бремя ответственности: это в равной мере относится к народу, государству, к личности. И вот пришел Ленин. Вместо упования на мессию, который принесет свободу, Ленин сделал практикой жизни слова гимна: «Никто не даст нам избавленья: ни Бог, ни царь и ни герой!» Ленин взорвал спячку века. Как только новое общество начнет успокаиваться, ждать новых благ

от кого-то, ему следует вспомнить Ленина: все в ваших руках ныне, вы за все в ответе! Мы сделали главное: дали вам великое право отличать людей не по цензу богатства, не по цвету кожи, но по тому, как человек относится к свободе!»

Шелехес слушал Владимирова зачарованно, по-детски, чуть даже приоткрыв рот. Когда старик замолчал, Шелехес откашлялся, снова принял обычный свой скептический, подозрительный вид и сказал:

— В общем и целом верно. У тебя были две ошибки: не Емелька Пугач, а Емелиан Пугачев, ну и про бородатого Маркса и что Энгельс одинокий — не следует, все ж они вожди...

Нину поражало умение Владимирова работать. Она могла подолгу любоваться, как он держал книгу в руках, пролистывая ее, как он ее оглаживал и ласково прихлопывал по корешку, поставив на стеллаж.

Как-то вечером, перелистывая томик своего любимого Монтеня, он задумчиво сказал:

— Талант, Нинуша, это категория врожденная, несущая в себе некую таинственную непознанность. Пушкин писал свои гениальные вещи шутя, никогда не думая, что он делает гениальное. А Щедрин? А письма Чехова? Он писал друзьям: «Делаю скучную вещицу, по-моему, выходит дрянь». Это о «Мужиках». Как научиться определять врожденную человечью талантливость?

— Придумать экзамены, — сказала Нина. — Диспуты...

— Несерьезно. Вы, молодые, норовите все обобщить: вы идете от общего к частному, а мне представляется правильным идти от индивидуальности, от закона к обществу, а не наоборот.

Владимиров отошел к стеллажам с разобранными книгами и, горделиво оглядев свою работу, сказал:

— Какие же мы молодцы! Через неделю примемся за экспозицию музея.

— Никогда не думала, что с книгами работать так интересно. Я раз ночью проснулась — будто кто здесь с бензином ходит... Страх! Прибежала — никого. Я тут остаток ночи и проходила, все книжки наши рассматривала.

Владимиров погладил девушку по щеке и поймал себя на мысли, что таким же движением он гладил по щеке

Всеволода, и вдруг сердце его сжало мучительной тревогой: где он сейчас? Что с ним?

В соседней комнате загрохотали сапоги.

— Неужели принесли печку?! — воскликнула Нина и побежала в соседний зал: книги там тоже были разобраны, полы вымыты и окна тщательно протерты.

Но в соседний зал принесли не печку — пять красноармейцев складывали возле двери железные кровати.

— Это что такое?! — спросила Нина.

— Это ордер, сестричка, — ответил молоденький красноармеец, протягивая ей листок бумаги, — все по закону. На пять дней мы сюда поселяемся: спать и книжки читать.

Нина, по-прежнему недоумевая, спросила:

— Вы что, охрана библиотеки?

— А чего тут охранять?! — засмеялся второй, огненно-рыжий парень в папахе. — Если б тут шашки лежали али хлеб. Спать мы тут будем, более негде.

— Нет, товарищ, — сказала Нина. — Ночевать вы здесь не будете.

Вошел Владимиров и, остановившись на пороге, предложил:

— В подвале есть свободное помещение, вы там и располагайтесь, пока не подберете себе жилье.

— Людям гнить в подвале, — сказал рыжий, — а книжки будут в комнате стоять? Давай, мужики, расставляйся...

— Я запрещаю! — сказала Нина. — Сейчас я возьму ваш ордер и подыщу вам хорошее помещение.

— Ни-ни, — сказал первый красноармеец, — нам и тут нравится.

— Дайте ордер, — сказала Нина.

— Чего ты с девкой балакаешь, — сказал пожилой боец, — расставляй скарб, и дело с концом.

— Кто вам выдал ордер? — спросил Владимиров.

— Кто выдал, тот и выдал, — ответил рыжий и, оттерев Нину плечом, потащил кровать в неширокий проход между стеллажами — подальше от двери.

Нина схватила парня за плечо и с неожиданной для ее хрупкой фигурки силой рванула, обернув на себя:

— Прекратить!

Парень поставил кровать на пол, прислонив ее к корешкам книг, и молча толкнул девушку. Нина упала. Все это произошло в мгновение. Владимиров поднял палку и ударил рыжего по шее.

— Паршивец, бандит! — кричал он. — Как ты смеешь?!

Он был страшен сейчас: усы ощетинились, брови подняты, топорщатся, в уголках рта — белая пена.

Нина бросилась к старику, обняла его, стараясь успокоить. Владимиров, побледнев, опустился на пол, тяжело дыша.

Рыжий, опомнившись, схватил винтовку и начал лязгать затвором. Молодой красноармеец винтовку у него вырвал и замер у двери: они еще толком не осознали происходящего.

— Паршивцы, позорите великое дело, — тихо говорил Владимиров, которого по-прежнему обнимала Нина. — Вы с винтовкой должны охранять книгу, а вы гогочете и на девушку руку поднимаете. У, сейчас встану и сорву с вас красную повязку, вы позорите красный цвет своим злодейским поведением...

— Палкой, гад, драться! Я те не холоп, буржуй недорезанный! — закричал тонким, обиженным голосом рыжий.

— Это ты буржуй, — всхлипнула Нина, — урод рыжий! — Она обернулась к остальным красноармейцам: — Да уведите вы его, чтобы не кричал. Сейчас в ЧК пойдем, там разберемся, кто вы такие...

— Во, бешеные, — сказал пожилой боец, — пошли, однако, мужики, а то дед от волнения салазки загнет.

Нина выбежала в соседнюю комнату. Вернулась она через минуту в наброшенной на плечи кожанке, с кольтом в руке.

— Оружие к стенке, за неподчинение приказу стреляю без предупреждения!

— Ты что? — тихо спросил молодой. — Чего ты?

— Вы, папаша, — кивнула Нина пожилому бойцу, — подойдите и посмотрите мандат: я сотрудник СибЧК.

— Дочка, — сказал пожилой боец, — ты уж прости его, дурака... Коли б мы знали...

— Коли б знали — побоялись бы?! Пошли в ЧК! Оружие оставите здесь! Владимир Александрович, я мигом.

— Не надо, Нинушка, — попросил Владимиров, тяжело поднимаясь с пола. — Это не их вина... Это их беда. И я себя тоже вел безобразно... — он посмотрел на рыжего и вздохнул. — Простите меня, пожалуйста, товарищи...

Нина вдруг заплакала — пистолет в руке трясется,

слезы льются, как от самой тяжелой, детской обиды, горошинами...

Владимиров шепнул:

— Ничего, Нинушка, ничего... — Обернулся к бойцам: — Товарищи, будем считать, что ничего у нас не было. Пошли посмотрим другое помещение, а Нина Ивановна поможет вам найти хорошее жилье, свободное от постоя.

— В тюрьме им постой будет, — сказала Нина и вдруг, всхлипнув, рассмеялась.

И молодой красноармеец засмеялся, и Владимиров засмеялся, а после и пожилой боец. Они стояли и смеялись, глядя друг на друга...

* * *

Москва. Бокию. Кедрову. «Виктор» через своих людей вышел на товарища министра иностранных дел, директора европейского департамента Э. Таннеберка. Таннеберк имел две беседы с министром Пийпом по поводу ареста Исаева. Министр уже осведомлен об этом аресте и связался по телефону в присутствии Таннеберка с министром внутренних дел Эйнбундом. Одновременно поляк, сотрудник посольства М. Янг, нашел способ сообщить в МИД о тех характеристиках, которые ему известны по поводу арестованного Исаева. Мы в свою очередь, через наши возможности, вывели Гаврилова и Шостака, двух крупных финансовых маклеров, обладающих связями в Лондоне, на окружение Эйнбунда. Поскольку они русские, не связаны с монархическими экстремистами, поскольку они обладают реальной финансовой мощью — к ним здесь прислушиваются. Сегодня утром наружное наблюдение установило, что министр Эйнбунд вызывал Неуманна в неурочное время. Можно предположить, что его вызвали в связи с делом Исаева. Сегодня вечером у меня запланирована встреча с Неуманном.

Роман.

В РЕВЕЛЕ

Неуманн отпустил автомобиль, не доезжая трех домов до своего коттеджа.

— Поезжайте отдыхать, — сказал он шоферу, — я немного пройдусь.

Он знал, что его сегодня будут ждать, и не ошибся: возле калитки стоял тот, седой.

Неуманн понял, что сегодня его будут ждать, еще утром, когда министр попросил дать справку по поводу арестованного Исаева. «Французы говорят, что это их друг и вполне милый человек, — пояснил Эйнбунд. — Поэтому я был обтекаем и никаких конкретных ответов не давал».

— Видите, как я предусмотрителен, — сказал Неуманн Роману, — играй я нечестно — вас можно было бы сейчас взять.

— Лучше завтра, — ответил Роман. — Ну, как?

— Вы спрашиваете, как работает ваша организация? Хорошо работает, силы, судя по всему, включены надежные. Вы тут прочно сидите? Легально?

— Вполне.

— За вами не ходят?

— Вам это лучше знать. Сигналов на меня пока еще не было?

— Пока нет.

— Что вы думаете отвечать Эйнбунду по поводу Исаева?

— Каковы ваши предложения?

— Вам его под удар подставил Нолмар?

— Допустим.

— «Допускать» в таком разборе негоже. Нолмар?

— Да.

— Вы связаны с ним деловыми обязательствами?

— Вы подразумеваете наши с вами отношения? Нет. У него много друзей в полиции — это понятно, немцы имеют здесь свои давние интересы. Он заверил меня — уже после того, как мои люди произвели арест, — что он передает мне глубоко законспирированного агента Коминтерна и ЧК.

— Какие он дал доказательства в подтверждение?

— Он видел Исаева вместе с Шороховым. Он соотнес это с теми организациями в Ревеле, коими интересовался Исаев, — и выход получился довольно весомый.

— Больше ничего?

— Он считал, что основные материалы придут ко мне сами собой, после ареста Исаева. Он был убежден, что за него начнется борьба. Он рассчитывал на ваше появление, — Неуманн усмехнулся, — но не в лесу.

— Хорошо думает...

— Нолмар — талантливый разведчик. Он сейчас страшит меня более всего.

— А что, если вы напишете министру свои соображения по этому делу?

— Какие именно?

— Вы потребуете свободы действий, ибо арест Исаева инспирирован немцами, которые и в будущем могут сталкивать вас с Францией, Англией или Россией. Вы назовете министру фамилии нескольких ваших сотрудников, работающих откровенно пронемецки.

— Какую выгоду я получу, начав антинемецкую кампанию?

— А зачем вы определяете эту кампанию как антинемецкую? Определите ее как проэстонскую.

— Вы понимаете, как трудно мне будет после этого?

— Понимаю. Но, уповая на статус-кво, вы больше рискуете. Вы же восстанете против иностранцев, которые хотят ссорить Эстонию с соседями.

— Выгоды?

— Много будет выгод... Только еще раз проанализируйте, на чем вас может поймать Нолмар.

— Если он увидит нас вместе и будет знать, кто вы, тогда поймает. И наглухо.

— Кругом мои люди. На будущее устроим почтовый ящик и обговорим шифр.

— На этом все проваливались. Придумаем что-нибудь иное.

— Придумаем.

— Как мне искать вас завтра?

— Вот вам адрес: закажите, пожалуйста, костюм у этого мастера. Там увидимся от двух до трех.

— Хорошо.

— С Исаевым не будет никаких случайностей, если кто-то из ваших поймет, что его освобождают?

— Не знаю. Поэтому я думал, а не лучше ли провести это дело тихо, без шума и лишней огласки.

— Я за это, Артур Иванович, но боюсь, что министр потребует наказания виновных в аресте русского.

— Я не обязан знать подоплеку каждого ареста...

— Это министр не обязан знать подоплеку каждого

ареста, а вы, с его точки зрения, обязаны. Давайте говорить честно: зачем вы взяли это дело себе? Рассчитывали выйти на всю сеть, связанную с Исаевым? Разве нет? Вот и приходится теперь расплачиваться. Ладно... Кулаками, которыми машут после драки, стоит бить себя по голове... По-моему, тихо это дело не провести: вам придется столкнуться с Нолмаром.

Роман точно вел свою линию: освобождение Исаева наносило удар по всей сети Нолмара в Эстонии, которая была по-настоящему опасной. Сейчас Роман бил одновременно по двум мишеням, и это был тот случай, когда он имел реальную возможность обе мишени поразить.

— Личностью нельзя стать без риска, Артур Иванович. Вы вовлечены в сложный переплет, но не надо слишком-то уж осторожничать: бейте сплеча. После двух-трех объективных допросов Исаева вызывайте тех, кто готовил на него материалы, — а это люди Нолмара, — и требуйте немедленных доказательств. Те побегут к Нолмару, а ваша наружка — следом.

— В моей наружке есть люди Нолмара.

— Обратитесь к министру обороны: блок с вами ему выгоден, пусть поможет армейская контрразведка.

В МОСКВЕ

Разрешить выезд арестованному Прохорову в сопровождении опергруппы во главе с В. Будниковым на Мерзляковский переулок для встречи с Газаряном.

Г. Бокий.

«Выйдя из Мерзляковского переулка, Газарян несколько раз проверялся, а после этого, убедившись, что нет ничего подозрительного, направился на Поварскую улицу, дом 4, квартира 9. В этой квартире проживают следующие граждане: Ивлев — 1 звонок, Аникеевы — 2 звонка, Ловичев — 3 звонка, Шелехес — 4 звонка и Фирсанов — 5 звонков. Там он пробыл не более получаса (часы сломались, не мог определить точное время, а у помощников часов нет. Эфроимсон[1] из ХОЗУ до сих пор не выдал, хотя имеет предписание лично от Будникова). Выйдя оттуда, направился домой. По выходе его принял решение: двум людям наблюдать за Газаряном,

[1] Расстрелян в 1937 г. — *Ю. С.*

а остальных во главе с собой оставил для наблюдения за квартирой №9 по Поварской №4. Вскоре после Газаряна вышла старуха, которую мы довели до церкви Бориса и Глеба, где она, отслужив молебен, ни с кем в связь не входила и вернулась домой. Старуха нажала кнопку два раза, из чего можно сделать вывод, что она из семьи Аникеевых. После этого из квартиры выходил ребенок лет семи (женского пола). Ребенок играл в «дым-огонь» во дворе и никаких связей со взрослыми не имел. Третьим вышел лысый гражданин в хорошем костюме серого цвета, в башмаках на высокой шнуровке и с небольшим свертком в руке. Мы довели гражданина до Кремля, где он взял в Боровицких воротах пропуск на имя Шелехеса Якова Савельевича. Эти данные я получил у Евсюкова Георгия (Юрия, по-новому), который раньше работал на третьем подъезде в МЧК, а ныне стоит в бюро пропусков Кремля. Несмотря на товарищеские отношения, Евсюков отказался пропустить нас в Кремль для следования за лысым гражданином по служебным удостоверениям. Когда же он после нашего звонка в отдел получил указание пропустить нас, лысый обнаружен не был. Мы приняли его лишь через полчаса, когда он вышел из Кремля без свертка и направился в Скатертный, дом 2, квартира 6, где проживает две семьи: Шабаев и Пожамчи. Там он находится по настоящее время. Поскольку считаю нужным продолжать наблюдение и за лысым, и за Шабаевым с Пожамчи, а также за Газаряном, людей не хватает и прошу выделить еще группу в мое распоряжение.

Горьков»[1].

* * *

— Почему я должен отдавать им мои камни? — пожал плечами Николай Макарович Пожамчи. Он долил Шелехесу заварки: — Не боитесь, если покрепче?

— Но я один тоже не могу дать ему все, — раздраженно сказал Шелехес. — Лейте, я не боюсь крепкого чая. Почему это должен делать один я? В конце концов в Газаряне вы заинтересованы не меньше.

— Не сердитесь, Яков Савельевич. История вся глупая. Почему мы должны покрывать этого болвана из золотого отдела? Он провалился — пусть Газарян отдает свое золото...

[1] Расстрелян в 1939 г. — *Ю. С.*

— Человек, от которого зависит дело, требует камни. Там тоже поумнели: золото килограммы весит, а камни невесомы и безобъемны. И потом Газарян прикрывает нас.

— Кто прижал Газаряна?

— Отец Белова. Старик из торговцев, его реквизнули. Ему терять нечего. А мальчишка снабжал Газаряна золотом в пребольших количествах. Ну, папаша и поставил условие: жизнь сына — или донос в милицию. Поэтому Газарян и суетится.

— Слушайте, — задумчиво предложил Пожамчи, — если так, то на кой ляд нам с вами играть роль добрых меценатов? Баш на баш: пусть волочет нам золото, а мы ему выдадим бриллиантовых сколков — розочек... Что они понимают: настоящий бриллиант или розочка? Им важно числом поболе...

— Резонно. Я вас сведу с Газаряном.

— Зачем? Тут надо соблюдать дистанцию. Скажите, что, мол, жадюга Пожамчи требует золота. Валите на меня, все равно ему Пожамчи не укусить — зубы коротки...

— Говорят: руки коротки, — поправил его Шелехес. — Какое золото у него просить? В чем удобнее?

— Просите в хороших габаритах: кольца, монеты, портсигары...

Они говорили сейчас осторожно, прислушиваясь друг к другу. Основания для этого были достаточные: Пожамчи вызывали в Наркомвнешторг и фотографировали для иностранного паспорта. Более того, ему было сказано, чтобы он в ближайшее время был готов к выезду за границу. «За неделю перед поездкой познакомим с теми товарищами, которые будут вас сопровождать, а пока составьте реестр драгоценностей, которые, по вашему мнению, можно будет легко реализовать на международном рынке», — сказали ему.

В свою очередь Шелехес, поняв, что провал Белова — первая ласточка в цепи возможных провалов, только что передал Козловской, которая жила в Кремле, маленький сверточек.

— Здесь, — сказал ей Шелехес, готовясь вскрыть пакет, — сувенир для кузена: две деревянные матрешки «а ля хохлома». Кузен присылает питание, а мне ответить нечем... Вот, извольте взглянуть, товарищ Козловская...

Женщина остановила его:

— Яков Савельевич, будет вам, я ведь не таможенник, а ваш товарищ по службе. Адрес написали?

— А вот здесь, в конверте, письмецо и телефон. Ваша сестра позвонит Огюсту, восемьдесят четыре двадцать три...

В деревянных куклах были выдолблены пустоты, и Шелехес спрятал туда двадцать бриллиантов, самых редких, общей стоимостью на два миллиона золотых рублей.

Дальнейший план Шелехеса разнился от того, что задумал Пожамчи. Яков Савельевич рассчитывал получить разрешение на отдых в одном из прибалтийских государств. Для этого он уже несколько раз обращался в больницу с жалобами на боли в сердце. Он справедливо полагал, что память о его погибшем брате, секретаре Курского губкома, положение двух других его братьев позволит ему получить разрешение на выезд. Жену свою Пожамчи терпеть не мог, и поэтому для него не стоял вопрос, как быть с семьей. А для Якова Савельевича главным было, как вывезти с собой семью. Для этого он рассчитывал в Ревеле, куда отправится один, заполучить верного врача и послать телеграмму в Москву с требованием немедленного выезда родственников из-за опасного состояния больного. Более того, он рассчитывал получить справку о смерти, а затем попросту исчезнуть. Был Яков Шелехес — умер Яков Шелехес. А уж если его жена и дочь решили остаться в Ревеле охранять могилку, то это никак не может бросить тень на братьев, служащих диктатуре пролетариата. Он додумал и самые, казалось бы, мелочи. Он решил найти в Ревеле человека, который бы вступил в фиктивный брак с его дочерью, это бы также явилось весомым оправданием для братьев, в том, конечно, случае, если бы кто заинтересовался судьбой семьи их «покойного» брата.

Шелехес, кончив помешивать ложечкой сахар в стакане, глянул на Пожамчи, и они вдруг рассмеялись — одновременно, как сговорились, словно прочитав тайные мысли друг друга.

— Когда надо начинать опасаться? — спросил Пожамчи. — Предупредите заранее?

— Я убежден, что вы меня упредите недельки за три...

Пожамчи брал фору: если его отъезд состоится через две недели, он предупредит об этом Шелехеса дня за

три-четыре. Шелехес рассчитывал в свою очередь предупредить Пожамчи о своем отъезде за неделю.

— А что нам делать с газаряновским золотом? — допив чай, спросил Шелехес. — Мне золото держать не с руки.

— Мне тоже. Можно реализовать через старика Кропотова.

— Он предложит марки или франки. И то и другое шатается.

— Попросим доллары.

— Кропотов не дурак, — вздохнул Шелехес.

— У него сейчас мало работы, согласится. Обманет, правда, тысчонок на двадцать...

— Переживем, Николай Макарович... Ну, кланяюсь вам...

— Кланяюсь, Яков Савельевич... Поклон супруге и дочери.

«Выйдя из квартиры, где проживают Пожамчи и Шабаев, лысый направился в дом Кропотова: там он провел двадцать семь минут (часы оказались у вновь присланного сотрудника, время теперь даю точное) и вернулся домой. Кропотов через сорок минут вышел из дома и направился на Театральную площадь, где имел встречу с Газаряном, который передал ему чемоданчик.

Горьков».

— Главный вопрос, который меня мучает, Глеб Иванович, — докладывал Будников Глебу Бокию, — это куда делся Шелехесов пакетик? В Кремле пакетик-то остался, Глеб Иванович.

Бокий поднялся из-за стола, потерся спиной об угол большого сейфа — позвоночник немел все чаще, левая нога делалась неживой, тяжелой. Спросил:

— Кто ему пропуск заказывал?

— Не отмечено.

— Голову за это надо снимать. Сообщите коменданту: пусть дежурного отдадут под трибунал за ротозейство...

— Брать надо всех, Глеб Иванович. Цепь замкнулась: Белов — Прохоров — Газарян — Шелехес — Пожамчи — Кропотов.

— А дальше? Куда поведет нас Кропотов? Кого навещал в Кремле Шелехес? Где его посылочка? Нет,

рано еще, Володя. Сейчас надобно смотреть в оба и не переторопить события.

Дзержинский слушал Бокия очень внимательно. Потом он отошел к большому итальянскому окну и долго смотрел на площадь, всю в трамвайном перезвоне, криках извозчиков и звонких голосах мальчишек — продавцов газет.

— Зря отчаиваетесь, Глеб, — сказал он, выслушав Бокия. — В том, что вы для себя открыли, нет ничего противоестественного. Старайтесь всегда прослеживать генезис, развитие. Я просил Мессинга подготовить справку на всех участников. Картина получается любопытная. Родители Шелехеса имели крохотный извоз на Волыни. Черта оседлости, еврейская нищета — страшнее не придумаешь... Отец Пожамчи — дворник, у бар на праздники получал целковый и ручку им целовал и сына тому учил. Кропотов. Сын раба. То бишь крепостного. Ему сейчас семьдесят, значит, и его самого барин порол на конюшне, и отца мог пороть на его глазах, и мать. Так-то вот. Газарян — сын тифлисского извозчика. Отец Прохорова начинал с лакея: «Подай, прими, пшел вон!» И Прохоров ему помогал до тринадцати лет. Впрочем, Прохоров — особая статья, мы еще к нему вернемся. Люди помнят нищету — причем особо обостренно ее помнят люди, лишенные общественной идеи, то есть люди среднего уровня, выбившиеся трудом и ловкостью в относительный достаток. Мне один литератор как-то сказал: «Вы не можете себе представить, что значит таскать на базар подушки!» Эта фраза — ключ к пониманию многих человеческих аномалий, Глеб. До тех пор, пока будет нищета, люди, выбившиеся из нее, станут делать все, что только в их силах, дабы стать богаче, чтобы гарантировать себя и детей от того ужаса, который они так страшно помнят сызмальства. Поворошите память: самые четкие воспоминания у вас остались с времен детства?

— Нет, — возразил Бокий. — Каторга.

— Ничего подобного, — досадливо поморщился Дзержинский. — Что вам дороже: лицо отца; луг, который вы увидели первый раз в жизни; ряженые на святках; горе вашей мамы, когда вас нечем было кормить, или жандармская рожа в камере следователя? Вот видите... Спорщик этакий... Капитулируете?

— Нет. Соглашаюсь, — улыбнулся Бокий.

— Тогда извольте следовать далее... Страх перед

возможной нищетой способен подвигнуть человека и на высокие и на мерзостные деяния. Вот вам ответ на наши страхи.

— Тогда надо исповедовать Ламброзо — все зло в том или ином индивиде...

— Человек, индивид, как вы изволили сформулировать, живет не в безвоздушном пространстве, Глеб. Мы должны сделать главное: изжить завистливого, подсматривающего в замочную скважину мещанина, привести к рубежам научной революции новых людей. Ты умеешь, ты талантлив, ты работящ — достигнешь всего, о чем мечтаешь! Как это ни тяжко говорить, Глеб, но, сколько бы мы сейчас ни карали, язв нищеты не выведем: они должны рубцеваться временем. Вдумайтесь, отчего Ленин повторяет изо дня в день: учитесь, учитесь и еще раз учитесь? Отчего он так носится с Рамзиным, Графтио, с Павловым? Думаете, они лестно говорят о нас? Мне сдается, что они внуков не чертом, а чекистом пугают. И далеко не со всем происходящим согласны... А почему Ленин с ними так возится? Вдумайтесь! Потому что наука — сама по себе — рождает качественно новых людей...

— Вы говорите, Феликс Эдмундович, а мне так и хочется Пожамчи с Шелехесом отпустить на все четыре стороны.

— Нет, Глеб, они воруют бриллианты, на которые Запад продаст нам оборудование для электростанций. Диалектика — вещь жестокая, неумолимая, она не прощает двусмысленностей и отступлений от курса... Если мы хотим видеть нашу страну государством высокой техники, нам придется немилосердно расстреливать тех, кто страх за собственное благополучие — по-человечески это можно понять — ставит выше нашей мечты.

— Когда позволите доложить прикидку операции по Гохрану? — спросил Бокий.

— Сомнения ваши прошли? Тогда посидите, сейчас должен подойти Юровский, мы подключаем его к этому делу.

Яков Юровский был крепок, высок и красив сильной южной красотой. Даже зимой казалось, что лицо его тронуто загаром.

— Садитесь, товарищ Юровский, — сказал Феликс Эдмундович. — Мы пригласили вас в связи с очень неприятным, а потому особо ответственным делом.

...Юровский слушал Бокия, тяжело набычив голову, выставив вперед нижнюю челюсть. Иногда он делал заметки на папиросной коробке: Дзержинский отметил для себя, что Юровский точно схватывает существо дела.

— С Пожамчи легче, — сказал Юровский, выслушав Бокия. — Его надо пригласить в Наркомвнешторг и сказать, что отъезд назначен на завтра. Он притащит наших людей в свой тайник, если он у него оборудован не дома, а где-то в ином месте... Теперь с Шелехесом... По-моему, стоило бы меня нелегально ввести в Гохран...

Дзержинский покачал головой:

— У них своя контрразведка. Юровский не иголка в стоге сена, вас знают. Введем вас открыто, как ревизора от ЦК. Вести вам предстоит себя эдаким ваньком, который умеет давать указания, а вникать в суть не может. Тогда вы прищучите их на частностях. Нас волнует главное — как они организовывают хищения, потому что ревизии пока были благополучные. Тут следует поглядеть на будущее — лучше покарать один раз, чем бесконечно размазывать кашу по мостовой...

— Хорошо бы, конечно, посоветоваться с кем-то из опытных ювелиров, — сказал Юровский. — Лучше всего я такое дело схватываю в разговоре, на практике. Видимо, такого верного ювелира сейчас нет... Верить никому нельзя из этой публики.

— Никому, — согласился Бокий.

— Так уж никому? — спросил Дзержинский.

— Никому, — упрямо повторил Бокий. — Лично я никого не могу порекомендовать Юровскому.

— Пожалуйста, не говорите «никому», — раздраженно сказал Дзержинский. — Нельзя никому не верить. Вы обязаны исходить из посыла, что верить следует всем. Наша с вами задача доказать, кому можно, а кому нельзя верить. «Никому», — сердито повторил он. — Так можете заболеть манией подозрительности, Глеб.

— Феликс Эдмундович, — спросил Юровский, — этот Шелехес — не родственник нашему Федору?

— Родной брат, — ответил Дзержинский. — И я верю Федору так же, как раньше.

— Где он? Я его не видал много лет, — спросил Юровский.

Бокий вопросительно посмотрел на Дзержинского. Тот ответил:

— Федор Шелехес сейчас в Ревеле, наш резидент.

«По нашим данным, Кропотов в 21.54 звонил секретарю польской миссии Кочару и договорился о встрече возле бывшего «Яра», назвавшись Надеждиным. Встреча состоится завтра в 9 часов утра.

Оскольцев».

«ПОДГОТОВИВШИСЬ — ДЕЙСТВУЙ»

Услыхав звонок поздним вечером, Пожамчи вышел открыть дверь сам — жена легла спать.

— Кто там? — спросил он.

— Это я, — услышал он знакомый голос и, не поняв еще толком, кто это, отпер замок.

Воронцов оттер его плечом, дверь мягко прикрыл и, чуть тронув Пожамчи пальцами за руку, кивнул головой на темный коридор. Почувствовав пустоту в животе, Пожамчи быстро пошел к себе в комнату и сказал:

— Лиза, к нам гость.

— Простите за позднее вторжение, — мягко улыбнулся Воронцов, — но у меня срочное дело.

— Если вы обождете в коридоре, я поднимусь, — сказала женщина, — чайку поставлю.

— Пожалуйста, не тревожьтесь, — сказал Воронцов. — Мы только перебросимся тремя словами.

Воронцов успел заметить, что после общения с бандитами говорить он начал погано, по-мещански, округло. Он увлек Пожамчи к окнам, выходившим на темную Поварскую, и тихо сказал:

— Николай Макарович, я понимаю, что мой визит вас не обрадовал, но что поделаешь. Просьба у меня конкретная и легко выполнимая: мне нужен план Гохрана, расположение сейфов; посты внутренней охраны, ежели они существуют; слепок с ключей, какие только можно достать; список оружия, которое находится в распоряжении вахтеров, тайная сигнализация — где находятся провода, куда ведут, — словом, вы понимаете...

— Как не понять...

Ощущение томительной пустоты в животе постепенно прошло, руки снова потеплели, и кончилась противная дрожь в коленях. Мысль работала четко и слаженно — так у Пожамчи бывало всегда в минуты наибольшей опасности.

«Ограбление пойдет мне на пользу: вся недостача на ограбление спишется, — думал Пожамчи, застегивая пуговицы на пижаме, — а если он сломит голову и его шлепнут — тоже хорошо, не будет за мной ходить тенью. Только бы все это оттянуть на тот день, когда я пересеку границу. Ждать недолго. Как только выгоднее: чтобы его шлепнули — тогда надо донос писать, или чтоб все у него вышло?»

— Так, — сказал он шепотом, — ясно... Дело трудное и крайне рискованное, Виктор Витальевич...

— Я Дмитрий Юрьевич, и, пожалуйста, мое имя забудьте — это в ваших же интересах.

— Понятно, Дмитрий Юрьевич, — понятно, дорогой мой...

Воронцов снова одернул его:

— Я не «ваш дорогой», не сюсюкайте и рассуждайте вслух, если у вас есть какие-то сомнения по поводу моей просьбы.

— Просьбу выполню.

— В каком объеме? Ключи достанете?

— Постараюсь. Слепок постараюсь сделать.

— Когда?

— За недельку управлюсь.

— Сигнализация там у вас есть?

— Вроде бы нет.

— Посты внутренней охраны? — Воронцов спрашивал быстро, требовательно, приглашая Пожамчи к быстрым и четким ответам. Глаза его были прищурены — стальные, безжалостные, и Пожамчи не мог противиться силе, скрытой в его глазах, но успел горестно подумать: «Вот что значит кровь! А я из дерьма вылез, туда же и кану».

— Нету. Вроде бы нету, я там ночью-то не бывал...

— «Вроде»? Или точно?

— По всему — точно. Там в окнах свету нет по ночам.

— Это мне известно. План можете начертить?

— Какой?

— Где расположены сейфы?

— Могу.

— Сколько там ключей?

— Двенадцать сейфов и тринадцать несгораемых шкафов.

— Где что лежит? Можете указать?

— Камни там лежат.

— Я понимаю, что не куриный помет. Где бриллиан-

ты, где изумруд. Какой сейф самый ценный, какой победней... Это можете назвать?

— Могу.

— Так зачем же вам неделя на все это? — спросил Воронцов; усы его ощетинились, и Пожамчи подумал: «Как Петр Великий, честное благородное слово, чистый император».

— Для точности. И потом ключ достать...

— Ключ достанете к завтраму.

— Не смогу.

— Отчего так?

— Подготовка нужна. С охранником поболтать, угостить его чем — можно все дело провалить, если торопиться.

— Не лгите! Вахтер дежурит ночью у двери?

— Дежурит.

— Тот же, что днем?

— Нет, днем стоит Родион Кондратьевич.

— Ну, так дадите Родиону Кондратьевичу полмиллиона — он вам не то что ключ, он вам дверь Гохрана вынесет.

Пожамчи вдруг усмехнулся:

— За полмиллиона не отдаст. Не поверит. За бутылку водки и хлеб отдаст, это верно. Только мне еще там работать, я голову на плаху класть не хочу, да и вам какой от этого прок?

— Никакого... Вы правы — в отношении полумиллиона: мне всегда было свойственно идеализировать народ... Попросите-ка Родиона Кондратьевича, чтобы он помог вам шкаф оттащить...

— Какой шкаф?

— Который вы завтра купите на барахолке. А воровать — не мне вас учить, я сам учусь этому, Николай Макарович. Напоите его, Родионушку, да с ключа и сделайте слепок. Здесь дом, тут и стены помогают.

— Сделаю, — ответил Пожамчи.

— А я вас поблагодарю за это. Правда, вам моя благодарность не очень-то нужна, однако курочка по зернышку клюет. Десяток хороших камней прибавите к своей коллекции.

— Благодарствуйте.

— Завтра в семь возле Гохрана будет стоять извозчик... Лошадь у него белая, а сам он брит. Сядете к нему и, если он передаст вам привет от Димы, незаметно суньте ему слепок. Положите его в папиросную короб-

ку. Плох будет — придется переделывать. Планы положите туда же. До свидания.

Анна Викторовна ждала Воронцова в парадном.

— Все тихо? — спросил он одними губами.

— Двое пьяных тут бродят, ко мне приставали.

— Водкой сильно разит?

— Я не принюхивалась.

— Зря.

— Они шатались...

— Я тоже могу шататься, коли надобно. Где они?

— На улицу ушли.

Воронцов взял Анну Викторовну за руку и повел по лестнице вверх. Там он толкнул плечом чердачную дверь — подалась с трудом.

— У меня есть спички, — сказала Анна Викторовна.

— У меня тоже есть. Только зажигать их не надо.

В кромешной темноте он провел ее по чердаку, будто бывал здесь не раз, осторожно выдавил стекло в оконце, которое вело на крышу, вылез сам, помог вылезти женщине и шепнул:

— По лестнице — во двор, а там уйдем проходными.

«...Однако высокий, выйдя из квартиры Пожамчи, на улице не появился. Только потом, обнаружив исчезновение женщины, мы прошли на чердак, где и поняли, что он оторвался от наблюдения, выйдя через крышу, а потом через проходные дворы.

Непрахов».

В других сообщениях говорилось, что Газарян дважды передавал портфель Шелехесу, а тот в свою очередь с этими портфелями ездил к Кропотову. Эта линия была ясна: преступники решали дела с золотом и бриллиантами, которые «запросил» Тернопольченко через Прохорова.

«Купив на рынке трельяж, Пожамчи привез его домой с помощью рабочего Р. К. Писарева, служащего вахтером и грузчиком Гохрана. Р. К. Писарев вышел от Пожамчи через час, будучи навеселе, но не качался и, придя в Гохран, ни с кем в контакт не входил, а уснул в вестибюле рядом с вахтером Г. Б. Беспалко. Пожамчи из дома не выходил.

Горьков».

Бокий споткнулся на сообщении о «высоком» и несколько раз перечитал эти строчки. Всплыла в памяти шифровка Всеволода — Воронцов в России, Пожамчи с «высоким незнакомцем» в Ревеле... Бокий попросил вызвать к нему людей, ведших наблюдение, и, не говоря ни слова, показал им фотографическую карточку Воронцова.

— Он? — спросил Бокий, не смея верить в удачу.

— Он, — сразу же ответили ему, — только он сейчас с усами и старше.

Пожамчи вызвали в Наркомвнешторг и попросили быть готовым к послезавтрашнему дню.

— Вы едете в Ревель, а оттуда в Лондон, — сказал ему комиссар, которого раньше он не видел.

Комиссаром этим был Будников. Он рассчитал, что Пожамчи после такой беседы должен будет достать свои бриллианты из тайника — дома ли, за городом ли, неважно. Главное, получить улики и не дать уйти драгоценностям за кордон. Разговаривая с Пожамчи, Будников цепко приглядывался: ему было важно запомнить манеру гохрановского ювелира вести себя на свободе — это поможет верно выстроить схему допросов после его ареста.

— Что вы думаете по поводу фирмы «Джекобс и братья», Николай Макарович?

— Солидная фирма, — ответил Пожамчи, — оборотный капитал у них числится в миллионах фунтов, в десятках миллионов. Есть там у них особо деловой человек, мистер Карф.

— Он что, владелец фирмы?

— Нет. Он главный оценщик, — Пожамчи улыбнулся, — вроде как английский Пожамчи. Его слово о цене — закон для мира.

— Вы с Карфом знакомы? — спросил Будников.

— В двенадцатом году я у него был, мы тогда сделку заключили для вдовствующей императрицы, хорошую заключили сделку, но тогда ведь не торговались — сколько он запросил, столько и выложили. Деньги-то несчитанные были, кто тогда считал народные деньги?..

— Вы сможете увидаться с Кафром? Он вас запомнил?

— Так ведь нас тоже наперечет, ювелиров-то российских.

— А Маршан?

— Этот лис — самый мощный ювелир в мире, что ни говори... Он с нами подружится — все ювелиры подружатся, а отвернется — никто с нами говорить не станет, бойкот устроят...

— От Маршана, значит, зависит многое в реализации драгоценностей?

— От Маршана зависит все...

Отвечал Пожамчи сразу же, почти не думая, словно отличный ученик, привыкший изумлять педагога своими знаниями, памятью и смекалкой. «Поглядим, как ты будешь говорить у нас, — думал Будников. — Видимо, надо первый допрос поручить другому, а самому послушать за стенкой: можно будет отметить «контрапункты» лжи. Это я хорошо придумал, — похвалил он себя, — что решил с ним на свободе познакомиться».

«После работы Пожамчи, взяв извозчика, поехал домой, а потом отправился на вокзал, откуда последовал на ж.-д. станцию Клязьма, там он пошел в дом № 7 по Солнечной улице. Как выяснилось, именно там он снимал комнату с верандой на втором этаже на осенне-летний период у дачевладельца Усова Г. Е. Никаких других вещей, кроме портфеля, с коим Пожамчи приехал, оттуда не выносил. Проходя мимо пруда, Пожамчи бросил туда предмет, который похож на монету пятикопеечного достоинства. Вернулся Пожамчи домой и больше никуда не выходил и в контакты с посторонними лицами не вступал.

Усольцев».

— Ну, этого можно брать, — сказал Будников. — Когда сядет в поезд, тогда и возьмем.

Кропотову и поляку Кочару дали спокойно разойтись после того, как они обменялись портфелями, посидев перед этим на лавочке в сквере десять минут. Поскольку польский дипломат содержание кропотовского портфеля не просматривал, а старик не пересчитывал доллары, которые наверняка находились в портфеле, полученном им от Кочара, оперативная группа ВЧК сделала вывод, что обменивались они «товаром» отнюдь не в первый раз. На поляке цепочка замыкалась: дипломат мог увезти золото со своим багажом, не подлежавшим таможенному досмотру. Поэтому было решено разыграть «спектакль», заранее на этот случай отрепетированный. Поляку «подставился» извозчик, который

и был задержан вместе с пассажиром патрулем санитарной службы. В карантине при Балтийской железной дороге Кочару, который, естественно, документов с собой не имел, было заявлено, что он, извозчик и все пассажиры, нанимавшие этого извозчика, должны провести в карантине неделю — была зарегистрирована вспышка холеры (об этом, кстати, было сообщение в газете — от этого чекисты и пошли в решении операции). Чекисты также предполагали, что поляк от портфеля постарается, во избежание скандала, отказаться: объяснить, откуда у него столько золота, — дело сложное, в советских условиях невозможное.

Вышло так, как и предполагали чекисты. Кочару было разрешено позвонить в посольство, ему выделили отдельную палату и сказали, что карантин будет продолжаться шесть дней. От портфеля, предъявленного для опознания, он категорически отказался, сказав, что вышел из посольства для прогулки и никакого портфеля с собой не брал. Говорил он это с легкой улыбкой, видимо, понял, что карантин — игра и выгоднее всего, по условиям предложенной игры, не проявлять ни беспокойства, ни заинтересованности. В Кропотове поляк был уверен, да и потом, признайся тот в валютных операциях, доказательств нет: никто ему портфеля с золотом не навязывал, акт о сданных в дезинфекцию вещах он не подписал, так что с точки зрения закона не может быть никаких претензий.

Кропотова трогать не стали: было принято решение взять его лишь в том случае, если к нему позвонят из посольства, но звонка оттуда не последовало — вероятно, поляк покупал драгоценности лично для себя.

Бокий решил повременить, пока не возьмут старика с поличным: важно было уточнить, кто из троих придет — Газарян, Пожамчи или Шелехес. Пока все выстраивалось отменно — кроме посылки, которая исчезла из поля зрения чекистов в Кремле.

...Билеты на поезд Воронцов купил загодя. Налет на Гохран был рассчитан по минутам. Когда Крутов собрал своих людей, Воронцов разложил большой лист ватмана с планом и начал, как заученное:

— В одиннадцать выезжаем к Гохрану. Да, да, — сказал он, перехватив взгляд двух налетчиков, — будем брать Гохран. Ключ у меня, поэтому войдем мы спокойно — сторожа обычно сидят в комнатенке и пьют чай.

С нашими извозчиками останется Анна Викторовна. У нее есть бомбы, она сможет отбиться в случае неожиданности, которой, по моим расчетам, быть не должно. Вы,— Воронцов кивнул головой на двух налетчиков, — вяжете сторожей. На лица наденьте чулки, это лучше любых масок: чулок меняет лицо до неузнаваемости. Без ножей и пиф-паф, все должно быть тихо.

— Он говорит, чтоб без мокрухи, — пояснила Анна Викторовна.

Налетчики молча кивнули головами.

— Без мокрухи, — отчего-то улыбнулся Воронцов. — Верно добавила моя помощница. Олежек идет со мной и Крутовым к сейфу. Всю операцию надо провести за пятнадцать минут.

— Не успею, — зевнул Олежек.

— Успеешь, — улыбнулся Воронцов.

— А куда спешку пороть? Вошли — чего бояться? Можно без спешки. И не один можно взять сейф, а пять.

— Ты один возьми, — сказал Воронцов. — Там в каждом сейфе килограммов по сто лежит. Если все увезем — чекисты озвереют, а так кража и есть кража. Даже в Париже случается, а там порядок не то что здесь — бордель.

— А вы сами-то русский? — спросил один из налетчиков. — Если вы не советский, мы на дело не пойдем.

— Наш он, — успокоила Анна Викторовна. — Патриот. Русь любит. Разве мы с плохими людьми сведем?

Провожая налетчиков к калитке, Крутов чуть задержал их и быстро шепнул:

— После дела его и бабу — шилом в сердце, чтоб без писка, дуем на малину, там и разделимся по-христиански, без обману. Все! Мне задерживаться нельзя, он за каждой минуточкой следит.

А. О. Альскому

т. Альский! Обращаю Ваше внимание на этот доклад, представленный мне специально уполномоченным мной по соглашению с тов. Дзержинским товарищем из ВЧК. Я назначил обследование, вызвавшее этот доклад, после сообщения, полученного мною от надежнейших коммунистов, насчет того, что в Гохране неладно.

Сообщение т. Бокия вполне подтверждает это.

Обращаю Ваше самое серьезное внимание на это.

Вы в первую голову, затем **весь** состав членов коллегии НКФина, и т. Баша специально, должны уделить Гохрану вдесятеро больше работы. Если в кратчайший срок дело в Гохране не будет переорганизовано так, чтобы *вполне исключить* возможность хищений, а вместе с тем ускорить всю работу и увеличить ее размеры, то замнарком и **все** члены коллегии НКФина будут привлечены не только к партийной, но и к уголовной ответственности.

От промедления с работой Гохрана (зимой работать труднее, до зимы надо *много* сделать), от хищений в нем Республика несет *гигантские* потери, ибо именно теперь, в трудные дни, нам нужно **быстро** получить *maximum* ценностей для товарообмена с заграницей.

Необходимо:

1) организовать правильные и частые совещания с Бокием для быстрейшей реорганизации Гохрана;

2) охрану и надзор довести до совершенства (особые загородки; деревянные загородки; шкафы или загородки для переодевания; внезапные обыски; системы двойных и тройных внезапных проверок по всем правилам *уголовнорозыскного* искусства и т. д. и т. п.);

3) привлечь, в случае надобности, десятки и **сотни** ответственных и безусловно честных коммунистов Москвы для участия (скажем 1 раз в месяц или в 2 месяца) в внезапных, дневных и *ночных*, ревизиях. Инструкция и работающим и *ревизорам* должна быть *архидетальна;*

4) *все* без изъятия члены коллегии НКФ обязаны не менее 1 раза в месяц внезапно, днем и ночью, *лично* производить ревизию Гохрана на месте работы и везде, где могут быть хищения. Замнарком обязан вести лично секретный журнал этих ревизий.

Ввиду *секретного* характера этой бумаги, прошу Вас *вернуть* немедленно мне ее, с тем, чтобы *здесь же* расписались лично **все** члены коллегии НКФ.

Пред. СНК *В. Ульянов (Ленин).*

Воронцов ехал вместе с Анной Викторовной. На козлах был Леня-кривой. На второй пролетке сидели Крутов с Олежкой и трое налетчиков — их имен Воронцов не запомнил.

— Замерзла? — спросил Воронцов, чувствуя, как ее била дрожь.

— Волнуюсь: меня еще не брали на такую работу.

— Я тоже впервые выступаю в роли налетчика.

— Вы на санках кататься любили?

— Наверное. Не помню.

— Меня няня катала на санях до весны: я и сейчас помню, как полозья по булыжникам скрипели. Снег сойдет, а я все равно прошу на санках меня везти...

— Наверное, очень противно полозья скрипели, у меня даже мурашки по коже прошли, как представил.

— Няня пойдет на базар, а я сижу в санках у входа — лошади подъезжают, грязь, а я уставлюсь на маленький островок снега и смотрю — глаз не могу оторвать. Снег интересно проседал: вроде как человек, который сдерживается, чтоб не засмеяться; напрягается весь, а потом осядет плечами и захохочет... Снег весной — так же... Корочка льда чудом держится, под ней уж коричневый ручей протекает, а она все крепится, крепится, а после просядет, и потечет по ней ручеек, и снег станет грязным, а потом исчезнет. Ничто так безнадежно не исчезает, как снег весной...

— Это уже Островский подметил, — сказал Воронцов и, достав пачку «Иры», закурил на ветру — ловко и быстро.

— Это — первая ваша жестокость ко мне...

— Я не хотел вас обидеть. Меня всегда поражала разница в дружбе мужчин с мужчинами и женщинами...

— Мужчина не может дружить с женщиной.

— Почему?

— Белые, красные, зеленые, монархисты, анархисты, — мягко улыбнулась Анна Викторовна, — эти все договорятся, а вот мужчина и женщина никогда не поймут друг друга... А в общем, вы снова правы...

— Ну и слава богу...

— Дмитрий Юрьевич, а вам никогда не хотелось забраться куда-нибудь в глушь, построить там скит и жить...

— Одному? Или с вами?

— Со мной...

— Это не скит. Это блуд. Одному — хотелось бы.

— А отчего не уйдете?

— Боюсь. Красные утверждают, что человек — животное общественное. Я исключение не составляю. Я и сейчас порой испытываю острое желание надеть сюртук и поехать куда-нибудь в клуб; слышать там смех, голоса друзей, шутки... Мы ведь всегда бежим к чему-то неведомому, а добежав, возвращаемся снова на круги своя, и нет их слаще... Помню, в мирное время уеду на охоту, живу в шалаше, варю похлебку из уток. Счастлив, слов нет! Так день, три, неделя, а после засосет под ложечкой — в город хочу, в шум, в толчею. Вернешься, будто год не был. День, три, неделя — и думаешь, пропади ты все пропадом, ан охота кончилась, утки на яйца сели... Так вот все и упускал!

— Хорошо кухаркой быть...

— Почему?

— Стала к плите, отбарабанила день, дотащилась до кровати, уснула, утром снова к плите. Никаких мечтаний, только б скорее ночь, когда спать можно.

— Вам кухаркой работать не приходилось?

— Я сразу из девичества — в шлюхи...

— А я работал... Не впрямую кухаркой, но рядом... Лакеем... Бóльших мечтателей, чем лакеи от рождения, я в жизни не встречал. О, как они умеют мечтать, Анна Викторовна! Что наши с вами мечтанья!.. Если бы кухарки не мечтали — революции бы не было, милая!

Начальник охраны Евпланов допил свою кружку — сторожа заваривали чай с липовым цветом, — отер пот со лба и сказал:

— Чаек густой, с него пот прошибет и выжмет...

— Как в парной, — улыбнулся Бекматуллин, старик с бритой головой в черной тюбетейке, — весь отмокнешь.

— Мой зять, — сказал Евпланов, располагаясь на кушетке, — ученый, книг в дом завез тьму, так он сказывал, будто древние люди заместо «здравствуйте» друг дружке говорили: «Как потел?»

— Это как же? — удивился сторож Харьков. — Некультурно!

— Так они древние, — ответил ему сторож Карпов, — чего ж ты с них хочешь? У нас теперь спроси: «Как потел?» — сразу в ухо врежут.

— Подумают, с бабой потел! — мелко засмеялся Бекматуллин.

— Ты над женщиной не смейся, — сказал Карпов. — Ее нынче раскрепостили, понял?

— Раскрепощать надо по-доброму, — заметил Бекматуллин, — зачем неволить?

— У нас больно по-доброму, — вздохнул Карпов. — Народ с голодухи мрет, бани стоят не топлены...

Харьков чуть подтолкнул ногой Карпова и начал громко кашлять, а потом шепнул:

— С ЧК он, дурной...

— Ты выговаривайся, — хмуро попросил Евпланов, — я те отвечу...

— Не пугай... Ноне еды в тюрьмах дают столь же, как на волюшке.

— Дурак! — сказал Евпланов. — Дети у тебя есть?

— Убили моих детей, на фронте убили.

— Значит, внуки остались.

— А что толку? Сгинут от голода.

— Сопли будешь распускать до Твери — сгинут. Я, может, ради твоих внуков белому гаду руку отдал до плеча... Вон зять мой говорит, что у нас все детишки будут школу заканчивать, а потом вуз, а потом — все в чистеньком — командовать рабочим производством...

— Чего ты с вузом заладил? — спросил Карпов. — Может, не нужен моим внукам этот самый вуз. Может, им простая жизнь нужна — как в мирное время: вот те пятерка, а ты мне — корову. Не всякий человек жаждет управлять этим, как его...

— Рабочим производством, — подсказал Харьков.

— Во-во... На кой мне ляд твое рабочее производство?! Тьфу мне на него! С притопом...

— Это как же так? — поразился Евпланов и поднялся с кушетки, на которой он так удобно расположился. — Это ты что ж такое городишь? Ты с чьего голоса поешь, паразит?!

— У меня для паразита зад костлявый! И живот — яминой! Паразит... Как наган нацепил — сразу клеймо норовит на лбу прижечь! Свобода! Ты мне заместо этой вашей свободы порядок дай...

— Вот! Точно! — даже рассмеялся Евпланов. — Зять говорил, а я не верил: он мне говорил — рабом быть удобно, беспокоиться не надо; как корова в стойле — дадут ей сена, она себе и жует! Ну и жуй! А я не желаю!

— Кто был рабом — так и остался, даже при вашей свободе, — упрямо возразил Карпов. — Как при барине служил сторожем, так и при комиссарах им стою.

— А ты чего умеешь, кроме как сторожить? — спросил Евпланов. — Все вы от свободы куска хотите, а на ее саму вам насрать! Вот что я тебе скажу, не знаю, как там тебя...

— Карпов я, Трофим Иванов — беги донеси...

— Тоже мне, Керенский выискался, — буду я на тебя доносить! На умного бы сказал, а с тебя, с темноты, какой спрос? Я вона за свободу руку отдал по плечо, и ничего заместо не прошу, окромя чтобы мечты мои сбылись и чтоб твои, дуралея, внуки жили в царстве всемирной свободы, где все люди вровень!

— Не было такого и не будет никогда. Свобода свободой, а тюрьмы все полные: как раньше, так и сейчас.

— Тьфу ты! — даже удивился Евпланов. — Тьфу! Ну как у тебя язык вертится такое говорить, а?! Ну где ж нам бандита держать? В церкви, что ль?

— Свобода — это когда мир и благодать, — задумчиво сказал Карпов. — А если по ночам на улицах только собаки воют — какая тут свобода? Раньше-то на улицах — фонари до утра, и трещотка дворницкая, и трактир...

— Был рабом и сдохнешь рабом, — сказал Евпланов, — и ну тя к лешему, только расстраиваешь меня!

В это время дверь отворилась, и на пороге с револьверами в руках появилось двое: черти не черти, но лица коричневые и вроде бы прозрачные, а разглядеть за этой прозрачностью ничего и не разглядишь.

— Сидеть на местах! Кто двинется — пуля в лоб.

Евпланов потянулся было к маузеру, но тот, что был повыше ростом, взвел курок:

— Тут рукой не отделаешься, батя, а без головы не проживешь... Не трожь дуру...

— Ребята, ребята, — сказал Евпланов, — на государство руку поднимаете. Лучше подобру уходите, а то ведь всех к стенке, щадить не станут.

— Ничего, — успокоил его первый грабитель и двинулся к Евпланову, — к дуре не прикасайся, она мне пригодится.

— Не трожь, — сказал Евпланов. — Иди стреляй. Так не дам, понял?

Первый оглянулся на своего товарища: Дмитрий Юрьевич не велел стрелять, шум погубил бы все дело.

— Финкой, — сказал тот, что стоял возле двери, — это будет тихо.

Евпланов сообразил: боятся стрельбы. В долю секунды он кинулся с кушетки на пол, успел ударить грабителя мыском сапога в живот. Тот взвыл. Евпланов начал скрести пальцами кобуру, чтобы достать маузер, и не видел, как Карпов, схватив грабителя, который стоял скорчившись, поднял его перед собой и бросился на того, что замер у двери.

— Ах, сука! — закричал грабитель и, рванув своего товарища за куртку, другой рукой ткнул наганом что есть силы в живот Карпова. Он не хотел и не думал стрелять, но палец нажал курок, и прогрохотал выстрел, и в это время Евпланов, достав маузер, несколько раз выстрелил. Один упал молча, а второй закричал изумленно, тонким голосом:

— Ой, господи! Убили! Убили меня!

Бекматуллин осторожно вытаскивал у него из ладони наган, не в силах отвести взгляд от сахарно-белой кости, торчавшей из голенища сапога.

Воронцов бросил в мешок какие-то камни — какие, толком не успел разглядеть — и кинулся к выходу, ступая мягко, на носках, словно весной, когда скрадывал глухаря на току.

Следом за ним бежали Крутов с Олежкой-божьим человеком и Ленькой-кривым, который успел набрать несколько пригоршней бриллиантов. Воронцов проскользнул мимо освещенной двери, где были сторожа, успев крикнуть:

— Кривой, задержи!

Ленька, не входя в комнату, прямо через дверь выпалил весь магазин и хотел было броситься следом за своими, но тут в него вошла острая боль, а только потом он услышал выстрел и ощутил запах гари — как в детстве, когда жгли серу со спичек в подвале на Бронной.

Евпланов споткнулся о Леньку, упал, поднялся быстро и прохрипел:

— Бекматуллин, звони в ЧК!

Выбежав на крыльцо, он увидел две пролетки: одна ехала к Тверской, а вторая вот-вот повернула бы на Дмитровку. Он вскинул маузер и три раза выстрелил по двум седокам: один был на козлах, а второй, словно поп, в рясе или юбке: он не мог и представить себе, что стреляет в женщину.

Анна Викторовна увидела, как человек на крыльце

Гохрана вскидывает пистолет, целя в них. Она бросилась на спину Воронцову, схватила его голову руками и закричала:

— В сторону, Дима, в сторону!

А потом раздались два выстрела, и Воронцов ощутил толчок в лопатку — это была пуля, пробившая легонькое тело женщины.

«Будет кровь, — машинально отметил он, — на сером очень заметно».

— Аня, — тихо сказал он, чувствуя, как женщина медленно сползает у него со спины. — Аннушка, больно?

Он оглянулся: глаза Анны Викторовны были широко открыты — женщина была мертва. Где-то неподалеку загрохотали выстрелы. «По Крутову, — понял он, — сейчас начнется облава».

Воронцов спрыгнул с пролетки и метнулся в подъезд. Подъезд был заперт. Он побежал в переулок и спрятался во дворе маленького домика. Огляделся: в углу темнел сарай. «Переждать до утра? А мешок где? В пролетке. Конец? Нет, надо идти. Если остановят — отстреливаться, а последний — себе».

Евпланов долго сидел возле убитого Карпова и не мог отвести глаз от громадных, узловатых рук сторожа: они менялись, делаясь из бурых желто-белыми, чистыми, будто кто их отмывал мягким мылом.

А потом Евпланов заплакал, и он даже не знал, отчего он плакал сейчас, — много смертей пересмотрел он на своей жизни и никогда не плакал, только разве зубами скрипел и мотал головой...

И только уже под утро, когда наряд ЧК закончил осмотр места происшествия и взял расписку с Харькова и Бекматуллина, что они будут молчать о происшедшем вплоть до особого на то разрешения, он понял, отчего так горько было ему и тянуло сердце. Он вспомнил последние слова свои, сказанные Карпову, и понял он, что никогда не сможет покаяться перед сторожем в дурости своей и темноте, а «спи спокойно» и дурак любой скажет, в ком и вины нет и боли, а только жадное любопытство до похорон и чужих кладбищенских слез.

И Воронцов плакал, забившись в угол, на верхней полке поезда, шедшего в Псков, к эстонской границе.

Он все делал механически, подчиняясь кому-то второму, отстраненному, который руководил его поступками сегодня, начиная с выстрелов в комнате сторожей. Он механически снял свой казакин и оглядел, нет ли на спине пятен крови; так же механически объяснил извозчику, куда его доставить, — сказал, на Каланчевку, вокзал не назвал, опасаясь чего-то неосознанно, но, видимо, так надо было, — он доверился тому, кто сейчас руководил им в нем самом. Так же спокойно зашел в вагон, не обращая внимания на шпиков и милицейских, которые цепко оглядывали пассажиров, особенно с багажом. Раздевшись, он залез на верхнюю полку и сразу же забылся, будто упал в темную теплоту. Снились ему какие-то сладостные картины, а когда проснулся, перед ним появилось лицо Анны Викторовны. Он до того явственно увидел ее, что даже выставил перед собой руки. А она исчезла. И он заплакал. Он вспомнил нежное, доброе лицо жены, а потом увидел Анну Викторовну, а после ему пригрезились мать и дети.

«Все я потерял, все, — думал он, сдерживая рыдания, — любила меня женщина, больше себя любила — я отдал ее легко, бездумно этой страшной, жестокой жизни, где нельзя жить одному... Любила меня Аня, любила ведь; жизнь отдала за меня, а я, вместо того, чтобы послушать ее, как снега тают, — об Островском, чтоб, спаси Господь, не поверила в нежность мою... Всех растолкал, сам с собою остался: а зачем я себе нужен? Кому нужен я на этом свете? И чего я на этом свете искал? Нежность мне надо было беречь — и свою, и тех, кто мне ее отдавал, а я все борьбы хотел, истины, правды... Аннушка, бедная ты моя... Лежит сейчас на цинке, и к ноге бирка привязана...»

— Сынок, — услыхал он тихий шепот старухи с нижней полки. Она лежала с краю, осторожно прикрывая плюшевой кацавейкой внучку, разметавшуюся во сне. —

Ты чего, сынок? Не убивайся, не надо.

Воронцов выдохнул, не удержал голоса, всхлипнул. Старуха поднялась с полки, нашла в темноте его голову, стала оглаживать жесткие волосы, пришептывая:

— Ты помолись, миленький, помолись Господу, и сердечко твое отпустит, расслабит... Ну, не убивайся ты эдак-то, соколик бедненький, не убивайся, ишь спина как трясется...

Воронцов нашел руку старухи и прижался к ней

губами, лбом, слезами и замер так, только дрожь била спину и остро болело в левом виске...

«Разрешить оперативной группе во главе с Будниковым и Арутюновым провести облаву и обыск всех подозреваемых сотрудников Гохрана.

Член коллегии ВЧК *Бокий*».

БЕЗ УЛИК НЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Стенограмма очной ставки Прохорова и Газаряна.

Прохоров. А, скотина, сволочь! Попался. Наконец! Товарищи, это все он. Я — от сохи! Я мальчишкой, понимаете, землю пахал. Я знал, что такое нужда. Глеб Иванович, ты мне поверь. Мы с тобой, как говорится, не первый год знакомы. Газарян, именно он, пришел ко мне и предложил сорок миллионов за Белова. Я тебе рассказывал все подробно, как он предлагал, потом он... Газарян, ну, как у тебя могло повернуться мне это все предложить? Ну, ладно, я дурак. Клюнул, но я-то сейчас следствию помогаю, я всю правду сказал! Весь наш с тобой разговор на Мерзляковском записан на фонограф, я тот разговор по заданию проводил! Понял? Так что, Газарян, к стенке тебя немедленно надо ставить, чтобы не искушал больше честных партийцев!

Бокий. Ну что, Иван Иванович?

Газарян. Пусть его уведут.

(Прохорова уводят.)

Газарян. Я объявляю голодовку.

Бокий. Это еще зачем?

Газарян. А затем, что я не могу больше смотреть в глаза людям. А Прохоров, который, понимаете, мою водку жрал и женщин у меня просил, вообще не человек. И если уж я скот, так он скот в тысячу раз больший. Я хочу просто и спокойно умереть в тюрьме, в камере. И жизнь мне теперь и отныне ненавистна!

Будников. Честные люди смывают позор кровью, Газарян, да только ты если и был честный, то весь вышел.

«Я, Клейменова Клавдия Ивановна, продавщица обувной секции магазина № 16, познакомилась с Газаряном Иваном Ивановичем, когда он проводил ревизию

торговой сети. Он покрыл мою недостачу и дело в трибунал не передал, но взял с меня и с зав. секцией Шмелькова расписку, что мы будем на него работать. С тех пор он давал нам задания — с кем встретиться, кому отнести письмо, и я, и Шмельков, мы оба считали, что служим этим делу Советской власти. Что было в записках, я не читала, а людей, с которыми виделась, могу опознать и также все те квартиры, куда он меня посылал.

Записано собственноручно. *Клейменова».*

«Я, Белов Григорий Сергеевич, по существу заданных мне вопросов могу показать следующее: Газаряну я передавал золотые вещи в большом количестве, однако, сколько точно передавал, сейчас не помню, потому что много давал. Монеты давал, кольца и часы. Одни часы дал с боем песни «Взвейтесь, соколы, орлами», это помню ясно. Среди вещей, предъявленных мне к опознанию, опознать могу браслет с камнями, портсигар с вензелем В. В. В. Монеты опознать не могу, потому что они все одинаковые. Могу показать также, что Газаряну при мне передавали золотые вещи оценщики Петров, Крюков и Александрова-Ботачиано, из оценщиков бриллиантового отдела ни разу не видел, чтоб Газарян был вместе — ни с Пожамчи, ни с Шелехесом, ни с Александровым. По поводу Туманова должен показать, что он был зарезан мною, ударом ножа в шею, когда я повез его в лес, чтобы отдать его долю драгоценностей. Место опущения его в воду с камнями к ногам указано мною на месте агентам ВЧК. В чем и подписуюсь. Все указанное сделано мною не по умыслу, а случайно и по молодости лет.

Белов».

«Я, Газарян Иван Иванович, по существу заданных мне вопросов могу показать следующее: бриллианты мне передавал лично Шелехес во время наших совместных прогулок домой, а также их похищал я сам во время вскрытия сейфов с драгоценностями. Золото я получал от Петрова, Крюкова, Проскурякова, Сидорчука. Пожамчи со мной в преступном сговоре не состоял, и я никогда от него никаких драгоценностей не получал. Бриллианты, обнаруженные в выдолбленном отверстии деревянной ручки печати, коей я сургучевал сейфы, были мне переданы Шелехесом. Он же выдолбил отвер-

стие в моей печати для того, чтобы я мог спокойно уносить драгоценности из Гохрана.

Газарян».

«Настоящий акт составлен нами, агентами ВЧК: Тимошкиным, Макаровым, Дрыновым в присутствии Газаряна И. И. Настоящий акт составлен в том, что мы приехали по адресу, указанному Газаряном И. И., на станцию Тайнинская и здесь, в лесу (схема прилагается) под сосной, вырыли две консервные банки, в которых находились следующие вещи:

монет золотых, десятирублевого достоинства, царской чеканки	— 41 шт.
колец платиновых с камнями драгоц.	— 24 шт.
колец золотых с камнями драгоц.	— 41 шт.
жемчужных понизей зеленого цвета	— 6 шт.
портсигаров золотых	— 4 шт.
бриллиантов	— 51 шт.
жемчуга	— 49 шт.
часов золотых	— 32 шт.

Акт прочитан и подписан *Газарян*
Акт подписан *Тимошкин*
Макаров
Дрынов».

Пожамчи взяли в купе международного вагона. Будников заметил, как сразу же осунулось лицо Пожамчи, как со щек сошел румянец и выступили синие склеротические прожилки, и оттого, что кожа его сделалась пергаментной, сразу же обнаружилось, что Пожамчи красился: резкая белая полоска у корней волос странно контрастировала с вороненными остатками его шевелюры и желтизной кожи.

Обыскали его быстро, в карманах ничего не нашли, но когда открыли портфель (Пожамчи в этот момент даже зажмурился), там было обнаружено громадное количество драгоценностей: бриллиантов, жемчужных понизей и сапфиров.

— Ну, — сказал Будников, — давайте знакомиться. Я ваш следователь, зовут меня Владимир Петрович. Будем разговаривать сейчас или хотите передохну́ть в камере?

— Предпочел бы отдохнуть.

— Пожалуйста. Хочу только заметить — улики настолько явные, что мудрить нет смысла.

Пожамчи вспомнил, как в девяносто пятом году он попался на мелочи, когда работал в ювелирном магазине Шубейкина в Новониколаевске. Тогда его допрашивал старый, добродушного вида пристав. Вопросы он ставил неторопливо, но с каждым вопросом Пожамчи все явственнее чувствовал неотвратимость того, что в конце концов с ним должно случиться; за равнодушием этого старого полицейского он видел всезнание, и тогда — это запомнилось на всю жизнь — он испытал странное чувство: будто с каждым вопросом он делается все меньше и меньше, а потом он и вовсе показался себе крошечной козявкой.

— Нет, все же мне бы отдохнуть, — вздохнул Пожамчи, — годы у меня старые, Владимир Петрович, сердце не сдало б.

НКВТ. Просим вас обратиться к ювелиру Карфу в Лондоне — адрес его находится в «Аркосе» — и за плату, под присягой опросить его по поводу стоимости драгоценностей, изъятых у Пожамчи.

Ввиду срочности дела просим провести опрос Карфа незамедлительно. Опись прилагается.

Бокий.

А Кропотов при аресте умер. Тихо умер, в кресле, от разрыва сердца...

Под утро Пожамчи проснулся, чувствуя какую-то смутную и неожиданную радость. Он увидал маленькое зарешеченное окно под потолком, тусклую лампочку, забранную металлической решеткой, серые, крашенные масляной краской стены, но все равно что-то подспудно радостное было в нем. Он вытер со лба пот и вдруг вспомнил сон: на краешек кровати присела тетушка и, тихонько поглаживая его по плечам и по мокрой шее, говорила:

«Николашка, Николашка, дурачок! Ты этому злодею-то, который тебя давеча опрашивал, скажи, что камни купил по случаю на базаре у несмышленыша беспризорника, а взял их с собой, чтоб в заграница обменять на деньги и сюрпризом вернуть власти».

Пожамчи поднялся на кровати и вдруг, улыбнувшись, подмигнул кому-то в темном углу камеры.

— Ничего, ничего, пущай он меня столкнет с этого!

«Бог меня спас от того, чтобы с ним вчера говорить. С камнями они меня в Гохране не секли ни разу, а то б захватили там же, без пощады. Левицкому бриллианты совал Шелехес. Тот ни слова не скажет; не на того напали. Те камушки, что из портфеля забрали, — описи гохрановские не проходили. Чист я. Так они к каждому в дом нагрянут — мало ли у кого что лежит: всех в тюрьму не усадишь...»

Будников. Итак, вы утверждаете, что купили эти камни на Смоленском рынке 24 мая 1918 года?

Пожамчи. Ну, может, 23-го... Или, на крайний случай, 25-го... Я почему помню про май, Владимир Петрович... Я про май помню потому, что тогда Пасха была поздняя...

Будников. Вы помните какие-нибудь особые приметы беспризорника?

Пожамчи. Беленький такой... В больших сапогах, не по размеру у него были сапоги, это я хорошо помню... Глазенки черненькие, курносый...

Будников. Во сколько вы оцениваете стоимость изъятых у вас бриллиантов?

Пожамчи. Я рассчитывал миллион привезти в дар голодающим.

Будников. Миллион? В советских рублях?

Пожамчи. Да кто их... Нет, я рассчитывал привезти миллион золотом.

Будников. А больше могли привезти?

Пожамчи. Трудно ответить...

Будников. Значит, вы не можете ответить: могли бы вы продать эти ценности, за три миллиона?

Пожамчи. О трех миллионах и речи быть не может! Нет, тысчонок сто можно было взять сверху, никак не больше.

Будников. Как вы относитесь к английскому оценщику Карфу?

Пожамчи. Сурьезный человек. Я же вам говорил. Только вы тогда не чекистом были, а торговым комиссаром...

Будников. Кого вы можете назвать из ювелиров-оценщиков более подходящими кандидатами для торговых операций с нами?

Пожамчи. Карф самый надежный из всех.

Будников. Вы не помните место, где покупали

у беспризорника бриллианты в последнюю декаду мая восемнадцатого года? Я правильно называю дату?

Пожамчи. Совершенно правильно.

Будников. Припомните, пожалуйста, место, где вы покупали бриллианты у беспризорного, и, возможно, людей, что были неподалеку, их внешний вид.

Пожамчи. Мальчишка-то портфель принес, говорит мне: «Дяденька, купи портфель», а я ему: «Пшел вон, зачем мне портфель твой». А он тогда сказал, чтоб я внутрь заглянул. Ну, я как заглянул внутрь, так все вокруг исчезло, будто никого кругом не было...

Будников. Вы сразу поняли, что это ценные камни?

Пожамчи. Мне хватит одним глазком глянуть, ведь я всю жизнь этому делу отдал...

Будников. Я приготовил план Смоленского рынка — вот этот забор, а вот тут мясные ряды. Постарайтесь обозначить место, где вы встретили беспризорника.

Пожамчи. За точность до метра не ручаюсь, но, думаю, вот здесь. Лошадь там еще стояла, сено хрупала, возле забора.

Будников. Обозначьте это место и подпишите план рынка. Укажите, что крестиком вы отмечаете себя, был там тогда-то...

Пожамчи. Зачем же мне себя крестиком обозначать? Эта примета плохая. Я себя палочкой обозначу. Вот так.

Будников. Спасибо. А теперь ответьте мне, Пожамчи, как вы могли быть на Смоленском рынке в последней декаде мая восемнадцатого года да еще возле забора, если именно в мае восемнадцатого года рынок был закрыт, а забор, который вы так хорошо помните, поставлен лишь прошлой весной?

Пожамчи. Не может этого быть!

Будников. Вот заключение Хамовнического исполкома, можете ознакомиться, это заключение санитарной инспекции города, и, наконец, вот допрос управляющего рынком Усыскина...

Пожамчи. Тут какая-то путаница!

Будников. Я устрою вам очные ставки с управляющим рынка, с санитарным инспектором города и с представителем исполкома. Вас это устроит?

Пожамчи. Премного благодарен.

Будников. Теперь ответьте на следующий вопрос:

вы показывали, что знаете Карфа и верите в его компетентность. Карф по просьбе наших людей оценил в Лондоне бриллианты не в миллион золотых рублей, как это сделали вы, а в семь миллионов рублей золотом.

Пожамчи. Кто?

Будников. Карф. Ваш авторитет.

Пожамчи. Когда он оценил?

Будников. Вчера.

Пожамчи. Мало ли что можно сказать...

Будников. Карф мог ошибиться на шесть миллионов в оценке бриллиантов?

Пожамчи. Владимир Петрович, вы разрешите мне сперва акт посмотреть, где он подписуется под семью миллионами... А то я пока в растерянности и недоумении.

Будников. Я покажу вам этот акт, когда сочту нужным. Надеюсь, вы понимаете, что трибунал у меня поддельный акт не примет?

Пожамчи. Можно мне уйти в камеру?

Будников. Вы себя плохо чувствуете?

Пожамчи. Нет... Устал...

Будников. Я тоже устал. Тем не менее будем продолжать. Вы были знакомы с московскими или петербургскими аристократами, крупными капиталистами, политическими деятелями?

Пожамчи. Кто б меня из них на порог пустил... Принесешь какую ценность, в прихожей сунут чек, вещь возьмут — и все.

Будников. Лично вы с ними никаких дел не вели?

Пожамчи. Только выполнял поручения моих хозяев, Ивана Афанасьевича Ненахова и Павла Михайловича Рябинина... Они оба удрали, так что за них я не в ответе...

Будников. С Разумовскими не были знакомы?

Пожамчи. Никогда.

Будников. С Юсуповыми-Эльстонами?

Пожамчи. Да, господи!

Будников. С Воронцовым?

Пожамчи. Нет.

Будников. С Львовым?

Пожамчи. Нет, Владимир Петрович.

Будников. Значит, Воронцов лжет?

Пожамчи. Какой Воронцов?

Будников. Виктор Витальевич.

Пожамчи. А где он?

Будников. Вы с ним были знакомы или нет?

Пожамчи. Нет.

Будников. И не виделись?

Пожамчи. Нет.

Будников. Тогда позвольте спросить: с кем вы провели вечер в Ревеле в кабачке «Золотая крона» восемнадцатого марта этого года?

Пожамчи. Я?

Будников. Вы.

Пожамчи. А я не помню, где проводил вечер восемнадцатого марта в Ревеле...

Будников. Полно врать-то, Пожамчи. Идите в камеру и не удивляйтесь, если встретите в камере кого-нибудь из своих ревельских знакомых.

Пожамчи поднялся со стула и закричал:

— Только с ним не сажайте! Молю! Не могу я на его смотреть, на изверга! Не могу-у-у!

Будников не ждал такой реакции: сказал он про знакомых на всякий случай, ожидая, что Пожамчи начнет вертляво и осторожно интересоваться, кто именно может быть с ним в камере, назовет, возможно, фамилии, к этим фамилиям можно будет позже приглядеться и серьезно подготовиться, основываясь на этой зацепке, к следующему допросу.

— Тогда вот вам ручка и пишите мне все про него, — сказал Будников, заставив себя зевнуть и всем своим видом показать полнейшую свою незаинтересованность, — а я пока распоряжусь, чтобы его перевели в другую камеру...

Через два часа Пожамчи кончил давать показания о Воронцове: и о ключах для сейфа, и о предполагаемом налете, и о том, что белоэмигрантам нужно золото для борьбы с Советами, золото, а не бумаги.

Во время облавы на Гохран и повального обыска всех выходивших из здания служащих у Шелехеса найдено ничего не было. Не дал результатов продолжительный обыск у него дома. Когда чекисты приехали на его дачу, то руководящий обыском Мартирос Арутюнов только присвистнул — дача стояла на участке величиной два гектара. А дома ничего найдено не было, и перекапывать надо было два гектара, не меньше.

— На каком основании я арестован? — спросил Шелехес. — Я заявляю протест и отказываюсь давать показания до тех пор, пока сюда не будут приглашены представители Наркомюста и республиканской прокуратуры.

Несмотря на уличающие показания Газаряна, признание Левицкого в получении им от Шелехеса бриллиантов, несмотря на предъявленные к опознанию куклы, отправленные в Ревель мифическому племяннику Огюсту, Шелехес на все вопросы отвечал либо молчанием, либо полным отрицанием своей вины.

Кропотов, умерший в момент ареста от разрыва сердца, был недостающим звеном в обвинении Шелехеса.

— Газарян клевещет на меня, — говорил Шелехес, — я не могу принимать за серьезные показания изобличения жулика и подлеца, Левицкий — старый спец, который ненавидит всех и вся. Что касается Огюста, то позвольте мне называть племянником того человека, который мне мил и в воспитании которого я принимал посильное участие, либо вызовите его в судебное заседание. Не моя вина, если в куклы из Хохломы кто-то сунул бриллианты — я не собираюсь брать на себя чужую вину!

...Будников доложил все обстоятельства, связанные с Шелехесом, Бокию. Тот выслушал его, по своей обычной манере, хмуро и предложил:

— Давай-ка я с ним побеседую. Вон, — он тронул мизинцем несколько бумаг, лежавших перед ним на столе, — видишь, сколько писем пришло? Просят освободить и дают за него гарантию.

— Яков Савельевич, моя фамилия Бокий, я товарищ Феди.

— Не думал, что встречусь с Фединым товарищем в тюремной камере.

— Я тоже на это не рассчитывал.

— Не моя вина, товарищ Бокий, не моя.

— Моя?

— Недобросовестных ваших сотрудников, вот кого.

— Уж если кого нам и было горько брать, так это вас.

— Ваш сотрудник, который допрашивает меня, объявил мою вину: показания Газаряна — раз; дружба с покойным Кропотовым — два; бормотание Пожамчи — три; посылочка в Ревель — четыре. Если подходить с точки зрения логики, то все эти обвинения липовые, рассыплются, как только на них дунешь.

Бокий вдруг улыбнулся: улыбка у него была белозубая, обезоруживающая, добрая.

— Ну, дуньте, — сказал он, — дуньте. Честное слово, я готов дуть вместе с вами.

Шелехес сильной пятерней потер лоб, хмыкнул что-то под нос, потом широко расправил плечи:

— Ну, давайте, хотя мне это невыгодно: надо беречь позицию для суда.

— Я ж не веду протокола.

— А память зачем дана людям? Ну, ладно, Газарян. Первый пункт. Оговорить можно кого угодно и в чем угодно. Отчего вы верите проходимцу, а мне не верите? Где улики? Бриллианты в кармане? Дома в тайнике? Где они? Пункт второй. Кропотов. Как можно инкриминировать мне покойника? Посылка? Не отказываюсь, я ее передал товарищу Козловской, просил ее осмотреть — она должна это припомнить, если вы ее спросите, но она отказалась. Левицкий? Он и есть Левицкий. А если меня шельмуют?

— «Делает тот, кому выгодно». Это не я, Яков Савельевич, это древние. Кому выгодно вас шельмовать?

— Тем, кому поперек глотки стоят Федор и Осип.

— Я вас очень внимательно слушаю и готов слушать дальше, но просил бы вас не спекулировать именами братьев.

— Упоминание не есть спекуляция.

— Так, как это делаете вы, — чистейшей воды спекуляция, и это не понравится трибуналу, вы уж поверьте.

— Значит, несмотря на отсутствие улик, вы решитесь меня вывести на трибунал?

— Неужели вы думаете, что вас будут судить без улик?

— Какая же это откровенность: пугаете меня будущими уликами, а сейчас о них молчите... Ничего себе товарищи у Федора!

— Кто для вас дороже: братья или родина?

— Это несоизмеримые понятия.

— Какое больше?

— И мерить это нельзя, у человека ведь помимо разума есть сердце.

— Как вы думаете, если я подобный вопрос задам Федору, он сможет ответить?

— Не знаю. Они — иные. Они бы, верно, ответили, что им революция дороже, чем брат.

— Верно. Они скажут так. Слушайте, Яков Савельевич, я сейчас нарушаю все законы... Слушайте меня внимательно: скажите мне, где ваши драгоценности, и

мы сделаем все, чтобы сохранить вам жизнь. Поймите, на эти треклятые камушки мы должны покупать хлеб для умирающих детей. Вы ж сами отец... Пожалуйста, поймите меня и помогите мне помочь вам... У нас на вас есть улики, понадобится — будут еще. Поэтому, если вы скажете — ну хоть не под протокол, а так, — где все это взять, ей-богу, я буду стараться как-то смягчить дело. Иначе — я вас пугать не хочу — трудно мне будет, даже ради Феди, помочь вам.

— Это шантаж, гражданин Бокий, — сказал Шелехес после недолгого раздумья, — и я поставлю об этом в известность и ваше начальство, и трибунал!

Бокий отвалился на спинку стула, как от сильного удара, потом медленно поднялся и, сутулясь, вышел из кабинета, только у двери остановился и как-то недоуменно посмотрел на Шелехеса.

Ожидавший его Будников спросил:

— Ну, как? Вышло?

Бокий, не отвечая ему, устало махнул рукой и пошел к себе.

В приемной его ждал секретарь Уншлихта.

— От Владимира Ильича, — сказал он, передавая телефонограмму. — Просили сообщить о причинах ареста Шелехеса Якова Савельевича и спрашивали, возможно ли его освобождение до суда на поруки партийных товарищей или перевод из мест заключения ВЧК в Бутырскую тюрьму.

Бокий взял ручку и написал ответ — быстро, без исправлений, словно он давно ждал такого запроса:

> *т. Уншлихт!* Шелехес Я. С. арестован по делу Гохрана и обвиняется в хищениях ценностей. Освобождение до суда по ходу следствия не нахожу возможным. Также считаю необходимым содержать его во внутренней тюрьме ВЧК.
>
> *Бокий.*

Второе письмо он отстукал одним пальцем на пишущей машинке:

> *Товарищ Ленин!*
>
> Вами поручено мне ведение следствия по делу о Гохране. О ходе какового следствия я Вас еженедельно ставлю в известность.

Среди арестованных по сему делу имеется родной брат нашего Шелехеса — оценщик Гохрана гр-н Шелехес Я. С., за которого хлопочут разные «высокопоставленные лица», вплоть до Вас, Владимир Ильич (Ваш запрос на имя т. Уншлихта от 8 с. м. за № 691). Эти бесконечные хлопоты ежедневно со всех сторон отрывают от дела и не могут не отражаться на ходе следствия.

Уделяя достаточно внимания настоящему делу, я убедительно прошу Вас, Владимир Ильич, разрешить мне не обращать никакого внимания на всякие ходатайства и давление по делу о Гохране, от кого бы они ни исходили. Или прошу распорядиться о передаче сего дела кому-либо другому...

Бокий.

т. Бокий!

В письме о *Шелехесе (Якове Савельевиче)* Вы говорите: «за него хлопочут» *вплоть* до Ленина и просите «разрешить Вам не обращать никакого внимания на всякие ходатайства и давления по делу о Гохране».

Не могу разрешить этого.

Запрос, посланный мной, *не есть* ни «хлопоты», ни «давление», ни «ходатайство».

Я обязан запросить, раз мне указывают на сомнения в правильности.

Вы обязаны мне *по существу* ответить: «доводы или улики серьезны, *такие-то*, я *против освобождения,* против *смягчения*» и т. д. и т. п.

Так именно *по существу* Вы мне и должны ответить.

Ходатайства и «хлопоты» можете *отклонить;* «давление» есть **незаконное** действие. Но, повторяю, Ваше смешение *запроса* от Председателя СНК с ходатайством, хлопотами и давлением *ошибочно.*

Пред. СНК *В. Ульянов (Ленин).*

Товарищ Ленин, я прошу разрешить прислать Вам окончательную справку по делу Шелехеса Я. С. через десять дней после проведения необходимой операции в Ревеле, каковую должен

будет осуществить наш резидент, Шелехес Ф. С., брат арестованного.

Бокий.

Потом он позвонил в инотдел и договорился о срочной отправке в Ревель эстонца Виктора Пипераля[1], затем вызвал сотрудников из научно-технической экспертизы и, положив перед ними на стол шифрованное письмо «племяннику» и собственноручное показание арестованного Шелехеса, а также его жалобу Дзержинскому на «произвол и беззаконие ВЧК», сказал:

— Срок три, от силы пять дней. Задание: установить, идентичны ли почерки; расшифровать письмо племяннику, соотнеся расшифровку с оценочным листом Наркомфина и Гохрана на драгоценности; указать дату составления письма «племяннику». Задача ясна?

ЦЕНТР ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ДОРОГ

«Дорогой товарищ Ленин, в Москве ЧК арестован мой брат Яков Савельевич Шелехес. Я не могу поверить, что он совершил преступление против республики. Он не член партии, но в его доме мы с братьями скрывали от охранки Каменева, Скрыпника, Томского, Крестинского, Енукидзе. Прошу дать указание разобраться самым тщательным образом. Если нужны ходатайства, то товарищи с дореволюционным стажем готовы будут поддержать мою просьбу.

Осип Шелехес. ПУАРМ-5».

* * *

Ульян Калганов был мужик тихий. Одни считали, что он смущается своего писклявого голоса, который никак не гармонировал с огромным ростом и бычьей, неподвижной шеей, — когда его окликали, он оборачивался всем корпусом; другие говорили, что он из староверов, а потому сторонится общества и беседует только со своей бабой; третьи просто-напросто считали его недоумком.

Был он непьющим, гулянок сторонился и даже на Петров день отводил ото рта чарку: в детстве его напоил отец, и он два дня лежал при смерти — исходил желтой рвотой. С тех пор запаха самогона не выносил — с души воротило.

[1] Расстрелян в 1939 г. — *Ю. С.*

Мужики и за это его не любили, хотя бабы жене его, Фросе, завидовали: «Нашим бы такую хворь — вот счастье было б...»

На войну его не забрили — был слеп на левый глаз, хотя и не заметно это: глаз как глаз, только зрачок с желтинкой.

С этого времени и начала его жизнь меняться. Мужиков в деревне осталось пятеро, а земель здесь, на границе с тайгой, было много. Вот и пошли солдатки к Ульяну за помощью. За весну и лето он почернел весь, высох. Плечи его из-за этого стали казаться громадными и похожи были на сложенные крылья большой птицы.

Осенью, собрав урожай, он взял у солдаток по четвертой части урожая — по-божески взял. Уехал в город и вернулся с молоденьким цыганистым пареньком: вместе они пригнали трех коней, быка и пять коров — хлеб покупали хорошо.

Следующей весной Ульян работал от зари до зари вдвоем с цыганом, а осенью пригнал еще пять коней и девять коров.

Теперь к нему раз в неделю приезжал на тарантасе старик Надеин, хозяин маслозавода, и увозил три деревянные кадки с желтой сметаной.

Зимой через деревню прогнали триста новобранцев. Вел новобранцев ротмистр Тарыкин. Ночевать он остановился у Калгановых — дом был чистый, пахло в нем кедрачом и хлебом.

— Куда ж тебе такое богатство? — спросил Тарыкин после ужина, когда Фрося подала самовар и бутылку красного сладкого вина. — Что со своими деньгами делаешь?

И вдруг Ульян заговорил. Голос у него был тихий, но не писклявый, а какой-то дотошливый — есть такие нутряные голоса: от них запах сильный идет, если близко слушать.

— Господин офицер, я и сам думаю, куда? Темень наша непролазная... Может, вы б чего подсказали?

— Какая ж ты темень, — ответил ротмистр, — вон и говоришь по-людски, а не как индюк. Новобранцы у меня, как индюки, — блю-блю, а понять ничего не поймешь.

— А я с людишками внутри себя привык говорить — когда внутри говоришь, складно выходит, только спешить не надо. Отстоится — загустеет, дельно пойдет.

— Вот-вот, это как раз по-индюшачьи: «отстоится, загустеет, пойдет». Ну, что это такое? Про что?

— Про то, господин офицер, что молоко, отстоямшись, загустеет в сливку, а с нее сметана. Слова — так же.

— Так и говори... Ну, о чем хотел посоветоваться?

— О том, что мне с достатком делать?

— Заводишко открой... Смолу кури или купи кузню.

— Людишки на меня озлобятся. У нас тех, кто скакает из гумна в хоромы, не любят. Так-то я тихой, кривой к тому. А купи заводишко или трактир открой — плювать вослед станут: мироед!

— На всякий чих не наздравствуешься, Ульян. В мире силу ценят. Будешь сильным — пусть ненавидят и за спиной от ненависти кровью харкают, в глаза все равно улыбаться станут и шапку драть.

— Это у кого кровь есть чужая, тому можно. А я тутошний, мне из себя труса не выцедить... Компаньона бы мне, — сказал Ульян и осторожно глянул на ротмистра. — Вроде как я нанялся приказчиком и все это не мое.

— Платить компаньону сколько будешь?

— Договориться можно.

— Не тяни. Это как мужика подряжать в саду работать: «Сколько платить?» — «Сколько дадите». — «Тьфу! Работа ж твоя! Почем ценишь?» — «Сколько дадите». Так я копейку давал. И гнал взашей. «Когда, — говорю, — цену надумаешь — приходи!»

— От оборота пять процентов, господин офицер.

— А оборот каков? Рупь целковый?

— Да я полагаю, что пятьсот рублей на год я вам откладывать могу.

— Откладывать? Голубь мой, я ж не мужик! Мне деньги нужны для того, чтобы жить. Я на фронт иду, а не на охоту. Присылай мне по пятьсот рублей в год и зови старосту: напишу прошение. Трактир? Или завод?

— А вы напишите, дескать, Ульян Гаврилов Калганов — мой приказчик и поручаю ему открывать дела по собственному усмотрению. И все.

— Нет, я еще допишу про пятьсот рублей.

— Господин офицер, а ну вы с войны-то вернетесь и у меня все добро оттягаете?

— Давай сейчас тысячу, и я отпишу, что получил взаймы от тебя деньги и никаких претензий в будущем не имею...

В двадцатом году Ульяна реквизировали.

А вскоре из тайги вышел Тарыкин — левый рукав

пустой, засунут в карман френча. Месяц он отлеживался у Калганова на сеновале и ел картошку с салом. Потом как-то под вечер спросил:

— Ну и что? Утерся? Так и будешь сидеть да молчать?

— Против власти не пойдешь...

— Какая это власть? Это пьянь верх забрала да безделье! Кто правит деревней? Горлопан, у кого за душой ни гроша!

— У него наган.

— Значит, полагаешь, следует обождать?

— Полагаю — да.

— Ну-ну, — сказал Тарыкин, укладываясь в сене поудобнее. — Счастливо тебе.

— Или послабленье придет мужику, или кровь польется.

— Ну а если кровь? Кто начнет?

— Я не начну.

— Вот так вы все и киваете друг на дружку.

— А вы? Пулеметы в тайге у вас спрятанные — и начинали б.

— Пулемету две руки нужны, Ульян. А то б я начал.

— Ну, постреляете комбед. А дальше? Эскадрон придет с города — и к стене.

— Тайга большая, ушел бы.

— А заместо энтого комбеда новый посадят.

— И тот бы пострелял: налечу из тайги, и точка.

— Третий придет.

— И третий надо снимать. Тогда страх начнется. Нам в России без страха нельзя. Слова у нас не понимают. У нас если что и понимают, так страх!

В феврале двадцать первого года вспыхнул мятеж, охвативший Барабу, приуральские степи, Омскую и Тобольскую губернии. Сорок тысяч стали под знамена мужицкой армии.

Ночью двадцать седьмого февраля Ульян разбудил Тарыкина и сказал:

— Слезай с печи, самовар стоит.

Второй раз в жизни выпив сладкого красного вина, он испытал странно-блаженное чувство; в животе жгло, под языком липло густой сладостью, в голове кружило и шумело.

— Где пулеметы, господин офицер? Сейчас сгодятся.

— Под снегом разве откопаешь?

— Я к труду приучен.

На следующий день Ульян и Тарыкин перестреляли комбед; ходили из дома в дом и с порога били комбедовцев навскидку с ружей: как утоĸ на осенней охоте, при взлете.

А когда Красная Армия повела наступление, Тарыкин и Ульян ушли в тайгу и повели за собой двенадцать мужиков — пробиваться в Синьцзян, к китайцам.

Перед тем как покинуть родной дом, Ульян долго ходил по комнатам: обошел зало, аккуратно расправил складки на белой, с атласной бахромой скатерти, полил герани, стоявшие на подоконниках, проверил, хорошо ли заперты ящики в комодах, и поправил большой лист фотографических портретов родни, который висел под стеклом в простенке.

— Ульянушка, ты че? — тихо, дрожащим голосом спросила жена. — Че ты?

— Пшла, — тихо ответил он. — Пшла отсель...

«За что ж нас зверьями делают? — думал он. — За что в тайгу отжимают?»

— Ульянушка, — снова позвала жена, — там уж все ожидают нас. Пойдем, Ульянушка. Во двор повозки пришли.

Пружинисто поднявшись, он перекрестился на образа, потом снял одну икону и передал жене:

— С собой возьмем.

Когда повозки выехали на улицу, Ульян достал из мешочка две большие самодельные бомбы, спрыгнул с повозки, передав повод Фросе, и быстро побежал к дому. Осторожно разбил стекло в окне, сорвал кольцо и, опустив бомбу в зало, лег на землю. Через несколько мгновений дом его словно бы вырвало: разлетелись рамы, соскочила с петель дверь, понесло тяжелым, желто-бурым дымом.

Тарыкин после спросил его:

— Зачем ты так?

— Путь трудный, а я на ненависть не был заряжен. Теперь бездомный я, пуповину порвал, терять нечего.

И пошли люди Калганова и Тарыкина через Сибирь.

И прошли они так больше тысячи верст, и подходили к Иркутску, как раз к тому месту на тракте, по которому ехали в старенькой машиненке Шелехес с Владимировым.

Осип Шелехес заехал за Владимировым: он должен был отвезти старика в третью бригаду — читать лекции красноармейцам.

Как обычно, Владимиров пилил Осипа:

— Был прекрасный учительский институт, так нет — давайте перекорежим на новый лад и назовем «наробразом». Дикобраз — наробраз! За три года вы учителя из неуча не сделаете! Вы получите всезнаек! Осип, ты слушаешь меня?

— Не очень, — ответил Шелехес: мысли его были в Москве.

— А в чем дело?

— Да ничего.

— Или ты будешь слушать, или я стану дремать.

— Подремлешь на этих рытвинах, — хмуро усмехнулся Осип.

— «Лет через пятьсот дороги, верно, у нас изменятся безмерно, — продекламировал Владимиров, — шоссе Россию здесь и тут, соединив, пересекут». Пушкин. Единственное, в чем ошибался.

— Слушай, — вспомнив что-то, обернулся Шелехес, — тут сигнал пришел: ты вроде бы говорил, чтоб в музей повесить рисунки царей. Брешут, наверное?

— Почему? Правда. Не всех, конечно, но Ивана, Петра, Александра Второго — непременно следует экспонировать!

— А Столыпина с Витте? Тоже в музей?

— Конечно. Они — вехи истории Российского государства. Вне их платформ нельзя понять нашу борьбу.

— Знаешь что, Александрович... Человек я совестливый и не могу позабыть, как в ЧК ходил, про тебя советовался. Иначе, честное слово, первым бы на тебя написал. Изолировать от общества как вредный элемент. Ну, что ты такое несешь? Николашку — в советский музей?! Да трудящиеся такой музей сожгут. И правы будут. Ты вот всегда, как змей: начнешь издали, вроде бы про ничего, а кончишь реставрацией монархии.

Шофер обернулся и, улыбнувшись — на сером пыльном лице сверкнули зубы, — сказал:

— Товарищ Шелехес, а я молодой, мне интересно Николашку поглядеть. У него, люди сказывают, все зубы были из золота, а один глаз неусыпный, вечно щурился.

— Ну вот, — удовлетворенно сказал Шелехес, — ты получил союзника. С золотыми зубами.

— А чем вам интересен портрет бывшего царя? — спросил Владимиров шофера.

— А всегда интересно разглядеть, кого шлепнули.

И вот о Пушкине нам тоже на курсах говорили, что он сам-то из африканской царской семьи. Кучерявый такой, с вами схожий, товарищ Шелехес. У нас вон, на улице, гармонист живет, Усынкин Кондрат Олегович. Он сам песни складывает. Ему кто поднесет, он в честь того и складывает. Хорошо у него выходит, до слез. Он папане моему сложил: «Твой сынок далече ездит, скоро в море уплывет, пароход по морю ходит, сверху лебеди летят...» — пропел шофер и замолчал.

— Можно врагов опасаться, Осип, голода, болезней... Только нельзя бояться истории своего государства и его культуры... «Пароход по морю ходит, сверху лебеди летят...» Прекрасно ведь, а? Без Пушкина-то разве б спел такое Усынкин?

— Я, знаешь, чего в тебе боялся? Я боялся, что ты над простым народом можешь подшучивать, как твои интеллигентики в университете...

— Ты ничего не знаешь о русской интеллигенции, Осип. Убежден, о народниках ты слыхал лишь то, что они шли по неверному пути. Разве нет?

— Может, по верному шли?

— Нет, а что ты все-таки о них знаешь? Или о дворянине Радищеве. Или об аристократе Чаадаеве?

Шелехес вздохнул, свернул цигарку.

— Я вот что думаю, Александрович... Нам важно, чтобы в народе — до победы революции в мировом масштабе — любовь была к республике и ненависть к врагам. А как победим, и с интеллигентами твоими разберемся, всех по полочкам расставим. Я нутром понимаю, чего ты хочешь. Но ты и нас пойми. Хлеба нет. Заводы стоят. Тут золота брали при Николашке тридцать пять тысяч килограммов в год, а мы еле-еле три тысячи скребем. Драг нет, лошадей нет. Ничего нет. А все одно, Карскую экспедицию мы снарядили? Снарядили. Корабли провели в Европу? Провели. Университет открыли? Открыли, а ведь его тут, в Иркутске, уж семьдесят лет твои интеллигенты хотели открыть. Восточносибирское геологическое отделение наладили? Наладили. Экспедиции в этом году в тайгу пошли: за марганцем, за углем, за железом, золотишком. Картинную галерею открыли? Открыли, хоть и с твоей помощью... Это, кстати, я на себя риск взял. Накормим народ, оденем, отобьем от китайца с японцем — тогда другое дело. А сейчас ты смуту можешь своими разговорами внести, смуту, Александрович, а она кровава и тебя же первого изничтожит...

— Шоферу в затылок бей, — сказал Тарыкин Ульяну.

Выстрел грохнул гулко, покатился по тайге многоголосым, высоким эхом. Шофер свалился грудью на руль, машину повело в тайгу, ударило передком о ствол дерева.

Шелехес вытащил маузер и сказал Владимирову:

— Приляг, они сейчас по нас бить будут.

Владимиров перегнулся к шоферу, обнял его за плечи, потянул на себя. Парнишка легко подался назад; под ухом была маленькая черная дырочка, а правый висок разбит. Кровь пульсировала в громадной рваной ране.

— Возьми у меня под ногами карабин, — сказал Шелехес. — И вылазь из машины, в тайгу побежим.

Он спрыгнул на землю. Раздался второй выстрел. Шелехес охнул и выронил маузер: рука была перебита в локте.

И тогда из-за деревьев вышли Тарыкин, Ульян и еще пятеро.

— Здорово, комиссары! — сказал Тарыкин. — Больно рученьку, кучерявый?

«Пароход по морю ходит, сверху лебеди летят», — вдруг до боли ясно услышал Осип. Он сказал:

— Здесь только один комиссар. Старик беспартийный.

— А чего ж он с тобой катается? — удивился Тарыкин и подтолкнул Шелехеса стволом винтовки. — Пошли в тайгу.

— Прощай, Александрович, — сказал Шелехес.

Тарыкин спросил Владимирова:

— Вы кто? Комиссаров мы вешаем, попутчиков расстреливаем, обманутых освобождаем.

— Обманутый он, обманутый, — глухо простонал Шелехес, потому что кровь из локтя хлестала безостановочно.

— Я никем не обманут, — сказал Владимиров шепотом. Откашлявшись, он повторил: — Я никем не обманут, граждане.

— Если обманутый, пусть уходит, — сказал Ульян, — у него лицо наше, с добротой... Хорошее у него лицо.

— Повторяю: я никем не обманут! — сказал Владимиров.

Тарыкин, легко развернувшись, ударил Осипа прикладом по лицу, и тот упал.

— Ну, бандит, — прохрипел Шелехес, — ну, паскуда,

революционный народ тебя настигнет! А вы, дурни, чего с этой белой костью идете? Он же помещик! Вяжите его, гада!

Тарыкин засмеялся:

— Пропагандист-агитатор? Тогда вешать не будем. Как Джордано Бруно — на костер. Пусть отречется. Как, дедушка, интересно будет посмотреть, а?!

Владимиров не ждал того, что он сделает — это получилось неожиданно для него самого, — он плюнул в лицо Тарыкину.

— Вы — скот! — крикнул он. — Скот!

Тарыкин, подпрыгнув, ударил ногами Владимирова в живот. Старик обвалился молча, кулем, а Тарыкин мягко упал на бок, на здоровую руку. Полежал на земле с закрытыми глазами, потом вытер лицо об мягкий пахучий мох и сказал:

— Ну их к черту, спектакль разыгрывать. Давайте, мужики, кончать с этим.

* * *

Арест М. М. Исаева считать незаконным, а посему предписывается освободить его из-под стражи.

Неуманн.

Утверждаю: *Эйнбунд.*

Министерство иностранных дел свидетельствует свое уважение посольству Германии в Эстонии и при этом просит полномочного посла принять меры к пресечению деятельности О. Нолмара, несовместимую со званием дипломата. В случае, если О. Нолмар не прекратит свою деятельность, недопустимую в суверенной державе, министерство иностранных дел будет считать О. Нолмара персоной нон грата и потребует его высылки.

Поручить А. Ф. Шварцвассеру расследование незаконной деятельности сотрудников секретной полиции Ф. Таммана, В. Граубе, Р. Валленштейна, О. Керера, передать А. Ф. Шварцвассеру папки № 4 и № 9 с грифом «Совершенно секретно». Обязать А. Ф. Шварцвассера передавать папки № 4 и № 9 на хранение в спецсейф сразу же после окончания работы по надобности.

А. Неуманн.

Утверждаю: *Эйнбунд.*

Прошу А. Неуманна оказывать Шварцвассеру всяческую помощь в этом деле и прошу Неуманна поддерживать связь с МИДом, не предпринимая без согласования с ним никаких шагов.
Эйнбунд.

Вчера из Ревеля выехал бывший торговый атташе Германии в Эстонии О. В. Нолмар после скандала, подробности которого пока неизвестны.

(Хроника газеты «Ваба сына»).

НО ОПЕРАЦИЯ ЕЩЕ НЕ ЗАКОНЧЕНА

Когда в камеру вошел охранник и сказал, что Исаева требует Неуманн, и, чуть подмигнув, шепнул: «По всему — освобождают», — Никандров отвернулся к стене и натянул на голову серое, пропахшее карболкой одеяло.

— Сейчас, — сказал Исаев. — Через десять минут я буду готов, ладно?

— Хорошо. Я подожду.

Охранник снова подмигнул Исаеву и вышел из камеры.

— Леонид Иванович, нуте-ка, откройтесь. Мне надо вам сказать несколько слов.

— Слушаю.

— Литератор, милый, для меня вероятны три исхода: они меня отпустят, устроив какую-нибудь пакость типа выстрела в спину; они меня будут уговаривать стать бякой, и, наконец, они меня выдергивают на очередной допрос. Но если мы возьмем за отправной пункт в наших рассуждениях первое предположение и если мы допустим, что я не дам себя легко укокошить, то в течение следующих семи дней вас отпустят...

— Думаете, я завидую вам?

— В вашей ситуации это было бы закономерно.

— Почему? — спросил Никандров и, откинув одеяло, сел на кровати. — Почему? Это подло и гадостно, но я вам завидую... Дерьмо я, Максим, дерьмо!

— Полно, Леонид Иванович... Я обстоятельств не оправдываю, но всегда принимаю их во внимание. Вас, видимо, спросят, считаете ли вы себя гражданином

РСФСР или нет. Даже если вы захотите после освобождения уехать в Париж, не отрекайтесь от гражданства — тогда за вас можно будет драться.

— Я понимаю... Только не свидимся мы с вами больше — они меня отсюда живым не отпустят; они знают, что я всем скажу, что они здесь со мной...

— Кого это волнует? Тюрьма не санаторий. — Исаев усмехнулся и положил ладонь на острое колено Никандрова. — Ну, счастливо, Леонид Иванович. Даст Бог — свидимся.

Они неловко обнялись и трижды расцеловались.

— Как на Пасху, — улыбнулся Исаев и постучал в тяжелую металлическую дверь.

Охранник снова подмигнул ему. Исаев вопросительно посмотрел на рослого рыжего парня. Тот сказал:

— Это все думают, что я нарочно, а у меня с детства веко дергается.

Только выйдя из кабинета Неуманна, который вручил ему постановление об освобождении, только после легкого обыска в проходной, где два охранника пошарили у него в карманах и даже не заставили снять ботинки, только увидав Лиду Боссэ, которая сидела в открытом таксомоторе, — Исаев рассмеялся, вспомнив этого рыжего подмаргивающего охранника с его доброй, виноватой улыбкой.

— Максим Максимович, вам идет, когда вы обросший, — сказала Боссэ, — придает мужественности.

— Учту.

— В тюрьме — страшно?

— Очень.

— Я боялась, вы скажете: «Нет».

— Это не очень рискованно, что вы меня встретили?

— Я считаю, что нельзя бояться судьбы. Ее надо искушать... И потом Роман просил... После тюрьмы все хотят спать. Вы — хотите?

— Лично мне после тюрьмы хочется двигаться.

— Подвигайтесь... У меня сегодня бенефис в «Аполло», там вас Роман встретит. По сладкому соскучились? От пирожного теперь не откажетесь?

— Воблы хочу.

— Воблы? Странно... Раньше арестантам давали воблу три раза в неделю... Я ведь в тюрьме воспитывалась... Мой отчим был попечителем забайкальских тюрем.

Исаев изумленно взглянул на женщину.

— Удивлены? Я его застрелила... Он велел наказать розгами человека, которого я любила, а тот человек после этого покончил с собой...

— Сколько помнится, фамилия попечителя была Виноградов?

— Надеюсь, вы здесь тоже не под отцовской фамилией?

— А покончил с собой Сережа Блинов, большевик, да?

— Да. Поэтому я с вами. Именно поэтому, — серьезно и тихо сказала Лида. — Я ведь и у Деникина для вас была.

Когда они вошли в номер, Лида вызвала полового и попросила:

— Пожалуйста, принесите воблы и водки. И если можно, — она взглянула на Исаева, — разваренной картошки, икры и горячих калачей.

Когда половой, сломавшись в поклоне, пришаркивая левой ногой, побежал выполнять заказ, Лида спросила:

— Угадала?

Исаев молча улыбнулся ей, сразу же вспомнив Никандрова. Тот как-то сказал: «Максим, каждый человек — это верх чуда, и нет чудовищнее определения человеку — «простой». Вы вкладываете в это свой смысл, но он утилитарен и обедняет вас же...»

Уснул он сразу же, как только голова коснулась подушки. Снился ему сон, будто к ним домой, в Москве, приехал доктор Тумаркин. Всеволод видел его словно наяву четко, в мелочах, каждую пушинку на голове и прожилки на яйцеобразной лысине, и сильные, длинные пальцы, и добрые угольки глаз.

— Если бы вы не просили отца приехать, — говорил Тумаркин, — он бы прожил на две недели дольше. Из-за того, что он поднялся к вам на день рождения, язва дала прободение...

— Мне хотелось, чтобы папа отвлекся от болезни, — оправдывался Исаев, — я думал, что ему станет легче... Он так хотел увидеть большого мураша в лесу... Я нашел большого мураша и пустил его по столу, и папа так смеялся, до слез смеялся...

— Это он от боли плакал, — возразил Тумаркин.

— Да нет же! — взмолился Исаев. — Не говорите

так, доктор! Он смеялся, он смеялся, я же знаю, как он смеется!

— Вы не знаете, как он плачет...

Потом Тумаркин исчез, и вместо него появилось лицо двоюродного дядьки Ильи.

— Знаешь, я вчера ходил с девочками на ярмарку, — сказал он, — там карусель большая... Как мы с Леной расстались, я могу видеть их только по воскресеньям. Раенька сделалась молчаливой, улыбается редко-редко... Маленькая, та ничего не понимает еще, только все просит: «Давай почалуемся...» Раенька смотрит настороженно и светится вся, когда я о Лене говорю хорошо и, как в прежние дни, «мамочкой» называю. Спрашивала раньше: «Вы скоро помиритесь, папсик?» А что мне ответить ей? А тут, на ярмарке, как мы подошли к карусели, она, верно, забыла все, глазенки загорелись, спрашивает меня: «Папсик, можно я на жирафа сяду?» Наташка — та еще не понимает, сидит на льве, гладит его ручками, шепчет: «Хороший лев, добрый: когда устанешь — скажи, я ножками пойду», а Раенька на жирафе сидит, страшно ей и совестно, видимо, что большая уже — двенадцать лет — и на карусели катается, а я на них гляжу, и сердце мне рвет, на куски рвет... Отчего все мы, Владимировы, так несчастливы в семьях?

...Проснулся Исаев в поту, с тяжелой головой, оттого что в самый последний миг он снова увидел седой пушок Тумаркина, который склонился над человеком, накрытым белой простыней, — сразу определишь: отец...

За окном уже было темно — наступил весенний вечер, прозрачный, легкий, зыбкий, с плавно размытыми контурами шпилей и черепичных крыш.

Лида сидела возле стола и читала книгу, набросив на абажур полотенце, чтобы свет не падал на осунувшееся лицо Исаева.

— А вы во сне кричите, — сказала она, — и плачете даже... Бедненький... Я подожду вас в столовой, одевайтесь, пойдем в «Аполло» — надо успеть к десяти... Если к вам подсядет не Роман, а кто-то другой, он должен будет сказать: «Какая жалость, что я не могу пристроиться здесь: возле окна сильно дует, а у меня плохо с легкими».

Связником оказался молоденький паренек, видимо военный. По-русски он говорил с легким акцентом. Назвав пароль, он сказал:

— Меня зовут Юха[1]. Нас с фами ждут...

— Ступайте, я вас догоню, — сказал Исаев, — вы хорошо проверялись?

— Што такое — проверялся?

— За вами не следили?

— За мной не надо следить, — улыбнулся Юха, — я из военной контрразведки.

— А зачем вы об этом говорите? Не следует так... Выходите, когда потушат свет.

Исаев дождался, когда запела Лида. Он ни разу не слышал ее и поразился сейчас той странной манере, которая и сделала ее столь популярной в Ревеле. Пела она — будто рассказывала, ходила по залу, присела и к его столику и, уперев подбородок в кулачок, долго смотрела на него в зыбком свете свечи, которую держала в левой руке. Потом она снова пошла на маленькую эстраду, закрыла глаза и — выдохнула, как простонала:

Прощания, прощания,
Прощенья не проси,
Нас нет. Лишь одни расставания
И горе на бедной Руси...

На конспиративной квартире Исаева ждали Роман и Карл. Исаев сразу же узнал в Карле Виктора Пипераля, работника разведки, с которым они в ЧК пришли одновременно.

Исаев ринулся было с объятиями к Роману, но тот сидел возле окна, зажав руки между коленями: улыбнулся он Исаеву жалко и, как почудилось, извиняюще-отчужденно.

— Что? — спросил Исаев. — Что случилось?

Он спросил это шепотом: тревога передается разведчику сразу, скрыть ее нельзя, как ни старайся, а Роман ничего и не скрывал.

— Ничего, — ответил Карл, — как ты?

— Что случилось? — повторил Исаев.

Карл вопросительно посмотрел на Романа.

— Скажи ты, — попросил тот и закурил.

— Понимаешь, арестован Яков Шелехес... Оценщик Гохрана... Он — старший брат Романа...

— Ты — Федор Шелехес?!

— Да.

Карл ткнул пальцем в пакетик, обернутый парусиной:

— В этом Шелехес... Яков... хотел переслать брил-

[1] Расстрелян в 1939 г. — *Ю. С.*

лианты Маршану через Огюста, своего связника... Чудом перехватили.

Они долго сидели и молчали. Карл громко грыз леденцы, а Исаев и Роман курили, тяжело затягиваясь, и от этого лица их то и дело освещались красным, тревожным высветом.

— У тебя мятные? — спросил Исаев.

— Да, — ответил Карл.

— Врачи говорят, это плохо для сердца.

— У меня здоровое сердце.

— Когда-нибудь испортится, — пообещал Исаев. — Как ты думаешь, Роман, дома не могло быть ошибки?

— ЧК не ошибается, — ответил Роман.

Исаев поморщился:

— Зачем так рубишь? Ошибается, еще как ошибается, Якова могли подставить под удар.

— Яков не такой человек, чтобы сидеть в игре «за болвана».

— Тогда ты не имеешь права раскисать, — сказал Карл. — Меня отправили сюда, чтобы сказать тебе правду, и просили именно тебя провести операцию с Маршаном. Отчего же ты киснешь?

— Наверное, потому, что все-таки Яков — его брат, — ответил Исаев. — У тебя нет братьев, Карл?

— У меня три брата и сводная сестра.

— А если бы подобное случилось с ними?

— Для меня сначала революция, а братья и сводная сестра — потом, — жестко ответил Карл.

— Я верю тебе, — сказал Роман. — Только знаешь, мы были все голодные, а Яша у нас был старшим — за отца... А когда совсем было голодно — мы шли к нему, и он отдавал последнее. Понимаешь? А на праздники он сам делал гомулкес. Это клецки из соленого творога. Стоял у плиты, с лысины пот утирал, песенку пел: «Ой-ой, майн Белс, майн штэйтэле Белс, майн хоймише Белс, во хоб их майн киндере йорен ферброхт...» После революции я сказал ему: «Яша, раньше ты мог делать все, что хотел, со своими бандитами, раньше был царь и буржуй. А теперь забудь свою банду». Он поклялся, что будет работать на честность и никаких дел с камушками. Я ему верил. А как же мне было не верить, когда наш братишка умирал от голодного туберкулеза и мы все скидывались с оклада по четверти, чтоб ему купить сала и яиц, а ведь Яша с одного камушка мог больше продуктов накупить, чем мы за все

свои деньги... А он ничего ему не послал, с нами вровень был, и нам это было дороже, чем если б он продолжал, как раньше, свою торговлю... Мы ему до конца поверили, когда у могилы Исая стояли...

Снова воцарилась долгая тишина. Она стояла невыносимо тяжелой, и тогда Карл поднялся, подошел к Роману, положил ему руку на плечо и спросил:

— Чем я могу помочь? Я все сделаю. Только не надо так разрывать себе сердце. Твое сердце еще пригодится революции.

— Можно просить наших о помиловании, — сказал Исаев. — Это сделают — ради тебя, ради погибшего Исая, наконец.

— Я для него просить пощады не буду. — Роман несколько раз подряд стукнул себя кулаком по коленям с точными, какими-то автоматическими интервалами. — Не смею! Исай мне сказал: «Папа с мамой дали нам жизнь, в которой имя нам было «жид» и любой черносотенец мог вспороть нам живот или разбить об угол голову. Ленин дал нам жизнь, в которой из жидов мы превратились в евреев, а из париев — в граждан республики!» Исай за это умер...

Карл обернулся к Исаеву:

— Главная трудность в том, что Роману надо пойти к Маршану и получить улику; Яков на допросах молчит, и прямых доказательств его вины нет, только косвенные. Бокий просил меня все Роману сказать — все, до последней мелочи. Бокий сказал: «Если Роман не сможет — тогда будем думать, неволить его у нас права нет».

— Какие косвенные доказательства? — спросил Исаев.

— Данные наружки, посылка с бриллиантами — мы ее перехватили в посольстве; показания сестры Оленецкой, которая от Яши эту посылку приняла, — негромко, по-прежнему не поднимая головы, ответил Роман, — данные ревизии. Если Маршан подтвердит, что у него с братом была связь, — цепь замкнется. Карл привез план операции, которую мне предложено провести...

Роман положил голову на подоконник и стал молча раскачиваться из стороны в сторону, и плечи его временами начинали трястись, и тогда он еще крепче прижимался лбом к холодному белому подоконнику.

— Роману предстоит сыграть смертельный спектакль, — сказал Карл. — Ошибись он хоть в мелочи —

его уберут, и дело в Москве провалится. Он должен сыграть предателя. Он предаст дело во имя брата. А ему надо, помимо всего, получив улику, заставить Маршана торговать с нами, покупать камни по ценам западного рынка... Так-то вот...

* * *

Ночью, перед тем как уйти к границе, Исаев встретился с Шороховым. Они увиделись за городом на маленькой проселочной дороге возле Выру. Шорохов должен был довезти Исаева до крохотной деревушки, где уже ждала лодка связников.

После того как они все обговорили, Исаев сказал:

— Со мной в камере сидел Никандров...

— Знаю. Сволочь, контра, воронцовский дружок...

— Верно. Он мог бы, конечно, работать на Неуманна, но помогал он мне.

— Ну и что?

— Я бы просил предпринять шаги к его освобождению.

— Хотите отблагодарить за то, что он не был полным негодяем?

— Вы его книги читали?

— Нет.

— Вот видите... А ведь он талантлив.

— Бунин с Савинковым тоже не бездарны. А Куприн?

— Это наша с вами революция, она любима и вами и мною. Куприн ее примет позже. Возможно, Бунин с Савинковым тоже. Хотя вряд ли, ибо они отринутые политики, а политик не прощает никогда и ничего тем, кто его отстранил от политики... Писатель, ученый, художник — другое дело. Репин, кстати, не в Питере живет, а у Маннергейма. Если Куприн ставит себя в положение Ивана не помнящего родства, то мы, пролетарская диктатура, делать этого не имеем права: потомки не простят. А что касаемо нас, так, между прочим, товарищ, мы до сих пор живем под шатром великой русской культуры девятнадцатого века... Как ни крути, Толстого или Достоевского в класс-гегемон не затащить — обсмеют.

— Помогать вражинам? Это что-то новое. Не знаю, я дома не был год, может, не уловил новых веяний...

Исаев поглядел на сильное лицо Шорохова, закурил.

— Зря вы эдак-то, — сказал он, глубоко затянувшись, — впрочем, я вас ни в чем не виню. У нас есть

какая-то странная отличительная черта: мы все, когда спорим, считаем, что именно «я», а не «он», понимаю проблему лучше и точнее, и «я» люблю родину, а если «он» оспаривает мою точку зрения, значит, «он» ее не любит. Нет?

— Я не считаю, что вы меньше меня любите родину.

— Спасибо.

— Да что вы улыбаетесь все время?

— А что — плакать? Дети у вас есть?

— Трое.

— Учатся?

— Старшая пошла в школу.

— В букварь к ней не заглядывали?

— В палочках и кружочках сама разберется.

— Палочки, мне кажется, в учебнике арифметики. Нет?

— Верно, в букваре слоги у них.

— В букваре и стихи напечатаны. Помещиков: Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Батюшкова, Фета и даже воспитателя царя Жуковского. По кровососам-помещикам детей учим любви к родине. Каково?

— Ничего, новые поэты вырастут.

— На чем? Из ничего не будет ничего. Сначала люди научились складывать два плюс два, а уж после пришли к интегралу. Мы теперь с вами хозяева, и негоже нам терять таланты, они будут нужны вашим детям.

Шорохов недоуменно пожал плечами:

— Хлопотать за вражину?

— Он русский писатель.

— Он контра.

— Бросьте вы, право слово... Издательства в наших руках, типографии — тоже. Тот солдат страшен, у кого в руках винтовка. Ну, поругает Никандров диктатуру большевиков, ну, поплачется в жилетку знакомым. Ничего... Пройдет время, осмотрится, прикинет соотношение ушедшего невозможного с возможным будущим, а там — кто знает... Жизнь — шутка загадочная, равно как и творчество. Словом, просьбу, пожалуйста, выполните.

— Вы убеждены, что правы?

— Убежден.

— А я нет.

— Но вы доводов разумных не выдвинули. «Вражина», «контра», «людей разлагает»... Это не довод. Врожденных преступников нет, обстоятельства делают людей врагами либо союзниками. Теперь, когда мы победили

на фронтах, следует пробовать сделать художников наших если и не друзьями, то хотя бы союзниками.

— Милюкова тоже? Совсем не дурак ведь дедушка.

— Снова вы на политика выходите!

— Тем не менее я остаюсь при своей точке зрения. Рабочий имеет фунт хлеба, крестьянин мрет с голоду, а всяким там литераторам и академикам пайки дают... А они — нож в спину, да еще с поворотом, чтоб побольней было.

— Товарищ Шорохов, писать книгу потяжелей, чем родить. Художник Иванов «Явление Христа народу» писал всю жизнь.

— Кого, кого явление?

— Христа.

— Мог бы и вовсе не писать. Держитесь, снова яма.

— Значит, мог бы и не писать? — усмехнулся Исаев. — «Учиться, учиться и еще раз учиться» — чьи это слова?

— Ленина.

— По чему учиться собираетесь? По наскальным рисункам пещерных обитателей? Ладно, зря мы с вами на прощание этот спор развели. Давайте спор мы прекратим, а вы озаботьтесь тем, чтобы мою просьбу передать товарищам.

— Это ваша личная просьба?

Исаев поморщился:

— Нет. Можете воспринимать этот разговор как приказ.

— Я имею право этот приказ опротестовать?

— Полное.

Министр иностранных дел Пийп перечитал приготовленные для него референтом газетные вырезки о переговорах красных с представителями британского кабинета и о встречах посла Крестинского с канцлером Германии.

«Я был прав с самого начала, — думал Пийп, — когда отстаивал нашу линию по отношению к России: спокойная, доброжелательная сдержанность. Вообще в политике всякие резкие повороты чреваты горем. Только эволюционность может способствовать прогрессу после того, как возникло устойчивое статус-кво. Надо привыкать друг к другу. Взаимопроникаемость, терпимость — вот что может не только отдалить войну, но и свести нации в семью мира, единого для всех. Наша мягкость

не может не встретить ответной мягкости Кремля: в конце концов, они тоже люди. И теперь, когда Лондон все более поворачивается к России, оттесняя всех остальных, мы оказались вне конкуренции: торговля Лондона с Москвой немыслима без Ревеля... Обидчивый максимализм нашего президента все эти трудные месяцы уравнивал один я, и Эстония мне этого не забудет...»

Пийп перелистал интервью Чичерина, перепечатанное лондонскими и нью-йоркскими газетами под крупными шапками. Усмехнувшись, покачал головой: «Если бы мы вели себя вроде поляков, как смешны мы сейчас были бы! И как трудно будет полякам в будущем: изменение курса Лондоном и Парижем неминуемо заставит Варшаву искать пути примирения с Кремлем, а уж Чичерин заставит поляков пройти через аутодафе: когда паны мирятся, у холопов чубы трещат значительно сильнее, чем во время драки... В этом смысле руководители малых стран должны быть большими политиками, чем лидеры великих государств — как это ни парадоксально. Меня поражает Клемансо: он предрекает крушение большевизма, основываясь на том, что Ленин резко сломал курс внутри страны и вместо пьянящих лозунгов борьбы заземляет своих единомышленников на постепенную, без шума и треска, работу. Самую трудную и неблагодарную работу: создание законодательного государственного аппарата; научный прогрессизм; организованность и слаженность громадины российской державы... Клемансо не прав: в том, как Ленин изменил курс, кроется самая большая опасность дальнейшего продвижения большевизма по всему миру...»

Пийп взглянул на часы: в одиннадцать он ждал советника русского посольства Старка[1].

«Я еще успею выпить чашку кофе, — подумал он. — Странно, у меня начинается головокружение каждый раз именно в это время. Надо ехать в горы, куда-нибудь в Швейцарию, и лечить сосуды... Раньше это было легко: Кисловодск стоил в шесть раз дешевле Цюриха. Интересно, когда они откроют свои курорты на водах Кавказа? Это будет сенсация, если я отправлюсь к ним на курорт».

Старк приехал за три минуты до назначенного срока. Советские дипломаты сменили кургузые пиджачки на сюртуки и смокинги, а в НКИД была издана книга,

[1] Расстрелян в 1938 г. — *Ю. С.*

переведенная с французского — «Дипломатический протокол»; всем посольским и консульским работникам вменялось в обязанность эту книгу тщательно проштудировать и следовать ее предписаниям.

Несмотря на то что Антон Иванович Пийп говорил по-русски без акцента — окончил Петербургский университет, — он, однако, русских представителей принимал в присутствии секретаря и переводчика.

После обычных протокольных приветствий Старк, усаживаясь в кресло напротив министра, сказал:

— Ваше превосходительство, еще весной в ревельских газетах появились сообщения явно клеветнического толка. Я припоминаю, что кампания эта началась после того, как наш посол информировал правительство Эстонии о недопустимых действиях тех представителей русской эмиграции, которые выродились в бандитов. Апогея кампания клеветы достигла после того, как правительство Эстонии выслало нескольких наиболее бандитствующих эмигрантов за пределы Эстонии. Сейчас в печати Ревеля появились новые сообщения, абсолютно вздорные. Все это заставило меня просить у вас аудиенции для вручения официальной ноты...

В отличие от Литвинова, Старк посещал и министра, и главу государства с большой папкой, сделанной по специальному заказу из синей тисненой кожи. Открывал эту папку Старк картинно, несколько, правда, смущаясь этой, по его мнению, необходимой в дипломатии картинности.

— Вот, господин министр, — сказал он, — прошу вас ознакомиться с этим документом.

Министр чуть обернулся к переводчику и попросил:

— Будьте любезны перевести мне текст...

Нота
и. о. полномочного представителя РСФСР
в Эстонии
министру иностранных дел Эстонии Пийпу

Милостивый государь Антон Иванович,

в эстонской печати появились сообщения о происходящей якобы на границе Эстонии концентрации русских войск. Указываются даже части войск и пункты сосредоточения их — Ямбург и Луга.

По этому поводу я считаю нужным самым

категорическим образом заверить Вас, что все указанные сообщения представляют собой чистейший вымысел. Никакого сосредоточения русских войск на границе Эстонии не происходит. Правительство РСФСР питает по отношению к Эстонии, как и ко всем граничащим с Россией государствам, самые миролюбивые намерения и всецело занято работой по хозяйственному возрождению страны и борьбой с постигшим некоторые части РСФСР голодом. Дружественное отношение российского правительства к Эстонии не нуждается, мне кажется, в доказательствах. И потому я полагаю, что для правительства Эстонии должно быть совершенно ясно провокационное происхождение всякого рода тревожных сообщений, которые систематически распространяются врагами Советской России. Цель их ясна — вызвать столкновение между Россией и пограничными с ней государствами, в том числе, конечно, и с Эстонией.

Я глубоко убежден, что Ваше правительство сумеет должным образом оценить эту преступную работу, и все попытки наших врагов расстроить дружественные отношения республик останутся безуспешными.

Примите уверения в совершенном моем уважении.

За полномочного представителя РСФСР
в Эстонии *Старк.*

Пийп удовлетворенно кивнул и попросил переводчика:

— Пожалуйста, проследите за тем, чтобы нота была переведена и распечатана в десяти экземплярах. Вы не будете возражать, если я познакомлю наиболее достойных представителей прессы с этим документом, господин Старк?

— Мы в принципе противники тайной дипломатии.

— В таком случае, — рассмеялся Пийп, — отчего же вы шифруете свои телеграммы в Москву?!

— Только для того, чтобы не дать возможности на нашей открытой дипломатии делать дипломатию тайную...

— Я заметил, что русская дипломатия тяготеет к французской манере вести беседу...

— Какую дипломатию вы имеете в виду? Дореволюционную?

— Нет, я имею в виду вас, господин Старк.

— В таком случае я вас неверно понял: я не являюсь русским дипломатом — я дипломат советской школы...

— Да, да, конечно, но Советы теперь прочно ассоциируются с понятием Россия.

— Благодарю вас.

— Я надеюсь, что советской дипломатии не будет претить все оставшееся в наследство от русской культуры.

— Отнюдь. Нас, например, не может не беспокоить судьба писателя Никандрова, арестованного ревельской полицией давно и без достаточных на то оснований.

— Но он эмигрант и не является вашим гражданином?

— Вам известно дело Никандрова?

— Нет, я даже не слышал этого имени, но будь Никандров вашим гражданином, вы бы уже не раз ставили вопрос о нем.

— Никандров не был нашим официальным работником, он выехал за пределы республики по своим личным делам, поэтому мы так поздно узнали о его аресте.

— Вы хлопочете о Никандрове, господин посол?

— Я бы не протестовал, если бы вы поняли мои слова именно так. Никандров стоял в оппозиции к Советской власти, однако книги его отмечены печатью таланта, он великолепный знаток Эллады: его переводы с греческого и латыни известны по всей России...

«Если они теперь хлопочут за своих политических оппонентов, — отметил Пийп, — значит, они стремительно набирают силу у себя дома».

— Я обещаю вам, — сказал министр, поднимаясь, — сделать запрос в министерство внутренних дел, и, если все окажется так, как вы говорите, дело Никандрова будет решено в ближайшее время. Он предполагает возвратиться в Россию?

— Это мне неизвестно. Честь имею...

— Всего хорошего, господин посол. — Пийп проводил Старка до двери и, когда тот уже поворачивал большую медную ручку, спросил: — Кстати, вам неизвестно, каково сейчас положение на кавказских водах? Санатории уже функционируют или все покрыто пеплом войны?

Неуманн — вся партитура была им ранее разыграна с Романом — поначалу отказался завизировать распоряжение министра внутренних дел Эйнбунда об освобождении Никандрова.

— Мы только что, подчиняясь нажиму МИДа, освободили одного русского, сейчас под тем же нажимом второго... Мы даем повод врагам упрекать нас в чрезмерной уступчивости.

— Вы имеете в виду врагов внешних или внутренних?

— В данном случае внутренних.

— Каких именно? — улыбнулся министр.

— Я боюсь правой оппозиции.

— Друг мой, ну кто же боится оппозиции в парламентарной республике? Слова опасны, лишь если они подтверждены пулеметами. У вас, может быть, есть данные, порочащие Никандрова? Он связан с Воронцовым преступными деяниями? Активный деятель монархического подполья? Тайный большевик?

— К сожалению, господин министр, Никандров ни в чем не повинен. Он — жертва ошибки.

— Не слишком ли много ошибок в вашем ведомстве?

— Никандров был арестован после распоряжения главы государства — задержать и выслать из Ревеля Воронцова, Красницкого и еще трех бывших офицеров Деникина, которые служили там то ли в карателях, то ли в контрразведке.

— А Никандров тоже служил?

— Нет.

— Так отчего же справедливое решение главы государства должно распространяться на невиновного?

— Господин министр, Шварцвассер позволил определенные... перегибы... в работе с русским. Тот, правда, дал к этому основания, покушаясь на жизнь следователя.

— Если Шварцвассер виновен — накажите его.

— Неужели из-за какого-то русского мы подставим под удар следователя?

— Не из-за «какого-то русского», дорогой Неуманн, а из-за Никандрова, за которого хлопочет их посол. Неужели, позвольте перефразировать вас, из-за «какого-то Шварцвассера» я поставлю под удар наши отношения с Москвой? Вы же видите, что творится в мире... Самое опасное — опоздать на последний поезд... Лондон

крутит роман с Кремлем и не сегодня завтра признает Ленина; Париж — на грани этого признания, несмотря на их несгибаемую, пока что, позицию. Поверьте мне... А чей народ будет иметь выгоду от этого в первую очередь? Наш с вами народ, эстонцы. Мы — морские ворота Кремля и Лондона, с нами заигрывают и те и эти... Так что же, мне ломать великое дело из-за мелочи?

Только выйдя из ворот тюрьмы, Никандров почувствовал, как у него трясутся ноги. Он прислонился к высокой кирпичной стене и долго стоял, закрыв глаза, чувствуя, что сейчас он не в силах двигаться — упадет.

Сначала в нем была тихая жалость к себе и умильность. Его умиляло все: и цокот конских копыт, и запах бензина, который оставался в воздухе после протрещавшего таксомотора, и звонкие ребячьи голоса, и злые крики жирных чаек.

По улице он пошел очень медленно: сначала оттого, что по-прежнему дрожали ноги, а после, когда эта мелкая, судорожная дрожь прошла,— просто от наслаждения возможностью идти куда хочешь и не опасаться окрика надзирателя.

В комнату, которую снимал Воронцов на Пярну теа, его не пустили: там жили новые постояльцы, тоже русские.

— Никаких фаших рукописей я не витал, — сказал хозяин дома Ганс Густавович, — ко мне прошу не обращаться с этим вопросом, иначе я фызофу полицию...

Никандров случайно увидел себя в зеркале — старом, с замшелыми разводами. Он увидел жалкую, испуганную улыбку, полную почтения и страха, он вдруг увидел, какое у него старое, заросшее желтоватой щетиной лицо, и вдруг забытая, прежняя ненависть поднялась в нем.

С квартиры Воронцова он пошел в редакцию русских газет. Он сейчас хотел только одного: рассказать о том ужасе, который он перенес в здешней демократической тюрьме.

— Миленький вы мой, — ответил Ратке, редактор «Последних известий», — да нешто можно подобное публиковать? И не пропустят, а проскочит, так, кроме зла, несчастным русским эмигрантам ничего не принесет. Поверьте, я тут четыре года... живу... Если считать это жизнью...

... Эсеры выслушали Никандрова с доброжелательством, пообещали устроить ему встречу с Черновым, который накануне кронштадтских событий перебрался в Ревель, выразили писателю искреннее соболезнование и заверили, что в течение ближайшей недели они дадут ему ответ — в ту или иную сторону.

— Неужели надо совещаться неделю, чтобы опубликовать мое заявление? Это можно решить, обзвонив по телефону заинтересованных лиц.

— Мы подчиняемся партийной дисциплине, — ответил редактор Вахт, — и представляем собой орган партии.

Когда Никандров ушел из «Голоса народа», Вахт сказал сотрудникам:

— Самые страшные в наше время провокаторы — это провокаторы невольные. Запомните Никандрова! Он еще много горя принесет нам, оттого что эгоцентричен и живет своей обидой, но отнюдь не общим делом. Эстонцы только и ждут, чтобы обложить нас штрафом за какой-нибудь материал, порочащий их страну. Мы им этого шанса не дадим.

Никандров пришел в городской суд. Судья оказался пожилым милым человеком.

— По-моему, мне попадались ваши книги, — сказал он, выслушав Никандрова, — если вы переводили древних, то я наверняка упивался вашими переводами. Вы должны извинить меня — русские фамилии так же трудно нами запоминаются, как вами эстонские... Итак, ваше дело. Поверьте, я возмущен до глубины души... Я мог бы понять подобную жестокость по отношению к большевику: он грозит нам гибелью, и жестокость берет верх над разумом, и большевика мучают, унижая этим и себя, и его, и святое дело демократии, которая казнит, но не унижает... Но как вы сможете доказать их вину, вы?

— Шрамами.

— У вас есть заключение медицинского эксперта, что шрамы появились уже после вашего ареста?

— Нет.

— В таком случае господин Шварцвассер или тот, кого вам будет угодно привлечь к суду, обвинит вас в лжесвидетельстве. Он станет утверждать, что это старые шрамы. Кто может свидетельствовать в вашу пользу?

— Стены и пол.

— Это звучит жутко, но этого, увы, мало.

— Вы отказываетесь принять дело к слушанию?

— Если вы настаиваете, я приму дело к производству и назначу судебное следствие.

— Только этого я и хотел. Благодарю вас.

— Вот, извольте заполнить эту табличку — номер вашего паспорта, каким участком выдан, срок, место жительства и прочая, видимо известная вам, формальность...

— Паспорт выдан мне не участком, а комиссариатом иностранных дел в Москве.

— Вы гражданин Совдепии?

— Я гражданин России.

— Я не могу рассматривать дело, которое возбуждает иностранец против политической полиции. Это может вам разрешить лишь министр юстиции. Мне сдается, он разрешит... Он интеллигентный человек, я просил бы вас поначалу обратиться к нему.

В эстонские газеты Никандров не пошел — он помнил свою первую пресс-конференцию в «Золотой кроне».

Он зашел на телеграф и, собрав последние деньги, отправил телеграмму в Париж по адресу, который он тоскливо и со слезами повторял в тюрьме: «Жюль Бленер, Рю Бонапарт, 41, Париж, Франция. Освобожден из эстонской тюрьмы. Жду помощи. Ревель, до востребования, Никандрову».

Жюль Бленер не сразу вспомнил, кто такой Никандров, а вспомнив, подивился тому, как могли этого русского упечь в тюрьму эстонцы.

«Хотя с его платформой панславянского гуманизма и космополитизма, — только у русских может быть такой разнозначный комплекс, — вполне могли бросить за решетку».

Тем не менее Бленер решил помочь Никандрову и позвонил в то издательство, куда он передал книги русского.

— Жюль, это не подходит, — ответил ему владелец издательства «Репубикэн» Ив Карра. — Это не лезет ни в одни ворота. Если бы он был коммунистом и звал жечь Шекспира, я бы издал — экзотично, это купят мальчики из Латинского квартала. В перерывах между гомосексуальными пассами они любят поболтать о революции. Если бы твой Никандрофф был монархистом и

расстрелял хотя бы одного комиссара — я бы издал и это. Объективизм — бич литературы. Писатель обязан быть эгоцентриком. Не его дело искать гармонию правды; пусть этим занимаются Клемансо и Чичерин. Он слишком изящен для того, чтобы его поняли. Писать сейчас надо грубо и обязательно интересно. Особенно русским, им есть о чем писать. Нет, Жюль, прости, я ничем не смогу помочь.

Три ночи Никандров ночевал на вокзале, одну ночь — в парке. Каждый день он приходил на телеграф, но ответа из Парижа не было. Он потолкался на базаре — думал обменять пальто на еду, но пальто его никого здесь не интересовало, творог и свинину продавали за марки, и всякие попытки Никандрова уговорить крестьян сойтись баш на баш кончались тем, что его, высмеивая, гнали от рядов. Первые два дня это унижение доставляло ему какое-то острое, мучительное наслаждение.

Вспомнив Боссэ, он пошел к ней, но ему сказали, что мадемуазель Лида уехала на гастроли в Европу.

На пятый день Никандров уж и не ждал получить никакого ответа. Он спросил девушку в окошке телеграфа — сонно, тихим голосом; ему все время хотелось спать, но стоило только заснуть, как сразу же начинали видеться омерзительные картины — то он пьет молоко из грязного, гулкого бидона и молоко льется ему за ворот; то он ест мясо и вокруг него жужжат зеленые мухи, садятся на сало и лезут ему в рот, а то он большими глотками пьет водку и в желудке становится жарко и больно...

— Вам телеграмма, — равнодушно сказала девушка и протянула ему голубенькую бумажку.

Никандров разорвал полоску шершавой бумаги трясущимися руками и прочел: «Какой помощи вы от меня ждете? Отвечайте через месяц, сейчас я уезжаю в Берлин. Бленер».

ДЕЛО, КОТОРОМУ СЛУЖАТ

Дверь трехкомнатного люкса открыл секретарь Маршана — громадный, жилистый Робер Вилла, полуитальянец, боксировавший в молодости за сборную Марселя.

— Кто вы? — настороженно спросил Робер.

— Доложите господину Маршану, что его хочет видеть по срочному делу брат его московского дяди...

— Какого дяди?

— Он знает.

— Позвольте обыскать вас? — сказал Вилла и, не дожидаясь разрешения, быстро, словно падая на Романа, провел ладонями по всем его карманам.

Маршан вышел через минуту: маленький, пухленький, видимо, после дневного сна, в шелковой старомодной пижаме, надетой поверх старого, кое-где заштопанного свитера.

— С кем имею честь? — спросил он.

— Я хочу говорить с глазу на глаз...

— Не вижу нужды. У меня нет секретов от моего помощника.

— Я брат Якова...

— Какого Якова?

— Того самого... Шелехеса.

— У вас есть доказательства, что вы брат Якова?

— Да.

— Как вас зовут?

— Федор.

— Это вы служите в...

— Да, — перебил его Роман. — Это я там служу. Поэтому сделайте исключение и поговорите со мной наедине.

— Робер, мы поговорим в кабинете...

Когда они остались одни, Маршан, предложив Роману сигару из деревянного ящичка, спросил:

— Как Ося? Где он сейчас? В Питере?

— Вы прекрасно знаете, что Ося в Иркутске, — ответил Роман. — И чтобы нам побыстрее закончить все формальности — проверка мандатов и все такое прочее, — я захватил с собой несколько фотографий и мой паспорт, под которым я здесь живу как гражданин Бельгии... Я здесь работаю — вы понимаете, на кого я здесь работаю... Вот, посмотрите, — и он положил перед Маршаном пачку фотографий и свой паспорт.

Маршан неторопливо достал из кармана своей тяжелой шелковой пижамы лупу, внимательно изучил фотографии — не монтаж ли, так же внимательно изучил паспорт и сказал:

— Но брат, вероятно, говорил вам, Федор Савельевич, что я далек от политики и в грязные авантюры никогда не влезал. Да и вы, думается, не станете менять профессию разведчика на зыбкое дело торговца бриллиантами.

— Господин Маршан, мой брат арестован ЧК.
— Боже мой! Когда?
— Неделю тому назад.
— Это серьезно?
— Боюсь, что да.
— Несчастный Яков... Но я не понимаю, за что его могли арестовать? Он же честнейший человек! Я убежден, что суд оправдает его! Я готов дать письменные показания в его пользу: мы соприкасались по работе до переворота, и ваш брат всегда отличался отменной честностью.
— Спасибо, — ответил Роман, — я признателен вам за столь лестную оценку деловых качеств брата, господин Маршан... Но дело значительно серьезнее, чем вам кажется... Якова арестовали из-за этой посылки Огюсту, — сказал он, достав из кармана пачку фотографий, сделанных судебным фотографом, как материал, приобщаемый к делу, — здесь рукой Якова написан адрес... Вам этот адрес знаком?
— Нет, — ответил Маршан и перестал улыбаться той своей легкой, чуть насмешливой улыбкой, которая не сходила с его лица с начала разговора, — увы, незнаком.
— Тогда каким же образом я проследил маршрут Огюста к вам? Моего брата обвиняют в связях с вами, но конкретных данных в Москве нет: я их получил здесь сам, по своей инициативе...
— Тогда торопитесь. Надо отправить эти данные в Москву, их ждут ваши сослуживцы в ЧК, товарищ Шелехес.
— Их там очень ждут, — согласился Роман, — но, пожалуйста, на будущее — никогда и нигде не называйте меня по фамилии.
— Я избегаю совершать то, что грозит мне горем, но подчас забываю это делать по отношению к тем людям, с которыми меня сводит жизнь. Простите меня...
— Вы не всегда избегали совершать то, что вам грозит горем, Маршан. Вы понимаете, что, если ЧК получит данные о том, какие посылки Огюст получает для вас из Гохрана, вы станете уголовным преступником у себя на родине — по законам вашей, а не моей страны?
— То есть? — чуть поднял брови Маршан.
— Ну, если бы было доказано, например, что вам переправляют бриллианты из казначейства Великобритании? Это было бы дурно для вас?
— Дурно? Это был бы конец! Имени! Чести! Фир-

ме! Но что я могу поделать, если я ошибался в человеке? Что я могу поделать, если Яков Шелехес оказался жуликом и посылал бриллианты из Гохрана месье Огюсту — человеку, который несколько раз одолевал меня просьбами о странных сделках и которого я не велю пускать на порог — отныне и навсегда. Надеюсь, показаниям Вилла и моим нельзя не поверить?

— Можно не поверить...

— Нет. Нельзя не поверить, — легко усмехнулся Маршан.

— Можно, — упрямо повторил Роман. — Поскольку мой брат... в тюрьме и ему грозит гибель... поскольку обвиняют его в экономической контрреволюции, в том, что он срывал переговоры о покупке бриллиантов — в частности, вашей фирмой, — я предпринял свои шаги. Огюст больше не живет по своему адресу, а находится там, где мне это выгодно, месье...

Маршан потер щеки, лицо его сделалось угрюмым и жестким, и улыбки на нем не было.

— *Вы пришли шантажировать меня?*

— *Я пришел спасать брата.*

— *Вы избрали странный способ для его спасения.* Зачем вам потребовалось изымать Огюста?

— Затем, чтобы он дал показания, когда, сколько раз и что именно он передавал вам от Яши.

— Эти данные совершенно достаточны для того, чтобы Якова Савельевича расстрелять... А если бы это было у нас, в цивилизованном мире, — гильотинировать.

— Разве я сказал, что собираюсь эти данные передавать в Москву?

— Не передавая их в Москву, вы нарушаете свой долг, вы преступаете закон и становитесь изменником.

— Вам очень хочется, чтобы я передал эти данные?

— Нет, мне этого не хочется.

— Правильно. Репутация в вашем деле — основа успеха.

— В вашем тоже.

— Вот и уговорились: вы не трогаете мой долг, а я — вашу репутацию. Теперь пропозиции ясны?

— Теперь — да. Но отчего вы не боитесь меня? Не меня, — он деланно улыбнулся, — а хотя бы моего телохранителя?

— А почему вы думаете, что я не подстрахован?

— Хорошо. Ясно. Чего вы хотите?

— Одного — сохранить жизнь Якову. Его обвиняют

не только в хищениях бриллиантов — это еще надо доказать; его обвиняют в том, что он мешал Наркомвнешторгу заключать сделки на продажу бриллиантов и находился в сговоре с вами — с самым мощным торговцем драгоценностями. Я хочу, чтобы вы завтра же посетили Литвинова и выразили удивление, отчего Москва не отвечает на три ваших письма, в коих вы предлагаете вступить в прямые переговоры с Наркомвнешторгом на взаимовыгодных условиях. При нашей бюрократии в версию трех писем могут поверить. Во всяком случае, в это удобно поверить, когда в Гохране взяты почти все оценщики.

— И... Пожамчи?

— Конечно.

— В вашем предложении не сходится лишь мелочь: я действительно писал в Москву, я предлагал торговые переговоры, но я называл в качестве контрагентов Пожамчи и Шелехеса.

— Наоборот. Это подтверждает мою позицию. Наверняка Литвинов или Старк осторожно пустят в вас шар: «Шелехес и Пожамчи уехали в командировку — так что, видимо, вы, господин Маршан, решите дождаться их возвращения».

— Ну отчего же, господин посол, я готов войти в контакт с представителем любого компетентного русского ведомства, и не мое право определять состав торговой делегации, просто в лице господ Пожамчи и Шелехеса вы имеете высокого класса специалистов, — начал подыгрывать Маршан, — которые смогли бы защищать интересы вашей стороны...

— Ну вот и все, — устало сказал Роман и закрыл глаза. — И поскольку теперь позиции Советской власти довольно сильны в Германии, туда послом едет Крестинский, советовал бы называть разумные цены — немцы идут на торговлю, а следом пойдут и англичане, поверьте слову, господин Маршан.

— Спасибо за информацию... Когда поедет в Берлин господин Крестинский?

— Скоро, — ответил Роман, — и не думайте, что я буду торговать секретами моей страны.

— И не надо! Разве можно предавать секреты своей страны?! Последнее: что с Огюстом? Он мне скоро понадобится...

— Когда вы заключите сделку с Москвой, он вернется.

— А если с ним что-либо случится?

— Кому он нужен? — медленно поднимаясь со стула, ответил Роман. — Мне лишние скандалы не нужны.

— Вам придется из-за печальных обстоятельств с Яшей вернуться в Москву? Или вы...

— А вот это уже мое дело.

Маршан согласен начать немедленные переговоры с Наркомфином. Даст цены европейского рынка. Яков пересылал бриллианты Маршану через Огюста. Показания Огюста прилагаю.
Роман.

«Революционный трибунал РСФСР под председательством Карклина, при обвинителе Крыленко[1] рассмотрел в открытом судебном заседании дело о хищении бриллиантов и золота в Гохране РСФСР. Обвиняемых защищали члены Московской городской коллегии правозаступников Муравьев, Афанасьев, Гинцбург, Васильев, Грызлов.

Государственный обвинитель Крыленко потребовал для всех обвиняемых высшей меры наказания — расстрела. Революционный трибунал приговорил: Пожамчи, Шелехеса, Прохорова, Газаряна, Белова, Воронцова (заочно) — к расстрелу, Оленецкую — к двенадцати годам, Левицкого — к шести годам принудительных работ, Козловскую — к трем годам лишения свободы (условно), Шмелькова — к двум годам принудительных работ, Клейменову — к году лишения свободы (условно).

Приговор окончательный, обжалованию не подлежит. По отношению к Пожамчи, Шелехесу, Прохорову, Газаряну и Белову приговор должен быть приведен в исполнение в течение 24 часов».

Москва. ВЧК. Бокию.

Сегодня в совпосольстве подписано соглашение с концерном Маршана на приобретение им драгоценностей. Маршан перевел на счет торгового представительства три миллиона долларов. Цена была предложена им в соответствии с курсом антверпенской биржи. Подписано также особое соглашение на посредничество: Маршан

[1] Расстрелян в 1938 г. — *Ю. С.*

взял обязательство ввести наших представителей на биржи Антверпена, истребовав для себя процент с оборота.

Роман.

* * *

Всеволод стоял, прижавшись лбом к стеклу. Моросил дождь. Встречный ветер сбивал капли в маленькие ручейки, и они дрожали, словно ртуть, прокладывая свои неведомые дороги, жались к ржаво-зеленой раме. Иногда по крыше вагона раскатисто прогрохатывало, будто кидали горох: это поезд проходил узкую, серовато-полосу ливня.

А потом, как чудо, поезд вынырнул в солнце, вспыхнула бело-красная радуга над васильковым, давно не паханным полем.

«Сразу отца в охапку, — думал Всеволод, радуясь близкой осуществимости этой своей мечты, — и немедленно в Узкое».

Они очень любили это место: дворец, построенный по проекту Паоло Трубецкого. Отец в первый их приезд сюда подвел Всеволода к воротам в поместье; было это на закате.

— Жди, — сказал он шепотом, — и смотри внимательно, сейчас будет чудо.

Солнце медленно, тяжелыми рывками, опускалось. Оно ударилось об арку, замерло на мгновение, потом стремительно стекло вниз и упруго заполнило собой овал ворот, и было так несколько минут — плененное солнце, не властное вырваться из геометрической точности арки, и смотреть на это бессилие светила, пусть даже временное, было жутковато.

Отец хвастливо глянул на Всеволода и сказал:

— Это я сам открыл.

«Сначала будем гулять по лесу, — думал Всеволод, — грибы станем собирать, сейчас хорошие грибы должны пойти... Он любит смотреть, как я грибы собираю... Никогда боровик сам не срежет, все норовит меня подвести к грибу, знает, как я жаден до белых...»

...Чем ближе к Москве подходил поезд, тем чаще Всеволод обращался в мыслях к отцу.

«Я был кругом не прав, — думал он, — я не имел права говорить с ним так, как говорил раньше. Утверждая себя, свою правоту, я отвергал его. Я был жесток, оспаривая его манеру мышления, его систему доказательств,

его логику, его привычки, выработанные всеми его шестьюдесятью годами. Отец не мог отринуть свое прошлое, он верил в то, что делал, он никогда не мог делать того, во что он не верил — по-детски, наивно, но до конца. Значит, когда мы с ним ссорились, я был не прав, потому что не мог быть доказательным. Почему мы всегда так жестоки к самым близким? Отчего я был так терпим с Никандровым? Надо быть непримиримым, когда перед тобой враг с пулеметом, а мы все больше непримиримы, когда спорим с безоружным».

Поезд замедлил ход, а потом и вовсе остановился, тоскливо провизжав тормозами.

— Товарняк из Ревеля погонят, — объяснил проводник. — С хлебом. Их теперь как курьерские пропускают.

И действительно, минут через десять прогремел длиннющий состав.

Владимиров вспомнил Федора Шелехеса. Чем больше сейчас он насчитывал вагонов с хлебом, тем явственнее ему виделось лицо Федора, когда тот собирался к Маршану. За несколько часов лицо его осунулось, глаза запали, а скулы набухли острыми желваками. Доброе лицо Федора сделалось в тот вечер жестоким, чужим и очень усталым.

Вспомнились Всеволоду глаза Лиды Боссэ, когда она рассказывала про своего отчима; вспомнилось, как гремели алюминиевые кружки в гулком тюремном коридоре перед завтраком и обедом, когда по камерам разносили баланду; вспомнилась ненависть в лице Неуманна, когда тот отпускал его, и вдруг громадная усталость навалилась на Всеволода, такая усталось, что даже ноги ослабели.

Он вернулся в купе и лег на плюшевый диван, пропахший нафталином и сыростью.

«Ну, вот и все, — сказал он себе. — Слава Богу, дома...»

«По решению особого Совещания НКВД СССР от 29 марта 1938 года:

Шелехеса Федора Савельевича (Романа)

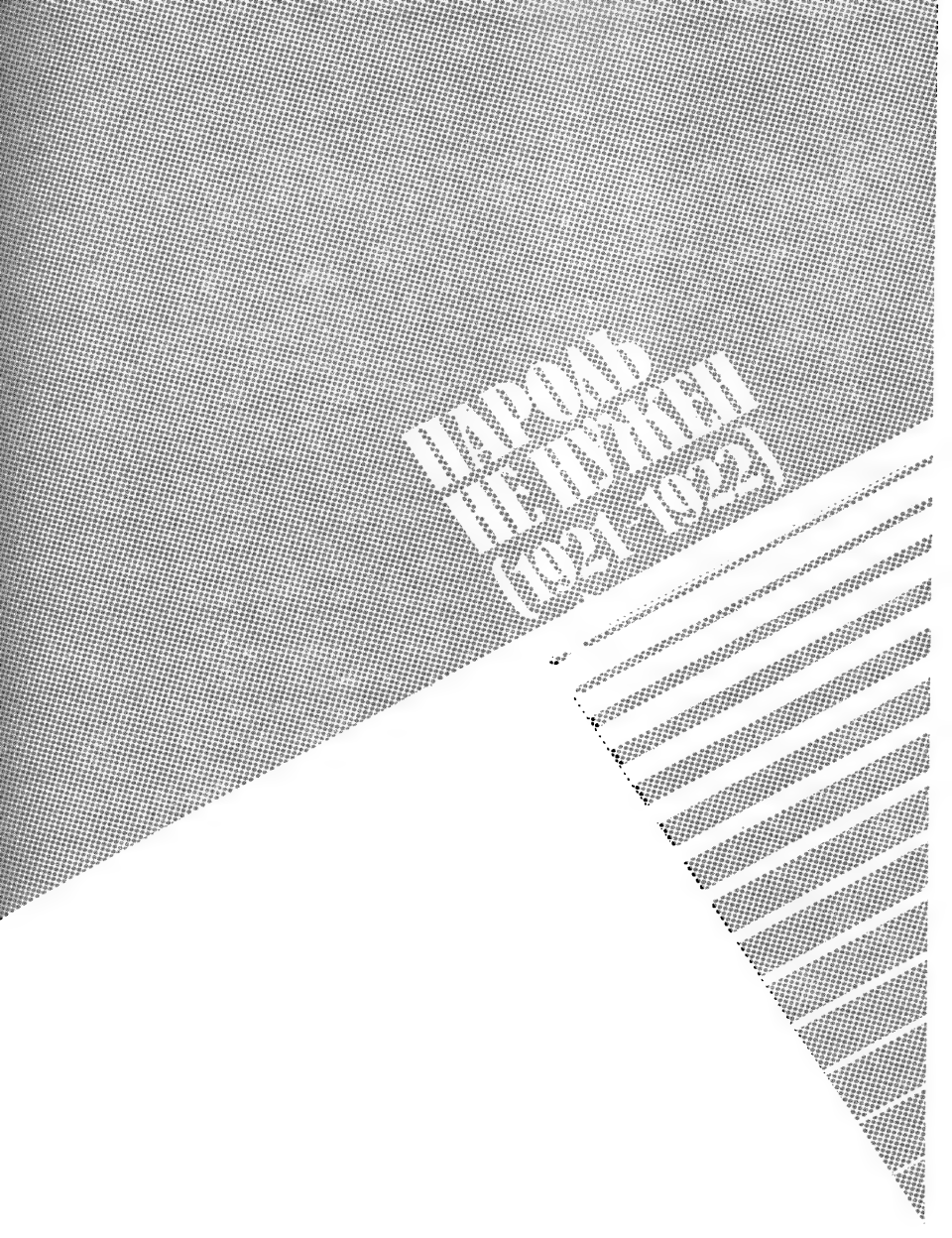
Боссэ Лидию Ивановну

Шорохова Геннадия Гавриловича

приговорить к высшей мере социальной защиты, как эстонских шпионов.

Приговор окончательный, обжалованию не подлежит.

Н. И. Ежов».



10—1378

МАЙ, 1921

1

Пятый год революции пришел в Россию с голодом. Вымирали целые волости. В холодных вокзалах на цементных платформах лежали тихие дети с желтыми старческими лицами. Над обезлюдевшими деревнями и голыми полями носилось воронье.

Блаженный Митенька — голубоглазый паренек в серой власянице — бился на паперти Новодевичьей церкви, царапал щеки и смеялся, выкрикивая:

— Мор! Мор! Мор!

Голос у него был ломкий, совсем еще детский, слышался он далеко окрест, звенел и перекатывался в студеном воздухе.

Богомолки терпеливо спрашивали:

— Кому мор, Митенька? Кому мор-то, Господи?!

— Пальчикам и рученькам, ноженькам и глазынькам, — отвечал блаженный.

— Чьим пальчикам-то?

— Маленьким! — кричал Митенька. — Ма-алю-сеньким!

— А что станется? — шептали старухи. — Что в конце станется?!

— Благовещенье, — отвечал Митенька испуганно и смотрел на старух жалобно, а ногти грыз быстро-быстро, словно белка. — Станется благовещенье!

2

Верховный совет Антанты поручил бывшему послу Франции в Петербурге господину Нулансу ознакомиться с положением в России и внести свои предложения. Была создана Брюссельская комиссия. Работа продолжалась много недель. Поволжье вымирало.

Нуланс давал интервью и устраивал приемы, на которых угощал стерляжьей ухой «а-ля рюс». По прошествии нескольких месяцев Нуланс заявил:

— Помощь голодающим России в принципе возможна, если, конечно, Ленин признает все долги законного правительства императора Николая Романова, и лишь в том случае, когда наши люди будут допущены на места, чтобы провести личное расследование.

3

Когда корреспонденты из Лондона спросили народного комиссара иностранных дел Чичерина, как он расценивает подобного рода предложение, Георгий Васильевич ответил:

— Как бы вы отнеслись к доктору, который у постели тяжелобольного требует денег за предыдущие визиты? Если вы исповедуете гуманизм, вы обязаны назвать такое поведение подлостью и живодерством.

Юноша из протокольного отдела при слове «живодерство» засмущался и стал делать жесты.

— Живодерство, — резко повторил Чичерин, — именно это я и хотел сказать.

Репортер из «Ньюс кроникл» спросил:

— Считает ли господин министр такое слово допустимым в лексиконе дипломата?

— Я исповедую дипломатию правды, — ответил Чичерин.

— Но если вы откажетесь от предложений Нуланса — Россия погибнет!

Чичерин отпил глоток холодного черного чаю, усмехнулся и спросил:

— Вы так считаете?

Нота
Правительства РСФСР Правительствам
Великобритании, Франции, Италии и Бельгии

С величайшим изумлением Российское Советское Правительство ознакомилось с содержанием полученной 4 сентября ноты г-на Нуланса, показывающей, что возглавляемая этим лицом комиссия вместо действительной помощи голодающим предпринимает шаги, заставляющие усомниться в самом желании ее помочь бедствующим крестьянам России. Уже само имя Нуланса как представителя Франции в международной комиссии помощи голодающим, а вслед за этим как председателя этой комиссии возбудило во всей России среди самых широких слоев

трудящегося населения взрыв негодования. Трудящиеся России не забыли имени того, кто был одним из самых злостных и коварных врагов их во время борьбы не на жизнь, а на смерть, которую они вели против контрреволюции и иностранного вмешательства. Они не забыли того, что с самых первых дней существования Рабоче-Крестьянского Правительства в России г-н Нуланс среди иностранных представителей больше всех прилагал усилий, чтобы не допустить соглашения и взаимного понимания между Советским Правительством и правительствами Антанты.

Весной следующего года именно интервью г-на Нуланса, помещенное в русских газетах, впервые ясно и определенно выставило требование вооруженной интервенции держав Антанты в России и отрезало всякий путь к примирению между ними и Советским Правительством. Последнее в тот же момент обратилось к Французскому Правительству с заявлением, что невозможно ни на одну минуту оставлять в России в качестве его представителя такое лицо, которое толкает к войне между Францией и Россией. В своем неуклонном желании поддерживать мирные отношения со всеми народами Советское Правительство воздержалось от насильственной высылки г-на Нуланса из пределов России, но оно заявило, что считает с этого момента г-на Нуланса лишь частным лицом. Оставшийся, несмотря на это заявление, в России г-н Нуланс все свои силы отдал подготовке заговора против безопасности Республики и против жизни ее руководящих деятелей, подготовке восстаний, вербовке участников всевозможных авантюр, направленных против Республики, попыткам устраивать взрывы мостов и железнодорожные крушения и т. д. На г-на Нуланса падает главная вина за восстание чехословаков, обманутых врагами русского народа и вовлеченных ими в борьбу против Советской власти. Г-н Нуланс был одним из наиболее активных руководителей той самой системы блокады, которая привела весь русский народ в состояние разорения и нищеты, в значительной мере обусловивших нынешнее неслыханное бедствие голода. Среди всех участников военных и экономических враждебных действий против Рабоче-Крестьянской России на г-не Нулансе, более чем на ком-либо ином, лежит вина за ужасающие несчастья, перенесенные русским народом, и за нынешние страдания крестьян голодающих губерний. Назначение этого постоянного руководителя всех предприятий, на-

правленных против Советской России, председателем международной комиссии помощи голодающим уже само по себе глубоко поразило широкие массы русского народа и вызвало в них величайшее негодование. Имя г-на Нуланса — это уже целая программа.

Комиссия, возглавляемая представителем Франции, известным инициатором интервенции Нулансом, заменяет помощь голодающим этим расследованием в то самое время, когда Французское Правительство посылает в громадном количестве военное снаряжение Польше и Румынии, в которых руководимые Савинковым и Петлюрой белогвардейские банды проявляют за последнее время усиленную активность у советских границ. Это происходит в то самое время, когда связанные тесными узами с Францией Польское и Румынское Правительства оказывают этим белогвардейским бандам всяческое содействие, когда Польское Правительство, которому еще 4 июля Российское Правительство подробно указало на эту деятельность поддерживаемых им белогвардейских банд, все еще не только не проявляет ни малейшего признака желания хоть сколько-нибудь ограничить деятельность этих банд, но даже дает им возможность больше прежнего развить свою деятельность. Сосредоточивающиеся у советских границ белогвардейцы в Польше и Румынии совершают постоянные вторжения в пределы Советских Республик и всячески вредят сбору урожая в наиболее хлебных местностях этих Республик и этим самым способствуют обострению голодного бедствия. Среди членов международной комиссии мы видим также представителя Японии, которая до сих пор не отказалась от активной вооруженной интервенции в пределах дружественной нам Республики и поддерживает своими войсками контрреволюционные группы, захватившие при ее помощи власть в районе японской оккупации в Дальневосточной Республике.

Комиссия г-на Нуланса заменила помощь голодающим собиранием сведений о внутреннем состоянии Советской России. Она выставила обширную программу расследования, требующую для своего выполнения продолжительного времени и сводящуюся к установлению ресурсов и средств Советской России в области земледелия, транспорта, скотоводства и т. д., причем это должно делаться под руководством тех людей, которые уже занимались этим изучением в ничем не прикрытых целях устройства мятежей и облегчения продвижения иностранных армий

на территории Советской Республики. Голод и страдания трудящихся России оказались поводом для этой комиссии, чтобы попытаться узнать, какими силами и средствами располагает Советское Правительство. Словно издеваясь над миллионами погибающих от голода крестьян восточных русских губерний и демонстрируя перед всем миром свое глубочайшее невежество, комиссия г-на Нуланса хочет заняться изучением условий и возможностей обсеменения в тот момент, когда самый период обсеменения уже пришел к концу и когда сами трудящиеся массы России, под руководством Советского Правительства, ценой нечеловеческих усилий уже добились значительных успехов в области обсеменения громадных, лишенных хлеба неурожайных районов. В то время, когда десятки миллионов уже лишены всякого пропитания и массами умирают с голоду, комиссия г-на Нуланса предлагает вместо хлеба собирание сведений о состоянии России.

Отсутствие серьезных деловых намерений у комиссии г-на Нуланса еще больше бросается в глаза при сравнении с громадными результатами, уже достигнутыми трудящимися массами всех стран, устраивающими денежные сборы из своего скудного заработка, организующими собрания, митинги и т. д. Рабочие массы не ждут, пока кончится расследование, они немедленно, по мере сил, оказывают помощь. Советское Правительство могло ожидать, что дело помощи голодающим трудящимся России не будет возложено на их злейших врагов вроде г-на Нуланса. Оно ожидает, что организации помощи будут относиться к своей задаче таким же деловым образом, как отнесся Верховный комиссар Нансен. Оно ожидает, что самое дело помощи будет осуществляться немедленно, а не с отсрочками, уничтожающими самый смысл этой помощи, и не будет превращаемо в прикрытие для работы по подготовке нападений на трудящихся России. Всякой деловой практической попытке помощи голодающим России Рабоче-Крестьянское Российское Правительство будет в полной мере идти навстречу. В предложениях же комиссии Нуланса Советское Правительство усматривает лишь неслыханное издевательство над миллионами умирающих голодающих.

Народный Комиссар по Иностранным Делам
Чичерин.

4

Помощник министра обороны Великобритании тщательнейшим образом изучал все относящееся к России.

— У них полный крах. Они проиграли в угле, стали, нефти и хлебе. Эти данные свидетельствуют о том, что Кремлю сейчас, как никогда, тяжело, — говорил он сотрудникам отдела стратегической разведки. — Сегодняшнее положение в России я оцениваю как наш последний шанс. Итак, я говорю вам — пора!

В этот же день люди из министерства обороны отправились в Польшу — к Петлюре, в Румынию — к Булаховичу, в Чехословакию — к Савинкову, в Хельсинки — к Маннергейму, в Ревель — к Чернову, чтобы в самый короткий срок подготовить единый фронт выступлений против Москвы. Особо доверенный представитель министерства выехал в Париж для секретных переговоров с руководителями французского генерального штаба.

В тот же день в пять часов по Гринвичу премьер-министр Ллойд Джордж был проинформирован о предпринятых акциях.

Через час после визита руководителей военного ведомства премьер-министр принял Леонида Красина — личного представителя Ленина.

Премьер-министр заявил, что помощь голодающей России начнется сразу же после того, как большевики передадут британским фирмам часть железнодорожных магистралей юга и центра РСФСР. Только это, утверждал Ллойд Джордж, может оказаться той достаточной гарантией, которая устроит британских предпринимателей, согласившихся в принципе финансировать помощь Москве.

Представитель Ленина в категорической форме отверг эти предложения премьер-министра Великобритании.

Проводив Красина, премьер попросил вызвать для беседы японского посла.

5

В японском генеральном штабе работали круглые сутки. Лучшие специалисты по России сидели за статистическими таблицами и подсчитывали хлебный потенциал Советов.

О, как великолепно была задумана в Токио владивос-

токская операция! Это был реванш за выигрыш Ленина, который сумел в апреле 1920-го создать на громадной территории от Байкала до Владивостока суверенное государство, ДВР — Дальневосточную республику, «красный буфер». Этой акцией Ленин парализовал действия китайцев и японцев в Сибири, ибо ДВР, построенная на принципах незыблемости частной собственности и широкой многопартийности, тут же наладила отношения с Америкой. А США зорко наблюдали за всеми действиями японцев в России, и всякий их успех расценивался в Вашингтоне как операция потенциального противника. Вашингтон устраивала слабая дальневосточная окраина без японцев. Подготавливая заговор во Владивостоке, Токио учел позицию Вашингтона. Началась сложнейшая дипломатическая игра. Нужно было найти и привести в ДВР к власти таких русских, которые сначала утвердились бы как антибольшевистская сила — это бы американцы приветствовали, — а потом истинно русская белая сила должна была обратиться за помощью к Японии, но никак не к Вашингтону. Однако то была бы уже вторая стадия операции. Пока важно выиграть первую стадию. В течение года в Токио тщательно готовились. Во Владивостоке была создана подпольная контрреволюционная организация во главе с братьями Меркуловыми. Старший, Спиридон Дионисьевич, был купец — фигура на Дальнем Востоке известная. Младший, Николай Дионисьевич, — капитан, уже двадцать лет гонял пароходы по Амуру. Братья были умны и богаты. На них делалась первая ставка. За помощью они обратятся только к японцам, и ни к кому больше. А как же отказать суверенной новой русской власти, которая просит о помощи?! Никак нельзя отказать! Следовательно, перед красными Токио соблюдает реноме — все совершается в соответствии с законом. Да и Вашингтон не сможет придраться: как не помочь антибольшевистскому режиму?! А Лондон и Париж в этой акции первые союзники.

Второй ставкой был атаман Григорий Михайлович Семенов, который сидел в японском генштабе. Но он был как бы запасным центром, приготовленным на случай провала Меркуловых.

К братьям Меркуловым японцы подключили опытного контрразведчика полковника Гиацинтова, что жил во Владивостоке нелегалом, собирал досье на коммунистов, готовил склады оружия и непосредственно поддерживал связь с японской миссией. Николай Меркулов два раза

ездил в Харбин и здесь наладил связь с наиболее влиятельными кругами эмиграции, с либеральной профессурой, с королем газетчиков Николаем Ивановичем Ванюшиным. Это было необходимо для того, чтобы сразу же после переворота заручиться поддержкой эмигрантской прессы. Естественно, о том, что Япония поддерживала его, Меркулов молчал. Речь шла только о том, чтобы создать на территории ДВР законное русское белое правительство. После разгрома Колчака такого противодействующего Ленину правительства — хотя бы чисто формального — на территории России не было.

А появись оно — у Антанты сразу же развяжутся руки. Она сможет помочь не только тем формированиям, которые располагаются вдоль границ РСФСР. Нужно будет «выполнять союзнический долг», то есть помогать «законному, белому» русскому правительству, которое находится на территории России и, следовательно, представляет русский народ.

Поэтому чрезвычайные посланники Японии в Париже, Лондоне и Вашингтоне проинформировали глав правительств Антанты о ситуации на русском Дальнем Востоке. И так как Ленин от уплаты царских долгов отказался, железные дороги России под контроль иностранцам не передал, словом, не пошел даже на частичную капитуляцию, операция японцев была признана своевременной. Чтобы поддержать эту дальневосточную операцию, главы европейских правительств поручили своим военным министрам продумать возможность координированного выступления, которое призвано было отвлечь внимание Москвы от подготовляемого дальневосточного путча. И по прошествии некоторого времени, почти в один день, европейские границы РСФСР пересекли войска Петлюры, Тютюнника, Булаховича, Савинкова; заиграли банды на Тамбовщине.

Чуть позже других выступил барон Унгерн фон Штернберг. Его войска двинулись через Монголию к границам России. Войска 5-й армии Уборевича, подпиравшие на Байкале границы ДВР, повернули жерла пушек в другую сторону, двинувшись навстречу Унгерну. Этого только и ждали в Токио.

И в ночь на 26 мая 1921 года во Владивостоке был совершен переворот. Коммунистические организации частью ушли в подполье, частью отступили в сопки. Премьер «нового русского правительства» Спиридон Меркулов три часа отстоял на коленях в церкви, вышел от-

туда весь просветленный и приступил после этого к формированию кабинета. Брат получил портфель министра иностранных дел и в тот же день вызвал для беседы двух консулов — Японии и Франции.

6

Заметно сдал Пуанкаре за последний год, но глаза его — маленькие всевидящие буравчики — по-прежнему глядели на мир умно и весело.

— Чтобы все люди земли были счастливы, — говорил он единственному гостю, приглашенному к завтраку, русскому генералу, сподвижнику барона Врангеля, — каждый обязан быть хоть немножечко виноградарем. Землепашество — это иное, это необходимость. Виноградарство — искусство. А?

Генерал слушал его молча, тяжело смотрел себе под ноги и ощущал огромную, нечеловеческую усталость.

«Что он знает? — думал русский. — Что они все видели? Верден? Ах, боже ты мой, Верден! Им один денек России показать. Виноградарь чертов! Водки бы стакан. Ишь вина выставил. Водки бы с луком».

— Понимаете, мой генерал? — продолжал говорить Пуанкаре. — Теперь они задохнутся, потому что потеряли изящество, обязанное сопутствовать культуре возделывания земли. Этим они убили себя. Ленин — сильный политик, но он мыслит прямолинейными категориями, а изящество, составляющее сердцевину прогресса, не терпит прямолинейности. Ленин на грани падения. Надо только помочь.

Генерал посмотрел на Пуанкаре исподлобья и тяжело усмехнулся. Старик резко отодвинулся.

— А? Что? — спросил он.

«На ежа б тебя голым задом, — подумал генерал, — сука старая».

Вслух он сказал:

— Ваше превосходительство, меня изумляет ваше умение анализировать самую сущность события... Только я не совсем ясно представляю себе возможность «помощи» Ленину.

Пуанкаре достал из кармана старые часы-луковицу, постучал пальцем по циферблату и, прищурившись, произнес:

— Сегодня утром во Владивостоке к власти пришло

законное правительство во главе с господином Меркуловым, истинным патриотом России.

Генерал мучительно напряг память, но фамилия Меркулова ни о чем ему не говорила.

— Я счастлив, — сказал он. — Господин Меркулов действительно великий гражданин нации.

Пуанкаре чуть улыбнулся:

— Теперь весь вопрос заключается в том, чтобы перебросить туда войска барона Врангеля на наших кораблях.

Генерал сразу же представил себе пьяных офицеров в константинопольских и афинских кабаках, солдат, которые до сих пор живут на пароходах, угнанных из Крыма, и по ночам поют тоскливые мужицкие песни, моряков, что матерят весь мир людской и рвутся обратно, на родину; он представил все это разом — всех измученных, изверившихся людей, которые перестали быть армией, — и сказал:

— Наши люди готовы к бою за Учредительное собрание. Для организации нужно только одно...

— Я понимаю... Оружие?

— Нет. Деньги.

На какую-то долю секунды генерал испугался, что покраснеет, потому что Пуанкаре впился в него своими пронзительными буравчиками, будто в душу влезал. Потом Пуанкаре подвинул генералу блюдо и сказал:

— Вот сыры. Они прекрасны.

ЛУБЯНКА, 2

Дзержинский отошел к окну. Над городом занимался промозглый рассвет. По-прежнему хлестал шалый весенний ливень. Где-то далеко звонили колокола.

— К заутрене, — тихо сказал Владимиров.

— Послушайте, Всеволод, — спросил Дзержинский, — а вы часто проклинаете все и вся? За то, что у вас нет имени, нет семьи, нет дома?

— Часто.

— После Ревеля я обещал вам отдых.

— Его не будет?

Дзержинский покачал головой.

— Я понимаю. Куда?

— К Меркуловым. Во Владивосток.

Дзержинский включил настольную лампу. В комнате стало сине. Черный провал окон был словно вдавлен в серое небо. Над Лубянкой летели белые голуби. На Крас-

ной площади малиново перезванивали куранты. Дзержинский положил руку на плечо Владимирову, долго смотрел ему в лицо, а потом тихо и до боли грустно сказал:

— Когда возвратитесь, Всеволод, обязательно заведите двух сыновей. А еще лучше — двух сыновей и дочь. Память отцов хранят дети. К обелискам я отношусь отрицательно, да и потом Древний Рим доказал всю их относительность. К тому же людям вашей профессии обелиски не ставят. Вы относитесь к той категории людей, которые призваны быть маршалами без имени, о которых никогда не узнают победители-солдаты. Молчаливый героизм. Мужественный. И самый трудный. Так-то. Ну, давайте пить чай.

Дзержинский намазал маслом кусок хлеба, посыпал сахаром и, положив на тарелку, разрезал на несколько ломтиков.

— Угощайтесь, — сказал он, — заварка отменно хороша.

Выпив чаю, Дзержинский стал ходить по кабинету. Говорил он быстро, но каждая его мысль была сформулирована четко и ясно до предела:

— Владивосток в течение ближайших месяцев будет некоей лакмусовой бумажкой, по которой мы сможем судить о «колебаниях цен» на международной антисоветской бирже. Следовательно, прежде всего нас будет интересовать политическая ситуация во Владивостоке, столице «черного буфера». Я не обязываю вас сделаться прозорливой Кассандрой, но мы здесь будем очень ждать ваших прогнозов на будущее, которые должны быть основаны на тамошнем видении ситуации, беспощадно честном и нелицеприятном для нас. Это главное. Дальше: вам нужно будет постараться нащупать уязвимое звено в японо-американских противоречиях, с одной стороны, и, с другой — выявить такие же противоречия между Меркуловыми и атаманом Семеновым. По нашим сведениям, он сразу же начнет драку с Меркуловыми за власть. В эту драку надо будет постараться подлить масла — тогда зачадит. Но если это будет сопряжено с риском — оставьте и не встревайте. Для нас самое важное — получать от вас точную информацию из самого мозга белого движения на Дальнем Востоке. Теперь о контактах: первым, кто введет вас в конкретную обстановку Владивостока и мятежа, будет Постышев. Он единственный, к кому вы явитесь в Хабаровске. Завтра же вы познакомитесь у

Склянского в Реввоенсовете с Блюхером. Он назначен военным министром Дальневосточной республики. Это будет второй канал, через который мы с вами будем поддерживать контакт. Теперь о некоторых существенных деталях...

ПОЛТАВСКАЯ, 3. КОНТРРАЗВЕДКА

Полковник Гиацинтов сидел на подоконнике. Глаза его были полузакрыты, подбородок опущен на грудь; тихо и распевно читал он Блока: «О подвигах, о доблести, о славе...» На диване полулежал князь Мордвинов. Был он похож на татарина: лицо плоское, спокойное, кожа на подбородке и под носом девичья, свежая; растительности почти нет. Френч князь повесил на спинку кресла, и сейчас, на старинном кожаном диване, в галифе и тонкой шелковой рубахе, он казался гусаром прошлого века. Лежал он картинно: нога за ногу, мыски вытянуты, как у балерины, голенища начищены до антрацитового блеска.

— Юрочка, — сказал Гиацинтов, оборвав строку, — право, плюньте на все это. Научитесь спокойствию в мышлении. Вас там непременно схватят и через месяц шлепнут в чекистском подвале.

— Может быть. Но если мы все будем сидеть кротами, тогда уж наверняка нас с вами шлепнут в здешнем подвале через год-другой. Чтобы сохранить себя — надо драться.

— Неужели вы не видите, что мы проиграли? Мы гальванизируем труп, в демократию играем. В России истинную демократию можно завоевать и сохранить только штыком и пулей. Иначе народец наш демократию прожрет, пропьет и проспит. А мы, помните, в либералов играли. Юный социалист бомбу кидает в губернатора, а ему десять лет ссылки. А он через пять месяцев в Женеве пиво жрет. Развратили народ либерализмом. Он в нашем прусско-татарском государстве неприемлем. Сочли, что демократию штыком неловко охранять — просвещенная Европа смотрит. Ай-яй-яй, как же мы Россию профукали, а?! Юрочка, умница вы моя, через год мы с вами в Шанхае улицы будем подметать, если только не чудо...

— Перестаньте, Кирилл, это цинизм.

— Смешно. В России испокон века смотреть правде в глаза считается цинизмом. Ну что ж... Я испытал все пути, князь. Тогда давайте перейдем к нашим играм.

Я вам назвал бы кадрового военного Блюхера и комиссара Постышева, пользующегося громадной популярностью. Но я назову только одного Блюхера, потому что завтра вечером Павел Постышев должен сыграть в ящик. Если вы повторите подобное с Блюхером — будет прекрасно. Но, если, упаси бог, попадетесь, вам надо будет сделать еще одно дело. Если вас схватят после убийства Блюхера, вас ничто не спасет. Коли же схватят случайно, вы постарайтесь спастись, дав показания в ЧК о том, что вы безобидный связник, пришедший из-за кордона, чтобы наладить контакт с подпольной организацией офицеров и генералов во главе с Гржимальским.

— Зачем, Кирилл?! Это подло!

— Если вы пришли к нам, князь, то вам придется несколько пересмотреть прежние понятия о подлости и честности. Вы поступите как патриот России, потому что красные завлекают к себе кадровых военных; они таким образом становятся сильнее в военном отношении, понимаете меня? Необходимо оставить большевиков с их же быдлом, а кадровиков посадить в тюрьму до нашего возможного прихода. В большом надо уметь жертвовать малым, не так ли?

— Скажите правду: ваш скепсис — это ход картежника, который боится спугнуть талию?

— С вами опасно сидеть рядом, князь. Вы ясновидящий.

Гиацинтов вызвал адъютанта, вечно сияющего вкрадчивого Пимезова, и спросил его:

— Воленька, не сочтите за труд поинтересоваться: из Хабаровска никаких новых известий не поступало?

— О Постышеве?

— Да.

— Я уже интересовался, Кирилл Николаевич. Пока ничего.

— Нет вестей — уже хорошие вести, — сказал Гиацинтов задумчиво. — Барон Унгерн обожает повторять эту фразу, а он фанатик веры, я отношусь к нему с большим доверием. Я прошу вас, Воля, все время следить за новостями.

— О, конечно, Кирилл Николаевич.

Адъютант неслышно вышел из кабинета. Гиацинтов остановился напротив Мордвинова, долго на него смотрел, а потом сказал задумчиво:

— А то плюньте на все, князь. Оставайтесь, право слово, а?

ХАБАРОВСК. ЦЕНТР

Утром город был одет голубым туманом. Снизу, с Канавы, тянуло горьковатым дымком — во дворах жгли мусор. С реки поднимался туман, и город стал похож на Петроград: дома, вывески, деревья на Муравьево-Амурской улице зыбки и смотрятся словно через папиросную бумагу. Хабаровск еще не проснулся: редко прогрохочет извозчик по булыжнику, простучат каблучки по тротуару, и снова влажная тишина ложится на город.

Постышев в кожаной куртке, подняв воротник, вышагивал по улице.

Возле дома, где помещался профсоюз конторских служащих, толпилась очередь: дамочки в потертых пальтишках с облезлыми соболями, сухощавые, тщательно выбритые мужчины в офицерских шинелях без погон, два милиционера и делопроизводитель исполкома Лысов.

Постышев остановился и негромко спросил даму в шляпке с заштопанной вуалеткой:

— За чем стоим?

— Скоро будут выдавать благотворительные американские посылки.

Ни милиционеры, ни Лысов Постышева не видели, а если б и увидели, так не сразу признали бы: фуражка надвинута низко на глаза, воротник приподнят, только торчит у комиссара Восточного фронта нос и топорщатся коротко подстриженные рыжие усы.

— Вы слыхали, — говорят в очереди, — оказывается, из чикагского яичного порошка можно прекраснейшим образом делать кексы.

— Что вы говорите?! Их яичный порошок сделан из нефти, от него химией воняет за версту.

— Нефтью стали рак лечить.

— В России теперь у каждого рак души, а тут нефть бессильна.

— Что же вы предлагаете?

— Нагайку. Прекрасное лекарство.

— Я б яичным порошком большевиков кормил, от него брюхо пучит и газоном-с отходит.

— Сударь, здесь дамы.

— Какие это дамы? Проститутки.

— Они же старухи!

— А вы старых проституток не видели? Особый смак! А вон в вуальке — спекулянтка. Э, милиционер, махорки нет?

Милиционер обернулся, чтобы ответить, и заметил серые спокойные глаза Постышева. Минуту он вспоминал, где видел эти глаза, а вспомнив, легонько толкнул локтем товарища.

— Влипли, — прошептал он, — комиссар тут.

— Можно вас в сторонку? — сказал Постышев милиционеру.

Не дожидаясь ответа, комиссар перешел улицу и вышагивал до тех пор, пока очередь не исчезла, растворившись в тумане. Он остановился возле тумбы, на которой были расклеены афиши. Сразу же полез за папиросами, закурил, зло отшвырнул спичку, нахмурился и, не оборачиваясь, тихо спросил:

— Ну?

Трое — за его спиной — молчали.

Постышев резко, корпусом развернулся.

— Нищенствуем? — гневно спросил он. — Подачку клянчим?

Милиционер — тот, что постарше, — поднял голову, и Постышев увидел, как тряслось его одутловатое, с желтизной лицо.

— Я в семье сам шестой, товарищ комиссар. четверо мальцов у меня. Младшенькому — год. У него живот вздутый и ноготки не растут...

— У меня трое, — сказал второй милиционер.

— Жена в чахотке, — пояснил Лысов. — Кровохарканье третий месяц. И дочка при смерти. Я им бекон на сальце топлю...

Тихо в городе. Спит еще Хабаровск.

— Я понимаю, — враз сникнув, сказал Постышев, — я понимаю... Что же делать-то, а?

— Так вам видней, товарищ Постышев, — жестко ответил Лысов. — На то вы и комиссар...

— Детишек очень болезненно хоронить, — сказал милиционер, — они в гробу махонькие и до того тихие, что глохнешь...

— Зайдите ко мне в штаб завтра утром, — сказал Постышев.

Ушел он быстро, еще больше ссутулившись, вышагивая длинными тонкими ногами с выпирающими коленями — широко и торопливо.

ГАЗЕТА «ВПЕРЕД»

Заместитель редактора Григорий Иванович Отрепьев — поэт. Ночами не спит, учится технике стихосложения, даже пожелтел весь, насквозь светится. Оттого страсть как нервен.

— Пал Петрович, — прокричал он Постышеву, который вешал свою кожанку на ржавый крючок за дверью, — есть тема для хорошей басни. Понимаешь, военное начальство по железной дороге без билетов ездит, а если контроль — наган ему в нюх, и весь разговор. Я тут басенку накидал, посмотри.

— Басня, — усмехнулся Постышев, — это литература угнетенных. Ты впрямую пиши, с фамилиями и полными именами.

Постышев был первым редактором этой газеты. Поэтому и сейчас он проводил здесь, в маленькой типографии, возле метранпажа Моисея Соломоновича, час-другой, но обязательно каждый день. Читал комиссар по-редакторски: быстро и с карандашом.

— Давай-ка посмотрю.

— Посмотри...

— Нет, — раздраженно сказал Постышев, пробежав глазами строки, — от такой басни ни холодно ни жарко. Тут деликатничать нечего. Пиши впрямую, как есть.

Отрепьев пожал плечами:

— Берешь ответственность, Петрович?

— Беру, Гриша, беру.

— Ладно. Сейчас в типографии имена переберу, всех обзову по правде.

— Обзови, — усмехнулся Постышев и отошел к окну, где лежала свежая верстка.

Он посмотрел полосы и сердито потушил окурок в старой консервной банке.

— Послушайте, Моисей, вы когда-нибудь подсчитывали, сколько слов в нашей газете?

— Много, — скорбно ответил Моисей Соломонович. — Очень много пустых слов.

— Я сегодня ночью подсчитал: у нас в газете употребляется четыреста слов! Понимаете? Всего четыреста из сорока тысяч в словаре русского языка. Не статьи — а интендантские отчеты. В сон клонит. Или вот, пожалуйста, верстаете на первой полосе: «*Нашедшего енотовую муфту*, пропавшую в то время, когда я прода-

вал открытки советских вождей, прошу оную вернуть гражданину *Цыплятнику* в горторг».

— Гражданин Цыплятник платит за объявление золотом.

— Четвертая полоса есть для Цыплятника.

— Если мы объявления станем печатать на четвертой, кто будет читать первую?

— Это зависит от того, как сверстана первая полоса.

— Вы же видите, как она сверстана: «*Ударим по спекулянту*». Уже сколько раз по нему ударяли, а он все-таки жив. Может быть, в том, что он жив, больше вины комиссара Постышева, чем гидры мировой буржуазии?

— Крестьянка, которая тащит на базар молоко, чтобы потом детишкам купить букварь, — не спекулянтка, хотя кое-кто склонен ее в этом обвинять. Тут есть вина комиссара Постышева, не спорю.

В редакцию вернулся Отрепьев.

— Слушай, Пал Петрович, — сказал он с отчаянием, — ей-богу, нет сил работать. Пять человек на всю типографию. Мое письмо у тебя месяц лежит — прибавь две единицы.

Не отрываясь от газетных полос, Постышев ответил:

— Наоборот. Я у тебя одну единицу забираю. И паек с деньгами делю между милицией и исполкомом. У них люди голодают. И не кричи, Григорий Иванович, тут крик не поможет. Хоть басню пиши.

Курьер положил перед Постышевым только что полученные сводки телеграфного агентства ДВР — Даль Та. Постышев быстро пролистал бланки с последними новостями. На одном сообщении он задержался. Обхватив голову руками, изогнулся вопросительным знаком, фыркнул.

— Ну-ка, прямо в номер. Моисей, снимите объявление Цыплятника, пусть поищет муфту завтра. Тут интересный материал: присуждение Нобелевской премии. Кандидатами выдвигались Горький, Герберт Уэллс, Бернард Шоу, Габриэль д'Аннунцио и Анатоль Франс.

— Максимычу дали! — обрадовался Отрепьев.

— Горький, Франс и Аннунцио вычеркнуты за «близость к идеологии коммунизма». Бернард Шоу и Герберт Уэллс отведены из-за того, что им свойственна «ветреность во вдохновении». Премию получил маркиз О Кума.

— Это кто ж такой?

— Знать надо. Японский дипломат. Двадцать одно требование Китаю он писал. Сволочь. Ну-ка, я коммента-

рий в номер сделаю, и быстренько в штаб. Громов у меня задурил.

ШТАБ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА

Комбриг Громов пил чай быстрыми глотками, обжигаясь. Лицо его было скорбно, будто у обиженного ребенка.

— Я ничего не понимаю, Павел, — говорил он, — я два дня его речь с карандашом читал. И что же? Я работал в подполье, я дрался с Колчаком — вон две дыры в груди. А теперь? Допуск частной собственности и капитализм! И кто же это говорит?! Это же Ленин говорит, Павел!

Постышев рассеянно слушал Громова, смотрел в большое итальянское окно и молча, тяжело затягиваясь, курил. Папиросу рвало красными искрами, сжимало, бумага желтела и прожигалась изнутри черно-красными кружочками, будто взрывчиками. В кабинете плавал слоистый фиолетовый дым. В двух пепельницах высились горы окурков.

— Значит, все двадцать лет борьбы впустую?! Значит, каторга девятьсот третьего года псу под хвост?! Девятьсот пятый к черту?! Значит, прощай, революция?! И кто это провозгласил с трибуны съезда, Павел?! Ленин! Да я ж лучше еще десять лет с пустым брюхом прохожу, чем буржуя терпеть! Э, чего там говорить...

— Говорить есть чего. Ты в партии двадцать лет, ты у нее ничего не просил, потому как ты ее солдат. Мы с тобой не в счет. А рабочий, который бросил станок? А мужик, что от земли ушел? Зачем? Во имя лучшей жизни он все бросил.

— Так он же свободу получил!

— Голодной свободе грош цена. На голодной свободе тираны рождаются. Да и не свобода это, если она голодная, а рабство навыворот.

— И слово какое пузатое — нэп! Теперь в каждом хозяйчик проснется... И вместо того чтобы его по шапке — наоборот, гладь его, сучару, по головке. Развратят народ, погубят.

Постышев поднялся. Длинный, худой, нескладный.

— А ты зачем? — взорвался он. — Партбилет в кармане носить? Охать да ахать, если непонятно? А вот ты смоги так, чтоб рабочий на твоем заводе жил лучше, чем

на фабрике у буржуя! Смоги! Воевать выучился, а вот теперь торговать выучись. Строить! Хозяйствовать! Не научимся — сомнут. Вот что Ленин сказал! Ишь герой — в атаку поднимать. Не гордись — обязан! А ты за прилавок стань! Что? Не нравится белый фартук? Ты чистый, а торговец не чистый? Не с руки тебе торговать, да? Не коммунизм это, да? А что ж такое тогда феодализм? Феодал — он тоже одни турниры да войны уважал, а строитель с торговцем для него вовсе не люди. Смотри, Громов, феодалом станешь. Это я серьезно тебе говорю. Я вот тебя в гормилицию с такими настроениями пошлю, там голодуха, я посмотрю, как тебя на тачке вывезут с твоей ортодоксальностью. Имей в виду — ортодокс иногда хуже врага может стать.

После долгой тяжелой паузы Громов ответил:

— Нет, Павел. Не понять мне этого.

— А ты подумай. Не поймешь — клади партбилет, так честно будет.

— Партбилет я тебе не положу, он мне заместо сердца. А драться стану.

— Это валяй. Тут я тебе мешать не могу. Только с кем драться собираешься? С Лениным? Слаб.

Громов поднялся, яростно оттолкнул кресло, пошел к двери не прощаясь. Постышев долго смотрел ему вслед — задумчиво и устало.

Молоденький адъютант заглянул в кабинет, тихо доложил:

— Товарищ комиссар, к вам из Москвы.

— Кто?

— А он фамилию не говорит и мандата не кажет. Морда у них больно аккуратная — я на всякий случай в политохрану брякнул.

— Это как должно понимать — брякнул?

— Понимать так, что позвонил.

— Ну, тогда зовите, — усмехнулся Постышев.

В кабинет зашел Владимиров.

— Здравствуйте, — сказал он, — я от Феликса Эдмундовича.

Постышев прочитал мандат, потом, как и предписано в мандате, сжег его, усадил Владимирова, устроился напротив него и спросил:

— Когда будем говорить: сейчас или передохнете?

— Если можно, передохну. В теплушках не поспишь.

— Ложитесь на диван. Если я уйду — вот здесь все материалы для вас. Подполье — в синей папке. В зеле-

ной — меркуловцы. Прочитайте, есть занятные документы. Даже кто как в покер играет. И какие взятки берет на бегах секретарь премьера господин Фривейский. Сейчас шинельку принесу, укрою вас. И окно пошире откроем — с Амура свежестью тянет.

Владимиров отошел к дивану, сбросил сапоги, вытянул ноги, стащил до половины пиджак и сразу уснул, словно потеряв сознание. Постышев на цыпочках подошел к окну и пошире открыл створки. Сизый табачный дым потянуло, словно в трубу. На столе зашелестели бумаги. Захлопала на стене огромная карта. А на карте синие стрелы — острые, злые — со всех сторон направлены на ДВР: и с Владивостока, и с Китая, и с Монголии.

Постышев взглянул на Владимирова. Тот спал, сложив руки на груди, как покойник. Вспомнилась шифровка из Владивостока: трое связных расстреляны в контрразведке белых. В нашем штабе, возможно, сидит их человек.

В дверь постучались. Постышев спросил шепотом:

— В чем дело?

В кабинет заглянул шофер штаба Ухалов.

— Куда поедем, Пал Петрович?

— В городской театр, там учительская конференция бушует.

Ухалов лениво глянул на спящего и вышел.

ГОРОДСКОЙ ТЕАТР

...В зале полно народу — яблоку упасть негде. За столом президиума взволнованные, часто переговаривающиеся люди. Они что-то писали на маленьких клочках бумаги, рвали написанное, то и дело посматривая на Постышева, который сидел с краю и был отделен от остального президиума пятью пустыми стульями. На трибуне сейчас человек в пенсне, бородка клинышком, под мятым пиджаком — ослепительной чистоты рубашка и большой красиво повязанный черный галстук.

— И вот, изволите ли видеть, — налегая грудью на трибуну, говорил он, — является ко мне комиссар с трехклассным образованием и молвит свое просвещенное слово. «Ты, — говорит, — буржуйская твоя харя, почему не читаешь детишкам народные стихи Демьяна, а заместо них читаешь помещика Пушкина?» Говорит, а я чувствую: он пьян! И с красным бантом на груди!

Постышев подождал, пока в зале утихнет возмущенный гул, и бросил с места реплику:

— Вас возмущает красный бант или запах алкоголя?

На галерке и в задних рядах — смех, передние ряды хранят молчание, хотя некоторые сдерживают улыбку; в президиуме суетня и быстрое перебрасывание записками. Председательствующий позвонил в колокольчик и нервически призвал уважаемое собрание к спокойствию. Оратор, несколько оправившись, продолжал:

— Уж если гражданами большевиками провозглашена свобода, то позвольте учить детей на тех примерах, которые близки мне! А стряпня разнузданного хулигана и футуриста Маяковского отдает половой распущенностью. Не мешайте, — обращается оратор к Постышеву, — сеять разумное, доброе и вечное! Вы пишете директивы, а я отвечаю за души детей! И воспитывать их в зверстве, распускать в них инстинкты я не позволю никому, чего бы мне это ни стоило! Я знаю, что грозит мне за это выступление, но я не могу молчать!

Первые ряды рукоплещут, президиум — весь в улыбках, ядовито поглядывает на комиссара, только на галерке и в задних рядах шум и говор. Постышев сидел, подперев голову кулаками, смотрел задумчиво в одну точку — и вроде бы нет его здесь.

На трибуну, продираясь сквозь тесно сидящих в проходе, вышел парень в гимназическом френчике, перепоясанном солдатским ремнем. Лицо у него удлиненное, нервное, бороденка и усы под Дон Кихота, на белых щеках горит нездоровый румянец, видимо, туберкулез у парня. Не дожидаясь тишины, он начал говорить, выкрикивая фразы в разномастный зал:

— Пусть гражданин Широких тут не играет в святую добродетель. Для него Маяковский — символ революции, и нечего болтать про половые инстинкты и распущенность! Для вас футуризм так же страшен, как и большевизм! Вы хотите растить из детей беленьких херувимчиков? Не позволим! Основа развития — борьба, и мы должны воспитывать подрастающее поколение солдатами, ибо история человечества — это история войн! Так было, так есть, так будет! А сладенький пацифизм Широких идет совсем от другого! Это он сейчас пацифист, а завтра он станет учить детей белогвардейским гимнам! И я этого господинчика за его речи, в порядке профилактического предохранения, предлагаю изолировать к чертовой матери! Меньше двоек пролетарскому элементу всадит!

В зале — грохот, свистки, вопли, возмущение, овации, визг.

Постышев поднялся со своего места и неторопливо пошел к трибуне. Он долго откашливался, а потом заговорил — глуховато, по-волжски окая.

— Тут мне придется на два фронта сражаться. И с учителем Широких, и с его молодым оппонентом, который, по-видимому в силу юного возраста, вообще к учительству относится как к сплошному классовому врагу. (Смех.) Молодой товарищ, как я заметил, увлечен теорией профессора Леера, который утверждал, что война есть главный импульс продолжения жизни на земле. Леер приводил одним из главных доводов в защиту своей теории тот факт, что война началась с появлением человека, ибо мужчины дрались друг с другом за женщину — не за прекрасную возлюбленную, а за ту, что приносит потомство, только лишь. Однако дальнейшую эволюцию человечества Леер опускал, потому что она против него. Действительно, примитивное проламывание черепов сменилось рыцарскими турнирами. Но и это прошло. Турниры и дуэли сменились маскарадами, а за женщину воюют прекрасной строкой Пушкина. (Аплодисменты учителей.) Иные причины порождали и порождают войны. История человечества, молодой мой товарищ, есть все-таки история мира, но не история войн. А с учителями следует вам уважительно говорить, право слово... Не надо так. Обвинения клеить — последнее дело. Вот так-то. А вы, учителя, обязаны растить молодежь широко и всесторонне образованной, понимающей истинные причины войны и мира, добра и зла. Отвечаем за детей мы, большевики. Мы доверили вам, учителям, воспитание новых человеков. Но мы, гражданин Широких, можем вас из школы изгнать, если вы не приемлете нас. Если вы против нас — боритесь! Я уважаю открытый бой. Но не все идут на открытый бой. Большинство шушукается. Деритесь, но не шушукайтесь! Нет ничего страшнее учителя-двурушника, который исповедует в душе одно, а вслух проповедует обратное. (Овация галерки и амфитеатра). Что-то, правда, учительство со мной не очень соглашается? Или молчание в данном случае синоним согласия? (Смех на галерке и в амфитеатре.) Я думаю, это проявится при голосовании за резолюцию в целом. Повторяю: вы можете любить или не любить Маяковского — это дело ваших личных вкусов, но вот свободы учить чему заблагорассудится одному лишь

Широких — такой свободы мы вам не давали и не дадим!

Постышев медленно возвратился на свое место. Галерка и амфитеатр, поднявшись со своих мест, аплодировали. Партер — островками. Председательствующий поднялся и несколько растерянно провозгласил:

— Перерыв!

Широких, отталкивая острыми локтями окружающих его людей, торопился за Постышевым, который шел к выходу.

— Послушайте! — закричал Широких. — Послушайте! Комиссар!

Постышев обернулся и подождал, пока учитель пробьется к нему сквозь жаркую, шумную толпу.

— Вы, оказывается, интеллигентный человек, — сказал, отдышавшись, Широких, — просто-напросто интеллигентный.

— Стараюсь. Вот ораторскому искусству не учен — так что простите за резкость, ежели была. Но искренне говорю вам: учительство считаю нашим цветом и надеждой нашей. А с надежды особый спрос. Вот так-то. Всего вам наилучшего.

Постышев протянул Широких руку, тот пожимал ее, жадно рассматривая комиссарово худое лицо.

В перерыве Широких взволнованно ходил от одной группы к другой:

— Я потрясен, господа! Он мыслит широкими категориями, этот Постышев, он мыслит! Неужели мужик пробуждается? Неужели жизнь не зря прожита?!

— Перестаньте, Платон Макарович... Ему эти речи еврейчики пишут, а он их по ночам зубрит. Глаза у него оловянные. Или не заметили?

— Злобствование, — возразил старичок в золотом пенсне, — наихудший аргумент в споре. Комиссар — фанатик, но он умеет логично мыслить.

— В нем есть мужицкая доброжелательность, — согласилась дама из женской гимназии грассирующим басом.

— Я проголосую за их резолюцию, — сказал старик в пенсне.

— Ну уж извините... Надеюсь, вы, Широких, против?

— Я воздержусь, — задумчиво ответил Широких, — пока что я воздержусь...

КАБИНЕТ ПОСТЫШЕВА

Владимиров сидел за столом, перелистывая бумаги в папках, оставленных ему Постышевым. Павел Петрович, вернувшись из театра, подивился тому, как гладко причесан его гость; лицо свежее, будто спал он не два часа, а добрых десять; щеки лоснятся после бриться, и в прокуренном кабинете легко пахнет довоенным сухим одеколоном.

— Эк вы, однако, лихо со сном управились, — сказал Постышев, — я думал, вы часика три-четыре на ухо надавите. До восьми еще времени хватит.

— Выход назначен ровно на восемь?

— Да. Надо, чтобы вы ночью перешли границу нейтральной зоны.

— Я просмотрел материалы из Владивостока. Увы, там слишком много благоглупостей и сплетен. Пишут, например, что Меркуловы — болваны и кретины, Гиацинтов — глупый трус, японцы — хуже баранов, американские резиденты — доживающие последний день кровавые империалисты. Если Меркуловы — кретины, то мы, следовательно, еще бóльшие кретины: кому проиграли, кому Владивосток отдали?! Если полковник Гиацинтов трусливый болван, то почему все-таки наши люди взяты его контрразведкой? Что за манера у нас такая появилась идиотская — безответственно болтать о враге все, что угодно, только потому, что он враг?! Как тут не вспомнить про услужливого дурака! Простите, Павел Петрович, — оборвал себя Владимиров, — просто я очень зло принимаю фанфарство и комчванскую благоглупость.

— Ничего, ничего, вслух посердиться — куда как облегчает. Я иной раз по ночам в кабинете ору — стены звоном дрожат. Помогает. Теперь я хочу вам кое-что порассказать. Сейчас во Владивостоке было несколько очень подозрительных арестов в большевистском подполье: по-видимому, в организацию проник провокатор. Поэтому вам придется работать пока что автономно. Вас найдут, когда в этом появится необходимость, вы сами никого не ищите. Связь у вас будет идти через товарища Чена. Это Марейкис, бухарец, опытный чекист. На корейца похож, поэтому — Чен. У него налажена почта через торговцев наркотиками, которые ездят в Харбин. Но это, как говорится, его дело. Ваше определено для вас Феликсом Эдмундовичем достаточно точно. Предпринимать что-либо вы можете только в экстреннейших случаях. По

обычным делам не надо, сдерживайте себя, как ни горько порой может быть. Теперь еще вот что: во Владивосток приехал из Дайрена ваш знакомый — Ванюшин, редактор «Ночного вестника».

— Николай Иванович?!

— Да. Вы, кажется, у него работали при Колчаке в пресс-центре?

— Громил красных дьяволов печатным словом.

— Как вы с ним расстались?

— Товарищами. Он считает, что я эмигрировал в Лондон.

— Это очень здорово, потому что сейчас Ванюшин — третий человек, сразу же за Меркуловыми.

— Любопытно.

— Теперь вот что... С финансами у нас, как всегда, ни к черту, поэтому мы только самую малость для вас приготовили.

— Я понимаю.

— Когда пойдем знакомиться с провожатыми, обговорим запасные формы связи. Пароль... Хотя, пожалуй, пароль там не нужен. Чена вы по фотографии узнаете, слова тут ни к чему. Встретит вас на вокзале Васильев, он легал, руководитель профсоюза грузчиков, это — вторая, запасная ваша связь. Парень он обаятельный, добрый парень. Любимец рабочего Владивостока. Если, не дай бог, какие-нибудь неожиданности — Чена найдете в кафе «Банзай». Ванюшина — в ресторане «Версаль».

Сухо затрещал телефон. Постышев снял трубку:

— Я слушаю. Кто? Трибунал? Что у вас? Филиповский?! Не может быть! Я приеду на допрос.

Он швырнул трубку на рычаг и брезгливо поморщился.

Посидев мгновение в неподвижности, он рывком поднялся, сказав:

— Ну что ж, пошли собираться. С командующим познакомлю: Степан Серышев — великолепный человечина. Пошли.

Постышев пропустил Владимирова перед собой, положил ему руку на плечо, заметив:

— Экое у вас плечище-то железное, просто Самсон...

— Чтобы не появилась Далила, надобно будет срочно обстричь волосы, спокойней как-никак...

Они быстро шли по длинному коридору штаба, весело переговариваясь, и свет из окон то выплескивал на них солнце, то — в простенках — мрак поглощал их. Но, ког-

да их поглощал мрак, все равно был слышен глуховатый бас Постышева и низкий широкий смех Владимирова. Так шли они рядом, а потом скрылись за тяжелой дубовой дверью.

ВЛАДИВОСТОК. РЕЗИДЕНЦИЯ МЕРКУЛОВА

Премьер приамурского правительства незаметно для себя подражал — даже в мелочах — Александру Федоровичу Керенскому. Он носил такой же полувоенный костюм, так же сидел в автомобиле — сзади, справа от шофера, так же ласково улыбался офицерам, которые картинно козыряли ему, когда лимузин с трехцветным романовским флажком на радиаторе проезжал по Владивостоку, так же говорил: сначала чуть слышным, усталым голосом, а когда разойдется, не остановишь — мечет Спиридон Дионисьевич громы и молнии, картинно жестикулирует, только в отличие от Керенского часто поминает Бога.

Через пять дней после переворота, когда меркуловцы похоронили своих героев, он позвонил Николаю Ивановичу Ванюшину, только что вернувшемуся из Харбина, заехал за ним на Алеутскую в редакцию и сказал шоферу:

— На Эгершельдское кладбище.

За окном мелькали маленькие домишки, тускло поблескивали рельсы, отходящие от вокзала к портовым пакгаузам, набитым миллиардами: здесь хранятся товары, полученные Россией от союзников начиная с четырнадцатого года. Чего только нет в этих пакгаузах: медь, цинк, бумага, сукна, снаряды, винтовки, сеялки, грабли, презервативы, танки, шелка! Словом, золото лежит в пакгаузах, истинное золото, а охраняет это несметное богатство японский часовой. Ходит медленно, штык короткий, взят наизготовку, шаг печатает ровно, как на параде.

Меркулов молчал, а Ванюшин что-то под нос себе мурлыкал — не иначе как Пушкина. Лучший знаток в городе, позавчера лекцию читал в университете — не протолкнешься.

Шофер резко притормозил. Меркулов вылез из машины первым. Замер на ветру: сухонький, росточка маленького, фуражка надвинута на глаза. Ванюшин вывалился из машины тяжело, с одышкой: последние два дня много пил с новым членом правительства Сержем Широкого-

ровым. Этнограф и биолог, Широкогоров по-своему видел концы и начала эволюции человечества и умел рассказывать так, что не пить нельзя было, ибо все равно — по его выкладкам — в мир шло скотство.

— Прошу, Николай Иванович, — пригласил Меркулов, — тут недалече.

Меркулов шагал между могилами быстро, ориентируясь в кромешной темной ночи, как днем. Ванюшин брел за ним, спотыкаясь, ничего еще толком не поняв, и очень сердился, потому что в штиблеты заливалась холодная чавкающая грязь.

В сером беззвездном небе висел дынный огрызок месяца. Слышно было, как над заливом зло орали чайки.

«Молодой месяц, — подумал Ванюшин, — только народился. Слева. Значит, можно на счастье загадать».

На фоне серого неба, словно огородные чучела, печатались черные кресты. Город вдали моргал керосиновыми огоньками. Выли собаки в Эгершельдском поселке. Ветер налетал порывами. На рейде тоскливо кричали пароходы.

Меркулов остановился. Возле свежих крестов белели венки и увядшие цветы. Здесь были похоронены герои недавнего белого переворота.

— Тут, — сказал Спиридон Дионисьевич, упав на колени, словно подрубленный, — тут начинается история новой России.

«Неужто верит? — подумал Ванюшин. — Или играет, хочет, чтоб я это расписал — и в номер? Честолюбивы, черти, спасу нет!»

Меркулов истово молился, кладя земные поклоны, шептал быстрые слова, обращенные к Богу. Ванюшин, стоя у него за спиной, молча и сосредоточенно курил, чувствуя себя неловко, будто подглядывал в замочную скважину. Премьер молился долго, потом молча поднялся, почти бегом направился к машине. Сухо кашлянул, попросил шофера:

— Ко мне в ставку, будьте добры.

Когда лимузин въезжал в город, он обернулся к Ванюшину:

— Вам, видно, в газету? Номер небось не готов?

«Хочет старик попасть в прессу с сегодняшним представлением, — решил Ванюшин. — Не иначе как за этим и возил. Умен ведь, а в этом — болван».

— Номер уже сверстан, — ответил он.

— Спасибо вам, Николай Иванович, что подарили время старику. И слова мои запомните: отсюда придет

народу свобода. Здесь подымется светлый град Китеж со дна моря крови и слез русских. Остановитесь, шофер!

Ванюшин вылез из машины, долго смотрел вслед громадному «линкольну», потом тяжко вздохнул и отправился в ресторан «Версаль».

Фривейский стоял под портретом государя и наблюдал за реакцией Меркулова, который читал листочки, даже не сбросив своей солдатской шинели. Фривейский — секретарь Спиридона Дионисьевича. Он умен, ловок и держит себя довольно независимо. Меркулов-то сам из купцов, он независимость в людях ценит, а посему Фривейскому прощает, как никому, многое. Не любит его только в те моменты, когда личный секретарь мучается вспышками хронического люэса. В эти моменты Фривейский озлоблен и готов досадить кому угодно. В такие дни Меркулов просит своего «милого дружка» отдохнуть и не показываться в канцелярии. Но именно сегодня вечером Фривейский почувствовал рези и, вместо того чтобы уйти домой, принять лекарство и спокойно вылежаться, собрал листовки, газеты — и прямо на стол премьеру. А газеты — злющие! То, о чем все помалкивают, большевики вываливают — да еще с перцем, с солью, чтоб побольней.

Когда очередь дошла до рассказа о его, премьера, торговых операциях с японцами, Спиридон Дионисьевич снял фуражку, вытер лоб платком и сказал горестно:

— Ну, что за подлецы, боже ты мой праведный! Куш в два миллиона! Какая, право, подлость!

Всю жизнь торгует Спиридон Дионисьевич, и никто о нем плохого слова не говорил! Что это, зазорно, что ль, с фирмой контракт заключать?! Им выгода, но ведь и нам — польза! Ах ты, боже мой, сейчас по городу сплетни поползут!

— Какой тираж этой гадости? — спросил Меркулов, брезгливо тронув газету пальцем.

— Большой.

— Где остальные экземпляры?

— У читателей.

Меркулов поднял глаза на Фривейского, догадавшись, что у того вспышка, и опустился в кресло.

«Помощничек... Тоже, видно, ликует... За дверь бы и на улицу! И на порог не пускать впредь и навсегда!»

А нельзя! Умен. Умных людей Меркулов ценит. Умному надобно многое прощать.

— Идите отдохните, милый дружок, — сказал премьер. — У вас лицо с желтинкой. Не иначе как желудок мучает? Я вам попозже домашнего врача подошлю, он в желудочных заболеваниях горазд.

— Я перемучаюсь, — ответил Фривейский, — врач мне не нужен.

— Ну отчего же? Мне это труда не составит. А газета... Пускай их пишут. Правда все равно себя скажет, история разберется, кто прав; она — жрица из беспристрастных...

После ухода Фривейского Меркулов вызвал по телефону полковника Гиацинтова, начальника контрразведки, и сказал ему:

— Кирилл Николаевич, миленький, послушайте, что о вашем премьере пишут. Ах, уж читали? Ну и как? Любопытные детали, не правда ли? Только удивляюсь: как это вы, офицер и дворянин, служите спекулянту и грабителю русского народа? Я — спекулянт, я, полковник! Да вы не кашляйте в трубочку, мне в ухо отдает. А коли смешно — смейтесь! Только я старый, я смешного гораздо перевидал на своем веку, посмешней того, что красные бумагомаратели выкобенивают, я и это переживу. А вот вы человек на службе! Мне что? Мне ничего! Я в отставку, и адье, а вам отставка крайнюю скудость означать будет. И потом — я отставку прошу, вам же ее дают.

Премьер опустил трубку на рычаг и пошел в маленькую комнату, соседнюю с кабинетом. В углу — киот. Меркулов опустился на колени — молиться. Просить мира на земле и благоволения человецем.

ПОЛТАВСКАЯ, 3. КОНТРРАЗВЕДКА

Гиацинтов в задумчивости подержал телефонную трубку возле лба, потом аккуратно опустил ее на рычаг и вызвал Пимезова, своего помощника.

— Воленька, я попрошу вас пригласить ко мне полковника Суходольского и всех руководителей отделов.

— Слушаю, Кирилл Николаевич.

Через несколько минут в кабинете начальника контрразведки собрались руководители семи важнейших отделов.

— Господа, я пригласил вас для того, чтобы сообщить неприятную новость, — сказал Гиацинтов. — Нам сегодня же придется провести аресты выявленных под-

польщиков, дожидаясь окончания работы по ликвидации всех скрытых красных. Увы, это не моя воля, я выполняю приказ. Мы обязаны в ближайшие же дни выйти на их газету или в крайнем случае сделать так, чтоб она не попадала в руки к читателям. Но главная задача — захват московского представителя, который, по моим сведениям, направлен сюда, — становится трудновыполнимой, потому что подполье после наших сегодняшних арестов затаится, как никогда. Следовательно, особое внимание ко всем вновь появившимся здесь. Тех, кого мы заберем, спрашивать не только про газету, но и про московского гостя. А вдруг кто знает дату или место приезда? Хотя это особая тема, и мы соберемся вскоре, чтобы ее детально обсудить. Имейте в виду, что красное подполье, которое сегодня мы начинаем забирать, станет серьезной картой в нашей политической игре.

Гиацинтов оглядел своих сотрудников и усмешливо поинтересовался:

— Не тяжело объясняюсь, а? Так и заносит на усложненные обороты, будто на дипломатическом приеме нахожусь. Итак, прошу вас начинать аресты организованно, сразу по всему городу, чтобы никто из наших красных приятелей не ушел. Допросы проводить настойчиво, я обязан порадовать нашего премьера сообщением о найденной красной газете. С богом, друзья мои.

ХАБАРОВСКИЙ РЕВТРИБУНАЛ

В кабинете следователя ревтрибунала сидел Филиповский, старший руководитель группы по борьбе с вооруженным бандитизмом. Он арестован за то, что во время обыска у баронессы Нагорной похитил жемчужную осыпь. Сейчас он сидел, зажав кисти рук между коленями; на лбу капли пота, глаза воспаленные, красные, как у кролика. Следователь позвонил Постышеву и сообщил об аресте чекиста, а ведь полгода не прошло, как Павел Петрович самолично вручал Филиповскому именной маузер с серебряной планкой за беззаветную доблесть. И вот сейчас Постышев сидит напротив Филиповского, а тот глаз поднять не смеет, головой вертит и все время морщится, будто у него зубы болят.

— Ты не крути, Филиповский, — попросил Постышев, — ты давай честно.

— Я четыре года с белыми дерусь, я жизни не жалею.

— Погоди, погоди! Я о другом спрашиваю: как ты мог жемчуг украсть?

— Не воровал я! — глухо выкрикнул Филиповский. — Реквизировал...

— Врешь! Если б ты реквизировал, он бы в казне оказался! А ты крал, как последний гад. Грязный ты человек, дело наше позоришь. Слепой я был, когда тебе маузер за доблесть вручал, слепой!

— Я четыре года воевал, я в атаку на белого генерала ходил.

— Про то молчи!

— Воля ваша.

— Моей воле — грош цена, тут что трибунал скажет.

— Неужто судить меня станут?

— А ты как полагаешь?

— Так я ж верой и правдой четыре года...

— Хоть сорок четыре! У вора нет прошлого! Товарищ, — спросил следователя Постышев, — доказательства у вас собраны?

— Сам признался.

— Это, конечно, хорошо, что сам признался. А свидетели есть? Факты есть?

— Свидетелей нет, и фактов нет, Павел Петрович, только что сам признался, без давления.

— Цацки где?

Следователь достал из несгораемого ящика драгоценности и положил их на стол, покрытый пожелтевшим газетным листом. Постышев рассматривал жемчужную нить недоуменно и с ухмылкой.

— И за что такая цена? — спросил он. — Никак не пойму. Напридумывали людишки себе кумиров — и ну поклоняться им. А тебе нравится, Филиповский?

— Да разве я в них сведущий? Мне на базаре дед один сказал, что на камушки хлеба наменяет с салом и водкой. А у меня в подчинении трое пацанов: один чахоточный, другой без ноги, а третьему шестнадцать лет, и за мировую революцию он сражается единственно по светлому энтузиазму. Госполитохрана мы, а по ночам в мусорных ящиках за рестораном Хлопьева кожуру картофельную собираем, чтоб днем не позориться...

— У него дома обыск делали? — спросил Постышев.

— Какой у него дом? В подвале живет, как пес в конуре.

— Семья где?

— На кладбище, — ответил Филиповский, — поруба-

на в девятнадцатом калмыковцами. Детям своим ни крохи не давал, когда в ЧК работал, голодали дети, а у меня тогда через руки золота буржуйского поболе проходило. А теперь по ночам глазыньки их вижу — пропади, думаю, все пропадом, хоть троих своих теперешних пацанов накормлю, тоже по земле смертниками ходят. Вон позавчера двоих наших зарезали в малинах. Так неужто и с буржуйских камушков не могу дать своим пацанам пожрать вволю и водки перед сном выпить?

Следователь отвернулся к окну, чтобы арестованный не видел его лица. Тяжело сопит следователь, больно ему слушать Филиповского, а закон какое к душе отношение имеет? Закон, он и есть закон, он по бумаге писан, не по сердцу.

— Ты мне нутро не вынимай, Филиповский, — сказал Павел Петрович. — Ты за троих своих пацанов в ответе. Это так. А сколько им жить на земле предстоит?

— Как выйдет. Пуля в рожу не смотрит...

— Ничего. Посмотрит. Так вот надо, чтобы твои пацаны жили в стране, где закон для всех один, а не такой, чтоб чего Филиповский захотел, так то и вышло. Они подумать могут, что ты над законом, а не он над тобой. В трибунал пойдешь, товарищ.

Филиповский впервые за весь разговор вскинул голову:

— Ты как меня назвал, Павел Петрович?

— Я назвал тебя товарищем, — сказал Постышев.

Поднявшись, он сказал следователю:

— До суда отпустить. Возвращайся на работу, Филиповский. Ночью в городе двенадцать бандитских налетов зарегистрировано.

ГУБКОМПАРТ

За длинным столом, покрытым красным сукном, сидели комиссары Хабаровского укрепрайона. Выступал — весь в кожаном — комиссар стройбата, который занимается понтонной переправой через Амур. Комиссар говорил хорошо, с выражением, только, правда, по бумажке. Выступать умеет; где надо, покричит, где надо, кулаком над головой взмахнет, а то вдруг на драматический шепот перейдет, что твой Шаляпин.

— Только смобилизовав свою стальную волю, — говорил он, — только подняв на должную высоту воспитательную работу, мы сможем взять светозарные рубежи

и добиться новых успехов. Ни для кого сейчас не секрет, что дела наши идут хорошо...

Постышев бросил реплику:

— Куда как лучше! Бойцы твоего батальона третий день без каши сидят.

— Это детали, Павел Петрович. А я беру вопрос шире, я его в целом беру, как говорится. Продолжаю. За последние два месяца мы провели около сорока политбесед, охватив более девятисот сорока семи бойцов.

— Можно твой текст посмотреть? — попросил Постышев. — А то больно скоро говоришь.

Тот передал комиссару фронта текст. Павел Петрович неторопливо листал исписанные странички.

— Ты продолжай, товарищ, продолжай.

— Так ведь текст у тебя, Павел Петрович.

— А ты попросту говори, без текста.

Комиссар стройбата растерянно оглядел собравшихся и поднял над головой кулак:

— Белая гидра контрреволюции, оскалив свою волчью пасть, бряцает ржавым оружием проклятого империализма! Их свиное рыло пытается хрюкать возле наших границ, угрожая счастью победившего пролетарьята! Не позволим!

Постышев спросил:

— Кому не позволим и что именно?

— Гидре, собственно говоря, не позволим.

— А какая она, гидра? С ногами? Или змееобразная? Ладно, садись, комиссар. Возьми свой доклад — липовый он. Я у твоих бойцов только что был.

— Можно мне, Павел Петрович? — спросил комиссар Особого амурского полка. — У нас вот какой вопрос: пока имеем передышку на фронте, помог бы с учителями. Народ грамоты жаждет. Я полагаю, что грамотность — она главнейшее подспорье в борьбе за мировую революцию.

— Вопрос толковый. Завтра утром выделю тебе троих педагогов — приезжай и бери. Кто еще?

— Я. С бронепоезда «Жан Жорес».

— Давай, «Жорес».

— Так я прикидываю, Павел Петрович, что политработа может человека засушить, как бабочку в гербарии, если одни беседы про счастливое будущее проводить, а при этом на глазах у бойцов отваливать военспецам по шестнадцать рублей золотом, не считая продовольствия.

Постышев прихлопнул ладонью по красному сукну, резко поднялся, зло посмотрел на моряка с «Кореса»:

— Фамилия твоя, как помню, Солодицкий? Так? Отвечаю. Я сегодня получил шифровку из Владивостока. Там американцы всех наших профессоров, ученых, даже студентов к себе увозят, предоставляя им райские условия. Архивы скупают, библиотеки, за старые письма золото платят. А они счету денег получше нашего учены. Почему они так поступают? Потому как понимают, что будущее — за наукой, за спецами. А кто же нас задарма будет учить драться? Я? Могу тебя навыкам конспирации и подпольной полиграфии выучить. А Клаузевицу и Мольтке не могу. Зато они могут. Тебе волю дай — ты и Максима Горького на рубль суточных посадишь.

Постышев закурил и хмуро закончил:

— Прошу дальше. Только бз трескотни, время цену знает. Давайте поговорим о том, как нас партизанщина мучает, что будем делать, как переводить партизан в регулярные части. Это сейчас вопрос вопросов...

ШТАБ ФРОНТА

Шофер Ухалов спросил постышевского адъютанта:

— Можно в гараж ехать?

— Нет, комиссар кончит работать со сводками, и вы ему понадобитесь на вечер.

— Куда двинемся?

— К морякам.

— Это внизу, на берегу Амура?

— Да.

— А домой я успею съездить?

— Валяйте. Но не больше часа.

В дверях шофер столкнулся с женщиной в невероятно старомодном наряде.

— Мне нужен гражданин комиссар, — сказала она.

— А вы кто такая? — удивленно уставился на нее адъютант.

— Я френолог и поэтесса Канкова. Я изучила тайны мира и человека, я предсказываю будущее по зрачкам и морщинам на висках.

— Что, комиссару погадать хотите?

— Передайте комиссару, что я слушала его на учительской конференции; скажите ему, что я внучатая племянница писателя Карамзина, и покажите два моих диплома — бестужевский и цюрихский.

Дама отошла к окну и села на стул. Адъютант с любопытством разглядывал хрустящие бумаги; шевеля губами, пытался прочесть латинские буквы, потом, продолжая читать по слогам, снял трубку дребезжащего телефона и ответил рассеянно:

— Товарищ Постышев будет на флотилии ровно к девяти часам.

Опустив трубку, он сидел несколько мгновений в задумчивости над дипломами, а потом, свернув их в трубочку, ушел в кабинет комиссара. Через мгновение он вернулся и выкрикнул с порога:

— Гражданка, валяй к комиссару!

— Садитесь, пожалуйста, — сказал Павел Петрович, — неужели вы впрямь карамзинская родственница?

— Будь я родственницей его кухарки, мне жилось бы значительно вольготней. Я пришла потому, что слышала ваше выступление сегодня в театре. Я два дня ничего не ела. Вчера ваши солдаты выбросили меня из комнаты, и я ночевала под лестницей у дворника Васьки.

— Он что, мальчишка, этот дворник?

— Старик. А почему вас это интересует?

— Вы сказали, что дворника зовут Васька...

— Я могла сказать что угодно! Я посвятила жизнь тому, чтобы писать стихи, изучать древнюю философию и переводить греческих поэтов. А мне плюют в лицо и говорят, что я недорезанная.

— Кто плюет в лицо?

— Ну, это метафора. Поймите, мир теряет разум, накопленный веками. Я смотрю в людские глаза и вижу там отблески далеких пожарищ и сумасшедшую радость затаенного призвания двуногих — разрушения! Что вы делаете с планетой, комиссар?

— Мы проводим с ней эксперимент, — улыбнулся Постышев, — направленный на то, чтобы каждый Васька стал Василием. Адъютант сказал мне, что вы гадаете?

— Дальняя дорога, трефовая десятка и богатый червовый король в казенном доме. Что делать? Когда приходит беда, люди ищут веры в чем угодно, только не в правде. За ложь платят хлебом. Мне запретили лгать им, и я голодаю, а лгала я дóбро, поддерживала в людях веру как могла...

— Значит, сами вы не верите гаданиям?

— Карточным — с большой осторожностью. А кабалистике — великой магии цифр — да. Вспомните иудейский «Зехер». Там говорится: «Горе человеку, который не

видит в Торе ничего, кроме простых рассказов и обыкновенных слов. Рассказы, записанные в Торе, лишь внешняя одежда закона. Горе тому, кто одежду посчитает за закон». Вспомните Апокалипсис! «Кто имеет ум — сочти число зверя! Ибо это число человеческое. Число его шестьсот шестьдесят шесть». Но ведь это скрытое имя чудовища, имя которому Нерон! Комиссар, я вижу в вас Нерона!

Постышев вызвал адъютанта.

— Пожалуйста, — сказал он, — поищите комиссара с «Жореса». Пусть зайдет.

— Вы хотите меня отдать ему? — ужаснулась Канкова.

— Хочу. У него морячки учиться жаждут. Комнату вам вернем и дадим военный паек.

— Кому сейчас нужна учеба?

— Всем.

— В ваших глазах светится доброта — откуда она в вас? Ведь вы поклоняетесь безверию. Вы пришли к единомыслию вместо анализа.

— Мы с вами сейчас не договоримся. Вы пока поработайте с нашими людьми, а там побеседуем.

Шумный комиссар с «Жореса» ворвался в кабинет запыхавшись — видно, бежал по коридору. Канкова отодвинулась к Постышеву.

— Эта гражданка, — пряча улыбку, сказал Постышев, — будет учительствовать у тебя в бронепоезде. Поставь ее на довольствие и покорми щами.

Комиссар бронепоезда разглядывал Канкову с изумленным недоумением.

— Павел Петрович, — жалостливо спросил он, — а дамочка хоть нормальная? Дикость в ей какая-то.

— Вполне нормальная. Ты ей условия создай. Она будет народармейцам книги читать и грамоте учить.

Канкова, осмелев, рассматривала комиссара «Жореса» в лорнет.

— Бинокль свой убрали б, а то я себя под прицельным огнем ощущаю, — сказал комиссар.

Канкова спрятала лорнет и молча вышла в приемную. Комиссар спросил Постышева:

— Павел Петрович, на кой хрен мне этот божий одуванчик?

— Пригодится. Только обижать ее не вздумай и поделикатней со старухой, поделикатнее — ее дед был другом Пушкина...

Проводив комиссара и Канкову, Постышев сказал адъютанту:

— Пожалуйста, подготовьте приказ: с завтрашнего дня снять один паек у газеты «Вперед» и передать в милицию для многодетных товарищей — Приймака и Чохова. Из нашего представительского фонда перешлите Лысову в исполком фунт сала и три кило пшеничной муки — у него жена помирает в чахотке. И чтобы к завтрашнему утру все было оформлено.

В РАСПОЛОЖЕНИИ АМУРСКОЙ ФЛОТИЛИИ

В город пришли сумерки. Вода в Амуре стала темно-коричневой. В небе, пока еще светлом и необыкновенно высоком, загорелись первые звезды. Они словно калятся изнутри; поначалу синие, потом белые и лишь потом с каждой минутой становятся все больше и больше голубыми, переливными — ночными. Где-то высоко на обрыве тонкие девичьи голоса вели протяжную песню. Когда песня смолкла, стало слышно, как быстрые пальцы гармониста осторожно трогают ломкую тишину вечера.

Постышев шел по берегу. Коричневые волны, будто щенки, лизали его длинноносые сапоги. Постышев ступал по самой кромочке прибоя, видно, загадал: соскользнет сапог в Амур или нет. Дошел до пристани — нога ни разу не соскользнула. Улыбнулся озоровато и начал подниматься по тропке к трем домишкам на косогоре — там расположился штаб флотилии.

— Товарищ Постышев, — негромко окликнули его.

Павел Петрович обернулся. На пристани прохаживался молоденький паренек с маузером. Он подбежал к Постышеву и тихо сказал:

— Товарищ Постышев, я из группы Филиповского.

— И что?

— Донеслася до нас весть, что судить Филиповского.

— Будут.

— За что ж невинного красного командира обижать? Мы за него горой.

— А ты что здесь делаешь?

— Бандиты шуруют. А мы дежурим. Филиповский с хромым за горой, я — тут, а Витька — в секрете. Обиду мы все за Филиповского чувствуем. Вы б сказали, чтоб по справедливости рассудили...

— Сколько тебе лет?

— Семнадцать.

— Ну, валяй, дежурь. Одному не страшно?

— А дура зачем? — улыбнулся парень, похлопав себя по боку, там, где висел громадный маузер в деревянном футляре. — Она у меня промеж глаз свистит, что вы...

— Слышь, чекист, — улыбнулся Постышев, — а ты в школу ходишь?

— Это после победы в мировом масштабе. А пока нам Филиповский сказки Пушкина читает. Ничего книжки, только больно много нереальной волшебности, веры не вызывают.

После того как поздним вечером совещание в штабе Амурской флотилии окончилось, Постышев в сопровождении моряков направился к машине. Попрощавшись с моряками, Постышев сел на переднее сиденье рядом с Ухаловым.

— Едем в штаб, Андрей Яковлевич, — сказал он. — Спать будем, устал...

— Сколько времени, Павел Петрович?

— Без пяти десять.

— А уж ни зги не видать. Весна темноту любит.

Проехали с километр и стали — спустил задний левый баллон. Ухалов чертыхнулся и полез на крыло за запаской. В зыбкой тишине кричали ночные птицы и глухо ворчал Амур.

С дороги выстрелил длинный луч фонаря. Разрезав ночь, он скользнул по лицам и погас, но еще мгновение после этого в темноте висела черная, весомая и тугая полоска.

— Кто? — спросил Постышев. — Кто светит?

— Я. Филиповский.

— Меняйте колесо, — попросил Постышев шофера, — я с товарищем побеседую.

— Да, — протяжно вздохнул Филиповский. — Хожу теперь по земле, как туберкулезный.

— Что так?

— Радуюсь я ей и знаю, что недолго радоваться осталось. Когда трибунал-то?

— Скоро.

В глаза людям глядеть не могу, попросился, чтоб только в ночные дежурства ходить. Ночью сам себе царь. Только вот собаки воют. Как к утру заведутся — тоска и в сердце тяжесть. Чего они воют? То ли ночи им жаль, то ли утра боятся?..

— Хочешь закурить?

— Благодарствую.

Остановились, свернули по закрутке.

— Легкий табак, — сказал Филиповский, — от него кашель будет. Махра, говорят, полезней для организма.

— Это точно, — согласился Постышев.

— И что это художники ночь не рисуют, а все больше фрукты?

— Рисовали и ночь, просто не знаешь ты. Архип Куинджи рисовал. «Тиха украинская ночь» — так и называется у него картина. Чудо, какая прелесть!

— У меня младшенький рисовать любил. Я ему из бумаги солдатиков вырезывал, а он их красил карандашом. Только один карандаш у меня был: чернильный. Ему б набор — вот радость была б ребятеночку.

— Ты себя не мучь.

— Все они в глазах у меня. От этого не сбежишь. Ночью в кроватках, бывало, спят, чмокают, на мордашках улыбки. Эх, господи...

Филиповский резко остановился. Схватил Постышева за руку. В зыбкой весенней темноте были видны возле развилки двое спешившихся всадников.

— Кто такие? — закричал Филиповский.

— Свои. Чего орешь? Светильник выключи!

Один отошел в сторону, исчез в темноте. И сразу же оттуда высверкнули подряд два выстрела. Филиповский сдавленно охнул и бросил Постышева на землю. Вскинул маузер и несколько раз грохнул в конское ржание. Прогрохотали копыта о камни. Филиповский побежал на крик, следом за ним — Постышев.

— Фары включи! — крикнул Постышев шоферу. — Слышь, Ухалыч, включи фары!

Ухалов дал свет. В желтом свете фар виден стал человек, придавленный конем, а рядом — Филиповский, хрипит, руки ему вертит.

Воткнули бандюгу в машину, Филиповский повалился рядом с Постышевым, побелел, морщится, рукой трогает грудь, торопит Ухалова:

— Скорей, черт! Второй уйдет!

Машину несет по ухабам, руль вырывается из рук белого от волнения шофера.

— Скорей! — хрипит Филиповский.

Гр-рох!! Передними колесами — в яму. Занесло машину. Остановились.

— Приехали, мать твою так... — сказал Постышев. — Вылезай, Филиповский.

А Филиповский сидел молча. Тронул его Павел Петрович за плечо, и рука стала мокрой — в теплом и липком.

— Филиповский, ты что?

И понял Постышев, что молчит Филиповский потому, что мертв, сражен белой пулей.

* * *

...Под утро кончился допрос захваченного офицера каппелевской армии Урусова. Среди прочих любопытных признаний Урусов сказал, что еще днем из Хабаровска ушла Гиацинтову шифровка о красном разведчике Дзержинского, который отправлен во Владивосток. Кто про него узнал — не говорит, божится, что не знает, а известно лишь то, что передали это сообщение шифровкой из японской миссии...

Постышев немедленно связался с нашим пограничным пунктом, велел задержать товарища, который уходит за кордон, во Владивосток, а ему ответили, что проводников уже нет, повели товарища по таежным тропам к Владивостоку, поздно теперь, не остановишь...

* * *

Сюда, на фанзу Чжу Ши, проводники привели Владимирова и передали его охотнику Тимохе.

Тот обычно выводил людей из своей заимки к пригородной станции Океанской.

Оттуда во Владивосток ходит паровичок, да потом и извозчика можно взять. В фанзе проводники задерживаться не стали, а сразу же повернули назад: жить в двенадцати километрах от поста белых казаков — занятие дрянное для красного партизана. А Тимоха — он охотник, его уж такое дело — по тайге бродить, зверя смотреть.

Оглядев ленивым своим, но цепким глазом Владимирова, Тимоха спросил его:

— Самогоночки примешь, Максим Максимович?

— Приму.

— У меня в ей женьшень настоян. От моей самогонки медведем ходишь. Сам-то не в мандраже?

— Откуда такое слово чудное?

— А в мирное время ко мне городские рыбаки приезжали, я от них на свой баланс приходовал. Бывало, профессором говорил, баба моя даже пугалась. Я ей как

ученое заверну, так она лоб у меня начинала щупать — не загорячился ли я. А теперь седьмой год живу без всякого мысленного обмена, полным Рафинзоном.

— Робинзоном.

— Именно.

— А кто бывал у тебя из владивостокских?

— Многие, — сразу оживился Тимоха. — Вот, к примеру, Николай Дионисьевич бывал, младшенький Меркулов. Он теперь иностранными делами заворачивает. Кто там и как про него считают, это дело современное, а я скажу правду: хороший он человек и веселый. Ну и уж обязательно Кирилл Николаевич Гиацинтов, жандарм. Охотник — куда там, зверь до охоты. Я изюбря каждый год обкладываю — для его самого с друзьями... Потом профессор был с ним — Гаврилин Роман Егорыч. И дочка его приезжала — чистый ангелочек, Сашенька. Сейчас небось девица, если баланс подбить.

Владимиров, чуть улыбнувшись, спросил:

— А про баланс кто говорил?

— Святой человек. Должность у него по-русски неприлично называется. Коротко так, вроде задницы. С лошадьми он занимался.

— Жокей?

— Именно. Мой младшенький братишка, Федька, «жопей» его называл. Прибылов Аполлинарий. Денег имел — тьму. Только он порченый, хлебное вино пьет — ужас. А напьется, бывало, и ну пятирублевки золотенькие вокруг себя расшвыривать. Федька потом лазит, лазит — все ладони об траву стерет. Аполлинарий-то помогал кой-кому деньгами. Он с сердцем человек, только по-хорошему его надо просить. Мне двух коров купил... А теперь наши погорельцы хотели к нему пойти — не пустили их японские патрули в город. Увидишь его — попроси от мужиков, пусть подможет, что ему стоит?

Первый стакан выпили молча. Долго сопели, мотали головами, жмурились и занюхивали самогон разварным картофелем. В тайге, которая кажется пустой и гулкой, как ночной театр, ухали птицы. Далеко-далеко на востоке, возле Лаубихары, гудели водопады. Звезды, поначалу слабо тлевшие, теперь ярки и злы. Одна звезда — по всему Орион — калилась изнутри то красным, то синим светом. И казалось Владимирову, что кто-то далекий хочет сказать землянам нечто очень важное, но — не может.

Языки костра то ластились к земле, то взмывали вверх ломкими фигурками скифских танцовщиц. На той сторо-

не ручья, в бóлоте, кричала выпь. Крик ее был извечен и жуток.

— Как прошла? — спросил Тимоха.

— Жжет.

— Греет. Все органы души прогреет и обновит. Еще, что ль, ломанем?

— Давай.

Тимоха ухмыльнулся в пегую бороду:

— А из ваших никто не пьет.

— Наши — это кто?

— Красные.

— А ты какой?

— Розовый.

— Это как понять?

— А это понять так, что хотя Федька мой за красных погиб, но ведь белый — он тоже русский. Скуластый, глаз точкой — все как у меня. Землю одну любим, под одним небом живем. У меня до стрельбы жажды нет, я охотник, мне и в миру есть кого в тайге на мясо завалить. Мне в драке нынешней не пальба важна и не сабля с золотом. Мне в ей правда важна. А когда я про это красным командирам, которых из окружения выводил, сказал — они мне заявили, что я, понимаешь, зыбкий элемент и возможная гидра.

— Дураки.

— Это другая сторона. А народ их слушает и надо мной смеется. А я ведь, когда головой рискую, вам помогая, денег не беру. Я одного прошу: ты мне правду до сути растолкуй. Мужик, он правды жаждет, как земля — воды.

— Федьку твоего красные по мобилизации забрали?

— Сам побег.

— Партийный?

— В армии вроде бы записался в ячейку.

— Ты с ним толковал?

— Брат он мне, как же не толковать.

— Ну а про истинную правду?

— Так ведь малой он. Какая у него может быть истинная правда, когда ее старики не постигли?

— Выходит, молодому правды не постичь?

— Трудней.

— Ты в Бога веришь, Тимох?

— Это мой вопрос, ты его не касайся.

— Да нет, я не касаюсь, я просто к тому, что Христу было тридцать три года, когда его распяли.

Тимоха медленно поднял голову, уперся взглядом в надбровье Владимирова.

— Нравится мне, — сказал он, — что ты за горло не берешь, хотя увлекательности в твоем слове мало. За таким говоруном, как ты, не многие пойдут. Надо, чтоб жилы на шее раздувались, когда говоришь, надо, чтоб про будущее такое разрисовал: один кисель да птичье молоко — тогда за тобой мужик попрет. В России на красивом слове кого угодно проведешь.

— Я не жулик. Да и потом народ долго байками не прокормишь. Не выйдет. Он посмотрит, посмотрит да и рассердится.

— Что ты! — усмехнулся Тимоха. — Русского сердиться царь отучил. Он все больше обижается, русский-то. Другу пошепчет, жену отлупит, самогонки поддаст — вот и вся недолга.

— Занятно говоришь.

— Обычно говорю. Сам из каких?

— Отец ученый был.

— А молчалив ты. Многие ваши, те, что не от земли, говорливы больно. А ты слушаешь. Хорошо это.

— У древних китайцев книга такая была. Лао Цзы. Книга главного учения. А главное учение — это наука о пустоте. Смысл прост: в каждом человеке должна быть пустота, чтобы принять мнение других, даже если это мнение противно твоему. Все равно это обогатит тебя, сделает более широким в суждении и более подготовленным в борьбе за свое, во что ты веришь.

— Выходит, если белые эту самую китайскую трехомудию усвоят, значит, мир настанет?

— Черт его знает, — весело удивился Владимиров, — как-то я не думал об этом. Во многом люди разобрались, а вот в том, кто начинает войны и кто заключает миры, до сих пор не могут порядка навести.

— А как его навесть?

— Дать людям свободу.

Костер погас. С ручья поднялся туман. Он висел зыбким, но плотным облаком, растекался, делаясь из серого белым. Выпь теперь ухала совсем рядом. Осока по берегам ручья серебрилась каплями росы.

Владимиров лег на теплую землю, закинул руки за голову, мурлыкал что-то тихое и протяжное.

— Тимох, звезды считать умеешь? — спросил он внезапно.

— Много их, до хрена по небесам рассеяно.

— Если вернусь — научу звезды считать. Может статься, я к тебе скоро вернусь — и не один, а с твоими бывшими знакомыми.

— Примем, угостим, а как иначе... Ну а звезд на небе сколько?

— Я насчитал двести восемьдесят пять. А мне надо семьсот семьдесят семь — обязательно.

— Зачем?!

— Индусы говорят: три семерки — самое счастливое число. Вот и стараюсь.

КАМЕРА ВЛАДИВОСТОКСКОЙ ТЮРЬМЫ

Васильев очнулся после допроса только на второй день. Сначала он лежал не двигаясь, тело свое казалось ему легким и крохотным. В голове звенело, и он подумал, что все случившееся с ним было во сне. Но, когда он попробовал подняться с пола, боль свела спину, он замычал и на минуту потерял сознание. А снова открыв глаза, увидел над собой, словно через пелену, расплывчатые лица товарищей из подпольного губкома.

— Какое сегодня число? — спросил он, с трудом разлепив толстые разбитые губы.

— Восьмое, — ответили ему.

Васильев весь затрясся, будто агония пришла, и стал повторять:

— Не может быть, не может быть, не может быть...

Он вспомнил, как Суходольский вперемежку с вопросами о подполье и типографии несколько раз спрашивал о московском госте. А он, Васильев, должен был московского гостя встретить на вокзале восьмого, в девять утра, то есть сегодня.

— А сколько времени? — прохрипел он.

— Половина одиннадцатого.

— Ночи?

— Ночи.

— Сегодня никого новых в тюрьму не привозили?

— Никого.

— Точно знаете, товарищи? — приподнявшись на локтях, спросил Васильев.

— Совершенно точно, последний арест был вчера, девочек из типографии забрали.

Васильев рухнул на пол, и какое-то подобие улыбки прошло по его лицу. В горле у него забулькало, и он, повернувшись на бок, зашелся предсмертным кашлем.

«Слава богу, — подумал он, отдышавшись, — они москвича не встретили, значит, я молчал, когда в беспамятстве был, значит, все хорошо...»

— Воды, — попросил Васильев хрипло, — вроде бы кончаюсь я, товарищи, сердце у меня холодеет. Вы только держитесь, вы держитесь, тогда все будет как надо, иначе каюк...

Он говорил быстро, а левой рукой все над собой шарил и пальцами шевелил — окровавленными, с синими подушечками вместо ногтей.

РЕСТОРАН «ВЕРСАЛЬ»

В зале было шумно. За столами сидели люди друг друга знающие, поэтому царила здесь обстановка непринужденной веселости, дружества и приятельской открытости. На сцене певец, загримированный под Вертинского, пел слишком громко и очень уж картинно ломал длинные свои пальцы — хруст во время музыкальных пауз был слышен в зале: закрой глаза — будто сапогами по сухому валежнику.

Возле сцены — столик для особо почетных гостей. Здесь Николай Иванович Ванюшин, профессор Гаврилин с дочкой Сашенькой и главный режиссер театра «Ко всем чертям» Ефим Михайлович Долин.

Певец на сцене обхватил голову руками, простонал:

Птичка божия не знает
Огорчений никогда.
Антихрист собакой лает
Без особого труда...

Долгу ночь в подполье дремлет.
Солнце красное взойдет,
Антихрист, геенне внемля,
Встрепенется — и орет!

За весной, красой природы,
Лето красное бежит,
Пляшут красные уроды,
А в дуду играет жид!

Ефим Михайлович Долин, засмущавшись, покашлял и, чтобы разрядить неловкость, первым зааплодировал.

— Все же, господа, — чересчур игриво сказал он, — я, иудей, признаю справедливость в дележе нашего пле-

мени на евреев и жидов. Всякие Троцкие и Керенские — чем не жидоморды?! А кто посмеет сказать о господине Абрамовиче что-либо, кроме как: еврей?

— Я, — хмыкнул Ванюшин. — Дерьмо ваш Абрамович! Сам кашу заваривал, а теперь всем за границей в жилетку плачется. Дрек! И ты, Фима, сволочь. Пусть бы при мне кто посмел про россиянина хоть словечко обидное сказать! Я б немедля глотку перегрыз. А ты изгибаешься перед нами, своих соплеменников продаешь хуже любого черносотенца. Так себя потаскухи ведут, Фима, дешевки притом.

— Когда вы начнете браниться по Далю, — сказал профессор Гаврилин, — заранее предупредите, я уведу дочь.

— Сашуля, — рассмеялся Ванюшин, — ваш папá — ханжа. Вы у нас единственная одаренная поэтесса, вам не надо бояться гримас жизни, вам их надо видеть. Вот, например, на всех заборах каждую ночь теперь появляются такие призывы, начертанные рукою юных мужей, что мне, знатоку российского, мудрого и целесообразного мата, и тому завидно. А папá, верно, велит вам проходить мимо этих образчиков народной мысли с закрытыми глазами. Родители, родители... Прохиндеи и лжецы.

— Коля, вы зачем этак-то?

— Любил барин нотации читать.

— Я нотации читаю лакеям, — жестко возразил Гаврилин, — когда мне подают пережаренное мясо.

Ванюшин придвинулся к Гаврилину и жарко выдохнул — не поймешь: то ли пьян, то ли издевается:

— А вот я мяса никому не подаю, но — все равно лакей! Имеющий рубль не станет пить пустой чай, у кого десятка — потребует шашлыка на ребрышке, а кто владеет тысячами — тому подавай печатное слово! А как же? Тысяча — вот визитная карточка цивилизованного человека! А ему без триппера и скандальной хроники — жизнь не в жизнь! Скандальную хронику — а ее сущность составляет политический репортаж, публицистическая гневность и сводка с фронта, — это все ему, цивилизанту, подаю я — лакей и прихвостень! Мне платят не за талантливость, а за количество строк и запах жареного! И тебе, профессор, тоже. А Долину — подавно. Он такие вонючие пьесы ставит — просто тошно. Зато меценатам нравится. А что есть меценат? Оно есть некультурная сволочина, которая позволяет себе судить обо

всем и советы давать всем, потому как может платить.

Сашенька слушала Ванюшина жадно, нахмурив пушистые стрельчатые брови. Долин катал хлебные шарики на скатерти, а Гаврилин скептически улыбался и цыкал зубом — будто что попало в дупло.

— Мой репертуар не так уж плох, напрасно ты так резко, — возразил Долин, — народу нравится, во всяком случае.

— Замолчи! У тебя нет репертуара, у тебя набор дурно пахнущих анекдотов.

— Знаете, почему вы не правы? — задумчиво спросил Гаврилин. — Вы, Коля, не правы оттого, что плохо знакомы с историей русской государственности.

— А ее-то и нет. Есть сплетни, далекие от историзма, и пошлые байки про то, как Екатерина с Потемкиным в постели развлекалась! А истории государственности нет!

— Ты сердишся, Юпитер, значит, ты не прав.

— Я не сержусь. Я утверждаю. Убедите в обратном — с огромной радостью признáю себя побежденным.

— Я постараюсь убедить вас в письменном виде.

— Как?

— А вот так. Напишу в ваш лакействующий орган.

— Когда, профессор? Лет через пять? Нас тогда вышибут отсюда в объятия к китайским мудрецам! Русская интеллигенция похожа на существо с огромной головой, но без рук. И с великолепным языком: болтать можем прелестно, писать — в год по чайной ложке, надиктовывая, а делать — нет, это мы не можем, пусть мужик делает, мы будем скорбно комментировать и намечать перспективы.

— Вам бы застрелиться, — посоветовал Гаврилин.

— Ха-ха! Я жить хочу! Мне приятно жрать кислород — единственное, что человеку отпускают бесплатно!

— Не надо ссориться, господа, — сказал Долин, — в конце концов мы все единомышленники.

— Не надо! — согласился Ванюшин и легко плеснул в свой бокал льдистой, с хлебной желтизной смирновки. — Ни к чему! Сашенька, лапа, почитайте свои стихи — они сильны и чисты, я прошу вас, девочка!

В зал вошли три пьяных офицера. Один из них, низенький, раскосоглазый, поразительно напоминающий атамана Калмыкова, визгливо закричал:

— Ма-а-алчать!!!

В привычном к таким выходкам зале — чему за годы революции не выучили российскую интеллигенцию? — все смолкло.

Один из троих вошедших выхватил из-за спины горн и серебряно заиграл позывные кавалерийского марша.

— А-аркестр! — приказал низкорослый. — Валяй «Боже, царя храни»!

Первая скрипка, треща фрачными фалдами, гарцуя, пронеслась между столиками — к офицеру.

— Господа, у нас не тот состав, чтобы играть эту мелодию! Может получиться весьма фривольно.

— Дали вам, собакам, фриволю, — сказал офицер. — А ну играй, сука горбоносая!

— Но...

Офицер вырвал у музыканта скрипку и поднял ее над головой. Тишина в зале сделалась напряженной и гулкой. Ванюшин грузно поднялся, оттолкнул стул и пошел на офицера. Остановился перед ним — огромного роста, бешеный: усы топорщатся, лоб в испарине.

— Вон отсюда, — негромко сказал он офицеру.

Тот начал скрести кобуру негнущимися, в золотистых волосках пальцами. Из-за столика, поставленного близко к двери, поднялся франтоватый молодой человек, быстро подошел к офицеру, который уже ухватил пистолет за рукоять, и чуть тронул его за плечо. Офицер обернулся, и молодой человек с размаху ударил его в подбородок. Офицер, грохнувшись, проехал на заднице по вощеному паркету — к дверям.

Заверещали пронзительными голосами дамы; биржевые спекулянты и интеллигенты молчаливо замахали руками в трескучих манжетах, выражая при этом крайнюю степень озабоченности.

Офицер, лежа на полу, достал пистолет и начал целиться в молодого человека, пытаясь унять дрожь в руке, но тот в прыжке выбил у него оружие и неторопливо повернулся, чтобы вернуться на свое место. Ванюшин бросился к нему, обнял, расцеловал неловко, по-медвежьи — в шею.

— Исаев! — закричал он. — Боже мой, Максим Максимович! Откуда здесь! Какая радость, а?! Исаев! Максим!

Ванюшин вел Исаева через зал, к своему столику, и все аплодировали ему, прочувствованно повторяя:

— Прекрасно! Чудно! Какая смелость!

А в это время с потушенными огнями на владивостокский рейд входит полувоенный корабль. На носу, крепко вбив свое тело в палубу, стоит атаман Григорий Михайлович Семенов. Он щурит острые глаза, кусает ус, жует губами. Сейчас решается его судьба: быть ему верховным главнокомандующим всеми войсками России или Меркуловы окончательно одержат верх.

Для всех его прибытие сюда — сюрприз, да еще какой! Всполошатся купчики, япошки изумятся — он из Токио тайком сюда, американцы ахнут; одни китаёзы рады, ждут, помощь обещали — только б японца с американом поприжать и самим царствовать. А хрен с ними! Играть — так ва-банк, иначе не стоит мараться.

...А за ванюшинским столом тем временем дым стоял коромыслом. Обняв Исаева левой рукой, Ванюшин размахивал над головой правой и кричал:

— Мы Пушкина не знаем, профессор! Мы — темень!

— Но почему же! — возражал пьяный Долин. — Прекрасные строки, мы воспитывались на них.

— «У лукоморья дуб зеленый»? Это? Да? Ты — молчи! Ты, Фима, вертихвост, твой удел сейчас — шепот!

— При чем здесь Пушкин и крах российской государственности? — задумчиво спросил Гаврилин.

— При чем? А при том! Пушкин писал, что нет ничего страшнее русского бунта — бессмысленного и жестокого. Только тот может к нему звать, кому чужая шейка — копейка, а своя головушка — полушка! А мы что делали? Успенского с прислугой вслух читали, государя бранили при любом удобном случае — ради красного словца, забыв, что он прямой наследник Петра! Если что до конца Россию и погубит, так это разговорчики сытых интеллигентов! Пушкина читать надо, Пушкина!

— Николай Иванович, — сказал Исаев, — вы помните, что Пушкин писал о наследниках Петра? Нет? Он писал, что ничтожные наследники северного исполина, изумленные блеском его величия, с суеверной точностью подражали ему во всем, что не требовало нового вдохновения. Таким образом, действия правительства были выше собственной его образованности и добро производилось не нарочно, между тем как азиатское невежество царило при дворе!

За столом воцарилась тишина.

— Когда мы работали у Колчака, — сказал Ванюшин, — вы этого Пушкина не цитировали.

— Так ведь то ж при Колчаке, — легко улыбнулся Исаев. — Нет?

— На кого вы сейчас работаете?

— Я только что прибыл из Лондона, Николай Иванович.

— Я не спрашиваю, откуда вы прибыли, я спрашиваю, кому вы запродались?

Я, право, затрудняюсь...

— В таком случае вы обозреватель моей газеты с сегодняшнего дня.

— Оп-ля! — сказал Гаврилин устало. — Вот так делаются дела. Ванюшин не просто король прессы, он у нас бизнесмен высшей марки! Вас ждет, Исаев, слава, а Николая Ивановича — новые подписчики. И перемежайте ваши статьи о наследниках Петра Великого сообщениями о скачках, спекулянтах и проститутках — это в духе времени.

— Сейчас он скажет, что я спекулянт, — захохотал Ванюшин, — они меня здесь все считают спекулянтом, потому что я исповедую веселость в отличие от их многострадально-показной усталости.

— Николай Иванович, — попросила Сашенька Гаврилина, молчавшая до сих пор, — а вы обещали меня свозить в чумные бараки.

— Не говори глупостей, Саша, — раздраженно заметил отец. — Твои эксперименты, наконец, делаются вздорными.

— Я слышала, чумные, когда бредят, — продолжала Сашенька, — говорят всю правду, беспощадно честно про себя все говорят. Если только успевают. А вы? Вы все? Вокруг правды ходите, а к ней никогда не придете.

— Почему? — спросил Ванюшин.

— Потому что вы себя любите, а правда у вас — словно компот — на десерт. Потому что у вас только разговоры о правде, а она разговоров не любит, она предпочитает либо молчание, либо действие.

Долин забормотал несуразное, Ванюшин молча поцеловал ей руку, а Исаев, отстранившись, посмотрел на девушку, чуть прищурившись, и не поймешь сразу — то ли усмехается, то ли изумлен.

Сашенька заметила, как он смотрел на нее. Она привычна к тому, что на нее все смотрят с обожанием, а этот странный, по-английски суховатый человек, похоже, все-таки усмехается.

— Вы не согласны? — спросила она.

— Я как раз собирался пойти к чумным. Так что я обожду отвечать вам, — ответил Исаев.

— О-о! — вдруг протяжно возгласил Ванюшин. — Кирилл, Кирилл! К нам! К нам, мой родной!

Все обернулись: в дверях стоял Гиацинтов.

Полковник пошел навстречу Николаю Ивановичу, они трижды истово расцеловались, потискали друг друга в объятиях — мода сейчас такая пошла, чтоб не только расчеломкаться, но и обязательно, будто испанцы какие, друг дружку по спинам полапить. Гиацинтов выглядел усталым, но в глазах его бегали веселые огоньки. Он пожал руку Сашеньке, сухо поздоровался с Гаврилиным и фамильярно-дружески потрепал по затылку Долина.

— Знакомься с моим другом, Кирилл, — сказал Ванюшин. — Мы вместе служили в Омске, в пресс-бюро у адмирала.

— Максим Максимыч Исаев.

— Гиацинтов.

По залу пронесся быстрый, как ветер, шепоток. От двери прямо к столу, ни на кого не глядя, шел Николай Дионисьевич Меркулов, министр иностранных дел. Подвижной, с умным казацким лицом, широкоскулый, он улыбчиво поздоровался со всеми, выпил немного вина и, не говоря ни слова, начал ковырять вилкой паштет из рыбьей печенки.

— Профессор, — вскользь заметил он Гаврилину, — из Вашингтона вам пришла виза, так что, по-видимому, самое большее через неделю вам следует ехать.

— Когда профессор становится главой дипломатической миссии, — заметил Ванюшин, — ждите крупных неприятностей, а пуще — убытков, отнесенных за счет гордости и бескомпромиссности.

Меркулов нагнулся к Ванюшину и негромко, одними губами, прошептал:

— Только что в порт прибыл атаман Семенов. И уже по всему городу расклеены его приказы с подписью: «Верховный Главнокомандующий всеми Вооруженными силами востока России». Этот идиот не понимает новой ситуации. А в порту уже началась стрельба. Пьяные семеновцы палят.

— Где Спиридон Дионисьевич? — медленно трезвея, спросил Ванюшин.

— Брат молится. Заперся в своем кабинете и ничего слышать не хочет. Поехали туда? Примете ванну, а я заварю кофе, и станем думать.

Ванюшин поднялся, в глазах у него потемнело. (Он думает, что это от сердца. Но нет — люстры медленно гаснут, а в огромные окна вползает серый рассвет. Амурский залив сейчас кажется густо-зеленым, как весеннее поле ночью.)

— В чем дело? — ни к кому не обращаясь, спросил Гиацинтов.

К нему подтрусил метрдотель и шепнул на ухо:

— Стачка.

Гиацинтов медленно поднялся и, поклонившись всем, ушел из зала.

Следом за ним — Меркулов и Ванюшин.

Гаврилин глядел на их спины и говорил устало:

— Политика лакеев отличается растерянным либерализмом и часто сменяется ненужной жестокостью; при этом — глупо непоследовательна и наивно хитра. Спокойной ночи, Исаев. Заходите к нам, я буду рад вас видеть. Долин, спокойной ночи. Едем, Сашенька, спать пора.

Когда Гаврилин с дочкой уехали, Долин предложил:

— Поехали к проституткам, Максим Максимыч?

— Я, пожалуй, попью кофе.

— Тогда прощайте, еду на растерзание.

— В добрый час...

Исаев остался за столом один и долго смотрел на рассветающий залив — спокойный и безбрежный.

«ВЕРСАЛЬ». НОМЕР ВАНЮШИНА. УТРО

— Вы знаете, в чем заключается трагедия добрых людей? — спросил Николай Иванович Исаева.

— По-видимому, в том, что у них напрочь отсутствует злость.

— Отчасти. А главное — добрых людей весьма мало на земле, вот в чем дело. Добрые люди пожирают самих себя, переживая содеянное ими. И наконец, они все меряют своей доброй меркой. А это самое страшное. Желание мерить все на свою мерку в конце концов либо сделает доброго человека безвольной тряпкой в глазах окружающих, особливо самых близких, либо превратит в злодея — с отчаяния.

— Надеюсь, — спросил Исаев, — эта тирада ко мне не имеет никакого отношения?

— Господь с вами. Кстати, не позволяйте никому называть вас Максом. Особенно женщинам, которых любите.

— Я позволяю любить себя — только лишь. Сам же стараюсь не любить — это утомительно.

— А как это у вас выходит? Дайте рецепт.

— Просто-напросто я отношусь к числу не очень добрых людей. Возможно, вы слышали об опытах Карла Кречмера?

— Нет.

— Занятные опыты. Кречмер делит человечество на три категории: на пикников, атлетиков и астеников. Пикники — полные, быстрые в движениях, с короткой шеей, сильно развитой грудной клеткой, склонные к тучности и одышке, кареглазые и крутолобые люди. Не смейтесь: Кречмер провел более тридцати тысяч наблюдений в своей клинике. Я сейчас буду перечислять характерные черточки пикников — и это все будет про вас.

— Валяйте.

— Пикники социабельны, все выдающиеся политические деятели мира, начиная со времен Эллады, были пикники, для людей этого типа одиночество страшнее всего, они созданы для общества, для активнейшей работы, самые распространенные заболевания у них сердечные, они мнительны и легкоранимы, их замыслы широки и неконкретны, они исповедуют синтез, а не анализ, их память отнюдь не универсальна, а сохраняет лишь самое броское и яркое, отсюда, кстати, обывательская уверенность, что пикники поверхностны в знаниях; они воспринимают книгу, спектакль, науку в целом, сразу, или принимая ее, или отвергая напрочь; полная бескомпромиссность у пикника сменяется таким компромиссом, который и атлетику и астенику будет казаться предательством. И наконец, в любви бесконечные увлечения, причем и любовь и увлечения — отнюдь не самоцель, а некий вспомогательно-стимулирующий инструмент для непрерывного обновления основной его, пикника, деятельности.

— Да у вас просто готовый номер для концерта. Ваши сведения ошеломят всех пикников в зале. Занятно. Ну а что такое атлетики?

— Внешне эталон атлетика — греческая скульптура. спокойствие, рационализм, точность. Астеник — худой, с покатыми плечами, абсолютно невосприимчив к жировым накоплениям, склонен к легочным заболеваниям, аналитичен, пессимист.

— Вы думаете, эта классификация серьезна?

— Пока рано делать заключения. Но опыты, по-моему, интересны.

— И у пикников в семье обязательно бордель, да?

— Не всегда, но в большей части.

— Точно! А кто виноват? — усмехнулся Ванюшин. — Футуристы, акмеисты, имажинисты и вся прочая сволочь...

— Зачем же вы о них так грубо?

— А я их ненавижу. Все эти «измы» — способ, фокусничая, быть сытым и устроенным в те времена, когда цензура свирепствует против реализма. Они строят загадочные рожи и порхают по самой поверхности явлений и при этом играют роль непонятых гениев, которых травит официальщина. Тьфу!

Исаев долго стоял у окна, дожидаясь, пока Ванюшин завяжет галстук и причешется.

— Наверное, нет ничего грустней, — задумчиво сказал он вернувшемуся из ванной Ванюшину, — как смотреть на женщину, которая долго сидит одна в сквере...

— С одной стороны. А с другой — нет ничего грустнее, как смотреть сегодня утром на нашего премьера, которому предстоят переговоры с Семеновым. Едем в редакцию, надо писать в номер комментарий, я введу вас в курс дела.

У СЕМЕНОВА

В салоне, отделанном под мореный дуб, сидели трое: атаман Семенов, претендующий ныне на всю полноту власти, напротив него — братья Меркуловы, властью в настоящий момент обладающие.

Меркулов-старший, помешивая ложечкой зеленый чай в тонюсенькой фарфоровой чашке, заканчивал:

— Таким образом, мы рады приветствовать вас здесь, на островке свободной и демократической русской земли. Сразу же после того как вы соблаговолите выставить свою кандидатуру на дополнительный тур выборов в Народное собрание и ежели вы будете выбраны, наше правительство сочтет за счастье предложить вам тот портфель, который наше демократическое собрание сочтет возможным одобрить.

— Где это ты, Спиридон Дионисьевич, выучился таким жидовским оборотам?!

— Только грубить зачем? — вступился Николай Дио-

нисьевич. — Это в казачьем войске проходит, а у нас — не надо, Григорий Михайлович. У нас надо все трезво и всесторонне рассматривать.

Семенов поднялся из-за стола, грузно заходил по каюте. Солнечные зайчики носились наперегонки по черному, мореного дуба, потолку. В большие иллюминаторы видно, как два миноносца под андреевским флагом стоят напротив семеновского теплохода. Орудия, все до единого расчехленные, точно наведены на него. Семенов это замечает.

— Трезво? — уже спокойнее сказал Семенов. — Хороша трезвость, когда вся Россия поругана красной сволочью, а вы не мычите, не телитесь. Изничтожать надо красную гангрену.

— Каким образом?

— Виселицей и нагайкой.

— Вчерашним днем живешь, Григорий Михайлович.

— И потом, — раздумчиво заметил Меркулов-старший, — для того чтобы выступление было эффективно, нужна толковая подготовка, господин атаман. Погодить надо, пообвыкнуть.

— Чего годить? Годить, покеда вас в океан сошвырнут?! Нет, это не для меня. Либо так, либо никак. Если боитесь — уступите место другим.

— Григорий Михайлович, — рассмеялся Николай Дионисьевич, — ты зачем же множественное число употребляешь, когда одного себя имеешь в виду?

— И-и-и, — покачал головой Семенов, чтобы скрыть усмешку, — нужна мне власть?! Я свое дело сделаю да и уйду. Мне в борьбе любая должность почетна.

— Красное словцо ты любишь, Григорий Михайлович. Любая... Если любая — я тебе предложу должность полкового командира. Пойдешь?

— Ты зачем же надо мной куражишься? Я сюда не должность делить приехал, а сражаться за попранную честь государя императора!

— Вот видишь, как разнервничался? Значит, незачем было про любую должность говорить. Ведь уговорились мы: пройдут выборы, и тогда с открытой душой примем тебя в свои ряды. Неужели нельзя месяц-другой обождать? Мы, когда тут готовили наш победоносный переворот, подолгу ждали. А ведь мы, Григорий Михайлович, не в Токио сидели, как ты, а под чекистским пистолетом.

— Ты меня этим не упрекай! Пока ты тут золото в двадцатом году наживал в торговле, я под Читой крас-

ных сдерживал и своих друзей хоронил! Ишь, Пуришкевичи мне тут отыскались!

— Я попрошу вас вести себя в рамках приличия, — сказал премьер. — Мне стыдно за вас, атаман!

— Ты за себя лучше стыдись! Лампасы им желтые не нравятся, от виселиц их коробит! Меня тоже коробит, и я тоже человек, да только я фронт прошел, а вы зад в тепле держали! А вот вас стукнет — и вы запрыгаете!

Меркуловы гневно вышли из каюты. На палубе их тесным кольцом окружили журналисты, засыпали вопросами, трещат фотокамерами и киноаппаратами. Первым к ним — Исаев. Уже около самого трапа Спиридон Дионисьевич остановился и ответил на все вопросы одной трафаретной фразой:

— Господа, повторяю, переговоры продолжаются в атмосфере сердечности и полного взаимопонимания. Григорий Михайлович Семенов — патриот родины, который тонко и своеобразно понимает сердцевину переживаемого момента. Мы убеждены, что в дальнейшем наши контакты возрастут еще больше.

— Думая о будущем, — добавил Николай Дионисьевич, — мы, конечно же, трезво учитываем уроки прошлого.

У младшего братца выдержки поменьше: проговорилля. Газетчику только краешек покажи, он все вытащит. Шум, новые вопросы, крики. Братья не отвечают. Они быстро спускаются по трапу, садятся в свой бронированный катер и уплывают на берег.

Исаев бросился в пассажирское отделение и, по-кошачьи мягко ступая, подошел к двери, которая вела в каюту Семенова.

ЯПОНСКАЯ МИССИЯ

Пресс-атташе быстро диктовал шифровальщику:

— Следующее сообщение под шифром «Юг» передадите сразу в два адреса: МИД и военная разведка генштаба. Итак, вы готовы?

— Я готов.

— Прекрасно. «Владивосток, семь тысяч восемьсот сорок пять, агент семьдесят шесть с подтверждением через агента четыреста восемьдесят семь передает: продолжающиеся второй день переговоры между Семеновым и Меркуловыми явно зашли в тупик. Происходящее на руку розовым, которые сейчас продолжают всеобщую

стачку. Под розовыми мы имеем в виду рабочих, близких по убеждениям к большевикам. Красных в городе стало меньше после ареста руководящего звена подполья полковником Гиацинтовым. И хотя розовые не организованы, тем не менее разногласия между двумя лидерами белой России, между Семеновым и Меркуловым, не могут не быть прекрасным поводом для антиправительственной и антияпонской пропаганды. Единственно правильный выход из создавшейся ситуации есть примирение двух лидеров и создание коалиционного правительства. Мы пока не можем делать ставку ни на одного из двух, с тем чтобы не попасть впросак в будущем: Семенов перспективен как вооруженная сила отчаянной дерзости, а Меркуловы олицетворяют мощь торгово-промышленных институтов. Выводы: приложить максимум усилий, оказать давление как на Меркулова, так и на Семенова, с тем чтобы в ближайшие дни соглашение было достигнуто и монолитность власти подтверждена публично как перед русским, так и перед мировым общественным мнением. Сейчас мы проводим работу по выявлению контактов Семенова с китайскими группами». Вы не устали, Сувама-сан?

— Я не устал, благодарю вас за столь любезное внимание.

— Итак, дальше...

АМЕРИКАНСКАЯ МИССИЯ

Второй секретарь диктовал шифровальщику:

— «И хотя наше отношение к Семенову крайне отрицательное, в настоящий момент мы не видим иного выхода, кроме как поиск возможных путей примирения двух группировок. Эта временная мера должна сейчас, на первых этапах, явиться свидетельством сплоченности тех групп, которые противостоят идеологии большевизма, сохраняя свои политические убеждения различными и свободными от давления извне».

ФРАНЦУЗСКОЕ КОНСУЛЬСТВО

Вице-консул — шифровальщику:

— «И последнее: хотя наши симпатии находятся на стороне атамана Семенова как наиболее последователь-

ного борца с большевизмом, тем не менее, учитывая реальную политическую обстановку на восточной окраине, поддерживать следует Меркулова, с тем чтобы прибывшая сюда армия Врангеля не вступила в конфликт с армией Семенова. Даже по личным симпатиям и привязанностям Врангель и Меркулов более подходят друг к другу, нежели атаман и генерал. Наиболее же устраивающий нас выход из создавшейся ситуации — это коалиция Меркуловых с атаманом. Это позволит нам — со временем — подчинить Меркуловых влиянию Врангеля, то есть нашему влиянию».

РЕЗИДЕНЦИЯ МЕРКУЛОВА

Японский генерал Тачибана с переводчиком сидели в кабинете Меркулова уже третий час кряду. Фривейский, два раза входивший к Спиридону Дионисьевичу с только что поступившей прессой и новыми сообщениями телеграфных агентств, намеренно долго раскладывал вырезки, отчеркивая нужные места разноцветными карандашами, внимательно и цепко прислушиваясь к напряженному и тонкопунктирному разговору премьера с генералом.

Выйдя в третий раз из кабинета, после двухминутного разговора с Меркуловым-младшим, он снял трубку телефона и набрал номер Ванюшина:

— Николай Иванович, нужен хороший комментарий. Завтра Семенов и Спиридон Дионисьевич подпишут совместную декларацию. Бой за монолитность нашу выигран!

РЕДАКЦИЯ ВАНЮШИНА

— Оставьте на первой полосе окно, — сказал Ванюшин метранпажу, — сейчас я набросаю комментарий. Заголовок пусть будет набран крупешником.

— Какой заголовок? — спросил Исаев. — «Вон из Владивостока, атаман»?

Ванюшин хохотнул:

— Это могло быть вчера. А сегодня: «Бой за монолитность нашу выигран».

— Вы действительно верите в это, Николай Иванович?

— Я никогда не был так уверен в нашей победе, как сейчас, никогда, Максим! Раньше нас разъедали дрязги: Деникин сам по себе, Колчак сам по себе, англи-

чане темнят, французы против адмирала, американцы выжидают — словом, бордель, и только! А теперь на территории России остался лишь один очаг свободы — мы! Весь цивилизованный мир помогает и сочувствует нам! Мы подперты американскими кораблями и японской пехотой! Наконец, Меркуловы — русские патриоты, которые преследуют не свои честолюбивые интересы, а живут главной задачей освобождения нации от большевистского ига. Они честны и просты, как сам русский мужик, и у них добрые сердца, поверьте мне! А Семенов — ну Бог с ним, в конце концов! Он вояка, он будет под нами, он не выйдет из нашего подчинения, зато казачество его боготворит, а это громадная сила! И потом — даже худой мир с ним лучше доброй ссоры, право слово: у него, кстати, в Берлине надежные люди сидят — полковник Фрейнберг с Апаровичем, — они тоже к нам в подчинение перейдут, а это — серьезные люди, очень серьезные! Так что я полон оптимизма, друг мой, и он зиждется на реальности, а не на грезах. Мы только что спаслись от раскола — вот вам блистательное подтверждение моим словам, не так ли? И потом, — он хмыкнул, — я трезв сейчас.

Ванюшин заперся в своем кабинете, попросив Исаева не уходить надолго. Исаев пообещал быть где-нибудь рядышком, только разве, может, сходит в бар.

Он действительно пошел в кафе-бар «Банзай». Там за столиком, занавешенным бамбуковой перегородкой, сидел молодой человек, похожий на корейца.

— Простите, не могу ли я сесть рядом? — спросил Исаев.

— О, прошу вас, — ответил кореец, — очень приятное соседство.

Исаев заказал подбежавшему лакею немного виски. Чуть заметным движением Исаев передал корейцу два листка рисовой бумаги. Тот оставил на мраморном столике полторы иены и, кланяясь по-японски, ушел — словно бы и не было его.

РЕДАКЦИЯ «ВЛАДИВО-НЬЮС»

Здесь, в большом зале с огромными стрельчатыми окнами, возле диковинного цветка, растущего в громадной кадке, стоит забавной конструкции письменный столик. На нем старинная, разболтанная пишущая машинка и великолепнейшая рисовая бумага — плотная, но в то

же время очень тонкая. Писать на ней одно удовольствие. И получал это удовольствие корреспондент газеты Джозеф Лобб — единственный американец на всю русскую проамериканскую газету. К нему-то и подошел кореец, только что сидевший с Исаевым в баре. Он что-то пошептал на ухо Лоббу. Тот достал из кармана пятьдесят долларов, кореец покачал головой, тогда Лобб добавил еще десять и после этого получил два листочка бумаги, на которой «подлинный черновик заявления» атамана Семенова, «украденный вчера стюардом с японского теплохода». Заявление скандально. Начинается оно по-семеновски. «Я, Верховный Главнокомандующий и Правитель Восточной окраины России, генерал-лейтенант, атаман войска казачьего Семенов, обращаюсь к тебе, народ русский. С болью в сердце вижу я, что хотя большевистский гнет и сброшен с божьей помощью, но истинно народный дух — дух мщения за поруганных и убиенных красной сволочью — не восторжествовал здесь! Мягкотелый правитель не в состоянии вести великий народ на подвиг — и к славе! А посему: с сегодняшнего дня я считаю так называемое правительство Меркулова низложенным, Народное собрание — распущенным впредь до новых выборов, с тем чтобы нам, сынам православия и веры, понести знамена свои — через боль и кровь — к свободе и освобождению от дьявольского наваждения красных псов и жидовских недоносков!»

Сенсация, скандал, боже мой, прелесть-то какая! А материал проверенный? Конечно, а как же?! Кореец Чен — студент университета, подпольный делец, сколько раз поставлял интереснейшие скандальные сведения! Причем всегда точные.

— Спасибо, Чен, — сказал Лобб, — спасибо.

И побежал вниз — на телеграф.

Значит, ровно через два часа весь Владивосток будет знать текст «обращения» Семенова, написанный Исаевым. Пока Семенов даст опровержение, пройдет время, а быть может, Николай Дионисьевич, опровержения не дождавшись, сделает заявление для печати, а может, Николай Иванович, поднапившись, в пьяном угаре прислушается к совету Максима Максимовича: все может быть, там посмотрим, что получится. А пока главное, самое важное, сейчас получилось.

* * *

Чен возвращается от Лобба в третьеразрядную корейскую гостиницу, проходит в свою каморку, расположенную в подвале, запирает дверь и начинает медленно раздеваться. Он снимает свой модный костюм, вешает его на плечики, укрывает марлей и ложится на циновки. Достает деньги, полученные от американца, тщательно пересчитывает их, откладывает себе на жизнь доллар, а остальное прячет в тайник, сделанный в полу. Это неприкосновенно, это в партийную кассу или на оперативные нужды. Чашка риса и кусок мяса в день — весь его рацион. Чен укрывается легоньким одеялом, свертывается калачиком и старается уснуть: после каждой операции у него страшно болит затылок — до слепоты и обмороков. Он начинает тихонько петь себе колыбельную песню. Во дворе визгливо кричат дети. Чен заставляет себя заснуть. Спит он ровно час, как будто будильник ставил. Из своей каморки он выходит беззаботным франтом с гаденькой угодливой улыбочкой и отправляется на биржу — к своим «друзьям»-спекулянтам.

РЕДАКЦИЯ ВАНЮШИНА

Николай Иванович смотрел на темный порт. Ревели неразгруженные пароходы. Стонали трамваи — бастуют кондуктора, поэтому улицы полны народа. Ресторанчики открыты, в кафе и скверах играют оркестры. Весело в центре. А что бастуют — так ну их, право. Побастуют да и бросят. Господи, вон ведь красиво как все! И бухта Золотой Рог, и сумасшедшее, раскрашенное закатом небо, и деревья — все в зеленой кипени, и веселая публика на улицах: студенты, офицеры, негры, дамы, японцы, моряки, американцы, греки, китайцы. Чего бояться, когда на город слепо смотрят орудийные башни крейсеров, а каппелевцы в казармах колют соломенных противников? Завтра город торжественно встретит Семенова; по-видимому, он будет просить портфель военного министра, ну да черт с ним, — если он декларацию подпишет, японцы заставят его уважать подписанное.

Метранпаж принес из типографии сверстанный номер. На первой полосе огромный заголовок: «Бой за монолитность нашу выигран». И дальше — светлый и публицистически приподнятый комментарий Ванюшина.

Николай Иванович подписал номер в печать. Как раз

в это время в кабинет зашел репортер из международного отдела и положил на стол Ванюшина только что полученные сводки американского агентства при «Владиво-ньюс» с полным текстом «заявления Семенова», полученного Джозефом Лоббом через «проверенные источники, близкие к штабу атамана Семенова».

Заголовочек лоббовской сводки — скандальный и броский, любят североамериканцы сенсацию, хлебом их не корми, только б честных людей огорошить. Крупно набран заголовок, сразу в глаза прет: «Меркуловы низложены».

Ванюшин позвонил к Меркуловым. Братья еще ничего не знали о тексте семеновского заявления. После того как был прочитан текст, Спиридон Дионисьевич долго откашливался, и голос его стал очень высоким, как у подростка. Он спросил:

— Что же вы советуете?

— Сейчас еду к вам, — сказал он, — будем вместе думать, как сломать шею этому мерзавцу.

Несутся по Светланке мальчишки, вопят, размахивают над головой свежими газетными оттисками:

— Последние новости, последние новости: атаман Семенов только что лишен генеральского звания и признан персоной нон грата в нашем городе! Атаман Семенов под домашним арестом на японском теплоходе! Интригам честолюбивого есаула положен конец! Великая победа демократии! Атаман Семенов рыдает в подушку! Народ одобряет победу нашего родного правительства!

Следующей ночью атаман Семенов сбежал с теплохода и отправился к китайской границе, в Гродеково, к своим казачьим частям, шепча проклятья и обещая расправиться с Меркуловыми. Разговоры о святой борьбе с красными псами несколько отошли на задний план — за себя надо постоять, свою судьбу устроить, — не ровен час, купчишки из-за угла пальнут промеж лопаток из кольта, и вся недолга!

Меркуловы, в свою очередь озабоченные возможным выступлением Семенова, занялись организацией линии обороны в районе Гродекова. Ситуация сулила серьезную распрю между двумя белыми лидерами.

Японские представители во Владивостоке сбились с ног, пытаясь примирить враждующие группировки. Но Меркуловы и Семенов ни на какие уступки друг другу не шли, а от японцев, увлеченные борьбой, стали отмахиваться, как от надоедливых мух.

В этой ситуации японский МИД «дал понять» через третьих лиц заинтересованным сторонам, что переговоры между красной Читой и Токио, которые ранее каждый раз отклонялись правительством микадо, сейчас становятся возможными. А как же им быть невозможными, когда началась такая драка между Меркуловым и Семеновым? Обязательно надо искать запасную платформу. В политике, как в хлебопашестве, если не подумаешь о завтрашнем дне — пропадешь, и ничто тебе не поможет.

Письмо
представителя РСФСР в Германии
Министру Иностранных Дел Германии Розену

Имею честь препроводить Вам при сем в оригинале и в виде копии и фотографических снимков с приложением дословного немецкого перевода два документа, исходящих из канцелярии присутствовавшего здесь, в Берлине, представителя атамана Семенова. Из этих документов несомненным образом явствует, что некий полковник Фрейберг с помощью капитана, именующегося Апаровичем, устроил на территории Германии представительство действующих на Дальнем Востоке против Российской Советской Республики мятежнических орд ген. Семенова и производит здесь вербовку для поддержки этих войск.

Препровождая Вам, г. министр, упомянутые документы, позволяю себе обратить Ваше внимание, что уже самое существование этого так называемого представительства на территории Германии нарушает содержащийся в статье 1 соглашения от 6 мая 1921 г. основной принцип. Терпимость германских властей по отношению к вербовочной деятельности полковника Фрейберга несовместима с дружественными отношениями между Германией и РСФСР. Кроме того, эта деятельность является преступлением, согласно общему германскому законодательству.

Имею честь просить Вас, г. министр, от имени моего Правительства немедленно же закрыть устроенное полковником Фрейбергом представительство и фактически воспрепятствовать его вербовочной деятельности, равно как и привлечь его и капитана Апаровича к законной ответственности.

Пользуюсь этим случаем, чтобы еще раз засвидетельствовать, г. министр, совершенное к Вам уважение.

В. Конп.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ ЧИТА-II

Вокзал пуст. На жарком, раскаленном перроне замер строй почетного караула, чуть в стороне, под металлическим, давно не крашенным козырьком, — оркестр Читинского гарнизона. Возле облупившейся ресторанной вывески — группа военачальников, представители парламентских групп Народного собрания ДВР, партийные работники: большевики, эсеры и меньшевики. Кадеты и народные социалисты стоят особняком, оживленно переговариваются, смеются: лица холеные, очки поблескивают золотом, белые канотье выписаны из Парижа, штиблеты по последней американской моде — тупорылы, пиджачки коротенькие, тоже на американский манер.

Вокзальное начальство, упрежденное, что прибывает новый военный министр и главком, загнало пассажиров в залы ожидания и все двери заперло — на контролеров надежды нет: народ до зрелищ жадный, сомнет. Все вокзальные стеклянные двери расплющены прижатыми носами любопытных.

— Говорят, начальник-то, — шепчут в зале ожидания, — свирепый порядок приехал навести, растрясет буржуев тутошних.

— Мели, Емеля! Он сам из немцев, а немец — первый буржуй на земле.

— Какой немец! Прикусись. Жид. Жид он.

— Евреи против капитала свирепые. Сейчас гривой своей затрясет кучерявой — чтоб конфисковать немедля!

— Коль, он мне под юбку залазит!

— Ишь, ишь кадеты стеклами сверкают. Министры-капиталисты! Как при адмирале сидели в начальниках, так и теперь остались. Эх, Расея, нет на тебя плетки!

— Погоди, доведут — подымемся, с заду искры полетят.

— Слышь, папаш, а чего это эсеры все как есть нестриженые и с перхотью на спине?

— Это у них от идейности. Идейный — он завсегда нестриженый. А перхоть — так то ж мозг зашелушивается изнутри...

— Коль, он мне под юбку залазит!

— Эвон паровоз, паровоз!

Кадеты переговариваются:

— Говорят, весьма способный военный.

— Перестаньте. Откуда? Очередной крикун.

— Гражданин Протопопов, посмотрите, как любопытно, — большевики молчат, будто воды в рот набрали.

— Меньшевиков боятся.

— Не верю. Ни во что не верю. Придут сюда желтые, весьма скоро заявятся. Армия может им противостоять, а ее, увы, нет. Есть сброд.

— Американцы тянут с визами...

— Чего вы от них хотите? Союзники — одно слово.

Эсеры прежде всего озадачены вопросом:

— Кто будет его приветствовать?

— Естественно, от большевистской фракции.

— Я спрашивал: те говорят, что приветствие будет от имени коалиционного правительства.

— Какая, к черту, коалиция? Пауки в банке. Коалиция в России противоестественна: каждый в Бонапарты метит.

— Двадцатый век — последний век этой цивилизации. И конец миру придет из России, истерзанной изнутри.

— Меньше афоризмов, Владислав Прокопьевич. Афоризмы надоели, мы с ними проиграли все, что могли проиграть.

— Граждане, поезд...

Состав министра обороны и главкома медленно приближается к платформе. Заместители министра, военные руководители, начальник гарнизона медленно двигаются к тому месту, которое отмечено на перроне мелом: здесь должен остановиться салон нового министра. Следом за воинскими руководителями четко вышагивает начальник почетного караула: шашка посредине туловища, тело сотрясается от шагов, вдалбливаемых в жаркий асфальт, брови сосредоточенно нахмурены, глаза поедают спины заместителей министров.

Капельмейстер, взятый напрокат из оперного театра, неуклюже морщится в военном кителе, то и дело обмахивается платочком, подрагивает рукой, поднятой в уровень с головой: ударить марш встречи надо секунда в секунду, чтоб все как в прежнее мирное время, когда губернатор появлялся в ложе.

Паровоз остановился. Дверь вагона министра распахнулась, и оттуда медленно вылез бритый наголо человек

в зеленом английском френче — без орденов и знаков отличия. Оркестр рванул марш торжественной встречи. Начальник гарнизона стал выкрикивать слова приветствия. Блюхер, не дослушав его, отвернулся. Из распахнутой двери жена и адъютант протянули ему махонький гробик. Блюхер принял гроб на руки и пошел сквозь толпу встречающих к выходу. Оркестр оборвал приветственный марш, веселый и громкий, только когда Блюхер был совсем рядом. Шел министр с трехмесячной дочкой Зоенькой, умершей за два часа до приезда в Читу, шел под марш торжественной встречи, мимо строя почетного караула и примолкнувших представителей парламентских фракций.

Когда Блюхер в Москве пробовал отпроситься у предреввоенсовета на неделю хотя бы, пока дочка выздоровеет, тот стал суров и озабочен и много говорил о том, что революция — это жертвенность и стоицизм.

А Зоенька умерла — зашлась кашлем, сухонькая стала, синенькая. Первенец, агукать начала, в глазоньках смысл появился — и нет ее.

...На следующий день Блюхер приехал в ставку к семи утра. Первым, кого он принял, был замначоперод — из бывших офицеров: сухой, стареющий человек с длинной шеей, заросшей седым пухом.

— Введите меня в обстановку, — сказал Блюхер, — вы — грамотный военный, обсудим все без трескотни и фраз.

— Вот мой рапорт, — сказал замначоперод и протянул Блюхеру листок бумаги.

— Рапорт после. Сначала давайте-ка займемся делом.

— Гражданин министр, я прошу вас ознакомиться с моим рапортом.

Блюхер взял лист бумаги. Там было всего две строки: «Министру Блюхеру. Прошу уволить меня из рядов армии ДВР. Евзерихин, заместитель начальника оперативного отдела штаба НРА».

— Не знал, что в штабе работает трус.

— У меня солдатские «Георгии» и золотое оружие от Фрунзе.

— В таком случае объяснитесь.

— Я не хочу быть лжецом, гражданин министр.

— Вы лозунгами-то не говорите. Вы по-человечески.

— Я не хочу быть лжецом. Мне совестно получать паек. Армии нет. Грамотных офицеров нет. Партизанские

отряды заражены анархизмом, приказов не слушают! Мы держимся чудом, поймите! Если белые ударят — мы покатимся до Москвы! Когда я пытаюсь пригласить в штаб грамотных военных, меня упрекают, что я протаскиваю гада-интеллигента! Я не могу так больше! Не могу.

Замначоперод стал весь красный, а длинная шея его посинела, и от этого белый пушок стал особенно беззащитным и нежным. Блюхер испытал острый приступ жалости к этому незнакомому человеку.

— Сядьте, — сказал он, — я понимаю вас. Простите за труса. Вы займетесь переговорами с кадровыми офицерами. Я — партизанами. Где наиболее трудный участок?

— В Лесном, — тихо ответил замначоперод, — там анархисты сильны.

Блюхер подошел к громадной — во всю стену — оперативной карте.

— Где? — спросил он тихо. — Покажите, пожалуйста.

Замначоперод ткнул длинным узким пальцем в кружок.

— Здесь. Вашего заместителя оттуда на тачке вывезли, под свист. У них там второй день кутерьма.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РЕСПУБЛИКА. СЕЛО ЛЕСНОЕ

Партизанский сход шумит, выбирает нового командира. Прежнего белобандиты третьего дня в лесу угрохали. Как пошел на заимку к пасечнику поговорить про сено для конского запаса, так и не вернулся вовсе. Только голову нашли. На шест воткнута, язык вывалился — синий, длинный, будто озорует командир, глаза напрочь выколоты, а чуб аккуратно на две половинки расчесан. В подбородок вбит старый гвоздь, а на нем бумага в линеечку, и слова на ней: «Смерть коммунии».

— Пущай командиром Кульков станет! — предлагает молоденький безбородый паренек, весь в пулеметных лентах, галифе у него красного цвета, с неимоверным кандибобером, маузер болтается чуть не у голенища, ремень оттянут пятью лимонками, глаза шалые, озорные, но детские еще совсем глаза.

— Молод, — отвечают ему, — зеленый он, не уходился!

— Рано Кулькову в командирах выкобенивать!

— Дерьмо! Еще та титька не выросла, которую ты

опосля сосал, когда Кульков подымал людей в атаку!

Шумят люди, ругаются, а как же иначе?! Командир — он и есть командир, его надо со всех сторон обсмотреть, чтобы потом в боевой кампании конфузу не вышло!

Василий Константинович Блюхер молча сидит на раскладном стульчике чуть поодаль. В английском мундире, без орденов, быстро сосет мундштук, перебрасывая его из одного угла рта в другой. Иногда только по лицам глазами зырк, зырк, и снова будто всем чужой здесь. Только чем дольше слушает, тем больше голову бычит.

На середину схода выскакивает Колька-анархист. Клеши широки, словно Черное море, бескозырка на затылке блинчиком.

— Братва, слушай меня!

Кольку-анархиста любят слушать, потому что говорит он грамотно, с непонятностями и паузами, а это мужику уважительно, будет над чем потом помозговать.

— Кто там как, — возглашает Колька, — а я правду-мамульку в глаза режу! Кулькова год знаю. Много в нем молчания, и голос у него чахоточный. А командир — он кто? Он орел! Он голосом должен играть, как оркестрант роялем! Обратно же что? Обратно же весьма в нем инициатива прижатая. Тихая в нем инициатива, как вошь на трупе. А великое царство всемирной свободы не утвердишь на земле, если тихонько ползти да с оглядкой. С оглядкой надо борова резать, чтобы он хрипом нервы не будоражил, а буржуя следует брать на голос — и ура, инициатива! Посему отвожу персонально Кулькова, сохраняя к нему дань уважения как к бойцу рядового профиля.

На смену Кольке, который уходит вразвалочку, понятливо и ехидно подмигивая партизанам, поднимается из первого ряда старик Иннокентий Суражиков. Перед тем как начать говорить, он долго переминается с ноги на ногу, тщательно оправляет бороду. Партизаны шутки шутят, посмеиваются, гадают, что это Суржиков изобретает: он сроду больше трех слов связать не умел! Дрался, правда, хорошо. А как же ему иначе драться, когда белые его сынов зарубили?

— Вот чего, — начинает Суржиков скрипучим голосом, — когда нас Семенов в прошлом году гнал и лупил, мы с Кульковым сопками убегали. Он поранетый, и я, обратно, с двумя дырками в груди. Осень. Солнышко днем светит, грязь мягкая становится, вроде перины. Кто

себя не переможет, ляжет в грязюку отдохнуть — так ночью мороз вдарит, и пропал человек, вмерз в грязь, зенки полопались. Нес меня Кульков на себе, волоком волочил, в грязь лечь не давал, а я стоном у него просился.

— Ладно, чего там, — досадливо говорит Кульков, по всему видно, чахоточный, из рабочих: руки у него тонкие, в груди впалый и черные точечки на лице от металлической гари.

— Ты погоди, — машет рукой Суржиков, — не тебе говорю, а обществу. Шли мы через сопки, и такая у меня стала наблюдаться тоска, что я в себя дых мог сделать, а из себя уж сил не хватало. Помираю, и весь разговор. А Кульков сам дохнет, а меня тащит, кровью харкает и все говорит: «Потерпи, вона хутор рядом, собаки лают». А я ничего не слышал, кроме звона в собственных ушах, да и не было там никакого хутора, это успокаивал он меня просто-напросто. Так что молодой ли он, старый — это другой разговор, а жизнь он мне тогда спас. Иной старый пес только лаять и может, а зубов, чтоб укусить, нет, скрошилися напрочь.

Шумят партизаны, переговариваются, хорошо сказал Суржиков, ай да Суржиков, молчком, молчком, а тут речугу двинул — вон Колька-анархист аж позеленел со злобы, козьей ножкой пальцы жжет, но нет ему чувства боли, потому что обидно, а обида любую боль перехлестывает.

Поднимается Блюхер. Шум голосов постепенно стихает.

— Народармейцы, — говорит он гулким, низким голосом, — граждане народармейцы...

Колька-анархист поднимается и кричит:

— Ошибка вышла! Мы партизаны, а не народармейцы!

— Партизанам Дальнего Востока за их подвиг здесь еще потомки золотые памятники воздвигнут. Но тем не менее с сего часа вы становитесь регулярной боевой единицей Народно-революционной армии. И командиром к вам властью, данной мне, я назначаю гражданина Кулькова.

— Мы назначенных не принимаем! — кричат Колькины дружки. — Мы сами себе хозяева! Кто такой умник выискался, чтоб нас в армию из партизан?!

— Я! — отвечает Блюхер. — Этот приказ издал я, военный министр Блюхер.

Воцаряется тишина. Блюхер смотрит на партизан

прищуренным глазом. Сейчас все решается: заорет кто-нибудь, начнет из маузера палить и рубаху на груди рвать, пойдет кутерьма, не сдержать людей.

— Кто пришел играть в войну, — продолжает Блюхер, — тот пусть уходит. Кому по душе махать шашкой и бомбой громыхать, тот адресом ошибся. Мы воюем для того, чтобы эта война была последней. Вот так. А для этого мы должны быть силой — организованной и мощной. Я вчера получил шифровку из Владивостока: меркуловцы вооружают армию до зубов, ждут подкрепления от Врангеля из Европы, разрабатывают стратегический план организованного наступления на нашу Дальневосточную республику. Момент ими выбран удачно, что и говорить: в братской России голод, и мировая буржуазия считает, что именно сейчас можно отхватить Дальний Восток, пока, им кажется, Москве не до нас. Умно. И чтобы этому умному плану противостоять, нам должно в ближайшее же время стать мощной армией, а не табором. У кого есть противное мнение, прошу высказаться...

* * *

Остановился Блюхер в доме у попа. Батюшка Никодим слывет красным, Ленину поет с амвона долголетие, белых проклинает бранными словами, а иногда бывает так, что и матюжком пустит, если увлечется.

— Может, гражданин министр, — предлагает он, — откушаете топленого молочка?

— Благодарю, я уж из котла перекусил.

— Жидок котел-то...

— Да уж не густ.

— Вот я как раз к тому и про молочко. Не брезгаете ли?

— Право слово, сыт.

— Не отвергай руку дающего.

— Да не оскудеет она, — улыбается Блюхер.

— О-о, Библию изволите цитировать?

— Читал.

— Вы по партейности кто? Не кадет ли?

— Коммунист.

— А как же такую для вас грешность допускаете, что про Библию и — не ругательно?

Бежит батюшка на половину к матушке. Лицо у него светится, пальцы играют, шепчет он ей на ухо:

— Маня, нацеди самогоночки! Такая, право, радость!

— А чего, Димочка?

— Чего, чего, — суетится отец Никодим, — ты не чегокай, а влаги поднацеди скорей, радость сейчас во мне птицей порхает и на сердце легко.

...А чуть позже в комнату Блюхера заходит Колька-анархист. Стоит он на пороге раскорякой — соблюдает флотский форс, хотя до моря еще идти и идти.

— Гражданин министр, — говорит Колька с дурной улыбочкой, — наш разведвзвод порешил подарить вам жеребчика, отбитого у белых. Крутой жеребчик, просто министерский. Вам его, может, кто объездит, будете потом довольны, а сейчас только взгляните.

Блюхер поднимается, идет вместе с Колькой на площадь. Там стоит красавец жеребец. Норовистый, копытом бьет, глаза кровавые, пена с морды к земле тянется. Партизаны его впятером держат, и то еле-еле. Блюхер берет поводья, заглядывает жеребцу в морду, тот храпит и скалит зубы.

— Неужто сами решитесь объехать? — спрашивает Колька-анархист, незаметно подмигивая партизанам: мол, черта с два! Министр, он на что способен? Он только речи способен двигать про дисциплину.

— Пускай, — негромко просит Блюхер и закидывает ногу в стремя.

Пускают партизаны жеребца. Эх, чуть раньше времени пустили! Понес! Стремя подвернулось, нога соскользнула, вторую ногу не успел забросить Василий Константинович, только за гриву уцепился; он висит вдоль жеребца, а тот носится по площади кругами, и нет сил его остановить, и нет никакой возможности себя самого в седло взбросить.

А земля рядом — серая, красная, желтая, белая.

Кровь в висках стучит.

Отпустить пальцы с гривы — сомнет об землю, расплющит, раскровенит, костей не соберешь. Ах, глупо-то как все вышло! Нет! Врешь, сволочь! А ну, помаленьку ногу вверх. Еще. Еще малость! Самую малость бы еще! Нет. Мысок подвернут, стремя зажато, жеребец несется — что твой цирк!

И тишина вокруг.

Не слышно Блюхеру, как партизаны кричат, винтари вскидывают, а стрелять боятся. Зацепишь ненароком человека, поваленный конь насмерть задавит.

Голова кружится каруселью, а земля теперь черная, и нет на ней зелени.

Из последних сил, отчаянно рвет Блюхер повод. На мгновение жеребец останавливается. А больше и не надо! Василий Константинович рывком взбрасывает свое тело в седло. Вокруг сейчас все как бы электрическое: жутко-синее, несется кругами, и в висках стук.

Блюхер натягивает повод еще круче. Дает шенкеля, жеребец — в свечу, ноги передние взбросил, замер так, а потом копытами об землю грох! А Блюхер в седле, влитой, и ну еще раз шенкеля. И снова жеребец в свечу и снова об землю грох! Так раз десять его Блюхер забирал.

И стих жеребец. Идет послушно. В мыле весь.

Блюхер спрыгивает с коня. Бросает повод Кольке-анархисту.

— Хорош конь, — только и говорит Василий Константинович.

Идет к дому не торопясь, шаги вколачивает в землю, как гвозди.

Кто-то из партизан смотрит на ошалевшего Кольку, присвистывает и уважительно тянет:

— Да-а-а... Министр — чего там...

А поодаль, в сторонке, стоит маленький незаметный человечек в измятой гимнастерке. Он докуривает цигарку, бросает ее под ноги, долго вкручивает каблуком в зелень, а потом манит к себе Кольку-анархиста. Тот подходит.

— Ничего, — говорит человек. — Как говорится, лиха беда начало. Не отчаивайся, милый. Народ за собой поведешь, Коль. Реванш твой будет.

...А по дороге лесной, пустынной несется старенький «форд» министра Блюхера. Желто-белая пыль клубится следом, висит над дорогой дымным облаком, пронизанная тугими облаками солнечных лучей.

Блюхер — побелевший, осунувшийся — дышит тяжело, с хрипом. Шофер поглядывает на него с опаской, жмет на педаль акселератора. Солнце, ударяясь в ветровое стекло, выстреливает острыми синими бликами. Над ковыльной безбрежной степью висят жаворонки, и все окрест полно спокойствия и мира.

— Стой, — шепчет Блюхер.

Шофер тормозит. Блюхер просит:

— В портфеле бинт...

И вылезает из машины — чуть не вываливается. Он стоит на дороге в пыли и раскачивается, будто пьян. Шофер расстегивает на Блюхере френч и осторожно стаскивает сначала правый рукав, после левый. Грудь Блюхера

перевязана крест-накрест бинтами. Они все насквозь искровавлены: черная, запекшаяся уже кровь чередуется с яркими пятнами. Во время империалистической Блюхер был четыре раза ранен, из них два — смертельно, в морге среди мертвяков валялся, волосами ко льду прирос. С тех пор он всегда под френчем туго перебинтован, вроде как в корсете. Единственный в мире военный министр, уволенный с «Георгиями» из рядов действующей армии по причине полной инвалидности — «к службе не годен».

Шофер достает из портфеля чистые бинты — менять повязку.

— Туже, — просит Блюхер.

Шофер стягивает его грудь что есть силы, опасливо поглядывая в серое лицо министра — глаза по-прежнему закрыты, на лбу холодная испарина.

— Еще туже.

И чем туже шофер забинтовывает Блюхера, тем тверже он стоит на ногах, постепенно выпрямляется, расправляет плечи, откидывает голову назад, выдыхает воздух и говорит:

— Теперь хорошо.

Френч он надевает сам, застегивается на все пуговицы, трет бритую голову сильными своими пальцами, садится рядом с шофером и просит — по-мальчишески:

— Жмем.

Тридцатилетний главком и военмин сидит возле шофера прямо, недвижимо, словно парад принимает, только желваками поигрывает, когда машину трясет на ухабах.

— Василий Константинович, — говорит шофер, — а вот людишки болтают, что врачи научились железные ребра вставлять...

— Это ты обо мне беспокоишься?

— Болезнено на вас смотреть, когда бинтуешь...

— А ты жмурься, — советует Блюхер, — и не болтай про это никому.

— Так раны-то у вас боевые, героичные раны...

— Героично — это когда силен и без ран. Все остальное — жалко.

Несется «форд»; желто-белая пыль клубится следом, висит над дорогой тяжелым облаком, и солнце в нем кажется дрожащим, расплывчатым и дымным.

Блюхер сидит возле шифровальщика. Тот читает ему:

— «После того как атаман Семенов сбежал с теплохода и начал подготовку к борьбе за власть против Меркуловых, японское правительство может пойти на переговоры с ДВР хотя бы для того, чтобы утихомирить склоку среди своих белых союзников. Генерал Ооой ясно дал понять, что, если ДВР проявит инициативу, японправительство отнесется к ней с пониманием, в то же время на словах лишний раз провозгласит свою преданность союзническому долгу и Меркулову. Видимо, в ближайшее время японпредставители будут зондировать этот вопрос в Чите. 974».

— Ясно, — говорит Блюхер, — через кого шла шифровка от 974-го?

— Через Постышева.

— Сделайте, пожалуйста, три копии: в Сиббюро ЦК, в Дальбюро и для передачи в Москву — Дзержинскому. И мою приписку дайте: я — за переговоры. Теперь дальше. Вот этот документ в ЦК надо зашифровать срочно:

«Прибыв в Читу и ознакомившись с состоянием армии, нашел, что армия переживает катастрофическое положение. Существующие отношения правительства и Совмина к армии можно определенно отметить как индифферентные. Жизнью армии и ее нуждами ни правительство, ни Совет Министров, по-видимому, не интересовались, было стремление ничего не отпускать, урезывать и за счет армии содержать в продовольственном и вещевом отношениях гражданские учреждения.

Порядок расходования золотой валюты, высылаемой для нужд НРА, вынуждает меня просить вмешательства Москвы, о чем будет донесено дополнительно с указанием цифр и фактов. В тех случаях, когда командование пытается улучшить положение быта народармейцев, сотрудников штабов, правительство энергично реагирует, ссылаясь на конституцию демократической республики. Отсутствуют помещения для штабов, получить которые можно только за валюту, посему штабы ютятся в несоответствующих помещениях, как,

например, штаб морских сил в дровяном сарае без столов и стульев.

Такое ненормальное положение, тяжелые объективные условия формирования армии в период хозяйственной разрухи, неналаженности государственного аппарата, остроты политического момента на территории «буфера» ставят армию в тяжелое положение, вывести из которого средствами ДВР вряд ли удастся, так как средств у правительства никаких нет. Отношение к «буферу» народармейцев при наличии всех перечисленных условий, с одной стороны, непонимание задач создания «буфера» — с другой, создали атмосферу недоверия, рассеять которое можно только при условии устранения всех перечисленных причин.

За последнее время с приездом т. Янсона и созданием Военного совета, в который вошел представитель Дальбюро ЦК РКП(б) т. Губельман, нужды армии находят живой отклик и поддержку Дальбюро ЦК РКП, но реальной помощи последнее оказать не может за полным отсутствием средств в Госбанке и у правительства.

Снабжение армии находится в весьма тяжелом положении. Вследствие отсутствия честных и преданных работников дело снабжения находилось в руках подавляющего большинства комсостава, ненавидящего правопорядки ДВР и настроенного определенно контрреволюционно, а потому, естественно, не ведшего планомерной работы, а скорее старавшегося разрушить то благое, что создавалось незначительными по своему составу честными и преданными работниками. В результате такой работы захваченные большие трофеи противника в 1919—1920 годах — вещевое и артиллерийское имущество, по количеству вполне могущее обеспечить НРА на 3—4 года при соблюдении системы и точного учета, были в короткий срок хищнически бесконтрольно израсходованы. В настоящий момент армия переживает тяжелый кризис, угрожающий окончательным ее развалом и гибелью.

Продовольственный вопрос и питание армии находятся в худших условиях. Отсутствие учета запасов высшими органами снабжения, жалкие

подачки частям из центральных органов убили в частях веру в возможность планомерного получения всех видов довольствия и заставили части искать средства пропитания путем личной инициативы, не стесняясь в выборе средств. Части, далеко расположенные и лишенные возможности способа обеспечения себя продовольствием, превратились в коммерческие предприятия для получения необходимых средств на неотложные нужды: занялись рубкой дров, обжиганием извести, гонкой смолы и рядом других промыслов, реализуя на рынках полученные таким путем продукты производства.

Боец, как индивид, в общем стойкий, революционно настроенный, несмотря на некоторые вспышки недовольства, непонимание «буферной» обстановки и условий, когда он видит, что буржуа, с которым он, скрываясь в тайге, боролся в течение всего периода семеновской реакции, теперь выплывает наружу, весело проживает свои капиталы на фоне общих лишений и недостатков, а семеновский и каппелевский офицер, часто застревающий в штабах, руководит им. Кроме того, он еще не изжил вполне партизанские наклонности. Все сказанное можно полностью отнести к частям амурским, состоящим из амурских партизан. Бойцы частей, перешедших из Иркутска, из числа бывших колчаковских сибирских войск, тяжелее переносят общехозяйственные и материальные нужды и более склонны ко всяким недовольствам, чему причина действительно плохое снабжение армии, что, безусловно, мешает внедрению должной воинской дисциплины...

Мер к подготовке младшего комсостава не предпринималось. Присланные 1200 унтер-офицеров из Советской России использованы по прямому назначению не были, а направлены рядовыми бойцами в части, тогда как из них можно было сделать кадры младшего комсостава. Недостаток политработников, низкий уровень состава военных комиссаров, полное отсутствие литературы задержало на самом низком уровне перевоспитание бойцов. Отсутствие культурно-просветительной работы ярко характеризует деятельность Военного политического управления.

Командный состав НРА резко делится на три группы.

1-я группа, происходящая из местных партизан, в своем большинстве безграмотных и малограмотных, но великолепно разбирающихся в боевой обстановке, имеющих навык ведения войны при местных условиях, как боевой материал — великолепна, но требует пополнения технических и теоретических познаний. Несмотря на их боевые качества и преданность делу революции, все же около пятидесяти процентов этой группы не могут отвыкнуть от старых принципов партизанской самостоятельности и иногда не считаются с указаниями командования и трудно поддаются внедрению дисциплины.

2-я группа — это ранее присланные командиры Красной Армии из Советской России. Пользуясь правами советских работников, занимают ответственные должности, хотя в большинстве случаев по уровню технических познаний и умению командовать не отвечают своему назначению.

3-я группа — бывшие офицеры каппелевских и семеновских частей — спецы. В армию они пошли ввиду своего безвыходного положения; далеко не принадлежат душой НРА и ее идеям. При материальной необеспеченности и отсутствии идейной связи с армией являются богатым материалом для белояпонского шпионажа. Часть из них ненавидит новые порядки, сама стремится установить связь с белогвардейцами. Только незначительная часть из них честно работает ради создания национального единства России. Но скудное и нищенское, ничем не обеспеченное существование НРА, полная необеспеченность семейств, с одной стороны, так называемые демократические условия НРА, конституция, существование свободно торгующих рынков, кабаков, с другой стороны, подтачивают бескорыстную работу, заставляют помимо их воли входить в сделки с щедро оплачиваемыми шпионами Японии. Для сохранения этой крайне нужной, необходимо полезной, честно работающей части бывшего офицерства необходимо принять срочные меры к созданию хотя бы минимальных условий возможности их человеческого существования.

Не касаясь подробной оценки стремления бывшего командования к ненужному и бесцельному созданию громадного количества штабов с ничем не оправдываемыми разбухшими штатами и болезненной наклонностью к высоким названиям, как-то: главный штаб, штаб военмина, штаб Главкома и т. д., необходимо отметить создание штабов дивизий, включающих в себя три штаба бригады, что в Забайкальской армии вылилось в создание трех таких групп с общей численностью бойцов в 10—12 тысяч человек. В Амурском районе — Хабаровск, Благовещенск — две малочисленные стрелковые дивизии и мизерная кавбригада объединены штабом армии с увеличенным штатом по сравнению с советским. В этом расплывшемся болоте штабов почти отсутствуют работники, преданные интересам революции, начиная с ответственных и кончая самыми незначительными.

Ввиду того что части армии вооружены разнообразными системами оружия, мне пришлось срочно приступить к перевооружению. Временно, впредь до пополнения до штата недостающего количества русских винтовок в республике, Амурская дивизия будет вооружена исключительно японскими винтовками, части же, расположенные в Забайкалье, — русскими трехлинейными винтовками.

Бронепоезда — частью отбитые у белых, частью сформированные здесь из подручного материала, и только два бронепоезда — № 102 и № 54 прибыли из Советской России. В создании бронепоездов не было никакой системы, и к этому не было принято никаких мер.

Техническая сторона связи НРА, вследствие недостатка технических средств (телефонов, телеграфных аппаратов, проволочных и беспроволочных, гелиографов, приборов для сигнализации — ракет, прожекторов), не удовлетворительна и ставит армию в положение беспомощности. Оперативные переговоры ведутся по морзе, поэтому шифруются. Донесения, приказания запаздывают, что очень пагубно может отразиться на общих операциях армии в случае возобновления военных действий на широком фронте, возмож-

ность чего не устранена при создавшейся политической конъюнктуре на Дальнем Востоке.

Обыкновенная связь ввиду слабой подготовки народармейцев специальных команд и вообще в частях также требует желать много лучшего.

Для создания более правильной и скорой связи, для взаимодействия частей между собой и со штабами считаю необходимым придать крупным войсковым соединениям (дивизиям, отдельным стрелковым бригадам) полумощные радиостанции, улучшить радиотелеграфную связь и придать несколько вьючных радиостанций, увеличить количество телефонных аппаратов в частях, а также снабдить части сигнальными ракетами и т. д.

Так как средствами ДВР ничего этого приобрести не представляется возможным, вся надежда на Советскую Россию. Необходимо выслать не менее трех мощных радиостанций, семи вьючных радиостанций с техническим персоналом, телеграфных аппаратов «Юза» на каждую отдельную стрелковую бригаду и высшие штабы — 8, кабеля — 15 000 верст, телефонов — 3000 экз.

Ввиду обширности территории ДВР, редкой населенности, полного отсутствия шоссейных дорог и наличия лишь совершенно разбитых грунтовых проселочных дорог, отсутствия мостов через довольно обширные горные реки движение всех родов войск, особенно артиллерии и обозов, затруднительно. Правительство республики для исправления дорог средств не имеет, а поэтому необходима организация дорожных мастерских, строительных дружин или отрядов, дабы улучшить состояние имеющихся дорог, построить новые, чем обеспечить свободу передвижения армии, ее маневрирования и снабжения. К организации таких дорожных отрядов намерен приступить.

Принимая во внимание обширную территорию и разбросанность фронта, а также партизанские действия противника, для ведения разведки необходимы авиаотряды, приданные крупным войсковым соединениям, которыми здесь в настоящий момент являются отдельные стрелковые бригады. Использовать имеющиеся в армии аппараты в количестве 17 штук (действующих на пятьдесят

процентов боеспособности только шесть, остальные требуют ремонта), как изношенные и негодные к полетам, не представляется возможным, а поэтому считаю необходимым указать, что и здесь может помочь только Советская Россия, выслав в НРА эскадрилью аппаратов со всем техническим инвентарем и материалами из следующего расчета: аппаратов для разведывательной службы разных систем — 15 и истребителей — 10.

Имеется автомашин разных систем 145, из них легковых — 70, грузовиков — 46, мотоциклов — 19 и 10 разведывательных танков. Все машины в очень плохом состоянии, и половина указанного числа требует ремонта. Запасных частей нет. Автомастерских даже для легкого ремонта также нет, нет ни одной вулканизационной мастерской, нет автогенного аппарата для сварки, а потому большая часть машин, требующих даже легкого ремонта, стоит в бездействии. Горючего и смазочных материалов едва хватает на самые неотложные нужды. Весь материал для ремонта и для движения машин можно было бы приобрести на рынках Маньчжурии, но на это необходима валюта, которой в «буфере» нет, а потому и с этой стороны необходима помощь Советской России, на которую вся надежда, ибо если Москва не поможет, то никто не поможет.

Заканчивая настоящий доклад, должен констатировать безотрадную картину состояния армии. Необходимы срочные меры улучшения снабжения всем необходимым, чтобы армия не развалилась и могла оказаться боеспособной, тем более что тучи реакции на Дальнем Востоке сгущаются и возможно, что армии придется грудью встретить врага для защиты интересов трудящихся не только ДВР, но и Советской России. Принимая во внимание столь угрожающее положение, верю, что Советская Россия придет на помощь в деле улучшения состояния армии во всех отношениях и даст то, в чем она терпит недостаток, и этим самым предотвратит надвигающуюся катастрофу.

Блюхер».

ЯПОНСКАЯ МИССИЯ В ЧИТЕ

Сегодня консул Нушима устраивает прием. Приглашены руководители ДВР, дипломатический корпус, пресса. Собрались почти все, только вот заместитель премьера Федор Николаевич Петров никак не едет. Товарищ министра иностранных дел Кожевников объясняет консулу причину задержки господина Петрова важными делами в правительстве. Не будешь же объяснять, что Федор Николаевич с трех часов в больнице, куда сегодня с заседания Советов Министров увезли заместителя министра почты и телеграфа. От хронического недоедания у заместителя министра открылось кровохарканье. Надо было срочно решать вопрос, куда его отправить на отдых, а главное — чтоб ему была человеческая еда три раза в день. Совет Министров выделил девяносто пять рублей на месячный курс лечения, но крестьянин в деревне Михайловке, согласившийся было взять члена правительства на поправку, когда узнал, что дают всего девяносто пять рублей, долго торговался, требуя, чтоб на заместителя министра накинули еще десятку: как-никак член правительства.

Журчит речь на файв о клоке — английская, японская, французская, китайская. Нушима от Блюхера не отходит ни на минуту, сыплет чистейшим русским говорком, улыбается ослепительно, будто Василий Константинович красная девица, и все время трогает тему мира и дружбы, вспоминая то Толстого, то Будду, а то Суворова...

Блюхер — каменный. Только брови на лице играют да в уголках резкого рта нет-нет да дрогнет смешинка — быстрая и чуть снисходительная. А в лицо главкома впился глазами американский журналист Губерман. Ему, майору разведки, важно узнать, как реагирует красный генерал на мирные речи японцев. А то, что речи будут мирными, Губерман выяснил через свою агентуру, обслуживающую японское представительство в Хабаровске.

Нушима стоит вполоборота к залу, так, чтобы никто не мог следить за его губами: натренированный человек даже издали поймет — недаром артикуляция рта специально изучается разведчиками.

— Наша концепция общеизвестна, — продолжает Нушима. — Это концепция разумного мира. В том случае, если ваше просвещенное правительство, измученное войной, трезво поняв всю меру усталости, которую испы-

тывает ваш великий народ, захочет найти пути достойных переговоров с партнерами по неразрешенным спорам, я убежден, что все стронется, наконец, с мертвой точки.

Василий Константинович молчит, слушает, бровями играет, но, когда мимо проходит вице-консул Франции месье Анатоль Рывчук, именно в тот самый миг, когда все слышно французу, громко отвечает Нушиме:

— Ваши предложения мира свидетельствуют о доброй воле японского правительства, к трудностям и большим задачам которого мы относимся с пониманием.

Нушима засуетился. Он улыбается и месье Рывчуку, и Блюхеру. Ай-ай, как нехорошо получилось! Жоффр сидит в Токио; в Париже продолжаются секретные переговоры о методах ведения борьбы с большевизмом именно на Дальнем Востоке, а тут с министром Блюхером начинается откровенный роман. Это, конечно, красный специально подпустил, когда проходил Рывчук. Он знает, что делать. Ох как он хитро выбрал момент! Прямо в самую десятку засадил!

— Господин министр, — говорит Рывчук, — позвольте мне потревожить вас просьбой.

— Пожалуйста.

— Моя дача находится в Березовке. А там ваше ведомство открыло полигон. Эта постоянная стрельба и взрывы — поверьте, большей неприятности трудно себе представить во время отдыха.

— Большие неприятности не бывают продолжительными, — улыбается Василий Константинович, — а малые не заслуживают того, чтобы обращать на них внимание.

Месье Анатоль Рывчук отдает дань уважения столь блистательному ответу — он смеется уголками рта и отходит ровно через такой промежуток времени, чтобы никто не имел возможности посчитать его обиженным.

Юркие лакеи в касторовых фраках обносят гостей вином. Нушима поднимает свой бокал:

— Господин министр, мне хочется выпить за разум воина, который ценит мир превыше всего на земле.

— Прекрасный тост. Благодарю вас.

— Прекрасный тост пьют, — улыбается Нушима.

— У нас в армии запрещено употребление спиртных напитков, — отвечает Блюхер. — Я пью вместе с вами символически.

— Неужели министр так бессилен, что не может отменить приказ хотя бы на один вечер?

— Чтобы министр был воистину сильным, он не должен отменять своих приказов даже на один час.

Блюхер ставит нетронутую рюмку на краешек маленького столика черного дерева, откланивается и выходит — через час назначено экстренное заседание кабинета министров. Следом за ним уходят и другие руководители правительства республики. Остаются местные предприниматели, приглашенные артисты, младший состав дипкорпуса. Все бросаются к столам, быстро едят и помногу пьют, лакеи бегают с мертвыми улыбочками, замершими на лицах; уже кто-то затягивает песню, а два актера слезливо выясняют отношения возле стеклянной двери, ведущей в зимний сад.

А там гуляют господин Нушима и месье Рывчук. Разговор дипломатов точен и скуп.

— Нет, месье Рывчук, — говорит на великолепном французском языке консул Нушима, — поверьте, речь шла о понятиях абстрактных, не имеющих отношения к практике наших взаимоотношений. И потом, позвольте быть до конца искренним. Ленин не принимает вашего главного требования — оплатить долги прежнего правительства? Нет. Но переговоры вы ведете, и наше правительство понимает, отчего вы их ведете и чем они могут кончиться. Разве повторение вашего опыта — я беру самый крайний случай, об этом у нас никто не хочет и думать, — разве согласие на переговоры с красными, но при выдвижении ряда требований, не пойдет на пользу нашему общему делу?

— Я отвечаю вам искренностью на искренность, мой дорогой Нушима. Наш опыт переговоров с красными показывает или, во всяком случае, должен показать всем, кто хочет видеть, абсолютную бесполезность каких-либо контактов с ними. Стоит ли вам убеждать себя в этом, повторяя наш горький путь?

ВЕЧЕРНЯЯ ЧИТА

Блюхер идет по пустынным переулкам — автомобиль он отпустил; заседание будет сложное; надо собраться как следует. Длинно воют собаки. Ставни на всех окнах закрыты. Пробивающиеся лучики света лежат на земле причудливыми рисунками. Молодой месяц в черном небе похож на клоуна.

Возле угла Аргунской Блюхера хватает за рукав нищенка:

— Подай Христа ради, сынок!

Блюхер выворачивает карманы и протягивает старухе несколько монет.

— Спасибо тебе, Господь тебя не забудет. Горе по тебе сохнет, ищет тебя, да я отмолю.

Старуха хочет поцеловать руку Блюхеру, неловко наклоняется и падает.

— Ох, Господи, — стонет старуха, — ноги-то не держат, старые они.

— Ну-ка, — говорит Василий Константинович, — давой, бабуся, опирайся на руку.

Он помогает нищенке подняться, чистит на ней жакетик.

— Да не надо, сынок, — шепчет старуха, — кто ж лохмотья чистит? Они грязные должны быть. Ой, — морщится старуха, — нога у меня вспухла.

— Где живешь, старая?

— Под небом.

— Так холодное же оно.

— Оно и холодное — все равно пылает. Пожгли страну, пожгли.

— Кто?

— Красные, белые, зеленые. Люди пожгли. Вон кошечка у меня к забору привязана, видишь?

— Нет.

— А ты приглядись, она серенькая. Слабость у нее. Лежит и мурлычет. Хлебушком ее накормлю, с твоих пятачков-то, она и порадуется. Твари нежнее людей, они добро помнят.

— Сама откуда?

— С Поволжья.

— Одна осталась?

— С кошечкой осталась, сынок.

— А зима?

— Я помру к зиме, — деловито отвечает нищенка. — Холода подойдут, я сразу и преставлюсь, а то как вспомню, что еще зиму надо переходить, тоска у меня случается.

— Куда бы мне пристроить тебя?

— А некуда. Слабая я. Нынче сильных стреляют, а слабым и вовсе места нету. И не надо, сынок, ты не говори так, а то у меня вера шевелиться начнет, мне потом одной трудно станет, когда котеночек замяукает...

— Так здесь и спишь?

— Тут забор трухлявый, от него теплом ночью отдает.

Ты иди, сынок, иди, спасибо тебе, Господь тебе поможет, ти иди, а то люди проснутся, меня прогонят. Иди...

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ ПРАВИТЕЛЬСТВА ДВР

— Граждане министры, — говорит председательствующий, — я понимаю, что вопрос о переговорах с Японией серьезен, однако всем надлежит соблюдать номинальную сдержанность в дискуссии. Кто следующий? Прошу высказываться.

Сизый табачный дым висит в зале. Министры, заместители и товарищи министров, управляющие ведомствами — все сейчас здесь. Заседание продолжается уже пятый час. Дважды вопрос о переговорах с Японией ставился на голосование, дважды голоса разделялись поровну.

— Мы хотим выслушать мнение нашего коллеги гражданина Блюхера, — говорит народный социалист Шрейбер. — По-видимому, именно его мнение должно в конце концов определить позицию колеблющихся. Мы просим вас, гражданин Блюхер.

— Я подожду, — отвечает Блюхер. — Мне сейчас важней вас послушать.

— Позвольте? — говорит заместитель министра Проскуряков. Не дожидаясь тишины, он начинает: — Я считаю, что абсолютно правы те, которые в самой категорической форме выступают против переговоров с Токио. Вести революционную пропаганду, с одной стороны, и садиться за стол переговоров с тем, против кого пропагандируешь, с другой стороны, есть не что иное, как проституирование и беспринципность. Это я беру вопрос в общем, так сказать, государственном срезе.

— В партийном, — ядовито подмечает кто-то из меньшевиков, — это окажется более точным! «Нарсосы» превыше всего блюдут аспект партийный.

— Я не собираюсь ни с кем сводить счеты в момент, который по своей сложности и позорности близок к временам Бреста. Ребенок, который видит, как его отец, только что получивший плевок в лицо, вместо пощечины оскорбителю начинает снимать пылинки с его плечика, навсегда, отныне и присно, потеряет любовь к такому отцу и веру в него.

— Даже литература не была так категорична в подобного рода утверждениях, — замечает Блюхер.

— Политика — не арена для литературных упражне-

ний дилетанствующих критиков! Если мы стали чиновниками, так надо прямо и сказать тем, кого мы имеем смелость вести за собой. Если нам важна идея, тогда мы можем поступиться министерскими портфелями и личными автомобилями во имя свободы на всем земном шаре.

— Или вы демагог, — негромко говорит Блюхер, — или в лучшем случае дурак.

Председательствующий пытается навести порядок. Чуть улыбаясь, поднимается министр Шрейбер. Он в полемике силен, не то что Проскуряков.

— Великолепнейший образчик новоявленного барства, — говорит он, — дубина, которая в равной степени оглушающе сшибает с ног и правого и неправого, а самое главное — ищущего! Ищущий, да убоись дубины гражданина Блюхера! Не смей высказать свое суждение о тех, кто надругался над твоей родиной-матерью! Не моги думать! Повторяй догмы — это прекрасное свидетельство истинного патриотизма. Свобода гласности настала, во всем прогрессе, но между тем блажен, кто рассуждает мало и кто не думает совсем! Я всегда был противником Проскурякова! Сегодня, после его страстного выступления, я стал его человеческим союзником, я понял его. Повторяю: мне противна идея переговоров с желтыми сволочами, которые принесли нашей родине столько горя и слез.

Блюхер начинает демонстративно-громко аплодировать.

— Браво, — говорит он. — Браво, Проскуряков! Гражданин Шрейбер понял всю трепетность твоих порывов!

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ ЧИТА-II

Лязгая стальными лепешками буферов, останавливается поезд. Он нескончаемо длинный, составлен из маленьких теплушек. Вдоль всего поезда стоят люди. Это рабочие и их жены. А состав пришел из голодающего Поволжья. Открываются двери теплушек. Оттуда смотрят громадные детские глаза. Серые, маленькие дети, с непомерно большими головами, без плеч, с длинными и тонкими ручонками, стоят в провалах открытых дверей и поддерживают друг друга, чтобы не упасть.

Чей-то бабий протяжный крик мгновенно, как пулеметом, прошивает тишину.

И тихо-тихо вдруг становится. Только слышно, как надрывается воронье в стеклянном рассветном небе.

Молча стоят читинские рабочие возле теплушек, принимают на руки детей, прижимают их к себе — длинных и легоньких, чумазых, босоногих оборвышей.

По теплушке идет жена Блюхера. Руки у нее ледяные, прижаты к груди, подбородок дрожит. Она вглядывается в пепельные лица детей. Идет она медленно, ступает осторожно, помнит наказ мужа: «Ты возьми самую несчастную, немытую, больную, которую другие могут не взять. А ты — возьми».

В углу, прижавшись к шершавым доскам, стоит маленькая девочка; лицо ее в струпьях, ручонки черны от грязи, ногти обкусаны. Девочка смотрит затравленно, как звереныш.

Жена Блюхера подходит к ней, берет ее на руки, гладит по лицу, прижимает к себе и что-то шепчет девочке на ухо. Сначала та отстраняется, лицо ее делается совсем крохотным, как моченое яблоко, а после она обхватывает женщину своими тоненькими ручонками и страшно, по-бабьи, кричит:

— Мама! Мамынька моя! Мамынька!

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ ПРАВИТЕЛЬСТВА ДВР

— По-видимому, — продолжает Блюхер, — самая страшная форма демагогии — это «искренняя» демагогия.

— Не говорите терминами заклинателя змей! — кричит Шрейбер. — Извольте называть вещи своими именами!

— Именно это я собираюсь делать. По-видимому, не все выступавшие отдают себе отчет в том, что альтернатива переговорам только одна: война. Я не говорю о том, что война в нынешних условиях была бы крайне тяжелой для нас. Я приведу несколько примеров о положении в армии, чтобы здесь было чуть меньше ура-патриотического трезвона. Патриотизм всепобеждающ, лишь когда он вооружен. А у нас, во всех наших забайкальских дивизиях, имеется всего двадцать семь лошадей! Вам понятно, что это такое? Крестьянин доведен до полного нищенства, лошадей нет, орудия, таким образом, беспомощны! А саблей сейчас не много навоюешь, пушка нужна! Это раз. Восемьдесят процентов бойцов нашей армии подлежат демобилизации по возрасту! Два. Кадровых офицеров, которые преданы родине и не продадут нас интервентам, я не могу пригласить в ряды армии,

потому что в Госбанке для нужд армии нет денег. Три. В кавалерии нет шашек! В пехотных ротах половина винтовок русских, тридцать процентов — японских, десять процентов — американских, и патронов к ним нет. И вы хотите заставить меня повести армию на фронт? Это же будет продуманное, бессердечное убийство тысяч и тысяч людей, понимаете вы это или нет? До тех пор пока я не получу денег, до тех пор пока я не организую то, что мне надлежит организовать в частях, я пойду на любые, самые унизительные переговоры. Вы трещите фразами о любви к родине, а расплачиваться за эти фразы будут рабочие и мужики в шинелях. Отказываться сейчас от переговоров — это либо преступление, либо глупость.

Блюхер говорит, а в открытые окна несется протяжный рев паровозных гудков: вокзал встречает голодных детей Поволжья.

ВЛАДИВОСТОК. ПРИМОРСКИЙ ПАРК

Исаев и Сашенька медленно шли по пустынной аллее. Где-то за буйными соцветиями кустарников слышались веселые голоса, визг, смех и плеск воды: там, внизу, пляж на берегу залива.

— Когда я слышу эту радость, — сказал Исаев, — мне сразу вспоминается петроградский приятель Генрих Ганин, эстрадный чтец. У него была новелла. Она называлась «Лось в черте города». Предвоенный Петроград, на первых страницах газет — сообщения о стачках на заводах, решение правительства о призыве в армию, сообщения о росте цен на продукты, но люди, все как один, читают четвертую полосу — там маленькая заметка: «Вчера на Васильевском острове из леска вышел лось. Не обращая внимания на жителей, лось спокойно перешел дорогу и углубился в чащу». Проходит месяц, на первых полосах появляются сообщения — «Тысячи убитых в пограничных районах, надвигается всеобщая война». Но люди все-таки читают четвертую полосу, а не первую, потому что там заметка: «Лось в черте города. Вчера лось шел по Невскому. Он разбил рогами две витрины и лег спать на Литейном». И Ганин тогда говорил мне: «Если на четвертой полосе газеты появится очередное сообщение — «Лось в черте города», где будет сказано о том, что десять лосей танцуют на Аничковом мосту, — это будет означать конец мира, но люди будут читать именно эту заметку — «Лось в черте города»...

Сашенька улыбнулась:

— Максим Максимыч, вы необыкновенно странный человек. Словно девица.

— Это как?

— Очень просто. У вас настроения меняются.

— Да?

— Конечно. То смеялись все утро, а теперь грустите.

— Это я грущу оттого, что вы меня обижаете.

— Я просто боялась пугать Гаврилина. Сегодня я готова идти к чумным.

— Папа уже уехал?

— Ночью.

— Почему вы зовете его по фамилии?

— Люблю его очень...

— Одна здесь теперь?

— Одна.

— У вас родинка на щеке смешная. Нет?

— Это не родинка.

— А что?

— Родимое пятно.

— Оно у вас формой на Англию похоже...

— Не дразнитесь. Когда пойдем к чумным?

— Не надо ходить к чумным.

— Боитесь?

— Еще как!

— Одна пойду.

— Водку пить сможете?

— После?

— И после, но главное — перед.

— А у вас виски седые.

— Это я подкрашиваю. Чтобы казаться элегантным, как английский капитан.

— Вот и неправда. Я знаю, как подкрашиваются.

— Разве так не похоже?

Сашенька остановилась и внимательно оглядела виски Исаева.

— Обманщик.

— Обманщик, — сразу же согласился он и повторил: — Обманщик.

— Максим Максимыч?..

— Ау?

— Вы зачем живете в Гнилом Углу?

— Мне там нравится.

— Зачем же вы ко мне звоните, если у вас, говорят, есть японка — красивая гейша, и глаза у нее, как вишни.

— Кто это говорит?
— Секрет.
— Приходите в гости, я вам ее покажу.
Сашенька вспыхнула, отвернулась:
— Показывают вещи, Максим Максимыч.
— Тоже верно. Где будем обедать?
— Я — дома.
— Вы же обещали пробыть весь день со мной.
— Вам этого очень хочется?
— Не то чтобы очень, но во всяком случае...
— Лучше вы уходите, Максим Максимыч, а то я вам тоже стану дерзости говорить, а вы старый...
— Отомстила! — улыбнулся Исаев и весело, с издевочкой посмотрел на Сашеньку. Глаза у него все в сеточке мелких морщинок. Такие морщинки у глубоких стариков бывают, а Исаев-то молодой, двадцать два ему.

ПОЛТАВСКАЯ, 3. КОНТРРАЗВЕДКА

Гиацинтов вызвал к себе полковника Суходольского и Пимезова, походил по кабинету, потом надолго задержался у окна — в задумчивости и грусти. Вздохнув, сказал своим помощникам:
— По моим сугубо приблизительным подсчетам, в городе осталось еще человек девятьсот из активного большевистского подполья. Это именно та масса, которая хоть и не занимает посты в партийной олигархической системе, но тем не менее определяет успех или провал революций и баррикад. Мы не можем чувствовать себя победителями до тех пор, пока эти люди не выявлены и не ликвидированы. Для этого мы осуществим первый этап акции «Золотая рыбка». Прошу вас подготовить мне проектик скорбной заметки.
План Гиацинтова был точен. В газете должно было появиться объявление о выдаче тела большевистского лидера Васильева, скоропостижно скончавшегося в тюрьме «от сердечного приступа». Во-первых, оставшиеся на свободе подпольщики не поверят в «сердечный приступ». Всем им известно, как допрашивают у Гиацинтова. Во-вторых, люди полковника сегодня же умело распространят версию о том, как зверски пытали Васильева, причем версия эта будет распространена через секретных сотрудников контрразведки именно в рабочих районах. А поскольку руководство, основное ядро ревкома, арестовано, среди оставшихся на свободе рядовых членов партии во-

зобладают эмоции, а не рассудок, и они, бесспорно, организуют торжественные похороны своему товарищу. Этого и ждет Гиацинтов. Как только похоронная процессия тронется по городу к Эгершельдскому кладбищу, там, вокруг церковной ограды, уже будут стянуты войска «для обеспечения порядка». А чтобы порядок нарушить, два агента выстрелят в солдатские спины: самая обычная провокация. Солдаты ответят. Толпа — на прорыв, это уж понятное дело. Вот и начнется настоящая пальба. Человек триста положат на могилки, а остальные притихнут. Вот только тогда можно будет считать тыл хоть в какой-то степени обеспеченным на ближайшие месяцы: наступление на красных не за горами.

И назавтра в редакцию ванюшинской газеты пришел маленький, пыльный, неприметный человек. Он передал в отдел объявление: «Скорбный листок», извещающий всех родных, близких и друзей «коммунистического лидера» Васильева о его кончине, наступившей во время прогулки в здании контрразведки, на Полтавской, 3.

— Вы, пожалуйста, на первую страничку поместите, — попросил пыльный, неприметный человек, назвавший себя дальним родственником жены умершего, — чтобы все прочитали про наше горе.

Под стопку бумаги осторожно кладется пять долларов. Заведующий отделом величественным жестом спрятал деньги в жилетный карманчик, заметив:

— Вы неуч в нашем деле. Если я помещу ваше объявление на первой полосе, значит, я взяточник и недобросовестный человек. На первой полосе самый залежалый товар рекламируется, самые скучные новости подаются. А вот четвертую полоску, да еще петитом, но под заголовочком «Не месть, а кара» или: «Она его настигла на допросе» — прочтет весь город.

— Нет, вы про то, что он на допросе, того... Вы не надо, это ни к чему...

— Так что же вы предлагаете?!

— Что вы, что вы! Я ничего. Это вы очень заманчиво-с предложили: «Она его настигла». Только без упоминания, что, мол, на допросе.

— А вы чего боитесь? Пусть жандармы боятся, а вы родственник, вам как раз на этом поиграть. Нам — реклама, вам — соболезнование.

Человек сделал быстрые глотательные движения, мучительно соображая, как поступить.

— И потом, — продолжал заведующий, — что значит «она его настигла»? Если жена настигла мужа с любовницей, так это в наши дни никого не поразит. А если муж настиг ее с другим, так это даже занятно, что она, стервь, врать будет. Наверняка станет убеждать, что он ее изнасиловал.

— Это точно, — вздохнул человек, — все бабы суки. Так, значится, какой будет заголовочек?

— «Загубили, суки, загубили!»

— А кто кого изволил загубить-с? Не получится ли петрушка с морковкой?

— Что вы такой пришибленный? Словно боитесь чего. У вас-то свои предложения есть?

— У меня своих предложений нет. Я бы попросил вас подождать, мы с родственниками посоветуемся.

— Тогда в завтрашний номер не пойдет.

— Нет, в завтрашний надо обязательно чтоб попало, а то уж он сколько лежит...

— Кто?

— Нет, никто, это так у меня что-то от горя отдельные слова вылетают. Давайте напишем просто и со скорбью: «Прощай, дорогой».

— Ладно, — согласился заведующий. — Напишем.

После ухода посетителя заврекламой снял внутренний телефон и начал диктовать:

— Василь Василич, пошла шапочка: «Загубили, суки, загубили!». Первая фраза крупно: «От тюрьмы, как и от сумы, никуда не спрячешься, разве что только в новый ресторанчик при магазине Юлия Бриннера». Бриннер просил прорекламировать — деньги уже перевел. А дальше валяй про помершего большевика. Обнимаю тебя.

ПРИМОРСКИЙ РЕСТОРАН «РЖАВЫЙ ЯКОРЬ». НОЧЬ

На веранде, уходившей тонкой стрелкой в залив, сидели Исаев и жокей Аполлинарий, которого все зовут Аполлинэр, а близкие друзья — Ляля. Он размазывал пьяные слезы по щекам, часто икал. Говорил невнятные странности, глотая шипящие согласные, — ничего разобрать невозможно. Потом он уронил голову на грудь — резко, как актер при выходе на поклон, подался вперед и всхрапнул — Ляля засыпает мгновенно.

Отодвинувшись от уснувшего Аполлинэра, Исаев откинулся на спинку стула, устало протянул руки вдоль

тела и глубоко вздохнул йодистый океанский воздух. Сейчас, в ночи, когда единственный его собеседник спал, вокруг никого нет и не надо ни с кем поддерживать праздный разговор, отчетливо было видно, как устал Исаев.

Все прошедшие недели он провел в обществе Ванюшина. Тот был в состоянии какого-то суетливого восторга, помногу пил и требовал, чтобы наравне с ним пили все окружающие. Вызывал он и Гиацинтова, и они играли в две гитары старинные романсы. Под утро, пьянея, Ванюшин начинал ругать полковника «жандармом и кровопийцей». Гиацинтов, продолжая молча играть на гитаре, понимающе смотрел на Исаева, и они улыбались друг другу.

Часто Исаев принимал на своей квартире возле Гнилого Угла японских и американских журналистов. Со многими из них он сошелся на «ты»; был вхож в японский штаб и в американскую миссию. Здесь он перепроверял ту информацию, которая поступала к нему от Ванюшина.

Но пока еще у него не было прямого хода к военному ведомству белых, к банковским операциям Меркуловых, к министерству иностранных дел — сообщения о событиях, происходивших там, поступали к нему либо от опьяневшего к утру Ванюшина, либо — как сплетни — от иностранных журналистов. Поэтому чем дальше, тем яснее становилось необходимым найти влиятельного человека в правительстве.

Исаев все это время присматривался к секретарю премьера Фривейскому. В том нагромождении анекдотов, которые он прочитал о секретаре в папке, собранной Постышевым, два пункта оказались правильными: Фривейский отчаянно играл на скачках и потихоньку копил валюту. Как выяснил Исаев (через Чена, связанного с авантюристами, крутившимися вокруг биржи), секретарь Меркулова был в свое время арестован колчаковской администрацией в Верхнеудинске за крупную растрату, но спасся благодаря разгрому колчаковцев красными — и такие парадоксы бывали в ту пору. Он освободился из тюрьмы под видом «политического» и ринулся во Владивосток. Там познакомился с Меркуловым, приглянулся ему, удачно выполнил несколько его поручений и стал доверенным лицом. Но Меркулов сделался премьер-министром, и нежданно-негаданно Алекс Фривейский превратился из уголовника в личного секретаря

и заведующего канцелярией премьер-министра белой России.

Чтобы сойтись с Фривейским, Исаев в будний день заглянул на ипподром. Памятуя рассказ своего проводника Тимохи, он познакомился с жокеем Аполлинэром и передал ему просьбу из тайги: помочь погорельцам. К этой просьбе Аполлинэр отнесся хмуро, продолжал хмуриться и вечером первого дня, когда Исаев увез его кутить, но зато на второй день Исаев был уже своим человеком на ипподроме. Он три дня просидел на пустых трибунах, наблюдая, как работали Аполлинэр и его коллеги, прогуливая своих лошадей по зеленому полю; он наблюдал, как жокеи носились по гаревой дорожке верхом, вжимаясь в седла, сделанные на заказ в Каире. Исаев что-то записывал в книжечке, обтянутой черным дерматином, и подолгу жевал карандаш, наблюдая, как Аполлинэр ласково разговаривал со своей любимицей — невзрачной Регандой-второй.

Сидел Исаев возле спящего Аполлинэра, смотрел в провальную жуть ночного залива, а на эстраде, построенной на самом берегу, надрывно и разноголосо пели цыгане:

Пускай погибну без возврата,
Навек, друзья, навек, друзья,
Но все ж покамест непрестанно
Пить буду я, пить буду я!
Я пью и с радости и скуки,
Забыв весь мир, забыв весь свет,
Твои я вижу в грезах руки,
А счастья нет, а счастья нет!

— Хочешь, погадаю, соколик? — спросила цыганка, неслышно подошедшая к Исаеву. В ночи видятся только ее глаза. Они черны и кажутся сейчас иссиня-голубыми. Зубы у нее длинные, льдистые. Только и видны в ночи глаза и зубы, а всего остального будто и нет.

— Ты как негритянка, — тихо сказал Исаев. — Что смеешься?

— Оттого, что красивый ты. Вон белый какой, —и цыганка провела темной рукой по его волосам.

— Ты Маша? — спросил Исаев.

— Ага.

— Песни петь где выучилась?

— Когда табором идем — скучно, вот и поешь.

— Нос у тебя курносый, Маша...

— Значит, бабушка с русским поспала.
— Сколько тебе лет?
— Семнадцать.
— Что шепотом говоришь?
— Оттого, что ты меня не хватаешь. Чисто мне, вот и говорю шепотом, будто в любви.
— Ах ты, красивый человек, — улыбнулся мягко Исаев и погладил девушку по щеке. — Обижают тебя?
— Нет. А может, да. И не поймешь, если обида. Привыкла. Слушай, ты позволь мне в тебя влюбиться? Я тогда ночью плакать буду, а другим лицо стану царапать...
— Зачем тебе это?
— А то пусто. И ребеночка не велят родить, говорят, тогда петь я не смогу, табор денег не получит.
— Хочешь, я тебе погадаю? — тихо спросил Исаев и взял руку девушки в свои. — Вот что тебя ждет, Машенька... Ждет тебя дальняя дорога, тройка добрых коней и молодой удалец.
Аполлинэр, проснувшись, открыл глаза и слушал Исаева не двигаясь.
— Сядете вы в коляску, — тихо, почти шепотом продолжал Исаев, — и понесетесь ото всех подальше — с бубенцами и с ветром.
— Он трефовый?
— Кто?
— Король. Который меня свистнет.
— Нет. Он червонный, красивый, в шелковой рубахе, а сам русый.
— Значит, не цыган? Тогда врешь... Меня только цыган может украсть, чтоб я ему была надолго.
— Этот тоже цыган будет.
— Старик?
— Нет. Молодой.
— Умный?
— Очень... Посадит он тебя в коляску, ноги тебе укутает мехами, гикнет — и понесут вас кони к нему в бревенчатый дом, а окно там на зеленое море глядит, и ночи там вовсе не бывает.
— Слушай, — шепнула Маша, — ты шутишь, а тебе смерть в глаза смотрит, я знаю, я в висках дрожь чую, когда с тобой говорю. Ты берегись. Ты старика берегись усатого, он тебя погубит, мукой смертной изведет...
— Маня! — закричали с освещенной эстрады. — Манюня, чавелла! Танцуй и пой последние денечки!

Скрылась Маша в темноте, а потом, как в волшебстве, появилась из ночи на свет эстрады и запела, да как! — мороз по коже дерет и такая смертная тоска, что плачь, пей да молись, а там — пропади все пропадом.

— Максим, — трезво сказал Аполлинэр, — ты меня извини, ты как лошадь — добрый. А я сейчас сон видел, будто моя Реганда первой придет. Только глупо все это. Ну, отстроятся они. А все равно их снова пожгут. Сейчас такая жизнь, что коням и мужикам спуска ни от кого не будет...

...А в это время побежали по городу мальчишки, размахивая над головой экстренным выпуском газет. Вопили во все горло:

— Япония начинает переговоры с красными в Дайрене! Мы преданы! Все — к оружию! Америка молчит!

РЕЗИДЕНЦИЯ МЕРКУЛОВА

Премьер беседовал с американским дипломатом Гроверсом уже второй час. Разговор их, при всей его внешней доброжелательности, очень напряжен и ответствен. Шифровка, полученная от американского журналиста Губермана, аккредитованного при правительстве Читы, о возможности русско-японских переговоров, совершенно недвусмысленно говорила о том, что сейчас настал именно тот момент, когда можно «разлучить влюбленных», имея в виду Спиридона Меркулова и великого микадо. Именно сейчас представилась возможность вбить клин в японо-белодальневосточный альянс. Это возможность редкостная и очень перспективная.

Именно-то поэтому Гроверс и должен был убедить Меркулова в целесообразности американской ориентации.

Гроверс брал Меркулова логикой и сухостью, отлично зная, что японский генерал Тачибана в разговорах с премьером всегда был мягок и торжествен.

— По-видимому, господин премьер, вопрос вашего престижа на фронте борьбы с иностранной опасностью — я имею в виду, конечно же, красную опасность в первую голову — может решить не что иное, как уровень вооруженности ваших армий.

Спиридон Дионисьевич вел себя по-купечески хитро: жевал седой ус, повторял свою присказку — «в этом деле надо тщательно разобраться», улыбка не сходила с лица; старая заповедь: если плохи дела — улыбайся и кажись

на вершине счастья. Вот только руки его производили движений несколько больше, чем обычно, — это только и выдавало волнение.

— Как вам кажется, господин премьер, я прав?

— Теоретически — да, миленький мой. Только вопрос практики меня смущает. Вы далеко, а кой-кто близко. И потом, если на полную честность, говорливы больно у вас политики. Маяк — он чем ценен? Он ценен тем, что постоянно в одном направлении подмигивает, а вы Колчаку мигали, мигали, а потом спать ушли. А наши верные японские союзники — те подобным образом не поступили.

— Мы в данном случае разбираем вопрос перспективы сопротивления полчищам, угрожающим вам с запада, из Хабаровска.

— Миленький, миленький мой Гроверс, молодой вы, хитрите слишком хитро. Вас больше всего сейчас волнует, как бы желтых — плечиком, плечиком да обратно на острова с Дальнего Востока! Разве не так? Оттого и проигрываем во всем, что норовите мелкие интриги решить, а крупной интрижки, московской, — ее вроде бы и нет для вас. Про вооружение наше для чего говорите? Из нелюбви к Ленину? Не только. Из нелюбви к микадо. Чтоб его позлить, а нас с ним рассорить.

Гроверс откинулся в кресле, чувствуя в себе остро вспыхнувшую злобу. Молодые — честолюбивы, им кажется, что нет их хитрей и прозорливей, старики, им кажется, медленно мыслят, а вон, пожалуйте, старик, старичок, а все понял, все на свои места расставил и смеется, усатый дьявол!

— Господин премьер, мы в Америке умеем ценить шутку. Вам следовало бы родиться американцем.

— Как бы мне им стать не пришлось, — ухмыльнулся Меркулов. — Уйду вот в отставку и к вам попрошусь. Ботинки чистить на улицах стану. — И без паузы: — Сколько оружия-то дадите?

— Три тысячи карабинов и патроны к ним, — быстро ответил Гроверс.

— Патронов у вас тут нет...

— Уже на подходе.

— Сколько?

На каждый карабин по сотне.

— Думаете, этого нам хватит до Москвы? Что с пулеметами?

— Этот вопрос, а также проблема танков и артиллерии сейчас находится в стадии окончательного разре-

шения в Вашингтоне. По-видимому, решение этого вопроса находится в прямой связи с тем, какова будет ваша позиция.

— Не иначе как совместное заявление имеете в виду? Чтоб мои япошата заурчали, да? Не совсем это логично у вас выходит, вы передайте своим начальникам: как только я сделаю заявление, которое Токио сможет расценить как смену моих симпатий, так сразу же я получу от них в пять раз больше того, что можете дать вы. У них конгресса нет. У них все тихо решается, без шума. Если их премьер скажет «надо», то и будет так незамедлительно. А вы ратификанты, вы богатые, вам и в демократию можно поиграть. Хорошо. Я обдумаю наш разговор. Заметьте, что мне надо получить двадцать танков, двадцать аэропланов, сорок орудий и не меньше пятидесяти пулеметов — как первоначальный взнос. И еще: мне нужно знать, чего хотите вы.

— Только справедливости и...

— Бросьте, — сказал Меркулов, поднимаясь. — Не надо. Это вы для дам приберегите. Если у вас нет точных директив, запросите Вашингтон. Скорее всего, вас интересует наша береговая зона в районе Камчатки и Сахалина? Словом, запросите все: что, почем, где и зачем... И, пожалуйста, сделайте мне дружескую услугу: тщательно разузнайте, какая из ваших фирм, желательно с восточного побережья, захотела бы заключить со мной контракт на поставки чесучи и трепангов с крабами.

Меркулов проводил Гроверса до двери. Возвратился к столу. Улыбка сошла с его лица. Тяжело Спиридону Дионисьевичу. А что делать? Если японцы действительно начинают тур вальса с красной Читой — надо готовиться к активному противодействию. И потом — в политике, как в торговле: если есть выбор, куда больше шансов купить хороший товар. Если выбора нет, всучат мешковину вместо полотна, и не пикнешь. Что ж, японцы своими намеками на переговоры с красными даже помогли косвенно. Позиция — и в дипломатии, и в семейной жизни — основа основ. Кто первый, какую позицию занял он с самого начала, тот так и будет до конца хозяином. Умение обидеться — наука, а умение прощать — целая отрасль наук. Здесь нельзя ошибиться и продешевить ни на йоту ни в чем: ни во взгляде, ни в жесте, ни в слове и — спаси бог — в преждевременной улыбке. Уголки губ книзу, желваки чтоб ходили, и брови нахмурены. Вот так.

— Господин премьер, — заглянул в кабинет Фривейский, — к вам генерал Тачибана.

— Передайте господину генералу, миленький, что я занемог сердечным биением и прошу его свой визит перенести, предварительно согласовав его с министром иностранных дел.

Фривейский изучающе посмотрел на Спиридона Дионисьевича и, чуть улыбнувшись, осторожно склонил голову:

— Господин премьер, я немедленно вызываю вашего домашнего врача и уже потом отвечаю генералу Тачибане.

— Это жалко будет выглядеть, — возразил Меркулов. — Будто мы вызюзюкиваем оттого, что их боимся. А мы не боимся. Молоденькая вдовушка кавалеров себе выбирает, потому что не девица она и в любви уже преуспела. Откажите просто — в глаза.

...Тачибана ушел из приемной задом, все время кланяясь, а в глазах у него жалость к столь внезапной перемене в самочувствии великого человека.

На пороге генерал остановился и еще раз повторил:

— Я прошу вас передать, Фривейски-сан, господину премьер-министру временного приамурского правительства мои выражения самой глубокой скорби и высокого уважения.

Фривейский отметил для себя, что эпитет «временное» по отношению к правительству Меркулова господин Тачибана применил впервые, столкнувшись носом к носу с Гроверсом, вышедшим от премьера, и получив отказ в аудиенции с вызывающей, отнюдь не протокольной наглостью.

Другой-то, помоложе, ринулся бы к себе в резиденцию — готовить ответный контрудар сокрушающей силы, а Тачибана — он в летах, он со Спиридоном Дионисьевичем почти одногодок. Он понимает, что удар — дело последнее. Уколол «временным» — и достаточно пока, на день им суеты хватит. Тут в другом весь корень: надо срочно запросить Токио и местную агентуру, не обидел ли кто из японских предпринимателей Спиридона Дионисьевича, Николая Дионисьевича или его сына — мальчик тоже подторговывает, хотя ему еще только семнадцать. Если кто братьев обидел — все немедленно возместить из секретных фондов и парочку таких контрактов подсунуть, что только звон желтый в ушах зазвенит.

Генерал Тачибана умел даже и думать по-русски.

Поэтому особенно волноваться он не стал и поехал на партию бриджа к французскому консулу. Туда же был приглашен генерал Молчанов, главком белой армии. С ним есть о чем поговорить — умница человек. И тонок, очень тонок.

По дороге к консулу генерал Тачибана успел заехать к министру иностранных дел господину Николаю Меркулову. Братья еще не успели созвониться, как и предполагал генерал, и поэтому он был уверен в аудиенции. Их разговор был кратким. Тачибана несколько усталым голосом — таким голосом обычно говорят с ревнивыми женами, которые не понимают степени занятости мужа, — объяснил:

— Нельзя смотреть и видеть только то, что перед глазами. Это привилегия детей, но дети не являются партнерами в решении вопросов международной значимости. Дайренские переговоры нужны не нам. Они прежде всего нужны вам. Почему? Извольте: во-первых, они будут продолжаться по крайней мере два-три месяца, то есть именно столько времени, сколько потребуется вашему генштабу для окончания работ с планом победоносного наступления на ваших противников. Во-вторых, если красные согласятся с нашими требованиями, то вас это устроит не меньше нас. Если они откажутся от наших требований, тогда вы уж в вашем генштабе будьте готовы. Это вы брату передайте, а то он не принял меня, сказавшись больным, и американцем меня пугал. Николай Дионисьевич, не надо так с нами, не надо... Мы обижаемся так же, как и вы. Только мы улыбаемся, если обижены, а вы плачете. Вот и вся разница.

А пока Тачибана ехал во французский особняк, парижский консул говорил с Гиацинтовым, интересуясь дальнейшей участью большевиков, арестованных по делу подпольной газеты. Он говорил о необходимости находить третье решение судьбы политического противника. Ни в коем случае — террор, это плохо принимает мировое общественное мнение. Но недопустим и пустой либерализм — в России либерализм обязательно кончается кровью.

— Любой поступок разрешен, — заметил консул, — только всегда необходимо иметь про запас того, кто потом станет козлом отпущения. Хотя, простите, — прервал себя консул, — еще могут подумать, что я вмешиваюсь в ваши внутренние дела.

Гиацинтов быстро глянул в мягко улыбающиеся консуловы глаза.

— Гродеково, центр семеновской группировки, — закончил беседу консул, направляясь встречать Тачибану, — кажется, последний железнодорожный пункт, а там граница. То есть возможна высылка большевиков, а не казнь. Забытое благородство по отношению к оппозиции. Это понравится миру. А если Семенов в Гродекове красных обидит, это уже не ваша забота, а ваша печаль. Да, мы заболтались, прошу вас в тот зал, Кирилл Николаевич, бридж обещает быть интересным, хотя несколько вялым. Где же господин Ванюшин?

— По-моему, в библиотеке.

— Нет, — глухо ответил Ванюшин из-за камина, — он не в библиотеке, он — здесь.

Исаев зашел к Фривейскому и возгласил с порога:

— О, великий и всесильный!

— Говорите еще, — шутливо попросил Фривейский и закрыл глаза, показывая, как это ему приятно.

— Итак, завтра в три? — спросил Исаев тихо.

— Да. Я заеду за вами в «Версаль», Максим Максимыч. Только смотрите: проиграем мы с вами все на свете.

— Это даже занятно, иногда проигрыш полезней выигрыша.

— В каком смысле?

— В том смысле, что все переоцениваешь. Заново и трезво.

Секретарша принесла последние газеты. Исаев и Фривейский профессионально быстро проглядели полосы. Фривейский усмехнулся:

— Послушайте, какую заметку тиснул ваш орган: «Загубили, суки, загубили! От тюрьмы, как и от сумы...»

Исаев и сам увидел заметку, сообщающую о похоронах Васильева — красного лидера. Он тоже рассмеялся вровень с Фривейским: смешок, смех, хохот; спрятал газету в карман и ушел, рассеянно раскланиваясь на лестнице со знакомыми.

А в редакции завредакцией визгливо кричал, оправдываясь:

— А откуда я знал, что контрразведка рассердится?! Мне важно, чтобы не рассердились подписчики! Тоже мне, понимаешь, Наты Пинкертоны!

Заместитель редактора, распекавший рекламу, басил:

— Не визжи! Отвечать приходится мне — по телефо-

ну. А вот в девять часов завтра ты будешь им отвечать не по телефону, а в комнате номер семь, на Полтавской, три.

— Что за вопли? — спросил вошедший Исаев. — Как я понял, случилось нечто непоправимое.

— Откуда я знал, что тот тип филер?! — жалко кричал заврекламой. — Откуда я знал, что это из охранного?!

— Вы поменьше об этом распространяйтесь, — посоветовал замредактора, — а то вам наверняка шею свернут. «Загубили, суки, загубили!».

— Гиацинтов обижен, что их контору назвали сучьей? — поинтересовался Исаев.

— Да нет! Совсем наоборот! Их возмутила фривольность тона о погибшем Васильеве!

По-прежнему усмехаясь, Исаев вышел из кабинета и неторопливо отправился в кафе «Банзай». Там он сел в уголке за бамбуковой перегородкой. Вскоре пришел Чен. Они молча переглянулись. Исаев раскуривал сигарету и шептал, пока лицо его было скрыто в пахучем голубом дыму:

— Предупредите подполье, что похороны Васильева — провокация. Никто не должен идти на кладбище..

ХАРБИНСКИЙ ВОКЗАЛ

К перрону подходит состав, прибывший из Читы. В салон-вагоне правительственная делегация ДВР во главе с Федором Николаевичем Петровым и Василием Константиновичем Блюхером, направляющаяся на переговоры с японцами в Дайрен.

Звенят разбитые стекла вагонов. Улюлюкают на ночном перроне белогвардейцы.

Орут:

— Вон отсюда, палачи!

— Убирайтесь, комиссары!

Японская полиция стоит чуть в сторонке, в белых перчатках и ослепительных гетрах. Лица улыбчивы и доброжелательны. Руки сложены на животиках: ни дать ни взять — игрушечные полицейские. Делать им сейчас ничего нельзя: демократия прежде всего. Кричать можно что угодно и кому угодно. Нельзя разрешать действовать физически. Это нехорошо. Это даже некрасиво. Этого полиция постарается не допустить.

Выходят наши товарищи на привокзальную площадь,

а там кричат еще пьяней и похабней, просто извозчичьим матом орут.

Делегация садится в две машины и уезжает к зданию представительства ДВР, которое охраняет японская жандармерия.

На следующий день, после протеста, заявленного делегацией, японские власти подгоняют к зданию представительства ДВР три броневика и роту солдат.

Очередной изящный укол: делегация идет к вагонам, чтобы следовать в Дайрен — к месту переговоров, — а вокруг марширует рота солдат. И не понять, то ли арестованных увозят, то ли почет оказывают.

Повар, нанятый в Харбине делегацией, полунемец, полутатарин, проживший на Востоке всю жизнь, шепотом объяснял проводникам салон-вагона:

— Азиаты не лыком шиты. Они не только цветом кожи разнятся, у них и мозг другой, и видят они не так, как европейцы. Поди догадайся, как они все вокруг себя видят! Глаза у них с прищуром, необыкновенно хитрющие глаза. Но и хитрость у них особая, на нашу не похожа. Мы в обход хитрим, с дальним прицелом и с логикой в замысле, а дальневосточный азиат в лицо тебе врет и улыбается — это и есть, по-ихнему, хитрость. Думаешь про него: вот чудак, мне ж твоя хитрость сразу видна. Ан нет! Ему только этого и надо. Это он так поначалу хитрил. На самом-то деле он подальше нашего брата задумал, и убить для него — это помочь человеку переместить душу из бренности в божественность, всего-навсего.

ДАЙРЕН. «ЯМАТО-ОТЕЛЬ»

Это самый фешенебельный отель Дайрена. Кругом красное дерево, все старомодно и учтиво. Делегацию встречает секретарь МИДа господин Шимада. Он провожает членов делегации на отведенный им второй этаж и договаривается с секретарем русской делегации, что переговоры будут вестись здесь же, в сером зале, без прессы, форма — белые костюмы из-за влажной жары, черные галстуки и штиблеты черного цвета.

— Дьяволы, — ворчит Блюхер, — не иначе как от своих агентов получили сведения, что у нас нет белых костюмов. Вот ведь черт возьми, а? Может, мы и в этих пройдем? Чем наши плохи, серенькие?

— Не годится, — говорит Федор Николаевич Пет-

ров. — Придется раскошелиться, сейчас поедем к портным.

Японцы — народ вежливый и предупредительный — одним нашим не дают побыть ни минутки. Только наши решат отдохнуть с дороги, как в номер к каждому стук в дверь: на пороге стоит сахарный от нежных улыбок дипломат и просит пожаловать господ делегатов вниз, в ресторан, на торжественный обед.

Стол накрыт: икра, омары, трепанги, крабы, сыры, вина, ветчина. Не бывает такого стола в жизни! Наши дипломаты — все из рабочих, только переводчик — бывший студент да Федор Николаевич Петров прошел курс наук в тюремном замке Шлиссельбурга.

Японские дипломаты лихо орудуют пятью вилочками, десятью ножичками, на руки свои не смотрят, жуют быстро, отрезают малюсенькие кусочки, и все будто само у них режется. А у наших — кроме Петрова, который так же легок и изящен, — ножи тупые, с вилок все падает, секретарь вывалил кусок курицы на брюки своему японскому соседу (японец даже не шевельнул бровью — вроде это и не его ноги), экономический советник опрокинул на себя один из пяти фужеров, поставленных перед ним официантом, другой советник с такой силой нажал вилкой на елозившую по тарелке диковинную закусь, что тарелка — тюк! — и пополам. Василий Константинович до вилки с ножом не дотрагивается вовсе. Только корочку маслом помазал и жует себе, на хозяев стола посматривает и все запоминает: кто как и что ест.

— Господа! — возглашает руководитель японской делегации Мацушима. — Я думаю, что переговоры явят собой образец искренности и взаимного доброжелательства. Я пью за успех, господа!

* * *

Шумит тяжелый океан, с ревом разбивается о высокие каменные глыбы, замирает в воздухе снежными, устремленными ввысь валами, а потом с шелестом обрушивается вниз — в самого себя.

Блюхер без ежедневной двухчасовой прогулки не человек. Как бы ни работал, пусть двадцать часов, все равно обязательно пешочком, размеренным шагом десять километров отшагай, хоть помри.

— Мой двоюродный дядька, — объяснял Василий

Константинович Петрову, — до восьмидесяти пяти лет жил, а в восемьдесят еще женихался с молодухами. А все почему? Он по вечерам письмоноше помогал, в соседние деревни письма разносил. Пятнадцать километров отмахает, а потом сидит у печи, ноги вытянет и от счастья плачет. Честное слово! Молится и плачет радостно.

Блюхер кладет пистолет в задний карман брюк, надвигает канотье, смотрит на себя в зеркало и отправляется к океану — тут, в Дайрене, до него рукой подать. Он перепрыгивает с валуна на валун, уходя все дальше и дальше — вдоль по пустынному берегу. А за ним — неотрывной тенью два японца в штатском, шпики. Идут, совсем не скрываясь, даже изредка переговариваются друг с другом. Им тяжело идти за Василием Константиновичем, потому что тот в ходьбе быстр. Шпики чуть не бегут за ним, тяжело дышат, потные. А Блюхер идет и посмеивается. Думает: «Это вам, сукины дети, за обед в ресторане! Вы лихо жуете, мы — ходим. А ну — кто кого?!» И Василий Константинович поддает скорости. Один из шпиков, тот, что поменьше ростом, заглядевшись на военного министра, спотыкается, падает и расшибает себе лоб. По щеке течет кровь. Второй шпик на ходу вытирает кровь своему спутнику, но понимает, что дело плохо. Либо надо останавливаться, чтобы по-настоящему помочь товарищу, либо одному бежать следом за русским министром.

— Эй, господина! — кричит он, задыхаясь. — Подожди!

Блюхер идет, будто этот крик к нему не относится. Вокруг валуны, низкие, словно расчесанные огромным гребнем, корейские сосны, и больше ничего. Только океан глухо стонет и грохочет.

— Э, хоросая господина! — снова в отчаянии кричат шпики в спину Василию Константиновичу.

Блюхер останавливается. Смотрит на своих сопровождающих. Они бредут к нему — жалкие, перемазанные кровью, взмокшие.

— Вы кто? — спрашивает Блюхер.

— Васа охрана.

— Шпионы, что ль?

— Сипионы, сипионы, — радостно соглашается тот, что разбил себе лоб. — Немнозко сипиона, немнозко охрана. Твоя ходи, моя топ-топ, за тобой ходи, но твоя быстро ходи, как животное.

— Сейчас пойдем дальсе, — говорит второй шпик, — только остановим кровь.

— До кости разбил? — спрашивает Блюхер.

— Немнозко до кости.

— Иди сюда.

Шпик подходит к Блюхеру, и Василий Константинович начинает осматривать рану.

— Ну-ка, — говорит он второму, — вот мой платок, сбегайте и намочите его водой.

Шпик убегает вниз, к океану.

— Садись, — говорит Блюхер.

— В васем присутствии нельзя.

— Пиджачок сними — мокрый.

Шпик снимает пиджак, под мышками у него — на кожаных ремешках — два кольта.

— Хорошие кольты, — говорит Василий Константинович.

— Немнозечко тязеловаты.

— Покажите-ка...

— А вы меня не застрелите?

— У меня свой есть, чтоб застрелить.

— У вас маленький браунинг, им не застрелить.

— А вы откуда знаете, что у меня браунинг?

— Так мы зе сипионы. Когда из отеля вы выходили, я к вам призался рукой, около портье, помните?

— Нет.

— Вот и хоросо. А я на осцупь все пистолеты знаю. У вас браунинг, английской фирмы.

— Молодец! — искренне восхищается Блюхер.

Польщенный шпик достает из-под мышки кольт и протягивает Василию Константиновичу.

— Вот, — говорит он. — Мозно посмотреть.

Блюхер навскидку целится из пистолета. Высоко над ним, распластав крылья, летит ястреб. Блюхер берет его на мушку. Гремит выстрел. Ястреб, сломав крылья, стремительно падает на камни.

— Господина, вы великий стрелок, — говорит шпик, — только где я теперь достану денег, чтобы купить патрон?

— Сколько он стоит?

— Не дорого, но все-таки. Мы, сипионы, бедные люди.

Блюхер достает десятидолларовую бумажку и протягивает ее шпику.

— Господин такой седрый, мы не будем вам месать и

станем говорить, что вы осень-осень хоросий министр.

Второй шпик приносит намоченный платок. Блюхер промывает ранку и предлагает:

— Ну что, обратно пойдем?

— А вам хосется есе походить по берегу?

— Хочется.

— Если бы вы позволили нам идти босиком, — просит шпик, — то мы бы не месали вам звуком своих шагов сзади и вам бы казалось, что нас нет.

— Если не оглядываться?

— Мозно и оглядываться. Мы будем лозиться, когда вы оглянетесь.

— Разувайтесь, — соглашается Блюхер, — я тоже босиком пойду.

Идет министр босиком, подвернув брюки, песню поет, руками в такт размахивает, а ветер с океана свистит — свежий, великолепный ветер, навстречу ему идти всей грудью — нет большей радости.

ЗАЛ «ЯМАТО-ОТЕЛЯ». УТРО

— Следовательно, — заканчивает Петров, — мы вновь выдвигаем только одно требование: незамедлительная эвакуация японских оккупационных войск из Приморья. Это справедливое требование, и мы уверены в том, что оно будет удовлетворено.

Глава японской делегации, протирая очки, говорит:

— Перед тем как мы выдвинем наши окончательные требования, нам бы хотелось урегулировать вопрос о японских солдатах, жертвах последних лет, похороненных на территории Дальнего Востока. Нам кажется, что следовало бы найти удобную для вас форму не только решить вопрос о материальных компенсациях, но и о моральных. В данном случае мы имеем в виду официальное соболезнование — словом, частности мы готовы обсудить вместе с вам, если вы согласитесь, а вы не можете не согласиться с нашим изначальным предложением, потому что оно законно и отвечает всем нормам человеческой морали.

Блюхер сжимает кулаки и начинает вертеть головой — первый признак гнева.

— На войне как на войне, — говорит он. — Не мы пришли на вашу территорию, а вы явились на нашу. Вас никто сюда не звал. Следовательно, ни о какой компенсации, ни материальной, ни тем более моральной, не

может быть и речи. Мы приехали к вам, движимые лишь одним желанием: вести переговоры. Мы отвергаем диктат как метод.

Блюхер садится на свое место, по-прежнему покашливая от волнения. Молодые секретари японской делегации склоняются над головами советников, сидящих за стульями главы делегации и его заместителей. Глава делегации — генерал Мацушима — обменивается тихими, улыбчивыми фразами с заместителем. Советники шепчут свои мнения заместителям, те пишут иероглифы синей тушью и передают листочки генералу. Он просматривает их и поднимается.

— Прежде чем мы возьмем перерыв для информирования высокого императорского правительства о позиции, занятой вашей делегацией, нам хотелось бы познакомить руководителя нашей военной делегации генерала Танаку с господином военным советником Блюхером и выделить военные переговоры в особую сферу работы нашей конференции.

Генерал Танака кланяется Блюхеру. Блюхер кланяется генералу. Какое-то время они рассматривают друг друга, а за ними в это время пристально наблюдают и японцы и наши.

— Высокая Дайренская конференция объявляет перерыв на три недели! — возглашает секретарь японской делегации.

Петров спрашивает:

— Разве нельзя провести консультацию с правительством в более короткий срок, господин председатель?

— Сейчас неспокоен океан, — отвечает Мацушима, — поэтому мы берем некоторое упреждение.

— Дипломат употребляет военный термин, — громко говорит Петрову Василий Константинович, — упреждение берут, когда готовят сильный залп.

Японец режет Блюхера взглядом и отвечает:

— Уступая просьбе уважаемой русской делегации, переговоры прерываются на две недели и пять дней.

ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР. НОМЕР БЛЮХЕРА

Мархлевский, наблюдатель из РСФСР, сидит за круглым столом. Перед ним роскошный стол, сервированный с огромным вкусом. Хрусталь, фарфор, огромное количество вилок, вилочек, ножей, ножниц и ножичков, всяких

диковинных пилок и прочих инструментов, которые Василию Константиновичу кажутся хирургическими.

— Смотрите, — учит Мархлевский, — вилку надо брать легко, кистью. Это искусство — красиво держаться за столом. Ну-ка, повторите.

Блюхер повторяет хитрые жесты, которые так лихо выполняет Юлиан Мархлевский.

— Вы прекрасный ученик. Не жмите на вилку, не жмите. Тарелка не враг, она ваш союзник. А если вы будете налетать на нее всем вашим весом, она расколется. Вот так, уже лучше. И будьте непосредственны.

Блюхер работает ножом и вилкой легко, изящно. Мархлевский удивленно разглядывает его.

— Ну а как вы очистите яблоко?

Блюхер достает с блюда яблоко, берет фруктовый ножик, чистит яблоко между делом, не глядя на руки, а рассматривая картину на стене.

— Прекрасно! Теперь налейте вина даме слева. Нет, нет, обязательно правой рукой. Согните ее в локте. Молодчина. Теперь все сначала. Итак, прошу!

Блюхер повторяет следом за Мархлевским.

— Хорошо. Молодец. А теперь давайте продумаем план ваших переговоров с Танакой. Вы, наверное, знаете, что он такой же дипломат, как я танцор. Этот человек говорит по-русски чище меня. Он один из ведущих разведчиков, специалист по России...

НОЧЬ. НОМЕР БЛЮХЕРА

Дверь, выкрашенная краской слонового цвета, открывается бесшумно. В номер Василия Константиновича входят три человека. Двое замирают у дверей, а третий по-кошачьи тихо проходит к широченной кровати, на которой разметался во сне Блюхер, садится на краешек и осторожно включает ночник. Блюхер от света вздрагивает. Открывает глаза, видит троих в комнате, лезет под подушку — к пистолету. Там уже пусто, потому что человек за мгновение перед этим пистолет Василия Константиновича сунул себе в карман.

— Здравствуйте, Блюхер, — говорит человек очень усталым голосом. — Ваше разведуправление не показывало мою фотокарточку перед тем, как вы сюда отправились? Нет? Понятно. Они не предполагали, что я сам буду заниматься вами. Я — Ицувамо, начальник разведслужбы империи. Очень приятно с вами познакомиться.

— По какому праву вы влезли в мой номер?

— Зачем вы кричите, Василий Константинович? Я не собираюсь вас убивать или обворовывать. Я пришел засвидетельствовать свое почтение и тут же откланяюсь, если вы, конечно, не попросите меня остаться.

Блюхер садится в постели, подоткнув под себя подушку.

— Сколько? — спрашивает он.

— Что, что?

— Сколько, спрашиваю, будете предлагать?

— Я не в лавке, и вы не мелкий торговец. Я не буду вам предлагать ни иен, ни долларов. Не считайте людей вокруг себя глупее вас. Это совет человека, который относится к вам доброжелательно. Я обращусь к вам с просьбой, предложив вам взамен нашу незримую помощь. Вы даже ничего о ней и знать не будете. Не отказывайтесь от нашей помощи, не советую.

— Не вертите, не вертите, давайте скорее кончать все это. Какая просьба?

— Мне не нужны данные о численности ваших дивизий, полков и рот, я знаю это лучше, чем вы. Мне не нужен ваш план Забайкальского укрепрайона. Я знаю все, что происходит у вас в штабе, Василий Константинович. Так вот: когда вас, военного советника, спросит руководство, которое получит наш меморандум с требованиями, пока вам неизвестными, вы должны будете сказать всю правду вашему уважаемому руководству.

— О чем?

— О том, что воевать вам примерно еще года два будет не под силу. Это же, кстати, именно та точка зрения, которую вы недавно высказывали на заседании Совета Министров в Чите. Грубо говоря: посоветуйте своему правительству принять наш меморандум.

— А меморандум ваш будет каков?

— Хочется узнать?

— Очень.

— Закурите?

— Здоровье берегу.

— Разумно.

— Так требования-то каковы? Что вы от нашей делегации потребуете?

— Услуга за услугу, Василий Константинович.

— Э, нет, господин хороший. Я в невыгодном положении. Вы всегда скажете в случае чего, что я достал текст японских требований неофициальным путем и все это

ложь, а русские ведут себя провокационно, чтобы сорвать переговоры. Разве нет? Именно так и поступите.

— Зачем вы плохо обо мне думаете, Василий Константинович! Разведчики — обязательные люди.

— Шрамик у вас на роже не от битья?

— Ага... Били... — быстро кивает головой начальник имперской разведки Ицувамо. — По роже. Любит русский народ изящными намеками изъясняться, мочи нет.

— Смешно подметили. А за что лупили?

— За что? — переспрашивает Ицувамо. — За то, что желтый. Я, изволите ли видеть, в течение десяти лет был няней в доме у одного просвещенного российского интеллигента, который сейчас очень знаменит во Владивостоке и поддерживается нами. Так вот от него. За плохую стирку носовых платков для дочки.

Блюхер и начальник имперской разведки молча смотрят друг на друга.

— Крепко нас не любите? — спрашивает Блюхер.

— Вы имеете в виду красных или вообще нацию?

— Так ведь теперь вся нация красная, как ни крути.

— Оттенки пока сохраняются.

— Скоро сойдут.

— Постараемся задержать процесс. Так как же — дружба?

— Не выйдет, няня, — улыбается Блюхер. — Хорошо, что про шрамик свой вовремя рассказал, а то я тебя хотел звездануть промеж глаз. У меня кулак-то, видишь? Потрогай, потрогай, не бойся, чудак.

— Да я вижу. Кулачок весьма тяжел. Всего хорошего, Василий Константинович.

— Пока, — отвечает Блюхер и снова ложится, укрывшись с подбородком. — Спокойной ночи, нянечка. Пистолетик только мой верни, а то воровство это, не солидно.

Ицувамо достает из кармана пистолет, протягивает его Блюхеру.

— Положи на столик, — говорит Василий Константинович и сонно зевает.

Японец кланяется Блюхеру и идет к двери.

— Мне жаль вас, — говорит он, задержавшись. — Вы уже погибли, потому что говорили со мной. А это вам всегда могут поставить в вину. И я эту нашу беседу подтвержу. В том случае, конечно, если вы вдруг не захотите вновь встретиться со мной. Вы приятны мне, Блюхер. Вы — поверьте, людям моей профессии нельзя ошибаться в диагнозах — станете великим человеком. Но чем

больше величие, тем страшнее падение. До свидания. Примите мои извинения.

Трое исчезают, словно и не было их.

Нота
Правительства Дальневосточной Республики Правительству Японии

Правительство Дальневосточной Республики, несмотря на присутствие японских оккупационных войск на территории Дальневосточной Республики, решило приступить к переговорам с Японским Правительство с целью установить дружеские отношения между Дальневосточной Республикой и Японией и создать возможность мирного сотрудничества между населением обеих стран в деле промышленности и торговли.

При этом Правительство Дальневосточной Республики полагало, что развитие хозяйственной жизни населения Дальневосточной Республики отразится благоприятно и на интересах японской торговли и промышленности.

Начав переговоры в г. Дайрене с представителями Японского Правительства, уполномоченные Дальневосточной Республики сознавали, что основным препятствием к установлению мирного сотрудничества между обоими государствами является присутствие японских войск в Приморской области и в других местах территории Дальневосточной Республики, а также наличие в этих районах враждебных Дальневосточной Республике русских организаций и вооруженных отрядов, неизменно встречающих определенную поддержку со стороны японского военного командования. Правительство Дальневосточной Республики было уверено, что одновременно с началом переговоров о дружбе между Японией и Дальневосточной Республикой в г. Дайрене Японское Правительство приступит к выводу своих войск из пределов Дальневосточной Республики и сделает все необходимое, чтобы враждебные Дальневосточной Республике организации и отряды не могли пользоваться покровительством японских войск и их командования.

Представителями Японского Правительства во время переговоров в г. Дайрене были сделаны

соответствующие заявления представителям Дальневосточной Республики о том, что никакой поддержки означенным мятежным организациям со стороны японских военных отрядов и японских властей в будущем оказано не будет. Тем не менее Правительство Дальневосточной Республики с величайшим сожалением вынуждено констатировать, что это заявление представителей Японского Правительства не было осуществлено на деле.

Правительство Дальневосточной Республики получило целый ряд сообщений, указывающих, что во время переговоров о дружбе и мирной торговле между представителями Дальневосточной Республики и Японией мятежные организации в районе расположения японских войск продолжали пользоваться и прямым, и косвенным содействием японских отрядов и японских властей в своей борьбе против Дальневосточной Республики.

Организация русских реакционеров, именующихся правительством Меркулова, продолжает производить распродажи присвоенного ею преступным образом государственного и частного имущества Дальневосточной Республики, находящегося в г. Владивостоке и его районе, причем сделки на покупку этого имущества заключаются японскими фирмами с одобрения японских органов власти.

Возмущенное такими действиями контрреволюционных организаций и отрядов русское население Приморской области пытается защитить свою жизнь и достояние собственными силами. Эта самозащита, принимая форму так называемого партизанского движения, зачастую приводит к разрушению имущества Дальневосточной Республики в Приморье и к вооруженным столкновениям в этом районе.

В течение последнего месяца зверские действия русских контрреволюционных организаций, находящихся в районе расположения японских войск, достигли своего апогея. В г. Владивостоке и в окрестностях происходят массовые аресты ни в чем не повинного мирного населения; арестованные подвергаются истязаниям и пыткам, рас-

стреливаются десятками без всякого суда и следствия; в октябре был зверски убит уполномоченный Дальневосточной Республики гр. Цейтлин, командированный Правительством во Владивосток с целью добиться прекращения происходящих там беззаконий и разрушений.

Ответственность за все эти беззакония и жестокости лежит не только на контрреволюционных организациях Владивостокского района, которые в своих потугах мешать законным властям Дальневосточной Республики доходят до неслыханных зверств и жестокостей.

Косвенным образом эта ответственность падает и на японское военное командование, а также и на Японское Правительство, которое, продолжая оставлять свои экспедиционные войска на этой территории и оказывая содействие и поддержку контрреволюционным организациям и отрядам на этой территории, дает возможность последним безнаказанно учинять все указанные насилия над русским населением.

Заявляя обо всем вышеизложенным, Правительство Дальневосточной Республики еще раз протестует против насилий, которые творятся над гражданами Приморской области, и подчеркивает, что возможность пресечь эти насилия и установить порядок в Южном Приморье явится лишь в том случае, если японское военное командование перестанет поддерживать прямо или косвенно действия русских контрреволюционных отрядов и организаций и японские войска будут выведены с территории Дальневосточной Республики. Правительство Дальневосточной Республики полагает, что продолжающиеся в Дайрене переговоры между Дальневосточной Республикой и Японией смогут быть доведены до благоприятного конца и обе договаривающиеся стороны могут заключить соглашение о мирных экономических отношениях лишь при том условии, если произойдет фактический вывод японских войск с территории Дальневосточной Республики, что доказывало бы искренность намерений Японского Правительства по отношению к Дальневосточной Республике.

Министр Иностранных Дел ДВР *Я. Янсон.*

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ИППОДРОМ

Прекрасны дни приморской осени. Солнце не жарит; воздух густой — резать можно, светлый, пляжи усыпаны телами купающихся, порыжелая тайга по склонам сопок высветлена и кажется звонкой и гулкой.

Трибуны ипподрома в эти дни забиты до отказа.

— Вы чувствуете вокруг нечто толстовское? — спросил Фривейский Исаева. — Бега, Каренина, детские проблемы человеческой верности и родительских привязанностей. Как все это давно было, Господи...

Они сидели в ложе возле правительственной трибуны. Спиридон Дионисьевич, как доверительно объяснил Фривейский, сейчас за городом — подписывает контракт с фирмой «Унси» по вывозу древесины из бухты Ольги для спичечных фабрик Японии. Николай Дионисьевич с Ванюшиным приглашены купцом первой гильдии Бриннером на яхту «Светлана». Бриннер сегодня празднует день рождения своего младшего сына Юлия. Сероглазый крутолобый красавец мальчик — любимец самого богатого человека Приморья. Там же, у Бриннеров, американский консул, от которого ни на шаг не отходит французский атташе. По-видимому, генерал Тачибана поручил ему наблюдать за американцем — не договорился бы о чем с Меркуловым-младшим.

Фривейского узнавали. Военные козыряли ему, штатские, еще издали содрав котелок, почтительно торопились пожать руку личному секретарю премьера.

— Объявляю второй заезд, — прокричал в громадный мегафон ведущий. — Вместо Смарагда, объявленного в программе, пойдет Изидра под управлением жокея Рооша.

— Изидра ничего, — прилаживая бинокль, сказал Фривейский, — пожалуй, я буду ставить на нее.

— Не советую.

— Отчего?

— Она стоит в первой четверти.

— Откуда такие сведения?

— Слишком резва. Молодость я ценю в женщинах, в лошадях мне ближе опытность.

— Ах вы, повеса, — улыбнулся Фривейский, не отрываясь от бинокля. — Но какие стати, послушайте! Нет, нет, я играю Изидру.

— Пари?

— Зря вы... Имейте в виду — выиграю.

— Может быть. И тем не менее. Я сегодня буду три раза играть на пари и четыре раза на тотализаторе.

— Отчего такая странная цифра?

— В сумме получается семь, а семерка похожа на лебедя.

— Исаев, вы пишете стихи?

— Не вгоняйте меня в краску.

— Сколько ставите против меня?

— Десять долларов.

— Не сходите с ума. Пять — от силы. Мне жаль вас. На кого вы?

— Я сыграю на Савредону.

— Господа, — обратился Фривейский к двум генералам из генштаба, сидевшим рядом, — прошу вас быть свидетелями того, как я отговаривал Исаева от пари.

Фривейский отошел к окошкам тотализатора и поставил деньги на свою лошадь. Исаев видел, как крепко были зажаты билеты в маленькой и потной руке секретаря правительства. Не жарко, а у него все одно испарина на висках проступила. Это значит — волнуется Фривейский. А как же ему не волноваться? Он не купец, у него доходы только от кабинетной работы.

Прозвучал колокол. Кони приняли старт. Ипподром сначала исподволь, сдержанно, а потом все ровней и ровней начал шуметь — поддерживали фаворитов: каждый своего. Лица некоторых зрителей застыли, другие враз употели до серебряной испарины на лбу, третьи орут что есть мочи. Исаев аж на стул вскочил, вопит, руками над головой машет; Фривейский, наоборот, вдавился в свое кресло, сжался комочком.

Казалось, что лошади еле-еле бегут — так обманчиво видится с трибуны все происходящее на гаревой дорожке. И то, что жокеи стегают по крупам взмокших лошадей, и то, что коляски их раскачивает из стороны в сторону, словно челноки на волне, — так стремительна скорость, набранная за три первые четверти круга, и то, что они гортанно кричат на лошадей злыми голосами, — все это кажется декоративным, как и средневековые наряды наездников.

Первой пришла Изидра. Фривейский вытер лицо тугим платком голландского полотна.

— Ну-с, — сказал он тонким голосом, — денежки просим на ладошку!

— Алчны вы.

— Ух, алчен! — хохотнул Фривейский. — Господа,

извольте засвидетельствовать от сплетен — я предупреждал Исаева и отговаривал от пари.

Генералы завистливо смотрели на Фривейского, который всеми силами старался скрыть радость. Но она прет из него: деньги, выигранные на бегах, — особые деньги, они будто сухое шампанское — легки, игристы, хмельны.

— Послушайте, Макс, — впервые за все время знакомства назвал его Фривейский по имени, — а вы, оказывается, игрок?!

— Вы близки к истине, — усмешливо ответил Исаев.

— Ну, продолжим наши игры?

— Я ставлю на Реганду-вторую.

— Это кляча. Снова проиграете.

— Пари! — предложил Исаев.

В это время к Фривейскому подбежал толстенький мальчик в гольфах — пальцы потные, с обгрызенными розовыми ногтями, в дешевых перстнях. Мальчик трется возле конюшен, продает фаворита. Аполлинэр говорил, что мальчик порой уносит по тысяче и больше. Наклонившись к Фривейскому, мальчик что-то быстро прошептал тому на ухо.

— Да? — переспросил Фривейский. — Точно?

Мальчик шепнул что-то еще, быстрое, и убежал к кассам тотализатора. Фривейский, побледнев, достал из кармана толстую пачку ассигнаций и заторопился следом.

— Фаворита получил, — услыхал Исаев презрительный шепот генералов у себя за спиной.

Фривейский вернулся быстро и сел на краешек стула.

— Так как же быть с пари? — спросил Исаев. — Или боитесь?

— Мне неловко обыгрывать вас. Но вообще стоит проучить за дерзость: в другой раз не будете своевольничать; на ипподроме меня следует слушаться. Тысячу долларов в пари берете? И ни центом меньше.

Генералы почтительно рассмеялись. Исаев молчал.

— То-то... Испугались, Макс?

— Отчего! Нет. Пари принято, Алекс.

Исаев поднялся и, чувствуя спиной, как трое смотрят на него, пошел к тотализатору и поставил на Реганду.

— Она ж ни разу не приходила, — сказала тихонько кассирша, — да и жокей был в запое. Смотрите, молодой человек, может, не стоит...

Она два раза видела, эта кассирша, как мальчики, проиграв деньги, занятые у маньчжурских гангстеров,

дававших в рост, стрелялись здесь, прямо на трибунах. Люди продолжали ставить на лошадей, они даже не замечали самоубийц... А те, у кого уже было все решено, лежали в пыли и оловянно смотрели на подметки тех, кто вытягивался и дрожал на мысочках, замерев в последнее мгновение перед финишем.

На первой четверти, всего через восемь секунд после старта, Реганда, выступавшая под управлением жокея Аполлинэра, сбоила. Лошадь повело в сторону, она стала на дыбы, и жокей с трудом удержался в коляске.

«Ничего, — подумал Исаев. — Ничего. Проиграв тысячу, я приобрету Фривейского. Где только тысячу достать? У меня-то двести... Мальчик, который шепнул Фривейскому имя фаворита, конечно, ничего про сон Аполлинэра не знает, да и я сам не до конца понял: был ли это действительно сон или жокей давал мне понять, на кого ставить. Ничего, проиграть Фривейскому сейчас — это значит выиграть его чуть позже. Он труслив, потому что за ним нечисто, и он все время в страхе. Выиграв у меня такие большие деньги, он будет чувствовать себя обязанным мне, он станет побаиваться меня, он поймет, что я озлобился, он станет умасливать меня. Люди с проколом в биографии стараются всех своих врагов сделать друзьями. Поэтому-то они и погибают в конце концов... Что и говорить, выигрыш Аполлинэра мне был бы сейчас более кстати, тогда бы я очень быстро все решил с Фривейским... Что ж... Терпение... Посмотрим, как будет дальше... Во всяком случае, я играю беспроигрышную партию: придет ли первым фаворит или моя Реганда — он уже в контакте со мной, он уже мой «приятель». В крайнем случае с проигрышем выручит Чен...»

* * *

— Ну же! — кричал Аполлинэр и хлестал лошадь по крупу. — Ну! Ну!

Остальные лошади ушли вперед, раскачиваются перед глазами спокойно, медленно. И в этом размеренном раскачивании — обреченность, которая обычно сопутствует поражению в заезде. Надо это спокойствие и размеренность поломать. Он знает, надо дать волю инстинктам, сейчас надо смотреть на мир, и на гаревую дорожку, и на круп лошади, и на тех, кто впереди, красными глазами. И дышать надо с хрипом и присвистом — как зверь на бегу.

И вот метр за метром, секунда за секундой начинает совершаться невозможное: Аполлинэр нагоняет остальных лошадей, которые пока идут кучей без фаворита. Аполлинэр обходит всех по крайней дорожке, приближается к финишу первым.

Рев на ипподроме сменился тишиной. Только слышно об землю копыта: цок-цок, цок-цок...

Дзеньк! — колокол бьет у финиша.

Рев на ипподроме возник сразу, словно все раньше замолкли на одно мгновение, задержав в себе крик по сигналу невидимой дирижерской палочки.

— У-а-а! А-а-ау! — ревел ипподром, и у всех на лицах было изумление и даже какая-то радость. Люди были свидетелями чуда. Такого не бывало ни разу, чтобы сбоившая лошадь, никогда не считавшаяся фаворитом, могла обойти всех по самому краю и снять громадный выигрыш. Слава богу, что никто не ставил на нее, а то сразу миллионером стал бы такой человек. Это разве и успокаивает людей: проиграл — зато и все остальные тоже проиграли. Нет более ненавидимого человека на ипподроме, как счастливщик, снявший крупный куш. Даже подлипалы, которые моментально окружают его, даже они, угодливо глядя ему в лицо, ожидая кутежа, будут ненавидеть его, не говоря уже о тех, кто горд и горе привык ни с кем не делить.

Исаев осторожно потер переносье большим пальцем левой руки и посмотрел на Фривейского. Тот был желт, как высушенный лимон. Что может сделать мгновение с человеком?! Под глазами у него залегли кругляши черного цвета. Глаза запали, а руки, лежащие на коленях без сил, казались ссохшимися, старческими.

Генералы переглянулись, затаив радость: крупный проигрыш соседа здесь, на бегах, так же приятен, как ненавистен его выигрыш.

Фривейский взял котелок и сказал глухо:

— Честь имею, господин Исаев. У меня заболела голова, пойду отлеживаться, темечко напекло.

Он поднялся, чтобы уйти, и столкнулся лицом к лицу с генералами. А они ждут. Это разве не понятно, чего они ждут? Они его унижения ждут, вот что они больше всего хотят видеть. Это главное зрелище — в перерыве между бегами.

— В данный момент я стеснен в средствах и просил бы вас отсрочить платеж моего долга, Максим...

Исаев уперся в него стальными своими глазами и,

вместо того чтобы, как ожидал Фривейский, ответить «что вы, что вы», деловито поинтересовался:

— На сколько?

«Боже ты мой, какая гнуснейшая история! Завтра же разойдется слушок по армии, эти вороны непременно разнесут».

— Я просил бы вас перенести это на завтра.

— Ну и прекрасно, Алекс. А то оставайтесь? Может, еще какие веселые истории случатся?

— Голова, — ответил Фривейский. — У меня бывают страшные мигрени. Благодарю вас, всего хорошего, господа.

Один из генералов пошутил:

— Стреляться пошел.

После следующего заезда Исаев, получив громадный выигрыш, укатил с генералами на автомобиле в «Версаль» и задал там такой ужин, о котором немедленно заговорили в городе.

КВАРТИРА ФРИВЕЙСКОГО

Фривейский сидел за круглым столом в маленькой гостиной и тупо смотрел в одну точку перед собой. Жидкие волосы прилипли к мокрому лбу, а голова у него все время делала чуть заметные движения из стороны в сторону, словно детская игрушка с пружинкой вместо шеи.

Когда в передней зазвенел тоненький электрический звонок, Фривейский, вздрогнув, поднялся из-за стола, суетливо причесал волосы, нетвердо подошел к двери и хрипло спросил:

— Кто?

— Я, — ответил Исаев.

Фривейский несколько мгновений медлил, а потом открыл дверь и замер на пороге. Исаев сразу понял, что секретарь правительства пьян. Он отодвинул его плечом, закрыл за собой дверь и прошел в комнаты — без приглашения.

— Алекс, — начал сыпать Исаев пьяной скороговоркой, — зря вы на меня сердитесь. Я могу обидеться. И стану болтуном и сплетником, начну болтать, что помощник Меркулова — уголовный преступник и растратчик, из-под суда удрал. Нет?

— Макс! — выбросил руку, словно защищаясь, Фривейский.

— Что?

— Макс...

— Э, ерунда, вы реагируете на сплетни, будто я говорю правду. У вас нет соды? Мучает изжога, сил нет. Почему вы не подходили к телефону? Мы прекрасно проводим время. Вчера в «Цыпочке» давали потроха под белым вином, господи, какая прелесть! Я к вам на минуту, Алекс, я вам подвез денег — вернете их мне на людях, сейчас поедем к цыганам. Машенька-волшебница поет — холодом морозит, глаза-жуки, чудо-девка... Как раз тысячу долларов я привез, чтобы слухи не ползли.

Максим Максимович достал из заднего кармана брюк пачку зелененьких бумажек — завитой Вашингтон смотрит сухо и непреклонно, на губах — презрительная усмешка.

— Ах, доллары, доллары, хорошая валюта, где угодно ходит, не то что наша российская дребедень. Вот, пожалуйста, здесь тысяча, а могу одолжить столько же, я в выигрыше. Одна просьба, — болтал Исаев, подталкивая деньги растерянному Фривейскому, — я тут слыхал, что доблестные жандармы собираются выпустить целехонькими с нашей земли тех подпольщиков-большевиков, которые попали нам в руки после блистательной операции Гиацинтова, когда он взял Васильева и многих других. Так вот, я достаточно воевал с красными, и, если мою кровь решат разменивать на либеральные жесты, я стану принимать свои меры. Мне, как патриоту и газетчику, необходим открытый, беспощадный суд над арестованными большевиками. Пусть они предстанут перед судом, пусть будет процесс. Если этого не произойдет, если ваш шеф решит играть в либерального дедушку, я буду жаловаться в Берлин, моим друзьям из Высшего монархического совета.

— Чего вы, собственно, хотите? — тихо спросил Фривейский. — Я как-то понять ничего не могу.

— Хитрите, Алекс, хитрите.

— Давайте отнесем этот разговор на завтра.

— Нет, зачем же? Мы сегодня должны все обрешить, Алекс. Я не шантажист какой, у меня душа нараспашку, вы меня знаете. Будь я продажным гадом, стал бы вас прижимать: мол, устрой мне хороший заказ, не то затребую из Верхнеудинска твое дело...

— Перестаньте! Мне гадостно слушать эти сплетни, распускаемые негодяями...

— А мне как противно их слышать! Но ведь то, что

противно нам с вами, — интересно быдлу. Особенно если документы подложить. Да что это я, собственно, несу ахинею, пьян, пьян, стыд.

— Никак не пойму, что вам от меня надо, Макс?

— А ничего. Дружбы. Только лишь.

— Вы дьявол.

— Если бы... А в Монархическом совете о вас очень хорошего мнения, и мне позволено вам об этом сказать. Ну, поехали, Алекс, поехали.

Нота
Министерства Иностранных Дел
Дальневосточной Республики председателю
японской делегации на Дайренской
конференции Мацусиме

Милостивый государь,

Правительством Дальневосточной Республики получено сообщение, что в 20-х числах сего месяца в г. Владивостоке происходило совещание, на котором разрешался вопрос о покупке Китайско-Восточной железной дорогой у Уссурийской дороги значительного количества железнодорожного имущества и о передаче всей Уссурийской дороги в ведение Китайско-Восточной дороги.

В этом сообщении указывается, что в означенном совещании участвовали управляющий Китайско-Восточной дорогой инженер Остроумов, инженер Калина, инженер Стивенс и с другой стороны представители так называемого меркуловского правительства. Совещание пришло к соглашению о том, что Китайско-Восточная железная дорога получает от С. Меркулова 2000 скатов вагонных колес и 50 000 резиновых тормозных рукавов — всего стоимостью 700 тысяч американских долларов. Кроме того, совещание выяснило готовность С. Меркулова передать Уссурийскую железную дорогу Китайско-Восточной дороге за единовременную уплату в пользу С. Меркулова 2 миллионов мексиканских долларов.

Правительство Дальневосточной Республики констатирует еще раз совершенно беззаконную и хищническую растрату принадлежащего Дальневосточной Республике имущества, непрерывно

практикуемую со стороны безответственных лиц, вроде упомянутого С. Меркулова и других, захвативших при помощи русских контрреволюционных офицерских отрядов южную часть Приморской области и производящих там совершенно незаконные распродажи имущества Дальневосточной Республики.

В районе действия этих лиц в Южном Приморье в настоящее время имеются японские военные отряды, и, таким образом, беззаконные действия этих лиц происходят до некоторой степени под защитой японских властей и, очевидно, с ведома последних. Таким образом, ответственность за расхищение имущества Дальневосточной Республики падает также на японские власти и на японские интервенционистские отряды, которые своим присутствием на территории Южного Приморья дают возможность упомянутым лицам производить хищения для своих личных целей.

Заявляя свой решительный протест по поводу хищений, производимых названным Меркуловым и другима лицами в Южном Приморье путем незаконных сделок, Правительство Дальневосточной Республики не может не возложить общей ответственности за действия этих лиц и материальной ответственности за последствия этих действий на японских военных и гражданских представителей в Южном Приморье.

Я. Янсон.

УЛИЦЫ ВЛАДИВОСТОКА

Сегодня, в день престольного праздника, валит разодетый веселый люд по Светланке — вниз, из церкви. Лица у людей чистые, умиротворенные. И такое спокойствие во всем и благостность и так чист осенний воздух, что все горести и печали кажутся нереальными сейчас, в этот солнечный, прекрасный час.

И вдруг откуда-то издалека, поначалу обрывочно и миражно, но с каждой минутой все явственнее, начинает звучать величавая похоронная музыка. Люди прислушиваются, но порой с океана налетает ветер, и тогда музыки не слышно и кажется, что ее вовсе не было,

а просто послышалось, как воспоминание о пережитом, об отступлении, о разгромах и разлуках.

Но нет: вот она снова — торжественная и грозная музыка похоронного марша. И такая в ней мощь, будто самые большие оркестры города соединились. Кого же хоронят? По музыке — не иначе как генерала, но в газетах ничего не было, вроде бы все начальство живо и здорово, а чумных — тех жгут, а не хоронят.

Гиацинтов снял трубку телефона:

— Автомобиль к подъезду.

Сейчас он поедет на Эгершельдское кладбище. Там, замерев в каре, стоят ощетинившиеся штыками солдаты, которые должны расстрелять тех, кто придет хоронить Васильева. Завершение первой части операции «Золотая рыбка», по теперешней ситуации, будет означать великую победу.

Тыл станет чист и крепок. Остальных, которые в тюрьме, «выдворить» через Гродеково в Китай — либеральный жест, освобождение политических противников. А в Гродекове «возмущенный казачий народ» расправится, несмотря на «сопротивление властей», с руководителями подполья. Но это уже не будет вина Меркуловых или Гиацинтова, это «святая воля народа», который ничего не прощает.

Катафалк, запряженный шестеркой лошадей, медленно плывет по улицам. Оркестр идет по мостовой следом за катафалком. И — никого следом за оркестром. Ни единого человека.

А Васильев лежит в гробу, лицо измученное, и все равно улыбка на нем.

Гремит похоронный марш.

Что ж, товарищ Васильев, прости тех, кто не пришел. Не могут они прийти. Но кто же те люди на тротуарах в кургузых одежонках, что, просачиваясь ручейками сквозь разодетую толпу, спешат по улицам за гробом? Это ж твои братья по классу, товарищ Васильев, идут за тобой следом, скрываясь в праздничной престольной сутолоке. Те, кто из церкви, — улыбчивы, нарядны, веселы, а кто навстречу им, следом за катафалком, — скорбны, и лица их в машинной копоти, и в глазах слезы.

Они рядом с тобой, они провожают тебя в последний путь, они вокруг, и много их, не зря Гиацинтов их боится, он умный, он понимает, кого следует ему бояться. А за оркестром — никого, пустая мостовая...

В кладбищенские ворота, под дула ружей и под грохот оркестра, к черной провальной яме могилы, которая кажется маленькой и жалкой и похожа на ранку в большом и добром теле земли, подъезжает один катафалк, запряженный шестеркой великолепных лошадей. А людей нет, никого нет...

Гиацинтов, замерев у ворот, в бешенстве сломал стек. Воронье кричало, кружась над верхушкой деревьев. И листья опадали медленно, словно бы страшась соприкосновения с промерзшей, бурой землей.

ДАЙРЕН

— Итак, — говорит глава японской делегации Мацусима, открывая заседание конференции после перерыва,— императорское правительство Японии, несмотря на отказ представителей Дальневосточной республики найти способ загладить свою моральную вину перед жертвами красного террора, тем не менее сочло возможным продолжать переговоры, поскольку для нас нет выше интересов, чем интересы всеобщего мира. Я начну с оглашения наших условий.

Он достает лист желтой с разводами бумаги и торжественно разворачивает его. Отставив бумагу на вытянутую руку, он начинает читать:

— «ДВР обязана уничтожить весь военный флот и никогда его впредь не заводить на Тихом океане. Необходимо срыть все укрепления и впредь их не строить. Необходимо разрешить японским судам плавание по рекам ДВР под японским флагом. Следует позволить японским гражданам передвигаться по территории ДВР, не испрашивая на то разрешения МИДа ДВР. Следует разрешить японским гражданам покупать землю ДВР, а также следует властям ДВР особо благоприятствовать японским гражданам в промышленности, горном деле, торговле. Владивосток должен быть объявлен вольным городом с международными гарантиями. На территории ДВР никогда не должен быть введен коммунистический режим. Таковы в общих чертах наши предложения. Если они будут приняты, тогда японское правительство торжественно обещает вывести свои оккупационные войска в тот день и час, когда это будет целесообразно и логично».

— Больше это похоже на условия безоговорочной капитуляции, — говорит Петров.

— Каково мнение наших друзей военных? — любезно улыбаясь, спрашивает Мацусима, надев очки, и смотрит в упор на Блюхера.

— Такие вопросы, мне кажется, могут быть решены только разговором орудий.

— Мнение господина Блюхера выражает официальную точку зрения?

— Личную.

— Господин председатель русской делегации, нам бы хотелось выслушать официальную точку зрения.

— По-видимому, — говорит Петров, — нам будет необходим перерыв.

— На месяц, — подсказывает Мархлевский.

— Так долго? — удивляется японский дипломат.

— Трудности дороги, бандиты и хунхузы, — отвечает Петров зло. — Если вам мешает бушующее море, то нам — бушующая суша.

— Мы не можем ждать месяц вашего ответа.

— Мы ведь могли ждать три недели вашего ответа.

— Не три недели, а две недели и пять дней.

— Вот и вы подождите две недели и пять дней, — предлагает Василий Константинович, — надо ж уступать друг другу, не так ли?

— Ну что ж, — говорит Мацусима, — мы подождем три недели. Это крайний срок. Если вы откажетесь принять наши предложения, мы будем вынуждены решать это с другим русским правительством, которое существует на территории ДВР.

— На территории ДВР существует одно правительство, — говорит Блюхер.

— Слепота — болезнь досадная, — отвечает Мацусима, — но если у человека есть глаза, а он не хочет видеть или, еще хуже, боится видеть, тогда это уже не болезнь, а крах. Объявляется перерыв в работе высокой конференции.

НЕЙТРАЛЬНАЯ ЗОНА МЕЖДУ ДВР И ЯПОНСКИМИ ВОЙСКАМИ

Она была установлена, эта тридцатикилометровая нейтральная зона по реке Бикину, как некая прокладка между красными войсками и оккупационной армией Японии вкупе с белыми корпусами меркуло-семеновцев.

Здесь, в нейтральной зоне, было пусто и тихо, хотя земля была вспахана и коровы мычали на выгонах. Но тихо было потому, что люди жили в неведении о завтрашнем дне. «Нейтральная зона» — слова-то иностранные, мужику их не понять, а не может в наши дни так быть, чтоб долго мир был и кровь не лилась. Вот и затаились тут люди — все ждали: когда же? И дождались.

Через день после объявления перерыва в работе Дайренской конференции японские пограничники были убраны со своих постов, проволочные заграждения местами сняты, а ночью через нейтральную зону пошла белая армия — бесчисленными колоннами пехоты, конницей, батареями, бронепоездами.

Дороги, схваченные первым осенним ледком, гулки, луна светит — окаянная, зыбкая, близкая к земле. Холодно. Пар над колоннами курится белыми облачками. А крестьяне стоят, замерев, возле своих домов. Торопится белая армия, с марша на бег переходит. Надо за ночь пройти нейтральную зону, а под утро ударить по красным так, чтобы покатились без остановки — к Москве.

И едва лишь засветлело на востоке, едва лишь алая полоска рассвета зажгла синим отсветом кроны деревьев, как меркуловская кавалерия с лихим улюлюканьем ринулась на красные позиции.

Никто в Чите и Хабаровске не ожидал такой откровенной провокации. Был договор, по которому Япония торжественно гарантировала безопасность границы по нейтральной зоне.

Никто пока еще не знал здесь, что сразу же после объявления перерыва на конференции в Дайрене японские дипломаты, связавшись по прямому проводу с Токио, потребовали немедленного проведения в жизнь той акции, которая была заранее, еще прошлой весной, запланирована в генштабе. Генерал Тачибана, получив той же ночью директивы из Токио, посетил премьер-министра Меркулова, вручил ему памятную записку японского правительства, договор о займе в два миллиона иен на расширение торговли и в мягкой, но весьма определенной форме дал понять, что выступление белых войск должно произойти в течение ближайших суток. Меркулов, которого сдерживали от выступления сами же японцы, рассчитывая «уломать» ДВР мирным путем в Дайрене, был рад этому ночному разговору, памятной

записке, составленной в весьма уважительных тонах, и договору о займе. Меркулов сам позвонил к генералу Молчанову, главнокомандующему белой армии, разбудил его, извинился за то, что пришлось поднять с постели, и попросил незамедлительно приехать в резиденцию правительства. Молчанов спросонья никак не мог найти левый сапог, долго лазал по полу и глядел под кроватью, пока наконец не обнаружил сапог в прихожей, под зеркалом. Он ходил по квартире, зевал, тянулся и в темноте искал свои вещи: раздеваясь, генерал обычно расхаживал по квартире и потом никогда не помнил, где и что оставил с вечера. Одевшись, Молчанов подставил голову под холодную воду, только тогда наконец очухался и, присев на краешек ванны, понял: неспроста этот ночной звонок. По-видимому, началось. Да, вероятно, это долгожданное начало.

И, вооруженные японцами, белые войска, объявив себя «белоповстанческими соединениями», — а Япония за «повстанцев» никакой ответственности не несет, с нее в этом случае взятки гладки, — на рассвете ринулись на красных. И невдомек было русским мужикам и дворянам, шедшим на смерть во имя «освобождения» Кремля от большевиков, что истинная цель их выступления была куда проще: оказать вооруженное давление на ДВР и таким образом гарантировать японским гражданам наибольшее благоприятствование в промышленности и торговле, позволить продажу русской земли и плавание японцам по русским рекам, то есть политические и экономические требования подтверждались военной акцией. Ибо верно считается: война — это есть продолжение политики иными средствами.

Неожиданность — первая гарантия успеха. Войска ДВР, застигнутые врасплох белыми, дрогнули и покатились назад. Началась паника. Белые наступали стремительно и жестоко. В Токио праздновали победу. Во Владивостоке начались балы и маскарады. В Чите и Хабаровске было введено осадное положение.

ХАБАРОВСК. УТРО

Слышен тяжелый грохот артиллерийской канонады. Мелко дрожали стекла в окнах постышевской квартиры. По дороге бесконечной лентой брели на запад беженцы.

Павел Петрович, осунувшийся, обросший рыжей

щетиной, стоял у окна и молча курил. Жена его собирала нехитрый комиссарский скарб: узелок и чемоданишко с обитыми углами и без замка. В коляске спал младший сын Постышева. Тот, что постарше, тихонько сидел в углу, возле брата, играя в войну. Он собирал из деревянных палочек огромную пушку. А собрав, целился в спящего братишку, рычал: «Б-ба-бах», потом падал навзничь, изображая раненого, шептал тоненьким мальчишеским голоском: «Вперед, вперед! Красные орлы!» — и закрывал глаза — вроде бы «убит». А после начинал цокать — это кавалерия несется, вот все ближе и все ближе она, вот ожил наш убитый командир и стал лихим конником, вот он вскакивает с пола и кричит: «Даешь!»

— Я тебе сейчас шлепка дам, — тихо сказала мать,— разбудишь брата. Дай поспать напоследок.

В дверь легонько постучались.

— Войдите, — сказал Постышев.

— Доброе утро, — кашлянул шофер Ухалов. — Я прибыл.

— Мы на машине? — счастливо закричал сын комиссара.

— Садитесь, — сказал Постышев Ухалову, — сейчас попьем чайку на дорогу.

— Благодарствуйте, Павел Петрович, я уже отпил дома.

— Чай не водка, можно и повторить.

— Так ведь водку — ее тоже не грех повторить.

— Резонно. Садитесь, садитесь.

Ухалов опустился на краешек стула и начал сворачивать цигарку. Жена Павла Петровича разлила чай из самовара в большие пиалы. Пили они молча. Только самовар свистел по-домашнему — уютно и спокойно. А вдали — канонада. И на дороге за окнами — людской плач и конское ржание.

— Ну, я пойду к машине, прогрею, — сказал Ухалов, — спасибо за угощение.

Сынишка Павла Петровича забрался под кровать, и теперь оттуда слышны его команды, грохот «выстрелов» и цокот далеких эскадронов, несущихся на врагов. За столом остались комиссар и его жена. Они долго смотрели друг на друга, молчали, только иногда Постышев осторожно трогал руку жены.

— Дико, — сказал Постышев, — сейчас по всем людским законам мы должны говорить с тобой...

— А нам не надо, потому что все понятно.

— Да.

— Ты сейчас вспоминаешь восемнадцатый год, когда мы шли через сопки от Калмыкова.

— Я не все вспоминаю. Я вспоминаю малинник, где мы спали, и еще как деревья над нами шумели. Вроде бы море рядом слышалось.

— Ты тогда читал Гейне.

— Я помню. «Через лес широкий, зеленью одетый, всадник быстрый скачет, бешено несется...»

— А помнишь, как орал малыш, когда мы проходили пикеты белых?

— Да. У него тогда был сиплый басина.

Сын прервал возню под кроватью и крикнул:

— Какой же я сиплый?!

— Чудак, — улыбнулась грустно мать, — это же лучший комплимент для настоящего мужчины.

— А комплимент — это что такое?

— Вроде подарка.

— Как рыба?

— Какая?

— Которую едят.

— В общем, верно, — сказал Постышев, — очень точная расшифровка слову «комплимент».

— Помнишь, когда мы заблудились в тайге, ты говорил, что нам надо быть всегда вместе, потому что в старости будет мучительно жаль каждой минуты, проведенной врозь.

— Да.

— Ты не думай, я говорю это без умысла.

— Я знаю.

— Я бы мечтала остаться рядом с тобой до конца.

— Знаю.

— У тебя на висках морщинки, как у старухи, комиссар.

— Спасибо.

— Обиделся?

— А ты как думаешь?

Стекла стали дрожать еще сильней и мельче. Жена комиссара подняла из кроватки маленького, одела его, укутала шалью и протянула отцу. Постышев поцеловал сына в лоб, в щеки, потом взял на руки старшего и начал медленно играть с ним в «носы» — закрыв глаза и сморщив лицо.

Ребенку что эвакуация, что победа — все едино, если предстоит поездка на машине. Сын прощался с отцом,

играл с ним в «носики», а сам поглядывал в окно на Ухалова, который возился возле автомобиля.

— Пап, — не выдержал мальчик, — мы далеко поедем на машине?

— Ты пойдешь пешком.

— Почему? Машина ведь наша.

— Это тебе кто сказал?

— Я так думаю.

— Это машина не наша, сын, и если ты станешь считать ее нашей, тогда, собственно, зря мы всю эту кашу заваривали.

— Какую кашу?

Постышев погладил сына по лицу:

— Манную.

— А это какая такая манная?

— Белая она.

— Вкусная?

— Очень, — твердо ответил Постышев. — Очень.

— Вкуснее хлеба?

— Вкуснее.

— В восемь раз?

— Да уж не меньше.

Смотрел Постышев на жену, а в глазах у нее были слезы и подбородок дрожал.

Постышев вывел своих на улицу: крики, конское ржание, детский плач. Бегут люди от белых армий на запад, прижимают матери к груди детей, волокут за собой узлы по стылой дороге. В повозках везут раненых, те стонут тихо, а лица у них серые от боли и страха.

Попрощался Павел Петрович со своими сурово, сдержанно, по-мужски. Но долго стоял на обочине дороги и глядел, как жена с детьми, подталкиваемая со всех сторон беженцами, шла все дальше и дальше — не оборачиваясь, чтобы не мучить его, комиссарово, сердце. А сын оборачивался, и ручонкой махал, и варежку каждый раз снимал — боялся, не увидит отец, не поймет, что это он так прощается.

Скрылись из глаз. Нет их. Все.

* * *

Постышев садится в машину.

— На фронт, — говорит он Ухалову, — и поднажмите.

Навстречу беженцам, которых все меньше и меньше на дороге, несется громадный «линкольн» комиссара

фронта. Вот уж и совсем опустела дорога. Ухалов жмет на акселератор, мотор натуженно ревет, дорога кружит, взбираясь на сопку. На самой вершине автомобиль зачихал, зафыркал, из выхлопной трубы чуфыркнуло синим дымом, сухо выстрелило, словно из пушки холостым зарядом, и мотор захлебнулся. Ухалов рванул на себя тормоз, задние колеса повело по льду, машину стало заносить к обрыву. Нет, вывернул все-таки Ухалов руль, поставил машину поперек дороги, а сам от баранки не может оторваться, будто приклеился к ней.

— Струхнул? — спрашивает Постышев.

— Пóтом аж обдало.

— Ничего.

— Я тоже полагаю: ничего. Только одно плохо, без охраны едем.

— Воевать надо охране, а не баклуши на заднем сиденье бить. Захотят угрохать, так в окно стрельнут — и со святыми упокой. Одна теория в охране-то, Ухалов...

— Тоже резон, однако нервам с третьим человеком спокойнее.

Постышев открывает дверцу, вылезает на дорогу. Достает из-под шинели бинокль, смотрит на восток. И видит он бегущую армию — без винтовок, расхристанную, мужицкую, в страхе. Сколько видно — бегут по дороге люди, лавиной катят, поди их останови.

Постышев напрямки, через мелкий кустарник, особенно колючий зимой, через ельник, который хлещет его по лицу, несется вниз, срезая извивы дороги. Он бежит навстречу отступающей армии.

— Стой, Пал Петрович! — кричит Ухалов. — Погоди, Пал Петрович!

Постышев не отвечает ему. Он, видимо, и не слышит сейчас ухаловского голоса. Он сейчас ничего вообще не слышит. У него перед глазами перекошенные страхом солдатские лица.

Постышев спускается вниз, на равнину, и двигается навстречу несущейся на него человеческой лавине.

Постышев врезается в бегущую массу голодных, потных и насмерть перепуганных людей. Он кричит, но голос его не слышен, потому что заглушает его хриплое дыхание, шарканье лаптей и сапог по мерзлой дороге — то однообразное и монотонное молчание, которое иной раз пострашней ора и визга. Постышев на мгновение останавливается, лавина сминает его, подхватыва-

ет, разворачивает лицом на запад и несет с собой вместе. Это — как волна в шторм. Ты ощущаешь и силу свою, и ловкость, и умение плыть, а ничего не можешь поделать, чувствуешь, как тебя сминает, переворачивает и швыряет, словно щепку.

Постышева несет людской поток, несет на запад — безжалостно и мощно. С огромным трудом, продолжая что-то кричать, он вырывается на обочину. Он стоит и смотрит на эту молчаливую людскую массу. Лицо его дергается от гнева. А гнев — от яростной жалости к этим людям, от злобы на себя, от ненависти к тем, кто так гонит бойцов.

Постышев медленно достает маузер, стреляет три раза подряд в воздух, а потом поворачивает дуло на бегущих. От выстрелов ближайшие к комиссару дрогнули, приостановились, в лицах их появляется нечто осмысленное, человеческое.

— Кто сделает шаг, пристрелю! — тонким голосом, враз сорвавшимся и осевшим, длинно кричит комиссар. — Считаю до трех. Раз! Два!

А сзади напирают. Но Постышев выходит на дорогу, останавливается перед замеревшими на мгновение первыми рядами, стоит, широко расставив ноги.

— Три! — еще страшней и жалобнее досчитывает он.

— Там конница белых, — кричат ему, — все рубает!

— Ты ее видел?

— Я слыхал, как они орали.

— Ты ее видел?!

— Слышал.

— Иди сюда.

— Застрелишь?

— Иди сюда.

К Постышеву выходит молоденький паренек.

— На, — говорит Постышев и протягивает ему свой маузер, — если через пять минут здесь появится конница белых — стреляй мне в лоб.

Постышев достает часы, протягивает их другому бойцу, что стоит поближе, и просит:

— Засеки время.

Парень поднимает маузер и целит Постышеву в лоб.

— Ты кто? — спрашивает он.

— Большевик я. Большевик, — отвечает Павел Петрович. — А ты с курком не балуй, ахнешь — вздернут тебя на суку за комиссара фронта.

— Постышев, Постышев, — пошел шепоток по рядам. — Постышева кончают. Постышев...

Тихо делается кругом и пусто. Только каждый в себе слышит, как часы тикают. Это перед смертью каждый слышит, даже если часов сроду не имел.

— Трусы, жалкие трусы, — гневно и очень тихо говорит Постышев, глядя в черное рыло маузера, нацеленное ему в лоб. — Испугались врага, которого даже не видели в глаза. Трусы...

— Так их вона сколь прет, гражданин комиссар. Ужасть как пушками лупцуют.

— Ты живой, ты молчи, — говорит Постышев. — Мертвые, которых ты, сбежав, предал, сейчас могут говорить. А ты стой жди, когда пройдут пять минут, и смотри, как твоему комиссару целят в лоб. И молчи.

— На, — говорит парень, которому Постышев передал маузер, — на, — говорит он соседу, — не могу я.

— Бежать мог?! — орет Постышев. — Так вот ты смоги и целить мне в лоб. Смоги! Трус!

— Пять минут прошло, — говорит боец, — слышь, ребята, цокает. Не иначе как копыта... Конница это, гражданин комиссар, их конница.

— Меня вздернут на первом суку, а я стою и не боюсь, а ты бросил винтовку, дрожишь и лицом белеешь? Эх вы, смотреть на вас гадостно...

ДАЙРЕН

Поздний вечер. Вокзал оцеплен полицией. На перроне состав, уходящий на Харбин. Последний вагон, классный, прицеплен специально для военмина Блюхера, который срочно уезжает в Читу. Положение катастрофическое, и Совмин отозвал Василия Константиновича на фронт. Провожать его пришли Петров и генерал Танака — хоть и началась война, а дипломатический церемониал прежде всего. Да и как не покуражиться над контрагентом в переговорах: армия его разгромлена, отступает, а правительство, надо думать, в ближайшее время удовлетворит все требования Японии. Нет ничего приятнее для военачальника, как вид агонизирующего противника. Танака поэтому необыкновенно вежлив с Блюхером. Он держит его под руку, приветливо улыбается и на прощание говорит:

— Мой дорогой министр! Я желаю вам от всего сердца счастливо добраться до читы, но боюсь — опоздаете...

— Ничего, — отвечает Блюхер, — до Читы я успею, а переговоры мне с вами придется, видно, заканчивать во Владивостоке.

Ответ быстро переводят Танаке. Тот сосредоточенно слушает, мило улыбается. Просит:

— Что еще веселого скажет господин русский министр?

Ревет паровозный гудок, и только это спасает переводчика от мучений при дословном переводе того, что выпалил Блюхер. Петров отворачивается, чтобы не было видно его усмешки. Обнимает и целует Блюхера. Василий Константинович вскакивает на подножку, и поезд начинает набирать скорость.

По перрону, пропущенный полицией, бежит человек с чемоданчиком. Он вскакивает в предпоследний вагон, и чьи-то заботливые руки поддерживают его на площадке. Фонарь высвечивает его лицо. И видно, что это князь Юрий Мордвинов, специальный агент Гиацинтова.

ВЛАДИВОСТОК. РЕДАКЦИЯ ВАНЮШИНА

Всю ночь Ванюшин с Исаевым просидели у телеграфной ленты. Они пили крепкий, заваренный Ванюшиным кофе и молча читали восторженные отклики со всех концов земли на «бесподобную по мужеству операцию на Дальнем Востоке». Вечерние парижские газеты дали под огромными шапками свои комментарии к событиям в России: «Величие победы — в стремительности наступления!», «Смерть или Кремль! — лозунг героев белой гвардии», «Реальные шансы на Кремль». Лондонские газеты, более трезвые в оценках, также очень пространно комментировали события в России, но перспектив пока не намечали. Молчали только газеты двух великих держав: Японии и США. Япония делала вид, что все происходящее за Владивостоком не представляет никакого интереса для Токио и является сугубо внутренним делом русских. Вашингтон получил шифровку из «Владивоньюс», от майора Кларка, руководителя разведцентра, с просьбой дать сдержанный комментарий только в утренние газеты, ибо ситуация пока еще не совсем ясна, хотя успех Меркуловых очевиден. Майор Кларк справедливо полагал, что вся эта операция бело-японцев является не столько общесоюзническим делом по освобождению России из-под большевистского ига, сколько средством Токио оказать нажим на Читу и Москву, имея в

виду дайренские переговоры. Хотя переговоры велись при закрытых дверях, Кларку удалось узнать о некоторых пунктах японских требований, которые, будь они приняты Москвой и Читой, противоречили бы американским интересам на Дальнем Востоке и утвердили бы здесь гегемоном Японию. Причем это было бы санкционировано как большевиками, прими они дайренские условия, так и демократическим меркуловским правительством, которое в конечном счете к идее вольного города Владивостока относилось как к единственно возможному шансу остаться у власти, признанной миром. Расчет японцев, таким образом, был весьма перспективен. Они учитывали возможность российских парадоксов. То, что невозможно нигде в мире, возможно в России: опыт последних пяти лет доказывал это со всей очевидностью.

Молчание Вашингтона было огорчительным для Меркуловых. Поэтому Ванюшин и просидел всю ночь в редакции, ожидая возможных новостей из-за океана. Но Америка молчала, если не считать сухих заметок, набранных петитом в разделе хроники.

— Максим, — сказал Ванюшин, растирая своей большой, доброй пятерней мясистое лицо, отекшее за ночь от курева и кофе, — вы никогда не думали о гиацинтовском хамском утверждении, что, мол, в России истинную свободу возможно сохранить только с помощью нагайки и штыка? Иначе разворуют ее, пропьют и продадут кому угодно.

Исаев закурил, вытянулся в кресле, хмыкнул.

— Что вы? — удивился Ванюшин.

— Ничего. Вспомнил одного приятеля. Он как-то здорово сказал: «Я плохой друг, но зато я великолепный враг».

— Почем продаете афоризм?

— Хотите — подарю.

— К чему только вы это?

— Бог его знает. Память не подвластна разуму. Во всяком случае, мы еще не смогли найти тех центров, которые ее контролируют.

— Порой вы производите на меня странное впечатление.

— Именно?

— Мне кажется, что вы утомлены какой-то затаенной болезнью. Иногда в вас проглядывает жестокость.

— Вероятно.

— Отчего так?

— Думаю, Николай Иванович. Просто оттого, что думаю. Знаете, почему злюсь? Потому что я пришел к выводу, что нигде так не хорошо ошибающимся, как у нас. У нас заботятся об ошибающихся, им помогают, о них пекутся. И порой мне становится завидно. Вот вам разве не хочется поошибаться? Ну хоть самую малость...

— Еще как...

— Так что же?

Всем можно ошибаться, только вот прессе в наши дни ошибаться нельзя. Курс должен быть точным. Либо — либо. Тут надо трезво рассуждать, без ошибок. Мне неприятен большевизм с его утилитарностью и тупой верой в свою истинность и непогрешимость. Я понял, как можно с ним бороться, потому что к любому явлению я отношусь непредвзято. Я изучил их, я их понял.

— Как же надо с ними драться?

— Очень просто. Чтобы помешать хорошему делу, которое они затевают, надо начать это их новое дело хвалить. Они все время жонглируют словами Бебеля: «Почему тебя хвалят враги, старый Бебель, подумай, какую глупость ты совершил». Они ведь наивные враги христианства. На самом-то деле они бóльшие христиане, чем папа римский, потому что у них все зиждется на вере, привнесенной вождями, их пророками. Вот вы заметили, как я восторгаюсь в редакционных статьях введением нэпа? Уверяю вас, кое-кто у них завопит: «Если злейший враг Советов Ванюшин хвалит нэп, надо разобраться, в чем тут дело!» Поверьте мне — не сейчас, так через год, два, но они все равно схватятся за голову. А глупости, которые они весьма часто у себя делают, я браню. И они думают: «Если бешеный пес международного капитала Ванюшин пугает нас, значит, мы на правильном пути!»

— Занятно...

— Это истинно, Максим, это безошибочно...

— Пошли побродим, Николай Иванович?

— Может быть, что-нибудь все же придет из Америки. Идите, дружище, спасибо вам за ночь.

— А, ерунда. Мне очень интересно с вами, хотя я ваш противник.

— В чем?

— В системе мышления.

— Все это суета сует и зряшная суета — иногда

думается мне. И так мне становится скучно, Максим, что страшно смотреть вокруг себя.

Исаев засмеялся, пристально и тяжело глядя на Ванюшина.

— Что вы?

— А так... Просто мне иногда кажется, что вы в конце концов пошлете все к черту и уедете в Москву.

— Куда?

— В Москву. К вашим красным приятелям.

— Идите-ка лучше прогуляйтесь, Максим.

— Всего хорошего, шеф.

— До свидания, милый. Спасибо.

Когда Исаев вернулся домой, там сидел Чен.

— Максим, — шепотом сказал он, — я не мог ждать дня нашей встречи в баре, потому что в порт пришли три японских парохода со снарядами и патронами. Там же танки и тридцать новеньких орудий. Завтра это все должно уйти на фронт. Если они получат танки и пустят их против наших, будет совсем скверно. Поэтому прости, но я не мог не прийти к тебе с этим...

— Когда начинается разгрузка?

— Сегодня днем. С палубы — прямо в вагоны.

— Хорошо. Встретимся у порта в двенадцать. Повяжи самый модный галстук, я буду с дамой.

КВЖД. ПОЕЗД ДАЙРЕН — ЧИТА

Раскачиваясь на ходу, несся состав по желтой ночной равнине. Голая, как блюдце, земля лежала вокруг. Только иногда серую жижу ночи прорежет черная тень дерева — с расплющенной кроной, изогнутая, сучкастая, словно злая колдунья в детских рисунках, и снова непроглядность окрест и безлюдье.

Блюхер стоял у окна и смотрел на проносящуюся мимо однообразную и унылую землю, мурлыкал тихую песню и внимательно слушал, что выбивало на стыках. Это у него было с детства: он всегда напряженно прислушивался к бормотанию колес на стыках. Вдруг услыхал глухой взрыв. Потянуло паленым.

Блюхер, не оборачиваясь, спросил:

— Что там такое?

— Непонятно, товарищ министр.

— Останавливаемся, — сказал Блюхер. — Посмотри-

те по расписанию, какая станция, да, пожалуй, поужинаем и спать.

— Товарищ министр, — ответили ему из темноты купе, — тут никакой станции по расписанию не предусмотрено.

Блюхер рванул на себя стекло. Заскрипев, оно подалось, опустилось вниз — будто ухнуло в прорубь. Главком высунулся по пояс и увидел далеко впереди два красных глаза: это уходил поезд к Чите. А их классный вагон, повизгивая колесами по белым, заиндевелым рельсам, медленно катился под гору. Потом остановился. Стало тихо-тихо — и в вагоне, и вокруг него. Только ветер налетал порывами — свистнет, покружит и ляжет на землю, будто котенок, который играет сам с собой.

— Сколько у нас патронов? — спросил Блюхер.

— К пулемету три ленты.

— Все?

— И еще по барабану к револьверам.

— Не густо.

— Так ведь охранная грамота от японцев...

Блюхер оглянулся. Всего с ним ехало пять человек: проводники, порученец и два охранника, присланные из Читы с вагоном.

— Дрянь дело, — сказал Василий Константинович. — Лампы потушите.

Лампы, захлопав синими язычками, потухли. Стало непроглядно темно.

— Хорошо, луны нет, — сказал Блюхер, — а то мы просто как мишень.

Он набросил пальто и, открыв дверь вагона, спрыгнул на промерзшую землю. Низкие облака неслись над землей — клочковато и зримо. Далеко на юге, там, где поднялась луна, тускло белело, словно за облаками был спрятан фонарь с плохим фитилем.

Блюхер обошел вагон. Вторая колея уходила вдаль двумя белыми паутинками.

— Ну-ка, расписание поглядите, — попросил Блюхер, — когда встречный поезд должен идти?

— Через полтора часа.

— Полтора, говорите? Тогда еще, может, выцарапаемся. Давайте с пулеметами вниз, займем круговую оборону. Папки с документами положите рядом с керосином: если белых будет много и долго не удержимся — жгите. Лом у нас есть?

— Есть.

— Один?

— Два, — ответили проводники, — один большой, другой поменьше.

— Это хорошо. Волоките сюда.

Блюхер подошел к рельсу, подцепил его ломом и, напрягшись так, что задрожала шея, стал выламывать, отдирать его от шпалы.

— А ну, помогай! — попросил он. — Подхватывай вторым! Мы им тут всю музыку разворотим. Встречный поезд остановим, пусть при свидетелях убивают.

...Несутся по темной степи всадники, получившие световой морзянкой из состава сигнал от Мордвинова. Несутся во весь опор, только вот беда — луны нет, ни зги вокруг не видно. Хотя чего торопиться — отсюда никуда Блюхеру не уйти, нет ему отсюда иного пути, кроме как в могилу.

И невдомек Василию Константиновичу, что именно в эти минуты телеграф передает во Владивосток, Гиацинтову, шифровку от Мордвинова, который извещает, что с Блюхером покончено.

ПОЛТАВСКАЯ, 3. КОНТРРАЗВЕДКА

Гиацинтов потер руки, улыбнулся. Снял трубку телефона и назвал номер Ванюшина. Никто не ответил. Он позвонил в типографию, и ему сказали, что Николай Иванович только-только ушел.

— А с кем бы мне побеседовать об одной очень любопытной новости? — спросил Гиацинтов. — Вы — вечерняя газета, вам интересно быть первыми, вставить фитиль остальным.

— А это кто говорит?

— Из английского консульства, — ответил Гиацинтов.

Голос на другом конце провода подобрел. «Проклятая холопья привычка — перед иностранцем, самым паршивым, шапку ломать», — подумал полковник.

— Если вы из консульства, то свяжитесь с господином Исаевым — это наш ведущий репортер, вот его номер...

Гиацинтов весело сказал Исаеву:

— Закажите ужин за ту новость, которую я даю вам первому, Максим Максимович.

— Это кто?

— Гиацинтов.

— Кирилл Николаевич! Здравствуйте, полковник. Считайте ужин заказанным. Что за новость?

— Можете давать в номер: сегодня ночью разгневанным народом убит военный министр ДВР Блюхер.

— Где?

— На пути из Дайрена в Читу.

— Означает ли это разрыв русско-японских переговоров в Дайрене?

— Бесспорно. Время разговоров кончилось, пора действовать. Красные потребуют санкции от японцев. Японцы откажут. И все. Таким образом, наш успех на фронте подстрахован, теперь красные даже пардону не смогут запросить. Когда угощаете, Исаев?

— В десять, в «Версале».

— До свидания.

— До свидания, полковник.

Исаев закурил, подошел к окну, распахнул створки. Пахнуло океаном. Было слышно, как зло кричали чайки над заливом. Исаев неторопливо расхаживал по комнате, как-то удивленно поглядывая на вещи, заботливо расставленные вокруг. Остановившись возле огромной хрустальной вазы — работа тончайшая, поднесешь к свету — перелив огней в гранях, красно-синее, холодное разноцветье бликов, — взял эту вазу с полки, поднес к глазам, а потом с силой ахнул об пол. Высверкнуло голубым под ногами. Исаев замычал что-то, беспомощно ударил себя кулаками по темени и сел на корточки. Он так сидел долго. Поднявшись, потер лицо ладонями — докрасна, что есть силы, снял трубку и назвал номер:

— Редакция! Да, я. Ставьте в полосу: «Как нам сообщили из официальных источников, сегодня ночью, на пути следования из Дайрена в Читу, бандитами убит военачальник красных войск легендарный Блюхер». И дайте шапку: «Дайрен — кончайло!» Что? Вам не понятно? «Кончайло» — это значит кончается. В переводе с хорошего русского на плохой японский. Рассердятся? Значит, они идиоты, если смогут сердиться на смешное. Все. До свидания, лапочка, я поближе к вечеру загляну. Если что-нибудь особенно срочное — ищите меня у Фривейского.

РЕЗИДЕНЦИЯ МЕРКУЛОВА

— Ходят слухи о готовящемся убийстве арестованных большевиков на нашей границе, — сказал Фривей-

ский Спиридону Дионисьевичу, забирая со стола папки со статистическими отчетами по торговле с Японией лесом. — Я не думаю, чтобы сейчас это было кстати. В дни побед следует быть великодушным.

— В этом деле надо тщательно разобраться, — ответил Меркулов своей обычной хитроватой отговорочкой и прищурился на секретаря. — С чего это вы, миленький? Откуда этакие веяния?

— Ваше превосходительство, позвольте считать наш разговор несостоявшимся.

— Э, перестаньте, умница моя. Не хитрите, давайте доводы, а то я, старик, несмышлен в высоких сферах. В них вы разбираетесь, молодые, а мы только присматриваем, чтоб общее все верно было, общее...

Фривейский улыбнулся:

— Логика — упрямая вещь, Спиридон Дионисьевич. Она как цепь: ухватив одно кольцо, обязательно потащишь второе. Давайте откровенно: кому выгодно угрохать красных? Нам? Отнюдь нет. Нам выгодно вывести их на открытый судебный процесс с адвокатами, экспертами и прессой. Мы бы взяли реванш у Запада: наша демократия ничуть ихней не хуже. И тогда, на процессе, мы сможем показать органическую связанность красного подполья с Читой. Умный судья и злой прокурор докажут, что это есть чистой воды шпионаж. Налицо компрометация большевизма у нас здесь — хотя бы года на два. Это уже срок. А если же мы отправляем их без суда, и на границе, на нашей границе, их рубят лихие молодцы Семенова — не знаю, не знаю... Думаю, общественность отнесется к этому как к дурно пахнущему экстремистскому жесту. Нам придется тогда молчать, а те станут вопить. Да и союзнички наверняка будут нос воротить — они весьма щепетильны, деликатно относятся к вопросу, каким образом лишить жизни политического противника.

— Это все?

— В общих чертах.

— Если бы я не знал вас, миленький, как верного сотрудника, я бы решил, что вы просто поете с чужого голоса, — уставясь в стол, скрипуче и монотонно заговорил Меркулов. — Но я знаю вас. Следовательно, я отношу всю эту наивную тираду за счет вашей молодости. Запомните раз и навсегда и, если вам суждена карьера политика, никогда не изменяйте правилу, которое я вам открою: идейный противник перестает быть реальной, ежесекунд

ной вам угрозой лишь с того момента, как он становится трупом. Запомните: ничто так легко не забывается толпой, как политическое убийство. Наоборот, оно, пусть даже самое разнузданное, с помощью прессы, прокуратуры и исторической науки может стать вашим триумфом. Вы заработаете на нем политический и моральный капитал, ибо вы сможете приписать молчащему противнику все! Все, за что в ином случае вам пришлось бы отвечать самому. И наконец, что за грязные слухи? Кто вам сказал, что семеновцы должны замучить красных комиссаров на границе? Откуда эти сведения? Кто сказал?

Фривейский сидел опустив голову и хрустел потными пальцами.

— Это носится в воздухе, — ответил он, — я слышал от нескольких человек.

— Хорошо, я перепроверю у Гиацинтова, откуда и через кого могли просочиться столь отвратительные клеветнические слухи.

— Не надо перепроверять, — так же тихо ответил Фривейский.

Он поразился сейчас, как точно Исаев предвидел все течение разговора. Исаев говорил точно так, как будто он сам уже обсуждал с премьером этот вопрос и выслушал все, что сейчас Спиридон Дионисьевич повторяет скрипучим голосом.

— Почему? — удивился премьер.

— Не надо, — повторил Фривейский, — я просто не хотел вас огорчать: по городу ходит листовочка, напечатанная в подполье, про этот план с высылкой через семеновское Гродеково.

Фривейский положил на стол листовку и подтолкнул ее премьеру мизинцем. Спиридон Дионисьевич взял листовку, посмотрел ее со всех сторон, покачал головой.

— Скажите на милость, — сказал он, — глицерину в аптеках на детские компрессы не сыщешь, а тут, изволите ли видеть, для их печатных мерзостей где-то сыскивается и глицерин.

Меркулов прочитал листовку, сложил ее пополам и в задумчивости вернул Фривейскому. Приложил указательный палец к губам и, запрокинув голову, уставился в потолок. Так продолжалось не меньше минуты. Это означало, что премьер думает, советуясь с Богом. К киоту в такие мгновения он не ходил, чтобы не перебивать течение мысли.

— Вы умница, — сказал он после долгого молча-

ния. — Миленький мой, вы умница. Спасибо вам, Господь вам поможет во всем. Нуте-ка, соедините меня с Кириллом Николаевичем.

Когда Фривейский вызвал номер контрразведки, премьер снял трубку и сказал:

— Полковник, значит, где Блюхер-то сбрыкнулся? Не на нашей, а на китайской территории? Господи, Господи, где ж на земле спокойные есть веси? Кирилл Николаевич, вы, когда станете очищать атмосферу в нашем государстве и ежели решите красных выдворить с нашей территории, вы их до границы пустите с конвоем, чтобы на границе их, спаси Бог, семеновские головорезы не порубали со свойственной им экспансивностью. Пусть красные с Богом едут к себе в Читу, пусть! Мы никого в подвалах не расстреливаем, подобно большевикам. Пускай они себе спокойно через Китай едут в ДВР. И поскорее их отправляйте, поскорее, — настойчиво повторил Спиридон Дионисьевич, и, судя по тому, как он сдержанно улыбнулся, Фривейский догадался, что Гиацинтов понял замысел старика куда как точно: казнь красных подпольщиков надо организовать на чужой территории, благо в Харбине белой эмиграции хоть пруд пруди. За небольшую плату — безработица там — они кого угодно кончат. Так что с Меркулова взятки гладки: он демократ, он не уничтожает своих политических противников. Он высылает их, он их не боится, пусть себе живут. А если их постреляли за границей — что ж, «спаси, Господи, их души, тут нашего злого умысла нет, мы в дела иностранных государств не вмешиваемся».

Фривейский поджал губы: старик нашел выход, о котором Исаев ему ничего не говорил. Видимо, он тоже не предполагал, что такой выход возможен.

И стало до того тоскливо секретарю правительства, особенно когда он вспомнил про назначенную на сегодня встречу с Исаевым, что слезы чуть не навернулись.

«Коготок увяз — всей птичке пропасть», — слышалась ему дурацкая и безысходная поговорка. Она приснилась ему через несколько дней после первого разговора с Исаевым. И еще ему приснился священник, который шел по горной дороге в китайском халате, а крест нес, как цирковой жонглер, на голове.

«Глупость какая, — продолжал думать Фривейский, вернувшись в свой кабинет, отделанный мореным дубом, — и что меня дернуло пойти с этим типом на бега?

Какого черта я пошел с ним на бега? — корил он себя. — И вообще, почему я должен выполнять его просьбы? В конце концов, мне — вера, а он писака и бумагомаратель. Завтра же я пойду к Гиацинтову и обо всем с ним поговорю. Завтра же, — вдруг отчетливо и ясно понял он. — Все гениальное — просто! Почему я не сделал этого вчера или позавчера? А если вскоре из Европы прибудут врангелевцы? Там есть его люди из Монархического совета — это уж наверняка. Неизвестно, кто кого одолеет, Меркулов Врангеля или наоборот...»

Фривейский открыл нижний ящик письменного стола, достал флягу со спиртом и несколько раз жадно глотнул невесомой влаги. Обожгло, резануло, высветлило.

«А, черт с ним, в конце концов, — подумал он. — Надо только убедить себя, что я делаю это во имя великих идеалов монархизма. В конце концов, Врангель и Монархический совет — такие же патриоты, как и Меркулов. И потом — подлость можно оправдать верой. Надо заставить себя поверить — и все. Лучше врать, веруя, чем терпеть молча. Так и будет. Смена ориентации — назовем все происшедшее. Это для себя благородно звучит, в это веруешь. Так? Так. И все».

КВЖД. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ

После часа работы, когда взмокли спины у всех шестерых, рельсы на участке в три метра были подняты.

— Давай сюда матрацы из салона и бидоны с керосином, — сказал Блюхер.

— Сейчас зажжем?

— Это кто предлагает?

— Я.

— Проводник?

— Охранник, Василий Константинович.

— Тебе воздух охранять, Петя.

— Я Поликарп, товарищ министр

Блюхер хмыкнул и проворчал:

— Тем хуже для тебя, Поликарп. Они ж сейчас только и ждут, чтоб мы засветились.

— Кто?

— Белые, — ответил Поликарпу шепотом из темноты второй охранник, залегший за пулеметом. — Ни зги не видать, вот они нас и шуруют — не понял, что ль?

Люди залезли под вагон, замерли. Ветер скулил жалобно, бил студенистыми песчинками в лица. Тучи опус-

тились еще ниже к земле, и тусклый сероватый овал в том месте, где была луна, сейчас вовсе исчез.

Внезапно ветер стих. Блюхер прислушался: далеко-далеко на востоке по гулкой земле цокали копыта многих коней. Поликарп быстро защелкал затвором. Блюхер нашел его руку, сжал у запястья: мол, тихо! — и так держал несколько мгновений. Цоканье копыт все ближе, коней много, только голосов не слыхать. Морозная земля ломко гудит, кони идут прямо на вагон, а Блюхер шепчет:

— Не стрелять!

И руку не отпускает охранника Поликарпа: горяч, дуралей, сразу палить начнет.

А кони-то рядом, дыхание их слышно. Вот-вот вырастут из ночи. И вдруг заливистое ржание резануло ночь, выросли кони из ночи, совсем рядом с вагоном выросли их морды, согретые белым игольчатым паром; антрацитово, с загадочной синевой высветились громадные глаза. Табун стал. Кони появились, словно в сказке, чтобы так же внезапно исчезнуть, когда Поликарп ломким, испуганно-обиженным голосом выкрикнул:

— Эвона, паровоз искрит!

Кони — по-видимому, это были жеребцы, отбившиеся от большого табуна, — ринувшись в сторону, заглушили все звуки окрест, но чем дальше в ночь уносился табун, тем явственнее доносилось отфыркивание паровоза, поднимавшегося по пологому подъему в гору.

— Зажигай матрацы! — крикнул Блюхер. — Сейчас мы им, сукиным сынам, устроим сцену ревности!

Сотня семеновских казаков неслась по промерзлой степи. Сотник повел своих людей дальней, более верной дорогой — в обход по степи, которая сейчас, во время морозов, стала как поле ипподрома. Но низкие тучи легли на землю, звезды затянуло поначалу серой, а потом непроглядно-черной мглой, и поэтому сотня проблуждала по ночной степи лишний час. Всадники рассчитывали увидеть хоть махонький огонек в вагоне Блюхера, но вокруг не видно ни зги.

— Вроде бы здесь сворачивать, — сказал сотник и махнул нагайкой на восток. — По этому распадку мы выйдем на них, если князь не спутал.

И он дал шенкеля своему коню. Тот захрипел, приподнялся в свечу и, захватив огромный кусок ночи передними ногами, махнул вперед — к востоку.

Когда столб пламени выстрелил в небо, машинист сразу врубил тормоз. Высунувшись в смотровое окошко, он увидел развороченное железнодорожное полотно. Два японских солдата, посаженные к машинисту для охраны от хунхузов, щелкнули затворами.

Как только состав остановился, из второго вагона выскочила группа японских военных с черными траурными повязками на рукавах и несколько человек с фотоаппаратами. Они стали щелкать магнием в ночи, снимая одинокий классный вагон красного командира.

— А где же тела? — спросили японцы русского переводчика. — Где тело доблестного русского военачальника, жестоко погубленного хунхузами?

— Здесь тело, — ответил Блюхер.

Они вылезли из-под вагона, не выпуская оружия из рук, и стали против изумленных и растерянных японцев — плечо в плечо, тесно, «морской стенкой».

— Рано похоронили, — продолжал Василий Константинович, — живучие мы.

— Господин министр, — забормотал японский офицер, медленно шагая навстречу Блюхеру с вытянутой лодочкой рукой, — мы счастливы вашему радостному избавлению. Виновники подобного коварства будут непременно разысканы нами и сурово наказаны.

Из вагонов выскакивали пассажиры: японцы, русские дипломаты, американцы, члены английской миссии из Читы, три корреспондента Ассошиэйтед пресс, возвращавшиеся из Москвы в Штаты. Сорвалась у Гиацинтова операция! Ничего теперь не выйдет.

— Назад, мать твою за ногу и об угол! — прорычал сотник, разглядывая в бинокль все происходившее у полотна. — У-у-у-у, собаки! Выскочили. Назад! — повторил он и стеганул коня по плоскому взмокшему крупу.

ФРОНТ ПОД ХАБАРОВСКОМ

Залегли красные цепи. Постышев, спрятавшись за бугорком, лежал вместе с молодым парнем, который только три часа назад целил ему в лоб из маузера.

Слышно было, как где-то далеко, за сопками, не видный еще никому, посапывает паровоз.

— Бронепоезд это у них, — пояснил парень, — шарахают такими дурами, что ямина остается боле могилы.

— Ничего, наш «Жорес» вступит, он им даст.

— А где он? Хрен его сыщешь. Там моряки, они в тылу сидят и водку жрут с бабами.

— Это ты с чего взял?

— Люди говорят...

Из-за поворота выполз бронепоезд белых. Никого не опасаясь, остановился и, развернув короткие стволы орудий, рявкнул сразу со всех платформ.

Рвануло сплошной линией, рядом закричал раненый, люди еще глубже вжались в землю. Бронепоезд рявкнул.

— Вот сволочи, — сказал Павел Петрович, — снарядов никак не жалеют.

Из вагонов стали выскакивать белые. Развернувшись длинной цепью, матерясь и крича что-то, они ринулись на красных. Постышев понял, что сейчас, если не поднять своих, если не встряхнуть людей слепой яростью рукопашного боя, сомнут белые, перебьют и разгонят бойцов, с таким трудом собранных.

Постышев поднялся, достал из-за пазухи свой маузер и тонко крикнул:

— Вперед, товарищи! За власть труда!

Не оглядываясь, побежал навстречу белым. Он бежал и был сейчас еще более нескладен. Длинные его ноги подвертывались, попадая в ямки и незаметные глазу трещины в мерзлой земле. Дыхание было сбивчивым, и лицо побелело. Он бежал молча, судорожно сцепив зубы. Он не оглядывался назад; он смотрел только вперед, на стремительно приближавшуюся к нему белую цепь.

Когда он почувствовал, как кто-то толкнул его в спину, когда он ощутил молчание бегущих следом — только тогда он заорал что-то страшное и злое и, опустив маузер на уровень глаз, начал палить по бегущим и стрелявшим цепям белых.

Как только после короткого рукопашного боя белые, повернув, кинулись к бронепоезду, Постышев остановился, вытер ладонью пот, высморкался и крикнул:

— А теперь в лес! Отходи! В лес! Там он нас не достанет!

Он бежал к ближайшему леску и, смеясь, кричал что-то, и все бойцы тоже бежали, орали, размахивали руками, потому что они сейчас смогли победить, они сейчас сломили в себе самое унизительное, что есть в человеке, — страх.

ПОЛТАВСКАЯ, 3. КОНТРРАЗВЕДКА

Гиацинтов ходил по кабинету, как по камере: три шага вперед, три шага назад, руки за спиной, голова

опущена на грудь, глаза закрыты. Пимезов не решался заглядывать к полковнику: тот в гневе — с утра пришла шифровка о провале операции с Блюхером.

После пяти часов непрерывного метания по кабинету Гиацинтов уехал в штаб японских оккупационных войск. Генерал Тачибана принял его незамедлительно. На лице генерала не было обычной улыбки, а это с ним крайне редко случается.

— Я скорблю, — сказал он Гиацинтову, медленно шедшему от двери к столу, — что ваши люди столь бездарны. В разговорах они у вас прозорливцы и мудрецы, а как до дела, так сразу начинаются «временные неувязки». Обычная русская манера, сколько вас ни учи, право слово.

— Генерал, я пришел к вам не выслушивать нотации, но получить разрешение на действие.

— Вам столько раз давались разрешения на действия, что вы уже сейчас должны были бы сидеть хозяином на Лубянке, а не в Полтавском закоулке!

— И тем не менее я прошу вас меня выслушать.

— Э! — генерал устало махнул желтой сухой рукой. — Надоело, полковник, надоело.

— И тем не менее, — настойчиво повторил Гиацинтов, — я прошу меня выслушать, потому что ни с кем из наших я говорить об этом не стану.

— Ну, давайте же, наконец...

Генерал опустился в кресло, Гиацинтову сесть не предложил и стал задумчиво смотреть в широкое окно на город.

— Ваши официальные представители должны сказать госполитохрановским чекистам, чтобы они в Чите завтра утром сняли с дайренского поезда, из второго вагона, место номер двадцать четыре, уфимского мещанина Поназырина. В воротничке его френча должны быть зашиты письма к генералу Гржимальскому и удостоверение личности этого мещанина, выданное мною здесь на имя князя Мордвинова.

Лицо генерала дрогнуло. Он медленно повернул голову к Гиацинтову, почесал мизинцем левый глаз и спросил:

— Это он должен был провести операцию с Блюхером?

— Именно.

— Вы хотите теперь рассчитаться с неудачливым агентом?

— Отнюдь нет. Просто я хочу подтолкнуть время. Вы же помните, генерал, какие показания должен дать Мордвинов в случае провала.

— Помню. Он должен скомпрометировать кадровых военных, к которым сейчас Блюхер станет обращаться особенно настойчиво. Что ж, любопытно. Озлобленный агент — ненужный агент. Ладно, мы продумаем все это. Поставьте в известность премьера! Это в какой-то мере утихомирит его гнев, когда он узнает о провале с Блюхером.

— Видите ли, генерал, князь Мордвинов находится в родстве с женой Николая Дионисьевича Меркулова, так что здесь только мы с вами партнеры, потому как и операцию вместе задумали, и кандидата вместе утверждали.

Генерал осторожно, с улыбкой глянул на Гиацинтова.

«Мальчик мне угрожает, — подумал он, — бедный мальчик. Он думает испугать Меркуловыми. Ай-яй-яй! Чувств у них много, а вот с разумом и анализом дело обстоит значительно хуже. Тем не менее самое разумное сейчас — это испугаться. Этот испуг на будущее пригодится, мои преемники им воспользуются, когда будут работать с Гиацинтовым. Они ему напомнят, как он меня пугал и кем он меня пугал. Он будет думать, что победил, а они его потом носом в грязь».

— Да... Тогда, конечно, дело меняется, мой милый Гиацинтов. Как говорится, мы с вами одной веревочкой повиты. Бедный русский князь Мордвинов. Мне жаль его. Говорят, он одаренный музыкант. Тем лучше, значит, он экспансивен, а ЧК ценит экспансивные показания...

— Про музыканта от кого информацию получили, ваше превосходительство? Он ведь эту свою страсть скрывал, я лишь раз, по дружбе, был им допущен на музыкальный вечер: он играл на своих виолончелях. Больше он никого не звал, и я это в его карточку не вносил. Откуда же вы осведомлены?

— Первая задача разведчика — знать тайные страсти окружающих, — улыбнулся Тачибана. — Да, кстати, мои контрразведчики сочли возможным подсказать вам имя одного молодого спекулянта с биржи. Его зовут Чен. Он весьма занятен и очень не прост, как кажется с первого взгляда. Только прошу вас — не спугните его, этого вам моя контрразведка не простит.

КВАРТИРА ФРИВЕЙСКОГО

— Послушайте, Алекс, — сказал Исаев устало, — мы с вами уже битый час толчем воду в ступе. Не хотите иметь со мной больше дел — не надо, Господи Боже ты мой! Вы достаточно уже сделали как истинный патриот России и белого движения. То, что вы мне передали сейчас, поверьте, Высший монархический совет благодарно запомнит, и запомнит надолго. Вы оказали им громадную, неоценимую услуту, а теперь начинаете разыгрывать истерику.

— Это не истерика! Я не могу спать! Я всего боюсь! Мне кажется, что за мной смотрят! — жарко зашептал Фривейский. — Мне кажется, что паркет колышется, понимаете вы?! Я борюсь с желанием пойти к Гиацинтову и упасть перед ним на колени!

— Если вы думаете, что это вам поможет, идите и падайте. Ниц ли, на колени — один хрен. Только вы сразу же тогда станете государственным преступником...

— И вы тоже! — приблизившись еще больше к Исаеву, торжествующе пропел Фривейский. — Вы тоже, стальной мужчина!

— Я нет. Почему я? Совсем нет. Можно подумать, что я уговаривал премьер-министра не увозить красных! Можно подумать, что это я забирал к себе домой для «работы» планы японских поставок для белой армии! Можно подумать, что я передал для сведения журналисту совершенно секретный план зимнего наступления! Идите и падайте на колени, Алекс, но меня в ваши дела не путайте. А если вы на грани помешательства — вызовите доктора.

— Как? — медленно отодвигаясь от Исаева, спросил Фривейский. — Вы сказали — умственное расстройство? А что? Это выход, между прочим. Почему вы молчите?!

— Потому что вы болтаете ерунду, мой друг. Подумайте, в какое вы меня ставите положение? Как мне докладывать Берлину? Что мне докладывать Берлину?

— Макс, — снова перейдя на шепот, сказал Фривейский, — но мне особенно страшно, потому что я подумал: а ведь вы не из Берлина!

— А откуда же?

— Зачем Берлину план зимней кампании? Кто этот план туда доставит? Что он им даст? Почему их люди не приедут сюда открыто? Кому этот план более важен? Берлину или Москве, а?

— Пожалуй, Москве, — ответил Исаев рассеянно, — то есть даже наверняка Москве. А к чему вы это? Уж не считаете ли вы меня агентом ЧК?

— Вот именно, — обрадовался Фривейский, — иногда мне кажется, что вы особенно интересуетесь тем, что важнее всего Москве.

— А как же иначе? Меня это интересует больше всего. Потому что движение наше направляется из Берлина прежде всего против Москвы, разве это не очевидно? Нам необходима широкая картина, Алекс, а то, что делаете вы, — это одна из сторон панно. Не переоценивайте себя, не пугайте себя, не надо. Кстати, не поговорить ли мне с Гиацинтовым?

— О чем?

— Ну, скажем, о его сотрудничестве с нами.

— Это с кем же?

— С вами и со мной.

— Вы с ума сошли! Этот зверь нас уничтожит.

— Да?

— Конечно! Вы его не знаете, я зато его очень хорошо знаю!

— Горяч?

— Только на охоте. В жизни хитер, как дьявол.

— Алекс, молю, не отказывайтесь — я принес вам немного денег, это фунты, они тоже хорошо ходят, повеселитесь или переведите на ваш счет и не записывайте в реестр долгов.

— Если бы вы жили все время рядом со мной, я бы так не волновался. Когда вы подле — я спокоен.

— Может статься, я к вам перееду. А что? У нас будет прелестный дом. Заведем девочек из Южной Америки, они все танцовщицы и душки. Нет?

— Перестаньте, право.

— Ну, до свидания, Алекс, я буду послезавтра, мне хочется увезти вас куда-нибудь и развеселить.

ВЛАДИВОСТОК

Исаев спускался по Алеутскому — к вокзалу. Все заборы были заклеены приказом главнокомандующего Молчанова: «Братья! Тот, в ком горит любовь к Родине, придет в наши ряды, наша награда — деревянный крест. Мы — смертники. Мы не хотим жить без России, умираем за нее и будем умирать, пока она не воскреснет...»

Исаев поднял воротник пальто и пошел дальше. Он

шел и думал: «Наша награда — деревянный крест, мы — смертники. С такими лозунгами надо призывать тараканов жрать — все разбегутся. А почему такая глупость? Потому что писал и умильно плакал, любуясь собой и своим мужеством. В бронепоезде с теплым сортиром быть мужественным легко. В окопах на сорокаградусном морозе — трудней».

Сашенька обещала прийти к трем часам. Смешной человечек. Исаев вспомнил, как однажды он сказал Дзержинскому: «Не могу влюбиться, Феликс Эдмундович, потому что моей профессии противна любовь к женщине. Она расслабляет. Для меня любовь не спорт, который помогает набирать силы, для меня это нечто громадное, силы отбирающее».

Возле вокзала все тумбы были заклеены огромными объявлениями, куда как бóльшими, чем молчановский приказ:

«Новый боевик Макса Линдера в театре на улице Петра Великого, 81, под названием «Она поклялась любить только военных!». Слабонервных и страдающих ожирением просим не ходить, потому что никто из них не выдержит гомерического хохота».

«Для всех народов все дороги ведут в Рим, а для охотников-промысловиков во Владивостоке только одна — к Василию Петрову на Семеновский базар, нумер сорок первый».

Больше всех бросалось в глаза объявление:

«Лучшая водка — «Нега Лазариди» тройной очистки. Светланская, 18. Мерси за внимание!»

Исаев вспомнил: Унгерн, перед тем как повести свои войска на красную Сибирь и ДВР, дал интервью представителям американской и эмигрантской русской прессы. Он сказал: «Чтобы русские смогли побороть свою психически врожденную неполноценность, я ввел в моих войсках безграничное полъзование водкой, опием и гашишем».

Другое объявление гласило:

«Страшен человек, накормленный досыта, утверждает Библия. Приглашаем всех в нашу диетическую столовую. Гарантируем выход из-за стола с чувством легкого голода. Обслуживание — лучшие девушки города».

«Понятно, — подумал Исаев. — Над Библией глумятся, заманивают в бордель, сволочи. Пузатым старичкам только про диетическую столовую с девочками свистни, они все сразу поймут, сукины дети».

* * *

Сашенька — ломкая, быстрая, тоненькая — шла к Исаеву, чуть не бежала. С мороза румяная, красивая, раскосоглазая, словно японочка, улыбчивая; лицо доброе, есть такие женские лица: только глянь — и сразу делается радостно, даже если перед тем тоска была...

— Вы замерзли, бедненький Максим Максимович?

— Самую малость.

— Зачем же вы на ветру стояли? Это неразумно.

— Разум — это дикий зверь, его место под лавкой.

— Что станем делать? — улыбнулась Сашенька.

— Вы просили показать вам город с черного хода? Вот я и стану вам его показывать.

— Прекрасно. Откуда начнем?

— С пакгаузов. Посмотрим, что привезли пароходы, видите, сколько их у причалов? Помните, в «Онегине»:

Глядишь — и площадь запестрела.
Все оживилось; здесь и там
Бегут за делом и без дела,
Однако больше по делам.
Дитя расчета и отваги,
Идет купец взглянуть на флаги,
Проведать, шлют ли небеса
Ему знакомы паруса.
Какие новые товары
Вступили нынче в карантин?
Пришли ли бочки жданных вин?
И что чума? и где пожары?
И нет ли голода, войны
Или подобной новизны?

— Как страшно, Максим Максимович.

— Отчего?

— Будто он про наше сегодня писал.

— Ничего страшного. Просто он гений. А дальше, помните?

Но мы, ребята без печали,
Среди заботливых купцов,
Мы только устриц ожидали
От цареградских берегов.
Что́ устрицы? пришли! О радость!
Летит обжорливая младость
Глотать из раковин морских
Затворниц жирных и живых,
Слегка обрызнутых лимоном.

Шум, споры — легкое вино
Из погребов принесено
На стол услужливым Отоном;
Часы летят, а грозный счет
Меж тем невидимо растет.

— Но ведь это же про нас! «Часы летят, а грозный счет меж тем невидимо растет». Мы пьем, смеемся, а мужики вилы натачивают. Вон наша горничная на меня волком смотрит. Действительно, только в России могли так легко и бездумно отдать большевикам в октябре свободу, завоеванную в феврале.

— Отдали такую же свободу, как у нас? Здесь?

— Конечно.

— Вы считаете, что наша здешняя ситуация может считаться эталоном свободы?

— В некотором роде.

— Да?

— Да! Да! Да!

— Только, пожалуйста, не начинайте еще интеллигенцию нашу бранить, обидно за интеллигенцию, когда ее топчут. Как с кем надо счеты свести или повод для ужина необходим — так айда бранить интеллигентов.

Они прошли контрольный пункт. По журналистскому удостоверению охрана пропустила Исаева, подобострастно козырнув ему, — провинция испытывает благостный страх перед прессой. Вдали, за третьим пакгаузом, построенным совсем недавно из американского ребристого металла, стояла цепь японских солдат с винтовками наперевес. Было слышно, как на причале протяжно скрежетал плохо смазанный кран. Разгрузку вели русские — это было ясно, потому что старший кричал басисто:

— Майнай легко, то ж тебе не баба с цицками, а кабриолет с пушкой!

Начальник последнего караула, маленький японский унтер-офицер в очках, быстро посмотрев удостоверение Исаева, улыбчиво ответил:

— Нельзя идти.

— Почему?

— Нельзя идти, — повторил он, еще более обворожительно улыбаясь. — Там русские люди ругаются бранными словами, которые недопустимо слушать такой очаровательной барышне.

Из-за пакгауза выскочил Чен — как обычно франто-

ват, в руке тросточка с золотым набалдашником, пальто — короткое, как сейчас вошло в моду в Америке, островерхая японская шапка оторочена блестящим мехом нерпы, лицо лоснится; видно, с утра получил в парикмахерской массаж с кремом-вытяжкой из железы кабарги — кожа делается пахучей, эластичной, и морщины исчезают. А откуда у Чена морщинам взяться, когда ему двадцать четыре года. Хотя морщинки у него под глазами есть: как-никак четыре года он работает в белом тылу, когда ночью каждый шорох кажется грохотом, а днем в любом, идущем сзади, видишь филера.

Чен подскочил к унтер-офицеру, что-то сказал ему по-японски, быстрым жестом сунул в руку зелененькую банкноту, унтер отвернулся, и Чен провел Исаева с Сашенькой сквозь строй японских солдат. Те смотрели мимо и вроде бы не видели троих людей, которые прошли, касаясь их плечами.

— Что вы ему сказали? — спросила Сашенька.

— О, я прочел ему строки из Бо Цзю-и, — ответил Чен.

— У нас сегодня день начался с поэзии, — улыбнулся Исаев.

— Что это за стихи?

— Это не стихи. Скорее, это труд по практической математике великого китайского мудреца — так совершенны рифмы.

Они вышли на причал. Громадный кран, размахивая стальной шеей, поворачивался, спуская вниз, на бронированную платформу, огромный зеленый танк. Три танка уже были сгружены, и возле них возились японские техники, объясняя русским офицерам, как заводится мотор. Сейчас, когда машины ревели, пуская из выхлопных труб клубы черно-синего дыма, казалось, что стреляют из пулеметов.

— Какие страшилища, — сказала Сашенька, — словно животные из каменных веков.

— Каменный век был один, — улыбнулся Исаев, — эпохи в нем — разные.

— Еще семь штук осталось, — заметил Чен. — Правда, что-то стряслось с краном, боюсь, испортился.

— А отчего разгружают каппелевские солдаты?

— Видимо, не надеются на грузчиков.

— Понятно, — задумчиво сказал Исаев, провожая взглядом раскачивающийся в воздухе танк.

Вдруг в кране что-то хрустнуло, застонало, потом

тонко завизжало, и танк, нелепо перекувырнувшись в воздухе, грохнулся на камни. Раздался звон, будто разбили громадную музыкальную шкатулку.

— Стойте здесь, — попросил Исаев девушку, а сам с Ченом побежал к разбитой машине. Танк лежал на боку. Дула крупнокалиберных пулеметов были погнуты, потому что удар пришелся как раз на них.

Чен и Максим Максимович походили вокруг машины, сокрушенно покачали головами и двинулись обратно, к Сашеньке. Исаев полуобнял Чена и незаметно сунул ему в карман его модного, с оторочкой пальто маленькую записочку-шелковку.

— Немедленно в центр, — сказал он. — А теперь по поводу танков. Поломка крана здесь не поможет, они его быстро починят. Надо что-нибудь придумать с бензином. Добавлять в бензин воды с соляной кислотой — вся подача полетит к чертовой матери. Дикость, конечно, но это единственный способ задержать танки здесь. Если они сейчас уйдут на фронт — это будет страшным ударом для нас. А шифровку — немедленно Блюхеру. Немедленно, это только что из сейфа премьера.

— Хорошо, я сделаю это сейчас же.

Исаев пожал Чену руку — и, чтобы слыхала Сашенька, громко сказал:

— Пожалуйста, выпишите мне мотоциклет непременно красного цвета, я люблю экстравагантность.

Чен приподнял свою нерповую шапку, осклабился и простоял так, пока Исаев и Сашенька не миновали цепь японских жандармов. Чен хотел было двинуться следом за ними, но заметил возле унтер-офицера подозрительного типа в синем пальто. Тип в синем о чем-то просил японского жандарма, но тот отрицательно качал головой, видно, не хотел пускать.

«Где-то я этого человека видел, — быстро подумал Чен, — надо только вспомнить, где именно. На Светланке? Или около Полтавской?»

И — от греха — он свернул за пакгауз, а здесь одному ему известными путями вышел из порта прямо к стоянкам китайских лодок, добрался до вокзала и успел передать проводнику поезда Владивосток — Харбин Грише Кикнадзе, связному красных, работавшему под видом бандитствующего контрабандиста наркотиками, ту самую шелковку с зашифрованным текстом, которую ему только что вручил Исаев. Дорого бы дал Гиацинтов за эту шелковку, потому что на ней — сведения обо всех вой-

сках, которые будут брошены на штурм Благовещенска, Читы и Иркутска. Сведения эти были известны трем людям: Меркулову, Молчанову и Фривейскому. Теперь их знали Исаев и Блюхер.

Чен дождался, пока поезд ушел, и двинулся к себе домой. Возле своего дома он по профессиональной привычке оглянулся: к нему пристроились два филера, один из них — тот, что потерял его в порту. Чен не мог, конечно, знать, что сейчас его фотографии, размноженные в десятках экземпляров, Гиацинтов показывает своим агентам и осведомителям, чтобы постараться хотя бы таким образом выйти на прошлое Чена: вдруг кто-нибудь его опознает?

«Он у нас под колпаком, — сказал Гиацинтов своим сотрудникам. — Теперь все решит время: он выведет нас на сообщников, только надо смотреть и ждать, а время — за нас».

Чен до утра мотался по городу, старался вновь оторваться от филеров, чтобы предупредить Исаева. Но оторваться ему так и не удалось: шпики, что называется, висели у него на «хвосте», и даже когда он подходил к телефонному аппарату, они тоже становились рядом, копируя прием японской контрразведки, которая первой ввела «открытый шпионаж» — вплоть до совместного посещения уборной. Чен понял, что звонить Исаеву тоже ни в коем случае нельзя. Тогда он, купив соляной кислоты, ринулся в порт, прошел, как и давеча, цепь японских жандармов и убедился, что план его был верным: шпики остались за кордоном, потому что они не могли предъявить японскому унтеру своих документов. Чен улыбнулся своим преследователям и бросился к пристани китайских джонок — считал, что теперь в безопасности, предупредит Исаева и сразу же уйдет в сопки. Но, выйдя к пристани, он увидел еще двух филеров и понял, что заперт со всех сторон. Тогда он вернулся назад, развел соляную кислоту в ведерке грязной воды и, пользуясь тем, что танки стояли за пакгаузами, в темном месте, стал заливать в бензиновые баки грязную воду, смешанную с кислотой.

* * *

Миновав пересечение шумных и нарядных Алеутской и Светланки, поднявшись вверх по Китайской, мимо редакции ванюшинской газеты, мимо охраняемого солдатами штаба японской миссии, мимо здания американской миссии, окруженного тонкими рядами колючей проволо-

ки, с пулеметчиками в воротах, Сашенька и Исаев шли по узенькой улочке — смотреть город с «черного хода».

В окнах сидели ярко намазанные женщины.

— Что это они, как на выданье? — спросила Сашенька.

— Они не на выданье. Они работают. Их стоимость от пятидесяти копеек до полутора рублей. Это знаменитый Косой тупик.

Следующий домик был веселый, с геранями на окнах и с беленькими накрахмаленными занавесками. Во дворе слышались звонкие детские голоса.

Исаев подошел к калитке и заглянул в щелку: во дворе бегали друг за другом, играя в лапту, девочки лет семи. В кресле возле террасы сидела пожилая женщина с рукоделием. Она вышивала на белом полотенце котика с мышкой. Котик был атласно-синий, а мышка красненькая, с белыми глазами.

— Это дети тех женщин? — спросила Сашенька.

— Нет. Эти девочки тоже продаются, — ответил Исаев, — только за них берут по двадцати рублей за сеанс.

После он привел Сашеньку на Миллионную. Огромный дом возвышался среди хибарок серым надгробием.

— Это опиекурильня, — сказал Исаев.

Они поднялись на второй этаж, открыли скрипучую дверь и оказались в огромной полутемной зале. Пахло мочой и густым, невыветренным табачным дымом. Курильщики опия лежали вповалку, человек пятьдесят. Кое-кто курил, но этих было меньше. Остальные стонали, что-то выкрикивали, размахивали желтыми руками, иссушенными и страшными, выли, тихо плакали, смеялись, лаяли на разные голоса.

Сашенька схватила руку Исаева ледяными пальцами и прижалась к нему. Они шли среди лежавших, кричавших и плакавших к маленькой клеенчатой двери. Исаев распахнул ее, и они оказались в пустом коридоре. Здесь, если свернуть направо, начинались отдельные кабинеты для богатых курильщиков. Миновав этот коридор, Сашенька и Исаев попали в полуподвал: здесь был зал только для китайцев. Этот зал был еще больше того, первого, где лежали русские. Окон здесь не было вовсе. Только под потолком гноилась желтым светом оплывшая свеча. Здесь было тихо, никто не кричал, как наверху, в зале для русских. Здесь тихонько стонали, потому что смотритель бил крикунов и вышвыривал их голыми на мороз. К тому же люди были до того истощены

голодом, что у них просто-напросто не было сил кричать.

Когда Исаев попал сюда в первый раз, смотритель, отставной жандарм, напудренный, как женщина, видимо гомосексуалист, похохатывая, объяснил: «Русский — он и голодный орет, и в опийном бреду, потому что в нем дух молодой. А у китайца за спиной четыре тысячи лет истории, оттого он и молчалив: ори не ори, все одно — крышка. Он это понятие усвоил с молоком матери».

Так и лежали опиекурильщики в тишине, зловонии и мраке. Глядишь, за день человека три отдадут Богу душу в шальных, красочных сновидениях — и не заметят даже, когда настанет конец. Таких здесь зовут счастливчиками.

Исаев вел Сашеньку по рабочим кварталам, он вел ее по страшным подвалам, населенным рахитичными детьми и женщинами с громадными от голода глазами. Он вел ее по ночлежным домам и сараям, где ютятся семьи; он подвел ее к ограде чумного лазарета и показал штабеля коричневых мертвецов, припорошенных желтым снегом; он вел ее через жизнь, которой она не видела.

— Я отношусь к вам добро, — сказал Исаев Сашеньке. Глаза его сейчас по-совиному круглы, лицо белое — с синевой. — Поэтому, Сашенька, пожалуйста, не надо так легко рассуждать о свободе и о русском народе.

Они ехали на извозчике по светлым вечерним улицам, ревела музыка в ресторанах; разномастная толпа спешила по тротуарам, а Сашенька не слышала ничего этого — только сухой голос Исаева:

— Эту свободу надобно ограждать штыком и японским танком? Никогда не повторяйте тех красивых словес, которые вы слышите вокруг себя. Это либо подлость, либо глупость. Вы же не глупы и не подлы, и я отношу это за счет вашего незнания.

А навстречу извозчику, на котором ехали Исаев и Сашенька, несутся мальчишки —продавцы газет. Они орут визгливыми голосами:

— Последние новости! Последние новости! Красные палачи откатываются по всему фронту! Наступление доблестных белых войск продолжается. Дни Хабаровска сочтены! Жидовский генерал Блюхер, к сожалению, не окочурился! Последние новости! Последние новости! Последние новости!

— Придержи! — крикнул Исаев извозчику, легко

спрыгнул с сиденья, купил газету, развернул ее, лихорадочно отыскивая что-то глазами, увидел сообщение о возвращении Блюхера в ДВР, вздохнул прерывисто, воротился назад и сказал:

— Большое горе — на то и большое, чтобы быстро кончиться, Сашенька. А вот маленькое горе... Оно — вокруг, только видеть надобно его, маленькое-то...

— Вы считаете то, что мы видели, маленьким горем?

— Нет. Я считаю то, что мы видели, горем громадным, но я убежден, что оно скоро кончится, иначе смысла нет ходить по земле и дышать небом.

* * *

Вечером Гиацинтов был вызван на прием к Спиридону Дионисьевичу. Три часа начальник контрразведки просидел в приемной и односложно отвечал на вопросы секретаря правительства. Гиацинтов догадывался, зачем его вызвал премьер: провал операции с Блюхером. Но, как всякий человек, он цеплялся за малейшую соломинку и мечтал о том, что Меркулов еще ничего не знает о провале с Блюхером, а вызвал его для того, чтобы отправить в Вашингтон — помочь военной миссии профессора Гаврилина. Это была затаенная мечта полковника — Гиацинтов смертельно устал. Он даже себе боялся признаваться в этом и последнее время особенно бодрился на людях. Для контрразведчика усталость подобна смерти. Иногда, вернувшись домой после страшных ночных допросов, он лежал на кровати до утра и сентиментально, несколько даже истерично мечтал о солнечном дне на берегу моря с какой-нибудь юной девушкой. Только не возле этого моря, а около другого, там, где никто не понимает по-русски, где можно кричать во все горло на пустом, бесконечном пляже, и никто не услышит твоего голоса, и тебя самого никто не узнает и никогда не сможет узнать. А у девушки с длинными голубыми глазами, в белом спортивном платье из тяжелой чесучи с красным кушаком должны быть обязательно тонкие руки, и ходить она должна чуть откинувшись назад, а грудь у нее обязательно чтобы большая и с острыми сосками. Он бы с ней жил на берегу, в доме с плоской крышей, а балки из темного дерева, окружающие террасу, увиты толстым плющом, через который пробивалось бы солнце. Они бы сидели по вечерам у лампы и читали бы друг другу Гомера и Овидия...

Дальше Гиацинтов никогда не мечтал, потому что никак не мог придумать себе занятия. Иногда он хотел

быть рыбаком и завести яхту, наподобие той, которую купил в Америке Бриннер, но рыбалка ему быстро надоела — и в мечтах и наяву. Иногда он видел себя наездником в широкополой шляпе среди пустой красной равнины. Но никогда, ни разу — с тех пор, как он сменил мундир штабс-капитана артиллерии на френч полковника контрразведки, — ни разу в мечтах он не видел себя среди людей. Он всегда видел себя одного, а девушку чаще всего со спины или только ее глаза, да и то ночью.

— Кирилл Николаевич, — вкрадчиво окликнул его Фривейский, — господин премьер-министр просит вас...

Услыхав скрипучий голос секретаря, Гиацинтов вернулся на землю, в этот деревянный кабинет, где пахло духами, как у женщины, и еще чем-то горьковатым. Возвращение это было резким, как толчок. И полковник понял, что, конечно, в Вашингтон Меркулов его не пошлет, потому что в дипломаты лезет каждый, а в ассенизаторы, вроде него, жандарма, пойди замани кого-нибудь из этой интеллигентской сволочи. Полковник понял, что речь, конечно же, пойдет о провале операции с Блюхером и разговор будет не из приятных.

— Послушайте, полковник, — сказал Меркулов, не поздоровавшись и не глядя на Гиацинтова, — я, конечно, имею забот несколько более, чем вы. Я должен читать сообщения консулов из-за границы, у меня в государстве керосина нет, маяки на побережье гаснут, я денег учительству три месяца не платил, у меня идет победоносное наступление на красных, которое не удавалось никому после Деникина, и, естественно, я не могу, я практически не имею времени разбираться с вашими вонючими агентами и доносчиками! Понятно вам?! — Меркулов задышал носом, что выражало у него высшую степень обиды. — Что я вам, пугало огородное? Ну, не вышло у вас — так и бог с ним! Но поначалу-то хоть проверьте, прежде чем своему премьеру сообщать о том, как возмущенный народ уничтожил красного министра Блюхера.

— Я хотел порадовать вас, Спиридон Дионисьевич...

— Я вам ваше превосходительство, а не Спиридон Дионисьевич! Одного конфуза с меня хватит, двух не хочу! Отправили арестованных большевиков в Китай?

— Сейчас началась погрузка.

— Отменить. Всех их оставите здесь. Чем бездельничать и искать себе легких путей, извольте-ка подготовить процесс, который покажет миру, как Москва гадит

всюду, где только начинает ослабляться бдительность! Мы должны показать органическую связь красного подполья с Читой. Надо скомпрометировать большевизм, понятно это вам?! Все. Сроку даю полтора месяца. Идите, полковник, вы мне сегодня отвратительны!

— Ваше превосходительство, позвольте подать рапорт об отставке.

— Что?!

— В отставку хочу. Лучше вагоны разгружать.

Меркулов вышел из-за стола, приблизился вплотную к полковнику, стал перед ним на мысочки: Гиацинтов был выше премьера на три головы. Поднял руки, взял полковника за уши, притянул его головой книзу — к своей.

— Глупышка, — тихо заговорил он, — ведь отец же я вам, нешто можно на меня, на старого человека, обижаться? Сердце у меня болит, под грудью щемит, ночью Бог ко мне приходит — оттого нервен я, пойми. Всяко могу сказануть, а думаю обо всех с лаской. Ноша на мне, пойми. Хочешь — попробуй, как тяжела. Горб сразу ломит, хоть ты и крепок. Мне сейчас от вас всех нужна полная самоотдача. Тогда только приведу вас к победе, к престолу и к паперти московской. — Меркулов говорил жарким шепотом, и глаза его, суженные по-татарски, светились, замерев острыми точками. — Я верю, понимаешь, верю в то, что грядет. Но ты помоги мне. В репрессиях против политических врагов дозировка не потребна. Время и точно понятые кандидатуры — вот главное, что обращает кровушку на пользу делу. Ты это запомни, это я тебе главное сейчас сказал. Тот станет у нас великим, кто пустит кровь вовремя и к месту, — тогда пущай ее хоть реки льются — это как избавление от болезни, это вроде как высокое давление спустить, страсть утихомирить, понял меня? Понял? Ну, иди, не сердись на старика, иди, красавец мой...

Первый рапорт, который прочитал Гиацинтов, вернувшись к себе, был именно тот, какого он так ждал, но и боялся: филеры из третьего отдела доносили, что после встречи в порту с «неким Исаевым» Чен испортил танки, подлив воду с соляной кислотой в бензин.

ГРАНИЦА МАНЬЧЖУРИИ И ДВР

Когда поезд пересек границу и состав остановился у платформы для того, чтобы по купе смогли пройти

таможенники, Блюхер приказал отцепить свой классный вагон и отогнать его на запасные пути.

— Но, гражданин министр, — сказал ему начальник пограничного поста, — было уже восемь телефонограмм от правительства. Вас ждут на заседание Совета Министров.

— Я понимаю, — ответил Блюхер, спрыгнув с подножки на землю, чуть припорошенную хрупчатым, мелким снегом. — Где тут у вас ближайшие войсковые соединения?

— В тридцати семи километрах, возле Чўкри-Табы. Только они, вероятно, оттуда уже снялись.

— Это почему?

— Поступил приказ — снять регулярные войска с этой границы и перебросить их на фронт под Хабаровск.

— От кого приказ?

— Не знаю.

— Когда поступил?

— Третьего дня.

— Извольте отвечать по уставу, гражданин командир.

— Семнадцатого, в девять по нулям Читы.

— Благодарю вас. Проводите меня к прямому проводу.

— Есть, гражданин министр.

В маленькой вокзальной комнатушке было сыро, холодно и грязно. Телеграфист, укутанный в бабий салоп, сидел возле окна и читал книгу. Руки у него в дамских перчатках — указательные пальцы на перчатках отрезаны, чтобы удобнее перелистывать страницы. Читал он, медленно шевеля губами, и Блюхеру видно было, как испуганно перескакивали его зрачки с буквы на букву.

— Что читаем? — тихонько спросил Василий Константинович.

— «Граф Монте-Кристо», — ответил парень, не отрывая глаз от книги.

— Понятно, — сказал Блюхер и тронул парня за плечо. — Давай, чтец-декламатор, к прямому проводу.

Начав диктовать зашифрованный текст приказа, отменявшего распоряжение о переброске войск с границы на фронт, Блюхер то и дело хмурился, потому что в соседнем зале кто-то беспрерывно кричал сорванным исте-

ричным голосом. Блюхер, досадливо морщась, продолжал:

— Мы не можем оголять границы, потому что маньчжурская территория наводнена как белобандитскими шайками, так и агрессивными китайскими соединениями. В любой момент здесь, через маньчжурскую территорию, могут быть пропущены регулярные части каппелевско-молчановской армии. Тогда они легко войдут в наши тылы, тем более что сейчас здесь и так крайне мало войск. Посему приказываю: всем регулярным войскам, сосредоточенным в погранзоне, оставаться на своих местах в состоянии полной боевой готовности.

Крик за стеной стал протяжным и длинным, словно вопль роженицы. Блюхер вскочил со своего места, бросился к двери, распахнул ее, чтобы навести тишину, и замер на пороге.

Весь зал был заполнен инвалидами войны: безрукими стариками, молоденькими солдатиками без обеих ног на тележках, слепцами с черными повязками на глазах, паралитиками, которые лежали на голом полу, завернутые в драные шинельки.

Блюхер пробился к окошку кассира, вокруг которого бесновались инвалиды, и спросил:

— В чем дело?

Кассир вздохнул и молча развел руками.

— Не отправляют пятый день! — закричали инвалиды.

— Жрать нечего!

— На полу спим, мерзнем!

— Заперли, боятся, что заграница нас увидит!

— Как последние отбросы гнием! Завезли с фронта в тупик, вывалили на станцию и бросили!

— К стене бы этих комиссаров!

— Братцы, да он сам комиссар!

Блюхер поднял руки над головой и крикнул:

— Товарищи! Дайте слово сказать!

— Чего ты скажешь?!

— Слыхали мы говорунов!

— Тихо! Только тихо! Сейчас вы все уедете по домам.

Все смолкли. Враз, будто поперхнулись криком.

— Начальника станции сюда! — грохотом среди наступившей тишины раздался голос Василия Константиновича.

— Он сейчас не может, — сказал кассир. — Он сейчас международный состав отправляет.

— Вот так всегда! — сразу закричали инвалиды.

— Международный!

— А мы дохни!

— Тихо! — снова крикнул Блюхер. — Командир погранпункта!

Из комнатки телеграфиста вышел командир пограничников.

— Задержите отправление поезда до моего особого распоряжения. Высадите всех без разбора, наши ли, иностранцы ли, подсоедините мой вагон и посадите всех инвалидов, чтобы здесь ни одного не осталось. И обеспечьте людей пайком на дорогу. Выполняйте немедленно!

— Есть, гражданин Блюхер, — ответил командир и вышел медленным, строевым шагом.

— Братцы! — заорал кто-то высоким голосом. — Это же герой Перекопа военный командир Блюхер!

— Ура главкому! Да здравствует Блюхер!

ФРОНТ

Полки Восточного фронта отступали под натиском белых. Бойцов валил тиф; они обовшивели, деревень на пути отступления не было, а если вдруг и встречались, то комфронта Серышев не разрешал останавливаться на отдых, стараясь как можно дальше оторваться от противника, чтобы занять оборону под Хабаровском и там, став под защиту бронепоездов, постараться отбить белых.

Снег засыпал армию, по таежным тропкам к Амуру пробирались смертельно уставшие, обмороженные люди, многих несли на самодельных носилках — сыпняк свирепствовал вовсю; тащили на себе пушки, потому что лошади пали от бескормицы.

Постышев осунулся, щеки запали, в усах стала пробиваться седина, и шея из гимнастерки торчала по-цыплячьи жалобно.

Огромной, редкой и рваной цепочкой растянулась армия по тайге, отступая к Хабаровску.

...А Блюхер сидел в Чите, в штабе, в комнате радистов, у прямого провода с Хабаровском.

— Записывайте разговор, — попросил он дежурного, — копию — в ЦК.

«У аппарата член Военного совета Приамурского военного округа Мельников.

Б л ю х е р. Бегло ознакомившись с обстановкой, замечаю ряд крупных недостатков в управлении, требующих немедленного устранения.

1. Отсутствие мер охранения и разведки как по фронту, так и на флангах. Ссылка на отсутствие конницы не оправдательна, это можно организовать на подводах, беря их у населения.

2. Отсутствие маневрирования, доходящее до того, что появление в тылу 60 человек влечет к отходу всей группы. Такое положение, если оно будет продолжаться, приведет к окончательной деморализации и полной потере уверенности частей в своей силе.

3. Оставление противнику целым железнодорожного пути говорит о растерянности командования, не принимающего мер к подрыву и разрушению путей, мостов и водоемных зданий, даже тех, кои уже заминированы.

4. Отсутствие связи Хабаровска с фронтом, последнего с отдельными частями.

5. Отсутствие мер, направленных к приведению частей в порядок и восстановление утраченной дисциплины. Ваше заявление о том, что части дерутся хорошо, малоправдоподобно. Непрекращающийся отход без хотя бы одного боя, в котором бы противнику было нанесено поражение, является доказательством вышеизложенного.

6. Неиспользование всех имеющихся в вашем распоряжении средств борьбы и обороны, в частности так называемых конных батарей, применение которых в условиях вашей местности крайне полезно.

7. Неумение примениться к тактике противника, действующего небольшими обходными колоннами на тыл и фланги ваших частей, парировать которые следует выделением небольших резервов, располагая их в тылу и уступами на флангах. Вот ряд правил и необходимых мероприятий, обусловливающих успех, если они выполняются, и разгром, деморализацию, постоянный отход из-за угрозы быть обойденными, если ими пренебрегают. Кроме того, судя по сводкам, ваша группа, отходя, никак не может расстаться с эшелонами. Это напоминает мне войну в начале 1918 г., которую вели красногвардейские части в Советской России. Все это следует учесть и немедленно принять меры к устранению указанных мной недостатков. Кроме того, немедленно же примите действенные меры к приведению в порядок и сбору рассеявшихся партизан Приморья, дав им задачу непрестанными набегами разрушать ближайший тыл противника, действуя на

его пути, линии снабжения, на отдельные двигающиеся части, разрушая связь и изыскивая меры лишить противника видов снабжения на местах, до ближайшего тыла, примерно от ст. Уссури и севернее в полосе Уссурийской дороги, и беспокоить отдых противника, совершая ночные нападения на места его ночлегов и расположений. Также надлежит положить предел нападению противника на ваш тыл и фланги. В этом отношении необходимо вырвать у противника инициативу и своим контрнападением на фланги и тыл противника через Уссури прекратить его нападения.

Теперь еще два вопроса.

Кто командует Амурским районом и где проходит его граница с Хабаровском? Вообще, сообщите завтра, как полагаете организовать безопасность своего тыла и покрылась ли льдом река Уссури?

Мельников. Командует Амурским районом комполка тов. Фадеев в пределах административных границ области. Лед на Уссури достаточно крепок для продвижения всех родов оружия. Все ваши указания принимаю к исполнению, по некоторым пунктам имею разъяснения, которые прошу разрешения сообщить завтра.

Блюхер. У меня вопросов больше нет. По приезде тов. Серышева в штаб ознакомьте его с нашим разговором, и если у него возникнут новые вопросы или будут новые сведения с фронта, то меня можете вызвать в 24 часа, т. к. этот промежуток времени уйдет у меня на заседание с мининделом. Во всяком случае, завтра передайте тов. Серышеву, что мне с ним необходимо поговорить, примерно часов в 12 по читинскому времени. Пока же желаю вам успеха, бодрости и твердой решительности. Не отдавать Хабаровска, помня, что потеря Хабаровска для нас будет иметь неисчислимые тяжелые политические последствия в Вашингтоне и Дайрене, где при условии занятия Хабаровска меркуловское правительство может быть признано равноценным с Правительством ДВР. Всего хорошего, успеха вам и привет тов. Серышеву и тов. Постышеву».

ПЛАЦ ЧИТИНСКОЙ ОТДЕЛЬНОЙ БРИГАДЫ

Каждый день ранним утром, когда еще не рассвело, Блюхер проводит с войсками строевые учения: учатся люди брать укрепрайоны, рвать проволоку, биться в траншеях. А после — занятия на плацу.

Гремит духовой оркестр. Медь труб аж синяя от мороза. Замер на кауром жеребце Василий Константинович. Мимо него, печатая шаг, идут бойцы Читинской отдельной бригады, одетые в добротные полушубки и «богатырки» — высокие шапки, точь-в-точь буденовки. Бойцы так сильно вколачивают шаги в землю, что даже лица их трясутся и штыки при каждом новом шаге чертят воздух — вниз-вверх, вниз-вверх!

— Отставить! — протяжно командует Блюхер. — Вторая шеренга, плохо мысок тянем. Не годится. И равнение не так держите — плечами, как волнами, ходите, граждане бойцы. Не годится. А ну еще раз! Шагом а-арш!

И снова гремит оркестр, и снова бойцы идут церемониальным маршем мимо главкома, который сидит в седле как гранитный и честь отдает рукой без перчатки, а мороз — тридцать три ниже нуля.

— Отставить! — яростно кричит Блюхер. — Последняя шеренга: не яйца несете, а винтовки! Потуже их к боку прижимайте, не побьются. Шагом а-арш!

Грохочет оркестр, трубачи посинели с натуги, губы примерзают к трубам, идет бригада церемониальным маршем мимо Блюхера, а он слышит, как за его спиной командиры глухо ропщут:

— Наших под Хабаровском бьют, а он тут гусиному шагу учит.

— Балуется в войну. Проиграем то, что завоевали партизаны в двадцатом году!

А Блюхер, не поворачивая головы, командует:

— Отставить! Граждане бойцы второго батальона, не бойтесь ногу повыше поднимать, от этого, кроме пользы, ничего не будет! Ну-ка, ша-агом арш!

РАЗВЕДУПР ВОЕННОГО МИНИСТЕРСТВА

Блюхеру сообщили, что пришла шифровка из Владивостока чрезвычайной важности. Василий Константинович прервал совещание по снабжению армии продовольствием — оно шло уже пятый час кряду, сразу же пошел к шифровальщикам. Обхватив свою громадную бритую голову сильными пальцами, он начал читать сообщение Владимирова о готовящейся зимней кампании, он читал сообщение о количестве бронепоездов, орудий и солдат, которые подтягиваются к фронту, он узнавал все то, что составляло важнейшую государственную тайну белого движения.

Он читал это сообщение и видел за колонкой цифр и строчками текста лицо того разведчика, с которым Дзержинский познакомил его перед отъездом из Москвы. Тогда лицо Владимирова показалось ему чересчур молодым, слишком улыбчивым и холеным. И вот сейчас, читая его донесение, которое поможет ему, Блюхеру, построить свою оборону так, чтобы она оказалась роковой для белых, он видел совсем иное лицо Владимирова, он только сейчас угадывал в нем и понимал те черты, которые тогда, в Москве, казались ему неинтересными и ничего не значащими. И чем дальше читал Блюхер, тем острее в нем рождалось чувство мужской, доброй любви к тому человеку, который сейчас там, за кордоном, один, совсем один.

— Пожалуйста, — сказал Блюхер одному из своих помощников, — заготовьте приказ о награждении орденом Красного Знамени и золотым оружием.

— Кого?

— Товарища номер девятьсот семьдесят четыре, — ответил Василий Константинович.

— А фамилия?

— Это и есть сейчас его фамилия, — ответил Блюхер. — Прекрасная фамилия — «товарищ 974».

ПРИЕМНАЯ БЛЮХЕРА

Василий Константинович вызвал для беседы двух бывших генералов царской армии и одного полковника генштаба. Адъютант извинился за опоздание военного министра — еще не кончилось заседание Совета Министров.

— Я попрошу вас подождать гражданина Блюхера.

— По какому поводу я вызван сюда? — спросил генерал, одетый в потрепанный штатский костюм.

— По-видимому, речь пойдет о нашем возможном участии в работе штабов? — уточнил полковник.

— Да, по-видимому, — ответил адъютант.

— Если я сейчас уйду, это не повлечет за собой физического уничтожения моей семьи?

— Нет, не повлечет, генерал.

— В таком случае всего хорошего.

И генерал в штатском вышел из кабинета.

Двое оставшихся, стараясь не глядеть друг на друга, сели в кресла. Глухо ударили часы — высокие, из черного резного дуба. На столе адъютанта то и дело звонили

телефоны, в приемную заходили секретари, работники отделов, курьеры с фронта. Они переговаривались с адъютантом Блюхера тихими, смертельно усталыми голосами — когда армия отступает, в штабах страдают бессонницей.

Блюхер появился стремительно; ни на кого не глядя, прошел в свой кабинет. Полковник и генерал переглянулись.

— Кто этот молодой человек? — спросил генерал, кивая головой на дверь, только что закрывшуюся за Блюхером.

— Военный министр.

Адъютант скрылся за дверью. Через мгновение он вышел.

— Министр приглашает вас, граждане.

— Присаживайтесь, — сказал Блюхер вошедшим.

— Благодарю, — сухо ответил полковник.

— Спасибо, гражданин министр, — чуть улыбнулся генерал.

— Вам известно об аресте группы бывших военных во главе с Гржимальским? — глухо спросил Блюхер.

— Что?!

— То! — рассвирепел Блюхер. — То самое!

— Генерал Гржимальский честный человек...

— Я воевал с ним в Галиции...

— Ладно. Я пригласил вас не за этим. Просто мне полчаса назад об этом сообщили из госполитохраны — они сейчас заканчивают аресты белых заговорщиков, а я давеча генерала Гржимальского внес первым в список — побеседовать и постараться найти платформу для совместной работы.

— Здесь не могло быть ошибки? — спросил полковник. — Генерал Гржимальский всегда был вне политики, он кадровый военный и патриот.

Блюхер стремительно глянул на собеседника, свел брови в одну мохнатую линию, хмыкнул.

— Граждане кадровые военные, — сказал он после паузы, — позвольте мне перейти к главной части нашего разговора. Поскольку вы часто божитесь своей любовью к матушке-России, я хотел бы ознакомить вас с тем ультиматумом, который Япония выдвинула нам в Дайрене. Мы не приняли его. Вот, извольте.

Генерал и полковник жадно прочитали документ и возвратили его Блюхеру.

— Когда мы отказались принять эти позорные для

русских условия, против нас по приказу японцев выступили белые во главе с Молчановым. Итак, вопрос на сообразительность: с кем сейчас должен быть русский патриот, любящий «матушку-родину», — с меркуло-молчановцами или с большевиками? Отвечать прошу по принципу «да — нет», всяческая хреновина надоела — спасу нет.

— Позвольте не отвечать на ваш вопрос, ибо Молчанов мой боевой друг, я с ним вместе мерз в окопах.

— Хотите быть чистеньким, генерал?

— По отношению к другу я обязан быть чистым.

— А по отношению к родине?

Молчание.

— Хорошо. Можете не отвечать. Благодарю вас за то, что нашли время прийти. Всего хорошего.

Молчание.

— Я вас больше не держу. Вы вольны уходить.

Но генерал не уходил. Он поглаживал костлявые колени худыми, длинными пальцами, смотрел мимо Блюхера в стену, на оперативную карту, изрезанную острыми синими стрелами.

— Ну а вы, полковник? — спросил Блюхер. — Если согласны помочь нам, то завтра же получите назначение в оперативный отдел штаба Восточного фронта.

— Я не могу преступить грань. Большинство моих друзей находится в рядах тех, кто против вас. Я — ни за них, ни против вас. Я за родину, простите великодушно за драматизм ответа.

— Понятно. Всего хорошего. Вы свободны.

Генерал и полковник вышли из кабинета. В приемной возле адъютанта стояли три человека в кожаных куртках.

— Генерал Табаков?

— Да.

— Полковник Бахнов?

— Совершенно верно.

— Следуйте за нами, вы арестованы.

Полковник скривил губы в презрении.

— Боже, какую комедию разыгрывал этот мальчик!

* * *

В десять вечера Блюхера снова вызвали к радистам на связь с Хабаровском.

«У аппарата заместитель Главнокомандующего Народно-революционной армии Серышев.

Блюхер. Примите ряд указаний, необходимых для срочного проведения их в жизнь.

1. Мобилизуйте партийные силы обеих областей и вливайте их в части для придания им устойчивости.

2. Немедленно приступите к сокращению тылов до минимума и таким образом выделяемые силы тоже направьте на укомплектование частей.

3. В целях придания подвижности артиллерии и пополнения конским составом полевых частей произведите мобилизацию конского состава в городах Хабаровске и Свободном, и если по условиям явится возможным, то и в крупных селах, уездах. Немедленно верните в войска уволенных по семейным обстоятельствам в Приморской и Амурской областях. В целях лучшего руководства мобилизацией, а также для организации тыла необходимо часть штаба округа перебросить в Благовещенск.

4. Примите исключительные меры к сбору рассеявшихся приамурских партизан, дав им задачу нападения на ближайший тыл наступающих частей противника, примерно на участке ст. Уссури и севернее, а также примите меры к интенсивной организации партийных ячеек.

5. Ускорьте эвакуацию Хабаровска.

6. Укажите комсоставу на необходимость маневрирования, обеспечивающего от обхвата флангов и нападения на тыл их, что можно достигнуть путем выделения небольших отрядов уступом за своим флангом. В целях лучшей разведки и охранения недостаток конных частей заменяйте пехотой, сажая ее на подводы, взятые у населения.

7. Прибывающий Амурский полк не распыляйте выбрасыванием на фронт отдельных рот и батальонов, а держите его сосредоточенно для удара по противнику.

8. При отходе позаботьтесь о порче пути железной дороги.

9. Историю с боем под Лончаковом, где, судя по потерям, комсоставом не было проявлено должной распорядительности в организации разведки и мер охранения, не следует оставлять без наказания.

10. Для лучшего использования всех средств обороны, а также в целях достижения твердого управления войсками и тылом назначаю вас командующим войсками Приамво.

11. В целях большего придания бодрости вашим частям мною приказано начальнику снабжения немедленно выдать жалованье начиная с декабря месяца. Деньги

для этой цели в сумме 40 000 в золотом рубле на декабрь месяц высылаются завтра. Меры к обеспечению вас деньгами также принимаю. Пока же договоритесь о получении из Хабаровского госбанка 16 000, кои будут мною возвращены Правительству здесь. Для обеспечения вас продовольствием завтра в распоряжение Рябова в Благовещенск будет выслано 200 тысяч рублей, и, наконец, Военсовет и Дальбюро настоятельно требуют от вас принятия всех мер и использования всех средств в целях обороны Хабаровска, который вы должны во что бы то ни стало удержать в своих руках, помня, что потеря его влечет тяжелые политические последствия для республики. Желаю вам успеха и победы вашим частям».

ТЮРЬМА

Поздняя ночь. По длинному тюремному коридору, жутко-гулкому, полутемному, освещенному подслеповатым светом керосиновых ламп, Блюхер шел в сопровождении двух работников госполитохраны. Возле камеры, где содержатся арестованные генералы и офицеры, Блюхер остановился. Обитая толстым железом дверь с маленьким глазком тяжко визжала, когда ее распахивал охранник, Блюхер вошел в камеру. Арестованные лежали на скрипучих нарах, укрывшись шинелями.

— Принесите лампу, — попросил Блюхер охранника.

Генералы поднялись с нар, кто-то тяжело вздохнул. В камеру принесли три лампы, стало светлее. Благообразные лица, седые усы, бородки клинышком, пенсне, порода в осанке — все это увидел Блюхер и вдруг, неожиданно для самого себя, добро и очень грустно улыбнулся.

— Перепугались? — спросил он. — Ничего, сейчас будем разбираться.

В коридоре слышны шаги и крики. В камеру втолкнули князя Мордвинова. Его держали два жилистых надзирателя. Лицо у князя белое, плоское, перекошенное тиком.

— Кто знает этого человека? — спросил Блюхер.

— Я, — ответил седоусый старик.

— Ваша фамилия?

— Гржимальский.

— Кто этот ваш знакомый?

— Князь Мордвинов, поручик.

— Когда он последний раз виделся с вами?

— Он служил в моей дивизии во время войны против германцев, честно и храбро служил...

— Я спрашиваю, когда он видел вас здесь, в Чите, во время совместной работы по организации контрреволюционного путча.

— Я отказываюсь отвечать на провокационные вопросы.

— Мордвинов, — попросил Блюхер, — скажите, когда вы в последний раз виделись в Чите с руководителем белого заговора Гржимальским? Вы не хотите отвечать? Вы не будете отвечать? Хорошо. Гражданин следователь, покажите генералу Гржимальскому показания Мордвинова.

— Бесполезно. У меня изъяли очки, — сказал Гржимальский.

— А мы вам прочтем.

— «Генерал Гржимальский, — начал читать Блюхер страничку из показаний Мордвинова, — закончив организацию заговора, назначил день выступления, сигналом к которому должно быть убийство министра Блюхера, подготовленное Табаковым и полковником Бахновым».

Генералы Табаков и Гржимальский усмехнулись, а полковник Бахнов тяжело опустился на табурет.

— Это вы писали, Мордвинов? Снова молчите? Ладно. Не отвечайте мне — ответьте вашим друзьям.

Молчание; так тихо стало, что слышно было, как соломенная труха шелушилась в тонких матрацах.

— Хорошо, — сказал Блюхер, — мы сейчас уйдем из камеры. Но я прошу генерала Гржимальского или любого другого выборного из вашей среды выяснить у Мордвинова, он ли давал эти показания.

Блюхер и его спутники вышли из камеры. Они молча прохаживались по длинному полутемному коридору.

— Бросили бы вы курево, право слово, — раздраженно сказал Василий Константинович госполитохрановцу, который беспрерывно пыхал трубочкой, — себя ж травите и людям дышать не даете.

— Так ведь греет... И от голодухи, обратно, спасает.

— Сволочь какая, а? — удивленно, словно разговаривая с самим собой, сказал Блюхер и завертел головой из стороны в сторону, будто ему воротничок жал.

— Это вы про кого?

— Про князя. А табак нисколько не греет, это вы напрасно. Пошли, время.

Гулко загрохотали быстрые шаги: по коридору бежал адъютант Блюхера. Запыхавшись, он нагнулся к Блюхеру и тихо сказал:

— От Постышева шифровка. В партизанских частях восстание.

Блюхер на мгновение замер, потом резко — ногой — толкнул дверь камеры. Спросил с порога:

— Ну?

— Мы верим князю, — ответил Гржимальский, — он честный офицер. Вся эта история с заговором — грязный фокус ЧК.

— Ясно. Мордвинов, вот листок бумаги и ручка, извольте написать на имя военного министра, что вас оклеветали в госполитохране и вынудили дать ложные показания против кадровых военных. И подпишитесь. Виновные будут наказаны по закону военного времени.

Мордвинов размашисто написал на листке бумаги несколько строчек и подписался под ними. Блюхер взял листок, подул на него и сказал — тихо и свирепо:

— Ах ты, сволочь! Хитер, хитер, а дурак. Завтра же этого князя к стенке. Нечего с ним чикаться, с негодяем. У кого из вас есть очки? — спросил он генералов.

Никто не отвечал.

— Я спрашиваю! — кричит Блюхер. — У кого из вас есть очки?! Если у вас нет зрячих — тогда черт с вами со всеми! Некогда мне с вами разводить канитель! Вот показания Мордвинова, которые он против всех вас писал здесь, в тюрьме. Вот его донесения во Владивосток к Гиацинтову, а вот что он сейчас написал! Зрячие увидят — все написано одной рукой! Извольте убедиться перед тем, как я вас всех отпущу по домам!

— А-а-а! — взвыл Мордвинов, бросившись к генералам. — Они били меня, они били меня, господа! Они вынудили меня написать это! Они втыкали мне иглы под ногти! Они мучили меня!

— Когда вас арестовали?! — тихо спросил Блюхер.

— Три дня назад!

— Руки на табурет!

— Что?

— Руки на табурет! Где следы?!

— А-а-а!! — закричал князь и отбежал в угол камеры, в темноту.

— Разденьте его! Если увижу хоть один след от побоев, следователя пристрелю здесь же, на глазах у всех, как злейшего врага революции!

Мордвинов плакал, кричал, вырывался. Его раздели. На белом его гладком и ухоженном теле не было ни единой царапины.

— Ну? — побелев от ярости, спросил Блюхер генералов. — У меня фронт, а я тут вами занимаюсь! А вы не можете мне слова сказать — «да» или «нет»! Боитесь обидеть вашего друга генерала Молчанова. А он вас хотел всех скопом с помощью Мордвинова нашими пулями сделать национальными мучениками. Не вышло, слава Богу! Не будет из вас национальных мучеников, из вас получатся настоящие национальные обыватели. Тьфу! Хрен с вами! Плесневейте. Отпустить их всех домой! Или выдайте иностранные паспорта — пусть уматываются в Японию или в Китай, к черту!

Мордвинов выл на полу, кусал ногти, вопил и хватал за сапоги уходящих из камеры генералов.

У тюремных ворот Блюхера догнала группа генералов.

— Министр, — обратился к нему Гржимальский, — когда мы будем вам нужны?

— То есть как это «когда»? Сегодня, — ответил Блюхер не оглядываясь и быстро пошел по ночной улице — в министерство. Следом за ним по-военному быстро шли генералы. Они шли с пледами и подушечками-думками: прямо из тюрьмы — в штабы Народно-революционной армии.

ПАРТИЗАНСКИЙ ШТАБ

Над особняком, стоящим на окраине городка, вывешен красно-черный флаг, на котором белой масляной краской выведено: «Да здравствует Советская власть без коммунистов!» Здесь помещается штаб восставших партизан. У высокого крыльца щерятся фиолетовые рыла пушек. Сюда то и дело заходят люди, перепоясанные пулеметными лентами, у коновязи хрипят взмыленные кони с красными глазами, часовые с короткоствольными американскими карабинами замерли у тяжелых дверей; все в них недвижно, разве только семечки лущат, но они это делают прямо-таки артистически, работают только губы — стремительно и точно.

Сейчас в особняке идет заседание «правительства», только что «избранного» восставшими партизанами. Руководит работой правительства Колька-анархист, присво-

ивший себе звание «чрезвычайного и полномочного верховного комиссара на Дальнем Востоке, в Якутии и Камчатке». При распределении должностей он заодно взял себе звание министра иностранных дел, заместителя председателя правительства, главного казначея и министра без портфеля.

— Товарищи министры и члены, — говорит Колька собравшимся в комнате, — от имени нашего дорогого председателя правительства Ильича, первым заместителем которого я отныне являюсь, передаю вам, как очевидный факт, пламенный советский привет и ура!

«Министры», раскрыв волосатые рты, ревут что-то непонятное. Опохмелившиеся с утра никак не могут сдержать смеха, а те, которые потрезвее, быстро дожевывают хлеб, розданный партизанам по приказу Кольки-анархиста без всякого пайкового довольствия, а по принципу: кто сколько хочет.

— Я получил сегодня много поздравлений, — говорит Колька и хлопает рукой по оттопыривающемуся карману, — от членов великого Коммунистического Интернационала!

— Так мы ж против коммунистов!

— Да, против! Но мы за Коммунистический Интернационал, — надрывно возглашает Колька, — и пусть тот, кто посмеет в этом усомниться, поперхнется моей рабоче-крестьянской пулей как последний враг трудового народа! Вам все понятно, министры?

— Брось выпендриваться, Кольк!

— Я те покажу «Кольку»! Я заместитель председателя, казначей, министр иностранных дел и министр без портфеля, а не «Колька». Я тебе «Колька» в бою, когда мы вместе ринемся на гада, но тут я тебе руководитель, это очевидно как факт! Покинь зал заседания!

— Ты чего, Коль? — удивился «заместитель министра просвещения». — Это ж я, Федька.

Колька-анархист морщится, как от зубной боли, и стучит себя костяшками пальцев по лбу.

— Дурак ты, а не Федька!

— Чего ты к нему пристал? — заступаются за Федьку «министры».

— Молодой он...

— Простить надо, товарищ первый заместитель.

— Ладно, — говорит Колька, — поедешь послом в Японию, буржуям ихним от нас в суп накакаешь. «Так, мол, и так, — скажешь, — все вы, проклятые интервенты,

есть то самое дерьмо, которое увидите сейчас в своем супе с профитролями!»

Сукин сын Колька-анархист! Он как «профитроль» завернет, так все партизаны, члены нового «кабинета» и «министры», немеют от восторга. Когда эдакое интеллигент очкастый выгадючивает — так он, зараза, на нашем горбу пятьдесят лет учился и книжки читал, а если свой такие кренделя языком изобретает, значит, от Бога ему такая выпала судьба — быть заместителем премьера и буржуям при случае в суп какать.

— Первый вопрос в повестке дня, — возвещает Колька, — решение судьбы наших политических врагов. Мною арестован командир Кульков, коммунист, и его подвывала старик Суржиков. Что будем делать с Кульковым и Суржиковым, которые несут ответственность за то, что наши отступают и отдают белому гаду те места, которые мы своей кровью у японца отбили в двадцатом годе? Я слушаю ваши предложения, члены и министры, прошу, пожалуйста, записывайтесь на выступления.

— А я писать не умею, Коль...

— Но! Но! Обращение!

— Неграмотный я, товарищ заместитель.

— Ну и дурак. Чем водку жрать, книжки б читал нашего дорогого отца Карла Маркса!

— Надо Кулькова назначить твоим заместителем!

— Чего?! — сердито удивляется Колька. — Каким еще заместителем?! Я тебя спрашиваю: вешать его или стрелять, а ты мне про заместителя вякаешь! Я сам себе заместитель!

— А за что ж его вешать-то?

— А я и не утверждаю, чтоб вешать. Можно пристрелить. Это как общество порешит.

— И стрелять его не за что!

— Неважно, если не за что, — объясняет Колька-анархист, — если мы есть действительно новая власть, так для порядка бывшую власть надо пострелять.

— Если б виноватые они были, мы бы с нашим удовольствием.

— Старик Суржиков из моей деревни, у него внуков-сирот семь ртов осталось, — говорит обиженный «посол» Федька.

— Ладно, члены и министры, как лисы вертитесь. Этот вопрос все равно будет решен сегодня, а сейчас я приглашаю вас на торжественную церемонию передачи трудовому народу-хозяину его богатств, очевидных

как факт. Айда распределять склады с провиантом.

— Дело!

— Давно пора все распределить!

— Буржуев с квартир повыкидаем!

— Тут буржуев нет, все сбегли!

— Не важно! Если три комнаты — тот и есть буржуй!

— У кого рожа в очках — вот те и буржуй!

— Каждая баба — буржуйка, если она чужая!

Сбит замок.

Толпа рвется в амбары. Давка, крик, вопли женщин, звон разбиваемых бутылей. Спирт пьют здесь же, из плоских американских фляг, колют банки с вареньем, мажут друг другу лица, блюют, жрут колбасы, обсыпаются мукой, прижимают к себе хлебы.

Крик становится тонким, душераздирающим: горе тому, кто падает, — затопчут сапогами, вобьют в цементный холодный пол.

А маленький незаметный человечек, работавший с Колькой-анархистом больше полугода, едет себе с обозом к линии фронта, чтобы перебежать во Владивосток, а там отдыхать и Гиацинтову ручку жать и готовиться к новым операциям против красных.

Пришла ночь. Пьяная, страшная ночь с пожарами, воплями женщин и дурными песнями озверевших от спирта дружков Кольки-анархиста.

— Айда к Кулькову с Суржиковым! — просит Колька. — Порешим гадов!

— За батьку кого хошь! — вопят пьяные мужики. — Суржикова ногами вверх на осину!

— Братцы, мне Нюрка ухо укусила, на нитке болтается!

— Глянь, Федюня под стол писает.

— Министры, — надрывается Колька, — айда порешим политических врагов!

— Беги ты со своими врагами на хутор бабочек ловить!

— Измена? — шепчет Колька. — Всех покалечу!

Он лезет за саблей, на него наваливаются, саблю отбирают, бьют по лицу, толкают сапогами в зад, смеются и сквернословят.

— Я ж заместитель, братцы! — орет Колька. — Нельзя меня, гады! Всех поразгоню!

Он каким-то чудом вывертывается из пьяных рук, выхватывает из кармана ребристую лимонку, и толпа шарахается в сторону.

Он бежит мимо горящих амбаров, мимо женщин с детьми, которых выбрасывают на улицу из аккуратного домика с голубыми ставенками, он бежит мимо валяющихся на мерзлой земле пьяных к сараю, где заперты Кульков и Суржиков.

Возле ворот сарая лежат два пьяных конвоира; ворота открыты, в сарае никого нет. Сбегли Кульков и Суржиков, сбегли, сволочи!

Колька долго стоит возле открытых дверей, раскачиваясь, а потом швыряет в сарай гранату. Сараишко подпрыгивает на месте и оттуда выбрасывает густым, черным пламенем.

БРОНЕПОЕЗД «ЖАН ЖОРЕС»

Гулко прогрохотав через мост, бронепоезд набирает скорость и с потушенными огнями уходит с фронта к взбунтовавшимся партизанам. По приказу Блюхера всю операцию надо провести за девять часов, с тем чтобы утром вернуться на передовые позиции и поддерживать огнем орудий обороняющихся под Хабаровском красных бойцов.

В салон-вагоне идет «процесс» над тифом. За столом — «суд»: три бойца во главе с комиссаром бронепоезда, который зарос до самой последней крайности, и волосы у него, как у попа, лежат гривой на воротнике кожанки.

В вагоне яблоку упасть негде — бойцы стоят, прижавшись друг к другу. Возле окна, припертый к запотевшему стеклу, — Постышев. Его трудно отличить от остальных. Павел Петрович в такой же солдатской гимнастерке, лицо его крестьянское, российское, и здесь сейчас никто, кроме комиссара, который заметно нервничает на своем председательском кресле, не знает, что среди собравшихся судить образцово-показательным судом заклятую болезнь находится член Дальбюро ЦК.

— Прошу выступить свидетеля, — говорит председатель.

К столу протискивается веселый парень — рот до ушей, на носу родинка, на груди болтается табличка, написанная большими печатными буквами: *«Нечистоплотный боец»*.

— Давай свои показания, — просит «судья».

— Сейчас, — говорит «свидетель» и, подмигнув окружающим, посматривает в шпаргалку, написанную на

маленьком листочке из блокнота. — Значит, так, я считаю, что никакой заразы на свете вообще нету. Я год не моюся, я здоров, и никакая меня вошь не берет, потому как она от одного моего духу помирает — лапы кверху и готова. Запах, он лучше лекарства вошь безобразит.

— Отойди в сторону, — говорит председатель. — Давай сюда следующего!

Выходит «буржуй». На огненные вихры бойца надет цилиндр. Он еле держится на громадных оттопыренных ушах «буржуя», иначе бы сполз на глаза.

— Минька! — кричат бойцы. — Пенсню еще напяль!

— Во, сволочь, а ребята?!

— Ишь вырядился!

— Свидетель, не вступайте в пререкания! — говорит председатель «буржую», который уже успел весьма недвусмысленно ответить на веселые возгласы. — Отвечайте по существу, как вы относитесь к тифу.

— Мы, буржуи, относимся к тифу ясно и просто — надо упасть в ножки нашим дорогим Америке и Японии, пущай помогут!

— Как вы понимаете помощь от Америки и Японии, свидетель?

— Мы, буржуи, понимаем помощь так, чтобы они для нас прислали мыло и деколон-духи под охраной своих солдат! Мы деколон-духами отмоемся и надушимся, а рабочий с мужиком пущай гниют и вошь куют на задние ноги!

— Понятны вам мысли проклятой буржуазии, товарищи бойцы? — спрашивают из президиума.

— Понятно! — гремят бойцы.

— Что за такие мысли следует?

— К стенке ставить.

— Введите свидетелей обвинения.

Входят два бойца.

Первый делает шаг к столу президиума и начинает речь:

— Товарищ боец, я проболел тифом, — и он срывает с бритой головы меховую ушанку, — я пролежал месяц в бреду и потерял двадцать килограммов живого веса. Теперь хожу и ветра боюсь, шибает из стороны в сторону. Волоса у меня, обрати внимание, молодой революционный боец, растут теперь мелким кустарником, мышцы рук и ног стали как у старика, и в атаку я идти не могу, а только лежу на земле и плачу кровавыми сле-

зами, что вовремя не следил за своей чистотой и не боролся с вошью.

Выходит второй боец:

— Я хочу сказать вам, бойцы, как из-за неосторожности и нечистоплотности несознательного элемента на фронт завезли вошь! Сколько людей она покосила, страх! Как вражеский пулемет! И что стало с безобидной на первый взгляд вошью? Стало то, что фронт ослабел и белые продвинулись вперед! Даешь чистоту, бойцы!

— Долой вшей!

— Даешь стирку!

— Внимание, — говорит комиссар «Жана Жореса». — Сейчас слово предоставляется защитнику.

Рыжий боец, который только что изображал буржуя, надевает пенсне и белую перчатку на левую руку, поворачивается к бойцам задом, на котором лихо красуются две громадные заплаты, и говорит президиуму:

— Я, как аблакат-защитник, хочу задать уважаемому начальству один вопрос: ругай вошь не ругай, борись с ней не борись, а белья-то все равно нет чистого?! Все белье у нас старое, как царизм! Зачем тогда мыться?

Из-за стола президиума поднимается комиссар.

— Бойцы, вы слышали речь классового врага! — гневно говорит он. — Да, у нас нет нового белья! Много чего нет у революции. Зато у революции есть главная задача — победить! По этому поводу — все в первый вагон! Сейчас там каждый получит четвертушку мыла, шайку с кипятком, а потом два товарища, работавшие прежде в прачечной, высушат на паровозе выстиранное вами белье и прогладят его утюгами, полученными в подарок от пролетариата Благовещенска!

В салоне, где только что проходил суд, остались комиссар «Жореса» и Постышев. Они присели к столику, закурили. В жестяных кружках дымился кипяток, заваренный на таежных снадобьях.

— Чага? — спросил Постышев.

— Нет. Лимонник с толченой березкой.

— Вкусно!

— И бодрит получше любого чая.

— А как у тебя та старушка, карамзинская племянница? Помнишь, ты ее «божьим одуванчиком» окрестил?

— Канкова? Вкалывает бабулька. Только ее либерализм мучает. По всему надо «плохо» ставить, а она «хорошо с двумя минусами» дарит. Я ее инспектировал, ру-

гал, хотел даже на губу посадить — ничего не могу поделать.

— А сам грамотный?

— Что значит грамотный? Не сравнишь же ты, Пал Петрович, старую буржуйку со мной, комиссаром?

Постышев посмеялся одними губами:

— Ишь гонора сколько... Уроки у нее берешь?

— По два в день.

— Ну и как?

— Хочешь по-английски? Я как ихний прынц на нем теперь изъясняюсь.

— А что она тебе ставит?

— Все больше пятерки.

— С минусами?

— С тремя.

— С тремя! — повторил Постышев. — Смотри, может, служебное положение используешь?

— Разрази меня гром! Я ее и за себя ругаю. Она мне раз говорит: «Ставлю вам пять с четырьмя минусами». А я, честно говоря, ни бум-бум. И я заявляю: «За повторение подобных провокаций ссажу с бронепоезда в тайгу. Я сейчас заслужил оценку «плохо», которую и требую мне поставить».

— Пошли посмотрим, чем она занимается.

— Да они там сказки разучивают после уроков грамоты. У меня с этого дела скулы сворачиваются. Я ее приманивал на пение, а она говорит, что наши песни разучивать не может по причине их зверства.

Постышев улыбнулся.

— Романсы, говорит, я могу для вас подбирать.

— Ну?

— Ребята ей гармонь принесли, она теперь им поет нуду под переборы.

— Пошли, пошли, — заинтересовался Постышев. — Это интересно. Романсы под гармошку — это, мил друг, событие с далеко идущими последствиями.

В седьмом вагоне идут занятия.

Посреди вагона — широко расставив ноги, чтобы не качало, — стоит боец и монотонно декламирует:

Встает заря во мгле холодной;
На нивах шум работ умолк;
С своей волчихою голодной
Выходит на дорогу волк...

— Стоп, стоп! — хлопает в ладоши Канкова. — Это невозможно! Вы ничего не желаете видеть, когда читаете. Разве можно? Поглядите же только: «Встает заря во мгле холодной...» Это холодно, вы чувствуете?

Боец виновато молчит.

— Какой цвет вы сейчас видите, Гусаков? — спрашивает Канкова бритоголового бойца.

— Известно какой: понизу красный, а сверху синим придавлено, и дым из печей пистолетом торчит.

— Ах, как прекрасно, боже ты мой, как прекрасно! — волнуясь, говорит Канкова. — Все увидели это раннее утро? Ведь у каждого в деревне обязательно было хоть одно такое утро, когда восход казался багряно-синим, и тишина окрест, и дым из труб уходил в белое, морозное небо... Дайте мне, пожалуйста, инструмент.

Бойцы осторожно передают ей гармошку. Канкова трогает пальцами черно-белые переборы, и рождается грустная мелодия в бронепоезде, который несется через тайгу усмирять восстание таких же мужиков.

— Гусаков, — негромко просит Канкова, — почитайте.

И бритоголовый Гусаков в дырявых портках и в гимнастерке, из которой он давно вырос, начинает читать под музыку Чайковского стихи Пушкина. Глаза его огромны, по-девичьи красивы, голос звенит высоко. И читает он так, будто все видит, будто все это проходит у него перед взором:

На утренней заре пастух
Не гонит уж коров из хлева,
И в час полуденный в кружок
Их не зовет его рожок;
В избушке распевая, дева
Прядет, и, зимних друг ночей,
Трещит лучинка перед ней.

...Мальчишек радостный народ
Коньками звучно режет лед;
На красных лапках гусь тяжелый,
Задумав плыть по лону вод,
Ступает бережно на лед,
Скользит и падает; веселый
Мелькает, вьется первый снег,
Звездами падая на брег...

Гусаков замер вместе с последним аккордом. Из темноты раздались аплодисменты. Все повернули голову: возле двери стоял Постышев.

На исходе ночи, когда на востоке, над сóпками, стала заниматься серая полоска, бронепоезд, сбавив ход, подошел к деревне, занятой восставшими партизанами. Лязгая буферами, развернув стволы орудий на домишки, лежавшие в мягких сугробах, бронепоезд остановился, и бойцы, быстро выгрузившись, пошли вверх по сопке, растянувшись в широкую цепь. Возле маленького станционного домика их окликнули. Из снежной норы, белые от холода, вылезли Кульков и Суржиков — в одних рубашках.

— Где ваши люди, Кульков? — спросил Постышев.

— Спят пьяные.

— Кто будет нести ответственность за случившееся?

— Я.

— Чем объясните все это?

— Объясняю тем, что не хотел проливать кровь человека, которого не считал врагом.

— Кем вы его считали?

— Бузотером.

— Когда в стране тяжело и кругом трудности, бузотер — это потенциальный враг. Запомните на будущее. А теперь из-за вашей сахарной сладости сколько крови придется проливать?

— Позвольте, товарищ комиссар фронта, пойти в их штаб одному. Они сейчас проспались, спирта больше нет, я наведу порядок.

— Почему не сделали этого раньше?

— Вас поджидал. Боялся, как бы не начали с ходу садить из орудий.

— Кто с вами?

— Это Суржиков. Он старик. Он ни при чем.

— Мы все при чем, — сказал Суржиков, — в нас всех одна кровь. Так нам позволь, гражданин комиссар, тихо попробовать.

— Раньше надо было тихо пробовать. Сейчас надо громко, чтобы другим неповадно было повторять.

Бойцы вступили в деревню и взяли карабины на изготовку. Шли быстро, снег хрустко скрипел. А луна еще не растаяла. И звезды моргали белым холодом. Тихо: скотина не мычала, из труб дым в небо не тянулся. И пламя долизывало черные головешки сожженных изб.

Постышев входит в штаб. Здесь тугой спиртной дух. Повстанцы валяются вповалку, храпят на самых высоких нотах. Постышев подвигает себе табурет, садится посреди комнаты и ждет, пока бойцы с бронепоезда разоружат спящих «членов» и «министров».

— Все готовы, — докладывают Постышеву, — пустые они.

— Атамана разбудите.

— Кольк, а Кольк...

— У...

— Вставай, сукин сын...

— Чего? — сонно, не продирая глаз, спрашивает Колька пропитым голосом.

— Вставай, — говорит Постышев, — заспался.

— А ты кто такой?

— Постышев я.

— Сдаваться пришел?

— Ага. И блины тебе печь.

— Муки нет, народу роздал.

— А ну подымайся, пошли!

Чуть брезжит рассвет. Крестьян собрали на деревенской площади, перед церковью, которая стоит сиротливо и отрешенно — двери повыломаны, окна без стекол, забиты крест-накрест, на изрешеченном снарядами куполе надрывно кричит воронье. Здесь и жители, и охотники, пришедшие из тайги, с белковья, и бойцы с бронепоезда.

Колька-анархист и его «министры» проходят к середине круга в сопровождении Постышева, Кулькова, комиссара «Жана Жореса» и трех госполитохрановцев с бронепоезда.

— Погорельцы, идите сюда, — приглашает Постышев.

С плачем и тихим причитанием к нему пробираются крестьяне, дома которых были сожжены вчера Колькиными пьяными дружками за «буржуазность».

— Кто вас жег?

— Вон стоит, ирод!

— Этот? — показывает Постышев на Кольку.

— Он самый!

— За что ты их пожег? — спрашивает Постышев Кольку.

— Буржуи они.

— С чего взял?

— С того, что у всех избы соломой крыты, а у этих

кровелем и пятистенные, и амбарищи — будь здоров!

— Да Господи! — кричит кадыкастый старик с острой, клинышком, бороденкой. Лицо его в копоти, огромные крестьянские руки искровавлены, в глазах — ужас и страдание. — Да Господи, кто же здесь скажет, что я такой-сякой?! Семья у меня большая, все мы в труде! Оттого и кровель! Или нет, мужики?!

А мужики в толпе покашливают: молчаливы они от природы, их смущение берет, когда надо громко говорить. Если кто первый начал, тогда б поддержали, а кто сейчас первый начнет, когда ничего не ясно?

— Чего молчите-то?! — жалобно выкрикивает старик. — Мефошка, скажи! Пров, чего рыло воротишь, я ж тебе поле пахал!

Нет, молчат мужики. Только звенит на площади один жалобный стариковский голос. Да изредка воронье всполошится, загалдят птицы, захлопают крыльями, закружат над куполом и — смолкнут все, будто по команде.

— Чего же вы молчите, граждане? — спрашивает Постышев. — Если он кулак-мироед, у меня с Колькой один будет разговор, а если он справный мужик, работал в поте лица, так я по-другому все оценю. А ну вы, гражданин.

Мужичок, к которому обращается Постышев, кряжист, волосат, по-чалдонски широкоскул.

— А я чего? Я ничего не знаю.

— Сам из этой деревни?

— Ну а как же иначе, понятно, из этой.

— Деда знаешь?

— Какого деда?

— Меня! Меня! — кричит кадыкастый старик.

— А... Его... Так рази он дед? Он и не дед вовсе.

— А кто он?

— Васька он. Пантелеев.

— Дозволь мне сказать! — выходит из толпы древний дед.

— Прошу.

Дедушка идет на середину площади, срывает шапку, кланяется церкви, крестится и говорит Постышеву:

— Ты мужика пытаешь, а он — смущенный нынче, мужик-то. Потому и молчалив! Раньше справный мужик в мироедах ходил, потом Ильич сказал, что справный мужик — он тоже мужик, а не каркадил нильский и жить тоже может. Потому что — нэп! Тут вздох по нам прошел и радость, а теперя вот этот гражданин сказал, что

он заместитель Ильича, и приказал пожечь всех справных, у кого не солома, а кровель. Вот оттого мужик смущенный и боится про то сказать правду, что Васька Пантелеев мужик как мужик, на себе пашет, на себе таскает, из себя жгут виет. Я — сирота, живу себе Христа ради, мне страх неизвестный, а остальные молчат! Вы уйдете, а этого гражданина анархиста тут гарнизон останется, а он им спирт роздал с мясом, они за него кому хошь голову прошибут. Вот и все.

Старик надевает драный картуз на лысую голову, поросшую легким пушком, снова кланяется на все четыре стороны и уходит в толпу.

— С чего ты решил, что Пантелеев буржуй? — спрашивает Постышев Кольку.

— Да какой я буржуй?! — Пантелеев рвет натруженными пальцами бескровные губы. — Вона зубы-то мои где?! Нет их у меня, голод да цинга скрошили!

— Отвечай! — сдерживаясь, просит Постышев.

— А, притворяется он! Ишь комедь тут выкручивает! Небось забыл, как давеча орал: «Пропадите вы, красные, все пропадом!»

— Так ты комод мой грабил! Что годами копил, себе в куске отказывал! Ирод треклятый, нет на тебя погибели!

— Я — революционер! — говорит Колька. — Мне на твои комоды семь раз плевать! Я с амбара, который народу роздал, себе ни крохи не взял, а вона в каких галифе хожу — на просвет и драные!

Постышев курит папироску быстрыми затяжками и смотрит из-под насупленных пшеничных бровей то на Кольку, то на мужиков.

— А ты чего для революции делал в своей презренной жизни?! — продолжает Колька. — Ты только ейными благами пользовался, а ей зад казал!

— Сам ты ей зад казал. А кто партизанам подводы давал без денег?! А кто хлеб для голодающих отгружал без счету?! А кто зятя на войну проводил?! А кто коня отдал в армию к Блюхеру?!

— Про то молчи! Она тебе заместо всего этого землю дала!

Сквозь толпу медленно идет седая простоволосая баба. Она сейчас не видит никого, идет прямо на Кольку. Тот продолжает поначалу хорохориться, но чем ближе подходит простоволосая женщина, с лицом закопченным, темноватым и с белыми остановившимися глазами, тем

тише становится Колька, а потом он начинает пятиться от женщины, но она неожиданно для всех делает прыжок, звериный, отчаянный, вцепляется в Колькины уши, рвет их и кричит на одной ноте — исступленно и жутко. Ее с трудом отрывают от Колькиной, враз окровавевшей головы. Женщина бьется в руках госполитохрановцев и кричит:

— Плевать я хотела на вашу землю и на твою революцию! Гад! На кой она мне, если ты Машку мою споганил?!

— Чего вы требуете для него? — спрашивает побелевший Постышев. — Какого наказания?

Мужики молчат.

На востоке, толчками, поднимается из-за сопок красный диск солнца. Он разрезан синей полосой туч.

— Смерти ему мало! — говорит женщина, ослабевшая от крика. — Мало ему смерти, иуде подлому.

— Дурачье! — кричит Колька. — Вот продадут вас коммунисты белым — тогда заплачете. Я ж добра вам хочу! Я ж полной свободы вам хочу!

— К стенке его! — говорит Суржиков. — К стенке!

Кричит воронье, чиркает черными молниями по красному диску солнца. Небо розовеет исподволь, постепенно — с севера на юг. Тайга смотрится на просвет — как черепаховый, старинной работы гребень — по вершинам далеких сопок.

И гулко, широко звучит залп.

Эхо грохочет в сопках, балуется, похохатывает и резко смолкает.

К бронепоезду идут бойцы. За ними, растянувшись цепочкой, во главе с Кульковым и Суржиковым, тянутся давешние «повстанцы».

Кульков, обежав по глубокому снегу колонну с бронепоезда, запыхавшись, обращается к Постышеву:

— Павел Петрович, ты позволь нам сразу на передовую, чтоб кровью искупить.

— Не его надо было стрелять, — сквозь зубы цедит Постышев, — а тебя — большевика! Ишь либерал! Ты добренький, а комиссар Постышев пусть стреляет, да? Ты молчи только, ты сейчас молчи, потому что нет тебе оправдания!

Постышев дышит тяжело, глаз почти не видно, нос от холода посинел, плечи у комиссара фронта опущены, а руки засунуты глубоко в карманы легонькой, драной шинельки.

— Грузись в бронепоезд и каждого человека через госполитохрану пропустишь — нет ли тут ниточки от Гиацинтова. А потом в тыл к белым пойдешь, под Владивосток, партизанить, — говорит Постышев.

О Военном положении Дальневосточной Республики

(Записка зампомглавкома по Сибири 19 декабря 1921 г.)

1. Переход в наступление Меркуловым начат при несомненном содействии и поддержке японцев, выражающихся в широком снабжении каппелевцев оружием и создании благоприятных условий как в подготовке, так и в самом наступлении.

Такой резкий сдвиг японцев в пользу Меркулова является результатом непримиримости нашей позиции в Дайрене и отказом удовлетворить их требования экономического характера и имеет целью принудить нас к уступкам и оправдать в Вашингтоне пребывание своих войск в Приморье. В случае успеха наступления и расширения территории Меркулова, они хотят получить экономические преимущества, кои требуют в своих 17 пунктах, порывая переговоры с нами. Кроме того, по источникам, не доверять которым нет оснований, Франция пытается создать в Приморье базу для будущего наступления на Советскую Россию, для чего домогается от Японии согласия на образование в Приморье правительства из эмигрировавших крупных русских политических фигур, находящихся в Париже, и переброску этому правительству врангелевцев. До окончательного разрешения этого вопроса с Японией Франция, по-видимому, пока решила поддержать меркуловское правительство, устраивая ему заем в 10 миллионов рублей через Кантонский банк (последнее установлено по перехваченным радиотелеграммам и намекам членов японской делегации в Дайрене). Японцы всеми мерами противятся осуществлению займа, боясь нарушения своего полного влияния на Приморье. Из изложенного видно, что начавшееся наступ-

ление производится при молчаливом согласии Японии и консульского корпуса во Владивостоке и широком снабжении оружием со стороны первой и имеет, несомненно, своей целью при наличии успеха и занятия Хабаровска создание черного «буфера».

2. Силы противника по данным Приамво: 3-й корпус генерала Молчанова в составе полков — Ижевского, Воткинского, 4-го Уфимского, все с кавдивизионами, 8-го Камского, Сибирского казачьего, Уральского конного, бригады генерала Осипова, Волжского и бронепоезда «Атаман Семенов», всего — 3186 штыков и 1145 сабель; 2-й корпус генерала Смолина в составе пехотных полков — Омского и Иркутского, последний с кавдивизионом, всего 925 штыков и 50 сабель. Всего в двух корпусах штыков — 4111, сабель — 1195. Настроение наступающих белых частей, по заявлению бывшего на фронте Серышева, хорошее.

Состояние наших частей: на фронте 5-й и 6-й полки, фактически батальоны, отряд государственной пограничной охраны, Кербинский отряд, минно-подрывной взвод, саперная рота. Всего 1200 штыков, 4-й кавалерийский полк — два эскадрона — 280 сабель, с крайне плохим конским составом. Малый состав частей является результатом последней мобилизации. Артиллерия на фронте — два орудия, остальная в Хабаровске без конского состава, погибшего за последний месяц без фуража. Остальные части тоже малочисленны. Обозы частей за недостатком лошадей почти отсутствуют. Моральное состояние вследствие влития молодого пополнения, почти необученного и необстрелянного, мало удовлетворительно. Полное неумение маневрировать, вести разведку и охранение, боязнь за фланги и неумение их обеспечивать. Безопасность тыла слабо обеспечена и находится под большой угрозой. Возможен сбор и наступление на Благовещенск белобанд из района Айгунь. Настроение казачества уссурийского — благожелательное белым, выражающееся в активной поддержке наступающих, амурского — в меньшей мере в нашу пользу, в большей — в пользу противника, и с приближением

его возможно восстание в большой полосе Амура. Состояние Амурской железной дороги критическое: нет дров, угля, освещения и смазочных материалов, и дороге угрожает возможность полной остановки через 3—4 дня. Для заготовки дров выделена небольшая часть. Указать время прибытия подкреплений вследствие вышеизложенного не представляется возможным. Поэтому указываю пункты их нахождения: Особый амурский полк и батарея — семь эшелонов (головной эшелон — 1-й и 2-й батальоны прибыли в Хабаровск, последний — на ст. Уруша, на расстоянии 1200 верст от Хабаровска); Троицко-Савский кавалерийский полк — пять эшелонов (головной — ст. Могоча, что в 1550 верстах от Хабаровска, последний — грузится на ст. Петровский Завод); бронепоезда — 8-й в движении на ст. Поздеевка, 2-й ст. Зилово. Таким образом, медленность движения подкреплений к Хабаровску, малочисленность частей, обороняющих подступы к нему, внушают большие опасения за сохранение Хабаровска в наших руках.

Главком *Блюхер.*

ВЛАДИВОСТОК

Совещание у премьер-министра началось ровно в девять. Приглашены министр иностранных дел Николай Меркулов, японский полковник Мацуми, генерал Глебов, генерал Вержбицкий, считающийся заместителем главкома, и Николай Иванович Ванюшин, но, понятно, не как представитель прессы, а как умница «по должности» и хороший приятель Николая Меркулова по официальному положению в обществе. В уголке, возле камина, сидел полковник Гиацинтов — в штатском, надушенный и красивый.

— Господа, я пригласил вас по крайне важному делу, — сказал премьер. — Разговор пойдет в нескольких направлениях. Первое из них: анализ причин, приведших к полному краху Деникина, Юденича и всеми нами оплакиваемого Колчака. Я должен со всей определенностью сказать, что крах был не следствием ошибок, ими совершенных, он наступил потому, что эти великие люди не выдвинули вовремя великих идей. Тех самых идей, которые могли бы привлечь подавляющее большинство населе-

ния России. Следовательно, задача номер один для нас в дни победоносного наступления белых героев на Хабаровск и Читу заключается в том, чтобы как можно скорее и точнее сформулировать основные истины, которые будут с восторгом приняты русским народом. Я хотел бы просить министра иностранных дел и господина Ванюшина завтра же выехать на фронт, поближе познакомиться с воинами, побеседовать с жителями освобожденных городов и деревень, словом, составить себе определенную и четкую картину нашей общественной жизни, с тем чтобы потом организовать прессу и помочь нам четко сформулировать программу, с которой мы пойдем дальше — на запад. Но не только ради этого я просил бы поехать господина министра иностранных дел и господина Ванюшина на фронт. Я счастлив сообщить вам, друзья, что в Токио маршал Жоффр закончил переговоры с Японией о сроках и способах переброски сюда армии нашего друга Врангеля. Маршал также позавчера получил чрезвычайные полномочия — в случае нашего успеха, в случае освобождения Хабаровска и Читы — заключить с нами и с нашими японскими братьями договор, по которому только мы будем признаны в мире единственным законным правительством русского Дальнего Востока. А это позволит нам обратиться в Лигу Наций и потребовать гарантий против большевиков. А единственная надежная гарантия — это сохранение здесь братских японских дивизий, которые защитят свободу и независимость российской государственности на востоке нашей империи.

— Японские войска, — сказал полковник Мацуми, — будут олицетворять войска Антанты и всего свободолюбивого человечества.

— Я прошу, господа, обсудить совместно этот вопрос, прежде чем мы перейдем к последующим.

— На фронте уже кончаются снаряды, мало патронов, — жарко заговорил Глебов. — Люди не имеют пулеметов тех новейших систем, которые находятся на вооружении японской армии. Моторы в танках ни черта не работают! Если в течение двух-трех недель не придет помощь, будет довольно трудно развивать стратегический успех. Надо меньше болтать о братстве и помощи, а побольше помогать!

— О, я понял, — улыбнулся полковник Мацуми, — позвольте ответить, генерал. Помогать можно только реальной силе. За эти несколько недель мы убедились

в реальности вашей силы. Сегодня мы отгружаем пять вагонов снарядов, патронов и новейших винтовок. Это будет отныне три раза в неделю.

— Ура! — воскликнул Николай Меркулов и зааплодировал. — Чудно, друзья! Это честно и по-мужски!

— Друзья мои! — поднявшись с кресла, сказал генерал Вержбицкий. — Позвольте мне обрадовать вас: наши авангардные соединения стоят под Хабаровском. Город виден в бинокль. Теперь, я надеюсь, господин министр иностранных дел сумеет договориться с атаманом Семеновым, войска которого бездействуют. Если он вольет своих казаков в наши ряды, победа обеспечена наверняка.

Меркуловы быстро переглянулись.

— В этом деле надо тщательно разобраться, — сказал премьер. — Очень здесь надо взвесить все «за» и «против». Ну а чем нас порадует Гиацинтов?

— У меня есть два сообщения, — поднявшись, сказал Гиацинтов. — Одно приятное, а второе тревожное. Начну с приятного. В тылу большевистских войск начались партизанско-крестьянские восстания, вызванные зверствами красных комиссаров над мужиком. Я бы хотел встретиться попозже с представителями генштаба и попросить их распорядиться о максимальном благоприятствии по отношению к анархистам, эсерам и крайне левым коммунистам. Именно с представителями этих течений работали мои люди.

— Очень интересно! — сказал Меркулов-старший. — Очень интересно и зорко!

— Не верю, — отрезал Глебов. — Всех к стенке!

— Генерал, нашего друга Гиацинтова, право, довольно трудно заподозрить в красноватости, — сказал премьер-министр.

— Второе сообщение. Я пока ничего не могу утверждать определенно, однако мне представляется, что в городе, даже после уничтожения большевистского подполья, все равно существует глубоко законспирированная, очень сильная организация. И в том, что не работают моторы танков, уважаемый генерал Глебов, виноваты отнюдь не наши японские братья, а красные.

— Какие, кто, где?!

— Я пока что не обладаю достаточным количеством фактов, чтобы ответить сейчас же на ваши вопросы. Идет тщательная оперативная работа, и, по-видимому, в течение ближайших дней я смогу доложить о результатах.

— Прекрасно, — сказал Меркулов и что-то отметил в календаре, — в этом деле надо тоже тщательно разобраться. Переходим к следующему пункту.

Меркулов не успел сказать, каким будет следующий пункт, потому что в кабинет вошел Фривейский и положил перед премьер-министром большой телеграфный бланк, на котором сверху было набрано красными буквами: «Срочно. Совершенно секретно. Правительственная». Спиридон Дионисьевич надел очки, взял в руки телеграфный бланк и начал читать по складам, как все дальнозоркие люди, отставив бумагу далеко на вытянутую руку. Читал он телеграмму долго, дважды.

— Господа, — обратился он. — Прошу всех встать.

Все поднялись.

— Господа, члены царствующей династии Романовых пишут мне из Европы, что их сердца и помыслы со мной, в моем великом деле! Теперь я не вижу ничего, что мешало бы договориться с атаманом Семеновым. Как патриот, после этой телеграммы он, я думаю, поймет мою роль в нашей великой борьбе. — Меркулов поцеловал краешек телеграммы и сказал: — Прошу простить.

Быстрыми шагами, заложив руку за отворот френча — ни дать ни взять Керенский, — ушел в маленькую комнатку, к киоту. Рухнул на колени перед образами и начал жарко молиться. Глаза его засветились, и ноздри стали трепыхаться. Это значило — быть сейчас слезам.

Нота
заместителя официального представителя
РСФСР в Великобритании
Министру Иностранных Дел
Великобритании Керзону

Г-н Берзин свидетельствует свое уважение лорду Керзону оф Кедлстон и имеет честь обратить внимание Правительства Его Величества на факт вербовки беженцев для белых армий на Дальнем Востоке, который имеет место в лагере для русских беженцев в Египте.

До нас дошли сведения о том, что немедленно после недавнего переворота во Владивостоке среди русских солдат, находящихся в русском лагере «Б» в Александрии, Сиди-Виша, начала проводиться агитация за вступление в белые армии

на Дальнем Востоке. Эта агитация была санкционирована администрацией лагеря, и, когда несколько недель спустя к лагерю подошел пароход, всем добровольцам было разрешено совершить посадку на него, причем власти, по-видимому, были осведомлены о пути следования судна.

Далее, принимая во внимание современные условия международного судоходства, г-н Берзин вынужден заключить, что транспортные средства не могли быть предоставлены иначе, как с ведома и даже с помощью некоторых союзных правительств. Таким образом, события во Владивостоке, которые справедливо приписываются военным замыслам Японского Правительства, по-видимому, также получили поддержку со стороны какого-то другого правительства.

Г-н Берзин надеется, что Правительство Его Величества, которое всегда отрицало какое-либо участие в недавнем перевороте во Владивостоке, обратит должное внимание на факты, которые доведены до его сведения, и предпримет все необходимые шаги, дабы воспрепятствовать вербовке в белые армии русских беженцев в лагерях, находящихся под его контролем.

Берзин.

КАФЕ «АФРОДИТА»

Гиацинтов позвонил в редакцию Ванюшину и попросил Николая Ивановича встретиться с ним — выпить чашку кофе и посоветоваться по важному делу.

Гиацинтов приехал в кафе первым, сел возле окна, закурил, попросил лакея принести два кофе и, опершись лбом о ладони, принялся разглядывать серые прожилки на белом мраморе стола.

Ванюшин вошел в кафе тихо, глядя себе под ноги, на приветствия знакомых не отвечал. Сел возле полковника и спросил:

— Что-нибудь неприятное?

— И да и нет, — ответил тот, заправляя в длинный мундштук сигарету. — Я похитрить тебя позвал.

— Устал.

— От хитрости не устают, от нее гибнут.

— Афоризмы, афоризмы — они-то красивы, а истина уродлива.

— О! Это даже не афоризм, это аксиома. Что Исаева не привез?

— Ты же просил меня приехать одного.

— По-моему, ты доверяешь ему больше, чем себе.

— Себе-то я вообще не доверяю, я — растратчик по натуре.

— Коля, как на исповеди: ты Исаева давно знаешь?

— Я работал с ним у Колчака и шел от Омска до Харбина.

— Ну а если мы его возьмем к себе?

— Он не согласится.

— Ты меня неверно понял. Что, если мы его заберем?

— Причины?

— У меня нет явных улик, у меня есть уверенность, построенная на интуиции.

— Я не дам его в обиду, Кирилл. Не потому, что, как и всякий русский интеллигент, я не люблю жандармов, нет. Просто нельзя хватать людей по интуиции, это средневековье.

— А если я дам компрометирующий материал?

— Другой разговор.

— Я жду ответа из Лондона и Ревеля... Но тогда я буду со щитом и припомню этот разговор.

— Ты что — угрожаешь?

— В некотором роде.

— Господь с тобой, Кирилл, я уже пуганый, с тех пор ни хрена не боюсь. Сволочи, в кофе соли целую чайную ложку кладут.

— Турецкий рецепт.

— Ерунда, просто кофе зазеленелый, иначе он плесенью отдает. И поскольку я отношусь к тебе с симпатией, Кирилл, не советую зря рисковать: я-то — бумагомаратель, я-то — зеро, но Меркулов будет недоволен. Об этом я уж позабочусь.

— Ах, вот так...

— И не иначе.

— Считаем, что этого разговора не было вовсе.

— А его и не было, — улыбнулся Ванюшин и стал рисовать пальцем замысловатые узоры на запотевшем окне.

Уже третий день шел дождь со снегом, океан казался коричневым, он был иссечен тонкими струйками, и если по вечерам, когда город затихал, подолгу слушать, начинался тоненький стеклянный перезвон — дождевые пузырьки лопались.

САЛОН-ВАГОН МЕРКУЛОВА

Ванюшин сидел у стола, уставленного закусками и коньяками, и молча, неотрывно смотрел в угол. Меркулов-младший полулежал на диване и тихонько мурлыкал старую колыбельную песню.

— Мне порой в пыльных углах продолговатых комнат мерещатся рваные раны на человеческих лицах, — сказал Ванюшин. — Не могу в углы смотреть. Вы что-нибудь видите там?

— Вижу. Пыль.

— Счастливый вы человек.

— Совершенно справедливо изволили заметить. Без домыслов жить — таков главный секрет счастливого времяпрепровождения на планете.

— Что вы считаете «домыслами»?

— Многое. Обиду, сострадание, рассуждения о том, кто и как оценит деяние, жалость, наивные понятия о порядочности, — все это чудовищно нелепо и глупо. И главное, никому не нужно.

— Вам надо проповедовать свою веру, — сказал Ванюшин. — Она очень рациональна, ее многие примут, особенно слабые и жалостливые люди. На кой черт вам политика?

— А интересно. Признаюсь доверительно: мы все капельку дети, мы обожаем играть в цацки. Прямой провод, охранник во второй машине, ночные совещания с парламентским меньшинством, тосты на приемах, двусмысленности в беседах с послами... У меня иногда ладони чешутся от счастья. Мы с братом купцы, а торговля в нашей Богом проклятой стране считается позором. Разве нет? Вы и старались в этом убедить мужика, вы, литераторы российские, правдолюбцы, которых победивший пролетариат, озверев, коленом под зад и к чертовой матери выгнал! А вот мы с братом, русские купцы, заправляем судьбами империи! Здорово, черт возьми! Я иногда ночью проснусь, себя щиплю, щиплю, все думаю, сон у меня затянулся, аж по спине озноб ползет — сейчас кончится.

Меркулов выпил немного коньяку, понюхал маслину, съел кусок черного хлеба, улыбнулся открытой и доброй улыбкой веселого, преуспевающего человека.

— Поймите, дорогой мой писатель, в политике — как в любви. Когда мужчина добивается замужней женщины,

он наивно убежден, что, отбив ее, будет ей ближе и понятней. Понимаете мою мысль?

— Не понимаю.

— А я уж и сам перестал понимать. Хотел позанятней разъяснить. У нас занятность в человецех писателями ценится пуще добропорядочности. Возьмете и книжечку про меня маранете. Пусть даже подлецом изругаете, важно, чтоб след остался о человеке — рисованный или печатный, не важно, — тогда не страшно жить, дубликат останется в случае кончины. Я смерти боюсь, оттого так часто снимаюсь в американской кинохронике — чтоб только остаться на земле. Хоть плоским, а все равно двигаюсь. А смерть — она неподвижна.

— Любопытный вы человечина, министр. Прет из вас самобытность. На кой черт вам сдалась эта самая политика — не пойму? Грязь ведь это.

— А вы что, свое дело считаете чистеньким? — вдруг трезво, с издевкой спросил Меркулов. — Вы тоже в дерьме по уши, и кровушки в оное дерьмо вкраплено весьма обильно.

— Послушайте, а что, правду болтают, будто вы заключили с японцами сделку на продажу древесины?

— Правду.

— Выгодно?

— Весьма.

— А деньги почему сюда не переводите, а оставляете в Токио?

— Бог его знает. Тут все зыбко, хоть и побеждаем. Как на трясине стоим. Поэтому брат и мечтает дать такие идеи, которые захватят народ. Умница Спиридон, а иногда вдруг такую блажь завернет — спасу нет.

— О чем вы?

— Да так... Я опьянел, давайте лучше спать, дружище.

Вошел дежурный офицер, склонился к Меркулову, вкрадчиво сказал:

— Ваше превосходительство, поезд вступает во фронтовую полосу, позвольте выключить электричество, не ровен час, прострочат партизаны.

— Пусть строчат, жидомасоны, мать иху так... Хотите выпить, милый?

— Моя фамилия Осипов-Шануа, мой титул — граф. Благодарю вас, министр, но я считаю унизительным для себя пить коньяк и жрать маслины на подступах к фронту, где люди замерзают в окопах.

Граф вышел с замороженной улыбкой, только скулы замерли и синие глаза на тонком лице сощурились в щелочки.

— О! — вслед ему сказал Меркулов. — Понятно? Обидел он меня. А я — что? Я без домыслов — спать!

И Меркулов, танцуя на одной ноге, начал стаскивать с себя черные в серую полосочку брюки.

— Вы, как нимфа, в спортивных трусиках, — усмехнувшись, сказал Ванюшин, — но это у вас от наивности, это, в общем, хорошо, что вы носите такие трусики, словно бойскаут.

— Я понимаю, к чему вы клоните, — натягивая на себя одеяло, сказал Меркулов сонным голосом. — Вы хотите, чтоб мы всех подряд стреляли, и этот граф тоже хочет. А мы с братом опасаемся. Потому что так — нас просто турнут, а ежели стрелять — вздернут. Мы купцы, мы семь раз мерим, один раз режем и Бога помним. Спокойной ночи, писатель, укладывайтесь. Завтра с утра садитесь речь мне писать...

РЕДАКЦИЯ ВАНЮШИНА

За столом редактора сидел Исаев в ворохе телеграфных сообщений. Он быстро читал с листа, часть бросал в корзину, часть передавал метранпажу и коротко приказывал:

— В номер, в загон, в номер...

— Максим Максимович, я думаю оставить окно для корреспонденции Николая Ивановича. По-видимому, он скоро пришлет с фронта.

— Разумно.

— Как вам кажется, стоит ли дать рекламу на «Генриха Наваррского»?

— Что за реклама? Прочтите.

— «Семь бед — один ответ — главный лейтмотив этой исторической драмы. Правдивый быт берлинского двора».

— Почему берлинского?

— Генрих — немецкое имя.

— Генрих Наваррский отнюдь не берлинец.

— Сию минуточку, заменю. Дальше: «Женщины в его постели, гнев оскорбленной королевы, турниры и скачки, рыдания и комедии — все как в нашей жизни».

— Ничего, — улыбнулся Исаев. — Особенно точно последнее замечание. Кто писал?

— Я... — смущенно ответил метранпаж, — в порядке опыта.

— Вполне. Валяйте в набор.

Метранпаж рысцой убежал в типографию. За окнами был слышен рев голосов. Он все ближе и ближе. Дрожат стекла в кабинете. Исаев подошел к окнам. По Алеутской, оглушительно грохоча сапогами, с лихой песней шли войска.

Улица была запружена юнкерами, студентами, дамочками — овации, слезы, счастливые, сияющие лица. Исаев стоял у окна нахмурившись, поджав губы. И вдруг — резко, толчком — заметил на себе пристальный взгляд.

Разведчик обязан быть актером. Исаев чуть-чуть дрогнул лицом, сыграл начало улыбки, потом сыграл улыбку; он поднимает над головой руки и соединяет их в приветственном салюте героям-солдатам, которые сегодня отправляются на фронт.

И только после долгих улыбок и салюта Исаев оторвал глаза от солдат и стремительно, осторожным взглядом пронесся по толпе.

Профессионально и точно Исаев отметил двух молодчиков с цинковыми, «озабоченными» глазами. Они, играя сейчас в озабоченность, прилипчиво смотрели на Исаева и, как только заметили, что он видит их, сразу же — без всякого перехода и безо всякой необходимой в этом случае игры — стали размахивать руками и кричать «ура».

И еще одного человека, неотрывно смотревшего в окно, заметил Исаев. Это была Сашенька. Она стояла возле ворот, как раз напротив редакции, к груди прижимала тетрадку, ее толкали мальчишки и дамы, устремившиеся следом за прошедшими войсками, а она, не замечая ничего вокруг себя, зачарованно смотрела на Исаева.

Исаев улыбнулся ей, девушка поняла, что он видел, как она смотрела на него, смутилась и, низко опустив голову, побежала через дорогу в редакцию.

Двое молодчиков с озабоченными глазами принялись расхаживать по тротуару напротив редакционных дверей. Исаев видел, как они, стараясь казаться праздношатающимися, что-то насвистывали. Он не слышал, что они насвистывали, но ему казалось, что и это они делали фальшиво.

«Дурак, песню испортил», — вспомнил он Горького и

вдруг отчетливо понял: что-то случилось с Ченом. Он пропустил две встречи.

Исаев сел к телефону и стал смотреть на черный нескладный аппарат. Тихонько скрипнула дверь. Исаев поднял голову и увидел Сашеньку.

— Максим Максимович, — сказала она решительно, — я написала про то, что вы мне показывали. Вы обязаны это напечатать.

И она положила на стол тетрадку, исписанную аккуратными строчками.

Прочитав первую страницу, Исаев усмехнулся и смешно почесал нос.

— Сколько вам лет, Максим Максимович?

— Почему вы спрашиваете?

— Потому что вы смеетесь там, где может смеяться только черствый старик.

— Мне семьдесят семь лет, — улыбнулся Исаев. — Сашенька, разве это можно напечатать, славная вы девочка?

— А вы испугались?

— Конечно.

— Максим Максимович, пожалуйста, не говорите так. Вы лучше, чем хотите казаться. Вы хотите быть плохим, наглым, у вас это великолепно выходит, только у вас иногда глаза бывают как у больной собаки. Это я так для себя определяю глаза честных людей.

Исаев испугался той нежности, с которой он смотрел на девушку. Он заставил себя опустить веки и потереть виски. Усмехнулся обычной своей колючей ухмылкой, покачал головой.

«Если за мной пустили наружку, то оппозиционность и скандал в печати будут сейчас мне даже на пользу, — быстро решил Исаев. — Человек, который ничего не боится, должен идти на скандал и открытую драку. Если я в чем-то засветился и Гиацинтов возьмет меня, я стану утверждать, что он расправляется со мной из-за скандального разоблачения в нашей газете дельцов, связанных с полицией. Интеллигенция станет на мою защиту. Можно будет тогда обратиться к Ванюшину и ребятам из Ассошиэйтед пресс. Это на крайний случай, конечно. Сейчас я должен идти на драку — это лучшее алиби».

— Хорошо, — сказал Исаев, — только, Сашенька, давайте договоримся: вы снимаете свою подпись, во-первых; клянетесь никому не говорить, что это написали вы, если не хотите мне зла, во-вторых; и, в-третьих, после

того, как я сам поправлю ваш материал и наберу его, эта тетрадка будет сожжена.

— Хотите, дам честное благородное слово?

— Хочу.

— Честное благородное слово, Максим Максимович! Не обижусь: дописывайте, переделывайте и жгите — пожалуйста. Но обязательно напечатайте про этот наш позор. Только неужели вы слову верите?

— Вашему — да. Ну-с, теперь быстренько уходите. И надуйтесь на меня для вида, а я пойду работать.

Исаев взял тетрадь и побежал — через две ступеньки — вниз, в наборный цех.

ПОЛТАВСКАЯ, 3. КОНТРРАЗВЕДКА

В кабинете у Гиацинтова шторы были приспущены. Настольная лампа выхватывала из полутьмы зеленоватый овал стола. Гиацинтов чертил на листе бумаги женские профили. Напротив него сидел Чен.

— Послушайте меня, приятель, — сказал Гиацинтов, — кто ко мне попал, тот сам не выходит. Если, конечно, я не столкнулся с умным и дальновидным человеком. Вся ваша липа с американским телеграфным агентством и с листовками для Лобба мною проверена. Вы им материалы подсовывали политического характера, чтобы поссорить атамана Семенова с нашим правительством. Кто вам передавал эти материалы?

— Мне смешно вас слушать, Кирилл Николаевич, — удивился Чен. — Мое дело — сенсация. И на бирже, и в политике. За свежий товар платят больше. В воздухе тогда носились слухи про Семенова, а что там и как — не это ведь важно, важно, чтоб первым.

— Вполне рационально, вполне... А зачем водичку с солянкой наливали в бензин для танков?

— Нет, это явная клевета и гнусный домысел!

— Какой смысл моим людям клеветать на вас?

— Я и сам голову ломаю. Может быть, меня с кем-нибудь спутали?

— Да нет, — вздохнул Гиацинтов, — я сам был бы рад, если б спутали... У вас столько влиятельных защитников! Вон Максим Максимыч уже пятый раз звонит, справляется о вас.

— Кто, кто?

— Да Исаев, Макс..

— Не изволю знать.

— Полноте, полноте.

— Как вы сказали? Макс?
— Ну да, Максим Максимович Исаев.
— Право, не помню.
— Значит, не знакомы?
— Совершенно определенно — не знаком.
Гиацинтов достал из стола конверт, бросил его Чену:
— Посмотрите, это занятно.
Чен улыбнулся своей ослепительной, чуть подобострастной улыбкой, придвинул к себе конверт, достал из него несколько фотографий. На всех фотографиях были изображены Чен с Исаевым: у касс ипподрома, на улице, возле редакции.
— Ну как? — поинтересовался Гиацинтов, разглядывая свои квадратные, лопатообразные ногти. — Признали?
— Нет, не признал. Я ведь имею богатую клиентуру в городе: большинство уважаемых людей играет на бирже, даже ваши сотрудники.
— Я знаю, — спокойно сказал Гиацинтов. — Вы кого имеете в виду персонально?
— Многих.
— Уж и многих...
— Честное благородное.
— И всех помните?
— Не всех, но большинство.
— А Исаева забыли?
— Кого?
— Исаева.
— Забыл.
— Вы, между прочим, этим своим упорством ему же хуже делаете. Я уж забеспокоился — что вы так его выгораживаете, не боитесь ли вы его? Надо будет мне им заняться как следует.
— Конечно. Проверка — великая вещь.
— Приятель, вы что, меня в дураках хотите оставить?
— Господи, да что вы, Кирилл Николаевич? Я ведь не против того, что меня посадили, только зачем мне лишнее клеить? На черном рынке играл? Да, играл! Бизнес имел с иностранцами? Да, имел! За это готов нести наказание.
— А деньги ваши где от бизнеса?
— Кутежи и проститутки жизнь отнимут, не то что деньги.
— Опять-таки верно. Значит, поручителя за вас не найдется?

— Кого угодно про меня спросите — все скажут только доброе.

— Ну что ж, сейчас пригласим того, кто помнит вас.

Гиацинтов позвонил в звоночек. Дверь отворилась, и вошел Стрелков, агент по кличке Столяр.

— Здравствуйте, уважаемый гражданин чекист Марейкис, — заговорил он шипучим голосом. — Не думали, верно, что встретимся? А я — вот он, весь перед вами! Или забыли Лубянку? Забыли кабинет на третьем этаже?!

Стрелков набрал в рот слюны и, приблизившись, плюнул Чену в лицо.

Чен достал платок, вытер лицо, ни один мускул в нем не дрогнул.

— Я протестую, — сказал он тихо. — Что это такое, Кирилл Николаевич?

Стрелков ударил его наотмашь — ребром ладони по лицу. Хлынула кровь из носа.

— Я те попротестую, — прохрипел он. — Я те, суке, попротестую!

— Успокойтесь, — сказал Гиацинтов, — поменьше эмоций. Спасибо вам, Сергей Дмитриевич. До свидания.

Стрелков вышел из кабинета.

— Послушайте, милый товарищ Марейкис, — заговорил Гиацинтов, — не считайте нас олухами. Вы свою партию проиграли. Хотите жить — давайте говорить откровенно. Ну как?

— Тут какая-то чудовищная ошибка, Кирилл Николаевич, право слово!

— Пеняйте на себя. Сейчас вас станут пытать. А как же иначе прикажете поступать? Не гуманно? Согласен! Так помогите мне не быть жестоким. Вы делаете нас зверьми, вы, а не кто-либо другой.

Вошли пятеро. Они зажали руки и ноги Чена в деревянные колодки и разложили на столе набор тупых игл.

— Они сейчас будут вгонять вам иглы под ногти. Это больно, очень больно, — медленно говорил Гиацинтов, продолжая заниматься своим маникюром. — Начинайте, ребята.

В кабинете стало тихо. Гиацинтов отложил пилки, и, когда иголка стала входить под ноготь большого пальца, оставляя багровый след, он весь подался вперед, впившись глазами в лицо Чена. А Чен сидел недвижно, лицо его словно окаменело, только зрачки глаз стали расширяться.

— В мизинчик, — тихо попросил Гиацинтов, — это больней, когда в мизинчик, там мясцо молоденькое.

И снова он весь подался вперед, а Чен продолжал сидеть замерев и смотрел широко открытыми глазами сквозь полковника, который кусал губы и часто дышал, наблюдая за иглой, входившей в мизинец.

— Ну! Ну же! — говорил Гиацинтов. — Ну, зачем ты нас всех мучаешь? Ну, скажи нам что-нибудь...

Чен ответил утиным, крякающим голосом:

— Это ошибка, я ни в чем не виноват.

Сказал он это очень быстро, потому что боялся сорваться на крик.

— Ага, — обрадовался Гиацинтов, — дрогнул! Теперь в безымянный ему воткните, и чтоб кровь клопчиками, клопчиками капала!

ПОЗИЦИИ БЕЛЫХ

Дивизия выстроена в каре. Лица солдат утомлены, глаза воспаленные, чуть блестят — перед построением выдали по стакану водки. Вдали слышно, как ворочается гром: это продолжается артобстрел красных.

Посредине каре, на трибуне, стоит главком — генерал Молчанов, а рядом на красно-зеленом половичке — брат вождя, Николай Меркулов, министр иностранных дел. Внизу, возле трибуны, замер генералитет, офицеры штаба, Ванюшин.

— И мы торжественно заявляем, — подняв руку над головой, зычно выкрикивает Меркулов текст, написанный для него Ванюшиным, — что никакая иная правда нас не тревожит, кроме правды народной. Мужику будет нарезана земля, торговцу отдана лавка, а предприниматель позовет рабочего на завод, уважительно обращаясь к нему по имени и отчеству, как к брату и другу. Для того чтобы поскорей спасти страну от большевистских оборотней, нам осталось не так уж много сделать! Я говорю вам — вперед, на Читу! Я говорю вам — на Хабаровск! Я зову вас к победе! Я вижу вас победителями! Ура!

Победное «ура» несется над каре в сухом, морозном воздухе.

Ванюшин внимательно смотрит в лица солдат и замечает то, чего не видит, а может быть, и не хочет видеть Меркулов, возвышающийся на трибуне возле сухого, аскетичного Молчанова, одетого в солдатскую форму,

сшитую из английского тонкого сукна — по-наполеоновски.

Ванюшин видит, как солдаты посмеиваются, подмигивают, подталкивают друг друга локтями. А глотку все равно дерут: черт его знает, а вдруг возьмет министр да отвалит за бравый прием еще по стакашке водочки. Чего ж не поорать-то?

ЦЕНЗУРНЫЙ КОМИТЕТ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Председатель комитета поздоровался с Исаевым весьма сухо, усадил его в кресло и, сокрушенно покачав головой, сказал:

— Какая все-таки гнусность вышла. Вместо героической корреспонденции Ванюшина с фронта — эта гадость о здешних проститутках. Кто вас подвел? Давайте решать, что делать. По-моему, это граничит с злоумышлением.

— Господин цензор, тогда лучше заранее казните меня.

— О чем вы?

— Это я поставил материал в номер.

— Вы?!

Исаев молча кивнул и мило улыбнулся.

— Зачем?

— А тираж? Газету раскупили за двадцать минут, такой материал публика читает взахлеб. Согласитесь: что может быть приятнее, чем прочесть о бесчестье других?

— Вы с ума сошли! — тихо сказал цензор.

— Не надо таких трагичных интонаций. Когда я работал в пресс-группе Колчака, мы не боялись печатать правду. И потом — почему красные говорят беспощадную правду о своих трудностях и поражениях, а мы обязаны молчать?

— При чем здесь красные? Меня они меньше всего интересуют!

В кабинет без стука вошел Гиацинтов. Он дружески обнялся с Исаевым, пожал руку цензору, упал в кресло, забросил ногу на ногу и спросил:

— Он вас давно пытает, наш доблестный страж государственной тайны? Не обижайтесь, Макс. В общем, он прав. В эти дни можно было бы обойтись без разоблачений. Меня интересует, кто это вставил в номер?

— Я.

— Ну, перестаньте, старина, это не так смешно, как вам кажется. Красные наверняка сейчас передают содержание статьи в Москву.

— Зачем им это?

— Позлобствовать, похихикать над нашими горестями.

— Досадно, конечно, но статью поставил в номер я.

— В обход цензуры?

— Когда я верстаю номер, то думаю о газете, а не о цензуре.

— Кто писал статью?

— Черт его знает.

— Где текст?

— Валяется в редакции.

— У кого?

— По-видимому, у метранпажа.

— Метранпаж у нас. Он клянется, что подлинника в типографии никто не видел после набора.

— А, ерунда какая...

— Вы видели, как набирали этот материал?

— Да.

— На чем он был написан?

— На листочках.

— Я понимаю, что не на веточках. Какие были листочки? Большие, маленькие, чистые, в линеечку?

— Кажется, чистые.

— Понятно. А через кого этот материал попал к вам?

— Он лежал у меня на столе.

— Вам его принесли?

— Нет, просто я обнаружил этот материал на столе.

— Когда это было?

— Вчера.

— Утром?

— Да.

— Кто дежурил в редакции?

— Не знаю, полковник.

— Сторожиха утверждает, что никого в редакции из посторонних не было ни ночью, ни утром, кроме девицы у вас, в девять ровно.

— Старая сплетница, — улыбнулся Исаев. — Уволю.

— Правильно поступите. Так кто эта девица?

— Полковник, вы вольны казнить меня, — сказал Исаев шутливо и протянул на стол обе руки, — можете заковать меня в кандалы.

— Когда казнят, Макс, то в кандалы не заковывают.

— Обидно.
— У вас была Сашенька Гаврилина — не иначе...
— Уж не следите ли вы за нами? Нет?
— Угадали.
— Это ужасно. На правах доброго знакомого спасите меня от вас!
— Как вас спасешь, если вы глупости делаете?
— Какие?
— Будто не знаете?
— Клянусь вам.
— У вас глазок острый, вы все знаете, Макс.
— Можно подумать, что я женщина, а вы меня обольщаете. Такие комплименты...
— Макс, вы с Ченом давно знакомы?
— Чен? Это который?
— Он играл на бирже.
— Такой гладенький, прилизанный?! Полукореец, полукиргиз?
— Именно.
— У него блестящий мех на шапке?
— Да, да.
— Знал. А в чем дело?
— Откуда вы его знали?
— Доставал кое-что для меня. Раза два крепко надул.
— В чем?
— Один раз с бегами. Дал дрянной подвод на темную лошадку и взял за это сто иен, а потом обещал старояпонскую живопись на фарфоре, а вместо этого всучил корейскую дребедень.
— Темный он человек?
— По-моему, обычный спекулянт.
— А как лучше подступиться к Чену? Мягко или поддать?
— Я плохой советчик в вопросах сыска и дознания, Кирилл Николаевич.

Цензор, все время разговора листавший какие-то бумаги у себя на столе, поднялся и сказал, ни на кого не глядя:

— Цензурный комитет строго предупреждает вас, господин Исаев. В дни наших величайших побед задача журналиста российского — не чернить имеющиеся, к сожалению, в нашей жизни определенные недостатки, но поднимать на щит героизм доблестного русского воинства, которое под великими знаменами демократии, свобо-

ды и православия несет освобождение нашему народу-страдальцу, задавленному красным террором. Вы облагаетесь, в силу того что это первый случай в вашей газете, штрафом в размере тысячи рублей.

— Этот вопрос мы решим в суде, — сухо ответил Исаев и, откланявшись, вышел.

Гиацинтов, посмотрев ему влед, задумчиво сказал:

— Какой очаровательный человек, не так ли?

— Да, очень мил. Море обаяния.

— Ну, прощайте.

— Всего хорошего, господин полковник.

ПОЛТАВСКАЯ, 3. КОНТРРАЗВЕДКА

Гиацинтов ходил вокруг поседевшего, избитого Чена. В углу сидел врач в белом халате, с саквояжем на коленях, раскладывая на столике шприцы, ампулы, скальпели.

— Сейчас мы, — сказал Гиацинтов, — впрыснем вам прекрасный японский препарат, который парализует вашу волю. И вы помимо своей воли расскажете все, что меня будет интересовать.

Чен посмотрел на врача, который доставал шприц, потом медленно перевел взгляд на Гиацинтова. Движения Чена были медленны, глаза запали и были окружены черными тенями. Руки его бессильно лежали на коленях.

— Вы разве не наслышаны об этих новшествах в работе наших японских коллег? Вы даже не ощутите того рокового мига, когда станете ренегатом. У вас, на Лубянке, любят это слово: ре-не-гат. А что, красиво...

Гиацинтов позвонил в колокольчик, дверь открылась, и заглянул Пимезов.

— Пришлите людей, мы начинаем.

— Сию минуту, господин полковник.

Адъютант стремительно скрылся за дверью.

— О, вы плачете! — сказал Гиацинтов.

Чен кивнул головой.

— Отчего? Я бы и раньше провел этот эксперимент, чтобы избавить вас от мук, но, к сожалению, только сегодня получил препарат из Токио. Зачем были нужны все эти муки? Ну, ничего, часа через два, когда скажете про вашего друга Исаева, отправитесь спать. Накормим как следует. Напоим кагором... Ну, перестаньте, право. Слезы у взрослого мужчины...

Открылась дверь, и появились пятеро давешних палачей. Чен взбросил легкое свое тело со стула, подбежал к врачу, схватил со столика скальпель, полоснул себя по шее, которая стала враз пульсирующе кровавой, и упал на пол.

Гиацинтов ахнул, будто глубоко затянувшись сигаретой, а потом, воровато озираясь, медленно подошел к низкой кушетке, опустился на нее и прошептал:

— Тихо, пожалуйста, у меня сердце книзу съекнуло.

ХАБАРОВСК

Постышев вернулся на свою городскую квартиру поздно вечером.

В разбитые окна несло холодом, на грязном полу валялась щебенка. Когда начинала грохотать канонада за Амуром, стекла, оставшиеся в окнах, тонко дребезжали.

Постышев заткнул выбитые окна старыми шторами, затопил печь, поставил на плитку чайник и, сняв шинель, начал подметать пол. Движения его были неторопливы. Иногда он присаживался на корточки и отдыхал несколько мгновений с закрытыми глазами — сказывались голод и усталость последних дней.

В дверь постучали. Постышев, не поднимаясь с корточек, ответил:

— Валяйте, кто там...

Вошел Громов. Весь он после той, еще мирной встречи с Павлом Петровичем подсох, глаза у него сейчас были красивы удивительной красотой, которая сопутствует отчаянию и крайней степени решимости.

— Здоров, комиссар.

— Здоров, комбриг, — в тон ему ответил Постышев.

— Давно прибыл?

— Только что. Садись. В ногах правды нет.

— А вообще она, думаешь, есть?

— Обязательно.

— Видел ты ее?

— А как же...

— Ну и какова она? Занятно мне узнать.

— Ты, случаем, не шандарахнул стакашку, Громов?

— Не с руки пир во время чумы устраивать.

— Стакан водки, по-твоему, пир? Я бы сейчас с радостью выпил.

— Я б на твоем месте только и делал, что пил.

— Ты сядь, а то маячишь перед глазами.

— Это не я маячу, а совесть партийная маячит перед твоими глазами.

— Тебе в театре заправлять, Громов. Ты еще голосом подрожи, это эффектно, так певцы делают. Ну-ка, дай совок, за дверью.

Постышев собрал мусор в совок, высыпал его в ведро и плотно притворил дверь, чтобы не дуло холодом.

— Что у тебя снова стряслось?

— Перестань, Павел! Помнишь наш разговор летом? Помнишь, я тебе говорил, что нэп погубит революцию?! Помнишь, как ты меня высмеивал?! А кто прав? Кто? Ты или я? Бьют нас по всем статьям, отступаем! Какое, к черту, отступаем?! Бежим, как стадо!

— Стадо — это кто?

— Мы!

— Кем ты себя в этом стаде считаешь? Ослом или коровой? Пей чай. Только положи ложку в стакан, а то треснет, кипяток крутой. Там, в шкафу, должны быть сухари, погляди. Нет? Жаль. Ладно, садись, попьем с таком.

— Ты чего от разговора уходишь, Павел? Кичился тем, что слепо идешь за Лениным? Слепо идти даже за Богом глупо! Нэп на родине революции пролетариата! Вот где началась наша гибель, вот отчего деморализация в нашей армии, вот отчего отступление на фронте, вот в чем причина грядущего краха.

— Ошалел ты, Громов. Понимаешь, что говришь? Или стал заговариваться?

— Нет, Постышев, не заговариваюсь я! — крикнул Громов страдальчески. — Только зачем вам надо было народ подымать на того, кто живет в масле и молоке, а потом тот же народ настраивать, чтоб обратно молоко с маслом — через допуск капитала! Зачем, ответь мне?! Для власти, что ль? Чтоб самим барами стать, а потом все по-прежнему пустить?!

— Ты, как мне показалось, сказал «зачем вам надо было народ подымать»? Ты, как мне послышалось, сказал «вам», а себя оставил в стороне?

— Ты к слову не причепляйся! Но имей в виду, если ты Хабаровск сдашь, как все остальные города посдавал белояпонцу, я в своей бригаде объявлю вас всех тут врагами трудового народа!

— Глянь, у меня руки от страха затряслись.

— Ты чего надо мной глумишься, Павел?

— Ты с мирным населением общаешься?

— А при чем тут мирное население? Судьбу мировой революции решат в конечном счете винтарь и сабля. Тогда уж и займемся мирным населением.

— Понятно. Детишки у тебя есть?

— У меня за спиной тюрьмы есть и каторга.

— Напрасно ты этим кичишься, Громов. Тюрьма — не кудри, каторга — не римский профиль. У меня тюрьмы за спиной побольше, чем у тебя. Это к слову, не думай. А тем не менее дети у меня есть, и этим отменно горд. Посему пошли-ка со мной.

— Куда?

— Увидишь. Значит, главная твоя задача какая, повтори мне? Мировая революция? Штык и винтарь?

— Ты не лыбься, не лыбься. Именно — винтарь и сабля.

* * *

Свирепый ветер рвет полы шинелей, душит сухим, колючим снегом, слепит, валит с ног. Рядом с красиво скроенным Громовым, в длинной, до пят, шинели, в кожаном картузе с большой звездой, с орденом Красного Знамени на левом отвороте шинели в большой красной розетке, Постышев, в своем драном картузе и в короткой шинельке до колен, кажется оборванцем. Они идут быстро, склонившись вперед — на ветер. Постышев ведет Громова на эвакопункт: там в холодных бараках живут беженцы, которых еще не успели отправить в тыл.

Плач детей, темнота, запах керосина, узлы на полу, корытца, тазы, младенцы, свернувшиеся на матрацах, тифозные, которые стонут за перегородкой, беспризорники, играющие в карты при свете огарка, — вот что встречает Постышева и Громова на эвакопункте.

— Когда эшелон дадут? — спросил Постышев сестру милосердия в накрахмаленной белой косынке с красным крестом.

— Обещали вечером, но что-то случилось с паровозом.

— Людей покормили?

— Да.

— Еще сироты поступали?

— Вчера сняли с эшелона семерых.

— Тех, что в карты режутся?

— Нет, крохотули совсем, они у меня спят, больше их уложить негде.

— Давайте заглянем.

— От ваших никаких весточек нет, Павел Петрович? — спросила сестра.

Постышев молча покачал головой и пошел следом за ней. В медпункте, на полу, свернувшись калачиком, спали малыши. Вымытые лица их были во сне беспокойны и мучительно напряженны. Иногда кто-то из малышей по-стариковски, тревожно стонал.

Постышев сел на стул, снял шапку и показал Громову на табуретку рядом с собой. На тумбочке возле окна Постышев увидел маленькую елочку, установленную в пустой четвертной бутыли.

— Это зачем? — спросил Постышев. — Для дезинфекции, что ль?

Сестра ответила:

— Нет, товарищ комиссар, просто скоро будет Новый год. Надо ж малышам сделать радость...

Постышев внимательно посмотрел на Громова.

— Иди, Громов, — сказал он, — у меня сейчас будут задачи, идущие вразрез с твоими. Я сейчас поеду елочные игрушки доставать...

— Большевик устраивает церковный праздник, — ответил Громов, — лучше б подумал, как детей накормить.

— Ах, накормить?! — изумился Постышев. — Да разве это должно интересовать большевика? Винтарь и сабля! Мировая революция, а дети — черт с ними, пускай гниют, зато потом, когда мы победим окончательно, тем, кто выживет от тифа и голода, будет отменно хорошо! А как им будет хорошо, когда для тебя «масло и молоко» — худшее ругательство?!

— Это ты — мне, при беспартийной-то? — горько сказал Громов.

— Да она в тысячу раз тебя партийней, потому что детишкам елку поставила! Уходи отсюда, Громов! Уходи!

ГИМНАЗИЯ

Той же ночью Постышев вместе с шофером Ухаловым приехал в классическую гимназию и долго стучал к дворнику, устроившемуся спать в подвале. Вылез дворник только после того, как Ухалов, чудом разыскав в кромешной темноте громадный лом, начал стучать им в дверь, обитую железом. В подвале загрохотало, заухало, и дворник жалобно закричал — видимо, перепугался спросонок.

— В чем дело-то? — шмыгая носом, допытывался он, замерев у двери. — У меня тут все казенное, братцы. Не губите зазря.

— Сейчас дверь гранатой фугону, — пообещал Ухалов. — Комиссар фронта тут, чего в штаны ложишь?

— Нынче этих комиссаров тьма, а котел у нас один.

— На кой ляд нам твой котел?

— На нем завод можно поставить — вот на кой. Мне физик объяснял. Не открою. Идите к господину Широких, он во флигеле живет. Если он с вами придет — я вскроюсь.

— Зачем зря беспокоить человека? — сказал Постышев. — Поверьте, мы не грабители.

— Нам у вас только б узнать, где хранятся елочные игрушки, — сказал Ухалов.

— Ты мне зубы-то не заговаривай! — еще жалобнее взвыл дворник. — Ишь, игрушек захотелось! Ты что, блажной — в этакое время в игрушки играть?!

— Ладно. Не кричи. Где живет Широких?

— Говорю — во флигеле.

КВАРТИРА ШИРОКИХ

— Что это, арест? — спросил Широких, запахнув на груди халат.

— Нет, — сказал Постышев. — Мы к вам с просьбой.

— Сейчас несколько неурочное время для просьб, мне кажется.

Он зажег керосиновую лампу, надел пенсне, оглядел вошедших и, узнав Постышева, даже сделал шаг к стене — от неожиданности.

— Комиссар? — спросил он. — Гражданин Постышев?

— Да.

— Присаживайтесь.

— Спасибо. У вас прекрасная библиотека.

— Конфискуете?

— Перестаньте. Вы плохой юморист.

— Какой тут юмор... А библиотека действительно прекрасная. Я копил ее всю жизнь. Из-за нее даже остался холостяком.

— Вам еще не поздно обзавестись дамой сердца. В общем, это все другой разговор. Мне нужно найти елочные украшения.

— Зачем?

— Хотим устроить елку для сирот.

— Елку?!

— Э, послушайте, хватит разыгрывать эти наивные удивления. Я готов раздеться, чтобы вы раз и навсегда убедились — нет у меня хвоста и вообще ничего общего с чертом.

— Но ведь совсем рядом с городом наши...

— Кто?

— Белые...

— Именно. Ваши.

— Я отдам вам свои елочные украшения, комиссар, в гимназии их нет теперь, они пропиты завхозом, назначенным вашим Советом.

— Собираетесь эвакуироваться?

— Нет.

— Маяковского по-прежнему от гимназистов прячете?

— Прячу.

Широких принес стремянку, залез по ней на антресоли, там долго громыхал ящиками, а потом попросил:

— Прошу вас, помогите мне снять этот ящик, он весьма тяжел.

Когда ящик опустили на пол, Широких сказал:

— К сожалению, у меня нет бумажных гирлянд.

— А зачем они?

— О, это так красиво...

— Да?

— Конечно. Дети любят их клеить сами, это воспоминание у них потом остается надолго.

— Послушайте, Широких, сделайте божеское дело, а? Научите детишек клеить эту самую гирлянду. Неважно, что они наши дети, они ведь еще просто дети. Мы вам за это часть пайка дадим.

— Только, пожалуйста, без приманок. Я педагог, а не торгаш. Подождите, сейчас я оденусь.

— Да нет, что вы, — обрадовался Постышев, — вы сейчас спите, я завтра пришлю за вами машину.

— В котором часу?

— Когда вам будет угодно.

— Часам к девяти. И пусть приготовят разноцветной бумаги, клей и ножницы.

— Откуда ж у нас разноцветная бумага?

— В штабе должна быть, — ответил Широких. — Вы ведь клеите флажки, которыми обозначаете линию фронта?

Постышев быстро глянул на Широких. Тот стоял

расставив ноги — бороденка торчит воинственно, пенсне поблескивает, а на губах играет сардоническая ухмылочка. Все российские интеллигенты в преддверии политических перемен начинают так посмеиваться: здесь и скепсис, и затаенная радость, а пуще всего — насквозь видение собеседника.

Постышев тоже улыбнулся. Вздохнул. Сказал Ухалову:

— Едем. Надо на эвакопункте пол вымыть и блеск навести. До свидания, гражданин Широких. Большое вам спасибо.

ХАБАРОВСК. ШТАБ ФРОНТА. РАННЕЕ УТРО

После того как Постышев закончил разговор по прямому проводу с Дальбюро ЦК РКП(б), к нему вошел адъютант и доложил:

— Товарищ комиссар, вас ожидают представители японской и китайской миссий.

— С утра пораньше? С чего бы это? Просите.

Дипломаты входят в кабинет, кланяясь на каждом шагу. Они словно не слышат канонады. Их лица выражают крайнюю степень любезности и доброты. Они идут к столу, прикладывая к груди руки, и часто закрывают глаза, будто сдерживая слезы радости.

— Вице-консул Шивура, представляющий интересы Японии в замечательном городе революционеров Хабаровске, — сказал человек в очках и почтительно пожал руку Постышеву.

— Пресс-атташе китайского консульства Су Ши-вэй, представляющий в замечательном городе русских храбрецов интересы китайских граждан.

— Садитесь, господа.

— Какая чудесная сегодня погода! — начал японец.

— Солнышко совсем весеннее, — поддержал его пресс-атташе.

— Не кажется ли вам, господин Постышев, что природа лучший союзник вашего великого народа? — продолжал Шивура.

— По льду Амура скользят лучи солнца, это красиво, как на гравюрах ранних мастеров школы Жен Сяопыня, — поддержал его китаец.

— Что вас привело ко мне, господа? — спросил Постышев.

— О, мы решили забрать немного вашего драгоценного времени только потому, что этого требуют интересы китайских граждан, проживающих в Хабаровске.

— И, конечно, японских.

— Ясно. В чем ущемлены интересы ваших граждан?

— У вас обычно, когда меняется власть, — сказал вице-консул, — несколько обостряются страсти у мирных жителей.

— Даже при столкновении двух белых цветов рождается огненная вспышка, — заметил пресс-атташе, — это утверждают наши поэты, а если сталкиваются не два белых цвета, а несколько разных, то вспышка получается особенно страшной.

— Каковы ваши просьбы, господа?

— О, наши просьбы незначительны. На границе, в шестидесяти километрах отсюда, стоят пятьсот японских и тысяча китайских солдат. Мы бы просили вас разрешить им официально войти в город для охраны жизни и состояния граждан Китая и Японии.

— Ах, вот в чем дело...

— Да. Поверьте, господин Постышев, эта просьба продиктована единственной задачей — опекать наших граждан, живущих на территории вашего прекрасного государства. Поставьте себя на наше место: вы бы поступили точно таким же образом.

— Вы думаете?

— Конечно!

— Скажите, пожалуйста, господин Шивура, сколько человек работает в вашем консульстве?

— О, какое это имеет значение сейчас, когда наши сердца наполнены тревогой за любимых сограждан?

— Понятно. Я готов вам напомнить: в вашем консульстве работают сто тридцать человек.

— Какие сто тридцать! Это повара, дворники, слуги.

— Хорошо. Разговор у нас затянулся. В тот самый миг, когда ваши войска вздумают перейти границу, я прикажу арестовать как заложников состав ваших консульств — всех до единого, а поваров, слуг и дворников с офицерскими званиями в первую очередь. Прошу простить, господа, я больше не могу вам уделить времени. Всего хорошего. Посмотрите, какая прекрасная погода! Красные солнечные зайчики бегают по сахарному льду Амура. Воздух прозрачен и зеленоват — он именно такой, каким его писали китайские мастера.

Нота
Министра Иностранных Дел
Дальневосточной Республики
Министру Иностранных Дел Китая Ян Хой-цину

Милостивый государь господин Министр,

Правительством Дальневосточной Республики получено сообщение о том, что офицерами Главного штаба китайских войск и чинами милиции в г. Харбине были произведены обыски на квартирах русских граждан и в помещениях общественных учреждений Дальневосточной Республики. Китайскими властями было заявлено, что обыски производятся с целью обнаружения оружия, каковое обнаружено не было, но во время обысков китайские воинские чины и милиция просматривали также переписку и личное имущество граждан и учреждений Дальневосточной Республики.

Правительство Дальневосточной Республики рассматривает эти действия китайских властей как явно враждебные, направленные против граждан и учреждений Дальневосточной Республики.

Несмотря на неоднократные заявления и протесты Правительства Дальневосточной Республики, Китайское Правительство продолжает оказывать покровительство и содействие русским контрреволюционерам, формирующим вооруженные отряды в Маньчжурии и в полосе Китайской Восточной (железной) дороги. В то же время Китайское Правительство допускает явно недружелюбные действия по отношению к гражданам и учреждениям Дальневосточной Республики. Такая политика свидетельствует, что Китайское Правительство, ничуть не заботясь о сохранении дружественных отношений с гражданами Дальневосточной Республики и руководствуясь своими симпатиями к русским контрреволюционным организациям, очевидно, и в будущем будет занимать враждебное отношение к Дальневосточной Республике.

Явно враждебным отношением к Дальневосточной Республике можно объяснить и тот факт, что китайские власти, наряду с обысками у част-

ных граждан, произвели также обыск у особоуполномоченного Дальневосточной Республики гражданина Озарнина. 27 февраля китайские солдаты оцепили помещение канцелярии и личную квартиру особоуполномоченного, арестовали всех находившихся в здании и в продолжение нескольких часов производили обыск в означенном помещении, причем просматривали дела и переписку особоуполномоченного.

Правительство Дальневосточной Республики заявляет о своем глубоком возмущении по поводу нанесенного китайскими властями грубого оскорбления достоинству народа и Правительства Дальневосточной Республики в лице его полномочного представителя.

Дипломатические представители Дальневосточной Республики в других странах пользуются неприкосновенностью личности и жилища, независимо от того, что эти страны не имеют еще вполне официальных отношений с Дальневосточной Республикой. Делегации Дальневосточной Республики на территории Японии и Америки пользуются полным иммунитетом, и правительства этих стран никогда не допускали столь грубого и оскорбительного нарушения принципа неприкосновенности по отношению к представителям Дальневосточной Республики, какое было допущено Китайским Правительством. Правительство Дальневосточной Республики всегда сохраняло этот принцип по отношению к представителям Китайского Правительства, находящимся на территории Дальневосточной Республики, несмотря на то, что Китай не оформил путем соответствующей конвенции вопрос о своих представителях в Дальневосточной Республике. Политика же Китайского Правительства в отношении представителей Дальневосточной Республики показывает, что Китайское Правительство не стесняется нарушать общепризнанные международные нормы и обычаи и даже не считает необходимым соблюдать элементарный принцип взаимного уважения по отношению к Дальневосточной Республике.

Правительство Дальневосточной Республики заявляет, что в случае неполучения должного

удовлетворения по этому вопросу в возможно кратчайший срок от Правительства Китайской Республики оно будет принуждено принять соответствующие меры по отношению к гражданам и представителям Китая на территории Дальневосточной Республики, ответственность за которые будет целиком лежать на Правительстве Китайской Республики.

Министр Иностранных Дел
Дальневосточной Республики
Я. Янсон.

ПЕРЕДОВАЯ

Постышев идет по окопам — на наблюдательный пункт. Там он берет с бруствера бинокль и смотрит на снежную равнину. Он видит вдали, на полотне железной дороги, остановившийся состав. Видно, как солдаты разгружают вагоны со снарядами, видно, как снаряды складывают в сани и увозят в лесок — на батареи дальнобойных орудий, которые пока что молчат.

Постышев смотрит в бинокль. Пальцы, сжимающие бинокль, посинели от напряжения.

— Павел Петрович, — негромко окликает его командир полка, — когда помощь? Неужели Блюхер так и не придет? Раздолбают нас в пух и прах... Вон силища какая прет.

Молчит Постышев, словно врос в бинокль.

— Войну выигрывает тот, у кого крепкий тыл, — отвечает он после томительной паузы. — Понимаете?

* * *

...А высохший за эти недели Блюхер сидел в тылу, в своем штабе, в холодной комнате, под тусклой лампой и вел разговор по прямому проводу с фронтом, с командующим войсками Приамурского военного округа Серышевым. Говорил рублено, раздраженно, постоянно ощущая тянущую боль под левой лопаткой...

* * *

«Б л ю х е р. Ознакомившись с расположением ваших частей, должен признать, что вы совершили крупную ошибку — не прикрыли прочно район Казакевичево. О необходимости обеспечить Казакевичево занятием его сильной частью и тем предотвратить выход противника

на Амурскую дорогу, в тыл Хабаровска, я вам говорил в своем первом разговоре, на это указывал и в разговоре с Мельниковым. Несмотря на все это, вы не выполнили моих указаний, не учтя всю важность сохранения за собой этого направления. Теперь, когда прорыв противника в сторону Волочаевки стал свершившимся фактом, вы теперь говорите, что положение безнадежно, а ранее заявляли, что защищать Хабаровск есть возможность и средства. Так управлять частями нельзя. Надо уметь оценивать обстоятельства, обстановку, видеть опасные места и своевременно их занимать, а не держать без надобности части на ст. Николо-Александровское.

Приказываю, прикрывая хабаровское направление по линии Уссурийской железной дороги батальоном 4-го пехотного полка, командой конных разведчиков, 6-м пехотным полком и кавалерийским полком, соединив для этого вместе эскадроны и взвод артиллерии, прочно занять участок Казакевичево — Ново-Троицкое. Указанную группу объединить под одним командованием. По занятии этого участка Амурский пехотный полк отведите в свой резерв, в район Ново-Спасск — ст. Волочаевка; сборные команды и роты, находящиеся в Хабаровске, оставьте там для поддержания внутреннего порядка и примите исключительные меры к эвакуации имущества из Хабаровска, в первую очередь боеприпасов, интендантского и другого ценного имущества. С прибытием 5-го и 6-го пехотных полков и кавалерийского полка на участок Казакевичево — Ново-Троицкое немедленно примите меры к ликвидации прорвавшейся группы противника, используя для этой цели кавалерийский полк и часть Амурского полка. По мере дальнейшего развития наступления противника по железной дороге на Хабаровск 4-му полку немедленно с боем отходить, задерживаясь на рубежах Николо-Александровского. Находящиеся в Хабаровске канонерскую лодку «Калмык» и подъемный и плавучий док Амурской флотилии подготовить к порче. Весь лишний подвижной состав, а главное паровозы, немедленно перебросить с Уссурийской дороги в район ст. Ин и далее на запад. С моста через Амур снять главнейшие части механизмов, бригады направить на усиление Амурской железной дороги. Все тыловые учреждения округа, а также лишние штабы перебросить на ст. Ин и далее на запад. Вам с полевым штабом, оборудуя предварительно связь с вашими частями, перейти на ст. Волочаевка. Переход полевого штаба и вас

на ст. Волочаевка совершить не раньше, чем 5-й и 6-й полки займут линию Казакевичево — Ново-Троицкое и будет оборудована связь их со ст. Волочаевка. При подходе противника к Хабаровску оставить в нем гарнизон со всеми сводными командами и 4-й полк. Объединить под одним командованием и составить из них левую группу, седлая ею Амурскую железную дорогу. Вот вам исчерпывающие указания, как поступать в дальнейшем, считая, что ст. Ин и позиция в районе ее у вас по-прежнему необеспеченная. Сейчас же приступите к формированию группы из состава частей партизанских отрядов, находящихся сейчас в районе Хабаровска, выбросите ее в районе ст. Ин. Возьмите себя в руки, снимите с себя мелкую работу, передав ее штабу, и осуществите в полной мере управление войсками, поручив вопросы эвакуации одному из членов Военсовета, постарайтесь спокойно охватить обстановку и не допускайте ошибок в будущем, ибо незанятие Казакевичева есть не только ваша ошибка, но и неисполнение моих указаний. Давая вам задачу, я брал в основу решения ее безнадежность и мрачный тон вашего доклада. Само собой разумеется, если Амурскому полку удастся занять Казакевичево и ликвидировать прорыв, то его дальнейшей задачей должно быть наступление на Невельскую. Это резко изменит обстановку, и только что данная задача должна измениться. Поэтому, не ожидая результата наступления Амурского полка, оставив 6-й полк и эскадрон на Уссурийской дороге со взводом артиллерии, 5-й полк и остальную часть 4-го кавалерийского полка и Амурский полк сейчас же передвигайте в район Ново-Троицкое — Казакевичево. Мне непонятен ваш расчет перехода из района Николо-Александровское в район Казакевичево, определяемый в трое суток, расстояние между которыми всего лишь 30 верст и может быть покрыто одним переходом. Поэтому прикажите как 5-му пехотному, так и 4-му кавалерийскому полкам выступить в ночь завтра же и, достигнув Казакевичева, соединиться с Амурским полком. Для объединения этой группы назначьте опытного и толкового командира. Понятна ли вам теперь последняя задача?

С е р ы ш е в. Все понятно, но не в этом дело. Меня смущает прорвавшийся противник, который, возможно, завтра будет стряпать безобразия в районе Покровка — Волочаевка, а у меня средств ликвидировать такового нет. Вот что меня страшно угнетает. Сейчас Амурский

полк головой подходит к Ново-Троицкому, и, когда я двину полк в наступление, у меня будет трещать тыл от группы прорвавшегося противника. Все принятые мною меры считаю недостаточными за неимением средств.

Блюхер. Вас трудно понять. Вы то говорите о наступлении, то вновь впадаете в панику. Надо иметь свое мнение, особенно тогда, когда вы управляете фронтом. У вас этого не видно. Сначала вы мне доложили о безнадежном положении, затем перешли к наступлению. Когда я вам указал порядок его выполнения, вы вновь говорите о беспокойстве за тыл. Доложите же наконец кратко и понятно вашу оценку и решение.

Оставляю обязательным к исполнению свое первое предложение с допущением следующих изменений: Амурский полк из района Ново-Троицкое направить кратчайшим путем в район Ново-Спасск — ст. Волочаевка, оставив в Ново-Троицком для прикрытия хабаровского направления по Уссури одну или две роты этого полка, и сейчас же, не дожидаясь рассвета, 5-й пехотный, 6-й пехотный полки и 4-й кавалерийский полк без одного эскадрона немедленно направьте в Ново-Троицкое, причем 5-му полку достигнуть Ново-Троицкого не позднее 20-го к вечеру, 6-му и эскадрону 4-го кавалерийского полка, находящимся в районе ст. Кругликово, достигнуть Ново-Троицкого к вечеру 21 декабря. Это расстояние в указанные мною сроки легко может быть покрыто. Если ко времени подхода 5-го и 6-го полков в Ново-Троицкое Амурский полк сумеет справиться с прорвавшимся противником и оттеснить его, заняв Казакевичево, то при благоприятной обстановке вы сможете перейти в наступление. Если Амурский полк ко времени подхода 5-го и 6-го полков к Ново-Троицкому не сумеет ликвидировать прорвавшегося противника, то, оставив в Ново-Троицком 5-й или 6-й полк, остальные, т. е. один пехотный полк и 4-й кавалерийский полк вместе с теми ротами, которые будут оставлены вами в Ново-Троицком, направьте также в район Ново-Спасск — Волочаевка для соединения с Амурским полком, где объединенными силами они и должны отбросить противника назад. Вот вам задача к исполнению в двух вариантах, проведите в жизнь один из них, сообразуясь с обстановкой.

Желаю вам и вашим войскам успеха.

К вашему сведению сообщаю, что мной отдан приказ о немедленной погрузке Читинской бригады и направлении ее к вам. У меня все. До свидания».

ВЛАДИВОСТОК

Последние пять дней Исаев чувствовал спиной глаза филеров, которые шли за ним, не оставляя его ни на секунду. Несколько вечеров Исаев таскал с собой хвост по ночным кабакам города, обдумывая возможное решение. И чем дальше он анализировал обстановку, тем точнее понимал, что, по-видимому, настало время уходить из города: единственная связь оборвалась, он сам под колпаком; искать связь самому, имея на хвосте по крайней мере двух филеров, — значит обрекать на гибель тех людей, к которым можно было бы попробовать подобрать ключи. Следовательно, думал Исаев, самое логичное — это уходить, но не просто уходить, а с наибольшей пользой. А какой она могла быть? Исаев считал, что Гиацинтов не так прост, как кажется; Исаев навел кое-какие справки и выяснил, что связи полковника тянутся в Берлин, в Высший монархический совет, и, что самое интересное, в генштаб французской армии. Поэтому, окажись такой человек перед дилеммой жизни и смерти и выбери он жизнь, тогда цены ему не будет: от него пойдут связи, от него поступит самая свежая и надежная информация. А то, что в выборе между жизнью и смертью Гиацинтов предпочтет жизнь, Исаев был уверен оттого, что полковник — человек циничноумный, впечатлительный и расчетливый. А такие смерть очень страшно и точно видят. Оттого и боятся ее по-животному, а это уже очень много значит, это залог, что такой человек «развалится», — так, во всяком случае, считал Максим Максимович.

И чем дальше и быстрей он размышлял над планом дальнейших действий, тем чаще и чаще возвращался мыслью к лесной заимке охотника Тимохи. Поначалу он даже не отдавал себе отчета, почему именно Тимоха виделся ему. В задуманном плане обычно соседствуют безграничная фантазия и математическая точность. Сперва надо «рассупонить» себя, ничем не связывая, и фантазировать, как в детстве, — безудержно и сладко. А уж потом проверять фантазию логикой шахматного игрока. Исаев научился этому у Дзержинского и Бокия, Кедрова и Уншлихта, Артузова и Федора Шелехеса.

Однажды перед отправкой за кордон Максим Максимович был вызван к Дзержинскому. Чуть выпуклые зеленоватые глаза Феликса Эдмундовича тяжело замирали где-то на лбу у Максима, когда он говорил:

— Тот не чекист, если сердце его не обливается кровью и не сжимается жалостью при виде заключенного в тюремной камере человека. Революция требует от чекиста-разведчика гибельной самоотдачи, подчинения своего существа высшей правде пролетарской диктатуры, которая принесет человечеству свободу, равенство и братство. Фантазия и анализ, полный допуск и строгие рамки: подвиг должен слагаться из детской фантазии и тончайшего знания математики.

Пока что Исаев решил для себя главное: он решил, что осуществление его плана должно идти через Тимоху. И на шестой день, когда план созрел, Максим Максимович после кутежа подряд в двух ресторанах вызвал ванюшинский «линкольн» и попросил шофера отвезти его в резиденцию премьера. «Линкольн» он отпустил; филеры, ехавшие сзади в «форде», остались у подъезда, потому что охрану резиденции несла морская пехота, подчинявшаяся своей контрразведке, остро соперничавшей с гиацинтовским ведомством. А Исаев между тем вышел через третий черный ход, шедший от буфета в переулок, быстро спустился к вокзалу и сел в отходивший на станцию Океанскую паровичок. А до Океанской езды час. От Океанской до Тимохи — тоже час по тропке, пробитой в снегу; там договориться со стариком и быстренько обратно, чтобы утром сидеть в редакции и отвечать на звонки Гиацинтова или его друзей, а то, что такие звонки будут, в этом он ни минуты не сомневался.

Утром действительно позвонил Гиацинтов, и они мило побеседовали. А к вечеру этого же дня Тимоха прислал Гиацинтову весточку, приглашая его с приятелями на изюбря, которого ему удалось обложить.

Исаев не ошибся: Гиацинтов позвонил ему в тот же вечер и пригласил в тайгу — отдохнуть и поохотиться. Исаев принял это предложение с благодарностью, только попросил дождаться с фронта Ванюшина, а то газету оставить не на кого.

ЭВАКОПУНКТ

Здесь все изменилось до неузнаваемости: полы вымыты добела, посредине самой большой комнаты стоит елка, полчаса назад привезенная по приказу Постышева из тайги. Вдоль стен, на лавках, сидят дети. Постышев и Широких украшают елку молча, не глядя друг на друга. И дети молчат, словно взрослые. Как по команде, они

провожают глазами каждую игрушку из ящика на ветки, и каждый раз, когда Постышев или Широких неловко надевают игрушку на ветку, глаза детей замирают в испуге.

— Продолжайте наряжать елку, — негромко предлагает Широких, — а я начну с ними клеить гирлянды.

— Хорошо.

Широких отходит от елки и говорит:

— Дети, сейчас мы будем с вами делать гирлянду для елки. Кто из вас хочет помогать, поднимите руку.

Дети жмутся к стенкам, смотрят на бородатого барина в пенсне с испугом и молчат, как оцепенелые.

— Учитель, — говорит Постышев, — там у меня в машине еще ножницы остались, вы б сходили за ними, если нетрудно.

Пожав плечами, Широких выходит. Постышев провожает его глазами, а потом, неожиданно повернувшись, подхватывает с лавки черненького казахского мальчугана и поднимает его на вытянутых руках. Мальчуган смеется — сначала тихонько, окаменело, а потом — громче и веселей. Постышев подбрасывает его над головой, поет песенку, ребятишки начинают оттаивать, кое-кто подпевает Постышеву, он становится на колени, сажает себе на спину целую ватагу маленьких человечков, забывших за эти страшные годы, что такое игра, и катает их по залу, покрикивая на себя:

— Но, но, лошадка! Скорей!

Смеются детишки, бегают наперегонки друг за другом, подстегивают «лошадь», теребят ее и командуют, как истые мужики, сердито и с хрипотцой в голосе.

Широких останавливается на пороге и хочет сказать, что в машине нет никаких ножниц, он даже произносит эту фразу, но очень тихо, потому что понимает сейчас, глядя на ликование в зале, зачем его отослал комиссар.

— А ну к нам, — зовет его запыхавшийся Постышев. — Каравай будем печь!

Образуется громадный хоровод. Постышев запевает:

Как на наши именины
Испекли мы каравай!
Вот такой вышины!

Малыши поднимаются на носки, тянут вверх ручки, показывая, какой громадный каравай они испекут, а в дверях, в окнах замерли лица взрослых, которые смотрят

на них кто со слезами, кто стиснув зубы, кто крестясь.

— Подпевайте, учитель! — просит Постышев.

Широких начинает подпевать и слышит, как дрожит его голос, и чувствует, что губы тоже дрожат. Он медленно озирает маленьких людей, которые тянутся к комиссару и глядят на него восторженными глазами...

— Выше руки, учитель! — кричит Постышев. — Во какой караваище испечем! Да, мальцы?! Испечем?

...Постышев едет из эвакопункта вместе с Широких. Тот молчит, спрятав лицо в кашне. На углу, возле гимназии, Ухалов тормозит, и Постышев, открыв дверцу, говорит:

— Спасибо, учитель Широких.

— Скорее, наоборот, — негромко отвечает Широких. — Спасибо, комиссар Постышев. Я завтра снова приду к детям. Как вы думаете, им интересно будет слушать сказки?

— Мне интересно, не то что им.

— Ну, до свидания.

— До свидания.

Широких смотрит вслед ушедшему автомобилю очень долго. Лицо его изрезано морщинами, и кончики бровей опущены книзу — как от большой обиды.

СТАВКА АТАМАНА СЕМЕНОВА

Атаман Семенов, укрепившийся на границе с Китаем, в Гродекове, принял Меркулова с Ванюшиным в просторной избе, которую охраняли забайкальские казаки и китайцы-хунхузы.

Атаман сидел на деревянной длинной лавке в красном углу, под иконами. На столе, струганом, не покрытом скатертью, лежали яйца, сваренные вкрутую и уже очищенные, зеленый лук, бело-розовое сало, нарезанное тонкими ломтями, разделанная семга и большая тарелка красной икры. На подоконнике в трех бутылях стоял спирт, настоянный на можжевельнике, смородине и женьшене.

Семенов был в длинной полотняной рубахе. На вошедших посланцев премьер-министра смотрел хмуро, исподлобья. Вешалок здесь не было — изба рублена по-крестьянски и, как говаривал атаман, без городских «штучек-мучек». Посланцы, сняв шубы, держали их в руках, не зная куда деть. Есаулы — желтолампасники, стоявшие

мумиями возле двери, смотрели мимо, куда-то в самую середину большого иконостаса, красиво мерцавшего в углу над головой атамана.

— Примите у них шубейки, — сказал наконец есаулам Семенов. — Проходите к столу, гости. Чем богаты, тем и рады, угощайтесь.

Есаулы взяли шубы, улыбнулись посланцам «доброй воли» деревянными улыбками и замерли у дверей. Стоят есаулы и ничегошеньки не понимают, что тут происходит и о чем говорят. Им важно, что если кто из гостей пистолет из кармана вытащит — тут же немедля стрелять того наповал.

— Григорий Михайлович, — начал Меркулов, — мы пришли к вам с открытым сердцем, для того чтобы по-братски, в атмосфере искренности и взаимного доверия обсудить все спорные вопросы и наметить взаимоприемлемую перспективу. Надеюсь, наш разговор состоится при закрытых дверях?

— Эй, Фокин! — крикнул атаман. — Притвори дверь, чтоб никто в горницу не зашел.

Ванюшин и Меркулов переглянулись. Семенов заметил это и осклабился:

— Теперь двери закрыты, валяйте выкладывайте, что привезли.

— Григорий Михайлович, — сказал Меркулов покупечески прочувствованно, — сейчас, в дни побед, когда решается судьба нашей страдалицы-родины, право, перестаньте вы разыгрывать чужую роль, совсем вам не подходящую. В конце концов, кто старое помянет — тому глаз вон.

— А кто забудет — тому оба напрочь.

— Господа у дверей останутся?

— А как же? Личная охрана. Кто вас знает — может, вы меня прибить заехали? Сначала, понимаешь, лишили всех званий, потом потребовали покинуть пределы Российской империи, признали преступником, а теперь вдруг пожаловали? Нет, я калач тертый.

— Мы приехали к вам, атаман, — заговорил Ванюшин, — от имени родины. Мы хотим сейчас, чтобы все забыли прежние обиды, когда решается главный вопрос — освобождение страны от большевистского ига.

— Ты Ванюшин, что ль?

— Да.

— Твоя газетенка против меня первая визг подняла? Это ты, ихний холуй, бузу затеял? А теперь лисом

сюда пришел? Когда поняли, что не можете без Семенова, приползли?

— Можем и без Семенова, — сказал Меркулов, поморщившись, — можем, Григорий Михайлович. Наши части завтра начинают штурм Хабаровска.

— Хрена вы его возьмете. Вы демократы, вам от виселицы дурно делается, у вас полки́ аккуратные, черепа на рукавах для блезиру носят, словно в аптеке. А тут нагайка нужна, нагаечка! Без казацкого визга русского мужика, хоть он семь раз красный, не напугаешь! Посмотрю я, как вы зубы на Амуре обломите.

— Посмотрите или порадуетесь? — спросил Ванюшин. — Может, вы хотите порадоваться виду русской крови, которая зальет амурский лед? Мои читатели удивятся, услыхав такой ответ.

— Мне на твоих читателей на...ть! Я вон сейчас им моргну, — кивнул Семенов на охранников, — они тебе, понимаешь, читателей покажут шомполов на сто!

— Только вы меня не пугайте, атаман! — громыхнув кулаком о стол, сказал Ванюшин. — Я не из пугливых!

— Ишь, — усмехнулся Семенов, — а ты, писака, шустрый... Сядь, не верещи.

Атаман достал с подоконника бутыль со спиртом, настоянным на женьшене, и долго любовался корнем в бутылке, разглядывая его на свет. Корень был похож на танцующую женщину с руками, заломленными над головой.

— Как балеринка, — нежно сказал Семенов, — ишь стервоза, изгиляется. Вроде вашего брата корреспондента... А ну, по стакашке.

Он разлил чуть зеленоватый спирт по граненым стаканам, разрезал несколько больших луковиц, присолил их и подвинул — большую Ванюшину, а поменьше и с прозеленью посередине — Меркулову. Молча чокнувшись, выпили. Потом по-лошадиному мотали головами, нюхали лук, утирали заслезившиеся глаза.

— Ну, с чем приехали? — спросил Семенов. — Манускрипт привезли от этого... как его... премьера вашего?

— Нет. Не привезли, — ответил Меркулов. — Устное предложение.

— Вываливай.

— Правительство жалует вам звание генерал-лейтенанта и назначает командующим всей кавалерией Русской освободительной армии.

— Тут нищих нет.

— Григорий Михайлович, да неужто общее наше дело вас не волнует? — тихо спросил Ванюшин. — Ну, что вы как на базаре? Мы к вам пришли, мы вас просим — включайтесь в борьбу, мы вам приносим звание, которого у вас не было, вы ведь всего-навсего полковник, мы даем вам пост, который почетен и мужествен, а вы торгуетесь, как купчишка.

— Так спутник ваш, министр иностранных дел, он из этого племени, — впервые за весь разговор улыбнулся Семенов, — они сами с братцем из купчишек. Иль нет, Николай Дионисьевич?

— Уж если мы из купчишек, — серьезно ответил Меркулов, — так вы, дорогой атаман, из таких густопсовых мужиков, что мы друг от друга недалеки. Происхождением куражиться — забота аристократов, а мы с братом — плебеи и, право, горды этим!

— Ладно, — сказал атаман после минуты молчания. — Бронепоезд дам и конников подброшу, чтоб визгом подмогли. Посмотрите, на что мои семеновцы-молодцы горазды. А там решим, кем мне идти: кобылами заправлять, либо людишками командовать. В газетенке, понимаешь, об этом черканите, что, мол, семеновцы-удальцы порубали вдосталь саблями во славу оружия российского. Про меня можешь не писать, я не гордый, я здесь тихо живу, как в Тульчине.

— Что это такое? — спросил Меркулов, поглядев на Ванюшина.

Тот ответил:

— Деревня, куда император Павел сослал Суворова перед тем, как дал ему звание генералиссимуса.

СТАВКА ПОД ХАБАРОВСКОМ

Несутся конники Семенова на красные позиции, размахивают над головами саблями и визжат — дико, позвериному, так, что мороз леденит кожу. А следом за ними — шеренги каппелевцев: бегут — штыки наперевес. И в прозрачной дымке над Амуром им виден Хабаровск на высоком берегу реки, весь в солнце, церкви светятся, небо высокое, а солнце в нем синеватое, крохотное, морозное.

Бойцы поднимаются из окопов, бегут с винтовками наперевес: русские на русских, мужики на мужиков, братья на братьев, отцы на сыновей.

Идет рукопашный бой, то один, то другой бросает

винтарь в сторону и по-русски решает свою судьбу: на кулаках. Молчаливый идет бой, только сопят люди или слезливо матерятся, но это уже предсмертно, в последний раз это.

Солнце село за тучи, пришли сумерки, а потом упала ночь, исчирканная короткими вспышками редких выстрелов.

Ревут паровозы, кричат женщины и дети, облепившие вагоны: из Хабаровска уходят последние составы.

Постышев и бойцы медленно отступают, прикрывая последние эшелоны, уходящие со станции. Слышно, как где-то близко урчат танки, в городе визжат конники — здесь им не с руки, тут рельсы, кони ноги поломают, — видно, как в городе один за другим возникают пожары — поднимаются белыми языками пламени, швыряет их по ветру, и кажется, будто хотят они поджечь унылое зимнее небо.

В занятом Хабаровске пьяный разгул победителей. В кабаках — крики казаков, вопли женщин, которых семеновцы затаскивают в подворотни; звенят стекла, крошатся зеркала в парикмахерских и оседают на пол пенными черными водопадами.

Ванюшин видит, как бьют старика еврея и таскают его за седые пейсы, он видит, как трое семеновцев сдирают шубку с гимназистки и рвут на ней юбчонку, он видит, как на фонаре болтается повешенный, а на груди у него табличка: «Учитель Широких — красный прихвостень». Он видит, как двое пьяных семеновцев методично бьют по щекам мужчину в касторовой шубе, судя по всему присяжного поверенного, и приговаривают:

— Рожу отъел, падлючий твой рот! Хлебало салом затекло!

— Перестаньте! — кричит Ванюшин. — Вы все сошли с ума! Перестаньте!

Один из казаков оборачивается и неторопливо перетягивает Ванюшина нагайкой через все лицо.

— А ну тикай, пока тебе в зад шомпол не воткнули, лярва!

Ванюшин бежит через три ступени на второй этаж гостиницы, в люкс к Меркулову. Охранник говорит, что Николай Дионисьевич на лесных складах возле Амура.

Ванюшин выскакивает на улицу и сломя голову несется к реке. Снова — вопли избитых, пьяные крики казаков, шальные выстрелы, пожары и — ставни, ставни,

ставни. Все окна закрываются ставнями. Город словно слепнет на глазах, словно прячет свое лицо от победителей — озверевших, окровавленных, страшных.

На громадном лесном складе, который разбросан прямо на берегу реки, сейчас оживленно. Несколько купцов, те, кто постарше, в поддевках и картузах, а которые помоложе — все на американский манер в коротких пальтишках и гетрах, окружив Меркулова, ходят среди громадных штабелей леса. Сколько же здесь леса! И мачтового, и строительного, и под спички, и кругляков на топку, и распиленного под шпалы, и заготовленного под доски — золото вокруг, бесценный клад здесь захвачен.

Шуба у Меркулова распахнута, глаза блестят, он указывает нескольким приказчикам на штабеля леса и говорит:

— Это братнино, и это тоже братнино. И это тоже. Все кварталы с наших заимок пришли, тут на семьсот тысяч долларов должно быть, завтра проверим, а сейчас поставьте охрану и трезвых солдат. Если хоть одну спичку здесь бросят — к стенке!

Ванюшин подбегает к Меркулову, хватает его за рукав, не может никак отдышаться, хрипит:

— Послушайте, в городе резня! Надо немедленно пустить вашу охрану на улицы, чтобы навести порядок! Творится ужас!

— Не может быть, — рассеянно отвечает Меркулов. — Экое, право слово, безобразие. Сейчас что-нибудь придумаем. Слышите, как древесиной пахнет, а? Понюхайте, понюхайте — божественный запах. Нет ничего слаще запаха убитого дерева.

— Коля! — шепчет Ванюшин, и в глазах его играет отблеск пожаров, полыхающих в городе. — При чем здесь лес?! В городе творится ужас! Мы так все погубим. Какие, в черту, общенациональные задачи и манифесты? Опомнитесь...

— Да, да, вы правы, — отвечает Меркулов, а сам зажимает пальцы, считая штабеля, — сейчас едем. А с другой стороны, чего вы хотите? Народный гнев не знает границ... Господа, отчего вы не пометили на кедрачах, что мы не в Токио, а к американцам эту партию запродали? Синим крестиком надо, а вы желтым ставите. Как же так невнимательно, господа?

Ванюшин медленно отступает от Меркулова, поворачивается и, расстегнув шубу, бредет по городу, объятому пожарами.

ЧИТА

Последние месяцы рабочий день Блюхера начинался с пяти утра. Он просыпался без будильника и делал гимнастику, мылся ледяной водой до пояса, отфыркивался, как конь, лупил себя ладонями по загривку, по груди и по плечам, чтобы заиграла кровь. Одевался, тщательно брился, менял подворотничок, — с ночи он обязательно наглаживал себе смену и больше дня один подворотничок не носил, надраивал сапоги с высокими — бутылочками — голенищами и входил к себе в кабинет — сверкающий, свежий и спокойный.

Его сотрудники, ложившиеся спать так же, как и главком, в два-три часа — только после прибытия последних сводок с фронта, просыпались с трудом и долго не могли подняться из-за того, что болел затылок и в веках была тяжесть. Блюхер сам ходил по кабинетам — теперь все жили в штабе, на казарменном положении, — грохочуще смеялся и срывал рыжие, замученные дезинфекциями одеяла со своих людей, а иногда еще брызгал холодной водой из алюминиевой кружки.

Подняв своих помощников, Блюхер шел к прямому проводу, разговаривал с командующим Восточным фронтом Серышевым и комиссаром Постышевым, просматривал сообщения за ночь, заходил в комнату, обитую цинком, — там помещался особый отдел разведывательного управления, с полчаса сидел в управлении тыла. Сейчас главное значение Блюхер придавал организации снабжения дивизий, готовящихся к отправке на фронт. Ездил в Дальбюро ЦК, докладывал положение на фронте и уже потом шел к себе в кабинет, чтобы принять посетителей перед тем, как отправиться в части, на полигоны и в правительство: чуть ли не каждый день Совет Министров заседал в экстренном порядке, обсуждая положение под Хабаровском.

* * *

Первым, кто оказался в приемной военмина и главкома, был Мэрвин Кэбб, представляющий в ДВР американское телеграфное агентство.

Войдя в кабинет к Василию Константиновичу, он поклонился ему — сдержанно и спокойно, сел в кресло, не спеша вытянул ноги, хрустнул длинными, плоскими пальцами и сказал:

— Мистер Блюхер, я понимаю вашу занятость и поэтому весьма признателен за согласие принять меня. Америка — я имею в виду не только большой бизнес, но вообще широкое общественное мнение — интересуется тем, как вы объясните поражение ваших армий.

— Мне нравится, что вы не крутите, — ответил Блюхер, достав из вазочки несколько остро отточенных цветных карандашей. — Мне нравится, что вы ставите вопрос в лоб. Я отвечу вам. В связи с переговорами в Дайрене мы не предпринимали чрезвычайных мер по охране нашей границы вдоль нейтральной полосы по Иману, потому что, по условиям перемирия двадцатого года, за эту границу отвечали японцы. И еще — мы знали о существовании сильнейших белых группировок вдоль наших границ с Китаем и Монголией, откуда до Читы — рукой подать. Следовательно, мы обязаны были держать чересчур громоздкую пограничную армию для защиты тылов.

— Простите, господин министр, но сейчас вам тем не менее пришлось оголить тылы? По сообщению японских телеграфных агентств, вы сняли все пограничные войска и перебросили их под Хабаровск.

— Вам нужно официальное подтверждение? — улыбнулся Блюхер.

— О нет! Официальные подтверждения мы привыкли получать неофициальным путем.

— Но это уже путь не журналистики, а разведки.

— Две стороны одной медали, министр, если говорить честно.

— Мне не хочется обсуждать эту тему. Вопросы, представляющие военную тайну, несколько отличны от тех дискуссий по вопросам длины юбок, которые с таким блеском ведутся на страницах ваших газет.

— У нас достаточные запасы бумаги...

— Бумага — не ум, ею можно запастись впрок, — ответил Блюхер.

Кэбб захохотал, щелкнул пальцами и сказал:

— У нас это называется — «один ноль, впереди мистер Блюхер».

— Итак, продолжаю. Мы были убеждены, что, пока ведутся в Дайрене переговоры, нет надобности в исключительных мерах по охране границы по Иману, ибо международные гарантии, которые столь широковещательно дала Япония, казались нам вполне серьезными. Увы, мы ошиблись. Японцы пропустили белые армии через

свои границы, нападение было неожиданно, отсюда — временный успех белых войск.

— Сдачу Бикина, Хабаровска, Ина вы считаете случайностью? Потерю тысячи километров вы называете временной?

— Да.

— Вы убеждены в вашей победе?

— Конечно.

— На чем зиждется ваша убежденность?

— Я слишком хорошо знаю, что несут с собой белые войска. Так же как ливень предшествует зною, так и эта победа белых — канун их окончательной гибели.

— Вы говорите словно пророк.

— У меня слишком веселый характер для этой должности.

— Последний вопрос: мир хочет узнать правду о переговорах в Дайрене.

— Я думаю, мы заключим с Японией торговый договор.

— А чем собираетесь торговать?

— По преимуществу зубными щетками.

— Кто кому будет продавать зубные щетки?

— Друг другу. Они нам синенького цвета, а мы им фиолетовые.

— Надеюсь, если я передам в Нью-Йорк это сообщение, меня не выдворят из Читы за разглашение военной тайны?

— Только не спутайте цвета. Если вы напишете, что мы будем продавать Токио красные зубные щетки, обязательно выдворят.

— Вопрос не для печати — позволите?

— Пожалуйста.

— Как вы относитесь к японцам?

— Я глубоко уважаю эту нацию — художников, строителей и поэтов.

— Последний вопрос: нам известно, что вы обязываете комсостав армии изучать английский язык. Что вы имели в виду, издавая этот приказ?

— Я действительно издал такой приказ. После нашей победы мы проведем широкую демобилизацию, и многие из командиров станут инженерами, дипломатами, торговыми работниками. Им придется общаться с вашими людьми, а я не очень верю искусству переводчиков. Я даже думаю, что если бы каждый человек на земле

знал хотя бы два языка, войны в будущем были бы исключены из жизни общества.

— Вы говорите о будущем, когда ни одна страна мира не признает ни ваше, ни ленинское правительство? Вы говорите об этом, когда белые войска разгромили ваши армии под Хабаровском?

— Именно.

— Вы говорите как верующий.

— Довольно сложно объяснить разницу между понятиями «верующий» и «уверенный». Тем не менее запишите это себе в книжечку и порасспросите ваших русских друзей из нашей эсеровской оппозиции.

— Благодарю вас, мистер Блюхер.

— Всего хорошего, мистер Кэбб.

...Через пять минут после того, как Кэбб покинул здание штаба, Блюхер пригласил к себе сотрудников особого отдела разведупра и предложил разработать тщательный план по дезинформации противника, с тем чтобы у белых создалось впечатление о новой переброске погранвойск с китайской границы к Хабаровску.

РАСПОЛОЖЕНИЕ КАВАЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЫ

Блюхер в сопровождении командиров быстро идет через плац к конюшням, огороженным высоким забором. Оттуда доносится тоскливое ржание. Блюхер — злой и хмурый, на лбу — складки, глаза спрятаны под бровями. В громадный, огороженный двор, где сейчас стоит добрая сотня лошадей, купленных для бригады у крестьян, он почти вбегает.

— Почему кони не в конюшнях?

— Полно, ставить некуда.

— Почему не построили временных?

— Завтра переведем конский запас в Балку, там есть пустые помещения.

— Почему завтра? Почему не сегодня?

Он не слушает ответа, досадливо машет рукой и начинает осматривать лошадей. Делает он это медленно, близко заглядывает в конские морды, щупает мускулатуру груди и нос. Он переходит от одной лошади к другой и очень вдумчиво, тщательно изучает каждую. Коннице белых надо противопоставить красную конницу, иначе пехоте не выдержать. И орудиям надо придать лошадей — они мертвы без конницы.

— Куда вы думаете определить эту, каурую? — спрашивает Блюхер сопровождающих его командиров.

— В пятую батарею.

— Понятно... Извольте сказать, каковы требования к вьючным лошадям для артиллерии?

— Какие требования?

— Те, которые разосланы по частям неделю назад. Вы их видели?

— Так точно.

— Помните?

— Да.

— Извольте повторить.

— Я помню в общих чертах...

— Придется напомнить частности. Вьючная лошадь для артчастей должна быть с широкой грудью, на коротких ногах, плотного склада, круторебрая, с крепким копытным рогом, с прямой короткой спиной, без старых ссадин на спине и с невысокой правильной холкой, — вдалбливая каждое слово в собеседников, отчеканил Блюхер. — А разве эта лошадь в артиллерию годится? На ней хоронить хорошо, а не воевать. Определите ее в обоз.

Блюхер идет дальше, осматривая коней.

— А это что такое? — спрашивает он. — Каких лошадей мы вообще не берем в армию?

— С порченными копытами.

— Еще.

— С сжатой пяткой.

— Еще?

— Вислоухих.

— Еще?

Молчат командиры, смотрят под ноги, мнутся.

— Ай-яй-яй, — качает головой Василий Константинович, — нехорошо иметь девичью память, граждане комэски и комкавполками. А если у коня передние ноги значительно выгнуты назад в коленях?

— Не годится, если гнуты в коленях, — гудят командиры.

— Да я знаю, что не годится. А вот этот конь? У него ноги, как луки. Зачем его взяли?

— Недоглядка.

— Прошляпили, гражданин министр.

— Люблю самокритику, — говорит Блюхер хмуро, — только не в военных организациях, а в лавках головных уборов. Этого коня выбраковать.

Главком идет дальше. Он придирчиво осматривает каждую лошадь, смотрит, как подкована, заглядывает в зубы, пробует на ощупь мышцы ног. И вдруг возле забора он видит кобылу с огромными страдальческими глазами, а возле нее рыженького жеребенка. Тот жмется к матери, испуганно смотрит молочными еще, с голубизной глазенками на людей, которые приближаются. Кобыла притирает сына к забору, стараясь спрятать его от людских взоров.

— Ах ты, маленький, — ласково говорит Василий Константинович. — Ах ты, красавец мой нежный...

Он осторожно тянет руку к жеребенку. Кобыла настороженно следит за его рукой и переступает задними ногами — часто-часто, словно собираясь взбрыкнуть.

— Василий Константинович, — опасливо говорят командиры, — как бы она не зашибла...

— Да разве она зашибет, — по-прежнему ласково говорит Блюхер, — она ж видит, что мы к нему с лаской, она только жестоких будет шибать...

Он дотрагивается до головы жеребенка и легонько начинает почесывать его лоб, поглаживать за ушами, что-то тихое и нежное говорит ему, угощает четвертью сахарного кусочка. Жеребенок делает шаг от матери к Блюхеру и начинает тереться об его руку тоненькой шеей. Мать теперь уже не переступает задними ногами так часто, только все время опускает голову и трогает сына губами за спину. Жеребенок оглядывается на нее, не отходя от Блюхера, и тихонько покачивает головой, будто успокаивая ее.

Василий Константинович берет лошадь за узду и ведет ее среди ржания и копытного перестука в конюшню. Следом за кобылой идет жеребенок.

— Разве можно брать лошадей с сосунками? — спрашивает Блюхер командиров после того, как поставил мать с сыном в стойло и насыпал им вволю сена. — Разве ж можно, дорогие граждане командиры?

— В приказе про это не сказано.

— Гражданин министр, там только сказано, чтоб явно жеребых маток не брать.

— Если б там было запрещено, разве б мы стали? Тоже ведь не звери, а люди.

— Эх-хе-хе, — задумчиво и грустно тянет Блюхер. — Ладно, впредь имейте это в виду, люди... Пойдемте к вам в штаб, посмотрим, как обстоят дела с фуражом и боеприпасами.

ШТАБ КАВБРИГАДЫ

— Дайте мне список телефонов, — просит Блюхер, зажав телефонную трубку плечом возле уха, — надо позвонить в типографию.

— Пожалуйста, гражданин министр.

— Спасибо.

Блюхер быстро листает напечатанную на гектографе телефонную книжку штабных телефонов.

— Что такое инфористот? — удивленно спрашивает Блюхер.

— Информационно-исторический отдел, гражданин министр, — со снисходительной улыбкой объясняют Блюхеру.

— Вот в чем дело... А изопу? Что-нибудь связанное с художниками?

— Это фельдшерский изоляционный пункт.

— А что такое ВПН?

— Военный помощник начальника железной дороги.

— Ага... Ясно... — Блюхер называет номер телефона, ждет, пока ответят, и говорит: — Это Блюхер. Да, товарищ начальник телефонной станции, да, тот самый. У меня к вам просьба. Пожалуйста, переведите на русский язык все обозначения вроде инфористот, изопу, пертелстан и так далее. Научитесь уважать родной язык.

Блюхер кладет трубку на рычаг, качает головой.

— «Изопу»! В типографию я позвоню позже, давайте посмотрим, что к вам поступило в последние дни из боеприпасов.

Ему приносят пачку приказов и рапортов. Он просматривает бумаги, шевелит губами, подсчитывая что-то, гремит костяшками на счетах. То и дело ему попадаются бумаги, перечеркнутые размашистыми резолюциями. Написаны резолюции громадными, но абсолютно стертыми буквами — карандаш раскрошен, поэтому понять, что написано в самом документе, нет никакой возможности. Блюхер несколько раз смотрит на свет, чтобы разобрать написанное.

— Кто рисовал на накладной?

— Я, гражданин министр, — отвечает один из командиров.

— Прочтите.

— «Прошу принять к сведению и незамедлительно выделить два мешка для нужд кухни. Синельников».

— Это вы Синельников?

— Так точно.

— А свою фамилию вы буквами поменьше рисовать не можете? Нескромно эдакими буквищами свою фамилию рисовать. А теперь прочтите, что написано в накладной.

Командир Синельников, ставший совершенно пунцовым, пытается прочесть текст, но не может этого сделать из-за своей резолюции.

— Ну вот что, — говорит Блюхер, — приказываю впредь резолюции, если в них есть настоящая нужда, а не «мешок для кухни», накладывать на полях чернилами и подписываться нормально. Если резолюция нужна побольше и на полях не умещается, извольте потрудиться и подклеить к документу чистый листочек бумаги. Этому легко научиться, — усмехается главком и быстро показывает, как надо клеить, — и на нем уж извольте чертить свое просвещенное мнение.

— Василий Константинович, — тихо говорит один из командиров, — да разве сейчас время про резолюции говорить и про цвет чернил? Отступаем, крах грозит, Василий Константинович...

Блюхер жует губами и отвечает глуховато и с болью:

— Дивлюсь я на вас: исход войны в конечном счете решает то, как у солдата намотана портянка и чем он накормлен, а вы трещите, как дешевые агитаторы, и посерьезному думать не хотите. На сколько времени хватит вам патронов, если сейчас, завтра, через неделю пойдем в наступление?

— На неделю хватит!

— На пять дней!

— У меня на три дня!

— На восемь соберу!

— На пять суток...

— На двое...

— Тьфу! — плюет Блюхер себе под ноги. — Противно слушать. «На пять дней»! Может, ты Меркуловых за день расколотишь? Аника-воин, слушать тошно!

Он поворачивается к окну и долго смотрит, как эскадрон учится брать барьер и рубить лозу сплеча.

— А как они у вас обучены? Ни черта лозу не берут; саблей, как дубиной, машут, коней держат, будто молодожен — девку!

Блюхер выходит из штабной комнаты, идет на плац, берет у комэска коня, пускает его во весь опор, проносится ветром по учебной полосе, все препятствия берет

с упреждением в метр, рубит лозу остро, словно бритвой, осаждает коня прямо перед командирами, легко спрыгивает с седла и говорит:

— Научитесь уважать бойца, которого вам предстоит вести в бой. А уважать бойца можно, только научив его воевать лучше, чем противник. Так-то вот, граждане командиры.

ГЕНШТАБ НАРОДНО-РЕВОЛЮЦИОННОЙ АРМИИ

Над столом, устланным картами, склонились двое: заместитель начальника оперативного отдела Гржимальский и Блюхер.

— Повторяю, — говорит Василий Константинович, — постепенную концентрацию войск в прифронтовой полосе я считаю нецелесообразной.

— Но Мольтке считал это целесообразным.

— В том случае, если он был уверен в превосходстве своих сил. А мы уверены в превосходстве сил противника. И поэтому мы двинем на фронт мощный кулак сразу после того, как вся предварительная работа закончится здесь. Понятно?

— Дальнейшее ожидание, Василий Константинович, деморализует войска. Моя жена в свое время ставила спектакли в Офицерском собрании. У них был термин — «передержать» спектакль. Пусть лучше несколько недодержать — поможет энтузиазм, напор, горение... Передержка опаснее тем, что опускаются руки.

— Станислав Иванович, фронт — не спектакль, здесь стреляют не из игрушечных пистолетов.

— Любопытная ситуация, — грустно улыбается Гржимальский, — если бы мы, кадровики, решили саботировать, то лучшей позиции, чем ваша, Василий Константинович, не сыщешь. Все вокруг ропщут, ищут измену, считают, что это мы вас удерживаем от немедленных боевых операций...

— Кто именно?

— Увольте от точного ответа, потому что это я считаю доносительством. Поверьте благородному слову: многие.

Блюхер отходит к окну, останавливается, прячет руки за спину, медленно отвечает:

— «Мы ленивы и не любопытны». Помните Пушкина? Но мы еще склонны невежество прикрывать презри-

тельной усмешкой обожравшегося культурой Фауста. Соскоблите с иного «Азбуку коммунизма» — и перед вами предстанет абсолютно голенький человек. А что касается «многих», недовольных моей медлительностью, то вы заблуждаетесь. Недовольных в штабе я знаю по фамилиям и знаю, что их недовольство идет от преданности нашим идеалам, и оно мне сейчас, если хотите, выгодно. Да, да, это великолепная дезинформация, которая фиксируется во Владивостоке, и она столь правдива, что ей нельзя не верить. Понимаете?

— Вы дьявольский хитрец, Василий Константинович.

— Ну и слава богу. Какие у вас соображения по службе бронепоездов?

— По-видимому, дуэль двух бронесил в конечном итоге решит очень многое. Кто сможет пережать и оттеснить противника по линии железной дороги, тот окажется победителем.

— Какие меры вы считаете необходимыми для этого в стадии подготовительного периода?

— Здесь я предполагаю широкую деятельность...

Блюхер усмехается и, оторвав голову от карт, говорит:

— У индусов есть мудрые слова: «Горе тому народу, правители которого слишком деятельны». Как бы нам не уподобиться этим правителям, а?

РАЙКОМ КОМСОМОЛА

Заседает комиссия по мобилизации членов Союза молодежи в экипажи бронепоездов. Среди райкомовских ребят — Блюхер. В кабинет заходит вихрастый паренек.

— Здорово, комса, — говорит он членам бюро. — Васильев Пахом. Прибыл умереть за революцию.

— Ты лучше за нее поживи, — советует Блюхер.

— А этот тип откуда? — глядя на Блюхера, одетого в полушубок, спрашивает Пахом Васильев своих райкомовских товарищей.

— Этот «тип», — звенящим голосом возглашает секретарь райкома, поднимаясь со своего места, — этот тип...

Но Блюхер не дает ему закончить:

— Я из военведа.

— Рожа у тебя больно старорежимная, — говорит Пахом, — у меня к тем, кто бритый и в английском френче, прорезалось обостренное чувство классовой неприязни.

— Понятно, — чуть улыбается Блюхер. — Какую главную мечту имеешь в жизни?

— Торжество революции в мировом масштабе.

— Что для этого сделал?

— Учу английский язык по приказу главкома Блюхера. Раз. Провел со своей комсой семь субботников. Два. Отремонтировал в нашем депо три полевые кухни в сверхурочное время. Три. Отдал для нужд фронта свои хромовые сапоги. Четыре.

— Голенища бутылочками?

— Что я — старик? Гармоника-напуск, сдвигаешь их, бывало, книзу, скрежет стоит, как предсмертный стон мирового империализма.

Пахом Васильев вздыхает. На восемнадцатилетнем веснушчатом лице его отражается грусть. Блюхер смотрит на ноги парня, обутые в лапти.

— Годится, — говорит Блюхер членам бюро. — Следующий.

— Идешь на бронепоезд, — говорят парню.

— Доверие оправдаю, — отвечает Пахом Васильев, — вернусь с победой.

В комнату входит следующий парень и представляется:

— Шувалов Никита.

— Давно в рядах комсы?

— Третий год.

— Что сделал для революции?

— Ничего.

— Разъясни.

— И без разъяснений понятно.

— Погоди, погоди, — просит Блюхер, — растолкуй свою точку зрения подробней.

— Революции нужны бойцы, а меня держат машинистом на «кукушке». Я вожу бараньи туши с бойни на базар для купцов советского производства.

— А если советские купцы помогают кормить народ — ты все равно против?

— Да не против я, — морщит лицо парень, — плевать мне на них семь раз с присыпью, меня они не волнуют, я сам себя волную. Талдычут: мол, ты еще пригодишься революции, подожди.

— Дождался, — говорит Блюхер. — Идешь на бронепоезд сменным машинистом.

— Давно бы так, — мрачно говорит Никита Шувалов, — а то тянут-тянут, а чего тянут — не поймешь.

Парень, не попрощавшись, уходит.

Когда дверь за Никитой закрылась, члены бюро сказали Блюхеру:

— У него белые отца в топке живьем сожгли, он на них страсть какой бешеный.

Из райкома комсомола Блюхер едет на аэродром, к летчикам, оттуда в депо — смотреть, как ремонтируют бронепоезда, потом отправляется в госбанк и там выколачивает еще двести тысяч рублей на нужды армии, ругаясь так, что звенят стекла в окнах. А потом — заседание Дальбюро ЦК. Оперативное совещание в генштабе. Беседа в школе младших командиров. Прямой провод — разговор с командующим фронтом Серышевым, с комиссаром Постышевым и с Уборевичем. И только в три часа ночи он заходит в свою комнату, не включая света, добирается до раскладушки, падает на нее и сразу же засыпает. Во сне его лицо кажется старческим.

ВЛАДИВОСТОК. НОМЕР ГОСТИНИЦЫ «ВЕРСАЛЬ»

Ванюшин сидел за столом полураздетый; лицо испитое, оплывшее, глаза — щелочками.

— Вот вырезка, Максим Максимыч, — сказал он, — из московской газеты «Раннее утро» от семнадцатого октября тысяча девятьсот двенадцатого года. Полюбопытствуйте.

Он достал из большого портмоне истлевшую на сгибах вырезку и протянул ее Исаеву:

— Только вслух. Я наслаждаюсь, когда слушаю это.

— «Вчера у мирового судьи, — начал Исаев, — слушалось дело корреспондента иностранной газеты Фредерика Ранета по обвинению его в нарушении общественной тишины и спокойствия. Находясь в ресторане в компании иностранцев и будучи навеселе, Ранет подошел к официанту Максимову и ударил его по лицу. Составили протокол. Ранет заявил, что он не желал оскорбить Максимова, а хотел только доказать, что в России можно всякому дать по лицу и отделаться небольшим расходом в виде денежного штрафа. Мировой судья приговорил Ранета к семи дням ареста...»

— Заголовочек пропустили, Максим. Вы обязательно проговорите мне заголовочек.

— «В России все можно», — прочел Исаев.

Ванюшин захохотал деревянным смехом, заколыхался.

— Какая прелесть, вы подумайте! У нас все можно. Все и всем! Любому скоту и торговцу, любому сукину сыну, любому интеллигентишке!

— Зря вы нашу интеллигенцию браните. Она бессильна не оттого, что плоха, а потому, что законов у нас много, а закона нет.

— Почему не пьете?

— Не хочу перед охотой. Гиацинтов через час, видимо, приедет — будем завтра изюбря бить.

— Я тоже с вами потащусь.

— Вам бы отдохнуть с дороги, Николай Иванович.

— Э, ерунда. Почему вы не пьете? Ах да, понимаю — охота! Уничтожение живых тварей, инстинкт и прочая и прочая. Максим, — опустив плечи и бессильно вытянув руки вдоль тела, сказал Ванюшин, — все кончено. Вы понимаете: мы пропали, Максим.

— О чем вы?

— В эмиграции после гибели Колчака я жил в роскошном харбинском хлеву и подстилал под себя чудесную солому. Как нищий, как изгой, воровал хлеб. Бред. Хотя почему? В эмиграции есть определенная прелесть: ощущение постоянной жалости к себе, злорадство, возведенное в сан религии, и любовь ко всему нашему, доведенная до абсурда. Даже блевотина, если она наша, кажется в эмиграции родной и близкой, до слез своей.

В дверь постучали.

— Валяйте! — крикнул Ванюшин.

Заглянула Сашенька.

— Заходите, дорогая! — бросился навстречу ей Исаев. Он пожал ей руку крепко, по-английски и повел к столу. Сашенька была одета в короткий тулупчик, кожаные галифе заправлены в белые, с оторочкой пимы.

— Это вы зачем так оделись, лапушка моя? — спросил Ванюшин, целуя Сашеньку в лоб. — На карнавал по случаю наших побед?

— Да нет же, Николай Иванович. Нас Гиацинтов пригласил на охоту, изюбря бить.

— А где он сам, наш Демулен?

— Вечером приедет, а меня сейчас отправляет на автомобиле с продуктами и поварами.

Исаев подошел к окну, чуть приоткрыл занавеску и увидел в длинном сером автомобиле двух «поваров». Это были явные филеры: лобики низкие, глаза бегают и в облике прибитость.

— Сашенька, — сказал Ванюшин, — вы чертовски похорошели, душечка моя. К чему бы это? Не к любви ль?

Сашенькины брови вскинулись, она резко повернулась в Ванюшину и ответила ему:

— К оной, Николай Иванович, к оной.

Девушка убежала. Исаев посмотрел вслед ей ласково и с такой мучительной тоской, что Ванюшин гулко ахнул и погрозил ему пальцем; подошел к письменному столу, снял трубку телефона, назвал номер и сказал:

— Полковник? Да, да, я. Ты что так удивляешься? Меркулов там, а я здесь. Ты нас сейчас на охоту заберешь или позже? Когда? Вечером? Хорошо. До шести мы свободны. Ладно. Ждем.

Ванюшин положил трубку и сказал:

— А теперь пьем спокойно и думаем о Боге!

Он налил себе еще стакан коньяку, выпил его одним махом и начал бегать по номеру, напевая «Камаринского мужика» дурным голосом.

Вдруг замолчал, сел на корточки и отполз в угол. Спросил:

— Вы когда-нибудь слыхали, как воют охотники-волчатники? Они «вабят» — волчицей кричат, волка подманивают. Я умею. Хотите, покажу...

Ванюшин лег на пол и начал выть — сначала тихонько, а потом нарастающе-жутко, отчаянно, зверино. Замолк. Всхлипнул.

— Пошли в город, Максим, — жалобно попросил он, — а то я здесь повешусь. Ты, кстати, слышал — вчера вечером генерал Савицкий предложил американцам продать за миллион долларов все земли уссурийского казачьего войска. Патриот российского народа, герой и солдат торгует землей своей родины! Этого пока еще в мировой истории не было. Рыба действительно-таки начинает гнить с головы. И еще я своими глазами видел, как семеновцы одного красного пленного — просто русского мужика, никакого не комиссара — раздели на льду Амура догола, натерли щучьими головами, а потом обваляли в соли и пустили на все четыре стороны. А до ближайшего жилья десять верст. А мороз тридцать градусов. Так он на коленях за ними полз и все кричал, чтоб они его пристрелили. Говорят, толстые люди добродушны... Какая глупость. Это все вы про толстых выдумали, Максим... И еще знаете что? Общество, в котором хорошему писателю самому при-

ходится организовывать на себя рецензии, обречено, ибо оно отравлено равнодушием и пассивностью. Мне вчера один большой литератор написал из Парижа, просит о его сборнике статью поместить. Сам просит, а мне противно...

— Что-то с вами приключилось, Николай Иванович. Даже морщины возле ушей прорезались. Это знаете к чему?

— К чему?

— К тому, что вы еще на одну ступень мудрости подниметесь.

Ванюшин не слушал Исаева, загадочно усмехался и продолжал говорить:

— А у всех купчишек — генералин в мозгу. Интеллигент не падок до власти — в этом трагедия нашего общества. У нас до власти падки торгаши, разночинцы и попы. А интеллигенты только правдоискательствуют, от этого страдают сами и заставляют страдать окружающих. И пророчествуют. Все время пророчествуют!

— Я давеча смотрел Лао Цзы, — сказал Исаев. — Там очень хитро трактуется взаимоотношение между неким Большим и Малым. Малое, как утверждает Лао Цзы, должно быть наверху и тщеславиться, в Большое — внизу и довольствоваться тем, что оно большое.

— К чему это вы? Снова хитрите? Вы хитрый человек, Максим Исаев. Зачем вы про большое и малое? Думаете, я — малое, а вы — большое? Вон в углу череп ворочается, глядите-ка? Скорей уберемся отсюда, а? Кстати, у вас патроны на мою долю найдутся? Вдруг я решу на номер стать...

Исаев вытащил из кармана два патрона, заряженные «бренеками».

— Один вам, другой мне — хватит, а? Я с собой на изюбря больше одного патрона и не возьму.

— А если промажете — обидно!

— Так я не промажу, Николай Иванович, я злой на охоте.

НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ

Ванюшин шумно вошел в ложу прессы, бросил доху на кресло, не глядя сунул руку английским и японским газетчикам и громко спросил Исаева, шедшего следом:

— Максим, что сегодня показывают в этом бардаке? Вы программу не купили?

В зале — среди делегатов — прокатился шум, председатель сокрушенно покачал головой, поглядывая на Ванюшина с укоризной и позвонил в звоночек. Оратор — эсер Павловский — продолжал выступление.

— Мы завоевали власть голыми руками! — говорил он.

Ванюшин, облокотившись о балкон, крикнул:

— Только в японских перчатках!

— Вызовите сторожа Герасима! Пусть он выведет этого зарвавшегося господина! — возмутились делегаты.

— Господин Ванюшин! — поднявшись со своего места, сказал председатель. — Я делаю вам последнее замечание. Вы мешаете обсуждению серьезнейшего вопроса.

— Серьезнейшее обсуждение глупейших идей, — хмыкнул Ванюшин и сел в кресло. — Я замолчал, председатель! Я замолчал! Я нем как рыба! — крикнул он веселым голосом. — Исаев, подтвердите, что я завонял, как рыба, протухшая с головы.

Павловский, досадливо махнув рукой, продолжал:

— И сегодня, когда все мы празднуем канун полного освобождения родины от красной тирании, следует еще раз вернуться к вопросу о налоговых обложениях тех наших граждан, которые своей предприимчивостью и бескорыстием скопили национальные богатства, которые в конце-то концов, господа, принадлежат народу! Но люди, занимавшиеся деловой деятельностью, тем не менее вынуждены до сих пор маскировать свою торговлю с Японией и Америкой, потому что, видите ли, находятся демагоги, считающие такую торговлю предательством национальных интересов. Я думаю, что в дни нашего победоносного шествия по России мы проведем в Народном собрании законопроект, снимающий тарифные ограничения на торговлю лесом и свинцовыми рудами, в которых так нуждаются наши союзники, наши друзья и братья!

Ванюшин поднялся с кресла, подошел к балкончику, обтянутому малиновым бархатом, и крикнул:

— Заплатите сначала за свое благополучие! Макиавелли говорил, что гражданская свобода состоит в благополучии своем собственном, жены, дочери и имущества. Но когда всем этим обладают — этого не ценят! Вы уже проиграли Россию, толстозадые кретины! Думаете только о своих минутных свинцовых и лесных барышах! Не понимаете вы: армия разложилась! Стала

пьяной ордой! А вы — слепые скоты, жиром заплыли!

— Вон его! — закричали делегаты. — Полицию сюда! Полиция!

Исаев набросился на громадного, белого от бешенства Ванюшина и, легко скрутив ему руки за спину, выволок из ложи. Он бежал вместе с ним по фойе, слышал полицейские свистки; плечом распахнул дверь и затолкал Ванюшина в пролетку. Падая рядом с ним, он крикнул кучеру:

— Гони!

Ванюшин плакал, бормоча ругательства. Плакал он жалобно, по-женски. По-видимому, так плачут холостяки: всхлипывая, растирая по лицу слезы и очень себя жалея.

— Пусть он едет на Шестую Матросскую, в дом Сидельникова, — сквозь слезы, пьяно всхлипывая, попросил Ванюшин. — Там Минька живет, он меня исповедует.

У МИНЬКИ

Минька — старый лакей, проживший в услужении у ванюшинской семьи пятьдесят лет, оказался быстрым, юрким стариком, почти без единого седого волоса, с фиолетовым носом и в шелковой красной рубахе. Увидав Ванюшина, ввалившегося в дверь его полуподвальной комнаты, очень сырой, но чистой, Минька вскочил из-за стола, бросился к гостям, стал снимать с них шубы, шапки и рукавицы; все это он уносил за пеструю занавесочку возле двери, продолжая что-то бормотать и присмеиваться.

Ванюшин лег на низкую деревянную лавку, покрытую старым тряпьем, вытянулся, сложил на груди руки, взял с полочки длинную церковную свечу, поставил ее у себя на груди и спросил:

— Минь, я на покойника похож?

— Ох, Косинька, похож, похож, — обрадованно залепетал старик. — Ну, прямо как живой...

Исаев засмеялся, а Ванюшин, не открывая глаз, сказал:

— Это он так с ума, не с глупости. Минь, а ты чего во все красное вырядился?

— К им готовлюся, цвет к лику примеряю.

— А придут?

— Миленький Косинька, ты не сердися, я тебе так скажу, что когда дрова рубишь, палец острием зацепишь,

так сначала-то ничего не видно, только беленькое виднеется, слабенькое такое, беленькое, а уж потом, пообождав, кровушка выступает.

Ванюшин лежал на лавке, состарившийся, одутловатый. Одним глазом он пристально глядел на Исаева, а другой держал закрытым, словно давая ему отдохнуть.

— Скажите, дедушка, — спросил Исаев, — а что со мной будет? Мне цыганка смешное нагадала.

— Тебе? — переспросил Минька и мягко улыбнулся. — Тебе я даже говорить не хочу, что будет. Она тебе надолго гадала?

— Надолго.

— Ну, тогда ты верь, сынок, ты верь. Хотя, по всему, в черточках твоих серенькое есть, это перед окончанием появляется, при самом кончике, когда он вьется, вьется, как во сне, ты за ним, а он выскользает, выскользает, вот тогда это серенькое и появляется. А ты поспи, Косинька, вон ты желтенький весь. У тебя, правда, цвет хороший, лимонный, это к началу, не к концу, только ты замаялся совсем. Хочешь, я сбегаю баб покличу, они вам песни споют?

— Не надо, — отозвался Ванюшин, глядя по-прежнему на Исаева одним правым глазом. — Минь, а ты зачем моего друга пугаешь?

— Да рази я пугаю? — заулыбался, засветился Минька. — Я его на разлом проверял, другой сразу бабу требует, а этот ноздрей только поиграл — и весь отклик. Косинька, я человека по отклику чувствую. Это как в стекло плюнешь — тебя ж и обрызжет, а в лесу, где все мягкое, там плювай куда хочешь, там от плювка травка вырастет, только на будущий год и по ранней весне, по самой ранней. Так что меня пугаться нечего, я дед добрый, вона этими руками тебя выходил.

— Рассолу принеси, — попросил Ванюшин.

Минька, пританцовывая и бормоча, убежал. Ванюшин посмотрел ему вслед и вздохнул.

— Вы поняли, зачем он вам говорил про кончик, который вьется? Это он меня утешал. А? Здорово, да? Самая большая радость для человека, у которого померла жена, это если у его ближайшего друга окочурится невеста. Разве не так? Так. Только это в самое нутро запрятано. Мы в этом, хоть убей, не признаемся, а он — простой мужик, что ему терять, чего пугаться? Он все свое с собой носит, одинок и стар — потому правдив.

Минька прибежал с огромным жбаном, в котором

плескался мутный рассол. В нем плавали большие смородиновые листья и декоративные гроздья здешнего игольчатого укропа. Ванюшин, задрожав, схватил руками жбан и впился в него зубами. Исаев видел, как по его громадной, толстой шее, грохоча и замирая, елозил кадык.

— На, — запыхавшись, утирая с подбородка зеленоватые капли, сказал он прерывистым голосом, — оттягивает, как молитва.

Исаев выпил рассолу. Он был холодный до того, что леденило зубы.

— Сейчас мой квартирант подойдет, — суетливо радовался Минька, принимая жбан у Исаева, — пошлю его в лавку, он колбаски принесет, я извозчичьей поджарки затушу. Помнишь, Косинька, я тебя ею тайком от маменьки кормил?

— Какой у тебя квартирант? Зачем? Что, денег не хватает, которые шлю?

— Ой, ой, ой, ой, Господи, не бранися, я их в банк кладу на твое имя. Я один, зачем они мне? А квартирант у меня занятный, из профессоров он, Шамес его зовут, лягушек все разрезает, когда лето. А зимой по базару ходит, песни играет про иудеев своих, ему хорошо подают, иудея, если он нищий и убогий, наш народ гораздо больше своего убогого жалеет. Если уж еврей убогий, то, значит, он нашего в семь раз убоже и жалчей. А на денежки, что зимой собирает, Шамес летом лягушек покупает, режет их и в мыкроскоп смотрит, пишет в книжку, а потом мы лягушек в подсолнечном масле жарим. Я сначала их есть не мог, а теперь я от них сильней делаюсь, ей-бог, как от трепанга, даже грешную девку во сне хочу...

Шамес пришел, когда Ванюшин, Исаев и Минька сидели вокруг стола и пили водку, играя при этом в подкидного дурака на раздевание. Ванюшин был уже полуголым, часто и беспричинно смеялся, глаза его блестели радостно и беззаботно, по белой впадинке посредине груди ползли медленные капли пота.

— Сколько принес, Рувимка?! Вот еще, Косинька, три мои десятки открой, а шестерки я на погончики тебе сохраню. Слышь, доктор, сколько собрал сегодня?

— Рубль восемьдесят.

— Сбегай за колбаской к Филимону, а? Я извозчичьей натомлю с лучком...

Шамес надел картуз, запахнул свой драный лапсер-

дак, надетый поверх обезьяньей американской «душегрейки», и вышел.

— Молчаливый у тебя жилец, — сказал Ванюшин. — А десятки я эти заберу. На отбой. И шестерками ты своими обожрешься. Максим Максимыч, ходите под него.

— Даму возьмете?

— Смотря какую предложите...

— Бубновую.

— Эту мы возьмем. Косинька, а теперь ты захаживай под своего дружка. Он тебя в прежнем кону спасал, а ты ж его теперь и оставишь в дураках.

— Я ход пропущу...

— Такого закона нет, — сказал Исаев. — Дед прав: либо сажайте меня, либо выручайте.

— Тогда посажу, — сказал Ванюшин и выпил рюмочку. — Три десятки прошу потянуть.

— Это добро я раскрою.

— А туза пик?

— На него козырный есть. Все. Я выскочил. А зря вы меня гробили, Николай Иванович, я страсть какой злопамятный...

Шамес вошел так же молча, как уходил, и положил на стол круг тонкой охотничьей колбасы.

— Мы, кстати, не опоздаем? — спросил Ванюшин. — Эта сволочь когда должна приехать?

— К шести. Сейчас четыре. Я, пожалуй, схожу к телефону, вызову машину к половине шестого.

— Зачем вам мучиться-то...

— Это вы считаете мученьем? Миня, скажите, где тут поблизости телефон?

— В полицейском участке. Ближе нет.

ГДЕ Ж ГИАЦИНТОВ-ТО?

До ближайшего полицейского участка было пять минут ходу. В нетопленой дежурной комнате старик полицейский играл на губной гармошке старинную песню про «Ваньку-ключника».

— Где у вас телефонный аппарат?

— А на што он вам?

— Позвонить к полковнику Гиацинтову.

— А по мне, хоть Георгинов, хоть Анютеглазкин, хоть Пионов, один черт.

— Он начальник контрразведки, милейший!

— Чего?

— Господи Боже ты мой, — устало сказал Исаев, — а начальство ваше где?

— В дежурном кабинете.

Исаев прошел к дежурному унтер-офицеру, тот долго разглядывал его корреспондентский билет, хмурился, пыжился и краснел, а потом спросил:

— Сами из православных будете?

— Да.

— Понятно... Значит, надо позвонить?

— Очень.

— Бывает...

— Можно?

— Одну минуточку...

— Пожалуйста.

— Вы сказали, что сами из православных?

— Да.

— А звонить к кому собираетесь?

— К полковнику Гиацинтову.

— Это который по линии пожарного ведомства в порту?

— Он самый.

— А чего ж про контрразведку говорили дежурному? Сами-то православный будете? — повторил свой вопрос унтер. От него несло табаком и стародавним прокисшим водочным перегаром.

Исаев секунду смотрел в его пустые глаза, глаза раба и палача, которому скучно жить на земле. А скука — она все примет, даже обиду.

— Встать! — вдруг заорал Исаев. — Я ротмистр Буйвол-Волынский! Отвечать по уставу, сволочь!

Лицо унтера, поначалу окаменевшее, вдруг расцвело и стало оживать на глазах. Он вскочил, проревел нечто звериное, но очень счастливое и вскинул руку к козырьку.

«Среди этой несчастной погани действительно кому угодно можно морду бить», — с тоской подумал Исаев. Опустился на стул возле телефона, вызвал номер и стал ждать ответа. В соседней комнате по-прежнему грустно играл на губной гармошке дежурный полицейский.

— Ротмистр Пимезов, — ответил адъютант Гиацинтова.

— Воля?

— Да. С кем имею честь?

— Исаев.

— О, Максим, — с повышенной оживленностью ответил адъютант Гиацинтова и замолчал. По-видимому, он

зажал трубку рукой и сейчас быстро спрашивал кого-то, стоявшего рядом. Адъютант был человек огромного вкуса, завзятый театрал и меломан, но что касается оперативной работы — весьма беспомощен.

— Вам нужен полковник?

— Да.

— Он сейчас поехал в тюрьму на допрос одного корейского спекулянта, — намекая на Чена, сказал Пимезов.

— Я обнимаю вас, Воля. Ставьте послезавтра на Граведора, он придет первым в пятом забеге.

— Принимаете пари?

— Конечно.

Исаев положил трубку на рычаг, в задумчивости посмотрел в окно, рассеянно сказал унтеру:

— Стоять вольно.

Вызвал номер Фривейского.

— Здравия желаю, Алекс, — сказал он чужим голосом.

— Добрый день. Что, развлечения на сегодня отменяются?

— Почему?

— Он сейчас здесь и, судя по обсуждаемому вопросу, задержится допоздна.

Исаев дал отбой и сразу же вызвал номер гаража.

— Срочно машину к дому Сидельникова, — попросил он, — что на Шестой Матросской.

...Машина подъехала к резиденции премьер-министра и, заскрипев тормозами, остановилась возле морских пехотинцев-охранников. Исаев быстро выскочил и, не захлопнув дверцы, побежал не в кабинет секретаря правительства, а вниз — к буфету, туда, где у них уже с самого начала было обговорено место для встреч. Из буфета вышел Фривейский, проходя мимо Исаева, сунул ему в руку записку и побежал наверх. А Исаев, заскочив в буфет, купил три бутылки коллекционного «Камю» и, сев в автомобиль, приказал:

— Гони обратно на Шестую Матросскую.

Сидя сзади, он прочитал записку: «С тем чтобы к прибытию врангелевских войск быть уже полными победителями и диктовать состав нового кабинета, Меркулов с Гиацинтовым обсуждают в деталях план засылки в Читу, Благовещенск и Верхнеудинск террористических групп, которые отъезжают сегодня, чтобы перед началом нового ближайшего наступления все особо видные командиры

красных были ликвидированы. Едут смертники, готовые на все. *Кенто*».

Исаев незаметно сжег записку и закрыл глаза. Морщины на его лице разгладились, и сейчас казалось, что он просто-напросто отдыхает, предвкушая ужин с дорогим французским коньяком.

«Так, — думал он очень медленно. — Теперь-то уж ни в коем случае нельзя проиграть. Раньше дело касалось меня одного, но сейчас ситуация переменилась. Я не думаю, что они включили в игру против меня Фривейского. Вряд ли. То, что он написал, больше похоже на правду. Во всяком случае, по высшей логике это правда. Значит, ключ ко всем этим людям, которые сегодня начнут перебрасываться в наш тыл, опять-таки знает один Гиацинтов. Следовательно, он один может дать нам этот ключ. А ключ я получу, только если он окажется у партизан. А потом в Чите и Москве. Ясно. Шанс один — охота. Это и мой шанс, и его. Недаром он с меня наблюдение снял — все хочет одним махом решить».

А в маленькой комнате тем временем веселье шло вовсю. Седой старик Шамес — с пейсами на пепельном лице, в элегантнейшем смокинге, надетом поверх дырявой «душегрейки», — танцевал фрейлехс. Он пел, кружился на месте, выкрикивая жеманным голосом «ой-ой», играл своими иссохшими ладонями, закрывая лицо, неожиданно выхватывал из-под смокинга маленькую скрипку и пиликал пошленькие базарные мотивчики. Вдруг замирал и, закатив глаза, начинал играть трагического Брамса. И так же неожиданно обрывал музыку.

— Почему я не могу позволить себе отдохнуть сегодня? Ведь завтра субботний день, и люди будут давать много меди. Нет человека добрее, чем в субботнее утро, и нет его злее, чем в воскресенье вечером.

— Отчего вы не бежите к красным, Рувим? — спросил Ванюшин. — Там еврейское царство, вам выделят особняк и паек.

— Вы наивный человек и, как газетчик, однодневно-жестокий. Зачем я нужен марксизму, хоть и стопроцентный еврей, если я утверждаю, что православный обычай — выносить покойника из дому только на третий день — сугубо научен и поразителен в своей гениальности.

— Ты послушай, послушай, Косинька, — зашептал Минька, — с этого только поначалу холодно, а потом до самого конца спокойно.

— Почему вы считаете этот древний обычай гениальным?

— Все очень просто: если вы сможете зафиксировать электромагнитные волны, исходящие из мозга только что умершего, они будут почти такими же, как у живого. Они затихнут и исчезнут лишь на третий день, когда — по народному присказу — душа выйдет из тела. И первый и второй день покойник слышит все происходящее вокруг. Я еще не ответил себе на вопрос: организуется ли это слышимое в ужас там, в таинственном, распадающемся мозгу покойного?.. На самом-то деле выходит никакая не душа, а энергия разума. Энергия не исчезает, в этом я согласен с марксистами. Но если она не исчезает, следовательно, разум бесконечен, а человек духовно бессмертен. Он оставляет после себя в мире электромагнитные волны, и если я проживу еще несколько лет, то я сконструирую аппарат, который запишет речи Нерона, песни Древнего Египта и невысказанные мысли Макиавелли. Что вы смеетесь?! Не зря ведь говорят: «Идеи носятся в воздухе». Они действительно носятся в воздухе, они вокруг нас, следует только соответствующим образом подстроиться к ним, и тогда высший разум мира, накопленный всей историей нашей тревожной планеты, войдет в вас, и вы станете пороком, и вас распнут продажные торговцы, и все начнется сначала. Вы никогда не задумывались над тем, отчего великие люди либо маленького, либо очень большого роста? Юлий Цезарь, Вольтер, Наполеон, Пушкин, Лермонтов, Толстой, Ленин — все невелики ростом. А Петр Великий, Кромвель, Линкольн — громадны. В чем дело? Случайность? Отнюдь нет! Они — вне среднего уровня, они над или под средним уровнем человечества. Я имею в виду физический средний уровень. И поэтому им легче — и громадным и маленьким — настраиваться на окружающие нас электромагнитные волны ушедших гениев, оставаться один на один с высшим разумом мира.

— Свернут вам голову, Рувим, за эдакие-то бредни... Либо те, либо эти, но свернут обязательно.

— Ха, а вы думаете, я боюсь? Я не боюсь! Почему я не боюсь? Не потому, что я храбрец! На всех евреев было два храбреца: один в Палестине, а другой в Одессе, у Гамбринуса. Нет, я трус, но я не боюсь за голову и вообще за жизнь. Почему? Потому что все очень просто: вы меня касаетесь пальцем, и вы ощущаете меня, но чем вы меня ощущаете и что вы ощущаете? Площадь кожи пальца, которым вы ко мне прикоснулись, состоит из ато-

мов, а ведь атом — это ядро, вокруг которого в громадной пустоте вращаются крошечные электроны. В пустоте, запомните это! Так вот, вы прикасаетесь пустотой к пустоте. Поймите, в мире нет массы! Есть энергия, и есть магнитные поля! И больше ничего! Тело — это миф! Мы бестелесны! Мы — из атомов и пустоты, воздух — из этого же, мы все — подданные материи, поймите! Чего же бояться?! И потом, неужели вы никогда не чувствовали, что с вами все это, переживаемое сейчас, уже неоднократно было? Сны — это пережитое вами раньше. Сон — та сфера жизнедеятельности, которая перевернет науку гуманитариев! А в общем, все ерунда и чушь! Надоело!

Шамес взмахнул скрипочкой и запел:

Ой, койфен, койфен
Койфен, папиросен,
Сказал Рувиму
Гоиш часовой!

НАДО УЕЗЖАТЬ

— Почему вы не идете в наш университет, Рувим?

— В ваш университет евреев не пускают.

— Ну, есть же Америка, в конце концов...

— А еще есть Житомир, где похоронено шесть поколений Шамесов, из которых только один Рувим стал приват-доцентом. Так пусть я сдохну в Житомире, честное слово, это будет приятно и мне и предкам.

— Пейте водку.

— Я боюсь опьянеть.

— Не бойтесь. Это так прекрасно... А особенно прекрасно на второй день после пьянки, когда потихоньку опохмелишься, пойдешь гулять — звонность во всем кругом, тишина, нежность. Очень все обострено к жалости после опохмелки...

Шамес выпил полстакана и сразу же начал раскачиваться из стороны в сторону.

— Теперь весь пол облюет, образина, — беззлобно сказал Минька. — Ишь зенки начал закатывать. Еврей — он ведь особой конструкции человек, в нем есть такой клапан для хитрости. Как перебрал — клапан открывается, еврей выблевывается и завтра готов снова с чистой головушкой наш народ дурить, а русский человек — все в себе да в себе, нет у него клапана, да и добро жаль зазря переводить...

Минька подхватил Шамеса под мышки, ласково по-

волок его в маленькую прихожую, положил на пол, укрыл тулупом и рысцой вернулся обратно к столу. Ванюшин сидел строгий, тихий, рубаху на себе застегивал и смотрел прямо перед собой в одну точку.

Исаев кашлянул у двери и сказал:

— Николай Иванович, поехали собираться. Мы Гиацинтова не дождемся, тронем одни, а?

— Да, да, тронем одни... Может быть, взять с собой Шамеса?

— Пожалейте старика. Его Гиацинтов за пейсы по снегу оттаскает.

— Да, да, оттаскает, это уж непременно, — как-то угодливо согласился Ванюшин, по-прежнему глядя прямо перед собой. — Миня, проводи меня, я пойду. Пойду я...

— Куда, Косинька? Я картошечки отварил, сейчас покушаем, чайку попьем...

— Проводи меня, Миня, — повторил Ванюшин. — Проводи. И если ты меня чтишь, возьми вот сто долларов и на них Шамеса корми и холь. Я тебя по-божески прошу.

— Господи, Господи, куда ж такие деньги-то, Косинька, да погибнем мы с них, не надо. Христом-Богом прошу, Господи!

— А ну, забожись на образа.

— Чего божиться-то?

— Божись, что на вас деньги истратишь, на обоих, а ему будешь, как мне в детстве, нянькой.

— Косинька, Косинька, я забожусь, вот божусь я, только что это ты, а?

— Ничего, старый. А мы, помнишь, маменьку ведь на второй день с утра из дома вынесли — и на кладбище. Значит, все слышала она. Слышала, как мы торопились, чтоб на поминках больше водки выжрать.

— Господи, Косинька, я беспокоюся... У меня вот и рука левая захолодела.

— Все торопились, торопились, наслаждения искали. А ее на второй день вынесли, скоты. И еще чего-то там изображаем. Борцы, освободители! Ну, будь здоров, скоро увидимся... Пошли, Максим Максимович, а то мне очень жутко здесь смотреть, как Шамес в углу собакой спит, самого себя стыдно...

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ВОКЗАЛ. ПОЗДНЯЯ НОЧЬ

— Группа «Сокол»... — звучит приглушенный голос Гиацинтова на темном перроне, оцепленном японцами так, что муха не пролетит.

— Здесь, — отвечает мужчина крестьянского обличья, стоящий перед строем из семи человек, также одетых в крестьянскую одежонку.

— Пароль в Чите?

— Осенний дождик.

— Отзыв?

— Будильник.

— Прошу в вагон. Группа «Рысь»?

— Здесь, — отвечает человек, одетый в форму красного командира. Рядом с ним семеро «бойцов» Народно-революционной армии.

— Пароль в Верхнеудинске?

— Сверху донизу.

— Отзыв?

— Ломберный стол.

— Прошу в вагон. Группа «Рожь»?

— Здесь, — отвечает человек, одетый оперуполномоченным госполитохраны ДВР. Рядом с ним семь человек — тоже вроде госполитохрановцы.

— Пароль в Борзе?

— Гнус.

— Отзыв?

— Пиджаки.

— Прошу в вагон. Группа «Амалия»?

— Здесь, — отвечает «красный партизан». Рядом с ним семь человек с алыми лентами на папахах. Ни дать ни взять — красные партизаны.

— Пароль в Благовещенске?

— Горит свеча.

— Отзыв?

— Взойдут семена.

— Прошу в вагон. Группа «Шпала»?

Так шла проверка групп в течение получаса. Потом эшелон с потушенными огнями, составленный из восьми вагонов, разделенных глухой перегородкой на две части — в каждой по группе, — двинулся к линии фронта. Впереди катилась платформа с мешками, набитыми песком: партизаны выступали с каждым днем все сильней и беспощадней.

Заехав после отправки групп в контрразведку, Гиацинтов пробежал последнюю сводку. Молчанов сообщал, что занята станция Волочаевка, а на Волочаевской сопке, контролирующей все подходы к стратегическим рубежам для возможного красного контрнаступления на Приморье и Хабаровск, закончены инженерные работы, которые превратили это место в бастион свободной, белой России, и отныне никакие возможные неудачи на фронте не смогут никого беспокоить во Владивостоке.

После, быстро переодевшись, Гиацинтов заехал в «Версаль», прочитал записку Ванюшина, в которой тот предупреждал, что они с Исаевым уже уехали на заимку, секунду постоял, раздумывая, потом спустился вниз, приказал шоферу быстренько заехать за ружьями и корзиной с вином, только что полученным от французов, и — без остановки к Тимохе.

* * *

Стенограмма разговора Блюхера по прямому проводу с командующим Восточным фронтом С. М. Серышевым.

Б л ю х е р. Здравствуйте, Степан Михайлович! Ваших соображений о наступлении не получал, поэтому решил вас вызвать к аппарату, с тем чтобы выяснить задачу ваших войск на ближайшие дни. Прошу сообщить, прежде чем перейти к этим разговорам, обстановку на фронте и ваши предположения.

С е р ы ш е в. Здравствуйте, товарищ главком! Вчера в разговоре с вами я уже напоминал о накапливании в Ольгохте, Волочаевке частей 2-го корпуса. Предполагаю их сегодняшнее наступление на станцию Ин. Всю ночь противник проявлял большую активность. Замечалось продвижение его разведпартий к станции Ин; горел мост между 2-й и 3-й казармами западнее Ольгохты. Я решил, что дальше мы задыхаться на проклятом участке Ин — Ольгохта не можем, ввиду неимения на этом участке возможности вести какую-нибудь сторожевую службу. Получив от начальника Инской группы удовлетворительные сведения о состоянии наших войск, выявивших большой подъем идти вперед, я дал приказ ликвидировать группу противника на Ольгохте, развивая успех до Волочаевки включительно, ибо считаю нужным надломить 2-й корпус каппелевских войск, чтобы

иметь возможность выиграть пространство и время для развертывания благоприятных условий подходящим подкреплениям. Мое мнение: эта операция достигнет успеха. Мосты все исправлены, выезжал на боеучасток с товарищем Томиным.

Блюхер. Товарищ Серышев, вчера, прося оставить Троицко-Савский полк на станции Ин, вы мотивировали это тем, что не имеется полной уверенности в удержании станции Ин в случае перехода противника в наступление частями Инской группы. Сегодня вы от вчерашней неуверенности перешли к убеждению, что сможете не только отбросить наступающего противника, но и занять станцию Волочаевку. Свое решение перейти в наступление вы мотивируете тем, что задыхаетесь на проклятом участке станции Ин — Ольгохта и что не можете на этом участке вести какую-нибудь сторожевую службу. Эти противоречия мне непонятны. Поэтому я вынужден потребовать от вас выполнения следующего плана: перешедшего в наступление противника разбить и отбросить к Волочаевке, не переходя своими частями в решительное наступление до полного сосредоточения кавалерийского дивизиона Читинской бригады в районе станции Ин. Этот дивизион сменить на станции Тихонькая сводным отрядом, сформировать который вам надлежит из частей тыла в районе станции Бира. Второй этап операции должен состоять в следующем: 5-й, 6-й и Особый Амурский полки составляют сводную стрелковую бригаду, которая переходит в наступление по линии железной дороги на Волочаевку. 4-й кавалерийский полк, Троицко-Савский полк, кавалерийский дивизион Читинской бригады составляют сводную кавалерийскую бригаду, обеспечивая успех наступления сводной стрелковой бригады, наносят удар по непосредственному тылу Волочаевской группы противника. Отряд Шевчука с этой же целью с севера наступает на Дежневку. Второй этап имеет задачей овладение районом Волочаевки. На выполнение этой задачи мною своевременно будет отдан вам приказ. Без приказа и моего распоряжения наступать не разрешаю. И наконец, третий этап — овладение Хабаровском и уничтожение противника в районе его — должен начаться только после занятия Волочаевки и проводиться следующим образом: Особый Амурский пехотный полк, 6-й пехотный полк и вся сводная кавалерийская бригада, объединенная командованием Томина, составляют ударную группу и направляются че-

рез Новгородское — Ново-Троицкое, захватывая Казакевичево, на станции Корфовская, разъезд Красная речка с задачей отрезать пути отступления противника на юг и уничтожить его живую силу. Отряд Шевчука и 5-й пехотный полк составляют группу, задача которой — наступление на Хабаровск по железной дороге. Вот идея занятия Хабаровска и уничтожения в его районе живой силы противника. Она для успешного завершения требует не поспешного и случайного решения, а строгой предусмотрительности и соответствующей подготовки.

Теперь же, т. е. в ближайшие дни, к ней следует подготовляться, а для этого нужно разбить перешедшего в наступление противника на станции Ин и отбросить его обратно на Волочаевку. Самим же не увлекаться частным успехом и, не подготовившись, к решительному наступлению не переходить. Ваш приказ значительно в деталях расходится с намеченным мной планом, поэтому должен быть отменен, так как намеченная в нем разбросанность частей и отсутствие концентрированного удара по противнику может вызвать неуспех, аналогичный понесенному нами под Волочаевкой. Все это мною будет подтверждено приказом, до получения которого со станции Бира на станцию Ин не выезжайте.

ЗАИМКА ТИМОХИ

Ванюшин спал и во сне с кем-то ругался грубым, жандармским голосом. Филеры, проработавшие весь вечер поварами, храпели на два голоса. Они лежали, как сторожевые собаки, на шкуре медведя — у самого порога, так, чтобы никто, входящий или выходящий, не мог их миновать.

Сашенька и Максим Максимович сидели возле маленького оконца. Оконце было заледенелое, мохнатое, белое. Лед казался мягким и шерстистым. Сашенька прижалась к оконцу щекой и шепнула:

— Сначала как будто жарко, а потом очень холодно.

— Я при вас несколько глупею, Сашенька. Мне при вас хочется говорить только самые умные вещи и обязательно афоризмами.

— Это, наверное, вам передается мое состояние. Мне тоже хочется быть ужасно оригинальной и умной, чтобы вы не сразу поняли, какая я дура.

— Смотрите, месяц молодой — слева. Загадывайте.

— Загадала.
— У вас глазищи китайские.
— Да?
— Конечно. Разве не знаете?
— Знаю.
— Загадали?
— Загадала, чтобы вы влюбились в меня.

Исаев тоже прижался щекой ко льду на стекле и сказал:

— Сначала холодно, а потом необыкновенно жарко.

— У вас на скулах румянец с синевой, как у склеротиков.

— Понятно. Не надо держать пальцы на льду, они занемеют.

— Нет, надо.

Исаев взял руку девушки в свою небольшую, но очень крепкую ладонь и сказал:

— Давайте играть в ладушки.

— Я не умею.

— Вы просто забыли. Сейчас я буду петь и подбрасывать вашу ладонь, а вы бойтесь, чтобы я вас между делом не хлопнул по руке.

— А вы не сильно будете хлопать?

— Нет, совсем не сильно.

— Давайте, — еще тише сказала Сашенька, не отнимая своей руки от холодной ладони Исаева.

— Ладушки, ладушки, — начал тихонько напевать Максим Максимович, — где были? У бабушки! А что ели? Кашку! А что пили?

— Спирт, — улыбаясь, ответила Сашенька и хлопнула Исаева по руке. — Вы не по правде играете, я не боюсь вас: поддаетесь и в глаза мне не глядите.

— Сашенька, а вот если люди были вместе долго, вечность, а потом вдруг один из них взял и уехал, но чтобы обязательно и вскорости вернуться — тогда как?

— О чем вы, Максим Максимыч? Я же отказалась ехать к Гаврилину в Америку, коли вы не захотите...

— Когда б вы только видели, как я отвратителен, если сфотографировать мое отражение в ваших глазах: я кажусь маленьким и расплющенным, словно на меня положили могильную плиту. И рожа как новый пятак.

— Зачем вы так говорите? Я же не княжна Мэри, я прожила революцию и пять лет войны. Меня окольно

не надо отталкивать, вы мне лучше прямо все говорите, а то я Бог весть что подумаю.

Исаев взял с полочки маленькую, замысловатой формы свистульку, вырезанную Тимохой, и начал тихонько играть, как на флейте. Сашенька смотрела на него, подперев голову кулачками, и покусывала губы. Луна — громадная и желтая — высветила лед на оконце, и он теперь казался фантастическим врубелевским рисунком.

— Знаете, — сказала Сашенька, — вы когда-нибудь очень пожалеете, что не разрешили мне быть подле вас.

— Я знаю...

И он снова начал играть на свистелочке тоскливый и чистый мотив, который обычно напевают пастухи — самые влюбленные люди на земле.

Сашенька поднялась из-за стола, накинула свой тулупчик с белой оторочкой и, перешагнув через заметавшихся филеров, вышла на крыльцо.

— Кто? — спросил один из филеров, сунув руку под подушку. — А, барышня, простите, сон чумной увидел...

Исаев вышел следом.

— Смотрите, какая тайга под луной. Будто декорация. Совсем некрасиво оттого, что слишком красиво...

— Если играть «Богатели» возле картин Куинджи, тогда все смотрится иначе.

— У вас лоб хороший, выпуклый.

— Вы про лоб подумали оттого, что я вам сказала о музыке и живописи? Вы, верно, решили, что я умная?

— Нет?

— Женщине надо быть дурой, тогда ее ждет счастье.

— Вам кто-нибудь говорил про это?

— Не-а...

— Неправда. Это слова мужчины. Держите свистелочку.

Сашенька стала играть детскую пьеску — ту, которую разучивают малыши, впервые усаженные родителями за рояль. И впрямь, тайга сделалась иной: тени, лежавшие на хрупком, нафталиновом снегу, перестали быть рисованными, а сделались реальными и подвижными, верхушки громадных кедрачей стали походить на великанов из сказок, а далекие высверки луны на заледенелых солонцах, казавшиеся прежде неживыми, сейчас замерцали и сделались переливными.

— Сашенька, — сказал Исаев, — моей профессии... журналистике... противна любовь к женщине, потому что

это делает ласковым и слишком мягким. А это недопустимо. Но я никогда раньше не любил, даже издали, потому что для меня всегда главным были мои... читатели. Они, читатели, требуют всей моей любви, всего сердца, всего мозга, иначе я буду делать мое дело вполсилы — тогда незачем огород городить. Так я считал.

— Вы продолжаете и теперь считать так?

— Да.

— Я поцелую вас, Максим Максимыч, можно?

Девушка обняла его голову, прижала к себе и поцеловала в губы.

— Максим Максимыч, — шепотом сказала Сашенька, — а ведь ваши читатели газетами окна на зиму заклеивают и вашу фамилию пополам режут — я сама видела.

Исаев погладил ее по лицу. Он гладил ее лоб, щеки, губы, на ощупь, как слепой. И лицо у него было скорбное и спокойное, как у святого на иконе.

— Я пойду за вами, куда позовете, — говорила Сашенька. — Я готова нести на спине поклажу, в руках весла, а в зубах сумку, где будет наш хлеб. Я готова быть возле вас повсюду — в голоде, ужасе и боли. Если вы останетесь здесь, я останусь подле вас, что бы нам ни грозило.

Она говорила и говорила, а Исаев терся об ее щеку, как маленький щенок, и на лице у него были скорбь и счастье.

* * *

Часа через четыре из тайги вернулся Тимоха и кивнул головой Исаеву, который сидел возле Сашеньки, прикорнувшей на широкой тахте.

— Возьмем зверя? — спросил Исаев.

— Должны.

— Далеко отсюда ходит?

— Верст десять в сопки.

— И то хорошо, — сказал Исаев, вздохнул, закрыл глаза и снова начал гладить лицо Сашеньки.

— Поспали б, господин Исаев, — сказал Тимоха, — а то завтра маетность предстоит.

— Ничего, — тихо ответил Исаев, — это все пустяки, сущие пустяки, Тимоха...

Уже под утро, когда луна скрылась за тучи, потянувшие серой тоскливой стеной с океана, окна заимки

чуть осветились прыгающим светом автомобильных фар — это торопился Гиацинтов.

Исаев, так и просидевший всю ночь подле Сашеньки, осторожно поцеловал ее в висок, укрыл потеплее и пошел на постель к Тимохе. Тот подвинулся к стенке, Исаев сбросил пимы и лег рядом с егерем. Запрокинул руки за голову и закрыл глаза.

* * *

Гиацинтов вошел в заимку, осторожно перешагнул через филеров, которые со сна сразу же потянулись за пистолетами под голову.

— Отдыхайте, отдыхайте, — шепнул Гиацинтов.

Следом за ним в заимку вошли еще три филера. Они сели к столу и сразу же начали доедать то, что осталось от ужина. Гиацинтов подошел к Исаеву, лежавшему рядом с Тимохой, нагнулся над ним и долго, неотрывно смотрел в лицо Максима Максимовича. А тот сладко посапывал, и ни один мускул в его лице не дрогнул, и ресницы лежали большими тенями на щеках: спокойно спал Исаев, как ребенок.

Гиацинтов судорожно вдохнул воздух, потому что, разглядывая Исаева, он не дышал, отошел назад и, сев на скамью, стал в задумчивости барабанить пальцами по столу опереточный мотивчик.

— Тише ешьте, — попросил он чавкающих филеров, — люди спят...

ПЕРЕДОВЫЕ ПОЗИЦИИ КРАСНЫХ ВОЙСК

По бескрайней снежной равнине, по узкой санной дороге, которая вьется по буеракам и взгорьям, медленно бредут части разбитой Народно-революционной армии, выходящей из окружения. На обочине, по пояс в снегу, воткнуты два голых трупа народармейцев. Они облиты водой и заморожены белыми насмерть. Один держит в зубах табличку, на которой написано: «На Москву». А у второго к груди прибита дощечка со стихами: «У кого ж... не драта, голосуй за демократа». Белые так себя стали называть — демократами, это Николай Дионисьевич Меркулов придумал, слово-то очень мужику нравится — непонятное и со смыслом.

Мертвый снег кругом, скользкая дорога кажется тоннелем в этих сугробах, воронье кружится над убиты-

ми бойцами, мертвая тишина, и только усталое шарканье сотен и сотен подошв по бугорчатому, порыжелому льду дороги.

Молча идут бойцы, только разве изредка сухой кашель забьет кого-нибудь из стариков, он остановится, скрючится посреди дороги и долго будет стоять так, позеленев, пока, наконец, отдышится и сможет сделать первый шаг — дальше, на запад.

И вдруг то ли пригрезилось, то ли ветер зашумел как-то странно, только послышалась людям песня. Боевая, с присвистом и задором. Ни дать ни взять как на параде в мирное время. И бойцы, шедшие по унылой, бесконечной зимней дороге, не смели поднять голову или остановиться, потому что изнурительное многодневное отступление притупляет и успокаивает, оно принимает в себя и несет целый день — до случайного ночлега или до смерти, когда вьюга подует еще сильней и негде будет обогреться. Оно, это движение, безнадежно монотонно, его нельзя нарушать остановкой, потому что в этой монотонности и есть надежда на спасение.

Но слишком уж звонка песня, уж рядом она, вот здесь, за пригорком.

И колонна замирает, каждый боится спросить соседа и боится на него глядеть, каждый смотрит в небо: оно не обманет, оно молчаливо, но в нем сейчас — песня.

Выходит из-за пригорка полк. Все бойцы в «богатырках» — высоковерхих шапках, как у буденовцев, шинельки на них ладные, рукавицы теплые. И шаг печатают, будто на параде, а впереди, рядом со знаменем, — командиры. И песню ревут так, что воздух трясется.

— Ура! — тихо и хрипло говорит заросший седой боец с обвязанной марлей рукой, висящей на перевязи.

— Ура! — шепчет старик партизан сквозь слезы.

— Ура! — страшно и тонко кричит мальчишка с обмороженным лицом.

Все ближе и ближе полк, вот он проходит мимо, к бойцам тянутся руками, их трогают, просто трогают, чтобы убедиться яви, чтобы набраться от них силы, чтобы распрямить плечи.

Проходят бойцы ровными квадратами, проходят мимо обмороженных и раненых героев. Проходят с песней и шаг печатают по мерзлому снегу.

Прошел полк, а те, которые только что брели на запад, отступая, сейчас останавливаются. Сначала нере-

шительно топчутся на месте, потом, словно по команде, поворачивают голову вслед прошедшему полку, а потом — кто бегом, а кто, взвалив на плечи товарища и еле-еле передвигаясь, — отправляются следом за прошедшим полком, к передовым, откуда только что откатывались, — на восток.

ВАГОН БЛЮХЕРА

В салон-вагон главковерха, прицепленный к бронепоезду, выстроилась очередь. Купцы, журналисты, командиры, крестьяне, железнодорожники. Но у дверей вагона два народармейца в тулупах молча преграждают штыками дорогу всякому, что бы тот ни объяснял. На соседних путях из теплушек выгружаются все новые, прибывшие из тыла части: люди, кони, пушки. На громадной и наполовину сожженной артиллерийскими обстрелами привокзальной площади перекрикиваются молоденькие комвзводы, выстраивая бойцов поротно. Возле вокзала стоят походные кухни, и повара разливают в миски дымящийся на морозе суп людям, только что вырвавшимся из окружения. Среди оборванных и обожженных бойцов ходят медсестры в высоких колпаках с красными крестами, и среди этих окровавленных и заросших людей они кажутся такими чистенькими и ломкими, что даже боязно за них. К наскоро построенной бане стоят в очередь бойцы с шайками, мылом, вениками и новеньким обмундированием. В очереди шутки, смех, мужичий молодой заигрыш — кто кого плечом в сугроб подтолкнет, а кто снежку сыпанет за ворот... Горят костры, выстреливают окрест себя пулеметными красными взбрызгами. У костров проводят беседы агитаторы, возле крестьянских повозок, в которых из деревень привезли муку и мясо, перекатывает гармоника — словом, все оживлено тем особым, несколько лихорадочным ожиданием, которое обычно предшествует всякому большому сражению.

В салоне у Блюхера на диване, укрытый шинелью до подбородка, исхудавший и состарившийся, лежит Постышев. Он часто кашляет, и тогда кажется, что в нем сейчас установлен испортившийся музыкальный инструмент — так долго хлюпает и повизгивает у него в бронхах.

Блюхер диктует Григорию Отрепьеву, редактору:

— Это в номер, Гриша. Нам говорят белые, что

мы — интернационалисты, что для нас не важно, кто человек: русский ли, китаец, американец или кто любой. Правильно говорят белые.

— Погоди, погоди, — останавливает его Отрепьев, — товарищ главком, да разве белые могут правильно говорить?

— Могут.

— Нет, я понимаю, что в жизни-то, конечно, могут, но в нашей газете не могут.

— Могут, — говорит с дивана Постышев, не открывая глаз.

— То ж не агитация и пропаганда, — досадливо говорит Отрепьев, — а сплошное самообливательство грязью. На газетной странице красный должен быть во всем и завсегда умней и сильнее белого!

— Это, между прочим, здоровая мысль, — ухмыляется Блюхер, — только как ты объяснишь бойцу, от кого это он драпал тысячу верст на запад, голодный и больной? От какого такого глупого и неумного врага он отступал и сдавал ему родную землю? Ладно, валяй дальше, спорить некогда. Правильно говорят белые: нам, красным, не важна национальность, нам важно — рабочий ты или эксплуататор. Вот что нам важно. Белые твердят, что они — националисты, что они против красных под старым русским знаменем идут, воюют за русскую родину, а не за всемирный интернационал. Это верно, что они националисты, это верно, что они идут под старым русским знаменем, только чьи у них в руках винтовки? Только чьи на них шинели? Только откуда к ним подошли пушки? Только отчего это они с народом рассчитываются японскими оккупационными иенами, откуда они у белых?

— Тут один крестьянин меня спросил, — извиняющимся тоном перебив Блюхера, заговорил Постышев, — как это можно Кремлю грозить кулаком из Хабаровска? И еще он меня спросил: откуда это у белых появилось столько иностранного добра? Чем расплачиваться-то? Россией?

— Хорошо, Павел Петрович, сказал тебе крестьянин, очень хорошо. Болит внутри?

— Болит.

— Через час вылечу, — решительно говорит Блюхер.

— Как?

— Баней. Очередь займи, Гриша, а я пока сам попечатаю. Видишь, на площади, за уголком, дым из труб

штопорит? Это саперы вчера сруб поставили специально для санпропускной бани.

— Помру от бани, — говорит Постышев, — ослаб.

— Я не дам помереть, — успокаивает Блюхер. — Полчасика попаримся — все станет хорошо, точно знаю. Верно, товарищ тушинский вор?

— За что вы меня так? — обидчиво говорит Отрепьев. — Разве я виноват, что папаша меня Гришкой назвал? Я уж в прошлом году ходил в исполком — думал псевдоним взять. Просил старикашку делопроизводителя переписать меня с Отрепьева на Энгельса — так он чуть со страху не окочурился...

БАНЯ

Постышев лежит на деревянной лавке, укрытый сухой, жаркой простыней. Блюхер, скользя по мыльному полу, подходит к нему, зажав в руке распаренный веник, а в другой мочалку — всю в белых хлопьях. Смотреть на него страшно: все тело в рваных шрамах — бугристых, жутких, красно-синих.

— Как маму звали? — спрашивает Блюхер, снимая с Постышева простыню и замахиваясь веником. — Ну-ка, вспоминай да молись, чтоб вывезла. Мама, брат, все-непременно из любой хворобы вывезет.

Блюхер хлещет веником, натирает мочалкой блаженно стонущего Постышева, который вцепился распаренными губчатыми пальцами в край скамейки.

— Ну как? — кричит Блюхер. — Живой?

— Пока дышу.

— Дыши, милый, дыши! — стонет Блюхер и поддает веником по загривку, по лопаткам, по худым — смотреть страшно — рукам.

— Интересно, а врачи в баню ходят? — спрашивает Постышев.

— Это ты к чему?

— Интересуюсь.

— Комиссары зазря не интересуются.

— Я сейчас не комиссар.

— А кто?

— Римский аристократ.

— Если меня из армии погонят — банщиком пойду. И людям радость доставляешь, и самому приятно. У меня дружок был на империалистической, банщик Петя. Льва Толстого мыл. Худенький, говорит, был ста-

ричок, с животиком. Сурьезно мылся, и никогда чтоб в кабинет, а всегда утречком, в общем зале. Петька рассказывал как-то: «Я если вижу, какой ферт пришел, я ему, конечно: «Чего изволите да как угодно», а положу на лавку, мылом уши замажу, его самого легонько трогаю, силы берегу, а ему все равно кажется, что грохот стоит, потому как уши закрыты. Или пущу ему хлопушек, он и рад, а хлопушка — это тоже у банщика экономия силы. Или, если клиент начал фордыбачить, я ему поперек мышцы насобачу, тело у него ломит, он и блаженствует, дуралей. А с Львом Николаевичем я осторожно, только вдоль по мышце работал, растягивал ему тело, разминал как следует и уши мылом не мазал, чтоб зряшнего шуму в голове не было, а то мысли можно спугнуть...»

— Ух, здорово, а! Тебя Отрепьев не слышит?

— Кудри мылит.

— Жаль. Ты так про своего Петю рассказал — он бы оду за ночь написал. Ты словно профессор моешь, как я тебя мыть буду?

— Сначала выздоровей, а там посчитаемся. Холодной окатить или страшно?

— Черт его знает...

— Может, если столкнуть тепло с холодом, толк будет, а?

— Валяй.

Блюхер окатывает Постышева ледяной водой, накидывается на него с распаренным веником, безжалостно хлещет, мнет ручищами, рычит с натуги.

— Отошел я, — блаженно говорит Павел Петрович, — боль отошла. Сейчас спать, а там хоть в ад.

— Знай наших, — довольно смеется Блюхер и окатывает себя ледяной водой из ушата. — Ангина, ангина... Ангина, конечно, важно, а распариться — нет ничего важней...

ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

Мимо Блюхера, Постышева, Серышева и только что вернувшихся с фронта командиров — Покуса, Конева, Петрова-Тетерина, Шевчука — гарцуют кавалеристы, за ними идут артиллерия, тачанки, потом пехота, а вокруг, сколько хватает глаз, на крышах домов, на повозках, на телеграфных столбах зрители. Тут и крестьяне с окрестных деревень, и железнодорожники, и отступавшие

из окружения бойцы, и комсомольцы из местного сводного батальона, и вездесущие мальчишки.

Красиво идут бойцы Блюхера.

Слышны голоса:

— Пуговицы-то надраены, пуговицы, как при мирном времени!

— Это какое же мирное? Царское?

— Чего причепился? Я всем довольный, а ты чепляешь.

— Орлы!

— Тачанки белым дадут прикуру...

— Силища, чего там...

Именно этого и добивался Блюхер парадом. Он был уверен, что назавтра же слух о красной силе, прибывшей из тыла, пойдет по всей здешней местности, перекинется к белым, докатится до Хабаровска и даже захлестнет Владивосток. А слух — он на фронте порой сильнее тысячи бомб. Особенно если войне пятый год. Тут любому слуху поверишь, и чем страшней, тем охотнее поверишь ему, потому что и на войне у человека остается привычка — жить для того, чтобы выжить.

С дерева быстро-быстро слезает мордастый крестьянин. Посмотрел-посмотрел — и в возок, да и пошел лошадей наяривать. Сегодня же ночью к белым позициям подастся — упреждать. А этого Блюхеру только и надо. Пусть. Темнить больше нечего: наш бронепоезд сейчас трогается с пятого пути на белый бронепоезд, который держит подступы к Волочаевке. Через час все решится: если красный бронепоезд пересилит белый, оттеснит его, отодвинет за Волочаевку — хорошо, не пересилит, разобьется — плохо. Очень тогда будет плохо. Тогда вся сила, которую с таким трудом собирал Блюхер за эти месяцы, поляжет под ураганным огнем с белых бронепоездов, даже не подойдя к исходным позициям для штурма. А исходные позиции определил Блюхер прямо под Волочаевкой.

И, заглушая песни пехоты и рев оркестров, выстроенных по случаю парада, протяжно ревет бронепоезд, отправляясь на фронт — за победой.

ДУЭЛЬ

Несутся друг на друга два бронепоезда. В красном, замерев у смотрового окошка, стоит раздетый по пояс чумазый и яростный Никита Шувалов, тот самый, кото-

рого Блюхер отобрал в машинисты на бюро райкома комсомола.

Кочегаром у него Пахом Васильев, тоже блюхеровский выдвиженец, на одном бюро утверждали.

— Еще! Еще! — кричит Никита. — Чтоб парку побольше!

Белый бронепоезд идет навстречу, сигналя беспрерывно и тревожно, а красный все больше набирает скорость, но идет без сигнала — как в психическую атаку.

Пахом выглядывает в окошко, говорит Никите:

— Слышь, а не воткнемся?

— Ну а воткнемся?

— Я не против, только атанда будет шумная.

— Языком меньше трепи, вот тишина и настанет. Пару еще, пару! Подналяжь как следует!

Белый машинист и офицер, дежуривший по паровозу, поначалу смеялись, когда следили за тем, как красный бронепоезд набирал ход.

— Резвунчики, — сказал офицер. — Играет кровь огнем желаний. Поддайте еще, пусть испугаются.

Но когда они увидели, что красный бронепоезд мчится им навстречу со все нарастающей силой, офицер потеребил ус и спросил машиниста:

— А может быть, он пустой?

— Кто?

— Бронепоезд...

— Может быть...

— Начинили паровоз толом и разогнали.

— Господи, помилуй. Что делать-то? Он ведь прямо на нас прет.

— А вы думали, он к бабушке на чай заедет?!

— Ей-ей, пустой!

— Почему?

— Не свистит, не сигналит, на психику гудком не давит.

— Он скоростью давит на психику.

Никита замер у приборов и, когда Пахом решил было выглянуть в смотровое окно, одернул:

— Не егози!

— А скоро?

— Узнаешь, когда надо будет. Зачем зря смотреть?

— Где они, хотел поглядеть.

— Рядом.

— А ты почем знаешь?
— Знаю.
— Никит...
— Чего?
— Ты меня прости, если я над тобой маленько надсмехался при бойцах.
— Не пой, не на клиросе. Тут кто кого пережмет. А пережмет тот, кто не будет выглядывать. Я вон и то боюсь.
— Серьезно?
— А ты как думал...
— Испаримся мы с тобой, будто ангелы.
— Давай лопату, я покидаю.
— Хрен с ним, айда поглядим?
— Пока не моги.
— А когда?
— Скажу, не бойся. Пока песни ори, с песней ничего не страшно.

— Они ошалели, эти красные идиоты, — говорит офицер машинисту. — Мы сейчас столкнемся.
— Не сейчас, но скоро.
— Пора выпрыгивать?
— Здесь не спрыгнешь.
Дежурный офицер смотрит в окошко: бронепоезд несется по высокой насыпи, прыгать вниз, на валуны, — значит неминуемо разбиться насмерть.
— Стоп! — кричит офицер. — Стоп! Полный назад!
— Стоп! — орет машинист помощнику. — Стоп, мать твою! Стоп, а не вперед! Сплющимся ж, дура!
— А-а-а! — кричит кочегар, бросает лопату и, схватившись за голову, начинает прыгать, приседать и натяжно, длинно выть. — Пустите, прыгну!
— Стоп! — кричит офицер, еще раз выглянувший в окно! — Стоп! Стоп! Стоп! Стоп!!!

САЛОН БЛЮХЕРА

— Итак, — докладывает дежурный адъютант, — наш бронепоезд ворвался на станцию Волочаевскую, оттеснив белый бронепоезд.
— И тем не менее, — сухим, надтреснутым голосом говорит Гржимальский, — я просил бы не начинать штурма.
— Почему? — спрашивает Постышев.

— Я имею в виду наш разговор с главкомом о мирном предложении Молчанову.

— Кого вам жаль из тех, кому предстоит сражаться, — белых или красных? — с ехидцей спрашивает кто-то из командиров.

— Мне жаль русских, — сухо отвечает Гржимальский.

Минутное молчание.

— Что вы предлагаете? — спрашивает Постышев.

— Послать к Молчанову парламентера с предложением мира.

— Вы согласитесь пойти?

— Нет.

— Отчего?

— Я не боюсь смерти, которая ждет меня у них как изменника родины, — Гржимальский кривит губы. — Я боюсь бесцельности моего визита. Меня расстреляют как отступника, вам не ответят, а вы — гордецы, другого не пошлете... Поверьте, я не становлюсь сентиментальным, что обычно происходит в старости с боевыми генералами, просто мне жаль русских.

— Это свидетельство нашей слабости — предлагать им мир.

— Запомните, — отвечает Блюхер, — предложение мира — это первейшее свидетельство силы.

СТАВКА МОЛЧАНОВА

Генерал лыс, худ и высок. Усы его обвисли книзу по-украински, как у Тараса Бульбы на старинных иллюстрациях. Одет он в зеленый френч, сшитый из солдатского сукна, без орденов, с походными погонами, на левом рукаве возле плеча вшит большой овал, на котором четко изображены череп и кости. Это символ смертников.

Он стоит посредине штабной комнаты, широко расставив ноги, обхватив себя руками за плечи, и слушает красного парламентера, комполка Уткина, который читает послание Блюхера. Голос у парламентера срывается от волнения, и каждый раз, когда это случается, Молчанов прищелкивает пальцами левой руки, как танцовщик.

«Я призываю Вас, генерал, к честному благоразумию и искреннему отказу от той жестокой

роли,которую чужая воля навязала Вам в последней кровавой затее интервентов и чужеземных капиталистов.

Любовь к моему великому народу, поднявшемуся как один за свою Республику, и нежелание проливать его драгоценную кровь властно диктуют мне обязанность, как революционеру и гражданину великой революционной России, сделать еще попытку обратиться к Вам с братским напоминанием Ваших обязанностей перед Родиной.

Попытайтесь, генерал, найти солдатское мужество сознаться в ошибках, воскресить в своей душе действительную любовь к своей Родине и сделать из этого честный вывод.

Мне бы хотелось знать, какое же количество жертв, какое число русских трупов необходимо еще, чтобы убедить Вас в бесполезности и бесплодности Вашей последней попытки бороться с силой революционного русского народа, на пепле хозяйственной разрухи воздвигающего свою новую государственность?

Какое число русских мучеников приказано Вам бросить к подножию японского и другого чужеземного капитала?

Сколько русских страдальческих костей необходимо, чтобы устроить мостовую для более удобного проезда интервентских автомобилей по русскому Дальнему Востоку?

Нет, генерал, мы этого не позволим. Мы, мужики, защищающие свое родное достояние, свою родную революционную русскую землю, впервые в течение столетий увидевшие свою истинно народную власть.

Оглянитесь назад, и Вы увидите наглые физиономии этих торгашей народной кровью, этих людей, потерявших всякое национальное чувство и срамящих низкопоклонством перед чужеземцами самое имя русского человека ради ничтожных подачек и животного страха. Неужели Вы будете продолжать помогать им в их вредной для великого русского дела продажной работе? В Ваших рядах я заметил много дельных людей, необходимых в настоящую минуту для государственной работы в России и Дальневосточной

Республике. Не губите их в угоду чужеземному золоту, и грядущая история нашей страны скажет Вам за это спасибо.

Слова: «Свободный народ не мстит» — есть голая историческая правда, и Ваши офицеры, которые находятся у нас в плену, могут Вам засвидетельствовать ее, равно как и те многочисленные колчаковцы, которые доблестно бьются в наших рядах за свое родное русское дело, свою молодую Дальневосточную Республику.

Подтверждаю Вам мое твердое решение не дать Вас в обиду в случае добровольной сдачи оружия, но прошу не обижаться, если при продолжении борьбы это оружие будет вырвано из Ваших рук тем жестоким способом, который диктуется всей исторической обстановкой.

Председатель Военного совета и Военный министр,

Главнокомандующий

Блюхер».

Молчанов щелкнул пальцами, еще ниже нагнул голову; парламентер увидел старческие голубенькие жилки у него на шее и решил про себя: «Если сейчас начнет доставать наган — перегрызу, собаке, шею».

— Неплохо написано, — пожевав белыми тонкими губами, сказал Молчанов. — Да вы присаживайтесь, пожалуйста.

— Что? — растерялся парламентер Уткин.

— Присаживайтесь, говорю, присаживайтесь.

— Постоим.

Молчанов близко подошел к парламентеру и уставился ему в лицо своими серыми спокойными глазами. Он внимательно осматривал его гладкий лоб, жиденькие брови, маленькие глаза, запавшие щеки, рот, острый, выпирающий подбородок с детской ямочкой.

— Вы родом со Смоленщины? — спросил Молчанов.

— С Могилевщины.

— Белорус?

— Русский.

— Давно оттуда?

— Давно.

— Перебросили с войсками?

— Нет, я здесь был на каторге.

— Политический?
— Да.
— Давно в партии?
— Десять лет.
— А самому сколько?
— Двадцать восемь.
— Чин?
— У нас чинов нет... Поставлен командовать полком.
— За десять лет службы?
— Я служу только пять лет.
— Вы не поняли. Я имею в виду партийную службу.
— Партии не служат.
— Экой вы тщательный в формулировках. Не изволите ли чайку?
— Мне бы лучше ответ получить.
— Ах, да, да, конечно... Но, видите ли, мы ведь не прежние генералы в прежней царской армии. Мы живем на демократических началах. Я обязан, прежде чем дать ответ, посоветоваться со своими коллегами, с моими друзьями-солдатами.
— А чего советоваться-то? Мы у вас не пушку просим. Сами вы как настроены?
— Оптимистично, — улыбнулся Молчанов. — А вы?
— Тоже.
— Вы, когда читали этот документ, очень нервничали. По-видимому, ждали, что я прикажу вас немедленно расстрелять, не так ли?
— Всяко может статься.
— А вы бы разве могли убить парламентера?
— Нет.
— А зачем так плохо думали обо мне?
— Я об вас не плохо думал, — улыбнулся парламентер, — я об вас с перспективой думал.
— Ну, что ж, — сказал Молчанов. — Мило. Я скажу моим людям, что командиры у красных отнюдь не вандалы и не изуверы, а вполне приятные молодые люди.
— Это вы к тому, чтоб я нашим сказал хорошо про вас, господин генерал?
— Война не торговля, принцип баш на баш тут не годится, — сухо заметил Молчанов.
— Я врать не буду. Я честно все скажу.
— О, это великая жертва — сказать честно про белого пса, наемника японского капитала, губителя русского народа, на костлявых руках которого кровь тысяч

замученных женщин и детей. Надеюсь, вы заметили сходство между портретом, написанным у вас, и мной, так сказать, оригиналом?

— Художники — народ особый, — вон есть и такие, которые пишут про нас — «кровавые красные псы, опьянев от русской крови, истоптали матушку-Россию, осквернили могилы отцов и продали нашу страдалицу-родину еврейскому интернационалу».

— А что, разве это неправда? — не сдержавшись, воскликнул Молчанов.

— Да не совсем вроде бы я похож на портрет, написанный вами.

— Не я написал этот портрет, а история!

— В таком случае она его и закрасит, история-то...

Молчанов отошел к двери, распахнул ее и сказал:

— Полковник Кремнев! Отвезете парламентера к красным позициям на броне. О погоде говорите сколько угодно, про политику воздерживайтесь.

— До свидания, господин генерал, — сказал парламентер Уткин.

— Прощайте.

Когда парламентер вышел из кабинета и, сев в броневик, укатил, Молчанов взял послание Блюхера, внимательно прочитал его еще раз, походил по мягкому ковру, заложив руки за спину, а потом сунул два листка в камин и долго смотрел, как бумага скручивалась в черный жгут, корчась на красных угольях.

ПЕРЕДОВЫЕ КРАСНЫХ ВОЙСК

На КП адъютант подает стакан спирту только что вернувшемуся парламентеру Уткину.

Уткин выпивает залпом, нюхает рукав, стоит мгновение с раскрытым ртом, грызет сухарь, протянутый ему Блюхером, и только после этого с шумом выдыхает из себя ядреный медицинский запах и блаженно улыбается.

— Что он сказал? — спрашивает Блюхер.

Гржимальский стоит белый, натянутый как струна.

— А ничего толком не сказал, товарищ главком.

— Про срок его предупредил?

— В самом начале сказал: срок три часа.

— Сколько прошло? — спрашивает Блюхер Гржимальского.

— Три.

— Все, — говорит Блюхер. — Была бы честь предложена. Хватит. Где Постышев?

— У прямого провода, с Дальбюро говорит.

— Пожалуйста, пригласите его сюда.

— Есть.

— Командарм Серышев?

— Я.

— Товарищ Покус!

— Здесь.

— Яков Захарович, тебя назначаю командующим всеми войсками, которые начнут атаку Волочаевской сопки.

— Есть.

— Конев?

— Здесь.

— Хорошо. Петров-Тетерин?

— Я.

— Хорошо.

Входит Постышев.

— Начинаем, — говорит ему Блюхер.

— Отказал Молчанов?

— Да.

— Позвольте пойти на передовую? — спрашивает Гржимальский.

— Нет. Вы мне понадобитесь здесь.

Постышев одевается и идет следом за Покусом.

— Куда? — спрашивает Блюхер.

— В окопы.

— Я буду позже. Сигнал для начала, как обусловлено.

— Понятно. Счастливо, Василий Константинович.

— Счастливо, Павел Петрович.

Постышев и Покус уходят.

— Как с танками? — спрашивает Блюхер.

— Остался один, который может работать.

— Его бросить на поле сразу после начала наступления.

— Так у него ж пулемет заклинило.

— Ничего. Пусть прет без пулемета.

Входит адъютант.

— Товарищ главком, вас ждет главный редактор «Читинской правды» уже два часа, у него Чита на проводе, надо передовицу в номер.

— Извините, — говорит Блюхер командирам и выходит в соседнюю комнату.

Навстречу ему бросается маленький экзальтированный человечек в пенсне с нервическим румянцем.

— Главком! Я все понимаю! Мне нужно всего несколько слов.

— Несколько — могу. А что это вы суетитесь? Вы поспокойнее. Присаживайтесь, ручку в чернила обмакните и пишите: «Дальний Восток был, есть и будет русским Дальним Востоком».

Главный редактор пишет, брызгая чернилами.

— Еще вопрос.

— Пожалуйста.

— Я видел повсюду в войсках поразительный порядок. Я увидел армию, которой не было до вашего приезда на Дальний Восток. Сколько, верно, вам пришлось пострелять народа, чтобы добиться этого?

— Ни один боец не был расстрелян.

— Как?

— Так.

— Как же вам удалось навести порядок среди этого развала и разброда?

— У нашей партии есть целый ряд способов навести порядок и без репрессий. Вы сами-то кто по партийной принадлежности?

— Большевик.

— И давно?

— Порядочно.

— Странно. Вы когда-нибудь видели, как расстреливают людей?

— Нет.

— А по долгу службы вам никогда не приходилось подписывать ордер на расстрел человека?

— Нет.

— Тогда понятно. Еще вопросы есть?

— Есть.

— Сколько?

— Двенадцать.

— Прибавьте для счастливого числа еще один и задайте их мне после окончания сражения.

Блюхер возвращается в комнату к командирам, оглядывает их всех и медленно говорит:

— Я прошу вас сверить часы.

ОКОПЫ

Постышев лежит в снегу, рядом с бойцами, на сорокаградусном морозе. Ревет пронзительный ветер — низкий, змеящийся по снегу.

— Спать ему не давайте, — говорит Павел Петрович старику, лежащему подле него, и показывает глазами на молодого бойца.

— Не слушается он меня.

— Может, больной?

— Вроде бы здоровый, жару в нем нет.

Постышев подползает к парню и тормошит его.

— Ты не спи, Илья Муромец, только не спи.

— А мне лето грезится, — отвечает парень.

— А мне, может, осень! — сердится Постышев. — Раскрой глаза!

— От снега их режет, небо черным кажется. А в лете мне речка видится — мелкая-мелкая, дно песчаное, — медленно говорит парень, — берега с осокой, плотвичка на пригретых местах хвостиками вывертывает.

— Вот сволочное дело, — говорит Постышев, — и поднять его нельзя, сразу подстрелят. Открой глаза, черт ласковый! Сейчас все в атаку станут, а ты будешь лежать окоченелый.

Дыбится, кряжится впереди Волочаевская сопка — неприметная с виду, опутанная рядами колючей проволоки, ощеренная пушками и пулеметами, поросшая частым лесом, загадочная и молчаливая пока.

Тишина стоит кругом — зимняя, мирная, густая. И когда с красного бронепоезда, который отвоевал железнодорожный путь, а сейчас, медленно похлестывая отработанными парами по снежному откосу, приближается к Волочаевке, свистя и кувыркаясь в воздухе, полетел на белые позиции первый снаряд, и когда он ахнул снежным фонтаном выше сосен, и когда каппелевцы ответили залпом из нескольких десятков орудий, а красные — всеми орудиями бронепоезда, тогда разорвалась тишина, исчезла, полетела клочьями.

Комиссар с «Жана Жореса» лежит в снегу рядом с бойцами.

— Вот я ему и говорю, — продолжает он свой рассказ в короткие промежутки между разрывами снарядов, — не видать тебе всемирного царства свободы, как своей задницы, потому как ты трус и гнида. Он, конечно,

в амбицию. А бесспорно то, что амбиция, она с девицей хороша, а не с красным бойцом. «Это,—говорит,—тебе ее не видать, свободы, оттого что ты под пулю прешь, а я обожду и в царство пройду первым». На что я ему заключаю: «Дурак, он и в папахе дурак». Поднялся я в атаку, а он остался в окопе, а в тот окоп — снаряд.

* * *

Ночью, возле костра, медленно проваливавшегося в сахарный рассыпчатый снег, Блюхер проводит совещание с командирами. Лицо его обуглилось, щеки провалились, заросли по самые глаза колючей серой щетиной, лоб зашелушился от морозного ветра.

— Бить будем с юга, — говорит он. — Там у них еще проволока не до конца натянута.

Он расстилает карту на снегу, водит пальцем по хрусткой бумаге, указывая направление ударов. Распоряжения его коротки и сухи.

— Постышев где? — спрашивает он.

— В окопах, — отвечает Гржимальский, — в снегу.

— Ясно. Пошли и мы туда, — говорит Блюхер. — Веселить надо людей, а то заснут, померзнут. Разведчики Особого Амурского полка с ротой корейцев пусть сейчас же начинают продвижение вплотную к цепи заграждений. У них халаты — они должны пройти. Все. Расходимся.

Блюхер надвигает на глаза свой заячий треух, запахивает коротенький тулупчик и, забросав костер снегом, первым уходит в ночь — на передовую.

* * *

Разбрызгивая белые искры, шипя и замирая в небе, взлетают три красные ракеты.

Гремит «ура» по всей громадной линии фронта. Выскакивают из окопов, бегут на кинжальный пулеметный огонь белых, падают, ползут, корчатся в агонии, орут, бросаются на колючую проволоку, рвут ее окровавленными руками, перелезают через нее, бросив поверх острых зубцов шинель и бушлат, падают, сраженные, но следом за ними переливаются еще и еще — десятки, сотни, тысячи бойцов Народно-революционной армии и красных партизан. Они бегут вверх по сопке, утопая в снегу, глядя в черные маленькие дула винтовок и пулеметов, бегут, умирают, но следом бегут другие, и гремит, гремит в сухом морозном воздухе неумолкающий ни на минуту протяжный призыв к победе.

ЗАИМКА ТИМОХИ

Тимоха сонно зашлепал губами, заметался и, сев на кровати, быстро стал повторять:

— Просыпайтесь, господин Исаев, просыпайтесь...

Исаев очень точно разыграл спящего, несколько раз оттолкнул Тимохину руку, потом вскочил, спрыгнул на пол, увидел прямо перед собой Гиацинтова, смущенно улыбнулся и, потерев глаза, начал будить Ванюшина.

— Давно приехали? — спросил Исаев полковника.

— Да не так чтоб очень.

— Давайте поскорей, господа, — торопил всех Тимоха.

Тимоха заметно нервничал, посматривал на филеров, приехавших с Гиацинтовым, руки его были суетливы и слишком быстры.

— А эти господа тоже с нами, Кирилл Николаевич? — спросил он про филеров, не удержавшись.

— Тоже.

— А как они без ружей?

— У них маузеры.

— Чего?

— Пистолеты американские. По два на рыло, шестнадцать патронов.

Филеры приподняли полы френчей, показывая Тимохе гранаты и заткнутые за пояс маузеры.

— Возьмем зверя? — спросил Гиацинтов.

— Смотря как они по целкости.

— Ничего. Целят как надо.

Ванюшин спросонья выпил стакан водки и сказал:

— Я себя неважно чувствую, не пойду я.

— Стрелков мало, Николай Иванович.

— Ты, Тимоха, не волнуйся. Мои люди — отменные стрелки. С любого расстояния зверя возьмут. У нас в машине карабины и пулемет, — улыбнулся Гиацинтов и доверительно положил руку на колено Исаеву. — Ну как, мой храбрый охотник? Забьем изюбря?

— Постараемся, — ответил Исаев и постучал костяшками пальцев об стол, — заранее загадывать боюсь.

— Сашеньку возьмем? — спросил Гиацинтов.

— Оставьте в покое девушку, — буркнул из-под тулупа Ванюшин. — А печенку она здесь зажарит.

— Прометеев сюжет, — заметил Исаев, смешно морща нос, — кому и чью?

— Ну с Богом, — сказал Тимоха. — Двинем.

— Идите следом за ним, — сказал филерам Гиацин-

тов, — а мы с Максимом Максимычем пойдем замыкающими.

— Вы сами-то хотите стрелять сегодня? — спросил Тимоха полковника. — А то если нет, так я один пойду. А коли хотите — давайте не последними, а ближе ко мне — я вас на перепадок поведу, где изюбрь у меня прикормлен.

— Там летом ручей, что ль?

— Ну!

— Хорошо. Мы тебя догоним, нам поболтать пять минут надо с Максимом Максимычем.

Гиацинтов взбросил на плечо карабин, обмотал шею толстым шарфом и сказал:

— Полегоньку двинулись.

Тимоха и четверо филеров шли впереди.

— Макс, мне очень хотелось побеседовать с вами под открытым небом, — тихо говорил Гиацинтов, — а то в городе никак не уединишься. Звать к себе — интеллигенция сразу станет вас сторониться, как возможного агента охранки. У вас? Там всегда полно народу. А в кафе «Банзай» вы столь часто бывали с Ченом, что вас хорошо запомнили. Там что, кулинары отменны?

— В «Банзае» прекрасно делали рыбу.

— По-монастырски?

— Нет, это обычно. Мне там нравились креветки, зажаренные в мясе осетра.

— Да, да, как-то раз я пробовал это, очень вкусно. Но мы отклонились в сторону от разговора. Он будет краток. Я ничего не хочу знать о вашем прошлом, хотя оно крайне занятно и изобилует многими белыми пятнами, подобно карте Антарктиды. Меня занимало ваше настоящее, оно элегантно, оно достойно вас. Вы — обаяшка, а это не достоинство человека, это его профессия. Но волнует меня ваше будущее. Сегодня после отстрела зверя вы мне скажете «да». Понимаете?

— Я готов сказать вам «да» прямо сейчас. Мне только не совсем понятно, о каком «да» идет речь.

— Вам пять лет? Вы плохо выговариваете букву «р»? Вы еще мочитесь в кроватку? Перестаньте, дуся, мы ж с вами люди вполне зрелого возраста.

— А если «нет»?

— Умница. Хорошо, что вы сказали про «нет». Я запамятовал сказать вам об этом. Если я услышу «нет», то завтра мы будем хоронить вас, как случайно застрелившегося на охоте.

— Такая жестокость, Кирилл Николаевич.

— С людьми вашей профессии и ваших связей мне иначе нельзя.

— Клянусь Богом, я буду нем как рыба.

— Мне уже говорил про это наш приятель Чен, — глядя в глаза Исаеву, сказал полковник.

— Ув-ле-чен, — пошутил Исаев.

— Неужто вы не знали, что Чен — это чекист Марейкис? — тихо спросил Гиацинтов.

— Сейчас начну хохотать и спугну изюбря.

— Бросьте. Партия сыграна, надо выбирать достойный выход.

— Вы знаете, что у многих контрразведчиков мания подозрительности — профессиональная болезнь, полковник. Нет?

— Наслышан.

— Любопытно, а в вашей конторе есть профсоюз, который защищает права безнадежно занемогших на боевом посту?

— Хватит, — поморщился Гиацинтов и прибавил шагу, придерживая Исаева под руку. — Только не вздумайте шутить. Целить в изюбря буду один я.

— Знаете, Кирилл Николаевич, что-то мне не хочется идти на охоту. Я домой пойду.

— Значит, «да»?

— Нет.

— Это пока «нет». А домой я вас не пущу. Вернее, по дороге домой с вами произойдет несчастный случай. Право, я не шучу. В нашей профессии есть одна опасность: заиграться. А я с вами заигрался. Мне обратно нельзя отрабатывать.

Исаев оглянулся: следом за ними шел еще один филер, который, по-видимому, все время сидел в машине и должен был идти замыкающим.

— Так что вот, Максим Максимыч, поймите меня как человек, владеющий пером: я заигрался. И вы мне нужны. А зачем — я скажу вам после того, как услышу «да». Если «нет» — считайте себя покойником.

— Разведчик обязан быть не только актером. В еще большей степени он обязан обладать даром режиссера, который может нафантазировать, а потом поломать уже нафантазированное, придумать новое и остановиться на самом талантливом.

Исаев понимал с самого начала, что на охоту, им же самим придуманную, Гиацинтов пригласил его неспроста.

Исаев уже давно начал готовиться к этой «охоте». Он разбирал ее в воображении, от первой до последней секунды.

На что рассчитывал он, попросив Тимоху устроить охоту для Гиацинтова? Он совершенно отчетливо понимал, что Гиацинтов постарается именно здесь, на охоте, в тайге, вдали от всех, кто может Исаеву влиятельно помочь, поставить все точки над і, поставить перед ним дилемму — да или нет? Сотрудничество с охранкой или отказ от сотрудничества? Следовательно, считал Исаев, именно здесь и надо будет разорвать гордиев узел его с Гиацинтовым взаимоотношений. Именно поэтому он пытался — иносказательно, конечно, — объяснить Сашеньке, что временная разлука не означает окончательного разрыва: ожидание — лучшая гарантия любви и верности. Ему казалось, что Сашенька в чем-то понимает его, а полностью он, естественно, не мог ей открыться. Но он любил ее, и ему казалось, что она сумеет домыслить то, о чем он не имел права ей говорить.

Как ему виделась предстоящая операция? Она строилась на точном знании психологии истинного охотника, который считает унизительным отдать последний и решительный выстрел кому-либо. Это существует помимо охотника, это врожденное, неистребимое, постоянное. А как говорил еще прошлым летом Тимоха, Гиацинтов был завзятый, азартнейший охотник. Следовательно, считал Исаев, Гиацинтов не позволит никому из филеров стоять подле себя, потому что он слишком уверен в себе. Следовательно, Тимоха поведет филеров в загон, чтобы они гнали изюбря на полковника, и полковник прикажет им поступать именно так, если только егерь Тимоха попросит об этом. Тимоха, конечно, попросит, и Гиацинтов прикажет филерам идти в загон. Таким образом, он останется один, поставленный Тимохой точно возле высокой сосны, подле громадной, занесенной снегом скирды, в которой будут с ночи спрятаны люди из партизанского отряда Кулькова и Суржикова. Они-то и должны будут броситься на Гиацинтова со спины, когда Тимоха начнет гон изюбря с помощью филеров. Он станет кричать, охать, вопить, что, мол, изюбрь прямо на Кирилла Николаевича прет, полковник в эти мгновения превратится в само внимание, но у него будет одностороннее внимание, обращенное на лес перед собой, откуда с минуты на минуту должен выйти громадный изюбрь. В эти самые секунды на Гиацинтова и должны

будут броситься партизаны, скрутить его, заткнуть рот и, смешав следы, бросить карабин полковника и его шапку возле полыньи, имитируя таким образом трагическую и нелепую смерть. А самого полковника унесут в тайгу по нехоженой тропке, где все следы стерты — над этим работал Тимоха и его друзья всю последнюю неделю. А там — на далекую партизанскую заимку, а потом Гиацинтова вместе с Исаевым партизаны должны будут переправить через линию фронта к красным. Так задумал всю операцию Исаев. Сейчас секунды решали все.

Тимоха начал гон. Исаев сглотнул комок в горле. Он понимал, что в крайнем случае придется брать полковника и его людей с боем, но эта операция «засветила» бы кульковский партизанский отряд, который пока что затаился, ожидая приказов из центра, неподалеку от Владивостока. Если бы узнали о его существовании, то, конечно, пришлось бы отряду отступать, да и неизвестно, смогли бы толком отступить, потому что каждый километр вокруг, на пути отступления, был забит войсками японцев, подпиравших русские тылы своими орудиями.

Все вышло, как загадывал Исаев. Тимоха выстрелил два раза. В кустах пронесся старый изюбрь, всегда ходивший здесь на водопой. Тимоха завопил:

— Давай ко мне, загоняй на полковника! Ай, пошел, пошел, подранок, пошел!

Гиацинтов дернулся на месте, побелел лицом — азартен, махнул филерам рукой, весь подался вперед, взяв ружье на изготовку. Филеры побежали от полковника в кустарник, чтобы погнать изюбря, подраненного егерем, на полковника. Гиацинтов остался один.

Разгоряченные, сопящие филеры услыхали отчаянный крик Гиацинтова, когда были уже далеко в чаще. Заметались. Потом напролом, не разбирая дороги, ринулись к месту, на которое Гиацинтова поставил Тимоха. Спешка в незнакомом лесу — дело рискованное, заблудиться можно. На это Исаев тоже делал ставку. Он был убежден, что филеры, если услышат крик Гиацинтова и побегут к нему, наверняка заплутаются в чащобе. Тимоха должен будет найти сбившихся с пути филеров, собрать их всех и вывести к месту стоянки Гиацинтова для своего полного алиби. Так и вышло. А когда наконец филеры вышли из кустарника, Гиацинтова уже не было. Тогда они побежали к реке, у полыньи увидели полковничий карабин, перчатку, ухан — и ничего больше.

* * *

Через четыре часа на заимку Тимохи прибыло семь машин с сыщиками, работниками контрразведки и прокуратуры, и только тогда все заметили, что отсутствует еще один человек: Максим Максимович Исаев.

Прокурор, которого пытал Ванюшин, можно ли дать сообщение в газету о трагической и нелепой гибели Гиацинтова, сначала разрешил, но Воля Пимезов, адъютант Гиацинтова, отозвал газетчика в сторону и сказал:

— Не попадите впросак. Судя по всему, здесь убийство, а не трагическая гибель. Даю вам добрый совет.

Сашенька сидела возле окна, которое оттаяло от дыхания многих десятков людей, набившихся в маленькое зимовье. Девушка неотрывно смотрела на лес.

— Николай Иванович, — спросил Ванюшина заместитель Гиацинтова полковник Суходольский, — вы давно Исаева знаете?

— А в чем дело?

— Да так, интересуюсь.

— Давно.

— Нет, вам придется дать ответики конкретные, потому что это у нас маленький допросик будет, Николай Иванович.

— Господа, — сказал один из прокурорских помощников, — пойдемте же на место происшествия, а то снег вон повалил.

А снег действительно начал идти, как в театре, громадными хлопьями, непроглядно и быстро. Снег помогал Исаеву, заметал следы, укрывая теплом землю, уставшую от войн.

— Ну ты, рожа, — сказал Пимезов Тимохе, — признавайся добром, как все было, пока я кожу с тебя не спустил и на кнопки над головой не застегнул.

— Мальчик, — рассвирепел Ванюшин, — я этого человека знаю пятнадцать лет!

Пимезов смешался, ибо не думал, что говорит так громко.

— Нервы-с, — заметил он, — совсем сдают.

— Лечить надо, а не орать, как базарная торговка.

ПАРТИЗАНСКАЯ ЗЕМЛЯНКА

Исаев сидит рядом с Суржиковым и Кульковым. Лицо его растерянно и жалко.

Исаев читает шифровку, которую ему вручил связник, только что пришедший от Постышева. Исаев видит цифры. Их целая колонка, они пляшут у него перед глазами. А цифры эти говорят:

> Вам предстоит изыскать возможность отъезда вместе с наиболее реакционной частью белогвардейцев в эмиграцию, для того, чтобы мы смогли знать через вас о новых заговорах против республики, которые, бесспорно, будут организовываться.
>
> *Дзержинский.*

Исаев прочитывает шифровку еще раз, медленно сжигает ее на свече, растирает пепел по дощатому полу сапогом, потом тихо говорит:

— Давайте сюда Гиацинтова.

Полковника вводят в землянку. Взгляд его сейчас кроличий, глаза красные, быстрые.

— Ну? — спрашивает его Исаев. — Как, Кирилл Николаевич?

— Плохо, Максим Максимыч.

— Понятно, что плохо. Так «да»?

— Вы имеете в виду мою работу на вас?

— Именно.

— Я согласен.

— Так сразу?

— Я же у вас, что мне остается делать?

— Достойно умереть.

— Не хочу.

— И правильно.

— Гарантии?

— Ваша помощь.

— Пожалуйста.

— Мне нужны все группы, которые вы отправили к нам в тыл.

— Гарантии? — повторил полковник.

— Честное слово.

— Вы же разведчик.

— Именно.

— Этого мало.

— Ладно. Вы на протяжении ближайших двух-трех лет будете нам нужны. У вас есть люди в парижских эмигрантских кругах?

— Да.

— В берлинских?

— Тоже.

— Это залог вашей жизни. Я у вас не прошу сейчас рекомендательные письма к ним. Но они мне вскорости понадобятся. В сопроводиловке я это написал.

— В какой сопроводиловке?

— Это наше словечко, надо бы знать. В бумаге, которую передадут мои люди вместе с вами в штаб, в Читу, а затем в Москву.

— Меня отправят туда?

— Конечно. И если вы вздумаете шутить по дороге, вас пристрелят. Это я вам обещаю. А что делать? В вашей профессии, как вы говорите, самое опасное — заиграться...

— Я не пойду туда!

— Бросьте, Кирилл Николаевич, пойдете.

Когда Гиацинтова увели, Исаев спросил:

— А как я туда с пустыми руками приду? По легенде ж я зверя преследую.

— По чему? — спросил Суржиков уважительно.

— По легенде, — улыбнулся, вздохнув, Исаев, — есть такое у нас словечко...

— Мы сначала думали вас вязать, — сказал Суржиков, — больно вы на харю-то аккуратный. Сомнение было взяло. А что касаемо зверя, так мы изюбренка подстрелили, можем отдать, чтоб вам не с пустыми руками...

* * *

Дверь Тимохиного зимовья открылась, Исаев сделал шаг в комнату, забитую сыщиками и следователями, и упал. За спиной у него был изюбренок, килограммов на шестьдесят.

— Двадцать километров пер, — прохрипел он, — никто встретить не смог, сволочи! Спать хочу. Там, в тайге, еще большой лежит — по следам найдете.

И, сняв шапку с мокрой головы, он лизнул сухим, шершавым языком снег, занесенный кем-то из сыщиков в заимку.

Стало очень тихо. Все недоуменно переглядывались, а потом к Исаеву подошла Сашенька с сияющими глазами, стала перед ним на колени и принялась целовать его воспаленное, сухое лицо.

Ванюшин, кривя лицо, сказал:

— Дерьмо вы, а не сыщики, чем деньги вам платить, так лучше учить проституток китайской грамоте. «Убий-

ство», «допросик», — передразнил он контрразведчиков и смачно, презрительно сплюнул.

Те переглянулись и ничего не ответили. Ванюшин по-шутовски согнулся и шепнул Исаеву на ухо:

— А патрон, судя по твоим словам, был один, Максим... Как же двоих зверей ухандокал, а, маленький мой?

* * *

Через три дня полковник Суходольский, назначенный Меркуловым исполняющим обязанности начальника контрразведки, вызвал Исаева через подставных лиц на свидание в оперативный отдел штаба молчановской армии. Он пошел навстречу Исаеву с открытыми для объятий руками. Чуть заикаясь — это было у него в минуты сильнейшего волнения, — Суходольский спросил, глотая открытые гласные:

— Так что же, друг мой, «да»?

Исаев улыбнулся и сказал:

— Покойник был шалунишкой и болтуном. С вами страшно иметь дело — вы слишком ветрены в симпатиях и болтливы в дружеских беседах с друзьями из мира богемы. Тем не менее я уже сказал покойнику на охоте — «да». Я повторяю вам, Суходольский, — «да»! Да! Слышите вы?! Да! Но одно условие — никаких кличек, номеров и шифров — я идейный борец, я против доносительства и политического негодяйства. Ну, будьте здоровы, надеюсь, вы не станете меня задерживать для любовного объяснения. Кстати, ваши деньги мне не будут нужны, они воняют разложением и трусостью. Не пугайтесь, дерзость — это моя манера, она симпатична тем, чья профессия — сдержанность и благопристойность.

ВОЛОЧАЕВКА

Поздняя ночь. Огромная луна. Черные тени от изорванной колючей проволоки рвут искрящийся снег.

Тихий говор санитаров, крики раненых, которых относят к походным фельдшерским пунктам на носилках, смех живых и легко обмороженных слышен сейчас здесь.

По бескрайнему полю, среди трупов, идут Блюхер, Постышев, командиры полков, бригад и партизанских отрядов.

— Белый, — кто-то говорит тихо, показывая на труп

молоденького паренька. Глаза — стеклянные, удивленные, чистые, как вода.

— Еще белый.

— Каппелевец.

— Семеновец.

— Наш.

— Белый.

— Наш.

— Хватит, — тихо говорит кто-то, — русские все они. Русские.

Дальше командиры идут молча — по отвоеванной земле, после великой победы, среди трупов русских людей, припорошенных искрящимся, синим снегом.

ДВР. Чита. На основании полученных инструкций от Министра Иностранных Дел Японского Правительства имею честь просить Вас срочно передать Министру Иностранных Дел Дальневосточной Республики о нижеследующем:

Императорское Японское Правительство заявляет, что оно готово возобновить переговоры с Правительством Дальневосточной Республики. Императорское Японское Правительство решило произвести полную эвакуацию японских войск из Приморской области, о чем уже опубликована декларации внутри и вне страны.

Императорское Японское Правительство изъявляет согласие на то, чтобы уполномоченные Правительства Советской России приняли участие на предстоящей конференции лишь при наличии условий, регулирующих оформление соглашения.

В случае, если Правительство Дальневосточной Республики намерено делегировать своих представителей, Императорское Японское Правительство готово будет немедленно командировать делегатов для вступления в переговоры, причем местом конференции желательно избрать Дайрен.

Ллойд-Джордж заявил корреспондентам, что он считает необходимыми переговоры с делегатами единственного правительства, которое может представлять Россию, то есть с делегатами ленинского правительства.

Король Италии принял Чичерина и заявил о желательности расширения итало-русских контактов.

Министр торговли США:

— Мы можем торговать с Россией Ленина, и мы будем предпринимать шаги в этом направлении, ибо ленинское правительство — это единственная реальная сила между Варшавой и Токио.

* * *

«Министерство Иностранных Дел Императорского Японского Правительства нотой, переданной японским Генеральным консулом в Харбине Особоуполномоченному Дальневосточной Республики при полосе отчуждения Китайской Восточной железной дороги для Министра Иностранных дел Дальневосточной Республики, изъявило желание от имени Японского Правительства вступить в переговоры с Правительством Дальневосточной Республики и Правительством Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.

В той же ноте сообщается о решении Императорского Японского Правительства произвести полную эвакуацию японских войск с русских территорий на Дальнем Востоке.

Правительства Российской и Дальневосточной Республик выражают удовлетворение означенным решением Императорского Японского Правительства об эвакуации войск и констатируют, что Императорское Японское Правительство, согласно ноте от 19 июля, уведет свои войска из русских областей на Дальнем Востоке до 1 ноября с. г.

Ввиду взаимного согласия России и Дальневосточной Республики, с одной стороны, и Японии, с другой стороны, вступить в переговоры для установления мирных и дружественных отношений, Правительства Советской России и Дальневосточной Республики полагают, что на предстоящей конференции должны быть представлены на равных началах Россия, Дальневосточная Республика и Япония и что предстоящий договор должен быть подписан от имени

каждого из представленных на конференции правительств.

Делегатами со стороны России и Дальневосточной Республики назначены: член Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Адольф Абрамович Иоффе и Министр Иностранных Дел Яков Давыдович Янсон.

От имени России:
Заместитель Народного Комиссара Иностранных Дел

Л. Карахан

От имени Дальневосточной Республики:
Министр Иностранных Дел
Я. Янсон».

ВЛАДИВОСТОК

Ах, праздник Пасхи! Светлое Христово воскресение! Крестный ход вокруг церкви, высокие голоса певчих, слезы на глазах у сотен людей, запрудивших все переулочки вокруг храма, слова праздничной службы, произнесенные отцом Никифором, христосование, голуби в темном ночном небе и неумолчный перезвон колоколов. Малиновый, неистовый, уносящийся в небо и падающий на темную океанскую гладь, торжественный, единственный в мире и единственный в каждом году пасхальный перезвон колоколов.

Звонарь делает чудеса. Колокола тягуче поют. Сверху, со звонницы сквозь винтовую лестницу служба слышна в храме, а если опуститься на три витка вниз — видны лица людей, осиянные радостью и надеждой. А наверху, в маленькой комнатенке, где звонарь хранит свой нехитрый инструмент, сейчас идет заседание подпольного ревкома. Товарищ, присланный Постышевым, очень медленно говорит:

— Повестка у нас практически исчерпана. Сейчас руководители подпольных десяток должны начать подготовку к вооруженному восстанию: в том случае, если интервенты решат потянуть с выводом войск, мы поднимем народ. Далее. Надо продумать, как сподручнее спасти наших товарищей, томящихся в концлагере на Русском острове и в тюрьме. Их, по-видимому, будут пытаться уничтожить. Наша задача — не допустить этого. Ждать, судя по всему, осталось недолго.

* * *

«Товарищи бойцы!

Прошел ровно год с того дня, когда я прибыл в Дальневосточную Республику для принятия командования над вашими доблестными рядами.

Многочисленные отряды, слабо снабженные и вооруженные, не связанные между собою общностью управления, не обеспеченные техникой и малодисциплинированные, нуждались во многих преобразованиях организационного характера, в распределении специальных технических средств и командного состава, в упорядочении хозяйственного аппарата, в политическом воспитании и боевой подготовке масс — во всех тех мероприятиях, которые делают вооруженную силу трудового народа могучим и гибким оружием обороны против посягательств на него со стороны капиталистических государств.

Принимая на себя командование Народно-революционной армией и флотом и сознавая всю тяжесть и ответственность стоящих перед нами сложных задач, я обратился с призывом к революционной сознательности каждого народармейца и к гражданскому чувству каждого военнослужащего, в том числе и к бывшему кадровому офицерству, и встретил со всех сторон отклик, твердую поддержку и дружную деловую помощь тех, кому дороги интересы трудового класса, кто болеет страданиями народа и стремится к их скорейшему облегчению.

Только этим я могу объяснить себе, что за сравнительно короткий период моего командования наша армия более или менее безболезненно изжила многие недочеты, влила в свои ряды революционные элементы партизанских отрядов и справилась почти со всеми препятствиями, стоявшими на пути ее организационных и боевых работ, сделавшись фактическим и прочным авангардом революции на Дальнем Востоке.

Все это дало нам возможность в минуту грозной необходимости отразить неожиданно нанесенный нам предательский удар со стороны белогвардейских налетчиков, покушавшихся на нашу самостоятельность и угрожавших спокойствию Советской России.

Я с любовью и преклонением вспоминаю и буду вспоминать всегда последние боевые страницы истории нашей геройской армии, покрывшей в зимнем амурском походе 1921—1922 гг. боевые знамена революции новою славой и поставившей себя рядом с доблестной защитницей всех угнетенных — Красной Армией Советской России.

Трудовой народ Дальневосточной Республики и братской Советской России никогда не забудет тех великих жертв, которые принесены вами в тяжелом походе наших сермяжных рабочих рядов против сильнейшего по численности и техническим знаниям врага, поддерживаемого могучей иностранной рукой и спасенного ею до поры до времени от окончательного разгрома.

Память грядущих поколений свободного русского народа с благодарностью и восхищением будет останавливаться перед братскими могилами на Волочаевской сопке Июнь-Корани, на просторах Амура, под Казакевичевом, Васильевкой и на сопках под Бикином, где под вашим неудержимым натиском побежал цвет офицерских кадров — былой оплот проклятого царского могущества.

Расставаясь с вами, родные красные орлы, я уношу в своем сердце горделивую радость достигнутых вами побед на мирном и боевом поле и твердую уверенность, что ваши мозолистые руки впишут еще не одну славную страницу в историю борьбы за освобождение человечества от ига империализма и цепей капитала.

Мой прощальный коммунистический привет и товарищеское спасибо всем бойцам, комиссарам, командирам и сотрудникам штабов, учреждений и заведений Народно-революционной армии и флота, с которыми мне пришлось разделять мою служебную работу.

Да здравствует Народно-революционная армия и флот!

Председатель Военного совета,
Главнокомандующий всеми вооруженными
силами и Военный министр
В. К. Блюхер».

* * *

Холодное осеннее солнце. Ветер. Океан. Крики десятков тысяч людей. Сашенька, прижатая к железным перилам исступленной толпой, смотрит вслед отваливающему от причала последнему кораблю с беженцами. Глаза у Сашеньки полны слез, она ничего не видит сейчас вокруг, она пытается идти за медленно отваливающим пароходом, на корме которого, вцепившись ледяными пальцами в поручни, стоит Исаев. Ветер рвет его волосы, он неотрывно смотрит на Сашеньку, которая с каждой минутой становится все меньше и меньше, а возле него стоят Воля Пимезов из контрразведки, генерал Молчанов, генерал Глебов, Суходольский... А Сашенька все меньше и меньше делается, совсем она становится крошечной точкой на пирсе, а ветер все рвет его волосы, бьет ему в глаза горький и прекрасный ветер океана.

* * *

В номере «Версаля» возле огромного окна, выходящего на залив, стоит Ванюшин. Он стоит недвижно, заложив руки за спину, и смотрит, как тысячи людей осаждают последние корабли японцев и американцев. Он слышит, как дети исходят в крике, как женщины протягивают руки к тем, которые, убрав сходни, стоят на верхней палубе в своих аккуратненьких военных формах, жуют апельсины, фотографируются и эдак беззаботно переговариваются друг с другом, показывая пальцами на обезумевших людей внизу, на пирсе...

Ванюшин стоит недвижно, насвистывая какой-то мотивчик из оперетты. Потом достает пистолет из заднего кармана брюк, вставляет дуло в рот и нажимает курок. Грохочет выстрел. Ванюшин падает на блестящий паркет. А на столе валяется его записочка: «А подите-ка вы все к ... матери!»

А с запада, через рабочие окраины, в город, в «нашенский Владивосток», входят части Народно-революционной армии. Женщины из подвалов, бледные детишки, старики, рабочие, инвалиды — все они бегут рядом с красными бойцами, смеются и плачут. Это уж так всегда: война кончается слезами. И для победителей, и для побежденных.

НЕЖНОСТЬ (1927)

«Господи, зачем же она так несется?! Булыжник-то старый, положен плохо, нога подвернется», — испуганно думал Исаев, глядя на Сашеньку, которая бежала вдоль перрона Казанского вокзала. Он даже зажмурился, потому что представил себе, как она упадет, и это будет ужасно — нет ничего более оскорбительного, когда на улице падает красивая молодая женщина.

«Не надо бы ей так бежать, — снова подумал он, — все равно ведь я дома».

Так же испуганно бежала Роза по темной кантонской улице, а за нею гнались двое, а потом один из них бросил бутылку и угодил ей в шею, и она упала на асфальт, и Максим Максимович почувствовал, как у нее захолодела кожа на ладонях, — сначала кожа холодеет, потом немеет, а после, когда прихлынет кровь, рукам делается нестерпимо жарко.

— Сейчас! — крикнул Исаев Сашеньке. — Погоди ты, стой! Не беги так! Ты стой, Сашенька!

— Вам нужна девка. Хорошая девка. Вы каких любите? Худых или рубенсовских?

— Я в психотерапию не играю, доктор. Я не болен. Я все время хочу спать, но когда ложусь — сна не получается, устал. И девки не помогают.

— Убеждены?

— Убежден.

— Значит, не нашли пару. Вас что-то в них раздражало. Девка обязана быть гармоничной — тогда вы устанете: от гармонии устают больше всего... Понаблюдайте за собой в музее: после третьего зала вам нестерпимо хочется спать, но, чтобы не казаться нуворишем, вы пялите глаза на картины и подолгу читаете имена художников на металлических дощечках, чтобы хоть как-то спастись от зевоты. Разве нет?

— Я живопись люблю...

— Это как же вас понять? Вы — исключение? Вы не зеваете в музее?

— Не зеваю.

— Сие анормально. Все люди хотят спать в музеях. А вы еще говорите: «не псих». Все — в той или иной мере — клинические психи, только некоторые умеют притворяться.

«Надо продержаться еще неделю, — подумал Исаев, — через неделю я сяду на пароход и там сразу же усну, и кончится этот ужас. Только бы он дал мне сейчас что-нибудь посильней — иначе я сорвусь, ей-богу, сорвусь...»

— В английской аптеке мне сказали, что появился «препарат сна» — гарантия от бессонницы.

— Вы еще верите гарантиям? — доктор хохотнул и, приподняв веко левого глаза, перегарно задышал в лицо Исаеву. — Вниз глядите. На меня. Влево. А теперь направо.

...В Москве и пахнет-то иначе, липами пахнет цветущими, — понял Исаев. — Осенью тоже пахнет цветущими липами, если только выйти ранним утром из перелеска, когда поле кажется парчовым пологом, закрывающим небо, и рисовать это надо жестко и однозначно, никак не украшая и не стараясь сделать красивей... Но отчего же на вокзале пахнет липами? Наверное, потому здесь пахнет цветущими липами, что дождь недавно прошел, а перрон черный, скользкий, набухший весенней влагой, — на таком перроне не стыдно упасть; по нему покатишься, как в детстве по декабрьской ледяной горке, и не будет в этом никакой беззащитности, и унижения никакого не будет, только все же лучше б Сашеньке не падать, и она, видно, поняла это, вон, смотрит на меня; идет все медленнее, и паровоз отфыркивается все медленней, и можно уж прыгать на перрон, хотя нет, не надо торопиться, вернее, торопиться-то надо, но только я слишком хорошо помню рассказ Куприна про инженера, который так торопился к своей семье, что попал под медленные колеса поезда в тот момент, когда остались две последние минуты — самые длинные и ненужные во всей дороге... Ох как же я люблю ее, Господи! Только я люблю ее такой, какой она

была тогда на пирсе — испуганной, моей, до последней капельки моей, и все в ней было открыто и принадлежало мне; и было понятно мне загодя — когда она опечалится, а когда рассмеется, а теперь прошло пять лет, и она все такая же, а может, совсем другая, потому что я другой, и как же нам будет вместе? Говорят, что расставания — проверка любви. Глупость. Какая, к черту, проверка любви! Это ж не контрразведка — это любовь. Здесь все определяет вера. Если хоть раз попробовать проверить любовь так, как мы научились перепроверять преданность, то случится предательство более страшное, чем случайная ночь с кем-то у нее или шальная баба у меня.

Ну, стой, поезд! Успокойся! Отдышись! Мы ж приехали. Стой.

Доктор разжал пальцы, и только теперь Исаев ощутил боль в веке.

— Препарат сна, — сказал доктор, закуривая длинную «гавану», — делает в Кантоне Израиль Михайлович Рудник. А поскольку наша с вами государственность — и бывшая и нынешняя — во всем цивилизованном мире вызывает хроническое недоверие, — Рудник свое изобретение упаковывает в английские коробочки: их ему здесь, в Шанхае, напечатали, — и берут нарасхват, верят. А самое изумительное то, что люди Иоффе из генконсульства закупили большую партию «английского» препарата — в Кремле, видимо, тоже кое-кому не спится.

«Здесь бы я заснул, — подумал Исаев. — В кабинете врача, если только у тебя нет рака, ощущаешь спокойствие бессмертия. Иллюзии — самые надежные гаранты человеческого благополучия. Поэтому-то и кинематограф называли иллюзионом. Делай себе фильмы про счастье — так нет же, все про горе снимают, все про страдания».

— Мед любите? — спросил доктор, усаживаясь за стол. — Липовый, белый?

— Дурак не любит, — ответил Исаев. — Только я прагматик, доктор, я не верю в лечение медом, травой и прогулками. Я верю в пилюли.

— Милостивый государь, настоящий врачеватель подобен портовой шлюхе — поскольку вы мне платите деньги, я готов выполнить любое ваше пожелание. Хо-

тите пилюли? Пожалуйста. Устроим в два мига. Но если спать хотите — мед, прогулки и травы.

— Валериановый корень, пустырник и немного шалфея?

Доктор посмотрел на Исаева поверх очков. Когда он смотрел через очки, глаза его казались очень большими, словно у беременной женщины, и такими же настороженными.

«Медицина будет бессильной до тех пор, пока человечество не изживет в себе ложь, — подумал Исаев. — Я ведь лгу ему. Точнее говоря, я не открываю ему правды. Если бы я сказал ему, что не могу спать, потому что жду возвращения домой, и что там, среди своих, мне не нужно будет никаких лекарств, и что бессонница началась месяц назад, из-за того, что Вальтер сказал о предстоящем отъезде (нельзя говорить человеку о счастье, если не можешь его дать сразу), тогда бы он знал, в чем причина бессонницы».

— Здравствуй, нежная моя...

— Господи, Максимушка, Максим Максимыч... Максим...

— Здравствуй, Сашенька. Ну, как ты?

«Что же я говорю-то?! Стертые слова какие, стертые, словно гривенники! Разве такие слова я говорил ей все эти годы, когда она являлась мне? Отчего мы так стыдимся выражать самих себя? Неужели человек искренен, лишь когда говорит себе одному, тайно и беззвучно?!»

— Как странно спросил: «как ты?». Почему ты меня спросил так, Максим?

— Мне всегда казалось, что глаза у тебя серые, а сейчас я вижу, какие они синие.

— Ты отчего не целуешь меня?

Какие же мягкие и нежные у нее губы... Наверное, только у тех женщин, которые любят, бывают такие губы — безвольные, старающиеся молчать, но они не могут молчать, и говорить они тоже не могут, поэтому они подрагивают все время, и тебе страшно, что они скажут то, что ты так боялся услышать, поэтому ты целуй их, Максим, целуй эти сухие, мягкие губы, и не смотри ты ей в лицо, и не старайся понять, отчего она закрывает глаза и почему слезы у нее на щеках, — может, горе с ними уходит? А кто

виноват в ее горе? Ты? Ты. Кто же еще? Ты ведь оставил ее на эти долгие пять лет, ты ведь не мог найти ее, как ни искал, ты ведь ни разу не написал ей ни слова — кто ж еще виноват в ее горе? «Ее» горе... Наше горе и еще точнее — мое горе. Потому что я могу простить, но забыть я никогда не смогу...

— Сифилисом не болели? — спросил доктор. — Тогда ртутью головушку успокоим... В сыпняке ведь многие бытовичок подхватили и не знают об этом. Давеча вскрытие было занятное, полковника Розенкранца потрошили... Думали, удар — пил много, а в головушке-то у него гумма, третья степень, а дочери на выданье. Вот вам задачка на сообразительность: где граница между нравственностью и долгом? Мы обязаны поступить безнравственно, вызвать девиц для обследования. Китайцы и англичане настаивают: Шанхай, говорят, самый чистый порт в Китае. Розенкранц, перед тем как почить в бозе, три недели глаз не смыкал, уснуть не мог — криком исходил. Думал, что синдром похмелья у него, и давление поднялось. Ан нет... Так что я не зря про люэсочек.

— Сколько я вам обязан, доктор?

— Двадцать пять долларов. Детишкам, знаете ли, на молочишко, да и овес ноне подорожал. Год назад я брал пятнадцать, а сейчас собираю зелененькие — в Австралию подаюсь, там и желтого цвета поменьше, и наших зверенышей почти никого, да и врачей негусто... Значит, пилюльки какие будем пользовать? Англо-кантонские? Израилево-Михайловские? Или медок с водой на ночь и прогулка до пота между лопаточками?

— Пилюли давайте.

...Цок-цок, цок-цок, цок-цок... Перестук копыт, словно музыка. Чубчик у извозчика подвитой, ржаной цветом.

— Сейчас он петь станет, — шепнула Сашенька, — когда я сюда ехала, — он так пел прелестно.

— «Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке»?

— Нет. «Зачем сидишь до полуночи у растворенного окна...»

— «Зачем сидишь, зачем тоскуешь, кого, кра-

савица, ты ждешь?» Ни одного прохожего на улицах.

— Что ты, Максимушка, вон люди! Видишь, сколько их?!

— Никого я не вижу, и не слышу я ничего...

— А цок-цок, цок-цок слышишь?

— Дай руку мне твою. Нет, ладонь дай. Она у тебя еще мягче стала... Я ладони очень люблю твои. Я, знаешь, ночью просыпался и чувствовал твои ладони на спине, и глаза боялся открыть, хотя знал, что нет тебя рядом... Это страшно было — то я папу видел рядом, живого, веселого, а то вдруг ты меня обнимала, и я чувствовал, какие у тебя линии на ладонях и какие пальцы у тебя — нежные, длинные, с мягкими подушечками, сухие и горячие... А ты меня во сне чувствовала?

Цок-цок, цок-цок...

— А еще, знаешь, что он пел, Максимушка? Он еще пел «Летят утки, летят утки и два гуся...».

— Ты почему не отвечаешь мне, Сашенька?

— Я и не знаю, что ответить, милый ты мой...

— Сами-то из Петербурга? Или столичная фитюля? — поинтересовался доктор Петров, пряча деньги в зеленый потрепанный бумажник.

— Прибалт.

— Латыш?

— Почти...

— А по-русски сугубо чисто изъясняетесь.

— Кровь мешаная.

— Счастливый человек. Хоть какая-никакая, а родина. Что в Ревель не подаетесь?

— Климат не подходит, — ответил Исаев, пряча в карман рецепт.

— Дождит?

— Да. Промозгло, и погода на дню пять раз меняется.

— Пусть бы в Питере погода сто раз на дню менялась, — вздохнул доктор, — помани мизинцем, бросился б, закрыв глаза бросился бы.

— Сейчас начали пускать.

— Я изверился. Сначала «режьте буржуя», потом «учитесь у буржуя», то продразверстка, то «обогащайтесь»... Я детей вообще-то боюсь, милостивый мой го-

сударь, — шумливы, жестоки и себялюбивы, а коли дети правят державой? Вот когда они законы в бронзе отольют, когда научатся гарантии выполнять, когда европейцами сделаются... А возможно это лишь в третьем колене: пока-то кухаркин сын университет кончит... Кухаркин внук править станет державой — в это верю: эмоций поубавится, прогресс отдрессирует. Мой тесть-покойник, знаете ли, британец по паспорту, хотя россиянин — нос картошкой и блины на масленую руками трескал, — так ведь чуть не из пушек палили, когда в Питер приезжал. Любим мы чужеземца, почтительны к иностранцу... В Австралии паспорт, гляди, получу, фамилию Петров сменю на Педерсон — тогда вернусь, на белом коне въеду. «Прими, подай, пшел вон» — простят: иностранцу у нас все прощают...

На улице Исаев ощутил тошноту, и перед глазами встали два больших зеленых круга: они были радужные, зыбкие, словно круги вокруг луны во время рождественских морозов в безлесной России. «Такая была луна, когда мы ехали с отцом из Орска в Оренбург, — вспомнил Исаев, — он держал меня на коленях и думал, что я спал, но продолжал мурлыкать колыбельную: «Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни, птицы уснули в саду, рыбки уснули в пруду, спи...» Потом он мурлыкал мелодию, потому что плохо запоминал стихи, и снова начинал шептать про уснувших в саду птиц... Если бы он был жив, я, наверное, смог бы сейчас уснуть. Я бы заставил себя услыхать его голос, и я бы знал, что есть на свете человек, который меня ждет. Я бы так не сходил с ума — от ожидания, веры, неверия, надежды и безысходности».

Аптекарь, повертев рецепт доктора Петрова, вздохнул:

— Отдаю вам последнюю упаковку, сэр. — Старый китаец говорил на оксфордском английском, и он показался Максиму Максимовичу каким-то зыбким, словно бы радужным, вроде тех кругов, что стояли в глазах, нереальным и смешным. — Восхитительный препарат, некий сплав тибетской медицины, рожденной пониманием великой тайны трав, и современной европейской фармакологии.

— Где вы так выучили английский?

— Я тридцать лет работал слугой в доме доктора Вудса.

— А сколько вам сейчас?

— Я еще сравнительно молод, — улыбнулся апте-

карь, — мне всего восемьдесят три, для китайца — это возраст «Начинающейся Мудрости».

— А сколько бы вы дали мне? — спросил Исаев, бросив в рот пилюлю из упаковки препарата сна.

— Мне это трудно сделать, — ответил аптекарь. — Все европейцы кажутся мне удивительно похожими друг на друга... Просто-таки одно лицо... Лет сорок пять?

— Спасибо, — ответил Исаев и проглотил еще одну пилюлю. — Вы ошиблись на семнадцать лет.

— Неужели вам шестьдесят три?

— Мне двадцать семь.

— Твое окно на пятом этаже, с синими занавесками?

— Ты как это определил, Максимушка?

— Определил вот...

— Тебе писал кто об этом?

— Никто не писал. Но ведь такие занавески ты во Владивостоке сшила, когда я из Гнилого Угла переехал на Полтавскую, — синие в белый горошек и со сборочками по бокам.

— «Со сборочками». С оборочками... Я никогда от тебя раньше этого слова не слыхала, и сама стыдилась вслух произносить при тебе.

— Почему, Сашенька?

— Не знаю. Мы ведь каждый друг друга себе придумываем, чего-то в этом своем придуманном знаем, чего-то не знаем, и постепенно того, изначального, которого полюбили, начинаем забывать, и возвращаемся в себя, на круги своя. Наверное, мужчину, которого любишь, надо всегда немножко бояться: как бы он не ушел, как бы в другую не влюбился, а женщины глупые, они сразу замуровать несвободою его хотят, а потом устают от спокойствия, словно победители в цирковых поединках.

— Лестница какая темная.

— Мальчишки лампочки вывинчивают.

— Ты почему так тихо говоришь?

— Боюсь тебя.

— Пива, пожалуйста. Белого. Холодного. Самого холодного.

Владелец этого маленького немецкого бара приносил пиво Исаеву сам — он всегда садился к нему за столик,

и они говорили о Германии: Карл Ниче был родом из Мюнхена, а там Максим Максимович прожил с отцом пять лет.

— В такую жару лучше пить чуть подогретое пиво, майн либер Макс. Вы можете простудить горло, если в такую жару станете пить ледяное пиво. Что вы такой синий? Хвораете?

— Здоров, как бык, Карл. Немного устал.

Два мальчика сели возле лестницы, которая вела в полуподвал, и крикнули — словно чтецы эстрадных куплетов — на два голоса:

— Кельнер, пива!

— Русские, — сказал Карл шепотом, — сейчас потребуют водки и черных сухарей... Даже худенькие, даже молодые и воспитанные русские — все равно свиньи. Сейчас я вернусь, если позволите...

Он поднялся из-за стола и крикнул в подвал, опершись на перила лестницы:

— Два пива, поживей!

«Интересно, эти мальчики меня подхватили в аптеке или они ждали, когда я выйду от доктора? — подумал Исаев. — Наверное, они все-таки меня ждали возле дома врача. Но я не видел, как они вели меня. Плохо дело-то, а? Совсем плохо...»

Она думает, что я сплю, — понял Исаев. — Господи, неужели я и ее обманываю этим моим ровным дыханием и тем, как я опустил руку с кровати и вытянул шею... Я вижу себя со стороны — даже когда сплю. Вот ужас-то. И если я сейчас скажу ей, что я чувствую, как она сидит рядом со мной и смотрит на мое лицо, и как у нее пульсирует синяя жилка возле ключицы, и как она держит левую руку, прикрывая грудь, и сколько боли в ее глазах, я стану последним негодяем, потому что она может решить, что я смотрел на нее сквозь полуприкрытые веки. А может, я смотрю на нее сквозь полуприкрытые веки? Нет. Глаза мои закрыты, просто я вижу ее, потому что я приучен чувствовать все то, что рядом. Я думал, что это было со мной, только там, за кордоном, я думал, что дома это уйдет, и я снова стану обычным человеком, как все, и не будет этой постоянной напряженности внутри, но, видимо, это невозможно, и я навсегда останусь

таким, который верит только себе и еще двум связникам — Розе и Вальтеру, и больше никому. Мне надо обмануть ее, надо как-то неудобно повернуться и открыть глаза, но не сразу — чтобы не испугать ее, а постепенно: сначала потянуться, потом что-то забормотать, а уже после — рывком — сесть на кровати и тогда лишь открыть глаза. Она за эти мгновения успеет натянуть на себя простыню, она обязательно натянет простыню и вытрет глаза — она же плачет.

Последнее время Исаев жил в отеле на набережной, и все окна его номера выходили на порт, и он подолгу сидел на подоконнике, разглядывая суда из России. Сначала он приходил в порт и стоял возле пирса, где швартовались советские корабли. Но после того как он заметил рядом с собой двух мальчиков из «Союза освобождения», которые начинали разглядывать моряков тогда, когда Исаев оборачивался к ним, он в порт ходить перестал. «Бережного кое-кто бережет», — говорил ему охотник Тимоха, опасаясь всуе поминать имя Господне, ибо красные в этом деле — «чугун чугунами, да еще смех подымают».

Впрочем, несмотря на то что мальчишки из белой контрразведки стали последнее время за ним топать, Исаев несколько раз передавал Дзержинскому, что шанхайская эмиграция, не говоря уже о дайренской, перестала быть реальной силой, а игрушки в заговоры, проверки и долгосрочные планирования были лишь средством хоть где-либо достать денег для прокормления семей. Кто пообороти стей — ушел в торговлю, кто побогаче — уехал в Штаты; в политике, в «движении освобождения». остались люди несчастные, обреченные, недалекие, надеявшиеся на чудо: взрыв изнутри, война на Западе, интервенция с Востока. Эмигранты — из политиков — собирали по крохам деньги, отправляли эмиссаров то в Токио, то в Париж, но отовсюду их гнали: Москва предлагала концессии, а это реальный, отнюдь не химерический выигрыш. На эмиграцию теперь смотрели как на надоевших бедных родственников: и взашей не прогонишь, но и денег давать нельзя — избалуются вконец.

Однако Дзержинский крепко Исаева разнес: смотреть надо дальше, отвечал он, и шире. Ситуация сейчас действительно такова, что эмиграция сугубо невыгодна для правительств Европы и разобщена внутренне. Однако,

если в мире появится организованная, целенаправленная экстремистская сила, эмиграция найдет в ее лице самую широкую поддержку. Контакты Савинкова позволяют назвать такой силой фашистов Муссолини и следующих за ним национальных социалистов Гитлера.

— Свет включить, Максимушка?
— Так ведь светло.
— Да? А мне кажется — ночь сейчас.
— Иди ко мне, Сашенька...
— Чаю выпьешь?
— Ты ко мне иди...
— Я воды на керосинке нагрела. Хочешь помыться с дороги?
— Я хочу, чтобы ты подошла ко мне, Сашенька.

«Прямо разрывает сердце — как она смотрит на меня. И руки на груди сложила, будто молится. Девочка, любовь моя, как же мне все эти годы было страшно за тебя... Ну, не смотри ты на меня так, не надо. Я ведь молчу. И никогда ничего не спрошу. И ты не спрашивай меня — не надо нам унижать друг друга неправдой, не надо».

После смерти Дзержинского Исаеву показалось, что о нем забыли. Он послал на Лубянку восемь шифрованных писем с просьбой разрешить ему приехать в Москву: сдавали нервы. Ответа не было. И лишь месяц назад Вальтер передал ему приказ поселиться в этом отеле и ждать получения новых документов для отъезда из Китая, и он весь этот месяц не спит — только ходит по городу, ходит до головокружения и тошноты; присядет на скамейку в парке, закроет глаза, обвалится в тяжелое, десятиминутное забытье, и — словно бы кто ударяет в темечко — «Не смей спать! Открой глаза! Осталось потерпеть неделю. Не спи!»

Исаев сидел на подоконнике, смотрел, как в город приходят сумерки, и ждал, когда же ему захочется спать, но чем ближе был день отъезда, тем страшнее ему было возвращаться в номер, потому что пять лет, проведенные в Шанхае, Кантоне и Токио, сейчас мстили ему внутренним холодом, постоянным чувством озноба и страхом: так у него было в детстве, когда они с отцом собирались в Гренобль и он ждал этой поездки весь год,

как праздника, и все время думал: «А вдруг сорвется?» Он постоянно ждал, когда же ему захочется лечь на кровать, вытянуться с хрустом, закинуть руки за голову, увидеть Сашенькино лицо — близко-близко, и уснуть после, и проснуться завтра, когда до отъезда останется всего пять дней.

— Боже, как же я люблю тебя, Максим, я, наверное, только сейчас поняла, как я тебя люблю...

— Почему только сейчас?

— Ждут — воображаемого, любят — свое.

— Не наоборот?

— Может, и наоборот. Нам сейчас говорить не надо, любимый. Мы с тобой вздор какой-то говорим друг другу, будто в мурашки играем. Дай, я тебе галстук развяжу. Нагнись.

«А раньше-то она галстук развязывать не умела», — ожгло Исаева, и он взял ее ледяные пальцы в свои руки и сжал их.

В дверь здесь стучали мягко и осторожно, но — внезапно, потому что коридор был застлан толстым ковром, который скрадывал шаги, и этот мягкий стук в дверь показался грохотом, и Максим Максимович, переложив пистолет в карман пиджака, сказал:

— Да, пожалуйста, войдите.

Вальтер был в белом чесучовом костюме, заляпанном фиолетовыми винными пятнами.

— Вот, — сказал он, протягивая конверт, — здесь все для тебя. — Его грохочущий баварский был сегодня каким-то особенно резким.

В конверте лежал немецкий паспорт на имя Макса Отто Штирлица и билет первого класса в Сидней.

Вальтер закрыл глаза и начал говорить — он легко запоминал шифровки после того, как записывал их дважды на листочке бумаги:

— «Товарищ Владимиров. Я понимаю всю меру ваших трудностей, но ситуация сейчас такова, что мы не вправе откладывать на завтра то, что можем сделать сегодня. Документация, которую мы передаем на «Штирлица», абсолютно надежна и дает вам возможность по прошествии двух-трех лет внедриться в ряды национальных социалистов Гитлера, опубликовавшего только что свою программу действия в «Майн кампф». В Гонконге,

в отеле «Лондон», вас найдут в номере 96, забронированном на имя Штирлица, наши люди, которые передадут фотографии, семейные альбомы и письма к вам Штирлица-старшего. Работа по легендировке займет десять дней. Менжинский».

— Знаешь что, — сказал Исаев, — ты сейчас уходи. Ты уходи, Вальтер, потому что я очень хочу спать. Я вдруг так захотел спать...

Вальтер увидел коробочку препарата сна, усмехнулся.

— Психотерапия — великая вещь, — заметил он. — Рудник делает этот препарат из аспирина и валерьянки — полная туфта.

— Наверное, — согласился Исаев. — Только я захотел спать не из-за Рудника и его препарата. Все вернулось на круги своя, и я даже рад этому, потому что человек, освобожденный после каторги, страшится свободы.

— Ты должен уснуть, Максим.

— Я не усну.

— Пожалуйста, усни, любимый.

— Я не смогу, мне и не хочется спать вовсе.

— Я очень прошу тебя, усни... Когда ты проснешься, будет ночь, и снова пройдут эти пять лет, и будет так, словно мы и не расставались с тобой.

— Чем в зимовье у Тимохи пахло?

— Медом и паклей.

— А еще чем?

— Не помню.

— Снегом. Мартовским снегом.

— Пожалуйста, ну, пожалуйста, усни, Максимушка.

— Мне очень не хочется обманывать тебя.

— Повернись на бок, я стану гладить тебя, и ты уснешь.

— Ты всегда меня любила?

— Да.

— Всегда-всегда?

— Да.

— И...

— Да. Да. Да. Спи.

— Почему ты так жестоко мне сказала сейчас?

— Потому что ты так спросил.

— Ничего не нужно спрашивать?

— Ничего. Спи, любимый, мой, я тебя очень прошу, спи... Ведь все прошло, и ты дома... Спи...

— Из Берлина легче вернуться домой, чем отсюда, — сказал Вальтер.

— Да. Ты прав. Я все понимаю. Только ты иди сейчас. Я лягу и буду спать. Я сейчас, словно пес, который устал лаять на кость. И я не очень-то соображаю, что говорю. Я могу сейчас не то сказать, и ты обидишься. Ты иди, да? Иди...

Он вернулся домой в сорок восьмом, не зная, что Сашенька и их сын Александр находятся во внутренней тюрьме МГБ.

СОДЕРЖАНИЕ

Бриллианты для диктатуры пролетариата (1921) . . 5

Пароль не нужен (1921—1922) 289

Нежность (1927) 591

Семенов Ю. С.

С30 Собрание сочинений: В 8-и т. Т. 1: Политические хроники, 1921—1927. Бриллианты для диктатуры пролетариата. Пароль не нужен. Нежность. — М.: МШК МАДПР, ДЭМ, 1991. — 608 с.

ISBN 5-85207-020-3

Первый том восьмитомного собрания сочинений заслуженного деятеля искусств, лауреата Государственной премии РСФСР, известного советского писателя Юлиана Семенова включает произведения, посвященные началу трудного пути советского разведчика — чекиста М. М. Исаева-Штирлица.

Для широкого круга читателей.

С $\frac{4702010201—005}{МШК\ МАДПР,\ ДЭМ-91}$ Без объявл. ББК 84.3Р7

Литературно-художественное издание

Юлиан Семенович Семенов

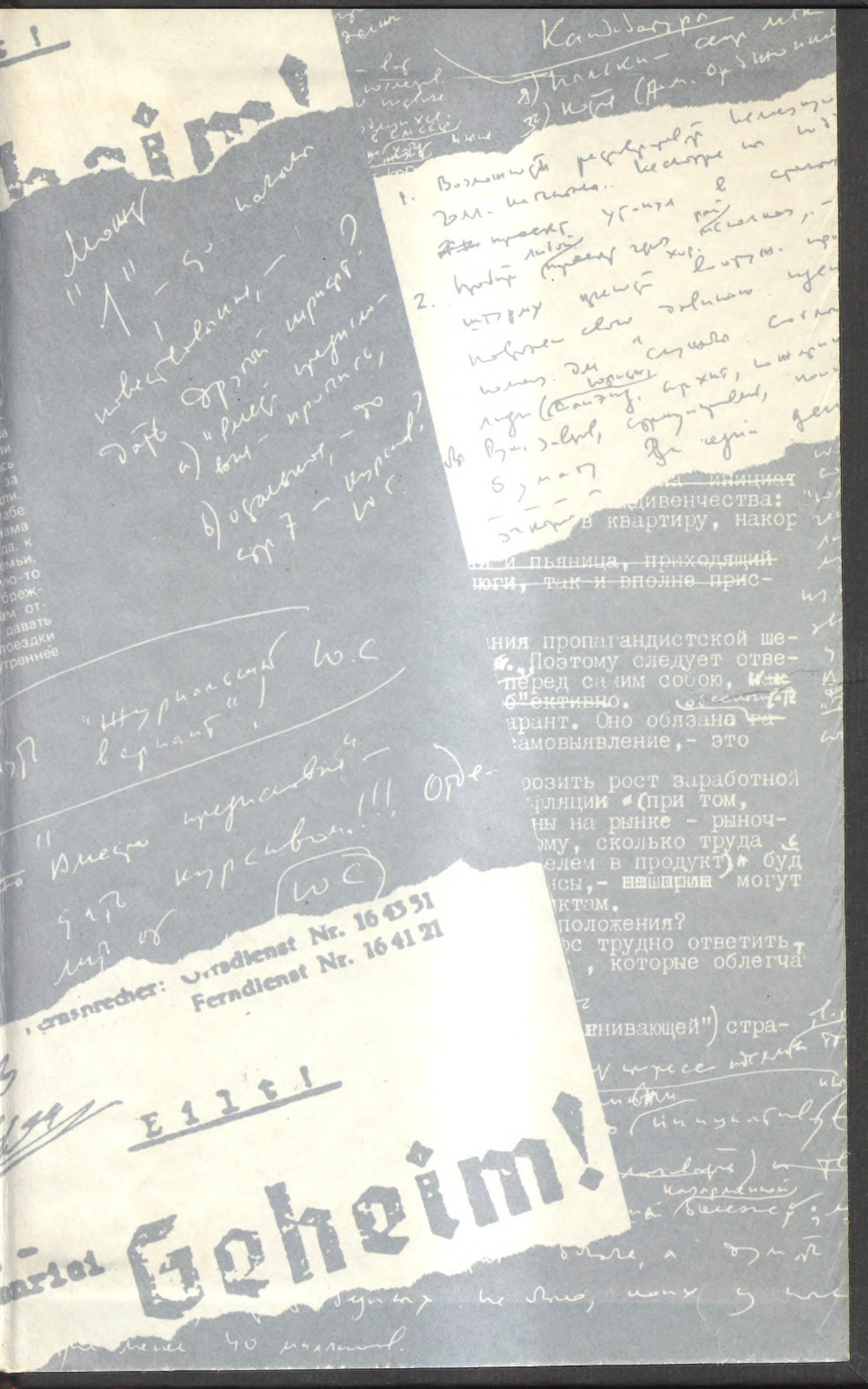
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ВОСЬМИ ТОМАХ
Том первый.
Политические хроники (1921—1927)

Редактор *И. В. Стабникова*
Оформление художников *В. М. Белякова, В. С. Помочилина, М. Н. Шестопала*
Художественно-технический редактор *Т. К. Койранская*
Корректоры *Т. П. Поленова, А. Л. Курочкина*

н/к

Сдано в набор 4.12.90. Подписано в печать 9.04.91. Формат 84×108/32. Бумага писчая № 1. Гарнитура Литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 31,92. Усл. кр.-отт 32,55. Уч.-изд. л. 34,87. Тираж 300 000 (200 000 экз. — по подписке) экз. Заказ № 1378. Цена 19 руб.
Изд. № 33-ДЭМ.
МШК МАДПР
119021, Москва,
Зубовский бульвар, 4
СП «ДЭМ»
117049, Москва,
Крымский вал, 9

Ярославский полиграфкомбинат Госкомпечати СССР.
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.


Geheim!
Ortsgespräch: Ortsdienst Nr. 16 43 51
Fernruf: Fernruf Nr. 16 41 21

19 p.